ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ: ВЕРСИИ И ФАКТЫ

Владимир Печатнов

СТАЛИН, РУЗВЕЛЬТ, ТРУМЭН:

СССР и США в 1940-х гг.

Владимир Печатнов

СТАЛИН, РУЗВЕЛЬТ, ТРУМЭН:
СССР и США в 1940-х гг.

МОСКВА
ТЕРРА – КНИЖНЫЙ КЛУБ
2006

Владимир Печатнов

СТАЛИН, РУЗВЕЛЬТ, ТРУМЭН: СССР и США в 1940-х гг.

Документальные очерки

МОСКВА
ТЕРРА – КНИЖНЫЙ КЛУБ
2006

УДК 947
ББК 63.3(2)6
П23

Печатнов В. О.

П23 Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг.: Документальные очерки. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 2006. — 752 с.; 24 с. ил. (Двуликая Клио: Версии и факты).

ISBN 5-275-01337-X

Книга известного российского историка-американиста профессора В О. Печатнова посвящена истории взлета и падения советско-американского союза времен Второй мировой войны, его последующего превращения в свою противоположность — холодную войну между двумя сверхдержавами На конкретных примерах переосмысленных узловых моментов и малоизвестных эпизодов этих отношений показывается сотрудничество и противоборство лидеров — Сталина, Рузвельта, Трумэна, а также работа дипломатии, разведки, военного планирования и пропаганды СССР и США. Книга написана на основе новых документов из архивов Сталина, Рузвельта, Трумэна, дипломатических, военных и разведывательных ведомств обеих стран. Многие из этих документов представляются читателю впервые.

УДК 947
ББК 63.3(2)6

ISBN 5-275-01337-X

© В. Печатнов, 2006
© ТЕРРА—Книжный клуб, 2006

Моим родителям —
Олегу Порфирьевичу и
Антонине Ивановне Печатновым
посвящается

ПРЕДИСЛОВИЕ

Даже на фоне богатой событиями двухвековой истории российско-американских отношений период 1940-х годов выделяется своей насыщенностью, драматизмом и огромным значением для двух наших стран и всего мира. Это поистине критическое десятилетие вобрало в себя становление советско-американского союза во время Второй мировой войны и его развал, ставший прологом войны холодной; оно было свидетелем самого тесного сотрудничества и взаимной приязни народов обеих стран и в то же время — самой глубокой вражды и конфронтации между ними. Ни до, ни после того российско-американские отношения не знали столь резких и глубоких перепадов, изучение которых уже само по себе представляет увлекательную исследовательскую задачу.

Противоположные парадигмы отношений, заложенные в 1940-х годах, оказались настолько устойчивыми, что вся последующая история отношений между двумя странами во многом станет вариацией на эти ключевые темы, в которой боевой союз времен войны с фашизмом явится прообразом разрядки, а парадигма холодной войны с ее стратегией противоборства будет воспроизводиться на всех следующих этапах обострения советско-американских противоречий.

Кроме того, в течение этого десятилетия радикально изменилась сама значимость этих отношений — из локальных, преимущественно двусто-

ронних они превратились в глобальные, влияющие на судьбы многих других стран, из производных — в системообразующие, определяющие характер всей системы международных отношений.

Эта двойная трансформация советско-американских отношений делает период 1940-х годов поистине уникальным и не случайно он давно привлекает большое внимание отечественных и зарубежных историков. В последние годы появилось немало новых исследовательских работ,[1] а также ценных документальных публикаций по этой тематике; среди них следует особо выделить многотомную серию документов по советско(российско)-американским отношениям в XX веке под редакцией академика Г.Н. Севостьянова, которая существенно дополняет богатую документальную базу по этому периоду и безусловно станет необходимым подспорьем в дальнейшем изучении этих отношений.[2]

И все же в огромной литературе по этой проблематике до сих пор есть заметные пробелы. Во-первых, годы сотрудничества и холодной войны обыкновенно рассматриваются отдельно друг от друга, как изолированные и не связанные между собой. Между тем здесь не было непроницаемых перегородок; переход отношений в новое качество совершался постепенно (хотя иногда и скачкообразно) путем накопления количественных изменений. Поэтому процесс двойной качественной перестройки советско-американских отношений — от «холодного мира» на рубеже 1940-х годов к боевому союзу, а затем к холодной войне можно рассматривать как единую историческую траекторию, имевшую свою динамику и закономерности развития.

Во-вторых, исследователи этих отношений, как правило, концентрируют свое внимание на политике одной из стран или ограничиваются изучением чисто дипломатического взаимодействия между ними. При таком подходе упускается из виду двусторонний характер взаимного приспособления к тому или иному режиму отношений и не используются возможности для сравнительного анализа протекания этого процесса в США и СССР. Долгие

годы реализация такой возможности затруднялась скудностью первоисточников по советской внешней политике, что вынуждало историков опираться в основном на американские документы. Затем, с началом открытия отечественных архивов, возник противоположный перекос, когда внимание российских и зарубежных историков переключилось на переоценку советской политики и историографии в свете новых документов, что также не способствовало развитию сравнительного подхода. Теперь, когда период первоначального освоения этого пласта новых документов подходит к концу, перед исторической наукой, как отмечает академик А.О. Чубарьян, встает задача проведения более сбалансированных и комплексных исследований, опирающихся на архивы и анализирующих политику обеих сторон.[3]

Предлагаемая читателю книга выдержана в духе именно такого подхода. Отнюдь не претендуя на всесторонний анализ всего комплекса советско-американских отношений этого периода, автор избрал жанр документальных очерков, для которых взяты сюжеты либо менее изученные, либо требующие переосмысления в свете новых документов из российских и американских архивов. Очерковая форма располагает к микроанализу исторических событий, общие контуры которых уже описаны в отечественной и зарубежной историографии. При этом автор стремился охватить самые разные аспекты этих отношений — дипломатию, разведку, военное сотрудничество и внешнеполитическое планирование, пропаганду и общественное мнение, а также их различные «этажи» — от Кремля и Белого дома до рядовых участников и очевидцев.

Человеческое измерение как неотъемлемый элемент любых межгосударственных отношений дает особенно благодатный материал для исследователей этого периода, населенного крупными, колоритными фигурами с обеих сторон. Особая роль принадлежала лидерам обоих государств — И.В. Сталину, Ф. Рузвельту и Г. Трумэну, которые проходят практически через все повествование. Но советско-американские отношения были также

продуктом деятельности многих ведомств, организаций и индивидуальных участников — дипломатов, военных, разведчиков, политических и общественных деятелей, журналистов, тоже ставших персонажами этой книги. Некоторые из этих очерков уже публиковались в журнальных вариантах, но были дополнены и переработаны для настоящего издания.

Книга написана на основе большого массива документов из американских и отечественных архивов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. Это прежде всего Архив внешней политики Российской Федерации (фонды Референтуры по США, секретариата В.М. Молотова, его заместителей А.Я. Вышинского, В.Г. Деканозова, С.А. Лозовского, М.М. Литвинова и И.М. Майского, комиссий Литвинова и Майского), которые содержат богатейшую информацию о текущей работе советских представительств в США и в центральном аппарате НКИД/МИД на американском направлении. Материалы Архива Президента РФ (фонды Сталина и Политбюро) помогают раскрыть механизм принятия внешнеполитических решений на высшем уровне кремлевского руководства, выявить в нем личную роль Сталина и других членов Политбюро ЦК ВКП(б). Документы Российского государственного архива социально-политической истории (фонды Управления пропаганды и агитации, Отдела внешней политики и других партийных органов, личные фонды И.В. Сталина, В.М. Молотова, А.А. Жданова) необходимы для анализа роли партаппарата в формировании советской внешней политики и пропаганды в отношении США. Материалы Государственного архива РФ, содержащие фонды государственных ведомств (прежде всего ТАСС, ВОКС, а также «Особые папки» Сталина и Молотова) важны для понимания работы механизма внешнеполитической пропаганды и развития связей с американской общественностью. Ряд архивных материалов, любезно предоставленных автору Управлением общественных связей Службы внешней разведки России, оказался очень ценным для понимания уровня

информированности советской разведки и политического руководства о действиях и планах правительства США.

Огромный материал по американо-советским отношениям содержится в архивах США, где автору довелось немало поработать. Это прежде всего архив Государственного департамента, особенно т.н. «десятичные фонды», организованные по функциональным аспектам двусторонних отношений (политическим, экономическим и т.п.), а также фонды его отдельных структур и видных дипломатов — Дж. Кеннана, Ч. Болена, А. Гарримана и др. Лишь небольшая часть этих материалов опубликована в известной серии Foreign Relations of the United States, между тем они дают наиболее развернутое представление о внутриведомственной «кухне» советской политики США. Военные аспекты этих отношений, стратегическое планирование и разведовательно-аналитическую работу США на советском направлении невозможно понять без активно привлеченных автором архивов военных ведомств и командных органов, в первую очередь — фондов Комитета начальников штабов, командований родов войск, Управления стратегических служб, а также Объединенного комитета начальников штабов США и Великобритании в годы Второй мировой войны. Материалы президентских библиотек Ф. Рузвельта и Г. Трумэна содержат массу ценных сведений о принятии внешнеполитических решений на высшем уровне государственного руководства США, куда стекалась вся важнейшая информация по вопросам отношений с СССР.

В работе использованы коллекции личных бумаг государственных и общественных деятелей США — активных участников советско-американских взаимоотношений (Г. Гопкинса, А. Гарримана, Дж. Дэвиса, У. Липпмана и др.), хранящиеся в государственных и частных архивах. Беседы и интервью автора с некоторыми из этих участников с обеих сторон (Дж. Кеннаном, К. Гарриман, Р. Такером, С.А.Трояновским, С.А. Кондрашовым, А.В. Карагановым, Б.Р. Изаковым и др.) помогли в уточнении документальной информации и воссоздании ат-

мосферы тех лет. Автором также широко использованы материалы прессы обеих стран, относящиеся к данному периоду.

Написание этой книги было бы невозможно без содействия ряда научных центров, архивов и коллег в России и США. Автор хотел бы выразить особую благодарность Институту Кеннана (Международный центр ученых им. В. Вильсона, г.Вашингтон), Нобелевскому институту мира (Осло, Норвегия), колледжу Амхерст (штат Массачусетс, США), Проекту международной истории холодной войны (г.Вашингтон), сотрудникам группы по изучению холодной войны при Институте Всеобщей истории РАН. Большую помощь автору в выявлении архивных материалов оказали И.А. Сидорова, Н.А. Абрамов и И.М. Морозова (Историко-документальный департамент МИД РФ), И.А. Кондакова и В.А. Лебедев (Архив Президента РФ). Фотоматериалы для книги были любезно предоставлены Историк-документальным департаментом МИД РФ и журналом «Родина». Автор крайне признателен за ценные советы и поддержку в ходе работы над книгой со стороны академиков РАН Г.Н. Севостьянова, А.А. Фурсенко, А.О. Чубарьяна, Н.Н. Болховитинова, члена-корреспондента В.К. Волкова, докторов наук, заслуженных деятелей науки России В.Л. Малькова и М.М. Наринского, профессоров А.Ю. Борисова, Н.И. Егоровой, В.М. Зубока, А.М. Филитова, Дж. Гэддиса, М. Леффлера, У. Таубмана и Г .Лундестада. Хотелось бы также поблагодарить за неизменную поддержку своих коллег по кафедре истории и политики стран Европы и Америки и руководство МГИМО МИД РФ, создавшее в институте благожелательную и творческую атмосферу.

Часть I

КАК СОЗДАВАЛСЯ СОЮЗ

ТРУДНОЕ НАЧАЛО

В самом начале 1940 года в Наркомат иностранных дел пришло донесение от нового советника полпредства СССР в США А.А. Громыко. Сообщая о своих первых беседах с руководителями госдепартамента, он писал: «От них несло не только холодом, но настоящим морозом. Подчеркнутый холод. Иного, конечно, нельзя было и ожидать»[1]. Действительно, сороковые годы в советско-американских отношениях начинались с больших заморозков, вызванных роковыми событиями предшествующих месяцев — заключением Договора о ненападении между СССР и гитлеровской Германией, последовавшим за этим «разграничением сфер влияния двух держав» в Польше и Прибалтике, началом советско-финской войны. Крутой поворот во внешней политике СССР от курса на сотрудничество с западными демократиями в противодействии фашистской угрозе к сделке с Гитлером восстановил против Советского Союза общественное мнение США и крайне осложнил и без того непростые межгосударственные отношения. Этот поворот повлек за собой и резкую переориентацию в работе всей советской дипломатии, в том числе и на американском направлении: вчерашние потенциальные союзники в считанные дни превратились в завтрашних врагов — «поджигателей войны», а вчерашние враги стали чуть ли не самыми привилегированными партнерами.

Советские дипломаты в Вашингтоне быстро перестроились на новый лад, следуя последним инструкциям и инстинкту самосохранения — теперь бе-

зопаснее было переборщить в новой жесткости по отношению к США, чем прослыть «мягкотелым». Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить содержание и тональность политических оценок посольства весны — лета и осени 1939 года. Полпред К. Уманский, еще недавно с одобрением писавший о «крепкой ненависти» Рузвельта к нацистам и японцам, о «прогрессивном крыле рузвельтовской администрации» во главе с самим президентом, критиковавший его за уступки изоляционистам, теперь уверенно характеризовал его политику как «стремление втянуть США в европейскую войну с целью: а) не допустить колониальный передел в пользу Германии; б) использовать войну для наживы и «выхода» из кризиса; в) использовать войну для расширения и закрепления влияния в Латинской Америке не только за счет Германии и Италии, но и Англии; г) подчинить Германию гегемонии англо-французско-американского капитала и на этой базе «реорганизовать» Центральную и Юго-Восточную Европу в плацдарм для антисоветской борьбы; д) путем разгрома Германии — высвободить английские силы для совместного выступления против Японии; е) попутно, в связи с военной обстановкой, сломить сопротивление американского рабочего класса, отменить реформистское законодательство и т.п.; ж) *собрать и возглавить все антисоветские факторы в мире, для превращения нынешней войны в антисоветскую»* (курсив мой. — *Авт.*).

Изоляционистски настроенные и прогерманские силы в деловом мире США, считавшиеся ранее главной угрозой, теперь стали расцениваться как положительный фактор, с которым следует «искать контактов»[2]. Громыко, вторя своему начальству («правда, менее умело» — как отметили в НКИД), пишет о «звериной ненависти» к СССР и самого Рузвельта, называя его «ставленником Уолл-стрита», который «взял твердую ставку подливать масло в огонь, всемерно поощряя Англию и Францию и помогая им раздувать военный пожар». В феврале 1940 г. Уманский докладывает Молотову, что «курс Рузвельта остается последовательно просоюзни-

ческим и антисоветским». Находится подходящее объяснение и поведению самого Рузвельта. «Курс этот продиктован ему, прежде всего, классовой ненавистью к нам со стороны тех решающих кругов американской буржуазии, перед которыми Рузвельт пытается сейчас выслужиться, заставив их забыть о своих прошлых грехах «социального экспериментатора», ограничителя «эксцессов капитализма». Дальше — больше. В сентябре Громыко сообщает о «бешеном вооружении империализма США, которое неизбежно усиливает возможность его столкновения с другими империалистическими хищниками. В ближайшей перспективе это означает с Германией и Японией. В более отдаленной (в зависимости от исхода настоящей войны в Европе) и с Англией»[3].

Американские дипломаты в Москве отвечали своим коллегам взаимностью. «До объявления Германией войны Советскому Союзу и какое-то время после него американские представители в Москве были очень холодны и недружественны с русскими, — вспоминал один из тогдашних сотрудников посольства Ч. Тайер, — в целом их отношение можно было описать словами — «Да пошли они к черту!»[4]. Даже в июне 1941 г., когда американская дипломатия уже знала о готовящемся нападении нацистов на СССР и ожидала советских обращений о помощи к США, доминирующим настроем в госдепартаменте оставался «подчеркнутый холод». 14 июня американский посол в Москве Л. Штейнгардт получил указания от госсекретаря К. Хэлла, в которых предписывалось воздерживаться от каких-либо инициатив в отношении Кремля, а его возможные инициативы воспринимать крайне осторожно, не идя ни на какие уступки «ради улучшения атмосферы американо-советских отношений и строго придерживаясь принципа взаимности и понимания того, что в улучшении этих отношений СССР заинтересован больше США». Посол «всей душой» (как отвечал он Хэллу) приветствовал эту «твердую политику», которая, продолжал он, «лучше всего поддержит наш престиж в Москве и подготовит почву для важных событий, с которыми мы

так или иначе столкнемся»[5]. СССР, уточнил посол, «рано или поздно повернется к Соединенным Штатам в стремлении избежать последствий развязанной при его участии европейской войны». Иными словами, лучшей подготовкой к грядущему сотрудничеству в борьбе с Германией считалась жесткость, которая с самого начала должна была поставить это взаимодействие на почву трезвого расчета, взаимности и пиетета к США, сбивая «чрезмерные» запросы русских. «Их психология — пояснял Штейнгардт, — признает только твердость, мощь и грубую силу, отражая примитивные инстинкты и реакции, лишенные сдерживающих начал цивилизованности».[6]

Другой причиной этой превентивной жесткости было сильное сомнение в способности СССР устоять перед натиском германского блицкрига. 7 июня в специальной оценке настроений советского крестьянства в преддверии войны посольство предсказывало, что с учетом огромных издержек коллективизации «значительная часть сельского населения встретит иностранную армию как освободителей». Поскольку же РККА набиралась в основном из крестьян, «ее моральный дух нельзя считать полностью надежным», а значит, «очень возможно, что сталинский режим не переживет любое вторжение».[7]

Столь же негативными были и оценки военной разведки США. После заключения советско-германских соглашений 1939 г. в американских военных планах Советский Союз рассматривался как потенциальный противник, который вступит в войну на стороне Германии (план «Радуга»). При этом военный потенциал СССР расценивался крайне низко. Аппарат военного атташе в Москве за несколько дней до начала войны в оценке боеспособности РККА акцентировал ее слабости — обескровленный «чистками» командный состав, неграмотные, «безынициативные солдаты», «возможное массовое дезертирство в Прибалтике и на Кавказе». Но главная слабина виделась в «нехватке современного оснащения, вооружений и техники. Советская армия остро нуждается в качественном и количественном наращивании современной авиации, ар-

тиллерии и моторизированного транспорта... Она не может противостоять мобильной армии большей огневой мощи, оснащенной современной техникой и вооружением... трудно представить боеспособную Красную Армия в стране, до сих пор практически неграмотной и технически отсталой». Основным препятствием для «армии вторжения», предсказывали военные разведчики, могут стать лишь «плохие дороги и огромность территории страны».[8]

Однако в Белом доме роль и потенциал Советского Союза, а значит — и перспективы отношений с ним — виделись далеко не столь однозначно. Президент Рузвельт и его ближайшее окружение весьма реалистически оценивали подоплеку и скрытые противоречия советско-германского сближения. Рузвельт предвидел недолговечность «пакта Молотова—Риббентропа», считая, что после падения Франции Гитлер «пойдет на Россию».[9] Он еще в конце 1936 года в частном разговоре с советским послом А.А. Трояновским предчувствовал возникновение большой войны в Европе, в которой СССР и США станут союзниками и победят, после чего перед ними встанет сложная задача реконструировать мир на новой основе.[10]

С августа 1940 г. догадка президента о нарастании советско-германского конфликта стала подтверждаться сообщениями разведки о начале разработки в Берлине «плана Барбаросса»[11]. Реакция президента на «зимнюю войну» была весьма сдержанной: несмотря на сильное давление общественного мнения и конгресса он не пошел на разрыв дипломатических отношений с СССР, ограничившись осуждением его как агрессора и объявлением «морального эмбарго» на торговлю с Москвой. Интуитивно чувствуя неизбежность решительной схватки с нацизмом и милитаристской Японией, Рузвельт словно приберегал отношения с Москвой для этой решающей борьбы. Эта установка ярко проявилась в ходе разработки и прохождения в конгрессе законопроекта о ленд-лизе в начале 1941 г., когда Белый дом отбил попытки ограничить число стран-реципиентов и исключить из их числа СССР, зарезервировав тем самым возможность последую-

щего распространения действия этого закона на Советский Союз.[12]

По прямому указанию президента его конфидант в руководстве госдепартамента — первый заместитель К. Хэлла С. Уэллес — начал обсуждать с послом К. Уманским возможность совместной помощи Китаю в борьбе с Японией. Хотя обсуждения проходили трудно и не привели к конкретным договоренностям, сам факт дипломатических контактов по столь деликатной для обеих стран проблеме имел немаловажное значение для поддержания политического диалога между Вашингтоном и Москвой в эти критические месяцы.[13] В начале марта 1941 г. Уэллес вопреки рекомендации Л.Штейнгардта предупредил К. Уманского о готовящемся нападении Германии на СССР. Как и все остальные сигналы такого рода, это сообщение было проигнорировано в Москве.

Тем не менее в Кремле тоже не спешили сжигать мосты с Белым домом, несмотря на антиамериканскую пропаганду и негативный настрой в Наркоминделе. Соединенные Штаты могли пригодиться для борьбы с общим врагом — Японией, на что Молотов прямо намекал Штейнгардту в феврале 1940 г.[14] Явно не случайным было и «добро» Москвы Уманскому на продолжение консультаций с Уэллесом. Лидеры обеих стран видели друг в друге не только сегодняшнего противника, но и потенциального партнера.

В Белом Доме хорошо понимали, что даже в качестве нейтральной стороны СССР уже был полезен союзникам. В январе 1941 г. Рузвельт отменил «моральное эмбарго», а в начале февраля госсекретарь К. Хэлл по указанию президента отверг зондаж британского посла о новых ограничениях экспорта в СССР на том основании, что «Россия, как в полусонном, так и в активном состоянии, есть и будет огромным фактором в вопросах войны и мира в Европе и в Азии... С тех пор как она оккупировала Прибалтику и часть Польши, Россия последовательно продолжала жесткий торг с Германией и Японией или в районах, представляющих для них непосредственный интерес, в результате чего об-

щим следствием ее действий последних месяцев стало торможение и срыв многих планов Гитлера и японцев. Русские, конечно, не имели в виду оказать нам помощь, но так или иначе они нарушили планы Гитлера в отношении Средиземноморья и Суэцкого канала».[15]

В самом недалеком будущем же роль СССР в разгорающейся войне могла вообще стать решающей: для союзников будет «все потеряно, если Россия окажется на другой стороне или не вместе с нами», — эти слова своего осведомленного английского информатора министр внутренних дел Г. Икес передал президенту Рузвельту в конце января 1941 г.[16] Англичане понимали это не хуже американцев, и в середине июня по дипломатическим каналам между Лондоном и Вашингтоном была достигнута принципиальная договоренность о готовности оказать СССР экономическую помощь в случае нападения на него Германии[17]. Еще через несколько дней европейский отдел госдепартамента даже подготовил специальный меморандум «О позиции США в отношении СССР в случае начала войны между Советским Союзом и Германией». Следуя духу «политики твердости», отдел предлагал действовать только после прямого обращения СССР о помощи, ограничив ее ослаблением экспортного контроля. Предлагалось также всемерно подчеркивать идеологические различия между СССР и США — «тот факт, что СССР воюет с Германией, не означает, что он исповедует или сражается за те же принципы международных отношений, что и мы». Отдел также рекомендовал поставить экономическую помощь на основу взаимной выгоды и не определяться с дальнейшими отношениями с СССР на тот случай, если «мы решим отказаться признать советское правительство в изгнании или прекратить признавать советского посла в Вашингтоне в качестве дипломатического представителя России, если Советский Союз будет разбит и советскому правительству придется покинуть страну».[18] В госдепартаменте по-прежнему всерьез готовились к разгрому СССР. На следующий день после представления этого документа «наверх» немецкие войска перешли границу СССР.

Первая официальная реакция Вашингтона на это событие была крайне сдержанной и шла вполне в русле заготовок европейского отдела. 23 июня С. Уэллес на пресс-конференции осудил «вероломное нападение Гитлера на Советскую Россию», заявив лишь, что «любая оборона от гитлеризма... послужит нашей собственной обороне и безопасности», но одновременно подчеркнул диаметральную противоположность принципов нацизма и коммунизма с одной стороны и американизма — с другой.[19] Против оказания морально-политической поддержки СССР в духе заявления Черчилля от 22 июня предостерегали и советники госдепартамента, предлагавшие относиться к Советскому Союзу как к временному «попутчику», но не соратнику в борьбе демократии с тоталитаризмом.[20] Военный министр Г .Стимсон и министр ВМС Ф. Нокс предлагали воспользоваться передышкой до скорого поражения СССР для усиления военной помощи Англии[21]. Президент хранил молчание.

«Рузвельт маневрирует — комментировал для своего шефа позицию Белого дома заместитель Молотова С.А. Лозовский 24 июня. — С одной стороны, Черчилль, конечно, с ведома Рузвельта, обещает нам помощь США, а с другой стороны, не только Рузвельт, но и все министры ограничиваются только глухими намеками, выжидая кристаллизацию мнения в руководящих кругах американкой буржуазии». Дабы подтолкнуть американцев, Лозовский предлагал в духе «англосаксонской традиции» «послать в США личного представителя тов. Сталина для установления контакта с Рузвельтом и руководящими министрами. Такой шаг, при всей его необычности для СССР, был бы очень хорошо понят... нашел бы отклик у правительства США и принес бы, несомненно, пользу Советскому Союзу в его борьбе с Германией».[22]

Рузвельт действительно маневрировал, но не для того, чтобы ждать указаний от «руководящих кругов американской буржуазии», а с тем, чтобы соизмерить свои шаги с общественными настроениями и международной обстановкой. Его заявление от 24 июня было чем-то средним между позицией Черчилля и Уэллеса: президент выразил готовность

оказать СССР помощь в борьбе с фашистской агрессией, но воздержался от конкретных обязательств и выражения солидарности с советским народом. Первые официальные заявления Вашингтона были восприняты в Москве весьма скептически, особенно на фоне более конкретных шагов англичан. На встрече со Штейнгардтом 29 июня Молотов охарактеризовал позицию администрации как «не вполне ясную» и не удержался от язвительного замечания о том, что, судя по официальным заявлениям, «Америка может помочь Советскому Союзу лишь ботинками и носками».[23] Что касается идеи Лозовского о посылке «личного представителя», то не получив, судя по всему, поддержки в Кремле, она прижилась в Белом доме — именно в эти дни Рузвельт дал предварительное согласие на параллельное предложение своего ближайшего соратника Гарри Гопкинса — отправить его в Москву для переговоров со Сталиным и выяснения обстановки на месте.

Президент явно не полагался на мнение своих дипломатов и разведчиков, которое и в первые недели советско-германской войны оставалось однозначно пессимистическим. Сотрудники посольства США в Москве уже давно сидели на чемоданах. Еще в марте Штейнгардт заготовил на посольской даче запас палаток, постельного белья, провианта и медикаментов на случай бегства из Москвы. В середине июня друзья американских дипломатов из германского посольства по секрету намекнули им на готовящееся вторжение и посоветовали по их примеру отослать на родину женщин. Вечером 18 июня в посольстве состоялось совещание, на котором было решено срочно эвакуировать женщин; они успели покинуть Москву по воздуху 21 июня. «Субботний вечер прошел в выпивке на даче, — продолжается в устных воспоминаниях Ч. Тайера, — затем мужчины вернулись в Москву, чтобы убедиться в благополучном возвращении женщин. Около четырех часов утра я услышал по радио выступление Геббельса с объявлением войны России... 23 числа все сотрудники посольства, кроме самых необходимых, были эвакуированы через Сибирь. Общий настрой состоял в том, что сопротивление на

северо-западном направлении будет слабым, и должностные лица США давали русским от силы три-четыре недели... После 23 июня официальные бумаги посольства были сожжены, а остатки отправлены на посольскую дачу во избежание ожидавшихся бомбардировок Москвы».[24]

«Архив» посольства, состоявший, по признанию Тайера, из запасов спиртных напитков и провианта, был отправлен с группой сотрудников в Казань, где «местные татары, недовольные наездом иностранцев и трудностями с пропитанием, забросали американских чиновников камнями, когда те отправились в продовольственный магазин».[25] Уже на первой после начала войны встрече с Молотовым 29 июня Штейнгардт поднял вопрос о переезде посольства из Москвы. К тому времени план эвакуации сотрудников и имущества посольства был уже отправлен им в Вашингтон. Пораженческие настроения и приготовления посольства не укрылись от бдительного ока советских органов. «Он, видимо, здорово трусит и потому чрезвычайно озабочен, как бы не опоздали его эвакуировать», — сообщал Лозовский Сталину и Молотову о своей беседе со Штейнгардтом.[26]

В том же духе были выдержаны и первые оценки американской и английской разведки. 15 июля, сообщая об эвакуации своих сотрудников в Казань и о намерениях советского правительства остаться в Москве, военный атташе И. Итон предсказывал, что оно «может быть захвачено в плен».[27] Военное и военно-морское министерства США в первые дни войны считали шансы СССР на выживание ничтожными и оценивали продолжительность советского сопротивления в 1,5—3 месяца.[28] Самое большое, на что надеялось британское военное командование в случае «успешного продолжения сопротивления русских», — это получить «отсрочку» немецкого вторжения на британские острова и продвижения вермахта к Ближнему Востоку.[29] Даже необходимость продолжения слежки за «советскими агентами» в США и Западном полушарии в целом, за которую ратовали службы безопасности госдепартамента и ФБР, обосновывалась ссылками на

вероятность заключения сепаратного мира между СССР и Германией или создания в России «марионеточного прогерманского правительства» в результате разгрома СССР.[30]

Сам Рузвельт не спешил с выводами, не исключая уже в первую неделю войны, что советско-германский фронт может стать чем-то большим, чем просто «отвлечение», и тогда «это будет означать освобождение Европы от нацистского господства» (как он пророчески писал послу США при вишистском правительстве У. Леги).[31]

Первые дипломатические контакты новой «военной эры» в Вашингтоне тоже продвигались со скрипом. Сказывалась инерция взаимных счетов и подозрений, отсутствие в обеих столицах ясного понимания советских запросов и способов их удовлетворения. Для перехода от режима «холодного мира» к режиму сотрудничества требовалось время. С советской стороны мешало нетерпение и отсутствие продуманной линии в составлении заявок, которые в обстановке огромной нервозности и неразберихи первых недель войны приобретали порой характер бесцеремонных требований. Не помогали взаимопониманию и неуклюжие попытки советской дипломатии в первые же дни войны добиться от США признания присоединения прибалтийских государств к СССР или немедленного и одностороннего снятия ограничений на свободу перемещений советских должностных лиц по территории США.[32]

С американской стороны главным препятствием было нежелание многих военных и дипломатов вкладывать материальные и политические ресурсы в новоявленного «попутчика», шансы на выживание которого к тому же представлялись очень сомнительными. Посольство США в Москве продолжало предсказывать скорое поражение СССР и предостерегало против масштабной помощи русским; любая помощь, подчеркивал Штейнгардт, должна оказываться только на жестких политических условиях — отказ от территорий, присоединенных к СССР в 1939—1940 гг., свобода перемещений американских дипломатов и военных по советской территории и т.п.[33] Вместе с тем руководство госдепартамента

стало более осторожным в контактах с представителями антисоветской эмиграции в США, отвергая, в частности, предложения А. Керенского и других о содействии «демократизации советского правления» на основании принципа «невмешательства во внутренние дела СССР».[34]

Рузвельту приходилось лично вмешиваться в переговорный процесс, чтобы придать ему ускорение. 10 июля на встрече с Уманским президент заверил посла в максимально возможном удовлетворении наиболее необходимых советских запросов. Он подчеркнул «огромную важность» удержания советско-германского фронта хотя бы до 1 сентября, что внесет большой вклад в поражение Гитлера.[35] Еще через несколько дней в послании Сталину, переданном с Гопкинсом, Рузвельт обозначил более протяженный временной горизонт сотрудничества: если СССР продержится ближайшие критические три месяца, США будут в состоянии резко увеличить свою военную помощь[36]. Ввиду погодно-климатических условий президент считал зимнее наступление Гитлера маловероятным, поэтому, как он писал своим помощникам, «если удержать Германию до тех пор, Россия будет спасена до весны».[37] За этим проглядывались не только посулы, но и стремление морально поддержать будущего союзника в критический для него момент.

Но реальные переговоры о поставках по-прежнему продвигались черепашьим шагом. В депеше в НКВД от 17 июля Уманский отмечал, что «положение с прохождением нашей заявки неважное, особенно ее вооруженческой части». В конце месяца сам президент на заседании кабинета с возмущением признал, что «прошло уже почти шесть недель с начала русской войны, а мы практически ничего не сделали, чтобы отправить через Сибирь запрошенные ими материалы. Честно говоря, на месте русских я бы считал, что Соединенные Штаты дают мне от ворот поворот».[38]

В начале августа Рузвельт в необычной для себя приказной манере сердито одернул Стимсона за волокиту с поставками первой партии самолетов в СССР («отправить на следующей неделе») и нака-

зал начальнику морских перевозок, ответственному за переправку этих поставок в Советский Союз: «Действуйте тяжелой рукой — как шип под седлом и сдвиньте это дело с места... не слезайте с него!».[39]

Об исторической миссии Гопкинса в Москву написано уже немало, как у нас, так и за рубежом. Безусловно, она сыграла заметную роль в становлении союза «Большой тройки». Принято считать, что именно эта миссия убедила Рузвельта в том, что СССР выдержит первый удар вермахта и сможет стать решающим фактором в разгроме Германии. Знатоки вопроса — известный российский историк Н.Н.Яковлев и его американский коллега У.Кимбэлл внесли в этот тезис характерный нюанс, показав, что информация Гопкинса скорее утвердила Рузвельта в этой позиции, наметившейся еще до поездки личного представителя президента США в Москву. «Гопкинс, — пишет Н.Н. Яковлев, — подтвердил то, во что уже верил президент — Советский Союз удержит фронт».[40]

«...Я как никогда уверен в этом фронте. Моральный дух населения исключительно высок. Налицо безграничная решимость победить». Комментируя эти известные слова Гопкинса из донесения президенту после встречи со Сталиным, Кимбэлл заключает: «Гопкинс разглядел волю к победе — неосязаемую величину, которую не могли оценить ни перепуганный Штейнгардт, рвавшийся прочь из Москвы от наступающих немцев, ни закрывшиеся в своих штабах американские военачальники. Опасение и страх поражения заразительны как в армии, так и в правительстве — скрыть их трудно, если вообще возможно. Как и большинство лидеров Востока и Запада, он (Гопкинс. — *Авт.*) смотрел на войну через призму интересов своей собственной страны, и продолжение войны на русском фронте явно отвечало этому критерию» [41]

Доверительность переговоров в Кремле оттенялась редкой для советских лидеров откровенностью в признании критичности ситуации: Молотов посетовал Гопкинсу на то, что «Советский Союз, к сожалению, очень медленно раскачивается» (недаром эти слова были стыдливо, без отточий, опущены в

опубликованной в советское время записи этой беседы), а Сталин пригласил на советско-германский фронт войска США «целиком под американским командованием», мотивируя это неизбежностью вовлечения США в войну с Германией рано или поздно[42]. Было сделано и еще одно, явно неприемлемое для еще не воюющей Америки предложение — заключить официальное соглашение о совместных действиях против Германии по образцу советско-английского соглашения от 12 июля.

Несмотря на эти осечки, визит Гопкинса, видимо, произвел сильное впечатление и на советское руководство. У нас нет прямых данных о реакции Сталина и Молотова, но можно положиться на свидетельство А. Гарримана, лучше других американцев знавшего Сталина и его особое отношение к Гопкинсу. «Я считаю, что симпатия Сталина к Гопкинсу восходит к визиту Гопкинса в Москву в июле 1941 г., — вспоминал Гарриман. — Гопкинс был первым иностранным гостем после германского нападения, когда дела шли из рук вон плохо. Сталин видел в Гопкинсе человека, который, несмотря на слабое здоровье, проделал долгий, изнурительный и опасный путь, имел мужество и решимость говорить о делах в прямой и откровенной манере».[43]

Сам Сталин говорил с Гопкинсом о советских потребностях с присущим ему знанием деталей. В архиве Рузвельта сохранилась рукописная записка Сталина, переданная Гопкинсу на встрече 31 июля с перечислением особо срочных нужд: «1) зенитные орудия калибром 20 или 25 или 37 мм 2) аллюминиум 3) пулеметы 12,7 мм 4) винтовки 7,62 мм».[44] Сталин и в последующие месяцы вникал в подробности запросов на американскую военную технику и материалы, вписывая в заявки то броневые листы для танков и инструментальную сталь, то указания «добиваться получения «боингов» на переговорах о поставках самолетов.[45]

Тем не менее на военно-политическом уровне сотрудничество между двумя странами заметно отставало от советско-английского, в чем также были повинны обе стороны. Первое послание Сталина Рузвельту от 4 августа с единственной, но очень на-

стоятельной просьбой оказать давление на Финляндию с целью вывода ее из войны против СССР было явно не подготовлено дипломатически и явилось для президента полной неожиданностью, на которую он предпочел не отвечать лично. (Лишь через две недели Уманскому было заявлено, что США не собираются предпринимать решительных действий для нейтрализации Финляндии).[46] Первая попытка установить прямой контакт между двумя лидерами обернулась фальстартом.

Серьезное недовольство в Москве поначалу вызвала англо-американская инициатива с подписанием «Атлантической хартии» о принципах послевоенного мироустройства. Союзники не потрудились хотя бы проинформировать СССР о подготовке этого документа, ограничившись приглашением присоединиться к нему на межсоюзнической консультации в Лондоне без согласования ее сроков и повестки дня с советской стороной. «Англичане и американцы распоясались, — комментировал ситуацию для Молотова Лозовский, — ...хотят нас поставить на положение находящихся в Лондоне эмигрантских правительств и подвластных Англии доминионов... Пойти на этот шаг мы, конечно, не можем, ибо это только растравило бы аппетиты англичан и американцев по части предъявления к нам политических требований за военно-экономическую помощь и приравнивания Советского Союза к полякам, чехам, бельгийцам, норвежцам и прочим грекам». Лозовский предлагал ограничиться посылкой на конференцию наблюдателя.[47]

В том же духе были выдержаны и указания Молотова послу в Лондоне И.М.Майскому — нарком сообщал, что «в таких условиях мы не можем участвовать в конференции союзников» и что «наши товарищи здесь страшно раздражены тем, что СССР хотят превратить в бесплатное приложение других держав».[48].

В этой реакции отчетливо прослеживалось не только понятное раздражение игнорированием англосаксами особого статуса СССР в складывающейся антигитлеровской коалиции, но и глубоко сидящее опасение англо-американского диктата в опре-

делении основ послевоенного устройства, тем более, что одна из главных статей хартии — о непризнании территориальных изменений, «не находящихся в согласии со свободно выраженным желанием заинтересованных народов», — явно расходилась с советской практикой присоединения к СССР новых территорий. Характерно было и выраженное Лозовским опасение относительно политической цены, которую союзники запросят за свою помощь в войне. Но в конечной советской реакции возобладала гибкость — добившись учета своего мнения по срокам проведения конференции, СССР присоединился к основным положениям Атлантической хартии, но оговорил за собой право их особого применения.[49]

Москву очень беспокоила и неопределенность планов США в отношении Японии, особенно — в случае нападения ее на Советский Союз. НКИД неоднократно требовал от Уманского добиваться публичного или конфиденциального демарша Вашингтона перед правительством Японии, дабы предостеречь его от враждебных действий против СССР. Однако руководство госдепартамента уходило от четкого ответа на эти запросы, подогревая советские опасения о том, что США не прочь отвести японскую экспансию с юга на север — т.е. в направлении СССР. Эти опасения не были лишены оснований, поскольку лишь в начале октября — когда стала ясна критическая важность сохранения Советского Союза для продолжения борьбы с Германией — армейское командование США отказалось от уступок Японии, которые освободили бы ее силы в Китае для удара по СССР.[50]

Одним из результатов поездок Гопкинса в Англию и СССР стала совместная англо-американская инициатива о проведении в Москве трехстороннего совещания по организации военной помощи Советскому Союзу. И если приезд Гопкинса дал Москве надежду на такую помощь, то последовавшая через два месяца конференция представителей трех великих держав положила начало воплощению ее в жизнь.

Конференции предшествовала напряженная подготовка всех участников: советская сторона со-

ставляла запросы на самые необходимые виды боевой техники и материалов, а англо-американцы — списки того, что они могут выделить для СССР без большого ущерба для себя. К Москве было подготовлено три списка: то, что союзники были готовы дать сразу, то, что можно было уступить в процессе торга и то, чего нельзя было давать ни в коем случае.[51] Списки утрясались в процессе межведомственного согласования, причем с американской стороны Рузвельт и Гопкинс нередко корректировали предложения прижимистых военных ведомств в сторону увеличения.[52]

По возвращении из Москвы и Лондона Гопкинс обнаружил в вашингтонских коридорах налет новых иждивенческих настроений. «Дела в России, похоже, убедили всех в том, что она возьмет все боевые действия на себя. Поэтому нам и всем остальным можно не очень беспокоиться о помощи ей, — сетовал он в письме послу США в Лондоне Вайнанту. — Этот настрой проник почти повсюду, кроме президента, который считает, что именно сейчас надо усилить давление на Гитлера».[53]

Свои разногласия по поводу помощи Советскому Союзу были и в английском правительстве: лорд Бивербрук — координатор английской подготовки к Московской конференции — проявлял щедрость, а премьер-министр — скупость в выделении поставок американской техники из английской «доли» по ленд-лизу. Командование королевских ВВС было резко против поставок в СССР боевых самолетов, мотивируя это «технической отсталостью» русских: «Русские механики, — говорилось в докладе британского маршала авиации А. Гарриса, — вопиюще не способны к эффективной эксплуатации и ремонту даже знакомой им техники».[54]

Однако американская проверка хода работ по сборке первых «Томагавков», доставлявшихся в Архангельск, показала прямо противоположную картину. За три с половиной недели сентября пятьдесят техников собрали 47 самолетов, с удивлением докладывали военные специалисты посольства США: «Наши дежурные офицеры в Архангельске ставят их (советских техников. — *Авт.*) выше ар-

мейских техников США по мастерству, смекалке и моральному духу. Они работают под открытым небом, в грязи, на ветру и под дождем по 14 часов в сутки... не имея штатного инструмента и технических инструкций». Вывод инспекторов был однозначен: «Советская сторона способна очень эффективно использовать и ремонтировать американскую летную технику; Советскому Союзу следует поставлять только лучшие американские самолеты».[55] Маршаллу Гаррису, видимо, пришлось согласно английской поговорке «съесть свою шляпу».

Главный американский координатор подготовки к московской конференции — куратор английского ленд-лиза А. Гарриман — вскоре сошлется на этот пример в своем радиообращении к соотечественникам из Лондона, в котором он сказал: «Нам не нужно беспокоиться о посылаемом нами оборудовании, самолетах и танках. Русские знают, как содержать и эффективно использовать их... неуклюжий русский мужик стал искусным механиком».[56]

В Москве подготовку к конференции координировал НКИД во главе с Молотовым. Окончательные списки заявок (список «А» — вооружения, список «Б» — все остальное), состав делегации и экспертов, порядок работы конференции утверждались лично Сталиным.

С учетом важности предстоящей встречи тщательно продумывались и организационно-протокольные вопросы. Гостей было решено принимать по высшему разряду: размещение в «Национале», питание — за счет советской стороны, заседания — в особняке НКИД на Спиридоновке, на случай неожиданной тревоги — лучшее бомбоубежище на станции метро «Площадь революции». На открытие конференции приглашались союзные и советские журналисты. «Обстановка этого открытия будет торжественной, — докладывали Молотову свои предложения зав. Американским отделом НКИД Г. Зарубин и посол К. Уманский, — сделанные нами приготовления направлены к тому, чтобы подчеркнуть и поднять значение конференции, и все это желательно было бы отразить через иностранных корреспондентов в международной печати».[57] Нарком

собственноручно добавил в проект программы почетный караул, оркестр и национальные флаги трех стран. Военным музыкантам пришлось срочно разучивать гимны новых союзников. Старания эти не прошли даром: особенно тронут был Бивербрук, который (как докладывал сопровождавший его А. Вышинский) «благодарил за выставленный почетный караул, подчеркнув, что его особенно тронуло исполнение русским (как выразился Бивербрук) военным оркестром гимна Великобритании».[58]

Другим сюрпризом для англосаксов стало политическое воскрешение М.М. Литвинова, который был возвращен из опалы и специальным постановлением ГКО от 25 сентября введен в состав советской делегации на конференции.[59] Союзники быстро оценили значение этого «жеста доброй воли» и, как мы увидим, умело воспользовались им для дальнейшего возвышения бывшего наркома — давнего сторонника сотрудничества с западными демократиями. Перед вылетом из США в интервью для прессы Гарриман напрямую передал новый дух подхода администрации к помощи Советскому Союзу: «Мы едем не в роли благодетелей, а потому, что каждый самолет, танк и пушка, которые мы им посылаем, будут использованы для ослабления сил нацизма, угрожающего нам самим... Их борьба против гитлеровской угрозы есть по сути и наша борьба».[60]

Англо-американцы добирались в Москву сначала по морю до Архангельска, а оттуда самолетом в столицу с эскортом из шести истребителей, что не помешало столичным зенитчикам обстрелять группу, по счастью — безуспешно. «Положение дел могло бы несколько осложниться, если бы наша миссия была сбита русскими еще до прибытия», — откомментировал эпизод в своем дневнике английский делегат Г. Бальфур.[61]

К тому времени стали меняться и военные оценки ситуации на советско-германском фронте. Даже враждебно настроенная армейская разведка в начале сентября хотя и предсказывала падение Ленинграда, Киева и Одессы, считала «свержение сталинского режима возможным, но пока еще невероятным».[62] Военные же планировщики США пришли

к выводу о том, что только СССР может сковать основные силы вермахта и тем самым решить главную стратегическую задачу США в войне — выиграть время для создания военно-экономического потенциала, достаточного для ведения крупных наступательных наземных операций против стран «оси», которые планировалось начать не ранее 1943 г.[63]

Поддержание активного фронта в России представляет наилучшую возможность для успешного наступления против Германии на суше, говорилось в совместной оценке армии и ВМС: «... Если советские войска будут отброшены даже за Уральские горы и если они будут продолжать там организованное сопротивление, всегда будет существовать надежда на окончательное и полное поражение Германии при помощи операций на суше. Надлежащее вооружение русских сил, как путем снабжения их оружием извне, так и путем обеспечения производственных мощностей в бассейне реки Волги и к востоку от Уральских гор, явится одной из наиболее важных мер, какие могут быть приняты союзными державами».[64]

Прибыв в американское посольство на Моховой, Гарриман обнаружил разбитые взрывной волной оконные стекла и деморализованный, пассивный дипсостав, из которого ему понравились лишь молодые секретари Ч. Тайер и Л. Томпсон. Остальные, вспоминал Тайер, «считали его миссию никчемной, а его самого — выскочкой, сующим нос не в свое дело».[65]

Перед первой встречей Гарримана и Бивербрука со Сталиным американцы с помощью англичан решили избавиться от присутствия на ней Уманского, которого в Вашингтоне недолюбливали за большую настырность и подозреваемые связи с советской разведкой. Бивербрук с Гарриманом сговорились попробовать заменить Уманского на встрече со Сталиным Литвиновым, к которому, как вспоминал Гарриман, «мы имели доверие» [66] Третий секретарь английского посольства Денлоп передал в секретариат наркома просьбу посла Ее Величества Криппса: «...участие в сегодняшней беседе Уманского очень нежелательно для Бивербрука (Денлоп два

раза подчеркнул «очень нежелательно»). Если потребуется квалифицированный переводчик, то нельзя ли пригласить г-на Литвинова». Просьба посла была удовлетворена столь молниеносно, что перезвонивший через полчаса Дэнлоп не мог поверить своим ушам. «Денлоп переспросил — Литвинов? — я ответил утвердительно, — зафиксировал в записи разговора помощник наркома С. Козырев. — Тогда он еще раз спросил: «Максим Максимович?» — я ответил: Да, Максим Максимович Литвинов».[68]

До встречи со Сталиным оставалось чуть больше часа, и Литвинова срочно доставили в Кремль в потрепанном домашнем виде. «Его неряшливая одежда, — вспоминал Гарриман, — объяснялась, видимо, тем, что его вызвали так срочно, что на переодевание не было времени».[68] (На ланче с доверенными журналистами по возвращению из Москвы Гарриман выразится несколько иначе — «Литвинова вынули из нафталина»).[69]

Для Уманского же внезапное отстранение от участия во встрече с вождем стало большим ударом. Узнав, что его участие «отпало», он пишет от руки взволнованную записку Молотову, сохранившуюся в архиве последнего: «О том, что я буду привлечен к этому приему в роли переводчика, я узнал лишь из разговора с Вами по вертушке около 4 часов 30 минут (т.е. за 10 минут до первого звонка Дэнлопа. — *Авт.*). Если англичане действительно исходили из того, что я буду присутствовать при приеме тов. Сталиным Бивербрука и Гарримана, то это, по-видимому, было их догадкой, ибо и Рузвельту, и Бивербруку, и Гарриману было известно в течение месяца о том, что я выезжаю в Москву в связи с совещанием, причем Рузвельт и Хэлл выражали удовлетворение, упоминали о моем знании США и языка.

Очень прошу Вас, дорогой Вячеслав Михайлович, разъяснить мне при первой возможности обстоятельства этого дела, которое меня сильно поразило и огорчило, т.к. мне казалось, что я сегодня могу пригодиться. С товарищеским приветом, Уманский».[70]

Оправдываясь перед наркомом в «неразглашении» своей возможной роли на переговорах, Уманс-

кий, видимо, немного лукавил. Согласно донесению Штейгардта в Вашингтон от 29 сентября советский посол успел-таки намекнуть ему на свое предстоящее появление на приеме у Сталина, о чем американец не замедлил сообщить Гарриману с Бивербруком.[71] Но, подставив ножку Уманскому, не уцелел и сам Штейнгардт. На следующий день, во время последней встречи со Сталиным, Гарриман дал отрицательный отзыв об Уманском; Сталин в свою очередь резко отозвался о Штейнгардте как человеке, «распространяющем пораженческие слухи», «неуважительно отзывающемся о русском правительстве» и «не верящем в победу».[72] Вскоре после окончания конференции Штейнгардта в Москве сменил маститый адмирал У. Стэндли, а Уманского в Вашингтоне — тот же Литвинов, агреман на которого был выдан в рекордно короткий срок — в день получения запроса.[73]

В своем вступительном слове при открытии конференции Гарриман был предельно лаконичным и определенным: «Обещаю вам всю возможную помощь сегодня, завтра и покуда идет наша борьба до окончательной победы. А теперь давайте примемся за работу».[74]

Состоявшаяся накануне первая встреча союзников со Сталиным убедила англосаксов в правильности избранного ими курса. «Сталин, — пишет биограф Гарримана Р. Абрамсон, — впечатлил Гарримана и Бивербрука, как до них и Гопкинса, инженерным знанием технических деталей и бухгалтерским владением статистикой. Он знал скорость, дальность полета и грузоподъемность американских самолетов, скорострельность американских пушек, расход горючего и мощность танковых двигателей».[75] При этом Сталин, по свидетельству Гарримана, не давал никаких заверений о судьбе советской столицы, но «решимость Сталина на меня произвела большое впечатление и я надеялся, что с приближением холодов есть шанс удержать Москву. Я был уверен, что этот шанс достаточен, чтобы оправдать все наши усилия по помощи русским. Ставки были так велики, а затраты минимальны... поэтому я терпеть не мог негативизма нашего военного атташе и других, готовых сдаться без боя».[76]

Работа конференции протекала в деловой обстановке партнерского торга. Советские заявки во многом расходились со списками англо-американцев, которые экономно выдавали заранее спланированные уступки. Наибольшие расхождения имели место по боевым самолетам — советская сторона запрашивала 300 бомбардировщиков и 100 истребителей ежемесячно, а союзники предлагали 300 истребителей и 100 бомбардировщиков, причем в основном старых типов. «Несмотря на неоднократные и настойчивые требования, добиться изменения в соотношении бомбардировщиков и истребителей не удалось», — докладывал Молотову руководитель советской части авиационной комиссии на конференции нарком авиационной промышленности А.И. Шахурин.[77] Союзники хорошо понимали военное и психологическое значение тяжелых бомбардировщиков для Советского Союза, но берегли их для своих собственных нужд.[78] Советские представители, со своей стороны, не особенно стеснялись в запросах, быстро усвоив требовательный тон в отношениях с новыми богатыми союзниками. «Считаю необходимым при переговорах с американской и английской делегациями, — докладывал, например, Сталину и Молотову нарком танковой промышленности В.А. Малышев, — потребовать от них поставки отдельных, наиболее трудоемких и технически сложных механизмов (узлов) для танков КВ и Т-34».[79]

Сталин внимательно следил за работой конференции; трижды принимал Гарримана и Бивербрука, действуя по тщательно разработанной схеме: после первой теплой беседы обдал их холодом на второй, обвинив их в «желании поражения СССР», а на третьей — после дополнительных уступок союзников опять сменил гнев на милость. И тогда уже Молотов дожал размягченных англосаксов по вопросу об оформлении достигнутых договоренностей в виде официального протокола конференции, хотя союзникам очень не хотелось жестко закреплять свои обязательства. Бивербрук было возразил, сославшись на отсутствие такой практики в англо-американских отношениях и упоминания о прото-

коле на предыдущих обсуждениях, но Молотов «разъяснил ему», что «между Англией и Америкой не было официальных конференций, а сейчас собралась конференция трех держав, которую необходимо заключить какой-нибудь резолюцией».[80] Ни Гарриман, ни Бивербрук не имели полномочий на подписание политических соглашений, но времени на согласование уже не оставалось, и оба посла рискнули поставить свои подписи. Секретный протокол, подписанный по итогам работы конференции, стал первой согласованной программой англо-американских поставок Советскому Союзу — знаменитым потом «Первым протоколом». Важный вклад руководителей делегаций союзников в разработку этой программы был очевиден для всех участников. Слова благодарности Молотова «за их исключительные труды» встречали «бурные, долго не смолкающие аплодисменты».[81]

На прощальном обеде в Екатерининском зале Кремля 2 октября царила доселе невиданная в отношениях с западниками обстановка «сердечного радушия», как отметил в донесении даже брюзга Штейнгардт.[82] Тон на этом первом большом союзном застолье военных лет задавал сам Сталин, выступавший в роли гостеприимного хозяина: он лично угощал гостей, провозглашал теплые тосты, подходил к каждому из почти ста членов союзных делегаций и сотрудников посольств, включая самых младших по званию («что было весьма приятно, — записал в дневнике секретарь Гарримана лейтенант Р. Мейкледжон, — даже при том, что это был старый пират Сталин»).[83] Сталин особенно выделил роль США и лично Рузвельта, которые, по его словам, хотя и не являются воюющей стороной, помогают Советскому Союзу больше, чем иные воюющие союзники. Гости, впервые испытавшие на себе воздействие сталинского магнетизма, были под неизгладимым впечатлением от этой демонстрации радушия и хладнокровия перед надвигавшейся на Москву смертельной опасностью, о которой напоминали залпы кремлевских зениток за окнами дворца (одна из автомашин английского посольства получила при этом повреждения). Англосаксы состязались

между собой в борьбе за знаки внимания со стороны Сталина, а Бивербрук записал на следующий день переводчик Сталина В. Павлов, «выразил желание получить портрет тов. Сталина по возможности с автографом, а также снимки подписания секретного протокола 2 октября. Подошедший во время нашего разговора секретарь американского посольства Гайер заявил, что члены американской делегации также желали бы получить то же самое. В шутливой форме он добавил, что если американская делегация не получит портретов, то Америка будет воевать с Англией».[84]

Успешное завершение работы конференции вызвало прилив неподдельного оптимизма с советской стороны. «Когда мы приехали в Москву, — вспоминал потом Гарриман, — то ощущали, что на уме у всех русских был только один немой вопрос — «Неужели Америка и Англия на самом деле собираются нам помочь?» К нашему отъезду Сталин, я уверен, был удовлетворен — он получил ответ на этот вопрос».[85] Понимание исторической важности происходящего разделяли и англо-американские участники. Гарриман, записал в своем дневнике тот же Мейклджон, «вернулся из Кремля с видом кота, проглотившего мышь... По его словам, ничего важнее в своей жизни он еще не совершал».[86]

Суть и последствия происшедшего эмоциональнее всего выразил Литвинов, когда на заключительной встрече Сталина с Гарриманом и Бивербруком 30 сентября в момент вручения Сталину согласованного списка поставок он «вскочил со стула» и, прервав свой собственный перевод, горячо воскликнул: «Теперь мы выиграем войну!»[87] И даже бесстрастно-подозрительный Молотов нашел взволнованные и точные слова в своей заключительной речи на закрытии конференции: «Это происходящее на наших глазах объединение усилий таких великих держав, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз, во многом предрешает конечный успех нашей борьбы с гитлеровцами... наконец-то против гитлеризма создалось объединение таких государств, которые найдут

пути и средства, чтобы стереть с лица земли нацистский гнойник».[88]

Не случайно на следующее утро советские газеты делали главный упор на главном —материальном итоге работы конференции — формировании нового соотношения сил на мировой арене. «Известно, что сочетание индустриальных и сырьевых ресурсов Советского Союза, Британской империи и Соединенных Штатов Америки представляет собой практически неисчерпаемую силу, с которой не могут идти ни в какое сравнение соответствующие ресурсы каких бы то ни было других держав или комбинаций держав».[89] «Правда» писала о возникновении «единого фронта свободолюбивых народов», «могущественной коалиции, располагающей как неисчислимыми людскими резервами, так и громадными материальными ресурсами».[90] С тех пор в советской официальной риторике и пропаганде утверждается «союзническая» терминология — «единый антигитлеровский фронт», «антигитлеровская коалиция свободолюбивых народов» и т.д.

В советской системе тон этой пропаганды мог задаваться только с «самого верха», хотя о психологическом воздействии руки помощи, протянутой союзниками, на самого Сталина мы можем только догадываться. Думается, что при всей подозрительности и враждебности к капиталистическому Западу оно было очень значительным. Конечно, в Кремле прекрасно понимали эгоистические мотивы этой поддержки, и это понимание в свою очередь не было тайной для американской стороны. «Россия, — писал, например, своему руководству генерал А. Ведемейер, — не доверяет нам и, реально говоря, прекрасно понимает, что наш внезапный дружественный интерес является сугубо эгоистическим».[91]

Но вместе с тем даже такая поддержка отнюдь не представлялась неизбежной или безальтернативной. Куда более вероятной с точки зрения классовой логики и морали самих кремлевских вождей выглядела позиция выжидания в духе tertins gaudens (третьего радующегося), рассчитанная на взаимное истребление двух враждебных Соединенным Штатам диктаторских режимов. Именно

такую позицию стремился занять сам Сталин в 1939—1940 гг., и к этому же призывали теперь многие политики США вроде сенатора Г. Трумэна с его нашумевшей формулой: «Если мы увидим, что побеждает Германия, мы обязаны помогать России, а если будет побеждать Россия, то мы обязаны помогать Германии, и пусть таким образом они убивают друг друга как можно больше...».[92]

В том, что «просвещенный эгоизм» в политике США возобладал над узкошкурным, была, как хорошо знали в Кремле, большая личная заслуга Рузвельта. Отзвук этой смешанной с удивлением благосклонности отчетливо слышен даже в конце войны в ялтинском тосте Сталина за здравие Рузвельта — человека, «страна которого не подверглась серьезной угрозе вторжения, но у которого были, очевидно, более широкие взгляды на национальные интересы, и, хотя его стране не грозила непосредственная опасность, он явился главным инициатором мер, приведших к мобилизации всего мира против Гитлера».[93]

Однако спасительный союз со вчерашним классовым врагом создавал и некоторые проблемы внутри страны, прежде всего — психологического свойства. Попросту говоря, нужно было ответить на вопрос, который (как сигнализировала партийная служба информации) сбивал с толку многих советских людей: «Почему нам помогают Англия и Америка, ведь они же капиталисты?»[94] Сталин сам ответил на этот вопрос в своей речи от 6 ноября 1941 г., задавшей тон всей дальнейшей советской пропаганде. Он провел качественное различие между фашизмом и англосаксонскими демократиями, которые «не только не присоединились к походу немецко-фашистских захватчиков против СССР, а, напротив, оказались в одном лагере с СССР против фашистской Германии».[95]

Таким образом, недавняя «межимпериалистическая» война превращалась в освободительную войну всех «свободолюбивых народов» против фашистской тирании, а в тактическом плане возрождалась линия VII конгресса Коминтерна на созда-

ние широких межклассовых коалиций всех антифашистских сил.

Но идеологическое оправдание союза с западными демократиями было лишь частью задачи его практической реализации. «Представляется экстренно важным, — писал Гарриман Гопкинсу под свежим впечатлением от встречи в Москве, — как можно скорее отправить максимальное количество практически важных материалов с тем, чтобы перевести дух нашей конференции в реальные дела».[96] Однако перевод этот оказался сложным делом, а реальная судьба первого протокола — гораздо труднее, чем его многообещающее начало. Даже при условии выполнения протокола объем и график запланированных поставок делали их вклад в военную кампанию 1941 г. очень скромным. Они, как признавали «про себя» сами американские планировщики, «не могут достичь решающих размеров достаточно скоро, чтобы оказать большое воздействие на русскую ситуацию в 1941 году».[97] Но и эти планы были сорваны. Одной из проблем стал вопрос об оплате американских поставок, не решенный на Московской конференции. Попытки советской стороны, начиная с июля, получить крупный кредит на эти цели долго не давали результата, а небольшие авансы министерств обороны и финансов под будущие поставки советского сырья в США далеко не покрывали все возрастающих расходов. В ход пошел золотой запас СССР — в сентябре к берегам США секретно отправилось первое советское судно с 10 тоннами золота на борту (общей стоимостью 30 млн. долл.)[98] Но и эта сумма была явно недостаточной. В послании от 30 октября Рузвельт сообщил Сталину о выделении советскому правительству беспроцентного займа в 1 млрд. долл. для оплаты американских поставок. Благодарственный ответ Сталина от 4 ноября был на редкость теплым и прочувствованным — решение администрации характеризовалось в нем как «исключительно серьезная поддержка Советского Союза в его громадной и трудной борьбе с нашим общим врагом, с кровавым гитлеризмом».[99]

С разрешения Белого дома это послание президента было использовано в речи Сталина по поводу

ей годовщины Октябрьской революции как убедительное свидетельство крепнущей солидарности «свободолюбивых народов». К этой же годовщине Рузвельт приурочил и еще один подарок — распространение на СССР действия закона о ленд-лизе, переводившее дальнейшие расчеты по поставкам на некоммерческую основу.

Решение этого вопроса не снимало других проблем — бюрократической волокиты, межведомственных разногласий в отсутствии единого механизма управления советским ленд-лизом, скрытого сопротивления американских военных, ревниво охранявших свои запасы и секреты. Каждый новый советский запрос проходил длительную процедуру проверок и согласований с участием военной разведки. Вот, например, как выглядела ключевая стадия этого процесса на примере запроса Амторга по снаряжению для защиты от химического оружия. Отдел внешних связей службы химической войны давал характеристику запрашиваемого снаряжения с точки зрения содержавшейся в нем секретной информации, ее значения для дальнейших разработок в этой области и возможных последствий его передачи Советскому Союзу. В данном случае подчеркивалось, что передача этого снаряжения вызовет дополнительные запросы русских и, «вероятно, втянет нас в интенсивный и далеко идущий обмен». На основе этого заключения армейская разведка («Джи-2») давала свою рекомендацию, которая, как правило, решала судьбу запроса. В данном случае аргументы и выводы разведки были таковы: «а) Россия не проявляет взаимности в раскрытии информации; б) запрос Амторга не содержит предложений по раскрытию данных русской службы химической защиты; в) представляется, что советская сторона не планирует никакого реального обмена; г) миссии русских в нашей стране не ограничиваются военными нуждами, а пытаются заполучить промышленные и другие секреты; д) передача запрошенных материалов раскроет практически весь защитный набор службы химической войны в Америке.

Рекомендуем ответить в том духе, что запрошенное снаряжение недоступно для поставок ввиду

его дефицита и предстоящих изменений в конструкции».[100]

Повторный, гораздо более скромный советский запрос (10 комплектов защитной одежды) ждала та же участь, если бы не вмешательство Гопкинса. «Джи-2» возражает по причине скрытности и отсутствия взаимности в обмене информацией со стороны русских, — докладывал Дж. Маршаллу один из его помощников. — М-р Гопкинс считает целесообразным в интересах развития сотрудничества удовлетворить этот запрос русских, но ждет Вашего согласия». «О'кей» — поставил на полях Маршалл.[101] Но подчас и вмешательства Гопкинса оказывалось недостаточно, особенно если речь шла о вещах более серьезных, чем десяток костюмов для химзащиты. В начальный период войны Красная Армия испытывала острую нужду в транспортной авиации. В марте 1942 г. посол М.М. Литвинов обратился к Гопкинсу с экстренной просьбой советского правительства — выделить срочно хотя бы сто из запрошенных шестисот транспортных самолетов, пусть даже бывших в употреблении, а затем направлять по 25 самолетов ежемесячно. Гопкинс препроводил это письмо заместителю Стимсона Р. Ловетту с припиской: «...Первоначально они запросили немыслимое количество, но мне кажется важным дать им хотя бы что-нибудь... с точки зрения стратегии транспорт в России не менее нужен, чем в любой другой точке света».[102] Гопкинса поддержал начальник управления планирования штаба армии генерал Д. Эйзенхауэр, подчеркнувший, что оборона России не «менее важна, чем оборона Соединенных Штатов и Объединенного Королевства, а что касается наступательных операций, то этот (советско-германский. — *Авт.*) фронт — единственный, где они ведутся на сегодняшний день».[103] Получив согласие Стимсона на выделение до конца года ста самолетов, Гопкинс дает команду генералу Бёрнсу срочно запустить его в дело — «самолеты для России надо найти чертовски быстро».[104]

Однако последнее слово оставалось за Объединенным комитетом начальников штабов (ОКНШ) США и Великобритании, а он под нажимом командо-

ция ВВС обеих стран (генерал Г. Арнольд, фельдмаршал Дж.Дилл) наложил вето на решение Стимсона. Единственной «уступкой» ОКНШ было указание «как можно тщательнее» подойти к составлению ответа русским.[105] Был подготовлен очень витиеватый проект ответа, в котором кроме прочих причин указывались острый дефицит этой техники в США и необходимость подготовки открытия «второго фронта» в Европе. Но проект не пригодился — неблагодарную задачу объяснения с советскими представителями взял на себя Гопкинс, который, как отмечалось в справке ОКНШ, «устно объяснил русским невозможность поставок им транспортных самолетов. Иными словами, дело закрыто».[106]

Дефицитность того или иного вида техники или вооружения как наиболее расхожее наряду с секретностью основание для отказа было трудно проверить даже американским гражданским властям. Порой приходилось добывать эти сведения окольными путями. Вот что писал, например, главный куратор советского ленд-лиза Гопкинс президенту Рузвельту в ноябре 1941 г.: «Соглашение с русскими предусматривает отправку в Россию 375 пушек «Томми» в этом месяце и значительно большего количества в декабре. Боб Паттерсон (заместитель военного министра. — *Авт.*) сообщил мне по секрету, что ситуация с 45 мм калибром улучшилась, и я считаю крайне важным отправить максимальное количество «Томми», поскольку это одна из самых ценных для них пушек».[107] Президент в ответ тут же подписал соответствующее распоряжение шефу автора «утечки» Стимсону.

Советская система обмена военно-технической информацией с союзниками была более централизованной и регулировалась специальной комиссией при ГКО под руководством наркома В.А.Малышева. Но и при этом отдельные, подчас не принципиальные вопросы привычно отправлялись на «самый верх». «Прошу разрешить передать Микеле трофейный немецкий пулемет «МГ 34», — докладывал Сталину начальник Главного артиллерийского управления генерал Н.Д. Яковлев. — Описание его

американцы имеют... Секрета для иностранных армий не представляет».[108]

Но даже после выделения соответствующей техники или снаряжения оставалась проблема доставки — судов не хватало и советские поставки нередко залеживались в портах до очередного вмешательства сверху. В том же ноябре 1941 г. помощник Гопкинса генерал Дж. Бёрнс докладывает президенту об очередном беспокойстве своего шефа: «По его мнению, армия не делает все возможное для отправки поставок в Россию, но это должно быть сделано, даже за счет других частей нашей программы перевозок. В настоящее время поставки в Россию накапливаются в доках из-за нехватки тоннажа». Рузвельт в тот же день дает срочное указание главе комиссии по морским перевозкам адмиралу Э. Лэнду — «предпринять все необходимые усилия для обеспечения тоннажем программы помощи Советскому Союзу... Корректировка программы может быть оправдана только непреодолимыми физическими препятствиями».[109] 25 ноября президент пишет на докладной записке Гопкинса о поставках в СССР американских самолетов: «О'кей, но передайте им от моего имени — скорее, скорее, скорее!»[110]

В архиве Рузвельта есть немало других примеров этого рузвельто-гопкинского тандема в действии. Ключевая роль Гопкинса как главного «толкача» советского ленд-лиза была особенно важна в этот его самый трудный начальный период. «Конфликт между нуждами Америки и наших союзников был всегда, и нашим людям очень не хотелось бы отдавать что-либо ввиду ограниченности собственных ресурсов, — вспоминал впоследствии А. Гарриман. — И здесь Гопкинс был движущей силой, наряду с Бивербруком в Англии, для того, чтобы перевозить как можно больше... Если бы не Гопкинс, наши поставки союзникам свелись бы к минимуму».[111]

6 декабря Гопкинс сообщал Гарриману в Лондон, что в поставках Советскому Союзу намечается прогресс, и просил информировать об этом Черчилля и Бивербрука «поскольку очень важно, чтобы они понимали — наша страна выполняет свои обязательства перед русскими».[112] Но на следующий день

грянул Перл-Харбор, и теперь уже американские союзники оказались в состоянии войны сразу с обеими ведущими державами «оси». Этот крутой поворот в военной ситуации резко осложнил обстановку с наличием ресурсов для советского ленд-лиза и в особенности — с тоннажем. К концу года план поставок по Первому протоколу был провален полностью. В затребованном президентом отчете Стимсона о советских поставках за первые три месяца (октябрь—декабрь) констатировалось, что даже с учетом еще не доставленной, но отгруженной техники недовыполнение плана составило: по танкам — 298 (из обещанных 750), по истребителям — 780 (из 900), по легким бомбардировщикам — 747 (из 828), по зенитками — 148 (из 152). По большинству статей министр обещал выйти на уровень плановых поставок лишь к весне — лету 1942 г.[113]

Рузвельт поставил более жесткие сроки: с 1 января 1942 г. вернуться к ежемесячным плановым показателям, а к 1 апреля 1942 г. покрыть всю накопившуюся недостачу. 17 марта специальной директивой президент поставил обязательства по Первому протоколу выше всех других военных программ США.[114]

В конечном итоге к концу срока действия Первого протокола (31 июня 1942 г.) в стоимостном отношении он будет выполнен на 80% (по подсчетам американской стороны).[115] Но это будет потом, а пока конфидант Гопкинса в Москве — глава миссии военного снабжения полковник Феймонвилл — писал о «большом разочаровании» советских властей в связи с неполучением «материалов, обещанных в 1941 году».[116] Армейская разведка также доносила из Москвы о «сильном недовольстве уровнем поставок из США, которое в целом является оправданным». Во многом из-за «этого отношения США с Россией остаются неудовлетворительными».[117]

«Разочарование» было мягко сказано. В Москве велась своя статистика по Первому протоколу, данные которой с учетом реально доставленных в СССР грузов были еще плачевнее. В справке для Сталина и Молотова «О выполнении обязательств, принятых на Московской конференции трех держав, Вели-

кобританией и Соединенными Штатами Америки», представленной Микояном по итогам первых трех месяцев, отмечалось, что «Великобритания выполняет свои обязательства более или менее точно и аккуратно, чего нельзя сказать о поставках из США». Недопоставки по боевой технике усугублялись практически полным отсутствием обещанного алюминиума, никеля, цинка, станков. Назывались и некоторые виновники: «Морская комиссия явным образом срывает поставку грузов в Советский Союз... Под погрузку выбираются наиболее плохие суда, погрузка в портах идет медленно, а в ряде случаев имели место происшествия, которые следует рассматривать как диверсионные акты (приводился пример «поджога» парохода «Баллиш» в нью-йоркском порту в декабре 1941 г. — *Авт.*) ...Следует отметить, что такого рода «происшествия» не имеют места с английскими и советскими судами, которые шли из портов Англии». Вывод наркома был однозначен: «Представители американского правительства щедро дают обещания и бесцеремонно нарушают свои обязательства. Причем срыв поставок американцами не объясняется только саботажем отдельных враждебных нам элементов. Не объясняется также отдельными трудностями. Срывают наши поставки Военное и Морское министерства, конечно, не без ведома правительства.

Наши неоднократные сообщения о всех фактах срыва представителям американского правительства не привели, до сих пор, к улучшению положения».[118]

Еще через четыре месяца уже всемогущий глава НКВД Л.П.Берия докладывал Сталину об итогах выполнения Первого протокола на основе донесений своей резидентуры в США: «Вопреки официальной политике американского правительства, работа многих государственных чиновников и учреждений США, занимающихся реализацией производственной программы по закону о сдаче взаймы или в аренду вооружения, в отношении СССР характеризуются нерешительностью и саботажем. Такое положение является следствием первоначальной позиции верхушки американской армии, которая ожидала раз-

грома СССР в течение 3-4 недель, а также следствием большой политической борьбы в США вокруг «русского вопроса» и большой подрывной работы, проводимой вражеской агентурой». Особенно плохо, по сообщению разведки, обстояло дело с поставками промышленного оборудования, что объяснялось политическими причинами («американцы всячески противятся развитию и восстановлению нашей новой базы»), как и с недопоставкой самолетов, которые «производятся в массовом масштабе». Хотя, по данным НКВД, в начале 1942 г. объем американских поставок заметно возрос, общий план Первого протокола к 1 июля выполнен не будет, ибо «Московский протокол рассматривается вышеупомянутыми кругами не как программа, а как политическая декларация».[119]

Острота этой советской реакции объяснялась критичностью положения на фронте, искренним разочарованием после первоначальной эйфории и больших надежд на помощь союзников и сохраняющейся идеологической враждебностью к Западу, питавшей наихудшие подозрения относительно его подлинных мотивов. Весьма упрощенной была и картина расстановки политических сил по вопросу помощи Советскому Союзу, которую рисовали советские представители: гораздо проще и безопаснее было свалить все на происки антисоветских сил, вместо того чтобы разобраться в объективных трудностях с американской стороны. Сказывалось и непонимание особенностей американской политической системы, резко ограничивавшей возможности президента в навязывании своей линии обществу и органам государственной власти. Отсюда — явное раздражение «неспособностью» (или еще хуже — нежеланием) Рузвельта «навести порядок», «свернуть шею оппозиции» и т.п.

Весь начальный период советско-германской войны в американской политике действительно шли активные дебаты по «русскому вопросу». Помимо убежденных изоляционистов против расширения помощи Советскому Союзу выступали те, кто считал первоочередным делом помощь испытанному союзнику — Великобритании, а также те, кто

считал, что помощь США попадет в руки немцев в результате разгрома СССР или его сговора с Гитлером. Были и те, кто опасался, что эта помощь дойдет по назначению и усилит потенциально враждебную Соединенным Штатам «коммунистическую диктатуру». «Поскольку политическая идеология России диаметрально противоположна идеологии Соединенных Штатов и Англии, — писал в записке для штаба армии глава его «мозгового центра» — группы стратегии и политики генерал А. Ведемейер, — мы не можем быть уверены в том, что наша материальная помощь в будущем не будет использована против нас».[120]

Антисоветские и антикоммунистические настроения имели глубокие корни в конгрессе, печати, общественном мнении, военных и дипломатических ведомствах. Идея помощи вчерашнему, а возможно, и завтрашнему врагу была далеко не бесспорной, тем более что сама рузвельтовская администрация уже давно, со времен «нового курса», атаковалась теми же правыми силами за «сползание» к социализму и «преступную мягкость» в отношении коммунизма. Для Рузвельта же и его сторонников позиция по принципу «обе хуже» противоречила здравому смыслу и национальным интересам страны. Отвечая разносчикам «советской угрозы» с их посылом о том, что «в случае победы большевизм проглотит всех нас», Гопкинс в начале 1942 г. писал директору Библиотеки конгресса поэту А. Маклишу: «Те, кто долгие годы искал под своими кроватями красных, за частую просто прячут свои фашистские симпатии. Двадцать три года русского коммунизма не заставили нас добавить в наши вооруженные силы ни одного солдата или матроса. А германский нацизм за семь лет вырос в такую угрозу, что нам пришлось начать самую большую в нашей истории программу вооружений, чтобы защитить свой образ жизни».[121]

С не меньшим возмущением — как проявление «пятой колонны» — квалифицировал Гарриман на совещании в госдепартаменте по советскому ленд-лизу домыслы насчет возможности советско-японского сговора — «невозможно, чтобы русские пошли на какое-то предательство».[122]

Для рузвельтовцев не было сомнений в том, кто настоящий враг, а кто союзник Америки и каковы ставки в титанической борьбе, развернувшейся на российских просторах. «Если падет Россия, а за ней Великобритания, — говорил в одном из публичных выступлений осени 1941 г. Гарриман, — то Соединенные Штаты останутся один на один с самой гигантской военной машиной в мире, опирающейся на самую большую промышленную мощь, находящуюся под единым контролем».[123]

Отсюда — понятное стремление рузвельтовской «команды» сделать все возможное для ускорения советских поставок, зачастую действуя в обход военных и дипломатических бюрократий. К началу 1942 г. складывается своеобразный «треугольник» советского ленд-лиза: Рузвельт и Гопкинс — в Вашингтоне, Гарриман — в Лондоне и Феймонвилл — в Москве. Последний поддерживает прямую связь с Гопкинсом, действуя через голову посла Стэндли и своего армейского начальства в Вашингтоне, которые считают его «просоветским». От Феймонвилла Гопкинс узнает о настроениях и запросах советского командования, направляя наиболее важные из его депеш президенту, как, например, эту в феврале 1942 г.: «По мнению русского Генштаба, гитлеризм может быть разбит на русском фронте быстрее и окончательнее, чем где-нибудь еще, но для этого необходимо срочно увеличить поставки боеприпасов и помочь их советскому производству...».[124] В свою очередь поступающая от Феймонвилла наиболее важная информация доводится до Сталина — как в случае сообщения о благоприятной реакции Гопкинса на советский запрос о дополнительной поставке 20 сухогрузов и 6—7 танкеров.[125]

То, что главным каналом связи Белого дома с Кремлем в эти критические месяцы был простой американский полковник, нарушало привычные представления о субординации, и в начале 1942 г. Гопкинс, преодолевая сопротивление недругов Феймонвилла в штабе армии, выхлопотал ему временное повышение в звании до генерал-майора. «У нас сейчас нет посла в России, и по ряду причин для нас оказалось невозможным выполнить свои обяза-

тельства по Протоколу, — писал он генералу Дж. Маршаллу в обоснование своей просьбы (посол Стэндли к тому времени еще не прибыл в СССР. — *Авт.*). — Сражающаяся Россия несомненно ослабляет Германию больше, чем все остальные военные театры вместе взятые... Феймонвилл — не только наш представитель по ленд-лизу, но и единственный реальный контакт правительства Соединенных Штатов с Советами... Он знает и понимает русских, а они расположены к нему. Ему требуется престиж — русские должны видеть, что мы ему полностью доверяем... Уверен, что если Вы положите руку на его плечо, это не только придаст ему уверенности, но и очень поможет в его контактах с русскими».[126] Маршалл пошел навстречу Гопкинсу, хотя доносы на «красного полковника» поступали к нему с разных сторон, включая и московское посольство.

Между тем Гарриман в Лондоне следил за выделением советской доли английского ленд-лиза и даже установил свою собственную переписку с самим Сталиным, обещая ему в конце января «рост числа судов для России в следующем месяце».[127] Рузвельт, получая сигналы от Гопкинса и Гарримана, подгонял морские перевозки: в те же январские дни он опять наказывает адмиралу Лэнду: «Я чрезвычайно встревожен тем, что для России не выделяется достаточное количество судов... Считаю, что их следует отправлять даже без зенитного прикрытия. Вы просто должны найти суда, которые можно переключить на нужды России».[128]

Однако дело продвигается медленно, и 19 февраля уже Гопкинс выговаривает главе администрации ленд-лиза Э. Стеттиниусу: «Если вы отправили в Россию только 4 судна и еще 5 держите под погрузкой, то как же вы собираетесь отправить 29 судов, намеченных к отправке на февраль?»[129] К марту ситуация начинает выправляться: «Отправка грузов в Россию теперь идет очень хорошо, включая танки, самолеты и ряд критических видов сырья, — сообщает Гопкинс Гарриману. — Признание первостепенной важности русского фронта проникло во все места; мы выворачиваем наизнанку весь город, чтобы достать необходимые суда и снаряжение, и, по-

моему, у нас это наконец-то получается».[130] Возможно, что и сам Рузвельт не слишком иронизировал, когда в том же месяце говорил советскому послу, что «ему приятно каждый день заниматься вопросом о нашем снабжении и что он всех подталкивает и подгоняет».[131]

Этим же осознанием особой роли СССР был продиктован и установленный Рузвельтом исключительный статус советского ленд-лиза: от советской стороны (в отличие от тех же англичан) не требовалось обоснования ее заявок, которые в то же время получали безусловный приоритет над всеми другими. Приписываемая Гопкинсу формула «Давать, давать и не расспрашивать» довольно точно отражала суть этого подхода, вызывавшего глухое недовольство в военных и дипломатических ведомствах. В конце октября 1942 г. для решения бюрократических и кадровых проблем советского ленд-лиза был создан Комитет советского протокола, председателем которого стал Гопкинс, а исполнительным секретарем — генерал Дж. Бёрнс. В архиве Гопкинса сохранился проект его выступления при открытии этого комитета, по сути излагавшего своеобразный кодекс поведения для его сотрудников комитета, составленный Бёрнсом и Феймонвиллом. «Для улучшения наших отношений с Россией, — говорилось в документе, — следует придерживаться следующих принципов во всех делах, затрагивающих Россию и отношения с ее представителями:

1. Не предпринимать никаких шагов или высказываний, которые можно истолковать как попытки втянуть Россию в войну с Японией.

2. Во всех вопросах с русскими, особенно в случаях, вызывающих сомнения, занимать позицию великодушия.

3. Быть точным, честным и обязательным во всех обсуждениях.

4. Не пытаться выудить какую-либо информацию, которую русские считают секретной.

5. Не приписывать себе заслуг в военных достижениях русских как в виде наших военных усилий, так и наших поставок России».[132]

Как видно в, «русских делах» задавался тон максимально уважительного и великодушного отноше-

ния к советскому союзнику, учитывающий его психологические комплексы. В реальной жизни этот тон выдерживался, естественно, не всегда, о чем свидетельствует, в частности, еще один, более поздний документ из архива Гопкинса — проект президентской директивы госсекретарю и главам военных министерств с требованиями ко всем должностным лицам США, имеющим дело с советскими представителями. Документ, судя по всему, был подготовлен в Комитете советского протокола и сохранил правку Гопкинса, придавшую ему более сдержанный характер (сокращения выделены в тексте скобками, добавления — скобками и курсивом. — *Авт.*). «Я убежден, что искренняя (и долгая) дружба и *взаимопонимание* между СССР и США жизненно важны для победы в войне и будущего мира. Я также убежден, что (такая дружба) *взаимопонимание* лучше всего достигается проявлением (великодушного) сочувственного понимания советских проблем и задач, искренностью и откровенностью, а также предупредительным отношением ко всем советским представителям в духе демократического равенства. (Другими словами, здесь должна преобладать подлинная политика «добрососедства».)

Мы (должны глубоко ценить) ценим огромный вклад (крови и материальных затрат), который Советский Союз вносит в общее дело (и должны поднять наш вклад на соответствующий высокий уровень). Хотя мы сознаем, что они сражаются ради спасения своей собственной страны, мы понимаем, что их борьба крайне важна для нашей победы. Поэтому понятно, что помощь, оказываемая нами Советскому Союзу, предназначена прежде всего для разгрома общего врага, а не для таких (мелких) целей, как получение от него информации, которую он не хочет предоставлять.

Такая политика может быть эффективной, только если она проводится официальными представителями нашего правительства, которые ее полностью разделяют и лояльно поддерживают.

Настаиваю на том, чтобы эта политика была принята к немедленному исполнению и чтобы лю-

бые должностные лица, представляющие нашу страну в отношениях с СССР и не разделяющие нашу политику, подлежали замене».[133]

Таким образом наиболее рьяные энтузиасты помощи СССР хотели, видимо, подвести базу под скрытую «чистку» госаппарата от антисоветских элементов. Проект так и остался на бумаге (Рузвельт либо не получил его, либо не стал подписывать), но само его появление говорило о серьезности проблемы с «нелояльными кадрами» и о решительности наиболее радикальных рузвельтовцев в попытках ее решения.

Разумеется, великодушие «нью-дилеров» диктовались в основном эгоистическими соображениями: речь шла об «экономии американских жизней» (как откровенно говорили между собой военные руководители ленд-лиза)[134] и сам Рузвельт не раз называл поставки Советскому Союзу «прибыльным вложением».[135] Но для президента и его сторонников политическое значение советского ленд-лиза этим не исчерпывалось. Ленд-лиз был материальной основой нарождавшегося союза «большой тройки», «лучшим способом доказать добрую волю США, ослабить подозрения Сталина и заложить базу для послевоенного сотрудничества»[136], и в этом смысле являлся инвестициями в будущее.

«ЕСЛИ РОССИЯ ПАДЕТ...»

Но в начале 1942 г. экстренность усилий рузвельтовской команды на этом направлении объяснялась еще и критичностью ситуации на советско-германском фронте и опасениями того, что без американской поддержки Советскому Союзу не выстоять. Переоценка роли американской помощи была характерна и для антисоветски настроенных военных. «Продолжение советского сопротивления представляется возможным, пока Сталин жив и получает доказательства активной поддержки союзников», — сообщал из Москвы военный атташе Дж.Микела в апреле 1942 г.[1] В еще большей степени этот коплекс собственной необходимости был свой-

ственен сторонникам максимальной поддержки СССР. А. Гарриман, вспоминая свои «иллюзии» того периода, признавал, что «будучи под впечатлением от разрушения русской промышленности, я недооценил способность русских к контрнаступлению, которое развернулось в последующие годы, и считал, что они гораздо больше зависели от наших поставок, чем позднее оказалось на деле. Все-таки то, что они сделали, было поразительно».[2]

Однако в начале 1942 г. еще никто не знал, что Советский Союз выстоит. Контрнаступление Красной Армии под Москвой в марте кончилось, а по весне вермахт готовил новое генеральное наступление, которое могло стать решающим. Посол Литвинов в Вашингтоне бил тревогу, призывая руководство НКИД потребовать от союзников экстренного вторжения в Европу, пока еще не поздно. «Мы приветствовали бы создание второго фронта в Европе нашими союзниками, — отвечал ему Молотов. — Но Вы знаете, что мы уже трижды получили отказ на наше предложение о создании второго фронта и не хотим нарываться на четвертый отказ... Подождем момента, когда, может быть, сами союзники поставят этот вопрос перед нами».[3] Но ждать этого пришлось бы долго. Правда, военные планы союзников исходили из необходимости помощи Советскому Союзу в удержании советско-германского фронта. «Разгром России — самое плохое из всего, что может произойти, — говорил в марте Рузвельт министру финансов Г. Моргентау. — Я бы скорее пошел на утрату Новой Зеландии, Австралии и чего угодно еще, но только не России».[4] В те же дни Объединенный комитет стратегического обзора подчеркивал, что «Россию нужно поддержать всеми возможными средствами», ибо крах советско-германского фронта затянет войну на «неопределенное время»[5].

И президент, и военное командование хорошо понимали, что одного ленд-лиза может оказаться недостаточно для предотвращения «краха советско-германского фронта». Уже в марте 1942 г. Оперативное управление штаба армии во главе с генералом Д. Эйзенхауэром разработало план операции, который

предусматривал масштабное вторжение через Ла-Манш на север Франции весной 1943 г. («Раундап») и чрезвычайную «мини-операцию» такого же рода (силами 6—8 дивизий) летом—осенью 1942 г. («Следжхэммер») в случае непосредственной угрозы поражения СССР или внезапного «резкого ослабления» Германии. Бесспорные военные преимущества плана дополнялись важными дипломатическими и политическими плюсами. Дав Москве гарантии реальной военной помощи, считали американские военные, можно было бы избежать советско-германского сепаратного мира и сохранить СССР в качестве ударной силы в дальнейшей борьбе с Германией и Японией. О возможности капитуляции СССР и заключения им сепаратного мира с Германией при отсутствии вторжения союзников на европейский континент предупреждала в апреле и армейская разведка.[6] При этом операция «Следжхэммер» должна была осуществляться в основном британскими силами, имела мало шансов на военный успех, и рассматривалась как «жертвоприношение ради общего блага».

Английское руководство было против такого самопожертвования и американской стратегии «лобового удара» в целом. Британский подход к войне с Германией, разработанный в общих чертах еще в июле 1941 г., зиждился на стратегии изматывания противника силами Красной Армии в сочетании с блокадой, бомбардировками, подрывными операциями и ударами по периферии. «Германская армия настолько сильна, — говорилось в «Общей стратегии», подготовленной имперским генштабом, — что даже если русские смогут удержать восточный фронт, она будет в состоянии встретить нас на западе такими силами, которые при нынешнем состоянии немецкой боеготовности и морального духа мы не сможем одолеть. Сначала мы должны разрушить основания, на которых держится эта военная машина, — питающую ее экономику, поддерживающий ее моральный дух, поставки, которые ее питают, и надежды на победу, которые ее вдохновляют. Только после этого мы сможем вернуться на континент, оккупировать и взять под контроль территорию противника и навязать ему свою волю».[7]

Скрытые мотивы британской стратегии не были секретом для американских военных и дипломатов. «Великобритания всегда поддерживала свои позиции в Европе путем сохранения баланса сил на континенте, — говорилось в одном из докладов планировщиков Комитета начальников штабов. — Она должна продолжать эту политику для сохранения своих позиций и не может позволить Германии или России доминировать на континенте. Политика изматывания, блокады, окружения, истощения моральных и материальных ресурсов ее противников, а не проведение решительных наступательных операций — вот что характеризует британскую военную политику на протяжении ее истории. Еще одной отличительной чертой этой политики является использование народов и ресурсов других стран для обеспечения своего собственного превосходства».[8] В частном порядке американские дипломаты высказывались еще резче об эгоизме своих «кузенов». Реальные цели британской политики, писал дипломат-китаист Дж. Дэвис своим друзьям из Управления стратегических служб в конце 1943 г., включают в себя «экономию своих людских ресурсов — обмен солдат на время» и «ослабление мощи России как великой державы за счет оттягивания открытия подлинного второго фронта против германской армии...» Между тем, ставка на то, «чтобы германская и русская собаки пожирали друг друга, — предостерегал Дэвис, — вряд ли может породить что-то иное, кроме решимости русских преследовать исключительно свои собственные интересы».[9]

Неудивительно, что, согласившись в апреле на словах с предложением американского командования, Черчилль и английские военные принялись склонять Рузвельта и его генералов к «периферийной стратегии» в 1942 г. — замене «Следжхэммера» на «Гимнаст» — высадку в Северной Африке, которую британский премьер в переписке с президентом подавал как «настоящий второй фронт в 1942 году»[10]. В этой обстановке и состоялся известный визит В.М.Молотова в Лондон и Вашингтон для переговоров о втором фронте и советско-английском договоре. К тому времени ситуация на советско-германском фронте стала критической: провал Харь-

ской операции и поражение Красной Армии на Керченском полуострове угрожали крахом всего южного крыла фронта, а значит — потерей низовья Волги и бакинской нефти. Военная помощь союзников становилась как никогда необходимой.

Перед Молотовым стояла сложная задача — добиться от союзников обязательства скорейшего открытия второго фронта. На переговорах в Лондоне англичане уклонились от ясного ответа на этот вопрос, и теперь предстояло испытать на прочность американцев. Многие годы спустя Молотов будет говорить, что ни он, ни Сталин не верили всерьез в готовность англосаксов открыть второй фронт в 1942 г. и стремились выжать из них это обещание лишь в качестве средства давления на последующих переговорах[11]. Возможно, это и так: по крайней мере, сам Молотов, по заключению О.А. Ржешевского, был настроен в этом вопросе более скептически, чем Сталин, который «верил в реальную возможность достижения этой цели» и, как мы увидим, был готов немалым пожертвовать ради этого[12]. Так или иначе, советская сторона ничего не теряла от нажима на американцев в этом вопросе: в лучшем случае можно было с помощью согласия Рузвельта втянуть в это обязательство англичан, а если оно в конечном итоге окажется голословным — использовать его для поддержания морального духа советского народа, психологического воздействия на страны «оси» и как рычаг давления на союзников в будущем.

Молотов неплохо провел свою дипломатическую партию. Следуя доверительному совету Гопкинса дать «мрачную картину положения в СССР», он не стал приукрашивать положение на советско-германском фронте, прямо заявив Рузвельту о возможности того, что «мы не выдержим удара» — немцы займут Москву, Ростов и продвинутся к Баку[13]. Этот катастрофический сценарий был умело использован наркомом не только в поддержку скорейшего открытия второго фронта, но и для доказательства того, что это будет в максимальной степени отвечать интересам самих союзников. В 1943 г. (о котором Рузвельт говорил как о годе высадки в Нормандии) «трудности союзников увеличатся не толь-

ко потому, что не будет такого сильного противника для германской армии как Красная Армия в 1942 году, но и потому, что Гитлер будет опираться более уверенно на часть территории СССР, включая нефтяные районы... Обстановка будет более тяжелая, и тогда борьба против Гитлера будет более трудной, затяжной и потребует больших жертв... Поэтому отсрочка второго фронта до 1943 года чревата риском для СССР и большей опасностью для США и Англии»[14].

Возражать против этого было трудно. Максимум того, что мог предложить Рузвельт на 1942 г., был «Следжхэммер» — высадку во Франции 8—10 англо-американских дивизий, но Молотов назвал это явно недостаточным, настаивая на оттягивании с Восточного фронта хотя бы 40 германских дивизий («подумав про себя, — как докладывал он Сталину, — что только бы втянулись англо-американцы в какие-нибудь десантные операции»). Эта ремарка свидетельствует о том, что Молотов, вопреки своим воспоминаниям, еще питал надежды на хотя бы «усеченный» второй фронт в 1942 г.

На следующей беседе (1 июня) Рузвельт, ссылаясь на нехватку тоннажа, предложил существенно сократить ленд-лизовские поставки в СССР, «чтобы ускорить создание второго фронта». Согласно американской записи беседы президент выразился более хлестко — «СССР не может одновременно съесть свой пирог и сохранить его»[15]. Молотов усомнился в такой постановке вопроса, подчеркнув, что «второй фронт будет выгоден, если будет крепок первый, т.е. советско-германский фронт».

Так думал не один Молотов. В своих внутренних документах американское и британское командование исходило из того, что продолжение активного советского сопротивления является важнейшим условием успеха высадки в Нормандии. Даже антисоветски настроенный глава имперского генштаба Великобритании сэр А. Брук на заседании Объединенного комитета начальников штабов признавал: «Любая операция во Франции станет невозможной в случае поражения русских, которое позволит

немцам перебросить крупные подкрепления в Западную Европу».[16]

Увязка проблематичного «ускорения» открытия второго фронта с сокращением поставок в СССР была чревата и еще одной опасностью, которую сразу же уловил Молотов (хотя эти его слова отложились только в американской записи беседы): советский нарком, «видимо, с намеренным сарказмом осведомился о том, что будет, если Советский Союз сократит свои заявки, а второй фронт так и не появится».[17] Рузвельт ушел от ответа на этот вопрос, оказавшийся точным прогнозом дальнейшего развития событий. Сталин дал указание своему заместителю пойти на сокращение советской заявки: «... Видимо, это необходимо США и Англии для того, чтобы освободить свой тоннаж для подвоза войск в Западную Европу на предмет создания второго фронта». Взамен он потребовал добиться фиксированного обещания союзников об открытии второго фронта в 1942 г.[18] В итоге Молотову удалось-таки вписать заветную формулировку в советско-американское коммюнике: хотя Дж. Маршалл резко возражал против уточнения года, Рузвельт согласился с молотовской редакцией, видимо, считая (как полагал Ч. Болен), что «приободрение, даже основанное на ложных посылках, укрепит волю русских» (к сопротивлению. — *Авт.*).[19]

В качестве еще одного средства «приободрения» русских окружение Гопкинса предлагало заверить Молотова в том, что США помогут в послевоенном восстановлении советской экономики. «Проблемы послевоенного восстановления являются предметом важнейшей озабоченности России ввиду понесенных ею гигантских потерь, — писал генерал Бёрнс Гопкинсу накануне переговоров в Белом Доме. — Поэтому было бы только справедливо помочь ей в возрождении промышленности. Такое предложение с нашей стороны имело бы и большое значение для укрепления решимости России довести войну до победного конца... Что, если посоветовать президенту сказать м-ру Молотову, что лично он сделает все возможное в разумных пределах для

помощи России в решении ее проблем восстановления?»[20] Неизвестно, последовал ли этому совету Гопкинс, но сам президент даже не упомянул об этой проблеме в переговорах с наркомом.

Во время переговоров Молотова в Вашингтоне произошел еще один характерный эпизод, иллюстрирующий тогдашний подход Сталина к сотрудничеству с союзниками. Речь идет об известном заходе Рузвельта на беседе 29 мая о «четырех полицейских» как основе поддержания мира после войны. Явно не ожидавший такого поворота Молотов высказал сомнение в реалистичности подобного проекта, но Сталин решительно поддержал эту идею. «Соображения Рузвельта насчет охраны мира после войны совершенно правильны, — телеграфировал он Молотову сразу же по получении от него этой информации. — Не может быть сомнения, что без создания объединенной вооруженной силы Англии, СССР, США, способной предотвратить агрессию, невозможно сохранить мир в будущем. Хорошо бы сюда включить Китай...» Сталин приказал своему заму «немедля» заявить Рузвельту, что «его позиция получит полную поддержку со стороны советского правительства»[21]. Несмотря на то что Рузвельт в дальнейших переговорах уклонился от развития этой темы, это отнюдь не охладило интереса к ней Сталина. На это указывает другая его депеша Молотову (от 4 июня), где он в качестве важного результата вашингтонских переговоров назвал «договоренность с Рузвельтом о создании после войны международной вооруженной силы для предупреждения агрессии»[22], хотя никакой реальной договоренности достигнуто не было. Через полтора года Сталин опять вернется к развитию этой идеи во время личных бесед с Рузвельтом в Тегеране.

Эта до сих пор мало объясненная в литературе увлеченность Сталина радикальной идеей совместного военного контроля англо-американо-советского триумвирата над миром, на наш взгляд, свидетельствует прежде всего о том, как далеко Сталин тогда был готов зайти в послевоенном сотрудниче-

ствие с Западом в ключевой сфере безопасности. Может быть, дальше, чем сам Рузвельт, вскоре отступившийся от этой идеи.

В ходе визита Молотова в Вашингтон было подготовлено советско-американское соглашение о принципах взаимной помощи в ведении войны против агрессии, которое обязывало обе страны содействовать друг другу и заменяло предыдущие договоренности по ленд-лизу. Это соглашение наряду с советско-английским договором завершило формирование договорной основы антифашистской коалиции[23], в чем сторонники сближения с СССР видели нечто большее, чем залог победы в войне. «Нам предстоит еще долгий путь, но его нужно пройти, если мы хотим добиться настоящего мира во всем мире, — писал по следам молотовского визита Гопкинс своему доверенному корреспонденту. — Мы просто не можем перестроить мир вдвоем с англичанами без привлечения к этому руских как равных партнеров».[24]

Во время повторной остановки в Лондоне на пути в Москву Молотову удалось навязать аналогичное коммюнике и англичанам, хотя Черчилль крайне скептически отнесся к операции «Следжхэммер» и рузвельтовской идее «четырех полицейских». Таким образом, обещание англичан было весьма условным, ибо, как докладывал Сталину сам Молотов, «английское правительство обязательства по созданию второго фронта в этом году не берет, а заявляет, и то с оговорками, что оно готовит опытную десантную операцию»[25]. В памятной записке, переданной Черчиллем Молотову по итогам переговоров, возможность «заднего хода» была зарезервирована вполне очевидно: в ней говорилось о подготовке к десанту на континент в «августе или сентябре 1942 года», но проведение самой операции ставилось в зависимость от ее еще не выясненной «разумности» и «обоснованности», что позволяло английской стороне заявить, что «мы поэтому не можем дать никакого обещания в этом вопросе»[26].

Между тем положение на советско-германском фронте становилось все более критическим. В начале июня пал Севастополь, возникла реальная угроза прорыва сил вермахта к берегам Волги, Сталин-

граду и на Кавказ. 20 июня Гопкинс и Рузвельт обсуждали возможность и вероятные последствия «краха русского фронта» и военные планы, подготовленные в КНШ на «сей случай»[27]. Президент запросил мнение военных о мерах, которые могли бы предпринять США для предотвращения подобного развития событий. Ответ Дж.Маршалла был однозначен: «Если немцы возьмут Красную Армию за горло, их нельзя будет отвлечь операциями типа булавочных уколов. И чем удаленней будут такие операции от нацистской цитадели, тем меньшим будет их эффект»[28]. Усиленно предлагаемый англичанами вместо «Следжхэммера» «Гимнаст» (вторжение в Северную Африку), представлялся командованию США чем-то вроде «булавочного укола»: «Это будет лишь распылять силы союзников, откладывая большое вторжение на европейский континент, и в то же время не окажет реальной помощи Советскому Союзу». «Одним из самых больших дефектов это плана, — отмечало армейское командование, — является тот факт, что даже в случае успеха он, вероятно, не приведет к переброске с русского фронта ни единого немецкого солдата, танка или самолета»[29]. В случае вынужденного отказа от «Следжхэммера» американские военные предлагали вместо «Гимнаста» перенести главный упор на войну с Японией[30], что было кошмаром для британского командования.

Рузвельт быстро просек «тихоокеанские» поползновения своих военных и послал в Лондон верхушку КНШ вместе с Гопкинсом с наказом придерживаться планов «Раундап» — «Следжхэммер», но иметь «Гимнаст» в качестве запасного варианта. Президент преследовал сразу несколько целей: предотвратить англо-американский раскол по вопросу «большой стратегии», хотя бы частично выполнить данное Сталину обещание и заодно успокоить общественное мнение США, требовавшее от правительства более активного участия в вооруженной борьбе с Германией. К тому же Рузвельт не разделял мнения своих военных о том, что «Гимнаст» не поможет «первому фронту» и исключит «Раундап» в 1943 г.[31]

Переговоры в Лондоне шли очень трудно. В отчете для президента, подготовленном генерал Д. Эйзенхауэром, суммировалась исходная позиция тех американских военных: «Россия — важнейший на данном этапе фактор войны, и потому наши расчеты должны строиться на исходе нынешней кампании в России. Поражение русских армий заставит провести полный пересмотр союзной стратегии. Оно практически ликвидирует всякую возможность разгрома Германии в прямом столкновении и отбросит союзников к перманентной обороне во всей Европе... Масштабное наступление на оккупированную Германией Европу может быть предпринято не ранее 1943 года. Тем самым, — откровенно признавали американские военные, — Россия остается практически один на один против всей мощи германской нации до тех пор, пока вновь не вмешается зима. В течение этого периода судьба всего остального союзного мира будет зависеть в основном от стойкости и боеспособности русской армии».

Американское командование по-прежнему считало «Следжхэммер» наилучшим решением проблемы помощи русским в 1942 г. В случае стабилизации ситуации на советско-германском фронте операция получит большие шансы на успех — удержание плацдарма в Нормандии до большего вторжения в 1943 г. В случае же непосредственной угрозы поражения Красной Армии принесение в жертву 6—10 дивизий будет все равно оправданным по сравнению с гораздо более страшным риском: «На нас ляжет вина за огромный военный просчет, — подчеркивал Эйзенхауэр, — если мы позволим Германии ликвидировать восьмимиллионную союзную армию в то время, когда удары с нашей стороны могли бы спасти ситуацию»[32].

Англичане же твердили, что «Следжхэммер» обречен на провал и не поможет Советскому Союзу, что «Гимнаст» не исключает второго фронта в 1943 г., и что положение на советско-германском фронте не такое отчаянное, чтобы пойти на риск нового Дюнкерка, а лучшей страховкой на случай советского

поражения будет «Гимнаст», который не даст Роммелю соединиться с японцами на Ближнем Востоке.

Что касается обещания о «Следжхэммере», заявил Черчилль, «мы не связаны словом чести с русскими» на сей счет, огласив в подтверждение соответствующее место из памятной записки Молотову от 10 июня[33]. Переговоры вывело из тупика только указание Рузвельта своим военным согласиться на «Гимнаст», отныне переименованный в «Торч».

Изменение военных планов союзников не прошло незамеченным в Москве. Впрочем, и сам Черчилль в послании Сталину от 18 апреля намекнул на перенос открытия второго фронта на 1943 г., что в сочетании с содержавшимся в том же послании сообщением о сокращении северных конвоев вызвало понятное возмущение «Верховного». В ответном послании Черчиллю от 23 июля он заявил, что «советское правительство не может примириться с откладыванием организации второго фронта в Европе на 1943 год».[34] Черчилль решил ехать в Москву, чтобы лично объяснить Сталину новые англо-американские планы — задача, как он сам писал впоследствии, напоминавшая «таскание глыбы льда на Северный полюс»[35]. Накануне приезда Черчилля Сталин еще не верил в худшее: «Не может быть, — говорил он, — чтобы союзники отказались открыть второй фронт в этом году».[36]

Неблагодарная миссия Черчилля подробно отражена в отечественных и зарубежных публикациях. Премьер-министра сопровождал А .Гарриман для демонстрации англо-американской солидарности и информирования Рузвельта обо всем происходящем. Гарриман не только поддакивал Черчиллю в нужные моменты, но и давал англичанину дельные советы по тактике поведения в переговорах со Сталиным, которого он успел изучить во время своих предыдущих встреч с диктатором. Так, после второй — самой тяжелой беседы двух лидеров 13 августа, когда Сталин прямо обвинил союзников в обмане и трусости, а Черчилль был готов прервать свой визит, Гарриман заверил премьера в том, что к следующей встрече хозяин Кремля обязательно по-

теплеет. «Я не сомневался, что Сталин и его окружение не могли извинить отсутствие второго фронта, — записал Гарриман в своем дневнике. — Но я был уверен, что он не захочет, чтобы Черчилль уехал в недружественном расположении духа»[37]. Действительно, на следующий день последовала, как известно, теплая шестичасовая беседа двух лидеров на сталинской квартире, которая полностью растопила лед предыдущих объяснений. Сталин, отметил в своем донесении Черчилль, «теперь знает самое плохое и, высказав свои протесты, стал полностью дружелюбен, несмотря на то, что русские переживают сейчас самое тревожное и мучительное для них время».[38] «Самое плохое», однако, осталось несказанным — Черчилль умолчал о том, что по расчетам англо-американских военных «Торч» означал перенос второго фронта не на следующий, а лишь на 1944 год.

Вся эта гамма английских переживаний в ходе визита лучше всего отразилась в необычном документе, до сих пор остававшемся вне поля зрения историков этих памятных переговоров. В своих мемуарах Черчилль упоминает о любительской балладе, написанной сразу после их завершения его спутником, видным английским военачальником генерал ом А. Уэйвеллом (впоследствии фельдмаршалом и последним вице-королем Индии), который бывал в России раньше и даже немного знал русский язык. Уэйвелл, пишет Черчилль, «имел литературные способности» и «подытожил» в ней все московские переживания премьер-министра и его окружения. Однако он приводит лишь рефрен этого стихотворения, каждая строфа которого заканчивалось словами «Не будет второго фронта в 1942 году».[39] Возможно, оно не сохранилось у Черчилля, а быть может, показалось ему слишком откровенным, чтобы передавать его потомкам. К счастью, второй экземпляр баллады Уэйвелл вручил на борту самолета после вылета из Москвы Гарриману, в архиве которого его и обнаружил автор этой книги.[40] Приводим это поэтическое свидетельство полностью в собственном (и тоже любительском) переводе.

ГЛУБОКО ЛИЧНАЯ И СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНАЯ БАЛЛАДА О ВТОРОМ ФРОНТЕ

Премьер-министр:

I

Как тяжело мое мне порученье.
Навряд ли мне удастся их понять,
И убедить их в нашем твердом мненье,
А Сталин будет клясть нас и ругать.

Но, может быть, полночным словоблудьем
Смогу его пленить я на ходу;
Ведь это не подарок — что не будет
Второго фронта в нынешнем году.

II

Как я и думал, плохо наше дело;
Им просто ненавистен наш рассказ.
Как мрачен Сталин, Молотов весь белый;
А дай им дюйм — аршин проглотят враз!

Что нам готовят — карцер или лагерь?
Как Гитлер — всем евреям на беду.
Ведь это не подарок, чтоб не ждали
Второго фронта в нынешнем году.

III

Но погодите, дело принимает
Чуть более веселый оборот;
И мне уже казаться начинает,
Что нам сегодня с рук оно сойдет.

И звон звучит уже не погребальный
То водка и коньяк встают в ряду;
Я отвертелся с вестию печальной
О нашем фронте в нынешнем году.

* * *

О, царь Кремля! Прими привет прощальный.
Ты лучше многих, коль начистоту;
Ты снес удар, хоть вывод был отчаянный —
No second front in 1942.

На борту «Либерейтора»
16 августа 1942

В Вашингтоне между тем продолжали мысленно готовиться к возможному поражению Советского Союза. Предусмотрительные американцы хотели иметь план действий на случай разгрома Красной Армии, вероятность которого возрастала по мере сжимания кольца вокруг Сталинграда. Впервые этот сценарий для американских планировщиков возник еще осенью 1941 г. — до вступления США в войну.

Даже тогда последствия выхода СССР из войны представлялись для Америки крайне серьезными: Если Германия добьется решающего разгрома России и сможет контролировать завоеванное пространство для использования его ресурсов, экономическое и военное положение Германии станет почти неуязвимым», — гласил вывод Управления военного планирования в октябре 1941 г.[41] К весне 1942 г., когда страны «оси» контролировали около трети населения и природных ресурсов планеты, последствия краха России стали для США, по оценке американских военных, «просто катастрофическими». Летом 1942 г. после сдачи англичанами Тобрука и Сингапура, военное командование США начинает углубленную концептуальную проработку этого сценария в виде специального исследования КНШ под общим названием «Стратегическая политика Объединенных Наций и Соединенных Штатов в случае разгрома России» (КНШ-85). К актуальной проблеме подключились и гражданские аналитики: в июне эксперты авторитетного Нью-Йоркского Совета по международным отношениям подготовили доклад под названием «Последствия гипотетического краха России в 1942 году».

Во всех этих документах просчитывались сходные контуры фатального геополитического сдвига в соотношении сил противоборствующих сторон, который последует за разгромом или даже «критическим ослаблением» Красной Армии (под ним понималось высвобождение примерно половины сил вермахта на Восточном фронте). «Падение России станет катастрофой», которая поставит США в «отчаянное положение». Континентальная Европа будет полностью и надолго потеряна для союзников, поскольку ликвидация «первого фронта» будет означать немыслимость «второго». Получив доступ к природным и экономическим ресурсам СССР, Германия с ее союзниками станет практически непобедимой в прямом военном противоборстве. Максимум того, на что могут тогда рассчитывать союзники в Европе, — это удержание британских островов, но и там прогнозировалось резкое усиление прогерманских настроений в правящих кругах страны и вероятное падение кабинета Черчилля с последующим заключением сепаратного мира с Германией.

В целом крах СССР, прогнозировал КНШ, вызовет цепную реакцию по всему миру: рухнет движение Сопротивления в Европе, развалится Британская империя (за исключением Канады, Австралии и Новой Зеландии), резко усилятся прогерманские настроения на Ближнем Востоке и в Латинской Америке (прежде всего — в Аргентине, Чили, Уругвае и Парагвае), соединение германских и японских армий на Ближнем Востоке лишит союзников доступа к нефти региона, США окажутся заперты в Западном полушарии. Перспективы были настолько мрачны, что в КНШ-85 даже рассматривался вариант заключения сепаратного мира с Германией или обеими ведущими державами «оси». Однако такой вариант был сочтен неприемлемым, поскольку «каковы бы ни были условия такого мира, Соединенные Штаты утратили бы свое положение ведущей державы и в дальнейшем бы оказались перед странами «оси» без союзников»[42]. Поэтому в качестве единственно возможной стратегии в таких условиях планировались защита Западного полушария и глухая оборона в Европе при продолжении на-

ступательных операций против Японии. В плане не предусматривалось усиления помощи союзникам, ибо в создавшейся ситуации, как подчеркивали его авторы, Соединенным Штатам «придется думать прежде всего о себе».

Психологическое воздействие подобной геополитической изоляции Америки на общественное мнение страны представлялось настолько серьезным, что для борьбы с изоляционизмом и пораженчеством планировались соответствующие мероприятия по линии психологической войны с тем, чтобы «смягчить воздействие подобных испытаний на американскую общественность и подготовить ее к возможности такого поворота в ходе войны»[43].

Документ дважды (25 августа и 8 сентября) обсуждался на заседании КНШ; споры вызвали не содержание и выводы документа, а время и мотивы его реализации. С учетом того, что «крах России не представляется неминуемым», генералы Ведемейер и Арнольд предложили одобрить план, но попридержать его до худших времен, сохранив его в тайне от англичан, которым вряд ли могла понравиться отводимая им в нем роль[44]. Этим решением обсуждение и закончилось.

Эти планы, о которых не очень любят вспоминать американские историки, остались в военных архивах вполне реальным прообразом печальной участи, ожидавшей Соединенные Штаты в случае поражения их советского союзника.

Возникает законный вопрос: почему все-таки при таких предельно высоких ставках судьбы советско-германского фронта в 1942 г. для самих США американское руководство, несмотря на присущую ему предусмотрительность, пошло на тот самый риск потери восьмимиллионной союзной армии, о котором предупреждал Д.Эйзенхауэр? Податливость английскому давлению в этом вопросе вряд ли может быть объяснена одними соображениями сохранения англо-американской солидарности. Рузвельт давал Черчиллю «вести себя на буксире» (по образному выражению Литвинова)[45] потому, что и сам стремился избежать неизбежных больших потерь, связанных со вторым фронтом, покуда «рус-

ские армии, — как он сам писал своим советникам, — убивают больше немцев и уничтожают больше военной техники «оси», чем все остальные двадцать пять объединенных наций вместе взятых»[46]. К тому же чутье подсказывало Рузвельту, что «Россия продержится эту зиму», как он писал Черчиллю в октябре.[47] Риск собственных потерь представлялся в Белом доме более явным, чем все еще гипотетический крах советско-германского фронта. Большие людские потери в наземных операциях без гарантий их полного успеха не только были чреваты внутриполитическими осложнениями, но и грозили подорвать ту сравнительно щадящую модель военной мобилизации, которая лежала в основе подхода администрации к ведению войны.[48] Поддерживая преимущества стратегии постепенного накопления сил и упора на воздушные и военно-морские операции, армейские планировщики в то время писали в наброске «Общей стратегической концепции»: «В этом случае не потребуется нарушать экономическую жизнь нашей страны путем резкого вывода рабочей силы из промышленности, транспорта, сельского хозяйства и т.п. Вместо этого мы сосредоточим главные усилия на создании военно-воздушных, военно-морских и десантных сил, которые не потребуют немедленной мобилизации огромного количества людей»[49].

Это естественное для демократии стремление к сбережению своих людей воспринималось в Москве через призму повышенной идеологической подозрительности как проявление гораздо более злокозненных мотивов. Даже «западник» Литвинов в своих донесениях характеризовал американское затягивание «открытия второго фронта как стремление к максимальному истощению и изнашиванию сил Советского Союза для уменьшения его роли при разрешении послевоенных проблем»[50].

Сам Литвинов в эти критические августовские дни, похоже, тоже поддался отчаянию. 12 августа посол Мексики в США Ф. Кастилль-Нейера срочно сообщил С. Уэллесу о своем разговоре в тот день с советским послом. На вопрос мексиканского дипломата о ситуации на советско-германском фронте

Литвинов ответил неожиданным «все кончено». «Вы имеете в виду, что война затянется еще на два года?» — спросил мексиканец, не веря своим ушам и пытаясь выручить коллегу из неловкого положения. «Вовсе нет, — сказал Литвинов. — Я имел в виду, что Россия разгромлена и у нас больше не осталось никакой надежды». Немногим более оптимистично Литвинов высказывался и накануне (10 августа) во время закрытого брифинга для американских журналистов, из которого «можно было сделать вывод, что Сталинград падет»[51]. Быть может, опытнейший дипломат намеренно сгущал краски, чтобы подтолкнуть американцев к более активным действиям, как это делал во время своего визита в Вашингтон Молотов? В таком случае посол, похоже, не добился своей цели. Препровождая в тот же день запись этой беседы президенту Рузвельту, С.Уэллес сделал к ней следующую приписку: «Считаю, что мексиканский посол излагает все, как было на самом деле. Если это так, то советский посол, на мой взгляд, вышел далеко за пределы того, что соответствует интересам его страны».[52]

Именно в эти решающие для судьбы войны и антигитлеровской коалиции дни в СССР отправился лидер республиканской партии США Уэнделл Уилки.

МИССИЯ У.УИЛКИ

Идея поездки в СССР зародилась у самого Уилки летом 1942 г. Официальный лидер республиканской партии (как ее кандидат в президенты 1940 г. и реальный претендент на номинацию в 1944 г.), горячий сторонник решительной борьбы со странами «оси», Уилки проявлял особую активность во внешней политике, где практически полностью поддерживал рузвельтовский курс. Его старания, в частности, облегчили прохождение через конгресс закона о ленд-лизе и его распространение на СССР. Глобальное турне с посещением основных фронтов гигантской войны хорошо укладывалось в полити-

ческие интересы и амбиции энергичного республиканца. Сам Уилки называл основными целями поездки «продемонстрировать нашим союзникам и многим нейтралам внутреннее единство в США», «выполнить поручения президента» и «узнать как можно больше для себя самого и американского народа об этой войне и о том, как побыстрее победить в ней».[1]

Непосредственный толчок к посещению СССР пришел со стороны американских корреспондентов в Куйбышеве — временной резиденции советского правительства, предложивших Уилки приехать в Советский Союз с миссией доброй воли. Уилки обратился за советом к Рузвельту и нашел у него полную поддержку. Президент предложил Уилки не только свою помощь в организации поездки, но и официальный статус посла по особым поручениям. От последнего предложения Уилки отказался, не желая связывать себя в своих высказываниях в ходе и после поездки. Сошлись на титуле «личного представителя» президента, дававшем Уилки и официальный статус, и определенную свободу рук.[2] Рузвельт поручил госдепартаменту заняться программой пребывания Уилки в СССР, Китае и на Ближнем Востоке, военным — обеспечить его специальным самолетом, экипажем и советниками, а Управлению военной информации — придать эмиссару двух квалифицированных пропагандистов, высокопоставленных сотрудников этого ведомства и друзей самого Уилки — журналиста Джозефа Барнса и крупного издателя Гарднера Коулса. Барнс был московским корреспондентом респектабельной «Нью-Йорк геральд трибюн» в конце 1930-х гг. и оставил у советских властей двойственное впечатление. «В целом его корреспонденции нельзя назвать враждебными, — оценивало тогда его работу советское посольство в донесении для отдела печати НКИД, — но время от времени он позволяет себе пакости, вроде опубликованной в воскресной «Трибюн» от 27 февраля статьи о тов. Ежове, написанной в совершенно возмутительном бульварно-приключенческом стиле».[3] Зато Барнс хорошо знал русский язык и взял на себя роль переводчика.

По указанию президента Уилки и его спутники получили подробный инструктаж в госдепартаменте, где эксперты по СССР рассказывали о подозрительности русских, их обидах на союзников и предостерегали против заигрывания с ними — русские, сказал бывший военный атташе в Москве полковник Итон, «предпочитают откровенных капиталистов, а не тех, которые изображают из себя сочувствующих».[4] Кроме того, Рузвельт разослал личные рекомендательные письма лидерам намеченных к посещению государств, в том числе и Сталину. Последнему он писал, что «командирует г-на Уилки», который «хочет побольше узнать об удивительном прогрессе, достигнутом русским народом». Уилки, добавлял Рузвельт, «полностью согласен (в оригинале — «всей душой и сердцем» — *Авт.*) с линией внешней политики моего правительства, заключающейся в сопротивлении нацизму и в действительной дружбе с Вашим правительством, и оказывает мне большую помощь в работе, связанной с войной».[5]

Однако мотивы Рузвельта в этом «командировании» не сводились к жесту доброй воли по отношению к СССР или самому Уилки. Миссия последнего под эгидой Белого дома давала президенту возможность убить сразу нескольких дефицитных зайцев: еще больше приручить самого Уилки (как своего главного союзника среди республиканцев), усилить через того проправительственную агитацию в общественном мнении США, продемонстрировать советскому руководству прочность своего внутреннего двухпартийного тыла и морально поддержать СССР в критический для него момент войны.

Гитлеровские войска уже штурмовали Кавказ и Сталинград, а обещанного союзниками второго фронта в Европе так и не предвиделось. Накануне приезда Уилки в Москве побывал премьер-министр Великобритании У. Черчилль, который в сопровождении представителя США А. Гарримана и подтвердил Сталину эту горькую истину. И хотя сдержанная советская реакция вызвала вздох облегчения в Лондоне и Вашингтоне, там отнюдь не были уверены, что Россия и на сей раз выстоит в одиночку. Не случайно,

напутствуя Уилки, Рузвельт в разговоре с глазу на глаз 20 августа счел необходимым предупредить его: «...вы можете оказаться в России как раз ко времени ее разгрома».[6] Однако Уилки был не робкого десятка и с энтузиазмом отправился в путь, который лежал сначала на Ближний Восток, а уже затем в Россию, откуда пришло заверение Сталина о том, что ему «будет оказано самое искреннее гостеприимство».[7]

Соответствующая команда из Кремля была дана госаппарату, и поэтому в Москве и Куйбышеве не на шутку готовились к приезду высокого гостя. Визит такого рода полуофициального представителя США был для властей новым делом, вызывая немало вопросов. «Уилки не занимает никакого официального поста в государственном аппарате, как Гарриман или Гопкинс, он только руководитель республиканской партии, — рассуждал о программе пребывания в донесении В.М. Молотову его заместитель С.А. Лозовский, представлявший аппарат НКИД в Куйбышеве. — Правда, он едет в качестве специального представителя Президента, но вряд ли целесообразно, чтобы Вы устраивали ему обед, как Вы это делали по отношению к Гопкинсу, Бивербруку, Гарриману, Идену и Черчиллю».[8]

Однако протокольные сомнения были делом второстепенным по сравнению с политической проработкой предстоящего визита. Куда важнее, например, выявить подлинное политическое лицо американского гостя (о котором в Москве имели очень смутное представление), чтобы правильно ориентировать руководство. С этой целью еще в начале сентября — за две недели до приезда Уилки — отдел американских стран НКИД составил подробную, на 10 страницах справку на него для сведения высокого начальства. В ней довольно добросовестно излагались внешнеполитические позиции Уилки, весьма реалистично оценивалась его положительная с точки зрения ведения войны роль в республиканской партии. Но давать целиком позитивную характеристику буржуазному политику в сталинско-молотовской дипломатии было не принято. Требовалось вскрыть «классовое лицо», показать, проводником каких монополистических интересов

выступает тот или иной политик. Последний пункт не вызывал особых проблем у аналитиков НКИД: крупный бизнесмен, управляющий несколькими энергетическими компаниями, Уилки, естественно, «пользуется доверием деловых кругов», «за ним стоят Дюпоны, Морганы, Рокфеллеры. Вандербильты, а также вице-президент компании «Дженерал моторс», обладатель гитлеровского железного креста Муни».

Несколько сложнее было объяснить либерализм Уилки — потомка германских социал-демократов, дед которого был одним из лидеров мятежного студенчества Пруссии в революции 1848 г., отец — сторонником американских социалистов, как, впрочем, и сам Уилки в молодые годы. Все это вроде бы не вязалось с его «монополистическими связями». Но ключ к пониманию подлинной сущности этого деятеля все же был найден — демагогия: «Игра в демократию, желание показать себя человеком из народа, либералом, которому дороги американские свободы, записанные в конституции, и который готов отстаивать их, — все это характерно для Уилки и его последующей политической карьеры». В подтверждение приводился один из самых смелых поступков Уилки, снискавший ему немало врагов среди американских правых: «Будучи злейшим врагом американской компартии, Уилки не постеснялся как адвокат взять на себя ведение дела секретаря компартии штата Калифорнии Шнейдера в Верховном суде США после того, как калифорнийские судебные органы вынесли в прошлом году решение о высылке Шнейдера как «нежелательного иностранца».

Впрочем, заканчивалась справка на позитивной ноте — высказывании Уилки из его обращения к русскому народу, сделанному накануне поездки (его тассовский перевод по указанию Молотова был разослан всему советскому руководству). В нем Уилки говорил о своем «страстном желании передать русскому народу и всему миру, что единство США и их военная мощь несокрушимы и что весь американский народ целиком посвятил себя тотальной войне, которую мы ведем. Все мы без рассуждений идем вместе с нашими союзниками к победе».

Видимо, поэтому Лозовский, направляя справку Сталину и Молотову, решил проявить повышенную бдительность и еще больше «заострить» ее звучание как по части демагогии, так и немецких корней Уилки: «Обращаю Ваше внимание на демагогическое заявление Уилки от 23 августа, сделанное перед его отъездом из США. Уилки намеренно демонстрирует свой антифашизм, поскольку он немецкого происхождения и боится, чтобы его не обвинили в недостаточном американском патриотизме. Все его просоветские декларации носят явно избирательный характер, так как он надеется на волне симпатий к Советскому Союзу пройти в президенты на выборах в 1944 году».[9]

Немецкие корни Уилки в разноплеменной Америке практически никто не вспоминал, а пройти в президенты на волне симпатий к СССР даже в те годы можно было лишь в буйном воображении профессионального революционера. Но курьезы эти наверху никого не коробят. Напротив, даже крайне скупой на похвалу Молотов ставит резолюцию: «Справка довольно хорошая (редкость в НКИД!)» и решает разослать ее не только в «главный адрес», но и широкому кругу советского руководства. Видимо, нарком счел, что на сей раз его подчиненным удалось «глубоко копнуть» и неплохо «раскусить» этого самого Уилки. Можно было бы не останавливаться столь подробно на этом заурядном рабочем документе, если бы он не отражал (как мы еще не раз убедимся) уровень восприятия американских реалий и личности самого Уилки, общий для подавляющего большинства его советских принимающих.

Программа пребывания Уилки тоже составлялась и согласовывалась на самом высоком уровне. Советская сторона исходила при этом из своих традиций и принятых мест показа иностранцам (колхозы, совхозы, передовые предприятия), американская — нажимала на неформальные общественные контакты и запретные для иностранцев места. Порой приходилось идти на компромиссы. «Американское посольство, — сообщал Молотову по ВЧ из Куйбышева его первый зам А.Я. Вышинский, — просит пригласить на прием в посольстве 5—6

представителей общественности. Ввиду того что у нас участие представителей общественности на приемах в посольствах и миссиях не практикуется, мы пытаемся в подходящей форме дать отрицательный ответ. В случае же, если посольство будет настаивать, предлагаем следующий список (помимо должностных лиц предлагались три представителя творческой интеллигенции, включая композитора Д.Д. Шостаковича. — *Авт.*). Резолюция Молотова — «За» (можно и еще 2—3 пригласить, но Шостаковича лучше не отрывать от работы»).[10] Это было только начало оберегания Шостаковича от высокого американского гостя.

17 сентября четырехмоторный бомбардировщик по прозвищу «Гулливер» с командой Уилки на борту приземлился в Куйбышеве. На аэродроме гостей встречали Лозовский и посол США адмирал У. Стэндли. Об отношении Лозовского уже говорилось, но и посол мало радовался происходящему: еще один специальный эмиссар президента, который, как и его предшественники Г. Гопкинс и А. Гарриман, будет, видимо, действовать в обход посольства, даже не посвящая его в свои задачи и планы.

На приеме, устроенном в тот же вечер в американском посольстве, Уилки познакомился и с самим А. Вышинским, известным в Америке своей зловещей ролью главного обвинителя на процессах 1930-х годов. «Глядя на его седины, профессорское лицо и спокойные, почти ученые манеры, — рассказывал потом Уилки, — я спрашивал себя — неужели это тот самый человек, который погубил старейших героев русской революции по обвинениям в убийствах и измене Родине?».[11] Впрочем, Вышинскому Уилки тоже не очень понравился. Свои первые наблюдения он суммировал для Сталина и Молотова следующим образом: «Производит Уилки впечатление типичного американского деляги — «бизнес мен», держится очень просто, непринужденно, с большими претензиями на демократизм. Довольно словоохотлив. Что касается СССР, то явно очень плохо представляет себе самые элементарные вещи (например, какое расстояние от Черного моря до Каспийского, какой длины и ширины Волга, насколько

плодородны приволжские земли, что представлял собой Куйбышев до революции и т.п.)». Своеобразно звучала в изложении Вышинского и самая, казалось бы, позитивная часть разговора: «...Конечно, не обошлось и без выражения им восхищения по поводу нашей борьбы с немцами, общих фраз относительно неизбежности разгрома немцев и нашей общей победы». Нелегко было угодить Андрею Януарьевичу! Не мог Вышинский умолчать и об отпоре, который он дал не в меру любопытному деляге: «Между прочим, Уилки спросил: «Как Вы думаете, куда двинутся немцы после взятия Сталинграда — на юг или на север?» Я ответил: «Я об этом вовсе не думаю. Я хочу думать, что они не возьмут Сталинграда и никуда не смогут двинуться». Уилки сделал вид, что ему этот ответ понравился».[12]

Весь следующий день прошел в посещениях заводов и колхозов, где все как один («не иначе как по подсказке», отметил в отчете посол Стэндли)[13] спрашивали гостя когда наконец будет открыт второй фронт. Скорее всего в будущем году, уверенно отвечал Уилки. Особое впечатление на него произвел огромный авиационный завод, где делались знаменитые илюшинские штурмовики. Хотя от гостя не укрылась невысокая производительность труда и качество некоторых узлов, в остальном завод, как описывал он впоследствии, «был вполне сравним с аналогичными нашими предприятиями». Заметил Уилки и другие парадоксы советского производства: стахановская штурмовщина на фоне излишка рабочих рук, условия найма и оплаты труда, которые, по его словам, «порадовали бы нашего самого антиобщественного промышленника». С похвалой вспоминал Уилки и директора завода, у которого ему так и не удалось «выудить военных секретов — он вел себя не хуже своих ответственных коллег в Англии или Америке».[14]

Советские сопровождающие (от НКИД были выделены зав. протокольным отделом Ф.Молочков и помощник наркома М. Потрубач) также вели подробную запись всех разговоров, регулярно посылая свои отчеты начальству. Суммируя реакцию рядовых куйбышевцев на вопросы Уилки, они писали —

«ответы рабочих были бодрые».[15] На селе тоже приготовились к приезду важного американского гостя. По воспоминаниям одного из курсантов местного летного училища, их срочно переодели в вышитые рубашки, дали в руки косы и с песнями пустили по волжскому берегу навстречу гостям. «Уилки был потрясен: тяжелое положение на фронте, а тут... Почему такие крепкие ребята не воюете? — спросил он. — Наше время еще не подошло, нас еще не призвали. — А почему? — У нас много еще таких!»[16]

Вечером того же дня (18 сентября) американцы побывали на «Лебедином озере» в постановке ГАБТ. Уилки опоздал на четверть часа и с изумлением узнал, что спектакль не начинали в ожидании его появления. В перерыве между актами его окружили военные с расспросами о втором фронте. На вопросы самого Уилки «все военные, — как писали сопровождающие, — отвечали, что свою советскую землю мы не намерены никому отдавать, заключать мир с Гитлером мы не собираемся и будем драться до последнего человека, пока враг не будет изгнан с советской земли, и чем скорее будет открыт второй фронт, тем скорее враг будет разбит. Уилки остался очень доволен такими ответами».[17] А может быть, только сделал вид?

Закончился спектакль тоже не совсем обычно. Уилки был настолько возбужден искусством балерины Ирины Тихомировой в роли Одетты и (как сплетничали потом сами американцы) обильным ужином перед спектаклем у китайского посла, что рванулся всей своей внушительной массой (недаром на родине его прозвали «лохматым медведем») на сцену прямо из ложи с огромным букетом цветов и горячо расцеловал балерину. Когда он возвращался назад в ложу, она посылала ему вслед воздушные поцелуи, а публика скандировала на бис: «Вил-ки! Вил-ки!» Описание этого эпизода в отчете сопровождающих привлекло внимание самого Сталина, судя по его пометкам на полях.[18]

На следующий день состоялась еще одна примечательная философского плана беседа Уилки с Вышинским на обеде, который последний дал в честь «бизнес мена». Вот как отобразил причудливые

мысли собеседника сам Вышинский в отчете Сталину и Молотову: «Не думаем ли мы, что наша система лучше американской? Впрочем, он такой сукин сын (подлинные слова Уилки), что ему будет хорошо при любой системе.

Уилки не отрицает, что империализм сгнил, но США вовсе не являются империалистической страной, а настоящей демократией, и он уверен, что в будущем СССР многое воспримет от США, в частности, в отношении личной свободы и личной инициативы граждан, точно так же США пойдут навстречу СССР по пути различных социальных мероприятий и даже преобразований. Во всяком случае, как бы то ни были различны наши общественные и политические системы, он, Уилки, считает, что нет никаких препятствий к прочному нашему сближению... Вот что он «наговорил».[19] («Это заявление, — злорадно записал посол Стэндли, — было холодно воспринято Вышинским и Лозовским, не склонным признавать, что СССР развивался в направлении капитализма»).[20]

То, что Вышинскому показалось сумбурным и провокационным бредом, для Уилки и других американских либералов в годы войны было убеждением (или по крайней мере надеждой), исполненным глубокого смысла. Им действительно казалось, что СССР и США движутся навстречу друг другу в своих устоях по мере «нормализации» советского строя и социализации американского капитализма. Для таких деятелей, как Г. Гопкинс, вице-президент Г. Уоллес, Уилки и отчасти сам Ф. Рузвельт[21], такое системное сближение должно было во многом облегчить послевоенное сотрудничество великих держав. Проблески подобных обнадеживавших представлений встречались и у наиболее свободомыслящих представителей советской стороны. Но Вышинский с Лозовским к ним явно не относились.

В воскресенье 20 сентября Уилки и его группа прилетели в Москву. Размещение в особняке НКИД на улице Островского, обильный стол, экскурсии по городу. На следующий день — первая встреча с Молотовым. Уилки начал разговор с подчеркивания цели своего визита. «Он, Уилки, — гласит советская

запись беседы, — совершенно твердо убежден в том, что как во время, так и после войны США и СССР должны работать вместе и поэтому он, Уилки, будет стараться дать американцам самую дружественную картину о России». Вторая задача — «по просьбе президента переговорить с И.В. Сталиным и В.М. Молотовым о том, в каком отношении США смогут улучшить и увеличить помощь России и в каком отношении эта помощь является недостаточной». От разговора о помощи Молотов уклонился, сказав, что «этот вопрос лучше всего обсудить с тов. Сталиным», но в ответ на вопросы американца без прикрас обрисовал критическое положение на советско-германском фронте. Уилки в свою очередь рассказал о ходе африканской кампании англичан против Роммеля, которую он наблюдал в Египте. «... Было бы желание довести дело до конца, — скептически отозвался Молотов, — и он уверен, что Роммеля можно ликвидировать». Когда Молотов поинтересовался ростом военного производства в США, то получил прямой и точный ответ: в августе было произведено 5 тыс. боевых самолетов и 600 тыс. тоннажа судов, к концу года производство самолетов планируется удвоить, а ежемесячный тоннаж увеличить до 1 млн. тонн. (Перечитывая запись беседы, и Молотов и Сталин выделяют эту ценную информацию).[22]

Следующие два дня прошли в осмотре достопримечательностей Москвы, посещении Консерватории, где исполнялась 7-я симфония Шостаковича, Библиотеки им. Ленина, выставок, а также завода имени Ильича. «Ко всему показанному, — доносили сопровождающие, — относился безразлично», хотя концерт джаза Утесова «очень понравился». На заводе рабочие опять организованно навалились на Уилки по поводу второго фронта. Гость даже посетовал директору: «Я не могу с этим приехать на американские фабрики и заводы и сказать, что Россия недовольна Америкой — это отразилось бы на усилиях Америки и снизило бы темпы производства...»[23] А вот как выглядели те же сцены в версии НКВД, уполномоченный которого также сопровождал американцев и доложил обо всем Л. Берии, а тот — Сталину с Мо-

лотовым (в отличие от сопровождавших дипломатов он старательно фиксировал не только высказывания, но и фамилии, возраст и партийность всех собеседников Уилки): «Уилки — нравится вам Америка? Работница Милорадова (б/п, 16-ти лет). — Америка-то нравится, но долго не открываете второй фронт. Уилки — американские рабочие стараются и могут быть обижены, что их труд недооценивается в СССР, потому, что все разговоры только о втором фронте. Директор завода (Причульский) — У кого что болит, тот о том и говорит».[24] Когда Уилки приходилось особенно туго, он говорил в свое оправдание, «что Рузвельт и сам он за открытие второго фронта хоть завтра, но это дело зависит от англичан и американских военных» (из отчета Молочкова и Потрубача). Они же отметили, что «Уилки просил не говорить Стэндли» о своей предстоящей встрече со Сталиным, поскольку собирается пойти туда один.[25] Посол таки узнал об этом, что еще больше восстановило его против «личного представителя».

23 сентября Уилки наконец сообщили, что ему нужно срочно прибыть в Кремль для встречи со Сталиным. В спешке он даже не успел найти написанную от руки записку Рузвельта для Сталина, обнаруженную им потом в кипе белья — это послание президента так и не дошло до адресата.[26]

Сталин, который оказался по плечо рослому американцу, произвел на Уилки сильное впечатление «жесткого, может быть, даже жестокого, но очень способного человека... Он задавал дотошные вопросы, каждый из которых был как заряженный пистолет и проникал в суть интересовавшей его проблемы. Он отмахивается от любезностей и комплиментов и не терпит общих фраз». Это импонировало открытому и деловому Уилки, которому даже удалось рассмешить сумрачного диктатора: с похвалой отозвавшись о виденных им советских библиотеках и школах, Уилки с шутливым намеком добавил, что «если Вы, господин Сталин, и дальше будете так просвещать русский народ, то скоро окажетесь без работы». Сталин, по словам Уилки, «запрокинул голову и долго смеялся» — настолько забавной и неожиданной, видимо, показалась ему

эта мысль. При расставании после трехчасовой беседы Уилки поблагодарил хозяина за откровенность и оказанную ему честь, закончив шуткой: «Господин Сталин, всю свою взрослую жизнь я провел в бизнесе и адвокатуре. Хорошо, что судьба не забросила Вас в Америку — Вы были бы очень сильным конкурентом». На что Сталин, по свидетельству Уилки, ответил: «Господин Уилки, я вырос в семье грузинских крестьян и не обучен светским беседам. Могу только сказать, что Вы пришлись мне очень по душе».[27]

Этих слов нет в советской записи данной беседы. Зато в ней есть другие выразительные пассажи, настолько доверительные, что они на свой лад подтверждают симпатию, которой Сталин проникся к американскому собеседнику.[28] Не случайно эти откровения были опущены в опубликованном у нас в 1984 г. тексте данного документа.[29] Речь шла о воздействии на немецкое население бомбардировок Германии авиацией союзников, которые Сталин оценил очень положительно как средство подрыва морального состояния противника. Далее последовал исключенный отрывок, из которого следовало, что бомбардировки могут иметь и противоположный эффект: «Он, тов. Сталин, считает, что бомбардировать нужно не только Германию, но и оккупированные ею страны, ибо это поднимает дух населения этих оккупированных стран. После нашей бомбардировки Варшавы мы получили большое количество приветствий от разных слоев польского населения». Но, усомнился Уилки, по данным союзников, бомбардировки нередко укрепляют моральный дух населения и самих вражеских стран. Видимо, неверно поняв слова Уилки из-за неточного перевода, Сталин в ответ развил тему плодотворного эффекта бомбардировок еще дальше: «Тов. Сталин говорит, что это верно. Наши страны, то есть СССР, Англию и США, надо побомбить, так как население наших стран страдает самоуспокоенностью и самонадеянностью. Это объясняется тем, что в наших странах проповедовали человечность, в то время как в Германии проповедовали убийства».[30] Сталин говорил вполне искренне, но подобные методы вос-

питания своего народа, видимо, несколько шокировали Уилки, который предпочел не фиксировать этой части беседы.

В остальном она была деловой и предельно серьезной. Сталина интересовали оценки американцем эффективности советского производства и советы по ее повышению. Считая, что имеет дело с прямым каналом связи с Белым домом, Сталин перечислил претензии к союзникам СССР по части поставок боевой техники, подробно остановившись на ее недостатках, затем изложил самые неотложные потребности Советского Союза в технике и продовольствии. Сталин также подчеркнул сомнительность ставки на внутренний взрыв в Германии, который, по его мнению, мог наступить лишь в результате ее военного поражения. Это полностью совпадало с оценкой самого Уилки. Сталин не драматизировал, но и не преуменьшал трудностей на советско-германском фронте — немцы, прямо сказал он, «могут взять Сталинград».[31] Сталин, записал Уилки, «не делал никаких прогнозов насчет способности России выстоять и со всей определенностью говорил о том, что ни любовь к Родине, ни храбрость солдат сами по себе не могут спасти Отечества, ибо исход сражений определялся числом, уменьем и техникой».[32]

Уилки, в свою очередь, по поручению Рузвельта поднял волновавшую его и его избирателей тему советско-польских отношений, попросив Сталина от себя и от имени президента пойти навстречу некоторым требованиям правительства Сикорского, в том числе по обращению с поляками на советской территории. Ответом были слова (также опущенные в официальной версии) о стараниях советского правительства, о неблагодарности и заносчивости поляков — «уж не требуют ли они от нас,— саркастически осведомился Сталин, — капитуляционного права для себя, какое одно время существовало в Турции для иностранцев?»[33]

Короче говоря, разговор получился содержательным, но, к удивлению посла Стэндли, Уилки отказался от его предложения информировать о беседе президента, сославшись на то, что «полученная информация для передачи президенту на-

столько конфиденциальна, что он не хочет доверить ее даже шифровальщикам».[34] Еще одна пощечина адмиралу!

На следующий день для Уилки и его спутников была организована поездка на фронт — редкая привилегия для иностранцев, которой безуспешно домогались многие именитые визитеры, аккредитованные военные представители и журналисты. План поездки был составлен в Генштабе и подписан лично маршалом А.М. Василевским. Гостей принимали в штабе командарма Д.Д. Лелюшенко, стоявшего тогда в районе Старицы, к северу от Ржева. Лихой 38-летний генерал и его люди произвели на Уилки большое впечатление. «В своем подземном командном пункте, — вспоминал американец, — он показал на карте расположение своих войск, объяснил план наступления и рассказал о ходе боев, которые шли впереди и вокруг нас». Лелюшенко даже разрешил американцам побеседовать с только что взятыми немецкими пленными. Уилки был поражен их жалким видом — «неужели эти плохо одетые, истощенные, чахоточного вида люди и есть те самые устрашающие гунны, непобедимые солдаты?». («Видимо, специально подобрали 18-летних молокососов», — записал в своем отчете сопровождавший Уилки военный атташе полковник Микела.[35] Контраст с волжскими косарями-курсантами говорил сам за себя). «Пусть это не вводит Вас в заблуждение, — отвечал командарм. — Германская военная техника все еще превосходна, а офицерский корпус многочислен и высококвалифицирован. Даже с такими солдатами немецкая армия все еще сильнейшая военная машина в мире. Но если ваша страна даст нам необходимую технику, Красная Армия одолеет немцев на всех фронтах — от Кавказа до Северного полюса. Потому, что наши солдаты лучше и они воюют за свою родину». Уилки и его спутники побывали на боевых позициях, осмотрели трофейную немецкую технику, отобедали с большой группой офицеров штаба. А рядом уже тянулись по дороге крестьяне со своими пожитками, возвращаясь на только что освобожденную землю. Сколько километров фронта вы обороняете?» —

спросил Уилки у командарма. — Он посмотрел на меня с оскорбленным видом и, медленно цедя слова, произнес через переводчика: «Я не обороняюсь, сэр. Я наступаю». «После моей поездки на фронт подо Ржевом, — писал потом Уилки, — я понял ясно как никогда, что выражение «народная война» в России исполнено глубокого смысла».[36]

Советские сопровождающие составили несколько иную картину происходившего. Они, в частности, тоже выделили эпизод с пленными, но увидели в нем скрытое сочувствие гостя к врагу (вот они, его немецкие корни!). «Бедные, обманутые черти», — приводят они отзыв Уилки. Дальше — больше. «Осматривая разбитый вражеский узел сопротивления, траншеи, дзоты, трупы убитых и следы боя, Уилки проявлял исключительную невнимательность... Когда генерал Покровский предложил проехать два километра и посмотреть батарею тяжелых орудий, ведущих огонь, Уилки сказал, что уже создал для себя представление о фронте и желает поехать обратно. Он не дал возможности сопровождавшим его американским военным подробнее осмотреть систему немецких укреплений... сказал, что поездка его очень утомила».[37]

Таким образом, Уилки разочаровал не только советских, но и американских сопровождающих, среди которых было несколько военных разведчиков, посетовавших потом послу Стэндли на «бесполезность» поездки, с их точки зрения.[38] «Ввиду характера поездки, — телеграфировал шефу армейской разведки Микела, — ничего нового, представляющего военную ценность, не было показано или увидено».[39] Самому Стэндли пришлось пережить еще одно публичное унижение. Во время обеда на одной из зенитных батарей под Москвой Уилки, которого раздражали постоянные напоминания посла о протоколе и субординации, предложил молодым советским офицерам состязание в том, кто кого перепьет, с адмиралом, рекомендованным им «чемпионом» в этом виде спорта. Седовласый Стэндли, бывший начальник штаба ВМС США, ловко увернулся от приглашения, заявив, что «чемпион с любителями не играет», но затаил еще большую злобу на визитера.[40] Дело усугуб-

лось еще и разницей во взглядах. Для Стэндли Уилки был очередным адвокатом сентиментальной рузвельтовской политики «умиротворения» России, вместо жестко силового подхода к ней. Недоверие вызывали и его спутники, особенно Барнс, который (как записал посол в своем отчете) «считается сочувствующим коммунистам».[41]

По возвращении в Москву Уилки посетил военный госпиталь в Боткинской больнице, где разговаривал с ранеными. «Два раненых бойца, — с удовлетворением сообщали сопровождающие, — и из такого «протокольного» разговора подвели Уилки к вопросу о втором фронте... Заметно нервничая, Уилки ответил, что американское правительство, Рузвельт и он сам за открытие второго фронта. Однако срок назначат военные, которые будут исходить из стратегических соображений». Зафиксировали они и другой эпизод, происшедший во время встречи Уилки с киевским митрополитом Николаем. «Уилки вдруг обратился ко мне лично, — записал М.Потрубач, — и несмотря на церковное облачение Николая, спросил меня, является ли лицо, с которым он ведет беседу, человеком, с которым он должен обсуждать вопрос о строительстве Куйбышевского гидроузла». Молотов подчеркнул это место красным карандашом, видимо, как еще одно свидетельство плохой осведомленности гостя в «самых элементарных вещах». Отчеркнул нарком и общий вывод своих подчиненных по итогам их наблюдений: «У нас создалось определенное впечатление о том, что Уилки приехал в СССР не для того, чтобы ознакомиться с его действительностью, а лишь с целью зафиксировать факт своего посещения Советского Союза для использования его в своих рекламных целях».[42]

Не понравилось принимавшим и настойчивое желание Уилки встретиться с популярным в США Шостаковичем и пригласить его в свою страну с концертами. Отпускать за границу малоуправляемого, да еще грешившего «формализмом» композитора в Кремле явно не хотели и потому всячески уклонялись от этой темы. Но Уилки не сдавался и вновь поднял ее на встрече с писателями и журналистами, среди которых были К.Симонов, И.Эрен-

бург и обозреватель «Красной звезды» генерал А. Игнатьев. Приезд Шостаковича в США, настаивал он, «неизмеримо поможет в понимании того, с чем мы сегодня сталкиваемся». Здесь-то Симонов, видимо, не без подсказки сверху и втолковал докучливому американцу всю несуразность его предложения: «Видите ли, мы ведем борьбу не на жизнь, а на смерть... Предлагать нам послать музыканта в Соединенные Штаты, которые тоже поглощены войной с тем, чтобы музыка объяснила то, что и так предельно ясно, это в своем роде оскорбление для нас». Сам Симонов, вспоминая об этом разговоре, писал: «На протяжении вечера Уилки несколько раз краснел, сердился, отругивался и порой обижался, но как раз то, что его задевали наши упреки (по второму фронту. — *Авт.*), и нравилось мне в нем».[43]

Несмотря ни на что, Уилки, судя по его публичным высказываниям и статьям, вынес в целом благоприятное впечатление о своих советских контактах. Писатели и журналисты показались ему «хорошо информированными, любознательными и критичными, но без антагонизма», высшие чины — «образованными, интересующимися внешним миром и совсем не похожими по своим манерам, обличью и речи на диких, неотесанных большевиков из наших карикатур».[44] В простых людях его впечатляли патриотизм, самопожертвование и решимость воевать до победного конца. «Уилки,— по словам его биографа, — был крайне тронут мужеством и силой русских людей и хорошо прочувствовал всю их горечь в отношении второго фронта».[45] Не спрашивая ничьего разрешения, он решил высказаться об этом публично прямо в Москве, сделав заявление для советской и иностранной прессы. «Очень легко сидеть в комфортабельных условиях в Америке, читая о русских, которые ведут беспримерную борьбу под Сталинградом и гибнут, чтобы защитить Сталинград, — сказал он. — Мне было труднее объяснить простому русскому солдату, почему Америка и Англия еще не готовы воевать в Европе и не нападают непосредственно на Германию. Его не убеждал тот риск, о котором говорят наши эксперты...» Отвечая

ш вопрос, как быстрее выиграть войну и помочь героическому русскому союзнику, Уилки был категоричен — «открыть вместе с Англией подлинный второй фронт в Европе и в наиболее кратчайшие сроки, которые одобрят наши военные руководители. Может быть, общественному мнению Америки придется на них и поднажать. Следующим летом может быть слишком поздно».[46]

Заявление Уилки, разнесенное прессой и телеграфными агентствами по всему миру, вызвало большой резонанс, тем более что говорил личный представитель президента. В США и Англии вновь вспыхнули дебаты о втором фронте. Американские военные и дипломаты осудили «несанкционированные» высказывания республиканца, но болезненнее всего реагировали в Лондоне, где еще не оправились после тяжелых августовских объяснений со Сталиным и считали вопрос закрытым. Черчилль, его заместитель К.Эттли и ряд других деятелей, не называя имен, подвергли резкой критике безответственные высказывания» и призывы к нажиму» на военных. Зато лидеры лейбористов поддержали призыв Уилки, а английский посол в Вашингтоне лорд Галифакс сообщал в Лондон, что в Америке Уилки, видимо, укрепил свою популярность среди простых людей и умеренно настроенных слоев в целом».[47]

Демарш Уилки поставил в трудное положение и президента Рузвельта, который предпочел дистанцироваться от спорных высказываний своего представителя и даже не удержался от саркастических замечаний в адрес некоторых «кабинетных стратегов».[48] Зато в Москве, надо полагать, были довольны смелым поступком Уилки. Советская пресса излагала зарубежные отклики на заявление американского гостя, а пропагандисты разносили его в закрытых лекциях для столичных агитаторов, на которые иногда удавалось проникнуть американским представителям. «Докладчик, — сообщалось об одной из них в донесении посольства, — подчеркнул предложение Уилки поднажать на британских и американских военных и отметил, что, хотя Уилки и не выражал официальную точку зрения американско-

го правительства, он говорил от имени 22 миллионов американских избирателей и находился в СССР в качестве личного представителя Президента. Поэтому его можно считать компетентным выразителем мнения американского народа».[49]

Сталин, которому докладывали о каждом шаге американца, был, конечно, хорошо информирован о зарубежной реакции на заявление Уилки. Неудивительно, что заключительный обед в честь почетного гостя прошел в Кремле с необычной теплотой и «в самой дружеской атмосфере», как сообщали в Вашингтон его американские участники.[50] Присутствовали почти все члены Политбюро, послы ведущих союзных государств, американская делегация в полном составе. Стол ломился от яств (включая тарталетки жуанвиль из крабов), вино лилось рекой — Уилки насчитал пятьдесят три тоста «до дна». Первый провозгласил Сталин — «за встречу американских, английских и советских армий в Берлине». «Тост, — отмечено в советской записи этой беседы, — был встречен присутствующими с большим воодушевлением». Спутник Уилки Коулс предложил выпить «за рядового русского солдата без имени, к которому сейчас прикованы глаза всего мира». Сталин добавил, что «русский рядовой солдат решает сейчас судьбу мира». Тут Уилки, сидевший по правую руку от Сталина, завел разговор о виденных им немецких солдатах — как они «были плохо одеты и выглядели слабыми в физическом отношении». Продолжая легенду об обескровленной Германии на фоне неисчерпаемой России, Сталин невозмутимо ответил, что «здоровые и физически крепкие немцы были перебиты в прошлом году. Теперь нам попадаются слабые в физическом отношении немцы».

Когда один из американских военных предложил тост за русских и союзных пилотов, Сталин в сердцах развил его критикой союзников, не выполняющих свои обещания по поставке в Россию боевых самолетов. Он прямо обвинил Черчилля в перехвате 152 истребителей «аэрокобра» американского производства, предназначавшихся для СССР (о чем ему накануне сообщила советская разведка), а также сказал о недовольстве советских летчиков уста-

ревшими типами английских самолетов. «Речь Сталина включала в себя следующее, — докладывал в Пентагон присутствовавший на обеде военный атташе Микела: — США и Великобритания шлют устаревшие самолеты типа Томагавк и Харрикейн, оставляя себе Аэрокобры и Спитфайеры; Англия украла 150 «кобр» из предназначенных Советскому Союзу».[51] Специально сообщая об этом эпизоде послу И.М.Майскому в Лондон, Молотов отметил, что «присутствовавшие американцы, начиная от Уилки и посла Стэндли, живо и, в общем, сочувственно реагировали на слова тов. Сталина».[52]

Живо среагировал и присутствовавший на обеде английский посол сэр Арчибальд Керр. Побагровев, он стал излагать свою версию о пропавших «кобрах». Уилки вмешался, чтобы разрядить обстановку. Он напомнил о мужестве англичан, долго воевавших с Гитлером в одиночку, сказал о трениях, которые всегда бывают между союзниками и о важности сохранения их единства как залога победы над фашизмом. Затем Уилки положил руку на сталинское плечо, повернув рассерженного вождя к себе лицом, и предложил тост за союзные страны, «которые едины сейчас и должны во имя всеобщего мира и безопасности сохранить это единство и после войны». Сталин выпил до дна, а затем, по свидетельству переводчика Уилки Барнса, сказал своему гостю: «Вы, я вижу, прямой человек. Я сам люблю прямоту, но Вы бы не украли у меня 152 самолета».[53] Сталин, видимо, еще не знал, что эта партия «кобр» была перехвачена англичанами по просьбе американцев для нужд армии США в операции «Торч» и должна была быть компенсирована советской стороне дополнительными поставками из самих Соединенных Штатов. 21 сентября Гарриман напоминал об этом Гопкинсу из Лондона, передавая «озабоченность» Идена этим вопросом.[54] Тем не менее возмущение советской стороны было понятным и даже разделялось некоторыми американскими представителями. Один из них, Ю.Ростоу — будущий известный «ястреб» и глава Агенства по контролю над вооружениями и разоружению в 1980-х гг., а тогда — скромный работник Комитета Советского протокола, — отво-

дил душу в частной переписке с О.Коксом: «Донесения Феймонвилла рисуют отталкивающую картину — постоянное игнорирование многократных заявок на боевые самолеты, запчасти, табельный инструмент и т.д. И вот, как только ситуация стала понемногу улучшаться, наша армия в нарушение приказов крадет русские самолеты в Англии и опять все идет насмарку».[55] Протест Сталина возымел действие: через несколько дней Черчилль объяснился с ним по поводу злополучных «кобр», а американское командование получило наказ от Гопкинса «учитывать темперамент русских и ситуацию, в которой они находятся» с тем, чтобы «свести к минимуму отвлечение предназначенной для них техники на другие нужды».[56]

Во время прощального обеда в Кремле Уилки, воспользовавшись подходящим моментом, обратился к Сталину со все той же просьбой о поездке Шостаковича в США. Тот ответил, что «не знаком с этим вопросом», но великодушно заверил, что советское правительство не будет чинить препятствий, «вот только если сам Шостакович не захочет поехать». (Сталин, как известно, знал желания своих подданных наперед — композитор так и «не захотел поехать».)

Но, пожалуй, самый интересный совет гостю Сталин припас под конец. Он (по той же записи беседы, сделанной В.Павловым) «снова обратил внимание Уилки на Аргентину, из которой снабжаются державы «оси», и рекомендовал прибрать ее к рукам, например, под видом ее защиты».[57] Эта откровенность опять-таки говорит о явном расположении Сталина к Уилки — ведь советовал он от души, ибо на месте американцев, наверное, сам бы решил аргентинскую проблему именно таким, хорошо ему знакомым образом. Но Уилки-то знал, что США не смогут воспользоваться этим добрым советом, который он, похоже, оставил при себе. В его путевых заметках есть лишь глухое упоминание о непонимании Сталиным «некоторых ограничений на методы ведения войны демократиями».[58] Гости разошлись только в половине второго ночи после любимого

сталинского угощенья — просмотра очередного кинофильма (на сей раз это была «Оборона Москвы»).

Еще из Москвы Уилки отправил статью в журнал «Лайф», в которой высоко отзывался об СССР и его лидере. Сталин тут же ознакомился с ней в тассовском переводе и с небольшой правкой (в т.ч. — переделывая «г-на Сталина» на «тов. Сталина») одобрил публикацию ее изложения в «Правде».[59]

На следующий день после трапезы в Кремле Уилки покинул Москву, а в Вашингтон полетели шифровки от посла Стэндли: «Посольство не знает, с кем они встречались и кто их развлекал, с кем и что они говорили...» Стэндли даже запросил приезда в Вашингтон для личного отчета о вызывающем поведении Уилки.[60] Беседовавший с ним накануне отъезда генерал Брэдли сообщал в военное министерство: «Адмирал Стэндли, собираясь из Москвы в Вашингтон, сказал, что не вернется обратно, если визиты вроде визита Уилки будут сопровождаться игнорированием его визитерами и советской стороной... Это почтенный 70-летний джентльмен с самыми лучшими намерениями, но дряхлость сводит его усилия на нет. По его собственному мнению и в интересах страны его следует заменить».[61] Перед отъездом посол добился аудиенции у Сталина и Молотова, которые интересовались реакцией в США на визит Уилки и были весьма удивлены, что представитель президента ничего не сообщил послу «о своем разговоре со Сталиным».[62] Видимо, поэтому Сталин решил на всякий случай продублировать запросы, изложенные им в той беседе, в специальном послании Рузвельту, отправленном со Стэндли («Обо всем этом,— пояснял он в нем, — я уже говорил с г. Уилки, уверенный в том, что он сообщит Вам об этом».[63])

Далее путь Уилки лежал в Китай, но по дороге оттуда он сделал несколько остановок в Сибири, в том числе в городе Чите. Местный уполномоченный НКИД, он же — председатель облисполкома, сообщал в Москву о наиболее важных высказываниях гостя: «Он сторонник создания его (второго фронта) в кратчайшие сроки. Рабочий класс и интеллигенция США утвердительно стоят за немедленное от-

крытие второго фронта. Что касается военных кругов и военных руководителей, то они за последнее время охладели к этому делу, и на них надо не только «поднажать», а они нуждаются в серьезном и чувствительном «уколе» (при этом взяв вилку со стола, Уилки, смеясь, продемонстрировал, в какое место следовало бы уколоть этих руководителей» (Молотов подчеркивает это место. — *Авт.*). Уилки, продолжал уполномоченный председатель, спросил его о Черчилле, но он ушел от ответа. «Тогда Уилки ухмыльнулся и сказал: «После поездок Черчилля в США наши военные деятели начали колебаться больше в вопросе о немедленном открытии второго фронта». Уилки, как видно, не успокоился даже после скандала вокруг его московских заявлений, но это не помешало уполномоченному сделать следующий вывод (тоже подчеркнутый наркомом): «...Уилки во время пребывания у нас был серьезно озабочен, как его примут в США по возвращении туда, и нельзя не заметить, что он сильно беспокоился, не сказал ли он чего-либо «лишнего».[64]

Уилки покидал Россию вдохновленным ее стойкостью, но без особых иллюзий насчет ее вождей. Во время длинного перелета в Китай он делился с ближайшими спутниками своими опасениями за будущее, особенно в отношении судьбы Восточной Европы. «Он ратовал за то, — вспоминал Коулс, — чтобы договориться об условиях мира не откладывая, пока у нас есть наибольшие рычаги давления на Россию. Его беспокоили русские лидеры. Беседуя со Сталиным, Молотовым, Вышинским и другими членами Политбюро, он ощущал в них возврат к жестокости и империализму старых царских правительств».[65]

По возвращении в Вашингтон он дал Рузвельту подробный отчет обо всем виденном в России. К сожалению, записи этой беседы в архиве Рузвельта не сохранилось, но, по свидетельству Барнса, доклад Уилки не был «приятным или ободряющим».[66] Серию закрытых брифингов по итогам поездки провели и его спутники, наиболее активным из которых был Коулс. К нему прислушивались — как-никак второй человек в американской машине военной пропаганды, поэтому рассказы Коулса кругами рас-

ходились по Вашингтону. Один из информаторов госдепартамента, присутствовавший на ланче с Коулсом для журналистов, суммировал его не предназначавшиеся для печати высказывания следующим образом: «Команда Уилки была особенно поражена крайне негативным отношением советских лидеров к Великобритании и ее нынешней политике. Сталин сказал м-ру Уилки, что, по его мнению, нет большой разницы между текущей политикой Черчилля и политикой Чемберлена, поскольку и та и другая направлены на ослабление Советского Союза и устранение его как мощной силы в послевоенном мире. Общее ощущение советского руководства состоит в том, что англосаксы ведут войну на основе решений, принятых без консультаций с советским правительством, которое потом лишь информируют об этих решениях. М-р Сталин сказал м-ру Уилки, что хотя Соединенные Штаты не выполняют своих обещаний по поставкам в СССР, советское правительство не возражало бы против сокращения этих поставок, если бы они шли туда, где могли бы ослабить давление на советские войска. Но направление этой техники туда, где она не выполняет этой функции, как на Британские острова, вызывает возмущение у советского правительства. Сталин сказал, что, на его взгляд, Великобритания является наиболее вооруженной частью мира, которая в то же время вносит меньше других в реальное ведение войны. М-р Уилки вынес впечатление о том, что Сталин — во многом из-за недоверия к Великобритании — не расположен брать на себя обязательства по послевоенному устройству. Вместе с тем он сказал м-ру Уилки, что Соединенным Штатам не стоит беспокоиться о коммунистической угрозе, поскольку СССР заинтересован не в политическом устройстве стран послевоенной Европы, а в том, чтобы они были не фашистскими и не агрессивными. У м-ра Уилки также сложилось впечатление о том, что действия СССР в Прибалтике и Финляндии теперь мало что может сдержать, а в отношении поляков он обнаружил большую враждебность и оппозицию идее сильной, независимой Польши».

Препровождая эту запись госсекретарю К.Хэллу, ведущий эксперт госдепартамента по советским

делам Ч.Болен предположил, что «советской стороне вряд ли понравится разглашение конфиденциальных высказываний Сталина», и сообщил, что пытается установить, не было ли на ланче советских журналистов. Болен выделил в информации антианглийские выпады Сталина, расценив их как продолжение — несмотря на августовские переговоры с Черчиллем — «кампании по второму фронту». «Трудно сказать, — недоумевал он, — с какой целью это делается — разве что для протокола на послевоенный период, когда Сталин явно ожидает политических расхождений между СССР, США и Великобританией».[67]

Сведения Коулса наделали в вашингтонских кулуарах немало шума. Хэллу пришлось успокаивать английского посла лорда Галифакса, который жаловался, что Коулс «по сути повторял приписываемые Сталину слова о том, что война потребует крови, времени и поставок и что Россия предоставит кровь, Америка — поставки, а Великобритания — время».[68]

Американцы не зря опасались утечки информации. Совпосольство в Вашингтоне не дремало, и уже через несколько дней на стол Сталина легла шифровка от посла М.М.Литвинова с изложением того же выступления Коулса. Но советская информация интересным образом дополняла предыдущую версию: «...Обо всем касающемся СССР (Коулс. — *Авт.*) дал восторженный отзыв... — говорилось в ней. — Сталин говорил Уилки, что Черчилль не лучше Чемберлена и что оба хотели ослабления или уничтожения СССР при помощи Гитлера. Сталин будто бы говорил также, что Америка делает большую ошибку, посылая так много продовольствия в Англию, которая нигде активно не выступает. Коулс говорил, что СССР выиграет войну, если даже будет предоставлен сам себе. Но это означает конец Великобритании и ослабление американского влияния, а потому Америка должна во что бы то ни стало находиться на стороне Советского Союза теперь же и приобрести его дружбу, чтобы с ним разделить мировое господство после войны».[69]

Сталин не часто обращался к послам лично, обычно поручая это Молотову. Но тут он счел, что

необходимо его прямое вмешательство. «Россказни Коулса о моих высказываниях против Англии и Черчилля выдуманы от начала до конца, — сообщил он Литвинову для ориентировки. — Я вообще не имел никакой беседы с Коулсом. Возможно, что на завтраке в Кремле, где присутствовало человек 60 русских, англичан и американцев, наши люди наболтали лишнее Коулсу».[70]

Коулс, полностью разделявший неприязнь Уилки к английскому империализму, возможно, несколько сгущал краски, выдавая желаемое за действительное. Но в целом он верно передавал внутренний настрой Сталина, который в октябре писал послу И.М.Майскому: «У нас в Москве создается впечатление, что Черчилль держит курс на поражение СССР, чтобы потом сговориться с Германией Гитлера или Брюнинга за счет нашей страны».[71] (Майский в ответ даже постарался смягчить это категоричное мнение вождя).[72] Однако публично говорить об этом было нельзя, и Сталин, обеспокоенный утечкой вредной для союзнических отношений информации, видимо, решил хотя бы задним числом отмежеваться от своих высказываний. Как раз в те дни в ноябрьской речи о годовщине Октября и интервью американскому журналисту Г. Кассиди 14 ноября он взял подчеркнуто-уважительный тон в отношении обоих главных союзников и с оптимизмом говорил об укреплении «англо-советско-американской коалиции», что сразу было замечено американской и английской дипломатией.[73]

Сам Уилки после возвращения из СССР усилил свою агитацию в пользу открытия второго фронта и укрепления сотрудничества внутри «большой тройки». Его специальное радиообращение от 26 октября по итогам своей поездки прозвучало на всю страну, собрав рекордную аудиторию — 36 млн. человек.[74] Позитивную роль Уилки на этом поприще не раз отмечали в своих донесениях из Вашингтона советские дипломаты в конце 1942-го — начале 1943 г.[75] Но, пожалуй, самым громким эхом его поездки стала вышедшая следующей осенью книга «Единый мир», написанная им по следам того глобального турне. Она стала самой популярной книгой в Америке во-

енных лет, побив все рекорды своим миллионным тиражом уже в первые семь недель. «Единый мир» был переведен на многие языки, подпольно распространялся в оккупированной фашистами Европе. Раздел книги, посвященный России, в яркой и доходчивой форме доводил до читателя вдумчивые наблюдения автора о «нашем союзнике», некоторые из которых уже цитировались в данном очерке. Глава кончалась горячим призывом к сотрудничеству великих держав после войны, несмотря на все трудности и коренные различия между ними. С тех же позиций либерального интернационализма Уилки готовился начать свою следующую президентскую предвыборную кампанию. У СССР не было лучшего союзника среди республиканцев.

Тем большее недоумение вызвала в США публикация в начале января 1944 г. большой и хлесткой статьи в «Правде» под названием «Уилки мутит воду» (ее автором был известный фельетонист Д.Заславский). Поводом для нее стала статья Уилки в «Нью-Уорк таймс мэгэзин», озаглавленная «Не возбуждайте недоверия к России». Она призывала политиков обеих партий не превращать российскую тему во «внутриполитический футбол» путем нагнетания антисоветизма, в чем особенно усердствовали республиканцы. Вместе с тем Уилки затронул «волнующий всех вопрос о намерениях России в отношении политической независимости малых стран вдоль ее границы — Финляндии, Польши, прибалтийских и балканских государств», призвав США отговорить Москву от оккупации этих стран.

На этот-то пассаж и набросился Заславский, обнаружив в нем «гнилой запах знакомой антисоветской клеветы» и фразы «прямо из враждебного нам лагеря». «Реализм господина Уилки, — разоблачала «Правда», — заключается в том, что он хочет завоевать доверие тех своих читателей-избирателей, которые стоят за укрепление доверия к Советскому Союзу, и доверие тех своих читателей-избирателей, которые возбуждают недоверие к Советскому Союзу. Он хочет служить и «вашим» и «нашим». Для того он и мутит воду, чтобы ему было легче ловить в мутной воде избирательные голоса. Это слишком

грубая игра...»[76] Фельетонист даже связал Уилки с такими заклятыми врагами России, как Ватикан и английские правительственные круги .(«Не такая уж плохая кампания для парнишки из Индианы», юмористически откомментировал сам Уилки в ответ на вопросы журналистов, имея виду свое провинциальное происхождение.)

Однако и он и другие сведущие люди хорошо понимали, что просто так подобные статьи в «Правде» не появлялись. В посольстве США ломали голову над скрытыми причинами этой «вспышки антиамериканизма», которую там ставили в один ряд с такими тревожными для Запада внешнеполитическими шагами СССР тех дней, как создание «карманного» польского правительства в виде Польского комитета национального освобождения и заключение Договора о дружбе с Чехословакией.[77] Сам Уилки попросил английского посла в Москве при случае передать Сталину, что если советская пресса будет продолжать его поносить, то она, чего доброго, может сделать его президентом. В беседе с англичанином Сталин признал, что «Правда» несколько переборщила, и даже (беспрецедентный случай) предложил принести Уилки личное извинение. В нем, шутливо добавил Сталин, можно было бы сказать: «Вы мне по душе, но я не хочу, чтобы Вы стали президентом».[78]

Эти слова Сталина, срочно переданные послом А. Гарриманом лично Рузвельту, наглядно раскрывают всю нехитрую подоплеку антиуилкинской кампании в СССР: в преддверии выборов 1944 г. Сталин делал всю ставку на Рузвельта, и любая альтернатива, даже в лице лично симпатичного ему претендента, была для него неприемлемой. В этом был свой резон, ибо, как считали американские коммунисты и, видимо — сам Сталин, Уилки, «даже если бы и захотел, вряд ли бы мог существенно изменить в основном реакционный курс республиканской партии».[79]

Резона не было в другом — наивном расчете на то, что советская критика может повредить Уилки на выборах. Скорее этого можно было ожидать от сталинских публичных извинений. «В некоторых кругах республиканской партии антирусские чув-

ства настолько сильны, — писал претенденту Коулс, к которому Уилки обратился за советом, — что лучше бы Сталину сейчас не хвалить Вас публично».[80] Уилки так и не принял этого сталинского предложения, но кампания против него в советской печати закончилась так же неожиданно, как и началась, хотя Уилки продолжал свои «враждебные» высказывания по Польше и другим восточноевропейским странам.

Сталин между тем сохранил интерес к этой незаурядной фигуре. Так, в июне 1944 г. (когда Уилки уже вышел из борьбы за Белый дом) он расспрашивал о нем председателя Торговой палаты США Э.Джонстона, который передал Сталину приветствие от Уилки и заверил, что тот «по-прежнему является большим другом СССР и испытывает чувства высокого уважения к Сталину».[81]

Даже выйдя из борьбы за Белый дом, Уилки продолжал оставаться влиятельной политической величиной в своей стране. Ф. Рузвельт подумывал о создании вместе с ним новой партии, объединяющей либералов обеих старых партий, и даже начал с Уилки переговоры на эту тему. Их продолжение было отложено до конца выборов, но осенью того же года Уилки скоропостижно скончался от инфаркта.

В американской историографии по данному сюжету преобладает версия об этаком «простаке за границей», которого советские власти прекрасно раскусили и цинично использовали в своих пропагандистских целях.[82] Основным источником при этом служат злопыхательские записи посла Стэндли. Думается, что приведенные советские документы дают более сложную картину этой истории. У.Таубман во многом прав, когда описывает советскую реакцию на Уилки как «удивление, смешанное с подозрительностью и презрением»[83] (хотя презрение, как мы видели, было редким). И все же история эта не столько о циничном манипулировании, сколько об удивительном непонимании. По достоинству оценить Уилки смог лишь один советский человек.

Часть II

В РЕЖИМЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

«Я ПРИЕХАЛ КАК ДРУГ...». МОСКОВСКОЕ ПОСОЛЬСТВО АВЕРЕЛЛА ГАРРИМАНА

27 сентября 1943 г. временный поверенный в делах США в СССР М.Гамильтон посетил наркома иностранных дел В.М.Молотова с тем, чтобы сообщить о желании своего правительства назначить новым послом в Москве А.Гарримана. Нужна ли в данном случае, поинтересовался визитер, полагающаяся по правилам биографическая справка? «Гарриман, — ответил Молотов, — хорошо известен Советскому правительству, и его также знают в широких кругах населения СССР».[1] В самом деле, к тому времени Гарримана уже хорошо знали и выделяли в Москве.

История особых отношений с ним началась еще в 1920-е гг. с подписанием «Концессионного договора между правительством СССР и «В.А. Харриман энд К°» относительно марганцевых залежей в Чиагурах» — крупнейшей сделки такого рода между США и Советской Россией на сумму 4 млн. долл. Эта концессия Гарримана, его приезд в СССР в 1926 г. и переговоры с Л. Троцким и другими советскими руководителями того времени — факты хорошо известные. Куда менее известно то исключительное (в т.ч. и политическое) значение, которое советское правительство придавало этой сделке и своим отношениям с главным партнером по ней. Так, весной 1926 г., когда начались трудности с

концессией в связи с конкурентной разработкой запасов марганцевой руды в районе Никополя, наркоминдел Г.В.Чичерин обратился со специальным письмом ко всем членам Политбюро и коллегии НКИД, в котором предупреждал: «Концессия Гарримана возбудила в Америке очень большое внимание, и разрыв с ним будет иметь чрезвычайно неблагоприятное значение для наших дальнейших отношений с Америкой. К этому надо прибавить персональное значение личности самого Гарримана, которому следует идти навстречу, ввиду той пользы, которую мы от него еще можем получить... Это сын знаменитого отца, который может своего отца еще превзойти. Это молодой человек с огромной энергией, талантом, широкими перспективами и честолюбием. Он понял громадное значение будущих взаимоотношений между СССР и США и поставил себе целью, так сказать, открыть СССР для Америки, построить свою историческую карьеру на создании этих взаимоотношений... Было бы верхом нелепости лишать себя этого в высшей степени полезного орудия и отталкивать его, надо подходить к этому вопросу без близорукого бюрократизма, с широкой оценкой значения затронутых фактов».[2] Подписание в следующем, 1927 г. компромиссных изменений к договору для предотвращения «разрыва» расценивалось в Политбюро как важнейший фактор сохранения авторитета СССР в деловых кругах США.[3] Когда же продолжение концессии для Гарримана стало невозможным, НКИД сделал все для того, чтобы придать делу характер полюбовного развода. В феврале 1928 г. наркомат постановил «указать ГКК (Государственному концессионному комитету. — *Авт.*) на крайнюю важность по политическим соображениям в пределах разумного пойти Гарриману навстречу в его претензиях к нам с целью предотвратить разрыв с ним и лишить его возможности обвинять нас».[4] Неудивительно, что конечные условия расторжения договора оказались для Гарримана весьма благоприятными — советское правительство обязалось в течение 12 лет (начиная с 1931 г.) вернуть 3,45 млн. из 4 млн. затраченного

капитала, выплачивая 7% годовых на остающуюся сумму долга и на дополнительный заем в 1 млн. долл., предоставленный Гарриманом — первый крупный американский заем Советской России. Советская сторона скрупулезно выполняла это обязательство, даже в самый тяжелый период войны (до июля 1943 г.) продолжая регулярно выплачивать свой долг в золотом эквиваленте. В итоге Гарриман остался с прибылью, получив назад 5,8 млн. долл.,[5] что, должно быть, произвело немалое впечатление на кредитора-финансиста, приобретшего, как писали тогда европейские газеты, личную заинтересованность «в том, чтобы в СССР все шло нормальным ходом для того, чтобы платежеспособность советского правительства не понизилась бы еще больше...»[6]

Но если история с концессией и оставила горький привкус у обеих сторон, то следующее появление Гарримана на советской сцене вместе с лордом Бивербруком в сентябре—октябре 1941 г. закончилось к полнейшему взаимному удовлетворению. Сталин поблагодарил Рузвельта за поручение переговоров «столь авторитетному лицу, как г. Гарриман, участие которого в работе Московской конференции трех держав было столь эффективно».[7]

Уже тогда Рузвельт и Гопкинс предложили Гарриману сменить непопулярного в Москве посла США Л. Штейнгардта, но он отказался, дорожа своим стратегическим постом в Лондоне, где был принят, по его словам, практически «в качестве члена кабинета».[8] Сохраняя себя в качестве связки между Рузвельтом и Черчиллем, Гарриман попытался — и небезуспешно — одновременно стать главным посредником между Рузвельтом и Сталиным. С ведома и одобрения президента он начинает свою личную переписку со Сталиным и Молотовым по проблемам советских поставок и вооружения польских частей в СССР, благодаря прямой связи с Рузвельтом и Гопкинсом активно вмешивается в принятие решений по важнейшим вопросам советско-американских отношений, оттесняя нового американского посла в Москве адмирала У. Стэндли.

Следующий визит Гарримана в Москву — в августе 1942 г. в паре с Черчиллем, взявшим на себя трудную миссию объяснения со Сталиным по поводу задержки со вторым фронтом, — еще раз подтвердил особую роль американского дипломата как доверенного лица «большой тройки».

Часто бывая в Вашингтоне, Гарриман помогал проталкиванию советских заявок в столичных коридорах власти. Хорошо осведомленный обозреватель газеты «Вашингтон пост» Дрю Пирсон так описывал эту закулисную активность Гарримана: «Особенно критически он относится к скрытой, но бытующей здесь пропаганде о том, что нам следует исключать Россию ровно настолько, чтобы позволить ей ослабить Гитлера, но не стать мощной силой после войны. Гарриман считает, что подобные настроения крайне опасны и должны выжигаться каленым железом... Он призывает всех своих друзей, особенно в верхнем эшелоне администрации, каждый день спрашивать себя: «А что было сделано сегодня для увеличения помощи России?»? В начале 1943 г. при активном участии Гарримана американская сторона пошла навстречу советским требованиям по 3-му протоколу о поставках в отношении тоннажа, предоставляемого США и Англией.[10] Другим осязаемым вкладом Гарримана в осуществление программ ленд-лиза для СССР была его личная инициатива по реконструкции железнодорожного пути через Иран, который в результате уже к весне 1943 г. стал важнейшей артерией союзнических поставок в СССР.

В июне сам президент за ланчем на двоих, искусно используя самолюбие Гарримана, призывает его взять на себя трудную и важную миссию налаживания прямых отношений со Сталиным. Гопкинс добавляет к этому другие аргументы: работа Гарримана в Лондоне становится менее важной, ибо дело там уже поставлено, а пост в Москве выходит на передний план, так как именно от отношений с Москвой в первую очередь зависит скорый разгром Японии и послевоенное устройство мира. В августе Гарриман наконец дает согласие. Он сознавал угрозу своего превращения на новом посту

«в почетного офицера связи» (как писал он Рузвельту), знал, что западных дипломатов в Москве «держат за забором»[11], но давление президента и ощущение важности момента взяло верх. «У посла в Москве больше шансов на неудачу, чем на подлинные достижения, — писал он Рузвельту, — но слишком велики ставки для войны в Европе и на Тихом океане, да и для последующего периода».[12]

Момент в отношениях союзников и в самом деле был критическим. Коренной перелом в ходе войны, наметившийся после Сталинградской битвы и закрепленный исполинскими сражениями на Курской дуге, создавал новую расстановку сил внутри «большой тройки». Становилось ясно, что Советский Союз сможет теперь не только разбить основные силы вермахта, но и выйдет из войны новой великой державой с заметно укрепившимися позициями в мире. К этому сводились прогнозы как военных планировщиков, так и гражданских ученых-геополитиков США, еще недавно прорабатывавших сценарии последствий «падения России». «Если СССР выйдет из этой войны покорителем Германии, — писал летом 1943 г. один из основоположников современной геополитики Г.Маккиндер, — он станет самой мощной сухопутной державой мира». Что еще важнее, предсказывал Маккиндер, Советский Союз будет контролировать «величайшую естественную крепость Земли» — евразийский «хартлэнд».[13] «Когда Германия будет разгромлена, — подчеркивалось в меморандуме Комитета стратегического обзора (сентябрь 1943 г.), — Россия будет обладать военной машиной, которой к востоку от Рейна и Адриатики не сможет бросить успешный вызов ни одна страна или комбинация стран».[14] Возвышение России, отмечали ведущие эксперты Принстонского университета в исследовании для армейской разведки, будет сопровождаться прогрессирующим ослаблением Великобритании и ее империи как фактора мирового баланса сил.[15]

Эта общая посылка стала отправной точкой новых дебатов в военном и экспертном сообществе

США о вероятных последствиях этого сдвига для американских интересов и поисках оптимальной реакции на него со стороны США. «Пессимисты» — бывший посол в Москве У. Буллит, посол США в Анкаре Дж. Эрл, генерал А. Ведемейер и другие, считали подобное усиление СССР явной угрозой для США и предлагали различные способы «остановить Россию», начиная от поддержки «балканской стратегии» англичан и кончая политическим использованием ленд-лиза. Общей презумпцией пессимистов было убеждение в извечности советского стремления к экспансии и «неисправимости» сталинского режима, исключавшей возможность нормального сосуществования с ним.

«Реалисты», негласным лидером которых можно считать генерал Дж. Маршалла, прежде всего исходили из того, что Советскому Союзу принадлежит решающая роль в войне с Германией и потенциально очень важная — в борьбе с Японией, а потому следует всемерно помогать ему нести это бремя и дальше. «Наша главная опора в Европе — это Россия, — говорил на заседании КНШ в начале 1943 г. адмирал Э. Кинг, — поэтому следует сделать все возможное, чтобы вложить ей в руки все необходимое для ведения войны. Речь идет не об ублажении Сталина, а об использовании русских в наших собственных интересах».[16] С этим соглашался и генерал Г. Арнольд, который в феврале 1943 г. писал Дж. Маршаллу: «Наша политика помощи России, с которой я полностью согласен, основана на необходимости разбить немцев, а не на желании помочь русским... Правда, растет неясность, куда поведут успехи русских, но лично я готов пойти на риск того, что они могут злоупотребить нашей помощью или своими успехами, покуда их успехи необходимы для нашего успеха».[17]

Во-вторых, «реалисты» прекрасно понимали ограниченность возможностей США в блокировании советского продвижения в Восточную Европу и на Балканы в свете сложившейся военной ситуации. Единственный способ не допустить туда русских, заключили в европейском отделе госдепар-

тамента со ссылкой на мнение военного ведомства, это создать «коалицию в составе США, Великобритании и вооруженных сил Германии».[18] СССР по словам министра ВМС Ф.Нокса, стремится к «защищаемым границам» на Западе (Прибалтика, Балканы, восточная Польша и черноморские проливы), и США не могут этому воспрепятствовать, «если только мы не готовы теперь же воевать с Россией».[19]

Наконец, конфронтационная стратегия «пессимистов» представлялась «реалистам» не только опасно контрпродуктивной, но и не слишком нужной, поскольку данные регионы не затрагивали жизненно важных интересов США в отличие от «имперских интересов Великобритании». Своеобразным резюме позиции «реалистов» может служить меморандум Комитета стратегического обзора, одобренный КНШ в сентябре 1943 г. в качестве инструкции военному представителю США на предстоящей Московской конференции. В нем подчеркивалось, что «кардинальными факторами» политики США в отношении СССР должны быть: «а) откровенное признание того факта, что поражение Германии в огромной степени зависит от продолжения всестороннего сотрудничества с Россией; б) признание того, что после разгрома (Германии. — *Авт.*) военное положение России позволит еЕ добиться любого желательного территориального урегулирования в Центральной Европе и на Балканах; в) полноценное участие России в войне с Японией после разгрома Германии крайне важно СоединЕнным Штатам для быстрого и полного разгрома Японии гораздо меньшей ценой со стороны США и Великобритании».[20]

И всЕ же позиция «реалистов» не давала полного ответа на дилемму, сформулированную историком У. Кимбэллом — «как поддерживать Советский Союз в войне, не помогая создавать монстра, угрожающего американским интересам?»[21] Ответом «реалистов» в сущности было «надеяться на лучшее» (ограниченность советских притязаний, сохранение сотрудничества «большой тройки» после войны) и готовиться к худшему путем созда-

ния глобальной системы национальной безопасности, опирающейся на широкую сеть военных баз по всему миру, а в более широком плане — на военно-стратегическое и экономическое превосходство США. Уже с 1942 г. руководство военной разведки США призывало «культивировать настрой, который позволит нам навязать свои собственные условия мира, приближающиеся к Пакс-Американа».[22]

Иной ответ на эту же дилемму давали «оптимисты» — Ф. Рузвельт, Г. Гопкинс, Г. Уоллес и их единомышленники. Их объединяло представление об СССР как проблемной, но отнюдь не имманентно враждебной США стране, антизападные комплексы которой коренятся в тяжелой истории (а отчасти и в поведении самого Запада) и могут быть постепенно изжиты под американским влиянием при условии правильного обращения с ней. «Я думаю, что русские настроены к нам дружественно и не собираются прибрать к рукам всю остальную Европу или мир, — говорил президент в одном из выступлений 1944 г. — Они не знали нас, и в этом состоит ключевое различие... У них нет сумасшедших идей завоеваний... и теперь, когда они нас узнали, они гораздо более готовы воспринять нас».[23]

Ключевая презумпция эластичности советских мотивов и поведения подкреплялась образом СССР как «нормализующейся системы», навеянным шагами советского руководства по «национализации» сталинской модели в годы войны — примирение государства с церковью, роспуск Коминтерна, перестройка вселенско-большевистской идеологии и символики в более традиционном национально-патриотическом ключе. К этому добавлялся позитивный опыт военного сотрудничества и патерналистский оптимизм самого Рузвельта в отношении своих способностей к «приручению Сталина», как подлинного самодержца, способного повернуть свою страну в ту или иную сторону. Отсюда — известная одержимость Рузвельта налаживанием и сохранением личных отношений со Сталиным, его расчеты на завоевание расположения кремлевского диктатора для оказания на него влияния. При этом Рузв-

вельт весьма энергично пресекал претензии Черчилля на роль посредника между Москвой и Вашингтоном, ссылаясь, в частности, на повышенную подозрительность Кремля к британской дипломатии. «Сталин ненавидит премудрость всей вашей верхушки, — писал он Черчиллю в 1942 г. — Он более высокого мнения обо мне и, надеюсь, останется при этом мнении». В июне 1943 г. президент даже пытался устроить встречу один на один со Сталиным, приписывая в контактах с Черчиллем авторство этой идеи Сталину и оправдывая ее тем, что в отсутствие премьера Сталин будет «более откровенен».[24]

Эти расчеты Рузвельта на «внушаемость» Сталина, как проницательно заметил А.Шлезингер-мл., «были отнюдь не столь безнадежно наивными, как принято считать. Рузвельт с его поразительным чутьем великого политика интуитивно понимал, что для Запада Сталин был единственным доступным рычагом, который можно было использовать против ленинской идеологии и советской системы. Если бы можно было подействовать на Сталина, это уже само по себе давало шанс подтолкнуть русских действовать вопреки предписаниям их веры».[25] Рузвельт, по свидетельству Г. Гопкинса, был убежден в том, что, «хотя он вряд ли обратит Сталина в хорошего демократа, он сможет достичь с ним рабочего взаимопонимания. В конце концов, он провел всю жизнь в управлении людьми, и Сталин по сути своей не мог в корне отличаться от других».[26]

Рузвельтовская стратегия «перевоспитания» СССР через его постепенную интеграцию в мировое сообщество («семью народов», по словам президента) предполагала признание законных интересов безопасности Советского Союза и его самого в качестве «полностью признанного и равноправного члена сообщества великих держав» (как писал Рузвельт Черчиллю осенью 1944 г.).[27] При соблюдении этих условий, надеялись Рузвельт и его соратники, новообретенные навыки сотрудничества с Западом превратятся в устойчивую привычку и «дитя на-

учится ходить», т.е. жить по правилам западного сообщества.[28] Рузвельт, вспоминал Гарриман о надеждах президента, «думал, что сможет сыграть на идеалистических мотивах улучшения условий жизни советского народа и что Сталин отложит в сторону свои убеждения о мировой революции ради прогресса на этом направлении. Иными словами — развивать сосуществование, которое может по мере смены поколений привести к большему взаимопониманию между двумя странами».[29] Сам президент в разговоре с кардиналом Спеллманом осенью 1943 г. говорил, что через 10—20 лет «Россию можно сделать менее варварской» и что «из дружбы по принуждению может получиться постоянная и длительная дружба».[30]

Поэтому перспективная программа «оптимистов» предполагала сотрудничество с СССР в ходе войны и его продолжение в послевоенный период как основу нового мирового порядка. Рузвельт понимал, что прочный мир после войны будет немыслим без участия в нем новой великой державы. Объясняя доверенному собеседнику смысл своей идеи «четырех полицейских», Рузвельт говорил: «Мы должны иметь в виду коалицию британцев, американцев, китайцев, русских. Даже если вам русские не нравятся, вы все равно обязаны иметь с ними дело. Они слишком велики и сильны, чтобы согласиться на разоружение, и вам будет лучше следовать старой политической теории: если вы не можете заставить кого-либо подчиниться вам силой, сделайте его вашим союзником. Вот тогда вы обретете колоссальную мощь».[31]

При всем при том рузвельтовская схема послевоенного миропорядка в реальности предусматривала не полное равенство великих держав, а скорее «мягкую гегемонию» США как главного опекуна этого порядка. Рузвельт, пишет в своей последней книге Дж.Гэддис, «стремился исподволь обеспечить американское преобладание во всех этих структурах: включение в «четверку полицейских» националистического Китая было призвано дать Вашингтону лишний голос в этой группе; право

вето в Совете Безопасности — гарантировать, что он никогда не выступит против американских интересов; Бреттон-Вудская система должна была увековечить экономическую гегемонию, с которой США неизбежно выйдет из войны».[32]

Советский Союз, писал глава Комитета советского протокола генерал Дж.Бёрнс Гопкинсу в конце 1942 г., после войны станет «одной из трех самых могущественных стран мира» и будет необходим Соединенным Штатам не только для разгрома стран «оси», но и как «настоящий друг и покупатель в послевоенном мире». Летом 1943 г. перед англо-американской встречей в Квебеке Бёрнс направил Гопкинсу еще один меморандум (составленный, видимо, на основе рекомендаций генерал С. Эмбика), по праву считающийся наилучшим выражением кредо «оптимистов»: «После войны Россия будет занимать господствующее положение в Европе. После разгрома Германии в Европе не останется ни одной державы, которая могла бы противостоять ее огромным военным силам». В этих условиях политика США очевидна — «поскольку Россия является решающим фактором в войне, ей нужно оказывать всяческую помощь и надо прилагать все усилия к тому, чтобы добиться ее дружбы. Поскольку она, безусловно, будет занимать господствующее положение в Европе после поражения держав оси, то еще более важно поддерживать и развивать самые дружественные отношения с Россией».[33] Для этого, как неоднократно подчеркивал Бёрнс, необходимо расширение деполитизированной программы ленд-лиза, оказание Советскому Союзу масштабной помощи в послевоенном восстановлении, достижение такого мирного урегулирования, которое «удовлетворит законные чаяния России».[34]

«Оптимистов», включая самого Рузвельта, также отличали способность и желание войти в труднейшее положение советского руководства, большой такт и уважение к союзнику. «Со Сталиным необходимо обращаться крайне внимательно, — писал президент Черчиллю в июле 1942 г. — Нам

всегда нужно помнить о личности нашего союзника и той трудной и опасной ситуации, в которой он находится. Нельзя ожидать вселенского взгляда на войну от человека, в страну которого вторгся враг. Полагаю, что нам следует поставить себя на его место».[35]

В этих внутренних дебатах Гарриман тяготел скорее к «оптимистам», и не только потому, что равнялся на Рузвельта с Гопкинсом, но и в силу чисто практических соображений — если помощь Советского Союза необходима для победы в войне, то этому следует подчинить все остальное. В любом случае успехи СССР, заимствуя формулу Ведемейера, пока были и успехами США. «Вас не тревожит, что русские могут продвинуться слишком далеко? — спросили журналисты Гарримана на пресс-конференции начала 1943 г. — Нисколько, — ответил он, — по мне, чем дальше они продвинутся, тем лучше».[36]

Однако весной—летом 1943 г. с завоеванием советской дружбы дело не клеилось. В вопросах военной стратегии Рузвельт по прежнему шел на поводу у Черчилля, чему способствовала и инерция ранее принятых решений: «Торч» повлек за собой высадку в Сицилии и новую отсрочку в открытии второго фронта в Европе. Возмущенный Сталин в ответ медлил с согласием на встречу «большой тройки» и обязательством по Японии, отозвал популярных на западе послов — Литвинова и Майского, тянул с ответом на предложения союзников о военном сотрудничестве. Все это вызывало большое беспокойство в Вашингтоне, где не только ждали определения СССР в «японском вопросе», но и опасались односторонних действий Кремля в отношении Германии и Восточной Европы, а также нуждались в более тесной военно-стратегической координации своих действий с Советским Союзом в ходе подготовки «большого вторжения в Европе», предварительное решение о котором было принято на англо-американской конференции в Квебеке.

Тот же дух неопределенности и сложности момента ощущался и в последнем итоговом донесе-

нии Литвинова из Вашингтона, датированным 2 июня. В нем посол с горечью писал об антисоветской подноготной затяжек с открытием второго фронта, о подспудной враждебности к СССР большей части общественного мнения США, об оппозиции рузвельтовской политике и колебаниях самого Рузвельта в отношении советского союзника. Одновременно Литвинов намекал на недостатки в кремлевской политике, говоря о недовольстве президента «нежеланием обсуждать с ним текущие и послевоенные политические вопросы», а также отсутствием прямого личного контакта со Сталиным, предупреждал об опасности недооценки влияния общественного мнения на внешнюю политику США. И все же, заключал посол, Рузвельт «дружелюбнее относится к нам, чем кто бы то ни было из видных американцев, и явно желает сотрудничать с нами», он «убежденный антинацист и антифашист и лично ненавидит Гитлера и Муссолини» и потому «не выйдет из войны до (их) полного разгрома...».[37] Письмо Литвинова было внимательно прочитано Сталиным и Молотовым, причем последнему явно не понравились пассажи об общественном мнении и критические намеки посла в адрес руководства НКИД.[38] Отъезд Литвинова из Вашингтона еще больше поднимал роль американского посла в Москве.

Гарриман еще до своего официального назначения тщательно готовился к предстоящей ему миссии. Он начал готовить серьезную реформу московского посольства. Главной проблемой в его работе (хорошо знакомой Гарриману по личному опыту в Лондоне), была разрозненность действий между дипломатическим составом, аппаратом военных атташе и миссией снабжения во главе с полковником Ф. Феймонвиллом. Эта межведомственная рознь, помноженная на личностные конфликты между «просоветским» протеже Гопкинса Феймонвиллом и «антисоветскими» военными атташе во главе с полковником Микелой (которых поддерживал Стэндли), не только создавала разнобой в работе американских представителей, но и

подрывала позиции посла. Поэтому Гарриман, который в Лондоне ревностно оберегал автономность своей миссии от посольства, выступил теперь в роли строгого централизатора. В личных переговорах с начальником штаба армии США генералом Дж.Маршаллом и руководством госдепартамента Гарриман при поддержке президента провел свой план реорганизации всего московского представительства США: вместо аппарата военных атташе и миссии снабжения создавалась единая, подчиняемая послу военная миссия во главе с рекомендованным Гарриманом опытным штабистом генералом Дж.Дином (до того — главой аппарата Комитета начальников штабов), а оба главных антагониста — Микела и Феймонвилл, отзывались домой. Попутно, кроме централизации власти в своих руках, Гарриман убивал и еще одного незаметного, но очень важного для себя «зайца» — получал дополнительный армейский канал шифропереписки, позволявший ему сообщаться с Белым домом и Пентагоном напрямую, минуя госдепартамент. С начальником штаба при президенте адмиралом У.Леги Гарриман договорился о том, что его будут держать в курсе важнейших военно-стратегических решений.[39] Позаботился Гарриман и об укреплении посольства настоящими экспертами по России, заручившись согласием госдепартамента и Гопкинса на перевод в Москву Джорджа Кеннана (задержавшийся из-за болезни последнего).

Во время нескольких встреч с Рузвельтом Гарриман получил развернутое представление о настрое и планах президента в отношениях с Москвой. Рузвельт искренне надеялся, что ему удастся удержать Сталина от неприемлемых для Запада односторонних действий (в том числе и по части территориальных претензий в Восточной Европе) за счет признания Советского Союза в качестве полноправной великой державы, предоставления ему гарантий безопасности и свободы коммуникаций, а также помощи в послевоенном восстановлении. Гарриман не перечил президенту, хотя некоторые из его идей — вроде проведения плебисцита

в Прибалтике после освобождения ее советскими войсками — показались ему наивными. В главном он соглашался с Рузвельтом: «Русские — это всего лишь люди, и со Сталиным можно справиться» (как он уверенно заявил в ответ на мрачные предостережения адмирала Стэндли во время их прощальной встречи в Вашингтоне).[40] Впоследствии Гарриман вспоминал, что ехал в Москву с главными целями для своей страны — помочь максимальному вкладу СССР в разгром гитлеровской Германии и закрепить его вступление в войну с Японией. Ради этого стоило постараться.

И вот уже последние формальности: продажа облигаций царского правительства (закон о дипслужбе США запрещал дипломатам иметь деловые интересы в стране пребывания), уход с поста председателя совета директоров семейных железнодорожных компаний «Юнион пасифик» и «Иллинойс сентрал».[41] Вместо этого — казенная зарплата в 17,5 тыс. долл. в год плюс суточные. 7 октября — на следующий день после представления его кандидатуры президентом — сенат единогласно утверждает Гарримана послом в Москве, а 8 октября в Лондоне он принимает должностную присягу, обязуясь «бороться с внешними и внутренними врагами Соединенных Штатов». В визовых документах, полученных дипломатом в советском консульстве в Лондоне, значилось, что «г-н Гарриман Вильям Аверилл следует один».[42] Жена Гарримана, не покинувшая родного Нью-Йорка даже ради ухоженного Лондона, так и не приедет в Москву, где ее в качестве хозяйки посольства, как и в Лондоне, заменит дочь Кэтлин. К 18 октября через Алжир и Тегеран он добирается до Москвы.

Сведения о новом назначении Гарримана доходили в Москву еще до его официального назначения, в том числе и по каналам разведки, которая, цитируя одного из ответственных чиновников администрации, сообщала, что «Гарриман очень удачная кандидатура для посла в СССР. Он человек трезвого ума и прекрасно умеет ладить с людьми. Кроме того, он один из немногих личных друзей

Сталина за границей».[43] В самих США назначение Гарримана было воспринято с явным одобрением: сторонники сближения с СССР в администрации сочли его «добрым знаком», газеты характеризовали как «руку дружбы, протянутую Кремлю», а противникам такого сближения было трудно придраться к независимой фигуре популярного бизнесмена.[44]

В биографической справке о Гарримане, составленной в самом НКИД в связи с его назначением, новый посол характеризовался на редкость положительно, как верный соратник Рузвельта и поборник улучшения американо-советских отношений. Необычно для тогдашних советских оценок «буржуазных деятелей» звучали и заключительные слова этого сугубо служебного документа: «Кажется, слова у Гарримана не расходятся с делами. Он был и остается последовательным сторонником укрепления советско-американских отношений, сторонником внешней и внутренней политики президента Рузвельта. Он — сторонник разгрома гитлеровской военной машины и противник любого компромисса с гитлеровской Германией».[45]

Необычно теплой была и первая беседа Гарримана с кремнеподобным Молотовым (21 октября), судя по сохранившейся записи в дневнике американца. «Я сказал, что приехал как друг и всегда к его услугам в любых делах, где могу быть полезен. Он ответил с большой сердечностью, что они были рады моему назначению. Они знали, что я друг, по моим визитам довоенного и военного времени. Я могу видеть все, что пожелаю, и они хотят, чтобы я сам разобрался в советских делах. Он заметил по моим приездам в Москву, добавил Молотов, насколько близки мои отношения с англичанами, и считает, что нет причин не иметь подобных отношений и с русскими».[46] Именно на это очень надеялся и сам Гарриман.

В Москве он, даже не успев представить свои верительные грамоты М.И. Калинину, сразу же оказался в центре большой союзной дипломатии — началась Московская конференция министров

иностранных дел трех великих держав, впервые обсуждавшая столь широкий круг политических и военных вопросов. На долю Гарримана, как это обычно бывает с послами в таких ситуациях, выпала роль главного советника делегации и гостеприимного хозяина «Спасо-хауз» — резиденции посла США. Кроме того, он имел тайное поручение от Рузвельта — присматривать за госсекретарем Хэллом, дабы он не «мутил воду» перед его (Рузвельта) встречей со Сталиным».[47] Поэтому посол участвовал во всех встречах Хэлла со Сталиным и Молотовым, а также сам писал отчеты о них в Вашингтон.

Мало хорошего ждали от Хэлла и в Москве. В подготовленной к конференции отделом американских стран НКИД характеристике на госсекретаря говорилось, что хотя Хэлл и проводит «линию Рузвельта», но «не подлежит сомнению, что он, в силу своей консервативности и постоянного общения с реакционными антисоветскими элементами в Госдепартаменте, настроен к нам недружелюбно».[48] Еще более отталкивающий образ вставал со страниц донесений агентов НКГБ в США со ссылкой на «хорошо информированные источники»: «Хэлл представляет собой старое реакционное течение. Это хитрый политик, пользующийся решающим влиянием среди южных демократов. Всегда враждебно относился к СССР. Сторонник реставрации довоенного положения в Прибалтике и на Балканах».[49] Один сердобольный Литвинов «ввиду слабости здоровья и старческого возраста Хэлла» советовал предложить ему на время пребывания в Москве специальную диету.[50]

Впрочем, и предосторожность президента, и опасения Москвы оказались излишними: величавый седовласый Хэлл понравился в Кремле, в том числе и потому, что не поднимал неприятных для последнего тем — вроде свободы рук Советского Союза в Восточной Европе. Старого вильсониста подкупило советское согласие с его главным детищем — Декларацией четырех государств по вопросу о всеобщей безопасности и включением в число

этих государств Китая. Закулисные усилия Гарримана подтолкнуть Хэлла и Идена к обсуждению с русскими вопроса о Восточной Европе (прежде всего применительно к Польше) окончились ничем. Тогда сам Гарриман в беседе с Молотовым 24 октября попытался прояснить (и одновременно упредить) советскую позицию по этому вопросу, подчеркнув, что, хотя США понимают стремление СССР иметь на своих западных границах дружественные себе режимы, американцы исходят из того, что эти страны сохранят право самоопределения, хорошие отношения с Западом и «ни в коем смысле не будут подчинены Советскому Союзу». Наркоминдел заверил Гарримана, что описанная им ситуация «не расходится с советской политикой», однако тот воспринял эти заверения весьма скептически.[51]

Другими приоритетами Гарримана во время Московской конференции было успокоить советскую сторону относительно второго фронта, а также получить более надежные свидетельства будущего вступления СССР в войну с Японией. Здесь по обоим пунктам американцам сопутствовал успех. Тактика, предложенная Гарриманом на совещании в американском посольстве — предоставить советской стороне максимум информации о военных усилиях и планах союзников, чтобы убедить ее в серьезности их намерений, избегая при этом окончательных обязательств, помогла укрепить взаимное доверие, а намеки советских руководителей (Сталина в беседе с Хэллом и Молотова в беседе с Гарриманом) прозрачно говорили об их намерениях в отношении Японии.[52] На конференции были достигнуты и другие важные договоренности — о создании Европейской консультативной комиссии, о принципах безоговорочной капитуляции Германии и обращении с ней, создании Консультативного совета по Италии и др. В целом итоги конференции были, безусловно, положительными для всех трех сторон, создали благоприятные условия для встречи «большой тройки» в Тегеране.

Однако Гарриман в своем итоговом отчете президенту от 5 ноября был далек от эйфории. Судя по

всему, писал он, пойдя на конференцию, русские «решили всерьез попробовать сотрудничать с нами в решении военных и послевоенных проблем», а ход самой конференции, на которой англо-американцы обращались с советскими представителями «впервые, как с равными партнерами», еще более убедил их в этой возможности. В то же время, подчеркивал Гарриман, прояснились и серьезные расхождения советской политики с политикой союзников. Главное из них — проблема второго фронта, ибо «невозможно переоценить то стратегическое значение, которое русские придают открытию следующей весной так называемого второго фронта». Для смягчения этих советских опасений Гарриман в дополнение к личной встрече Рузвельта со Сталиным предлагал подключить представителей СССР к англо-американским военным консультациям, хотя и признавал, что такой процесс «отнимет много времени и будет создавать некоторые помехи». Но самая большая угроза союзным отношениям крылась, на его проницательный взгляд, в Восточной Европе. Советский Союз, писал Гарриман, будет твердо стоять на возвращении к границам 1941 г., считая, что «англичане уже негласно согласились с этим», а «тот факт, что и мы не подняли этого вопроса, мог создать у них впечатление о том, что мы тоже не будем серьезно возражать против этого в будущем». Что касается западных соседей СССР и прежде всего — Польши, то суть позиции советских партнеров в этом вопросе, по тонкому наблюдению Гарримана, состояла в том, что, «хотя они и будут нас информировать о происходящем, действовать они будут в одностороннем порядке, добиваясь удовлетворяющих их отношений с этими странами». Однако, добавлял посол, этот «жесткий настрой русских вполне может быть смягчен соразмерно их растущему доверию в отношениях с британцами и нами к созданию общемировой системы безопасности».[53]

Стало быть, сохранялись хорошие шансы на решение самых сложных проблем между союзниками при условии укрепления доверия между ними,

и в этом Гарриман видел важнейшее, наряду с конкретными договоренностями, достижение Московской конференции. Подводя ее итоги на совещании дипсостава посольства, он обратил особое внимание на проявленную тремя сторонами «готовность и способность к совместной работе», что приближало отношения с русскими к «той близости, которая у нас есть в совместных обсуждениях с англичанами». Развивая мысль посла, присутствовавший на совещании советник восточно -европейского отдела госдепартамента Чарльз Болен добавил, что теперь создана основа для обсуждения любых, в том числе и спорных проблем между союзниками без ущерба для основополагающего единства цели между ними; эта новая ситуация «означает возвращение СССР в качестве члена сообщества наций, наделенного соответствующей ответственностью».[54] Это новое качество союзных отношений ощущалось и советской стороной, польщенной принятием в клуб великих держав. «Конференция показала наличие общих точек зрения по ряду важных вопросов войны и послевоенного устройства, — говорилось в циркуляре НКИД по итогам Московской конференции. — Замечания и предложения советской делегации весьма серьезно принимались во внимание. В общем, работу конференции, принимая во внимание поставленную перед ней задачу, общую повестку дня, а также то, что это была первая встреча трех министров, следует считать удовлетворительной».[55]

«Главная задача после конференции, — подытожил Гарриман на совещании в посольстве, — сохранять и развивать доверительный дух конференции: для этого необходимо продемонстрировать русским 1) что война для нас важнее всего; 2) что мы принимаем их как равных; 3) что мы очень заинтересованы в их послевоенном восстановлении».[56] Этот последний пункт на время стал любимым коньком Гарримана, который увидел в послевоенном экономическом содействии не только средство укрепления доверия русских, но и рычаг воздействия на их политику.

Успех Московской конференции, коренной перелом в ходе войны на советско-германском фронте после летних побед на Курской дуге — все это создавало новую атмосферу в Москве и союзных отношениях в целом. В этом духе возросшей уверенности и солидарности «большой тройки» прошли ноябрьские торжества в Москве, ознаменованные первым большим приемом для дипкорпуса, устроенным Молотовым в особняке НКИД на Спиридоновке. Главными гостями на нем были послы союзных государств. Торжественность обстановки подчеркивала новая парадная форма советских дипломатов, в которую они впервые облачились на публике. Даже ее казенное описание читалось как поэма: «парадная фуражка, жилет, позолоченные пуговицы, носки шелковые черные, рубашка белая с накрахмаленным воротничком и перламутровыми запонками, шинель из черного драпа-велюра, кашне шелковое белое, перчатки белые лайковые, кортик».[57] Каждый работник НКИД, рассказывала в очередном письме домой Кэтлин Гарриман, «красовался в своем новом обличье, как мальчишка в рождественском костюме пожарного» и даже сам «Моли» (как звала про себя наркома Кэтлин) игриво поинтересовался, как ей нравится его новая форма. Остальные гости на этом фоне чувствовали себя замарашками, и только британский посол сэр Арчибальд Керр смог составить конкуренцию русским в своем вечернем костюме с рыцарским орденом на красно-голубой ленте через всю грудь.

Впрочем, в обстановке союзного братания сэр Арчибальд недолго сохранял величавый вид: тамада Молотов хорошо знал свое дело и, как продолжила в своем письме Кэтлин, «около полуночи британский посол, с трудом поднявшись на очередной тост, хотел было опереться на стол, промахнулся и упал навзничь к ногам Молотова, стянув на себя скатерть со множеством блюд и бокалов». «Уходим отсюда подобру-поздорову», — шепнула Кэтлин отцу, и «после еще одного тоста в честь Сталина, Черчилля и Президента мы с Авереллом взяли себя в руки и торжественно промаршировали через весь зал и парадную лестницу к нашей

машине. Это была еще та вечеринка, и я радуюсь тому, что седьмое ноября бывает только раз в году».[58] Сам Гарриман в отчете для госсекретаря нарисовал более пристойную картину: «Русские были в ликующем настроении от успехов Красной Армии и, следуя духу Московской конференции, хотели, чтобы мы разделили этот праздник с ними, как друзья».[59]

Через несколько дней стороны торжественно отметили десятилетие установления дипломатических отношений между СССР и США: Молотов и Хэлл обменялись приветственными телеграммами, «Правда» и «Известия» опубликовали большие передовицы об «укреплении советско-американской дружбы», а Гарриман, поздравляя Молотова с годовщиной, выразил надежду на то, что «в последующем десятилетии наши отношения будут развиваться в геометрической прогрессии на благо наших стран».[60]

В преддверии Тегеранской конференции Гарриман вылетел в Каир навстречу американской делегации для участия в подготовке к конференции. На заседании КНШ он снова подчеркивал важность вопроса о втором фронте для русских («им трудно понять, почему США и Великобритания со всей их мощью не в состоянии связывать больше немецких сил, чем это делают они сами»[61]), 1а в беседах с Гопкинсом во время перелета в Тегеран договорился подвигнуть Рузвельта поднять вопрос о помощи Советскому Союзу в послевоенном восстановлении.[62] Президент, однако, не стал этого делать; сославшись в записке Гарриману на «нехватку времени», он поручил ему выяснить запросы Москвы и дать свои рекомендации на сей счет.[63]

Что касается второго фронта, то несмотря на принятое в Квебеке решение о вторжении во Францию весной 1944 г., англо-американские разногласия по этому вопросу сохранялись, причем роль главного тормоза продолжали играть англичане. Это вызывало растущее раздражение американского командования, которое считало дальнейшие отсрочки пагубными уже не только для победы в войне, но и укрепления позиций США в

Европе, необходимых для обеспечения американских интересов в послевоенном урегулировании, и в том числе — для успешной конкуренции с СССР за влияние в Германии и Западной Европе. «Наши политические позиции будут в огромной степени усилены после того, как наши войска высадятся на европейском континенте», — гласил вывод аналитиков Управления стратегических служб, адресованный руководству КНШ.[64] Таким образом, второй фронт становился инструментом не только помощи СССР, но и сдерживания советского продвижения на Запад. Как с большевистской прямотой скажет об этом сам Сталин в беседе с М. Торезом осенью 1947 года, «...Конечно, англо-американцы не могли допустить такого скандала, чтобы Красная Армия освободила Париж, а они бы сидели на берегах Африки».[65] Еще накануне Квебека военное командование США предупреждало — дальнейшее следование британской стратегии взаимного истощения России и Германии приведет к тому, что «русские пройдут парадом по Берлину или оккупируют еще большую зону по своему усмотрению». Сам Рузвельт на заседании КНШ говорил о необходимости не отстать от русских в гонке за Берлин.[66]

Перед Тегераном военный министр Г.Стимсон обратился к президенту с настоятельным призывом положить конец колебаниям и сломить сопротивление англичан. «Соединенные Штаты, — писал он в меморандуме для президента под названием «Ведение войны в Европе», — сталкиваются с тем, что они сосредоточили в Соединенном Королевстве самую мощную группировку военно-воздушных сил за всю историю войн и огромные сухопутные силы для реализации стратегического плана, который явно не пользуется безусловной и полной поддержкой британского правительства... Не для того мы с Вами вели борьбу за создание громадной военной силы, чтобы она сидела без дела в ожидании победы наших русских союзников или сомнительной политико-психологической дезинтеграции германской цитадели в Европе. Наши ли-

деры не могут призывать страну затягивать пояса и наращивать производство для создания армии, которая так и не вступит в бой...» «Пришло время, — заключал Стимсон, — когда нельзя больше терпеть дальнейших проволочек, нерешительности и несоблюдения соглашений. Попросту говоря, время разговоров закончилось и настала пора «ловить рыбу или сматывать удочки».[67]

В Тегеране Рузвельт, как известно, последовал этим рекомендациям, после некоторых колебаний поддержав Сталина в его жесткой полемике с Черчиллем по второму фронту. «Слава Богу, что здесь был Сталин», — записал в своем дневнике Г.Стимсон. Советский вождь, по его словам, проявил «прямоту и силу» и «отмел отвлекающие маневры англичан с энергией, которая согрела мне душу».[68] В свою очередь, в этой настойчивости Сталина просматривались его подлинные приоритеты: скорейший разгром Германии был для него важнее, чем возможность продвижения как можно дальше на запад Европы, чему как раз и способствовала бы очередная отсрочка операции «Оверлорд». И ведь нельзя сказать, чтобы хозяин Кремля был совсем глух к этому соблазну: позже в той же беседе с М. Торезом он прямо скажет о том, что «если бы Черчилль на год опоздал с открытием второго фронта... то Красная Армия пришла бы во Францию», а в разговоре с Гарриманом позавидует Александру I, который в отличие от него «дошел до Парижа».[69]

Особое внимание Сталина к «Оверлорду» проявилось и в настойчивом акцентировании им вопроса о срочном назначении главнокомандующего этой операцией, в отсутствии которого «Верховный» усматривал признак недостаточно серьезного отношения союзников ко всему плану. И не только он — как показывают архивные документы, эта проблема признавалась и на высоком уровне англо-американского ОКНШ, который еще в октябре констатировал, что «главной трудностью планирования и подготовки операции «Оверлорд» является отсутствие Верховного главнокомандующего».[70] Когда уже пос-

из Тегерана на этот пост был назначен Д. Эйзенхауэр и Гарриман пришел сообщить эту новость советской стороне, он опасался, что выбор не самого авторитетного американского военачальника (таким считался Дж. Маршалл) может вызвать неудовольствие Сталина. Поэтому посол сначала сообщил об этом Молотову; тот связался по телефону со Ставкой и, «к большому облегчению» Гарримана, передал ему одобрение «Хозяина».[71] Сталин, видимо, уже успел оценить способности Эйзенхауэра и не случайно в послании на сей счет Рузвельту добавил к молотовской заготовке следующие слова (выделены курсивом): «Ваше послание о назначении генерала Эйзенхауэра получил. *Приветствую назначение генерала Эйзенхауэра.* Желаю ему успеха в деле подготовки и осуществления предстоящих *решающих* операций».[72]

Окончательное решение в Тегеране вопроса об открытии второго фронта во внутренних оценках советской дипломатии считалось главным достижением «конференции Сталин — Рузвельт — Черчилль».[73] На совещании в посольстве по возвращении в Москву Гарриман назвал важнейшим психологическим эффектом Тегерана то, что конференция «рассеяла русские ощущения недостаточности наших действий и их сомнения о наших намерениях». Не менее важным, на его взгляд, было и установление прямого личного контакта между Сталиным и Рузвельтом. «Сталин, — делился с коллегами своими наблюдениями посол, — чувствовал себя с Президентом, как дома. Наши взгляды ближе к русским, чем взгляды англичан... Сталин обращался с Президентом как со старшим из участников, всячески стараясь дознаться, что у него на уме. То, что он там обнаружил, ему явно понравилось, и он относился к Президенту с чрезвычайным почтением и уважением». Слова Тегеранского коммюнике о союзниках как «настоящих друзьях по духу и общей цели», заключил посол, «исполнены реального смысла и хорошо описывают содержание переговоров и их воздействие на главных участников».[74] В своих записях скупой на слова посол назвал потепление в союзных отношениях ни больше ни

меньше, как «революцией в советских делах, нашедшей выражение в Московской и Тегеранской конференциях».[75]

Гарриман подчинил работу посольства своей главной задаче — встречам со Сталиным и отчетам о них Белому дому. «Он считал, — вспоминал потом Дж.Кеннан, — что за одну беседу со Сталиным может узнать больше важного, чем все мы за целый месяц, штудируя советские публикации».[76] Хорошо зная вашингтонскую кухню принятия решений, посол часто действовал в обход госдепартамента и направлял свои важнейшие депеши напрямую Рузвельту и Гопкинсу по каналам армейской и военно-морской связи. Отчеты о беседах со Сталиным писались с большим тщанием и давались Гарриману нелегко как неважному стилисту. После каждой такой встречи, обычно проходившей на ночь глядя, вспоминали его помощники, посол созывал главных советников в свою резиденцию «Спасо-хаус» и подолгу диктовал, сражаясь с грамматическими нюансами и прибегая к посторонней помощи лишь в вопросах стиля. «Он диктует очень медленно, по нескольку раз повторяя каждое предложение и меняя слова, фразы и параграфы до тех пор, пока у всех, кроме него самого, не пропадет представление о том, что же будет в конце», — с мягкой иронией писал в своем дневнике помощник посла лейтенант Мейкледжон.[77] Нередко эти бдения затягивались до раннего утра, после чего текст телеграммы отправлялся в посольство на Моховой, а в шесть утра туда уже звонил Гарриман, чтобы узнать, когда и как ушла шифровка.[78] На Моховой посол бывал редко, делегируя текущее управление посольством советникам.

Остальным жанрам переписки с Вашингтоном он не уделял серьезного внимания, зная печальную участь рядовых телеграмм. Главным аналитическим материалом посольства помимо личных депеш посла стали аналитические обзоры советской прессы, имевшие весьма широкую рассылку в Вашингтоне. Не слишком занимала Гарримана и протокольная часть жизни московского дипкорпуса: презирая в душе профессиональных дипломатов

(особенно — из малых стран), он общался в основном со своим британским коллегой и узким кругом московской интеллигенции, допущенной к общению с иностранцами. В него входили несколько писателей, музыкантов, артистов кино и балета. Чаще других в «Спасо-хаус» бывал А.Н.Толстой, интриговавший посла своими экскурсами в историю царствования Ивана Грозного, так напоминавшего сталинские времена. Ничто не тяготило деятельного Гарримана больше, чем редкие часы спокойной рутины посольской жизни. «Даже когда он знает, что в данный момент нет ничего срочного или важного, — замечал Мейкледжон, — он с шумом врывается в кабинет, криком зовет меня, миссис Вудс и других, переворачивает все бумаги на своем столе и затевает три-четыре дела одновременно. Он всегда ждет до последней минуты перед очередной встречей, и ему больше всего нравится когда двое-трое из нас бегут за ним вслед по лестнице, стараясь получить ответы на вопросы, которые он оставлял без внимания в кабинете».[79]

Душой светских развлечений в посольской резиденции стала Кэтлин Гарриман, устраивавшая официальные приемы и вечеринки для своих. Наблюдательная и общительная, немного освоившая русский язык, она оставила в своих письмах матери немало ярких зарисовок персонажей и примет московской жизни военных лет. В этой галерее проходят молодой Дмитрий Шостакович — «погруженный в себя гений», вдруг убегавший из-за стола при внезапном приступе меланхолии; Литвинов и Майский, «хлюпавшие носом в сентиментальных местах» на просмотре американского фильма с участием Дины Дурбин («что было очень мило с их стороны»); «прославившийся советский поэт — автор слов нового гимна», который «оказался самым быстрым на ногу танцором, какого я когда-либо встречала в своей жизни» и который «мне очень нравился, пока не выпил лишнего и стал труден в обращении».[80]

Отец и дочь Гарриманы сами стали московской достопримечательностью. При виде высоченного, импозантного, независимого в своей небрежности

богача американского посла, вспоминал Кеннан, русские говорили между собой: «Вот идет настоящий мужчина!» Кэтлин прогремела на всю Москву, когда заняла третье место в чемпионате РСФСР по слалому на Ленинских горах, уступив лишь профессиональным военным иструкторам по лыжному спорту. Военный оркестр исполнил советский и американский гимны, а московские газеты дали подробные репортажи о ставших международными соревнованиях.[81] Кэтлин учила русский, читая вслух все попадавшиеся по пути вывески и объявления. «Люди все равно таращат глаза на мою норковую шубу и шелковые чулки, так что мое бормотание не делает меня еще более странной», — писала она матери.[82]

В Москве посла США повсюду, даже на отдыхе, сопровождала четверка агентов НКВД. Гарриману особенно не нравилась их грубая манера разгонять перед ним прохожих, и он не раз просил Молотова сократить охрану и «послать ребят на фронт». Нарком неизменно заверял, что это делается ради удобства и безопасности «господина посла». Со временем Гарриман привык к постоянному эскорту, доставляя ему в свою очередь немало хлопот. На улице длинноногий американец нарочно обгонял своих стражей, вынуждая их бежать за ним вприпрыжку, а на лыжных спусках они и вовсе не могли угнаться за своими на редкость спортивными подопечными — самый ловкий из охранников на лыжах спускался за ними вниз («в основном — на заднем месте», как писала Кэтлин), а остальные дожидались на вершине горы. Автомобиль охраны также уступал посольскому кадиллаку, периодически застревая и ломаясь, так что водителю Гарримана приходилось брать его на буксир.[83]

Во время этих выездов за город на посольскую дачу Кэтлин подружилась с мальчишкой лет двенадцати из соседней деревни, которого пыталась подкармливать, но «мой маленький друг всегда отказывается — видимо, гордость не позволяет ему признаться, что он голоден, как и большинство здешних детей, — рассказывала Кэтлин в письме матери. — Вместо этого он собирает самых бедных

соседских ребят, которые обычно даже не выходят из дома, потому что у них нет теплой обуви и пальто, и подводит их ко мне — ужасно бледных и больных, отгоняя лучше одетых. Однажды рядом оказался армейский офицер, и никто из ребят не осмелился подойти ко мне. В тот день все они отказались от еды. Странная страна, не правда ли? Здесь даже дети настороже и боятся показаться чересчур дружелюбными при виде должностных лиц».[84]

Ободренный итогами Тегерана и приемом в Москве Гарриман развил кипучую деятельность сразу по многим направлениям американо-советского сотрудничества. По его подсказке старый знакомый посла — директор Управления стратегических служб США У. Донован — в конце декабря 1943 г. посетил Москву с целью налаживания сотрудничества разведок двух стран. Донован был принят Молотовым, а затем состоялась его теплая встреча с советским коллегой — начальником Первого Главного Управления НКГБ генералом П.Фитиным, на которой они договорились об обмене представительствами УСС и ПГУ между Москвой и Вашингтоном. «Наши работники, — заметил Молотов на встрече с Гарриманом 31 декабря, — также удовлетворены встречей с генералом Донованом, причем предложение Донована о том, чтобы обменяться представителями, будет, видимо, признано целесообразным».[85]

Редкая отзывчивость Кремля на предложение Донована была объяснима — с учетом разницы в режиме секретности и свободе сбора информации между двумя столицами такой обмен сулил гораздо больше выгод Москве, чем Вашингтону. Тем не менее план получил поддержку Рузвельта и подготовка к открытию миссий развернулась с обеих сторон. Фитин (неслыханное тогда дело!) оставил американцам свой номер телефона для связи, чем подкупил даже генерала Дина: «Это был мой первый телефонный номер в России, — вспоминал он позднее, — и я испытывал чувство большой победы».[86] Подбирался личный состав обеих миссий, а американцы даже успели обзавестись необходи-

мым оборудованием и экипировкой, включая шапки-ушанки.[87] Главой московской миссии УСС был назначен руководитель его советского отдела полковник Дж. Хаскелл, а представительство НКВД в Вашингтоне должен был возглавить его визави подполковник А. Грауэр — начальник англо-американского отдела ПГУ НКВД.

Однако в Вашингтоне быстро спохватились: директор ФБР Э.Гувер при поддержке адмирала У. Леги и А .Берла-мл. (отвечавшего в госдепартаменте за вопросы безопасности) отговорили президента от рискованной затеи. 15 марта Рузвельт поручил Гарриману объяснить это решение Сталину «чисто внутриполитическими причинами», намекая на предстоящие президентские выборы. Разочарованию Гарримана, рассматривавшего обмен как прорыв к сотрудничеству в самых чувствительных сферах, не было предела. «Мы впервые проникли в разведорганы Советского правительства, — писал он президенту с просьбой пересмотреть принятое решение, — и я уверен, что это может открыть путь к гораздо большей близости в отношениях с другими органами власти».[88] Рузвельт, однако, был непреклонен, и это решение, которое Гарриман назовет позднее «верхом глупости», так и осталось в силе.

Аналогичная судьба постигла в конечном счете и другой масштабный проект Гарримана — предоставление Советскому Союзу кредита на закупки американских товаров и оборудования после войны. Впервые он поднял эту тему по своей инициативе еще в октябре 1943 г. в беседе с наркомом внешней торговли А.И. Микояном, проявившим к ней, по его словам, «большой интерес». Как бизнесмен и дипломат Гарриман прекрасно понимал все значение этого вопроса для решения «самой главной после войны политической и экономической проблемы советского руководства — послевоенного восстановления» (как писал он в госдепартамент в ноябре 1943 г.). Сам он видел цели предоставления такого кредита в содействии американской торговле и занятости в трудный период реконверсии экономики США («получить свою долю в пос-

левоенном советском бизнесе»), общем «укреплении» отношений с СССР и, наконец, в использовании «пряника» помощи для подталкивания советского руководства к «сотрудничеству в международных делах по нашим правилам».[89] Этот последний мотив будет усиливаться по мере нарастания разногласий вокруг советской политики в Восточной Европе.

Советская сторона тоже начала готовиться к серьезным переговорам с американцами по вопросу послевоенного экономического сотрудничества. В рабочих материалах для Молотова получение большого кредита и другой помощи от США оценивалось как вполне реальная перспектива, над которой следует работать.[90] Учитывался, видимо, и фактор времени, о котором писал в своей записке Молотову И.М. Майский: подчеркивая «очень серьезное значение» этого вопроса, он советовал не медлить с переговорами — лучше сделать это сейчас, пока союзники находятся «под гипнозом «военной атмосферы», чем позднее, когда в силу вступит обычная торгашеская психология мирного времени. К тому же в настоящий момент наши союзники испытывают некоторые «угрызения совести» ввиду недостаточности своей военной помощи СССР и потому более склонны идти нам навстречу в сфере снабжения и экономики».[91]

Продолжая с ведома Белого дома предварительный разговор о кредите с Молотовым и Микояном, Гарриман послал в Вашингтон свои соображения об условиях предоставления кредита, запрашивая конкретных инструкций на сей счет. 9 января он получил общее добро от президента и Гопкинса на свой план. Это послание впоследствии почему-то не попало в официальное издание документов госдепартамента, зато уже через месяц оно легло на стол Сталина вместе с предшествовавшими телеграммами Гарримана от 7 и 9 января (опубликованными позднее в Foreign Relations).[92] Судя по всему, советская разведка уделяла особое внимание вопросу о кредите и сумела каким-то образом перехватить эту шифропереписку в Вашинг-

тоне. Советское руководство, видимо, ободренное инициативой американцев, 1 февраля высказало свое предложение на сей счет (в форме заявления Микояна Гарриману) — речь шла о первоначальном кредите в 1 млрд. долл. на 25 лет из расчета 0,5% годовых. Хотя Гарриман нашел эти условия слишком щедрыми, он исправно переправил их в Вашингтон, получив в ответ указание Хэлла «ограничиться общими фразами».[93] Только через неделю посол получил более развернутые инструкции на сей счет, но и они мало помогали делу: общая поддержка идеи кредита увязывалась в них с окончательным расчетом по ленд-лизу и напоминанием о жестких юридических ограничениях на предоставление государственных кредитов Советскому Союзу в связи с законом Джонсона. Одновременно предлагалось создать межведомственную группу под эгидой госдепартамента для проработки этого вопроса.[94]

Хорошо зная практику подобных проволочек, Гарриман в ответ настаивал на скорейшем решении вопроса и представлении советской стороне конкретного плана. «Расплывчатые обещания лишь возбуждают советские подозрения, тогда как детальная программа того, что мы можем предложить сейчас... будет крайне ценной», — писал он Гопкинсу.[95] 18 февраля Микоян по просьбе Гарримана вручил ему проект программы поставок в счет предполагаемого кредита в 1 млрд. долл. В Вашингтоне, однако, дело застопорилось и реальные переговоры по вопросу о кредите начались лишь осенью 1944 г.

Другим полем приложения усилий Гарримана стало развитие военного сотрудничества, предложенного Соединенными Штатами в Тегеране, прежде всего по вопросу о размещении в СССР баз ВВС США для челночных бомбардировок в Восточной Европе и для последующей войны с Японией. Советская сторона не спешила без крайней на то необходимости допускать союзные части на свою территорию, и Гарриман по наивности объяснял эту затяжку тем, что «дух Тегерана еще не

проник в нижние эшелоны»советской бюрократии.[96] Это не мешало американцам продолжать нажим на «верхний эшелон», и наконец 2 февраля на встрече со Сталиным Гарриман, в который раз заведя разговор о челночных бомбардировках, услышал дельные и дотошные вопросы: сколько самолетов будет участвовать в бомбардировках? Кто их будет обслуживать — американцы или русские? Как быть с заправкой — ведь советский бензин по своему октановому числу не подходит для американских авиадвигателей? На каком языке авиадиспетчеры будут переговариваться с американскими летчиками?[97] Подробные ответы Гарримана удовлетворили вождя. Перед тем как давать добро американцам, Сталин, видимо, решил лично перепроверить их соображения через Гарримана, ибо проект положительного ответа, подготовленный по его указанию Генштабом, уже лежал у него на столе.[98] Получив команду с самого верха, «нижние эшелоны» пришли в такое движение, что уже ровно через четыре месяца все — три аэродрома, техника, личный состав — было готово к началу операции, получившей кодовое название «Фрэнтик». «Надо иметь в виду, — писал Гарриман командующему средиземноморской группировкой ВВС союзников генералу И.Икеру (осуществлявшему общий контроль над операцией с американской стороны), — что никогда еще в истории России, насколько я знаю, не разрешалось размещать на ее территории войска иностранного государства, находящиеся под его же командованием ...»[99]

Но с базами на Дальнем Востоке дело не подвигалось. На той же февральской встрече с Гарриманом Сталин объяснил эту отсрочку нежеланием провоцировать японцев раньше времени. «Мы сейчас ни в каких операциях, предпринимаемых американцами против Японии, участвовать не можем, так как пока наши силы на Дальнем Востоке недостаточны, — пояснил Сталин в этой, до сих пор не публиковавшейся части беседы. — ...Летом будет виднее. Когда мы усилим наши части на Дальнем Востоке и перевооружим нашу авиацию, мы не будем бояться никаких японских провокаций, а мо-

жет быть, и сами пойдем на провокацию. Если же мы вызовем японцев на активные действия, прежде чем мы будем к этому готовы, это может кончиться для нас провалом и потерей Приморья, что будет хуже и для нас, и для наших союзников». Это звучало вполне убедительно, но дабы еще больше подсластить пилюлю для американцев, Верховный перешел на предельно доверительный тон, впервые поделившись с Гарриманом деликатнейшей развединформацией: «...По нашим данным японцы могут уйти со своей внешней линии обороны, проходящей через Индонезию. Они строят новую линию обороны поближе к островам. У нас имеются сведения, что японцы вывозят из более отдаленных районов предприятия и оборудование на острова и в Маньчжурию».[100] Посол тут же передал эти сведения президенту как сообщение большой важности, добавив от себя, что Сталин был «предельно дружелюбным». Это был неплохой старт, и через несколько дней Гарриман с удовлетворением сообщал Стетиниусу о том, что «все мы здесь получаем хороший опыт... При том, что у нас постоянные трудности с советской бюрократией, по-моему, мы делаем медленный, но важный прогресс».[101]

Весна 1944-го ознаменовалась новым мощным наступлением Красной Армии, подходившей к западным границам СССР. Даже заядлый русофоб министр ВМС Дж. Форрестол в письме Гарриману был вынужден признать: «Действия Ваших русских продолжают вызывать восхищение со всех сторон».[102] В те же мартовские дни респектабельная «Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье под названием «Россия идет вперед» писала: «Еще раз, причем — с предельной убедительностью Россия продемонстрировала, что ее нельзя завоевать, и вместе с этой демонстрацией улетучились как дым все германские мечты о мировом господстве, основанные на псевдонаучной немецкой геополитике и питавшиеся провалом России в прошлой войне».[103] Советский Союз был на вершине своей популярности в Америке, особенно среди антифашистски настроенной интеллигенции. «Их взоры обращены к Москве... — рассказывали по возвращении из поез-

дки по США руководители Еврейского антифашистского комитета С. Михоэлс и И. Фейфер. — Все мечтают о том, чтобы приехать в ту страну, в тот город, где действительно творятся огромные чудеса... Все хотят в Москву — Драйзер, Фейхтвангер, Тувим».[104]

Своего апогея в США достигла и личная популярность советского вождя: ему теперь посвящались заглавные материалы ведущих газет и журналов, «Тайм» объявил его «человеком года».[105] «Нью-Йорк таймс» поместила комплиментарную рецензию на английское издание сборника выступлений Сталина о Великой Отечественной войне, в которой похвалу заслужил даже тяжеловесный риторический стиль вождя: «Слова Сталина читаются как вырезанные серпом и выкованные молотом». («Это следовало бы напечатать в газетах», — тут же посоветовал Лозовский начальнику Совинформбюро А. Щербакову).[106] Михоэлс и Фейфер в своем отчете констатировали «огромный интерес к личности тов. Сталина... К нам обратились шесть издательств с просьбой дать книгу о тов.Сталине. Из тех книг, которые написаны, мало написано для американцев. Нужно показать лицо Сталина как вождя народов... Сталин и летчики, Сталин и дети, Сталин и колхозники, Сталин как гуманист, Сталин как философ».[107] То, что могло показаться дежурной лестью в устах будущих жертв «гуманиста» и «философа», подтверждалось и свидетельствами самих американцев. Так, директор одного из нью-йоркских издательств, видимо, не дождавшись подходящей советской книги о Сталине, обратился к Гарриману с просьбой помочь распространить продукцию местного производства под названием «Сталин и Бог» — «действительно достоверную историю жизни Иосифа Сталина». Издателем двигали самые лучшие побуждения — «дать отпор антисталинским элементам в нашей собственной стране».[108]

Свой вклад в борьбу с «антисталинизмом» вносила и официальная дипломатия США, проявлявшая в то время редкую предупредительность в отношении советского лидера. В марте 1944 г. руководство госдепартамента замяло планы комитета

палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности предать огласке рукопись книги Л .Троцкого о Сталине, поскольку Сталин, по словам госсекретаря Э. Стеттиниуса на совещании в госдепартаменте, «наверняка счел бы наше правительство ответственным за это, что могло бы крайне вредно отразиться на наших отношениях». В июне того же года по аналогичным причинам решением госдепартамента была отложена публикация очередного тома «Документов внешней политики США», посвященного Парижской мирной конференции 1919 г. и содержавшего обсуждение планов антисоветской интервенции со стороны Антанты. «Мы не должны, — пояснил один из руководителей европейского отдела Дж.Данн, — вредить нашим отношениям с Советским Союзом, покуда продолжается война с Германией».[109] «Покуда продолжается война...» — запомним эту важную оговорку.

В том же духе союзнической солидарности прошла и поездка Гарримана на Север для участия в церемонии передачи советским морякам легкого американского крейсера «Миллуоки». Эта акция была предпринята Вашингтоном в качестве частичной компенсации Советскому Союзу за обещанную в Тегеране треть кораблей трофейного итальянского флота, которую англосаксы раздумали передавать своему союзнику. Главными противниками передачи были американские и английские военные, которые уже вовсю использовали этот мощный флот сами. После Тегеранской встречи КНШ высказал Рузвельту «серьезнейшие военные возражения» против этой идеи, выдвигая на первый план довод о сомнительной угрозе «утраты доверия итальянских военных» и выведения кораблей из строя итальянцами «лишь бы не отдавать их русским».[110] Президент продолжал было настаивать на выполнении своего обещания Сталину, но затем согласился с компромиссом, предложенным Черчиллем — передать Советскому Союзу несколько собственных подержанных судов в качестве «символа верности» своим обязательствам.[111]

Гарриман прилетел в Мурманск 6 апреля в сопровождении военно-морского атташе США адмирала Олсена и его сотрудников, которым не терпелось использовать редкую возможность посмотреть на советские ВМС вблизи. Одной из проблем двусторонних отношений на Севере было бытовое поведение американских и английских моряков, перегонявших конвои с ленд-лизовскими поставками. Рискуя жизнью в открытом море, «иноморяки» на берегу расслаблялись как могли. «Объективные условия жизни иностранных моряков в Архангельске, особенно моряков с потопленных судов, способствуют процветанию спекуляции, вредной болтовни... дракам, пьянству проституции, — отмечалось в докладной записке зав. сектором Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Чекиной, побывавшей с инспекцией в Архангельске. — Несколько тысяч здоровых молодых людей, хорошо питающихся, находятся в течение месяца в условиях полного безделья. Они бродят с утра до вечера по улицам города в поисках вина и женщин».[112]

Посольству периодически приходилось вызволять своих соотечественников из рук местной милиции, чтобы не доводить дело до суда. Гарриман, как записали советские сопровождающие, «хулиганство моряков объяснял тем, что они «часто крепко выпивают» и забываются». Посол обещал, что американские власти будут сами наказывать провинившихся, и просил не отдавать их под суд, дабы не «отпугивать» от участия в конвоях. Правда, порой и сами «иноморяки» становились жертвами нападений со стороны местных хулиганов, а то — и военнослужащих Красной Армии, как сообщали в НКИД местные уполномоченные и руководство НКВД.[113]

В то же время постоянное присутствие англо-американцев на советской территории давало обильный материал для выяснения низовых настроений в союзных странах. «Культурный уровень иноморяков невысок, интересы многих из них эгоистичны и примитивны, и при всех обстоятельствах они выдвигают на первое место личные выго-

ды и материальную заинтересованность, — сообщалось в сводке дипломатического агента НКИД в Мурманске А.Тимощенко, разосланной руководству НКИД. — ... В личном поведении все иномореки, как правило, недисциплинированны, грубы и склонны к хулиганству». Информаторы Политуправления Наркомфлота с удовольствием расписывали смахивающие на небылицы «беспримерные факты трусости американских и английских моряков» вроде того, что «команда американского судна «Олопано», приняв чайку за немецкий самолет, бросилась в шлюпки и побросала в воду все свое вооружение. Через несколько минут, смущенные, они вернулись на пароход».[114] Зато признавалось, что иномореки «интересуются и симпатизируют успехам Красной Армии», «к нам настроены дружественно» и даже «до драк» спорят между собой, «кто больше и лучше воюет, помогает СССР» — англичане или американцы. (В одной из таких драк, начавшихся со споров о втором фронте, по информации Чекиной, участвовало до двухсот англосаксов.) В качестве другого позитива отмечалось мнение иностранцев о том, «что без тесного сотрудничества с СССР невозможно создать прочного и длительного мира, что в европейских делах СССР должен играть ведущую роль», которое «более энергично поддерживается американцами и слабее — англичанами».[115]

Чтобы поднять культурный уровень и политическую сознательность иномореков, советские пропагандисты предлагали усилить воспитательную работу по линии интерклубов, программа которых обычно сводилась к показу кинофильмов, танцам под патефон и лекциям типа «Колхозы в СССР». Конечно, писала в НКИД писательница Р. Райт, «у наших товарищей возникает иногда чувство досады на сытых, избалованных и часто недовольных людей», но все же нельзя упускать возможность «влияния на союзников», нужна помощь со стороны Всесоюзного общества культурных связей. В НКИД прислушались к сигналу общественности: «Я считаю, что ВОКСу следовало бы

заняться этим вопросом, конечно, с большой осторожностью и знанием дела, — наложил резолюцию на это письмо заместитель наркома В.Г. Деканозов. — Организовать культурный отдых и развлечения, но не пугать «большевистской пропагандой».[116] По рекомендации наркомата как раз к приезду Гарримана на север было принято решение ЦК ВКП(б) об усилении культурно-воспитательной работы в интерклубах с привлечением ВОКСа, ВЦСПС и Управления пропаганды и агитации ЦК.

Помимо обычных приемов и других протокольных мероприятий американцам организовали встречи с легендарным начальником Севморпути Уполномоченным ГКО И.Д. Папаниным, командующим Северным флотом молодым вице-адмиралом А.Г. Головко и даже (по бесцеремонной просьбе Олсена, поддержанной послом) посещение командного пункта штаба Северного флота в Полярном, который, как зафиксировали советские сопровождающие, гости «осмотрели с нескрываемым интересом». Привлекли внимание и дотошные вопросы посла по военно-техническим делам, которые, записал в своем отчете дипагент А. Тимощенко, «могли бы быть расценены как вопросы сведущего человека, а не обычного любителя. Не исключена при этом возможность, что ряд вопросов Гарримана исходили от Военно-морского атташе Олсена, приезд которого на Север ранее не увенчался успехом в этом отношении». В выступлении перед моряками Гарриман сравнил передачу корабля с одалживанием столь нужной в хозяйстве лошади верному другу, оказавшемуся в еще большей нужде. «Лошадь», правда, была довольно старой (1923 г. выпуска), но в рабочем состоянии и способной развивать скорость до тридцати узлов. «Выступления посла, — с похвалой отметил Тимощенко, — были недлинны, просты по построению и не содержали излишней лести и слащавости, часто характерных здесь в подобных случаях для англичан».[117]

Отдавая минимальную дань непременному застолью, тостам и песням под аккордеон, Гарриман

не скрывал, что его прежде всего интересовали деловые вопросы — состояние советских ВМС, работа портов по приему ленд-лизовских грузов, использование нашими военными американской боевой техники. «В течение своего пребывания в Полярном, — отметил А. Тимощенко, — Гарриман не был склонен вести беспредметные разговоры «салонного» типа. Он заметно старался отделиться от сопровождающих его лиц, чтобы выяснять интересовавшие его вопросы, и старался ознакомиться с Севером всесторонне полно».[118] Особый интерес посла вызвали переделки американских самолетов советскими умельцами под свои нужды — бомбардировщика «бостон» под торпедоносец и «аэрокобры» для метания небольших бомб. «Такое нам и в голову не приходило, когда мы первоначально проектировали это оружие», — признался посол на обеде с моряками, а для себя пометил в дневнике эти усовершенствования для передачи своим военным.[119] Русскую техническую смекалку по-своему оценили и разведморяки из посольства США: «Под предлогом фотографирования «на память» Гарримана и провожавших советских и американских представителей, — зафиксировал бдительный Тимощенко, — помощник военно-морского атташе Толли сфотографировал отдельные самолеты с наиболее интересными переделками, что заметно обрадовало военно-морского атташе контр-адмирала Олсен».[120]

Посетил Гарриман и интерклуб — главное место отдыха и политпросвещения союзных моряков, где столкнулся с вопиющей недисциплинированностью своих соотечественников, особенно поразившей советских сопровождающих: при объявлении о том, что в клубе находится посол, отметили они в своем отчете, «никто из моряков даже не встал в порядке приличия; моряки сидели так же безразлично, небрежно развалившись на стульях, флегматично зевая или жуя резинку».

За время поездки посол допустил лишь один небольшой промах, замеченный хозяевами. За прощальным ужином он привычно провозгласил тост за здоровье трех вождей, гордый своей близо-

стью с великими мира сего, но «присутствовавшие гости дополнили этот тост посла замечаниями о дружбе трех великих народов — США, СССР и Англии. Несколько смутившись, Гарриман возразил, что он «имел это в виду» и благодарит за дополнения» (из отчета Тимощенко).[121]

В отчете о поездке для президента Гарриман с особым удовлетворением отметил «компетентность и энергию» портовых служб Мурманска и Архангельска, принимавших до 12 тыс. тонн груза в сутки, а также высокий профессионализм советских моряков, быстро осваивавших новый для них корабль, названный теперь «Мурманском» (посла заверили, что это не специально подобранный, а самый что ни на есть обычный экипаж). «Сердечность, с которой меня принимали, была почти конфузящей, — писал он. — ... Как военные, так и гражданские выражали глубокую благодарность за нашу помощь».[122]

В свою очередь советские представители остались под большим впечатлением от высокого американского гостя. По отзывам Папанина и других, сообщал Гарриману помощник военно-морского атташе США в Архангельске, «Вы, сэр, являетесь идеалом того, каким должен быть наш посол». И это не было лестным преувеличением, поскольку даже Тимощенко заключил свой отчет о поездке Гарримана в необычно комплиментарном для этого жанра ключе: «Компетентность посла в различных вопросах техники и хозяйства, а также простота и непринужденность в общении хорошо расположили к нему советских военных и гражданских представителей, и многие из них отзывались о нем как о «замечательном человеке» и называли его «большой умницей».[123]

Понравился советским морякам и переданный послом крейсер. Капитан «Миллуоки» К. Филдинг в своем отчете Гарриману об испытаниях и передаче корабля отмечал, что «он показал себя на все 100%» и советские моряки «остались чрезвычайно довольны работой «Миллуоки», особенно его скоростью и редким тогда в СССР корабельным радаром. «По Вашему совету в память о передаче судна мы пода-

рили адмиралу Головко от имени экипажа серебряный кубок... Рад сообщить, что теплые чувства между личным составом обоих флотов, которые Вы наблюдали, сохраняются и по сей день».[124] Еще через пять лет крейсер будет возвращен американцам и пойдет на металлолом.

ПЕРВЫЕ ХОЛОДА

Однако даже этот период больших надежд не был свободен от взаимных претензий. К началу года посольство и военная миссия США, отслеживая по мере сил практику использования советской стороной поставок по ленд-лизу, пришли к выводу о том, что СССР запрашивает больше, чем может реально использовать для ведения войны, особенно по части промышленного оборудования. Эти подозрения не были лишены оснований. Архивные документы показывают, что уже начиная с подготовки III Протокола (сроком действия с 1 июля 1943 по 30 июня 1944 г.) Сталин взял курс на увеличение поставок промышленного оборудования для послевоенных нужд за счет сокращения чисто военной части и общего объема поставок. На проекте программы поставок из США, представленном ему Микояном в начале 1943 г., Сталин ставит резолюцию — «Собрать людей. Обсудить (сократить)» и с карандашом проходится по всему списку, сокращая некоторые военные статьи и увеличивая, в частности, количество запрашиваемых станков с 18 до 24 тыс.[1] Еще не был завершен разгром фашистских войск под Сталинградом, а «Верховный», судя по всему, уже думал о послевоенном восстановлении экономики.

В Вашингтоне, однако, не спешили помогать этим планам. Лишь немногие военные снабженцы выступали за максимально полное удовлетворение советских заявок по промышленному оборудованию как «лучший способ завоевать расположение русских», по словам генерала С. Сполдинга.[2] Советские заявки на поставку станков были сокращены

американцами наполовину, а энергосилового оборудования — более чем на одну треть, докладывал Сталину Микоян в июне того же года: «Мотивы сокращения поставки станков могут быть только политические, ибо производство станков в США продолжается в избыточном количестве, и сейчас работа целого ряда станкостроительных заводов сворачивается из-за отсутствия заказов». Мало того. «Из английских источников нам известно, — продолжал нарком, — что американцы оказывают давление на англичан, принуждая их сокращать поставки нам станков из Англии, хотя английские фирмы желают и готовы дать больше».[3] В следующем году — опять же по личному указанию Сталина — программа поставок по IV Протоколу (1 июля 1944 — 30 июня 1945 г.) была сокращена на целых 1,46 млн. коротких тонн, но с дополнительным запросом «сверх предложенного правительством США, оборудования для добычи угля и нефти», а также с настоятельной просьбой сохранить в программе гидротурбины для Днепрогэса, электровозы и оборудование для строительной индустрии. В постановлении ГКО по этому вопросу оговаривалось, что в случае необходимости оплата части этих товаров, переходящей на послевоенный период, может быть осуществлена за счет будущего американского кредита.[4]

Гарриман обратился к Гопкинсу и в КНШ с просьбой предоставить посольству полномочия по проверке советских запросов и потребовать от СССР более подробной информации об использовании американских поставок. В Вашингтоне мнения разошлись: Гарримана и Дина поддержала Администрация экономической помощи иностранным государствам, отвечавшая за программу ленд-лиза в целом, а подчиненный Гопкинсу Комитет советского протокола высказался против изменения устоявшейся практики. Тому приводились весомые организационные причины — передача контрольной функции посольству подорвет единую систему принятия решений по вопросам поставок в СССР, созданную в рамках Комитета советского протокола. Но главный ущерб виделся в

политической стороне дела. Суммируя позицию руководства комитета для адмирала У.Леги, генерал Дж.Йорк писал: «Он (генерал Бёрнс) считает, что любая попытка поставить под сомнение русские запросы с требованием их детального обоснования может привести лишь к ухудшению наших отношений с СССР. Он также считает, что вклад, который вносит и еще внесет Красная Армия, есть достаточная компенсация тех жертв, которые мы несем при оказании помощи России».[5] «Похоже, придется отложить решение КНШ до выяснения мнения м-ра Гопкинса», — надписал Леги на докладной Йорка. Гопкинс поддержал своих подчиненных, после чего точку в споре поставил сам Рузвельт, дав твердое указание госсекретарю: «Россия остается главным фактором в разгроме Германии. Поэтому мы должны продолжать помощь СССР путем доставки максимального объема поставок в ее порты. Это дело первостепенной важности».[6] Телеграмма с соответствующими инструкциями Гарриману за подписью президента была подготовлена одним из помощников Рузвельта И.Любиным. «О'кэй, Люб, — с твоими поправками», — завизировал текст президент.[7]

Вся эта закулисная борьба не укрылась от советской разведки, имевшей, судя по всему, неплохих информаторов в вашингтонских коридорах: «Форейн Экономик Администрейшен», подхватив заявления Гарримана, что СССР получает по ленд-лизу слишком много материалов, которые не используются на военные нужды, представила Гопкинсу доклад, защищающий это мнение, — докладывал Фитин руководству НКИД. — Рузвельт предложил положить конец этой болтовне и указал всем министерствам, что СССР играет в войне главную роль».[8] Гарриману пришлось подчиниться, хотя на совещании в посольстве он не скрывал своего раздражения позицией Комитета советского протокола — «ладить с русскими, давая им все, что они не попросят. Это не способ поладить. Они сами жесткие ребята и ожидают того же от нас».[9]

Беспокоила Гарримана и растущая независимость односторонних действий Москвы, не желав-

шей консультироваться с союзниками по таким вопросам, как, например, признание правительства Бадольо в Италии — зоне интересов США и Англии. Посол призвал госсекретаря «не спускать подобных акций советской стороне с тем, чтобы она постепенно усваивала уроки поведения в цивилизованном мировом сообществе», а не превращалась в «слона в посудной лавке».[10]

Другим, гораздо более серьезным раздражителем для обеих сторон стал вопрос о будущем Польши. Гарриман с пониманием относился к нежеланию советского руководства иметь дело с «лондонскими поляками»; по опыту работы в Лондоне он хорошо знал их непримиримый, густо замешанный на русофобии антисоветизм и надеялся на такую реорганизацию правительства Миколайчика, которая сделает его приемлемым для Кремля. В этом его еще больше убедил президент Чехословакии в изгнании Э. Бенеш, приехавший в Москву в конце 1943 г. для заключения союзного договора с СССР. Кремль, по словам Бенеша, обсуждавшего этот вопрос со Сталиным, не собирался коммунизировать Польшу и был прежде всего заинтересован в признании новой восточной границы Польши по «линии Керзона» и в общей просоветской ориентации новой Польши во внешней политике. Гарриман уверовал, что «чешская модель» может стать решением и польской проблемы, приемлемым для всех сторон — СССР, его западных союзников и самой Польши. Русские, говорил он на совещании в посольстве 15 февраля 1944 г., «не хотят коммунизировать Польшу, но они и не хотят, чтобы страна вернулась к открыто антисоветскому правлению... их отношение к (лондонскому) правительству вполне обоснованно».[11]

3 марта на встрече со Сталиным, к которой посол готовился особенно тщательно,[12] Гарриман по заданию президента вновь поднял этот вопрос, пытаясь нащупать в советской позиции возможность компромисса. «Опять поляки? — проворчал Сталин. — Неужели это самый главный вопрос?» (гласит советская запись данной беседы). «Тов. Сталин замечает, что только и делает, что занимается

польскими делами: пишет, запрашивает, выясняет. Он даже совсем оторвался от военных дел». Далее Сталин резко высказался в адрес «лондонских поляков» — этих «помещиков, польских тори, которых народ не пустит в Польшу». «Все считают русских батраками, — с раздражением добавил он. — Русские должны освободить Польшу, а поляки хотят получить Львов. Все считают, что русские дураки» (то есть готовы проливать свою кровь ради чужих интересов, не получая ничего взамен, имел в виду Сталин). «Гарриман говорит, — продолжается в записи беседы, сделанной В.Бережковым, — что он является неподходящим человеком для того, чтобы защищать лондонских поляков. Он, Гарриман, сам пробыл более двух лет в Лондоне и знает лондонских поляков достаточно хорошо. Но в то же время он должен сказать, что среди них есть и хорошие люди. Тов. Сталин замечает, что хороших людей можно найти везде, даже среди бушменов».

Как же решить эту проблему? — не унимался Гарриман. «В дальнейшем либо правительство Миколайчика будет изменено, либо в Польше возникнет новое демократическое правительство», — отрезал Сталин. Все попытки Гарримана дознаться, каким образом может возникнуть это новое правительство, встречали уклончивое «обстановка покажет», «вопрос еще не созрел». Здесь-то посол и высказал впервые идею о возможности реорганизации лондонского правительства, которая, по мнению некоторых современных историков — критиков Гарримана, подсказала Сталину нужную ему формулу решения польского вопроса[13]: «Гарриман спрашивает, думает ли Маршал Сталин, что польское правительство в Лондоне могло бы быть реорганизовано и что в него могли бы войти некоторые из поляков, находящихся в Лондоне». Реакция вождя была неопределенной, но вряд ли он нуждался в подсказке Гарримана в этом вопросе. Более определенно Сталин высказался по поводу посреднических усилий английского премьера. «Черчилль ничего не сможет сделать с поляками. Поляки обманывают Черчилля». Ссылки посла на оза-

боченность общественного мнения в США польской проблемой Сталин отвел аналогичным доводом о советском общественном мнении, на что Гарриман не без иронии заметил, «что Маршал Сталин умеет хорошо обращаться с русским народом». Но вождь народов решил не пропускать ехидство американца мимо ушей: «Тов. Сталин говорит, что это неправильно. В России было три революции. Это достаточно хорошо показывает, как реагирует русское общественное мнение. Русское общественное мнение попросту свергает то правительство, которым оно недовольно».[14]

Несмотря на жесткий тон Сталина, Гарриман продолжал сохранять осторожный оптимизм. В наброске так и не отосланного послания президенту, сделанного вскоре после этой встречи в Кремле, он записал: «Сталин в основном прав (о невозможности вести дела с лондонским правительством)... Пока нет свидетельств того, что он не желает дать Польше возможность стать независимой... Мы не должны допустить, чтобы наши отношения с Советским правительством были испорчены поляками».[15]

С этим настроением Гарриман в мае отправился в Вашингтон для отчета и консультаций. По дороге он остановился в Лондоне, где ему пришлось урезонивать Черчилля, разгневанного «неблагодарностью» Сталина в ответ на его посредничество в польском вопросе. Премьер-министр расписывал как свое «великое достижение» то, что ему удалось склонить правительство Миколайчика к признанию «линии Керзона» в качестве временной административной границы Польши на востоке; и «что он за это получил? Оскорбления от Сталина — этого варвара и т.д. и т.п.» (не без иронии записал Гарриман в своем дневнике).[16]

В Вашингтоне посол встретился с президентом, который пообещал на предстоящей беседе с Миколайчиком подтолкнуть того к замене Сосновского «и еще одного-двух» строптивых членов его кабинета, а также постараться «замять» польский вопрос в надвигавшейся предвыборной кампании.[17]

С более подробным отчетом Гарриман 10 мая выступил перед руководством госдепартамента. Общий тон его доклада был вполне оптимистичным: «Наши отношения с Советским правительством постоянно укрепляются, несмотря на ряд второстепенных и более глубоких трудностей». Предостерегая против иллюзий о «демократии в России», посол вместе с тем подчеркнул, что «Сталин и его правительство не хотят подстрекать революции вдоль своих границ или вызывать беспорядки, угрожающие международной стабильности». Это относилось и к Польше, где позиция США, по мнению Гарримана, должна была состоять в том, чтобы, «стоя на обочине, дать ясно понять русским, что мы ожидаем от них позволить полякам выбрать свое собственное правительство при условии, что оно сможет пойти на мировую с Россией».

Гарриман подтвердил, что считает «чешский вариант» «наилучшим» из всех возможных в Восточной Европе, но сделал важную оговорку о том, что «для сдерживания распространения коммунизма» в Восточной и Центральной Европе США должны будут оказывать содействие демократическим правительствам стран этого региона, прежде всего в сфере экономики.[18]

Во время пребывания в Вашингтоне посол также успел приложить руку к продвижению вопроса о послевоенном кредите для СССР. При его активном участии на совещании с представителями министерства финансов были согласованы новые, более щадящие для советской стороны условия кредита: сроки его погашения продлевались с 20 до 25 лет, а фиксированная ставка процента заменялась подвижной шкалой, позволявшей уменьшить платежи по кредиту в начальный период.[19]

В те же дни в недрах военно-политических ведомств США прорабатывались варианты новых возможных уступок советским стратегическим интересам. На ключевом черноморско-средиземноморском направлении американские военные не только поддерживали требование СССР о пересмотре конвенции Монтре, но и обсуждали возможность передачи Советскому Союзу в индиви-

дуальную опеку некоторых итальянских колоний, прежде всего — стратегически важных островов в Эгейском море, поскольку «при современных средствах подводной и воздушной войны (как отмечалось в рекомендациях КНШ госсекретарю) выход из Черного моря может быть так же эффективно перекрыт с баз на этих островах, как и с самих проливов». Военные предостерегали против сепаратной сделки с англичанами, (которые к тому времени уже делали заявки на эти территории) как опасной для сохранения послевоенного единства «большой тройки».[20]

Характерно, что эти рекомендация КНШ вызвали острую критику со стороны армейских планировщиков. Внутренней отзыв на этот документ КНШ со стороны отдела стратегического планирования обнажал всю глубину антисоветского настроя влиятельной части американских штабистов. Они видели в предлагаемой политике продолжение предвоенного курса «умиротворения» в отношении Германии и Японии — «кормить медведя, дабы его успокоить». Сторонники такой политики, говорилось в отзыве, видимо, забывают, что каждый раз медведь нападал на кормящие его страны, в результате чего они сами становились его кормом. Следует постоянно иметь в виду, что СССР, сражающийся за свою жизнь против врага, оказавшегося также врагом США и Великобритании, может быть совсем не похож на СССР, когда он почувствует себя достаточно сильным, чтобы не нуждаться в услугах со стороны США или Великобритании». Отсюда — выводы планировщиков: «а) презумпция о том, что СССР следует умиротворять для поддержания мира, в корне неверна, б) США должны поддерживать Великобританию во всех возможных случаях, с) с Советским Союзом следует консультироваться когда затрагиваются его интересы; но это не исключает возможности предварительных договоренностей между США и Великобританией. Главным критерием должны быть коренные национальные интересы, а не ранимые чувства случайного союзника».[21]

В итоговом мнении Оперативного управления штаба армии эти формулировки были смягчены, хотя суть возражений осталась той же. В нем подчеркивалась непредсказуемость советской политики после войны: одно дело, если истощенная войной Россия сосредоточится на своих внутренних проблемах («ограничится своим рукодельем») и «будет воздерживаться от военной, политической и экономической активности в остальном мире», и совсем другое — если она продолжит «агрессивный политический и экономический курс Коминтерна»: в таком случае «вероятность конфликта между Россией и США будет столь же велика, как и вероятность советско-английского конфликта». Очевидно, что Советский Союз в качестве глобальной державы никак не вписывался в представления армейских планировщиков о послевоенном мире. Что же касается обязательных консультаций с Россией по вопросам подопечных территорий, то «они, — подчеркивал один из руководителей управления генерал Дж. Линкольн, — интересуют военных, только покуда Россия остается нашим военным союзником и Комитету начальников штабов приходится держать ее «в стойле». С окончанием войны эта ситуация изменится».[22] Но война еще продолжалась, и КНШ положил возражения планировщиков на полку, откуда они будут вытащены год спустя. Пока же даже в зоне ключевых американских интересов — на Тихом океане — УСС прогнозировало стремление СССР к «равному с США влиянию» в послевоенной Японии, а штаб Маршалла предусматривал возможность участия двух советских дивизий в оккупации Хоккайдо.[23]

Возвращение Гарримана в Москву совпало с пиком советско-американского военного сотрудничества. 2 июня после успешной бомбардировки целей в Румынии 128 бомбардировщиков ВВС США совершили посадку на полтавском аэродроме — началась первая фаза челночных бомбардировок, окрещенная американцами в честь Сталина («дядюшки Джо») «Фрэнтик Джо». Наблюдая за стройным клином серебристых звездно-полосатых ма-

шин, сдержанный Гарриман, как писала домой сопровождавшая посла Кэтлин, «был взволнован, как никогда в жизни».[24] Сам Гарриман в донесении Рузвельту тоже писал о «большом возбуждении, с которым все мы — русские и американцы — следили за посадкой отряда бомбардировщиков под командованием генерала Икера на советской базе».[25] Президент тут же ответил: «... Я очень рад, что операция прошла при таком прекрасном сотрудничестве. Здесь она тоже произвела отличное впечатление».[26] Помимо чисто военных задач «Фрэнтик» имел для американского командования и серьезные политические цели — продемонстрировать союзную солидарность, показать советским людям мощь и дружелюбие ВВС США, а также создать прецедент для предоставления американцам авиабаз в Приморье и на Дальнем Востоке.[27]

Личный состав (около тысячи двухсот человек только в первой партии) перед отправкой в СССР прошел специальную морально-психологическую подготовку. «Группа 15-й военно-воздушной армии — это первая значительная воинская часть США, которой предстоит базироваться на русской земле, — говорилось в наставлении для военнослужащих, сохранившемся в служебной истории этой операции. — Впечатление от нее повлияет на представления всей русской военной машины и подготовит почву для наших будущих отношений. Поэтому на каждого офицера, сержанта и рядового ложится особая ответственность за все поступки и поведение. По нашей работе русские будут судить о боеспособности, дисциплине, моральному духу и энергии всех американских вооруженных сил».[28] Для создания нужного впечатления были разработаны специальные правила поведения, ставшие приложением к общему плану операции. Вот только основные из них: «Не вступайте в политические или социальные дискуссии, затрагивающие сравнения с нашими собственными институтами», «не хвастайтесь диковинками нашей жизни в Америке», «отвечайте на вопросы, но не проявляйте инициативы в предоставлении информации», «рус-

ские женщины, как правило, открыты и дружелюбны, но не принимайте этого как приглашение к большей близости». Следующее предостережение касалось еще одной национальной особенности: «Русские — опытные и стойкие выпивохи. Водку не следует пить на пустой желудок, поэтому всегда ешьте при выпивке». В другой инструкции давалось емкое описание знаменитого русского напитка для непосвященных: «Водка делается из зерна или картофеля, выглядит как вода, пахнет как антифриз; русские используют ее от комариных укусов, для чистки одежды, как лекарство при расстройстве желудка и просто для питья».[29]

Предусмотрительные американцы позаботились не только о радостях жизни для своих военнослужащих. «Несомненно, что в связи с воздушными мероприятиями, проводимыми в России сообща американским и советским военным персоналом, будут иметь место случаи смерти среди американских солдат, вызванные как естественными причинами, так и в результате сражений, — обращался Гарриман к Вышинскому (в корявом переводе на русский). — Для того, чтобы облегчить похороны, необходимо, чтобы Соединенным Штатам разрешили использовать в районе воздушных баз небольшой участок земли под кладбище».[30] Предусмотрительность эта, к сожалению, оказалась не лишней.

Первый опыт длительного пребывания многочисленного военного персонала США на советской территории начался очень успешно. Русское гостеприимство, по отзыву Кэтлин, превзошло все ожидания — «наших солдат даже угощали шампанским и другими деликатесами, о которых дома они не могли и мечтать... Все, с кем я говорила, высказывались в духе дружбы и уважения к своим русским напарникам».[31] На редкость дружественные и уважительные отношения сложились и между командованием операции с обеих сторон, американцы особенно выделяли советского командира Полтавского аэроузла боевого летчика генерал-майора А.Р. Перминова. (Осенью того же года, когда генерал в составе советской делегации находился в Чикаго

на конференции по международной гражданской авиации, генерал Дин даже направил своим коллегам просьбу «расшибиться в лепешку для Перминова», который «поддерживал нас на все 100%»).[32] Военная цензура США внимательно следила за освещением «Фрэнтика» в национальной печати: когда в ней стали появляться первые интервью американских военнослужащих с разноречивыми впечатлениями о России, командному составу было дано строгое указание главкома стратегической авиации генерал К. Спаатса не допускать в этих высказываниях «ничего критического, что могло бы навредить нашим нынешним отношениям с русскими».[33]

6 июня союзники высадились в Нормандии, и теперь уже Сталин, принимая Гарримана через несколько дней, в необычно приподнятом тоне выразил свое восхищение действиями союзников (развернутое затем в его интервью «Правде»: «История войн не знает другого подобного предприятия по широте замысла, грандиозности масштабов и мастерству выполнения».[34] Гарриман со своей стороны преподнес Сталину американскую зажигалку фирмы «Зиппо» с выгравированной надписью из недавней речи Рузвельта: «Мир никогда еще не видел большей самоотверженности, решимости и самопожертвования, чем проявленные русским народом и его армией под руководством Маршала Сталина». Американские военные и дипломаты на время стали в Москве настоящими героями: их качали на улицах, задаривали на приемах, угощали в ресторанах. «Занятно, — писала домой Кэтлин Гарриман, — что публика наделяет лаврами за вторжение только нас, в обход англичан и канадцев».[35] Вместе с тем, отмечал в своей шифровке в КНШ генерал Дин после личной прогулки по московским улицам, в реакции москвичей на радиосообщение о высадке в Нормандии при всем «удовольствии и чувстве облегчения» не было заметно «бурного ликования» — может быть, оттого, как пишет историк А.Ю. Борисов, что этого известия «слишком долго ждали».[36]

Реакцию простых советских людей на открытие второго фронта отслеживали и в ЦК. В специальной сводке Агитпропа по этому вопросу, в частности, отмечалось: «Колхозники колхоза им. Крупской Григорковского сельсовета Красненского района, услышав о высадке союзных войск на севере Франции, заговорили о том, что теперь скоро должен быть мир, что немцы теперь не выдержат натиска. После сообщения настроение колхозников поднялось, начались более веселые разговоры, даже улучшилась работа в поле».[37] «Жизнь в Москве этим летом стала гораздо приятней, — сообщал посол жене Черчилля Климентине. — Со времени последних огромных событий постоянно светит яркое солнце — как в буквальном, так и фигуральном смысле».[38] Впервые за время пребывания в Москве Гарриман получил дорогие подарки от Молотова и Микояна — тонкие фарфоровые изделия, шкуру огромного полярного медведя и каракульчу на шубу для Кэтлин. Посол даже сообщил об этом госсекретарю как «еще одном признаке возвращения к старым русским обычаям».[39]

Посольство США устроило торжественный прием в честь советского военного командования, на который был приглашен и крупный чин из НКВД. Кэтлин тут же заметила про себя плохо скрытую неприязнь к нему со стороны профессиональных военных: «Странно — армейские генералы относятся к НКВД с явной ревностью и холодком, хотя те и есть настоящая власть в этой стране».[40]

Советское военное командование поддержало операцию «Оверлорд» участием в плане «Бодигард» по дезинформации немцев относительно места и времени высадки союзников в Нормандии, а главное — последовавшим за ней мощным наступлением на Восточном фронте (операция «Багратион»), сковавшим основные силы вермахта. Это наступление, по словам «Нью-Йорк Таймс», было встречено «в официальном Вашингтоне со вздохом облегчения и глубоким удовлетворением» [41] Скрупулезное выполнение Сталиным этого тегеранского обещания, вспоминал потом Гарриман, «имело

огромное значение для психологии наших военных... То, что он сдержал свое слово, убедило многих наших военноначальников, особенно — Эйзенхауэра, в верности Сталина своим обязательствам».[42] Сам Эйзенхауэр в те дни писал Гарриману: «С картой в руках слежу за продвижением Красной Армии и, конечно, испытываю огромный восторг от того, с какой скоростью она перемалывает боевую мощь врага... Обещаю, что мы тоже сделаем все, чтобы перебить свою долю немцев».[43]

И все же, сравнивая свои успехи с советскими, некоторые подчиненные Эйзенхауэра не могли сдержать угрызений совести, смешанных с профессиональной завистью. «Великолепное наступление русских армий продолжает поражать весь мир, — делился с Гарриманом его старый знакомый генерал Ф. Андерсон — заместитель начальника оперативного управления штаба Эйзенхауэра. — Оно показывает снова и снова, чего можно добиться, если не связывать себя традициями допотопной тактики, которой учат в наших военных заведениях на картах сражений под Геттисбергом и Антиэтамом... А на нашем фронте застой по всей линии. Даже располагая полным превосходством в воздухе, мы продолжаем продвигаться очень медленно».[44]

В конце июня в посольство наконец прибыло долгожданное пополнение — советник Дж.Кеннан, «полный энтузиазма в отношении своей работы и интереса к происходящему здесь», как отметил для себя Гарриман.[45] Он с удовольствием перевалил на своего заместителя большую часть работы по текущему управлению посольством, сосредоточившись на кремлевской дипломатии. Впрочем, энтузиазм Кеннана не распространялся на административную часть посольской работы. «В нашем маленьком мирке на Моховой все так хорошо, как только может быть, — делился он свежими впечатлениями со старым приятелем и сослуживцем по своей первой московской командировке Ч. Боленом. — Иначе говоря, у нас нет никаких проблем, кроме того, что мы по-прежнему не можем добиться отправки домой жен (т.е. советских жен американских диплома-

тов. — *Авт.*), что здание разваливается на куски, что большая часть посольских машин поломана, что Бюробин (Бюро по обслуживанию дипкорпуса. — *Авт.*) отнимает у нас дачу, что никто не хочет ехать во Владивосток, что Интурист не дает нам больше гостиничных номеров, а популяция мышей быстро растет после голода времен разгара войны...»[46] Не изменилось и враждебное отношение Кеннана к сталинскому режиму, вынесенное еще из опыта работы в Москве середины 1930-х гг.

В польском вопросе ситуация еще казалась поправимой. Хотя Кремль в преддверии освобождения Польши уже начал создавать в пику лондонским полякам то самое «демократическое» (т.е. просоветское) правительство, о котором Сталин намекал Гарриману в марте, лидеры Польского Национального Комитета произвели на посла неплохое впечатление. «Они убедили меня в том, — сообщал Гарриман в Вашингтон после первой встречи с Э.Осубкой-Моравским и его коллегами, — что не являются советскими агентами и стремятся получить поддержку не только советского, но и английского и нашего правительства».[47]

Подлинная позиция Кремля была жестче, чем представлялось Рузвельту и Гарриману. Хотя о советизации Польши речи пока не шло («советских порядков не вводить ... костелов не трогать», — указывалось в Постановлении ГКО от 31 июля 1944 г.), ставка делалась только на просоветские силы и непримиримую борьбу с Армией Крайовой и другими пролондонскими организациями. «Никаких других органов управления, и в том числе — выдающих себя за органы польского эмиграционного «правительства» (в Лондоне), кроме органов ПКНО не признавать, — говорилось в том же Постановлении ГКО. — Иметь в виду, что лица, *выдающие себя* за представителей польского эмиграционного «правительства» в Лондоне, *среди которых обнаружено немало гитлеровских агентов,* должны рассматриваться как самозванцы и с ними следует поступать как с авантюристами» (курсивом выделены слова, добавленные для усиления Молотовым. — *Авт.*).[48]

Представления Сталина и его окружения о «лондонских поляках» и Армии Крайовой как непримиримых врагах СССР питались данными хорошо поставленной разведки, в том числе — получаемыми из независимых источников. Вот, например, что сообщали ее чехословацкие информаторы летом 1943 г. о настроениях офицеров армии генерала Андерса, дислоцированной на Ближнем Востоке. СССР для них — «враг номер один», более ненавистный, чем царская Россия и даже Германия; поэтому все хотят «увидеть Советский Союз настолько ослабленным войной, чтобы он не имел никакого влияния на политические решения в Центральной Европе». Основные надежды при этом возлагаются на раздоры между западными союзниками и русскими, создание «антисоветского бастиона» на пути «большевизации Европы»: «В США они видят возможный мощный противовес, в то время как за Великобританией подозревают желание договориться с Советами».[49] Позиция Сталина по отношению к «лондонским полякам» отчетливо видна в его инструкциях начала 1944 г. советским дипломатам в США о том, как нужно вести разъяснительную работу среди польской диаспоры в США: «Мы считаем польское правительство Мик-ка (так в тексте. — *Авт.*) полуфашистским, оторванным от польского народа. Присоединение этого правительства к клеветнической кампании Гитлера по вопросу об убийстве польских офицеров считаем не случайным. Что касается внешней политики правительства Мик-ка, то она является прямо враждебной СССР... Поэтому нужно сказать прогрессивным полякам в Америке, что невозможно вести дела с правительством Мик-ка».[50]

Однако дабы соблюсти «демократические» приличия и не слишком раздражать союзников, Сталин был готов разбавить «люблинских поляков» несколькими представителями лондонского правительства. Именно к такого рода сделке он вместе с Молотовым пытался принудить делегацию Миколайчика, прибывшую в конце июля в Москву для переговоров с руководством СССР. Миколайчик не

поддавался, и его первые переговоры с Б.Берутом и его командой не дали ощутимых результатов, но он покидал Москву «гораздо более обнадеженным» (по словам из донесения Гарримана в Вашингтон) в отношении урегулирования, в том числе — личным обещанием Сталина помочь с воздуха участникам Варшавского восстания, начавшегося 1 августа. В своем итоговом донесении по результатам советско-польских переговоров в Москве (которые Гарриман тщательно отслеживал в контактах с Молотовым и Миколайчиком) он сообщал об «искреннем стремлении Советского правительства добиться урегулирования» в Польше путем создания коалиционного правительства и рекомендовал усилить соответствующий нажим на Миколайчика из Лондона и Вашингтона.[51] Рузвельт был доволен этими (как писан он Черчиллю) «приятными новостями о советско-польских разговорах».[52]

Но уже через несколько дней ситуация вокруг Польши резко изменилась. 15 августа Гарриман получил жесткий отказ Вышинского в просьбе разрешить самолетам союзников совершать посадку в Полтаве после вылета из Великобритании и сбрасывания грузов для восставших варшавян (королевские ВВС уже начали такие полеты с 9 августа, но им не хватало горючего для возвращения на свои базы). Таким образом, советское правительство не только само отказывалось — вопреки обещанию Сталина — помочь полякам, но и не давало этого сделать союзникам. Гарриман и Керр запросили немедленную встречу с Молотовым, но были приняты лишь тем же Вышинским, который в ответ на вопросы и протесты послов твердил лишь одно: «Советское правительство не хочет поощрять авантюрные предприятия, которые будут использованы против него».[53] В отчете о беседе шокированный Гарриман писал президенту: «Впервые за мое пребывание в Москве я чрезвычайно встревожен отношением Советского правительства...Если Вышинский правильно передает позицию своего правительства, то этот отказ продиктован жестокими политическими мотивами...»[54] Гарриман

призвал Рузвельта обратиться к Сталину с серьезным предупреждением, но президент занял выжидательную позицию, ограничившись по совету К.Хэлла указанием Гарриману продолжать совместный англо-американский нажим на руководство НКИД. «По целому ряду причин, — писал Хэлл президенту, — ни мы, ни англичане не можем оставить на произвол судьбы силы польского подполья, ведущие активную борьбу с нацистскими захватчиками, только потому, что эта борьба не соответствует советским политическим целям».[55]

17 августа послов наконец принял Молотов, который к тому времени уже знал от начальника Генштаба А.И.Антонова о бедственном положении английских летчиков, вынужденных после рейдов на Варшаву выбрасываться с парашютами над польской и советской территорией. Тем не менее нарком твердо стоял на позиции, заявленной накануне Сталиным в ответном послании Черчиллю и Миколайчику: «Советское правительство считает варшавское предприятие авантюрой» и «не желает взять на себя ответственности за него, в том числе и ответственности за самолеты, которые будут посланы для оказания помощи Варшаве».[56] Разгоряченный Гарриман, взявший на себя роль главного представителя союзников, использовал все запасенные аргументы: ссылки на обещание Сталина, довод о подрыве позиций поверившего было Москве Миколайчика среди своих коллег, «ненужную гибель» многих американских и английских летчиков, наконец, ссылки на общественное мнение в США и Англии. «Отказ в помощи полякам, которые ведут теперь борьбу в Варшаве, никогда не будет понят в США, каковы бы ни были ошибки руководителей этих поляков, — гласит советская запись беседы, сделанная В.Павловым. — Он, Гарриман, уверен, что если Молотов продумает все эти факты, то он пересмотрит свое решение». («Эти свои последние слова, — добавил Павлов, — Гарриман произнес сильно взволнованным голосом».[57])

Однако Молотов не только бесстрастно отвел все доводы собеседника по Польше, но и добавил еще одну плохую новость — желание Советского правительства «вернуть аэродромы (задействованные в операции «Фрэнтик» советским войскам по причине их малого использования». Это неожиданное сообщение, прозвучавшее как угроза увязки челночных бомбардировок с польским вопросом, переполнило чашу терпения Гарримана. Несмотря на тяжелый урон, нанесенный американскому авиаотряду на Украине в результате немецкой бомбардировки в конце июня, военное командование США рассчитывало на дальнейшее использование этих аэродромов с прицелом на последующую переброску авиабаз в Приморье. Со своей стороны советские партнеры по челночным бомбардировкам считали возможным согласиться с планами американцев расширить присутствие ВВС США на Украине до 4 авиагрупп (т.е. 2 тыс. членов экипажа) и предоставить им еще одну авиабазу.[58] Поэтому, даже не имея конкретных инструкций на такой случай, Гарриман пошел на самое серьезное предупреждение: «Если американцам будет отказано в советских аэродромах, это будет иметь катастрофические последствия для дела сотрудничества между нашими странами...» (Павлов опять отметил «взволнованный голос» и «раздражение» посла). «Нет никаких оснований, чтобы Гарриман был так взволнован», — невозмутимо свернул беседу нарком.[59]

«Его превосходительство вернулся из Кремля в таком негодовании и бешенстве, что долго не мог успокоиться, — записал в своем дневнике помощник Гарримана Мейклджон. — До четырех утра мы корпели над телеграммами».[60] Причины столь эмоциональной реакции следует, видимо, прежде всего искать в шоке от коварства Сталина, впервые открывшегося Гарриману с такой очевидностью. «Единственное, во что я здесь верил, была надежность слова Сталина, — записал он в так и не отосланном донесении президенту. — Теперь он нарушил свое обещание, данное Миколайчику всего три

дня назад, и сделал это безо всяких видимых оснований...» Цинизм Сталина, который еще недавно обвинял польское подполье в нежелании «драться против немцев», затем (в той самой беседе с Миколайчиком от 9 августа) выражал показное сочувствие неразумным восставшим («Немцы просто перебьют всех поляков. Просто жалко этих поляков»[61]), а кончил полным равнодушием и к этому истреблению, и к призывам союзников о помощи, шокировал даже весьма толстокожего Гарримана. Варшавское восстание стало для него моментом истины, заставившим по-новому взглянуть не только на методы, но и цели сталинской политики. «Польская проблема, важная сама по себе, — записал он в том же наброске, — может предвещать ту же беспощадную политику и на других направлениях...» Отсюда его рекомендации Белому дому и госдепартаменту дать «маршалу Сталину понять, что если советское правительство будет продолжать подобную политику, то вера американской общественности в возможность успешного послевоенного сотрудничества будет серьезно подорвана».[62]

Однако ни Рузвельт, ни госдепартамент не откликнулись на набат Гарримана. В командовании ВВС США скептически оценивали эффективность помощи Варшаве с воздуха, опасаясь в то же время за дальнейшую судьбу челночных операций (поставленную под вопрос Молотовым), которые, как инструктировал посла госдепартамент, «не должны быть сорваны из-за (Варшавского) вопроса». Гарриману рекомендовалось сбавить тон, поскольку «наша основная цель уже достигнута благодаря сделанным Вами заявлениям».[63]

Посол вынужден был подчиниться, хотя ему, как писал он в ответ, «трудно было понять, что значит «цель была достигнута». В надежде повлиять на Белый дом он обратился к Гопкинсу с просьбой отозвать его в Вашингтон для срочных консультаций и изложил ему новую, более жесткую линию в отношении СССР: «...Советское правительство ошибочно воспринимает наше расположение как

признак слабости и согласия с его политикой... Если мы не станем ей возражать, то по всем признакам Советский Союз превратится во всемирного громилу повсюду, где затрагиваются его интересы... Я предлагаю не какие-то радикальные меры, а твердое, но дружественное отношение в духе quid pro quo»(услуга за услугу. — *Авт.*). Эта формула отношений с Москвой с тех пор стала главным негласным девизом Гарримана, но пока Гопкинс отсоветовал ему ехать в Вашингтон.

Ситуация вокруг Варшавы несколько разрядилась, когда 9 сентября — уже после разгрома основных сил восставших — советская сторона дала наконец согласие на использование украинских аэродромов союзниками, а с 13 сентября начала свои полеты на Варшаву. В то же время советское командование, следуя инструкции (как докладывал Молотову Антонов)[64], «продолжало уклоняться» от обсуждения польских вопросов с союзниками. Это обсуждение взял на себя Сталин во время встречи с Гарриманом и Керром 23 сентября. Сталин впервые признал обоснованность действий восставших и подробно рассказал о проблемах оказания им военной помощи.[65] «Маршал, — докладывал Гарриман президенту, — выказал озабоченность и понимание в отношении варшавских поляков без следа прежней мстительности».

Вираж великого мистификатора озадачил Гарримана, который теперь был готов списать часть вины на Молотова или НКГБ, как неверно информировавших Верховного о ситуации в Варшаве и англо-американских протестах. «Для меня, — вспоминал он позднее, — ничто не могло извинить его (Сталина) вопиющего отказа в помощи в течение столь долгого времени. Но этот эпизод снова подчеркнул важность прямого доступа к Сталину по главным вопросам».[66]

Исчерпание варшавского инцидента и частичная реабилитация самого Сталина в глазах посла не меняли его новой оценки опасностей, таящихся в советской политике. В этом сказалось, видимо, и влияние Кеннана с его крайне мрачным диагнозом

ситуации. Убежденный в преобладании «имперских мечтаний» над «идеями международного сотрудничества» в умах обитателей Кремля, Кеннан считал, что с открытием второго фронта необходимость умиротворения Запада для СССР ослабла, уступив место «политике неприкрытой откровенности», столь наглядно проявившейся в период Варшавского восстания. Цель Кремля, продолжал Кеннан в своем аналитическом эссе для Гарримана и руководства госдепартамента, — установление контроля над Восточной и Центральной Европой, методы которого могут не включать в себя полную коммунизацию» этих стран, но всегда будут вести к их полному подчинению воле Москвы. В связи с варшавскими событиями Кеннан предлагал принять жесткие ответные меры, включая прекращение ленд-лиза.[67]

В своем анализе и рекомендациях Гарриман не заходил так далеко, но и у него начали возникать сомнения на счет возможности ограничения советской экспансии наподобие «доктрины Монро» «открытой сферой влияния», во что он еще недавно верил сам. Еще 18 сентября в наброске рекомендаций госдепартаменту он предлагал определить совместно с Лондоном сферу жизненных интересов Запада в Европе и затем — «твердо, но дружественно» объяснить русским, где проходит эта линия, с тем чтобы достичь взаимопонимания о том, как далеко каждый из нас может зайти».[68]

Но уже через несколько дней, отвечая на запрос Хэлла о тенденциях советской политики, Гарриман был заметно осторожнее насчет жизнеспособности такого раздела: «Меня пугает, что когда страна начинает расширять свое влияние силовыми методами за пределами своих границ под прикрытием обеспечения безопасности, трудно определить, где будет проведена черта. Если согласиться с тем, что Советский Союз имеет право проникать в соседние государства ради своей безопасности, то затем может наступить очередь следующих — соседних с ними государств». Пока, продолжал Гарриман, Москва «явно ожидает, что мы предоставим ей полную свободу действий в от-

ношениях с ее западными соседями». Вместо подобного карт-бланша Соединенным Штатам следует ясно заявлять о своем несогласии с советской политикой, а в наиболее важных случаях — использовать рычаги реального давления (как, например, помощь в послевоенном восстановлении) с тем, чтобы заставить Кремль действовать «в соответствии с нашими представлениями». «Я убежден, — заканчивал он, — что в таких случаях Сталин в конце концов пойдет на попятную, как это случилось с пересмотром его решения о помощи варшавскому восстанию».[69]

Таким образом, уже к осени 1944 г. у Гарримана складывается та общая позиция, которой он будет следовать вплоть до окончания войны — quid pro quo, стремление ограничить расширение советского влияния в сочетании с еще сохраняющейся надеждой на «приобщение» СССР к западным стандартам поведения методами кнута и пряника.

Тем не менее его личные особые отношения с Кремлем продолжали оставаться в силе. В начале октября Молотов даже известил посла о желании Советского правительства удостоить его и лорда Бивербрука высокой награды — ордена Суворова в связи с годовщиной подписания Московского протокола 1941 г. Гарриман вежливо уклонился от предложенной чести, ссылаясь на отрицательное отношение своего правительства к получению советских наград американскими должностными лицами, непосредственно ведающими осуществлением поставок в СССР. Но британское правительство разрешило Бивербруку принять награду, упорствовал нарком, и завтра об этом будет объявлено в советских газетах — «советская общественность не поймет, почему был обойден американский представитель при подписании протокола 1941 года, который сыграл не меньшую, если не большую роль в обеспечении поставок».[70] Гарриман, однако, настоял на своем.

В октябре послу вновь, как и в 1942 г., довелось сопровождать Черчилля в его переговорах со Ста-

линым. Незадолго до этого супруга британского премьера, ревностно охранявшая его репутацию, обратилась к Гарриману с деликатной просьбой — изъять у Сталина, если к нему попал карандашный рисунок приятеля Черчилля П. Мэйза с изображением премьера за игрой в карты, на котором тот, по ее словам, «выглядел непристойно и смешно». Посол, сам купивший у Мэйза несколько таких забавных рисунков и подаривший один из них Рузвельту, заверил ее, что у Сталина их нет, ибо «ни при каких обстоятельствах я бы не передал Сталину изображение премьер-министра за игрой в карты».[71] Британский премьер прибыл в Москву для торга по Балканам и Польше, и Рузвельт (с подсказки Гопкинса) решил иметь на этих переговорах своего наблюдателя, с тем чтобы быть полностью в их курсе и одновременно не связывать себе руки англо-советскими договоренностями. Черчилль со своей стороны оговорил с Рузвельтом возможность бесед со Сталиным наедине, поскольку, как он писал президенту, «зачастую именно в такой обстановке достигается наибольший прогресс».[72]

Именно в такой обстановке тет-а-тет на первой встрече Черчилля со Сталиным 9 октября и был достигнут «наибольший прогресс» — знаменитое «процентное соглашение» о разделе сфер влияния двух держав на Балканах, с помощью которого Черчилль стремился сохранить английское преобладание в Греции и влияние в Югославии в обмен на советское доминирование в Румынии, Болгарии и Венгрии. Разговор двух старых империалистов был настолько циничным, что «Форин оффис» даже многие годы спустя опубликовало лишь подретушированную его запись, тогда как советская версия была опубликована совсем недавно.[73] Не будучи приглашен на эту частную встречу, Гарриман все же смог по разговорам с Черчиллем и Иденом восстановить суть сделки «о сферах влияния», которую он немедленно довел до сведения Рузвельта.

В тот же день, 10 октября, Черчилль и Сталин сочинили Рузвельту телеграмму о ходе своих пе-

реговоров, в проекте которой на сей счет была единственная фраза о «согласовании политики в отношении Балканских стран с учетом различия наших обязательств по отношению к ним». Последняя фраза показалась Сталину чересчур прозрачным намеком на сферы влияния. Его горячо поддержал Гарриман (присутствовавший на ланче, где завязалось это обсуждение), напомнив о желании своего президента оставить все важнейшие вопросы на рассмотрение «большой тройки». «Сталин был рад услышать это и пожал мне руку за спиной премьер-министра», — докладывал Гарриман Рузвельту.[74] Еще через день Гарриман застал Черчилля в постели с посланием Сталину в развитие их «процентной сделки». Ознакомившись с его содержанием, посол предупредил премьер-министра, что Рузвельт и Хэлл наверняка отмежуются от такого документа. Черчилль внял совету дипломата и оставил послание при себе.

И все же разделить Балканы на бумаге оказалось легче, чем склонить лондонских поляков к сотрудничеству с Москвой. Приглашенный в Москву Миколайчик, несмотря на двойное давление Сталина и Черчилля, упорно отказывался от «линии Керзона» с предусматривавшейся ею потерей Польшей Львова и нефтяных запасов Восточной Галиции, а также не уступал требованиям ПКНО получить явное большинство в новом правительстве (что отражало и советскую позицию, тогда как Черчилль настаивал на паритетном представительстве «люблинских» и «лондонских» поляков).

В отдельной беседе с Черчиллем и Иденом Гарриман высказался за скорейшее решение польского вопроса в Москве, пользуясь присутствием англичан, поскольку время работало против лондонцев: «Чем дольше ситуацию на месте будут контролировать люблинские поляки, тем больше будет укореняться их покорность Москве и тем глубже будет конфликт между поляками в Польше».[75] Черчилль согласился и усилил нажим на Миколайчика: «Если вы не примете границу, вам конец, — почти кричал он на польского лиде-

ра. — Русские захватят всю страну, и ваши люди будут ликвидированы».[76]

Сталин в своей беседе с Миколайчиком действовал гораздо тоньше: умело отметая юридические доводы поляка об исконных правах на Западную Украину («юридически до прошлой мировой войны вся Польша принадлежала России»), он вместе с тем старался успокоить собеседника своим видением будущего Польши как демократического и даже «капиталистического» государства.[77] Однако Миколайчик не поддавался ни на посулы, ни на угрозы, и стороны лишь согласились на продолжение переговоров. Характерно, что в тот период Сталин еще не настраивал лояльных Москве поляков против западных союзников. Напротив, на встрече с делегацией Варшавы в ноябре он советовал новой Польше «искать созников не только на востоке, но и на западе в лице Англии, Франции и США. СССР более сильная держава, чем Польша, да и то мы ищем союзников на западе». Сталин закончил ту беседу памятным призывом к единению славянских народов против общего врага: «Когда мы вступим вместе с вами в Берлин, немцы завоют, назовут нас оккупантами. А мы скажем: «Да, мы оккупанты оккупантов!»[78]

Главным результатом советско-английских переговоров для Гарримана было то, что при поддержке Черчилля он и генерал Дин наконец получили от Сталина ответы на волновавшие американцев вопросы по вступлению СССР в войну с Японией. Сталин дал обязательство начать войну с Японией через три месяца после капитуляции Германии, объяснив, что именно столько времени потребуется для переброски по Транссибу всех необходимых для наступления грузов. Он также заявил, что «надо будет выяснить политические аспекты войны с Японией. Советский Союз должен знать, за что он будет сражаться». Согласно американской записи беседы Сталин, кроме того, подчеркнул желательность предварительной провокации со стороны Японии: «Советский народ будет сражаться еще лучше, если будет знать, что подвергся напа-

дению».[79] К удовольствию американцев Сталин подтвердил советскую готовность предоставить США аэродромы в Приморье и порт Петропавловска-Камчатского. 16 октября Сталин вручил Гарриману советскую заявку на поставки под наступление на Японию общей стоимостью около 1 млрд. долл.[80] Сталин, докладывал посол Рузвельту, «тут же разобрался в изложенной генералом Дином нашей стратегической концепции, высказав свое полное одобрение. Он подчеркнул свою решимость помочь нам в скорейшем окончании войны, сказав: «Мы должны сломать хребет Японии».[81] Вторая из сверхзадач Гарримана в Москве близилась к своему решению.

Визит Черчилля прошел в обстановке союзной солидарности. Сталин проявил к премьеру максимум внимания. Он появился вместе с ним в ложе Большого театра, где, по свидетельству оказавшейся в той же ложе Кэтлин Гарриман, их встретили шквалом аплодисментов. (Сама Кэтлин, не питавшая особого пиетета в отношении советских вождей, тем не менее «сияла как никогда», по словам очевидцев).[82] Сталин впервые в жизни пришел на обед в британское посольство, куда из всей прессы был допущен лишь один британский журналист А.Джекоб из «Лондон дэйли экспресс». Но и ему не повезло. Встретив его на пороге посольства, Сталин принял его за прислугу и протянул ему свою военную фуражку, но «воспитание Джекоба оказалось сильнее его журналистского инстинкта, — как писали потом его коллеги, — он отказался от роли гардеробщика, развернулся и отошел в сторону, упустив свой шанс попасть в историю».[83] В конце визита Сталин приехал на аэродром лично проводить почетного гостя и даже помахал ему носовым платком. Присутствовавший почти на всех переговорах двух лидеров Гарриман вновь ощущал себя участником великих событий, думая только о том, чтобы быть рядом с сильными мира сего. Спустя много лет Кеннан с обидой вспоминал, как он несколько часов ждал окончания того самого обеда в британском посольстве, затянувшегося

далеко за полночь, чтобы хотя бы представить Черчиллю и Сталину свою жену — формально «первую леди» посольства, но Гарриман был так увлечен близостью к вождям, что прошел с ними мимо, даже не заметив своего заместителя.[84]

Тщеславие посла не было секретом и для других его коллег, включая британского посла сэра Арчибальда Керра. В то самое время советская разведка в Лондоне перехватила его проницательно-иронический отзыв о Гарримане, который (как установил автор) содержался в ежегодном отчете посла о своих коллегах по московскому дипкорпусу. В успешность своей миссии, отмечал Керр, Гарриман «вкладывает всю свою душу, и далеко не безрезультатно. Но эти старания создают неизгладимое впечатление, что он всегда старается что-то из себя представить, и напоминают покойного Теодора Рузвельта, о котором говорили, что ему всегда хотелось быть младенцем на крестинах, женихом на свадьбе и покойником на похоронах. У г-на Гарримана такие же вкусы, и они иногда заводят его в положения, которые неудобно наблюдать. Так, например, он кажется всегда озабоченным важностью выглядеть важным (он всегда должен занимать место в первом ряду), и он вечно боится пропустить что-то важное и потерять шанс, который мог бы принести ему пользу».[85]

Сразу же после отъезда Черчилля Гарриман отправился в Вашингтон для отчета президенту. Он виделся с Рузвельтом пять раз, в том числе — дважды наедине за ланчем (не считая внука президента и его собаки). Они успели обсудить все основные вопросы американо-советских отношений. Гарриман подробно информировал президента о переговорах Сталина и Черчилля по Балканам, но обнаружил, что «президент неизменно выказывает очень малый интерес к восточно европейским делам, кроме тех случаев, когда они затрагивают настроения в Америке».

Польша была именно таким исключением, и Гарриман с тревогой заметил, что в стремлении развязать львовский узел у президента появились «фантастические идеи» вроде объявления Львова

открытым польским городом на территории советской Украины, проведения там плебисцита о его статусе лет через десять после окончания войны или приглашения Рузвельта на роль арбитра в решении пограничных вопросов между Польшей и СССР. Президент, отметил для себя Гарриман, «не представляет решимости русских решать жизненно важные для них вопросы на своих условиях и в своей манере. Они никогда не доверят эти вопросы арбитражу президента или кого-то еще». По крайней мере Гарриману удалось убедить президента в решимости Сталина решить проблему границ с Польшей, не дожидаясь арбитражей и плебисцитов. Президент ответил, что не будет возражать против «линии Керзона», если с ней согласятся поляки, русские и англичане, но готов замолвить слово Сталину о Львове. Предупреждения посла об опасности насаждения в Восточной Европе просоветских марионеточных режимов не произвели особого впечатления на Рузвельта, который еще в мае огорошил Гарримана признанием о том, что ему все равно, будут ли соседние с Россией страны «коммунизированы или нет».[86]

С гораздо большим пристрастием обсуждал президент с Гарриманом ситуацию на Дальнем Востоке. Он подчеркнул, что «разгром Японии без помощи России будет крайне трудным и кровопролитным делом», и уполномочил Гарримана выяснить, какую политическую цену запросит Сталин за вхождение СССР в войну. Гарриман отвечал, что не предвидит здесь особых сюрпризов — речь, скорее всего, пойдет об отмене условий Портсмутского договора 1905 г., портах и свободном транзите по китайско-маньчжурским железным дорогам. «Наибольшие трудности» с СССР, добавил посол, возникнут по политическим аспектам китайского урегулирования. Однако и здесь Рузвельт был настроен оптимистично, считая, что цели СССР и США в Китае во многом сходятся: объединение Китая, либерализация гоминдановского режима.

Президент также очень интересовался следующей встречей со Сталиным, наказав Гарриману

попытаться организовать ее в начале следующего года подальше от советских берегов.[87]

Выступая на совещании руководства госдепартамента, Гарриман нашел более благодарную аудиторию для своих рекомендаций по Восточной Европе. «Первая линия обороны» внешней политики Кремля, объяснял он, это — сотрудничество с США и Великобританией, необходимое для восстановления и развития советской экономики. «Вторая линия» — обеспечение гарантий того, чтобы «соседние с СССР государства не объединились с внешними агрессорами». Эта линия, пояснил Гарриман, может легко превратиться в «империалистическую» по насаждению в Восточной Европе политических режимов советского образца, но своевременное вмешательство США может предотвратить превращение этой пока еще не закрепившейся тенденции в устойчивый тип поведения. «Главным оружием такого вмешательства, — подчеркнул Гарриман, — должна стать угроза отказа не столько в экономической помощи, сколько в сотрудничестве по обеспечению всеобщей безопасности».[88]

На обратном пути в Москву Гарриман залетел в Лондон для продолжения переговоров с Миколайчиком, но тот сообщил ему о своей отставке из-за неспособности склонить кабинет к принятию советских условий. Уход Миколайчика еще больше осложнил решение польской проблемы, тем более что в декабре Сталин предупредил союзников о готовящемся признании Временного правительства Польши Советским Союзом, что и было сделано 5 января, несмотря на протесты Рузвельта и Черчилля. В Париже посол встретился с Эйзенхауэром, который рассказал ему, что изучает и использует «русскую стратегию» в наступлении на Кёльн и юг страны. Кэтлин была поражена «щегольским и безмятежным видом» большинства парижан: «Мне до сих пор трудно поверить, что после четырех лет под немцами население города могло сохраниться без внешних перемен».[89]

14 декабря Гарриман добился приема у Сталина, чтобы получить ответ о советских претензиях к

Японии. Усвоив кремлевские порядки, посол научился угадывать настроение «Хозяина» еще на подходе к сталинскому кабинету по выражению лица встречавших его караульных офицеров — «здесь, казалось, каждый знал, куда дует ветер».[90] Сталин принес из соседней комнаты большую карту и показал на ней, о чем идет речь: возвращение Советскому Союзу Южного Сахалина и Курил, аренда Порт-Артура и Дальнего с прилегающими к ним районами, а также КВЖД и ЮМЖД. Отвечая на вопросы посла, Сталин подтвердил согласие СССР на сохранение статус-кво в Монголии и соблюдение суверенных прав Китая в Маньчжурии. Это совпадало с прогнозами посольства, кроме пункта по Дальнему, который американцы хотели сделать опорой своей политики «открытых дверей» в Маньчжурии. Поэтому Гарриман тут же попытался оспорить этот пункт, напомнив о высказанном в Тегеране желании Рузвельта сделать этот порт открытым для всех сторон. «Этот вопрос может быть обсужден», — уклончиво ответил Сталин.[91] Незадолго до этой встречи американская сторона согласилась с советской заявкой по ленд-лизовским поставкам на Дальний Восток. Долгожданное вступление СССР в войну с Японией обретало все более реальные очертания. В Вашингтоне хорошо понимали, что хотя Москве некуда спешить, иного выхода у нее нет: «В военном отношении единственный способ ускорить вступление России в войну, — отмечало командование армии США, — это показать ей, что разгром Японии вот-вот наступит и и тогда мы сможем помешать ее устремлениям на азиатском материке... Советы не могут сесть за стол мирных переговоров с требованиями признания своих особых интересов в Восточной Азии, не приняв участия в войне с Японией».[92]

Вместе с тем начали возникать осложнения в военном сотрудничестве двух стран. Остались на бумаге планы продолжения и расширения операции «Фрэнтик». Хотя с чисто военной точки зрения она еще поддерживалась командованием советских ВВС, сохранение и тем более расширение при-

сутствия американского военного персонала на территории СССР было, по всей видимости, сочтено нецелесообразным на самом верху по политическим мотивам (русские, заключили в посольстве, считают, что «мы пытаемся к ним влезть»).[93] Свою роль сыграли и ошибки американского командования, о которых Дин откровенно писал Гарриману, — постоянные изменения в концепции операции (от челночных бомбардировок к действию только с советских баз), отсутствие четкого плана ее адаптации к зимним условиям, недостатки в подготовке личного состава.[94] В конце декабря по сходным причинам через начальника Генштаба Антонова американцам было неожиданно отказано в военных базах в Приморье.

Представители США в Союзных Контрольных Советах в Болгарии и Румынии жаловались на растущие притеснения со стороны своих советских коллег, затруднялось и передвижение представителей союзников по освобождаемой Красной Армией территории Восточной Европы. Тон советских отказов и запросов становился все категоричней. «Отношение к нашей миссии никак нельзя назвать союзническим», — резюмировал в своем докладе для Белого дома генерал Дин. «Настало время ясно показать Советскому правительству, что оно больше теряет, чем приобретает, прибегая к такой жесткой практике, — записал в наброске телеграммы в госдепартамент и сам посол. — Если мы этого не сделаем, пока еще имеем амуницию, Советы сочтут, что могут попирать нас, когда захотят».[95] Но пока Гарриман решил придержать эти тревожные сигналы до прояснения ситуации и оставил черновик у себя.

На исходе 1944 года посольство США зафиксировало и еще один тревожный симптом в советской политике — линию на свертывание культурных информационных обменов с Западом, получивших было новое развитие в начале года. Затруднились контакты с советскими партнерами, «которые вдруг заболели или уехали в командировки», застопорилось распространение западных информа-

ционных материалов. Серьезные трудности возникли даже на самом оживленном направлении — в кинообмене. Советская сторона неожиданно резко сократила заказы на американские и английские фильмы, отказалась от ранее согласованных планов создания специального кинотеатра для их просмотра и проведения кинофестиваля английских фильмов.[96]

Союзники терялись в догадках относительно причин столь резкой перемены, между тем именно весной—летом того года в ЦК ВКП(б), по словам его секретаря А.С. Щербакова, «резко повернулись к вопросам идеологии» и решили усилить отошедшую было на второй план идеологическую борьбу, в том числе — с чрезмерным распространением «влияния Запада».[97] Популярность англо-американской пропагандистской и кино продукции не на шутку беспокоила охранителей со Старой площади, получавших тревожные сигналы порой из весьма необычных источников. Так, например, кинорежиссер М.Калатозов, находившийся в Голливуде в качестве специального представителя Кинокомитета, сообщал его председателю — И.Г. Большакову с места событий: «Американская индустрия подготовила уже сотни картин к вторжению на европейский континент. Очень интересует и русский рынок. Еще в июле 1943 г. в Нью-Йорке состоялось секретное совещание большинства руководителей кинокмпаний, где бывший работник американского посольства в Москве Янг сделал свой пасквильный доклад о состоянии нашего кинематографа и обещал «хозяевам» завоевать советский рынок, если ему дадут побольше картин».[98] Большаков переправил отчет Калатозова А. Щербакову. Вскоре Агитпроп в союзе с НКИД заблокировал предложение того же Большакова о проведении ответного фестиваля английских фильмов в Москве.[99]

Кинематографическое «проникновение» с Запада было лишь частью общей проблемы поддержания идеологической дисциплины в стране. Возросшие контакты, атмосфера союзной солидарности, новое живительное ощущение равноправной при-

частности к западной цивилизации после долгих лет изоляции и комплекса неполноценности, наконец, расширение пределов официально дозволенного — все это вело к появлению новых взглядов на бывшего противника и перспективы сосуществования с ним. Главным рассадником подобного «ревизионизма» стала академическая и литературно-художественная среда. По закрытым отчетам Агитпропа, только за 1943 г. в центральных издательствах было изъято или недопущено к печати 432 книги и брошюры, в основном за «преклонение перед общественным строем, наукой и культурой капиталистических стран» (включая подготовленные в Госполитиздате научные монографии, сами названия которых уже говорили о многом: «Великобритания и США — великие демократические державы» Бокшицкого, «Великобритания — наш союзник» Лемина, «США — великая демократическая держава» Лана).[100] В том же году серьезной кадровой чистке и изъятию уже опубликованных номеров подвергся журнал «Интернациональная литература» за «идеализацию общественного строя и условий жизни в Англии и США».[101] Даже авторам чисто научно-технических статей и монографий вменялась в вину «вредная тенденция» — «смазывать различие двух систем».[102]

Прозападные, демократические настроения распространялись и в более широких общественных кругах интеллигенции, духовенства и даже крестьянства, в том числе и под влиянием уже отмеченных тенденций к «нормализации» сталинской системы в годы войны. Материалы многочисленных проверок и данных об общественных настроениях, поступавшие в ЦК ВКП(б), не оставляют сомнений в том, что ослабление идеологической дисциплины и контроля в условиях союза с западными странами превратилось в серьезную проблему для партийного руководства.[103] Среди партийно-пропагандистского актива накапливалось недовольство «запущенностью работы на различных участках идеологического фронта», усиливались жалобы на забвение того, что «война с фашизмом есть классовая борьба», на то, что прихо-

дится «слишком нянчиться с союзниками», «притушевывать классовую борьбу» и т.п.[104]

Идейная бдительность и охранительство не были монополией одной лишь номенклатуры. Для многих рядовых коммунистов союз с классовым врагом в сочетании с роспуском Коминтерна и возрождением религии расшатывал привычные ориентиры и стереотипы, порождая опасения «капитуляции перед капиталистическими странами», «отказа от мировой революции» и реставрации капиталистических порядков в СССР под давлением западных союзников.[105]

В свою очередь неортодоксальные настроения затронули и видных советских дипломатов, работавших на западном направлении. М.М.Литвинов, И.М.Майский и А.А.Громыко в своих прогнозах развития ситуации в конце войны и после нее исходили из продолжения сотрудничества «большой тройки» как основы послевоенного урегулирования.[106] Предвидя расхождения западных и советских интересов в вопросах политического устройства Восточной Европы, обращения с Германией и в Китае, они, тем не менее, считали сохранение союзнических отношений не только вполне возможным, но и желательным для защиты советских интересов. Такой подход, навеянный опытом военного сотрудничества, предполагал новый взгляд на англо-американские демократии как явных противников фашизма и партнеров по поддержанию мира. Хотя до конвергенционистских построений в официозном советском мышлении дело, как правило, не доходило, новый взгляд на «реформированный» капитализм «рузвельтовского типа» как более жизнеспособную и миролюбивую систему начинал проникать даже в авторитетные научные публикации.[107] Власти не бездействовали: собирался компромат на независимых авторов, подготавливались «оргмеры» против неортодоксальных «толстых» журналов. Но, если не считать цензурных рогаток и «проработок», до больших кампаний по завинчиванию гаек дело пока не доходило — сказывалось и воздействие межсоюзных отноше-

ний, и поглощенность властей критическими вопросами ведения войны.

В начале нового, 1945 г., неожиданное развитие получил другой проект Гарримана — о послевоенном кредите для СССР. Этому предшествовали трехмесячные переговоры в Вашингтоне и трудные межведомственные согласования в Москве. Американский проект кредитного соглашения, составленный при участии Гарримана, был представлен заместителю наркома внешней торговли Степанову еще 8 сентября 1944 г. и с небольшими оговорками был сочтен руководством НКВТ и экспертами НКИД «в целом приемлемым». Эксперты НКИД нашли, что предложенные условия «безусловно более выгодны по сравнению с условиями других кредитных соглашений, заключенных с СССР до сих пор». [108] А.И. Микоян представил Сталину и Молотову проект постановления ГКО, основанный на этих показателях. Однако на совещании у Молотова 21 сентября Председатель Госплана Н.А. Вознесенский подверг проект соглашения критике, заявив (по записи Микояна), «что предлагаемый американский кредит для нас является невыгодным». Микоян попросил Молотова истребовать у Вознесенского письменное заключение, но нарком отвел это предложение резолюцией на имя Микояна, Вознесенского, Берия и Маленкова: «Не вижу необходимости в увеличении переписки по этому делу. По-моему, не следует т. Микояну обижаться на критику...» [109]

Последовали дальнейшие согласования и разработки, в результате чего в НКИД был подготовлен проект ответа американцам, составленный в корректном, предупредительном тоне с акцентировкой на огромные проблемы СССР в послевоенном восстановлении: «В ходе нынешней войны против гитлеровской Германии и ее сателлитов Советскому Союзу, который вынес на себе исключительно большую тяжесть войны, пришлось понести большие жертвы... Советскому Союзу трудно (Молотов даже исправил «трудно» на «невозможно») в короткий срок восстановить свои-

ми средствами разрушенное хозяйство страны... Поставки по репарациям, которые крайне необходимы для дела восстановления, также не могут восполнить ущерба, нанесенного противником хозяйству Советского Союза». Запрашивался кредит в 1 млрд. долл. на размещение советских заказов в 1945 г., и еще 2 млрд. долл. — на 1946—1947 гг.[110] Соответствующий проект Постановления ГКО «О кредитном соглашении с США» был утвержден Политбюро 5 декабря 1944 г.[111] Дальнейшее прохождение этого документа в архивах пока не прослеживается, но Микоян в своих мемуарах пишет о новом вмешательстве Вознесенского, поддержанном Сталиным.[112]

Так или иначе, через месяц этот документ превратился уже в шестимиллиардный запрос, составленный к тому же не в виде просьбы, а в форме одолжения американцам: «Ввиду неоднократных заявлений деятелей США о желательности получения больших советских заказов на переходное и послевоенное время правительство СССР признает возможным дать заказы на основе долгосрочных кредитов на сумму до 6 миллиардов американских долларов». Такой преамбулой открывалась Памятная записка Советского правительства, врученная Гарриману Молотовым 3 января. Далее следовали предложения по конкретным условиям предоставления кредита, заметно отличавшиеся от достигнутых ранее договоренностей (так, процентная ставка снижалась с $2^3/_8$ % до $2^1/_4$ %, а скидка на цены по контрактам военного времени устанавливалась в размере 20% вместо 5%).[113]

Тем не менее, оправившись от этого, по его словам, «безоговорочного» запроса Молотова, Гарриман рекомендовал госдепартаменту всерьез рассмотреть сделанное предложение, «целиком абстрагируясь от его необычного характера и неразумности его условий». Гарриман по-прежнему не подвергал сомнению огромную заинтересованность СССР в получении кредита (которую, видимо, и был призван скрыть самоуверенный тон памятной записки) и предлагал увязать его с «об-

щим поведением их (русских. — *Авт.*) в международных делах».[114] Соглашаясь с такой увязкой, руководство госдепартамента решило приберечь этот инструмент на будущее: «В тактическом плане было бы вредно давать такой большой кредит в настоящее время и тем самым утратить, по-видимому, наш единственный конкретный рычаг в урегулировании многих политических и экономических проблем, которые возникнут между нашими странами».[115] Рузвельт вопреки напоминаниям Гарримана и прогнозам советских дипломатов[116] также решил не поднимать вопроса о кредите на предстоящей конференции в Ялте. «Очень важно выждать и не давать им финансовых обещаний, пока мы не получим того, что хотим», — объяснил он министру финансов Г. Моргентау, ратовавшему за предоставление Советскому Союзу 10 миллиардного кредита на льготных условиях и выступавшему против его политического использования.[117]

В ходе подготовки к Ялтинской конференции на долю Гарримана, как это обычно бывает с послами, выпало немало организационных и технических вопросов — от согласования повестки дня до закупки (по заказу Рузвельта) «прекрасного русского шампанского» и устройства специальных мостков для инвалидной коляски президента у самолета и всех основных помещений конференции.[118] Для американских участников встречи в посольстве были разработаны рекомендации о поведении на советской территории, состоявшие в основном из запретов: не предлагать охранникам сигарет, конфет и т.п., поскольку принятие подарков караульными «жестоко карается советским военным уставом», «не растаскивать обстановку жилых комнат и столовых помещений на сувениры. Снабжение в России очень скудное, и потому типичное для американцев коллекционирование сувениров оставит у наших хозяев очень неблагоприятное впечатление».[119]

Советские власти, со своей стороны, также постарались предусмотреть все детали размещения многочисленной свиты лидеров союзников

(450 членов экипажей и обслуживающего персонала, прилетевших на 25 самолетах). Несмотря на скудность снабжения, рацион для гостей был составлен по нормам Наркомата ВМФ «с разрешением перерасхода на 20% и с выдачей водки, вин и фруктов по заявкам», как говорилось в специальном постановлении правительства.[120]

В конце января для выяснения советских «домашних заготовок» к Ялте Гарриман обратился к И.Майскому, отвечавшему за подготовку репарационной программы СССР. Гарриман, докладывал Майский Молотову, «особенно интересовался» общей суммой репараций и количеством германских рабочих, планируемых к вывозу в СССР. Замнаркома «уклонился» от названия точных цифр, но «дал понять Гарриману, что речь идет о миллионах людей. Это его не удивило и не вызвало никакой отрицательной реакции, — с удовлетворением констатировал Майский. — Наоборот, он высказал мысль, что использование германского труда в СССР может в сильной степени способствовать смягчению безработицы в послевоенной Германии». Гарриман поддержал и советские планы ограничения тяжелой промышленности Германии чисто внутренними нуждами: Германия, сказал он, сможет удовлетворить свои потребности в экспорте за счет сельского хозяйства и легкой индустрии. «Далее Гарриман задал вопрос: а что делать с рабочими, которые освободятся в результате сокращения тяжелой индустрии?» Но не успел Майский справиться с возникшим затруднением, как «тут же он (Гарриман) сам перебил себя и с явным облегчением сказал: «Ну да, конечно, вы возьмете на первые годы большую часть германских безработных к себе, в Советский Союз, а в дальнейшем все постепенно устроится». «В заключение, — подвел итог Майский, — Гарриман заметил, что разрешение репарационной проблемы в той постановке, какую мы даем, кажется ему менее трудным, чем он думал раньше».[121]

Также в порядке подготовки к Ялте у Гарримана состоялся любопытный разговор с представителем

советской разведки П.Судоплатовым, который занимался вопросами безопасности и слежки за западными союзниками во время конференции. Разведчик пригласил Гарримана в ресторан «Арагви» и, потерпев неудачу в выуживании из него полезной информации, решил припугнуть собеседника намеком на якобы имевшиеся «у органов» сведения, компрометирующие дочь посла Кэтлин. На самом деле такого рода материалов на Лубянке не было (как признавали потом сотрудники контрразведки, «работавшие по посольству США», хотя ее не раз знакомили с красивыми молодыми «летчиками» и «моряками».[122] Сигнал Судоплатова скорее всего был адресован самой Кэтлин — «проницательной и общительной» женщине, по воспоминаниям бывших чекистов, которая немало досаждала советской контрразведке своим вращением в высших руководящих кругах, где она, как считалось, имела доступ к очень ценной информации.[123] Гарриман сделал вид, что не понял, о чем речь, и вскоре отправился в Ялту в сопровождении той же Кэтлин.

Протоколы Ялтинской конференции не сохранили следов активного участия Гарримана в дебатах «большой тройки». Однако он сыграл важную закулисную роль в подготовке соглашения о вступлении СССР в войну против Японии, где он выступал главным доверенным лицом Рузвельта. 8 февраля на встрече с Рузвельтом Сталин распросил его о реакции на советскую программу-максимум по Дальнему Востоку, уже известную американцам по декабрьским донесениям Гарримана. Рузвельт в целом поддержал советские запросы, но высказался за превращение Дальнего и Порт-Артура в свободные порты и за совместное советско-китайское управление железными дорогами в Маньчжурии (вместо их аренды Советским Союзом). Президент также подчеркнул важность получения согласия правительства Китая на эти договоренности. 10 февраля Гарриман обсудил эти коррективы на встрече с Молотовым, который проявил уступчивость по большинству американских предложений. В тот же день при участии одного

Гарримана состоялась еще одна встреча Сталин—Рузвельт, на которой лидеры пришли к согласию по данному вопросу, зафиксированному на следующий день в секретном соглашении об условиях вступления СССР в войну с Японией. Оно было настолько секретным, что в американской делегации только Гарриман, Болен и начальники КНШ знали о его существовании.

Его наиболее спорным пунктом впоследствии оказался, как известно, пункт третий о «передаче Советскому Союзу Курильских островов».[124] Поскольку эти острова в отличие от Южного Сахалина были не захвачены Японией у России, а переданы ей царским правительством по условиям Петербургского договора о торговле и навигации 1875 г., правовая обоснованность данного пункта была уязвимой и до сих пор вызывает большие споры.[125] Но даже если абстрагироваться от отношения к нему Японии, то остается вопрос о мотивах американского согласия на это требование Сталина, которое впоследствии тоже стало предметом больших споров в самих США между критиками и защитниками Рузвельта. Последние утверждали, что передача Курил явилась вполне приемлемой ценой за вступление СССР в войну с Японией и что в любом случае США вряд ли могли помешать их захвату Советским Союзом. Любопытный нюанс в эту аргументацию внес Ч. Болен, который в своих мемуарах отмечал, что президент и его советники попросту «проспали» советский заход по Курилам, поскольку не были знакомы с предысторией вопроса и поставили эти острова на одну доску с Южным Сахалином: «Если бы президент выполнил свое домашнее задание до конца , а кто-то из нас был лучше знаком с историей Дальнего Востока, Соединенные Штаты не отдали бы Курилы Сталину с такой легкостью».[126]

Прямо противоположная версия — не о наивности, а о коварстве американцев — была предложена некоторыми отечественными исследователями, считающими, что в Белом доме хорошо понимали всю взрывоопасность вопроса об островах для бу-

дущих советско-японских отношений и сознательно подвели под них мину японского ирредентизма в виде постоянно тлеющего территориального спора.[127] Эта гипотеза пока не имеет документального подтверждения и скорее основана на проекции в прошлое установок более позднего периода. То, что американские планировщики увидели в курильской сделке подобную пользу задним числом, подтверждается, в частности, докладом отдела внешнеполитического планирования госдепартамента «Политика США в отношении мирного урегулирования с Японией» (сентябрь 1947 г.). В нем говорилось, что если Южные Курилы в итоге так и останутся за СССР, «то тем лучше, ибо тогда в Японии появится причина для общественного возмущения Советским Союзом, которое в значительной степени нейтрализует воздействие советской пропаганды на Японию».[128] Однако последствия тех или иных действий, как известно, далеко не всегда объясняют их мотивы.

В Ялте Гарриман счел советские уступки по Дальнему Востоку недостаточными и высказал это президенту: ему не нравилась расплывчатая оговорка о «преимущественных интересах» СССР в Дальнем и управлении КВЖД и ЮМЖД, а также твердость обязательства о том, что все эти требования «должны быть безоговорочно удовлетворены после победы над Японией».[129] Однако Рузвельт предпочел не вступать в дальнейшие пререкания по этому вопросу. Руководство КНШ (Маршалл, Кинг, Леги) также не высказало никаких возражений, оставив Гарримана в одиночестве, но недовольство посла ялтинскими решениями по Дальнему Востоку еще даст о себе знать.

Другой проблемой, по которой Гарриман пытался оспорить в Ялте советскую позицию, была Польша. На совещании трех министров иностранных дел 9 февраля вновь разгорелись споры вокруг советского проекта заявления, предусматривавшего формирование нового польского кабинета на основе Временного правительства. Гарриман, поддержанный Стетиниусом и Иденом, настаивал на американ-

ской формулировке («на основе и других демократических элементов в Польше и за ее пределами»), но Молотов столь же упорно защищал свой проект. В итоге после дальнейших обсуждений на уровне министров и «большой тройки» была принята компромиссная формулировка о том, что «действующее ныне в Польше Временное правительство должно быть реорганизовано на более широкой демократической основе с включением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы».[130] Компромисс был скорее в пользу советской позиции, поскольку не уточнял ни количественные, ни персональные параметры намеченной «реорганизации» и позволял свести ее к минимуму. Не случайно в молотовской ориентировке для советских послов по итогам Ялты подчеркивалось, что «в основу» декларации по Польше «легли наши предложения».[131] Гарриман и в дальнейшем будет корить Рузвельта за допущенную расплывчатость, последствия которой ему вскоре придется расхлебывать в качестве члена утвержденной в Ялте союзной комиссии по формированию нового польского правительства.

Польский вопрос был лишь наиболее острой частью более широкой проблемы для советской дипломатии — сохранения свободы рук в Восточной Европе и минимизации вмешательства западных союзников в ситуацию в регионе. Еще в ходе подготовки к ялтинской конференции посол А.А.Громыко предупреждал о возможных попытках союзников создать на ней полномочный межсоюзный консультативный орган для контроля над ситуацией в Восточной Европе, поскольку «такой орган мог бы в известной степени связывать действия Советского Союза в Европе». Более подходящим вариантом он считал учреждение совещаний министров иностранных дел союзных держав, что «в меньшей степени связывало бы действия Советского Союза в Европе. Такие совещания устраивались бы, вероятно, не часто, и во всяком случае маловероятно, чтобы они устраивались чаще, чем раз в полгода. В таком случае союзники были бы менее назойливы при решении текущих политических вопросов».[132]

В Ялте «назойливые» союзники и в самом деле предложили создать международный механизм для контроля за выполнением предложенной ими «Декларации об освобожденной Европе», предусматривавшей проведение свободных выборов и создание демократических правительств на освобожденных территориях. Еще на подходе к конференции некоторые эксперты госдепартамента предлагали «разменять» советское согласие на создание такого механизма на англо-американское согласие с «границами СССР 1941 года». Опытный Ч. Болен в ответ резонно усомнился в реальности подобного обмена, поскольку «мы хорошо понимали, что Советский Союз выйдет на эти границы, и, что еще важнее, советское правительство знает, что мы не собираемся противодействовать им в этом вопросе».[133]

Действительно, реальных козырей для принуждения Советского Союза к демократическому сотрудничеству в Восточной Европе на руках у Вашингтона не было. «Следует помнить, — признавал Рузвельт в записке К. Хэллу осенью 1944 г., — что на оккупированной территории они (русские. — *Авт.*) будут делать более или менее то, что захотят».[134] Поэтому бдительному Молотову удалось выхолостить это предложение, но и в таком кастрированном виде Декларация казалась ему слишком ограничивающей свободу действий СССР. «Ничего, ничего, поработайте, — успокоил его Сталин. — Мы можем выполнять потом по-своему. Дело в соотношении сил».[135] Уступка в его глазах была невелика, коль скоро соотношение сил в Восточной Европе было действительно не в пользу Запада, а большевики никогда не делали культа из бумажных обязательств. Но именно эта сталинская подпись была расценена западной общественностью как одна из главных побед Черчилля и Рузвельта в Ялте. Ч.Болен потом вспоминал, что «так и не мог понять, почему Сталин согласился» с Декларацией. Хотя документ, по его словам, был «скорее декларацией о намерениях», «он все же налагал определенные обязательства и ограничения на союзные государства».[136]

Во время заключительного ужина в Ливадийском дворце Сталин, по свидетельству Черчилля, произнес весьма многозначительный тост за союз трех великих держав: «Союзники, — сказал генералиссимус, — не должны обманывать друг друга. Возможно, это наивно, и опытные дипломаты могут спросить — «Почему не обмануть союзника?». Но я, как наивный человек, думаю, что все же лучше не обманывать своего союзника, даже если он дурак. Возможно, наш союз потому и крепок, что мы не обманываем друг друга; а может быть — потому, что нам нелегко обмануть друг друга?»[137] Быть может, Сталин намекал, что если союзники что-то утаивают, то его все равно обмануть не удастся? Это нечто могло быть «Манхэттэнским проектом», о котором Сталин был уже хорошо информирован советской разведкой. Говорил же он позднее А. Громыко, что Рузвельт в Ялте «мог бы просто мне сказать, что ядерное оружие проходит стадию изготовления. Мы же союзники».[138]

Во время ялтинской конференции произошел один интересный эпизод, до сих пор не отмеченный в обширной литературе об операции «Аргонавты». 6 февраля в делегации США было решено сделать советскому лидеру достойный подарок «Считаем, что было бы очень своевременным преподнести Сталину на конференции от Вашего имени самолет С-54 (лучший транспортный самолет США, на котором летал и Рузвельт. — *Авт.*), оборудованный на том же или еще более элегантном уровне, что и аналогичный самолет, подаренный Черчиллю», — гласила телеграмма КНШ из Ялты на имя главкома армейских ВВС генерал Г.Арнольда. Главком, вообще-то далеко не щедрый в отношении советского союзника, тем не менее взял под козырек. «Сообщите Сталину, что С-54 выделен для его личного пользования и может быть доставлен в Москву примерно через три недели», — ответил он уже на следующий день. Арнольд даже предложил запросить Сталина о его особых пожеланиях относительно внутренней отделки салона самолета. Однако 8 февраля он неожиданно получил новое указание: «КНШ на заседании 8 февраля принял

решение не дарить Сталину С-54 в исполнении люкс».[139] Мотивы этого пересмотра, вряд ли состоявшегося без ведома Рузвельта, в американских военных архивах не прослеживаются. Возможно, что за ним не стояло никакой политики; а может быть, дар в конце концов был все-таки сочтен не «очень своевременным», или просто не хотелось приравнивать Черчилля к Сталину. Последний между тем вполне мог узнать о неподаренном самолете благодаря хорошо поставленному прослушиванию разговоров союзников.[140]

В целом же, как отмечалось в информации Молотова для советских послов по итогам ялтинской встречи, «обстановка на конференции носила дружественный характер и чувствовалось стремление прийти к соглашению по спорным вопросам. Мы оцениваем Конференцию как положительный факт, как в целом, так и в частности по польскому и югославскому вопросам, а также по вопросу о репарациях».[141] Тогда еще мало кто ожидал, что Ялта окажется высшей точкой военного союза «большой тройки».

НА ЗЕМЛЕ И В ВОЗДУХЕ

В боевом сотрудничестве советских и американских военных времен Второй мировой войны есть одна интересная и малоизвестная страница. Речь идет о судьбе американских летчиков, интернированных в СССР в 1942—1945 гг. Долгие годы она оставалась засекреченной с обеих сторон, и лишь сравнительно недавно историкам стали доступны документы американских и российских архивов, позволяющие восстановить картину тех событий.

Армейская и военно-морская авиация США, как известно, уже с 1942 г. вела активные боевые действия против Японии. Удары с воздуха наносились и по японским объектам в Маньчжурии, на Южном Сахалине и Курильских островах неподалеку от советской границы. Американцы действо-

вали в основном со своих баз на Алеутских островах, находящихся на удалении около 1300 километров от Петропавловска-Камчатского, а также с материкового Китая и авианосца «Хорнет». Из-за полученных боевых повреждений, метеоусловий и чисто технических причин не все машины были в состоянии вернуться на свои базы и часть их совершала вынужденную посадку на прилегающей территории Советского Приморья. По договоренности с военным командованием США советская сторона выделила для этого аэродромы в районе Петропавловска и Владивостока. Американские авиаторы даже брали с собой дополнительный набор одежды и сигарет (прозванный ими «петрокомплектом») на случай посадки в Приморье. Первые американские пилоты оказались там после знаменитого «рейда Дулиттла» — дерзкого налета на Токио в марте 1942 г., призванного дать хотя бы символический ответ на Перл-Харбор. О посадке этого самолета на советской территории послу Стэндли сообщил сам Сталин, добавив, что «американские летчики находятся в хороших условиях, на свободе».[1]

Эта внештатная ситуация создавала немало проблем для обеих сторон. Советские власти, связанные пактом о нейтралитете с Японией («договор Молотов — Мацуоко» 1941г.), были обязаны интернировать американские экипажи и самолеты на все время войны, так что «свобода» их содержания была весьма относительной. Хотя в Кремле уже с 1942 г. считали большое военное нападение со стороны Японии маловероятным, там тщательно следили за тем, чтобы не давать Японии лишних поводов для ответных провокаций. Сразу же после посадки в СССР участников «рейда Дулиттла» Молотов передал послу Стэндли просьбу Советского правительства принять меры к предотвращению подобных случаев в будущем.[2]

Американское же руководство, и особенно военное командование, ожидало, что советская сторона будет обращаться с интернированными летчиками как с союзниками и сделает все возможное для ско-

рейшего возвращения этого ценного ресурса на родину. Даже чисто формальные, предпринимаемые для успокоения японцев протесты советской стороны в связи с нарушениями воздушного пространства СССР на Дальнем Востоке американской авиацией вызывали раздражение в Пентагоне. «Советы должны встречать этих летчиков с распростертыми объятиями, а не поднимать вопрос о нарушении своего нейтралитета, — без обиняков инструктировал начальник штаба сухопутных войск генерал Дж.Маршалл главу военной миссии США в Москве генерала Дж.Дина. — По делу им должно оказываться максимальное гостеприимство, а их самолеты подлежат обслуживанию и возвращению на свои базы».[3] Военное министерство явно не стремилось войти в щекотливое положение своих советских партнеров. Да и президент Ф.Рузвельт весьма своеобразно реагировал на сообщение о японских протестах в связи с посадкой в СССР участников «рейда Дулиттла»: «Он, Рузвельт, — говорится в советской записи его беседы с наркомом иностранных дел В.М.Молотовым в мае 1942 г., — сильно смеялся, когда Литвинов информировал его о посадке американского бомбардировщика на территории СССР, сообщив ему, что японское посольство заявило Советскому правительству протест против посадки американского самолета вблизи Владивостока».[4]

Госдепартамент был деликатнее военных, но и американские послы в Москве периодически поднимали перед советскими властями вопрос о возвращении хотя бы летчиков, которых размещали в специальном лагере под Ташкентом, подальше от глаз японских агентов в Приморье. Высказывались и просьбы разрешить летчикам поездки в Москву или Куйбышев, «чтобы они могли немного проветриться».[5]

Вынужденные посадки создавали и некоторые технические трудности с советской стороной. Служебные инструкции ВВС США на сей счет предписывали экипажам уничтожать наиболее ценные приборы (прежде всего — бомбардировочные прицелы, фото- и радиоаппаратуру) и не разглашать

при допросах секретную информацию о машинах и своих боевых заданиях. Поначалу американские службы безопасности явно перегибали палку в этих вопросах, в результате чего экипажи уничтожали приборы, поставляемые в СССР по ленд-лизу, уверяли на допросах, что занимались учебными полетами и объясняли пулевые пробоины в корпусе «меткостью ваших зенитчиков». Реагируя на недовольство советских военных, Дин рекомендовал Комитету начальников штабов пересмотреть существующие инструкции: «Сообщения из Владивостока (от генконсула США .— *Авт.*) и беседы с интернированными пилотами отмечают советское недовольство выводом из строя при вынужденной посадке секретного бортового оборудования, которое поставляется в СССР по ленд-лизу. Если этого еще не сделано, предлагаю снабдить командный состав информацией обо всем передаваемом оборудовании, которое не подлежит уничтожению при вынужденной посадке на советской территории». В другой телеграмме Дин рекомендовал отказаться при допросах от избитой версии «учебных полетов», тем более что она «ничего не меняет в условиях интернирования и лишь раздражает русских при виде явно боевых повреждений».[6] Глава военной миссии также предостерегал против попыток побега при интернировании и советовал не уничтожать контрольных фотографий ,сделанных экипажем во время бомбежек, поскольку «русские в конце концов возвращают их нам».[7]

Принятые в Вашингтоне меры устранили эти ненужные раздражители, поскольку большинство типов сажаемых самолетов — Б-17 («Летающая крепость»), Б-24 («Либерейтер») и Б-25 («Бостон») действительно поставлялись в СССР в рамках ленд-лиза и их передача советской стороне не представляла для американцев серьезных проблем. Другое дело — новейший тяжелый дальний бомбардировщик Б-29 («Суперкрепость»), который США так и не включили в ленд-лизовский список, несмотря на многократные и настойчивые запросы советских властей. Лучший в своем клас-

се, самолет развивал скорость до 600 км в час и имел радиус действия 6100 км при бомбовой нагрузке до пяти тонн. Но желанный и запретный плод сам свалился «в распростертые объятия» советских военных. 29 июля 1944 г. первый бомбардировщик Б-29 (серийный номер 42-6256) благополучно совершил вынужденную посадку в местечке Угольная в 30 км от Владивостока. Передавая это срочное сообщение от консула США во Владивостоке, Дин телеграфировал в Пентагон: «Документы, радиооборудование и бомбовый прицел были выведены экипажем из строя перед посадкой». Экипаж, доставленный в специальную часть НКВД под Владивостоком, «подвергся интенсивному допросу в течение трех дней, но не разгласил больше информации, чем предусмотрено инструкцией... Русские собираются полетать».[8]

Американские представители всполошились сразу на нескольких уровнях: посол Гарриман на встрече с А.Вышинским, советник Дж.Кеннан в беседе с зав. американским отделом НКИД С.Царапкиным 5 августа настаивали на отправке к месту посадки американской команды для «обеспечения сохранности самолета, представляющего для нас большую ценность» (как подчеркивал Гарриман)[9] и призывали воздержаться от попыток его использования. «Кеннан сказал, — записал в своем отчете Царапкин, — что де наши летчики в этом деле не смогут справиться ввиду особой конструкции машины. Я сказал Кеннану, что мне непонятно, почему возник этот вопрос относительно самолета, ведь посольству известно, что как экипаж самолета, так и сам самолет интернированы. Кеннан ответил, что он понимает, что они интернированы, и что это сделано правильно, и что мы можем делать с самолетом все, что хотим, но американский консул из Владивостока сообщил посольству, что он слышал там разговор о намерении летчиков полетать на этой машине».[10] Американцев и близко не подпустили к интернированному бомбардировщику, а его команду переправили в лагерь под Ташкентом. Экипаж Б-29 в полном порядке, сообщал Вышинс-

кий Гарриману, «а что касается самолета, то в соответствии с установившейся в таких случаях практикой он находится у соответствующих советских органов».[11]

Скрытые опасения американцев полностью оправдались: советские летчики под надзором «соответствующих органов» быстро справились с новой машиной. Уже в октябре консул США во Владивостоке сообщал в Вашингтон: «Советские летчики испытали самолет в воздухе и с энтузиазмом отзываются о его работе, но проклинают нашу команду за порчу бомбового прицела и других приборов».[12] Заслуженный летчик-испытатель С.Б.Рейдель, перегнавший в Москву первую «суперкрепость», был удостоен за это ордена Ленина.[13] По специальному распоряжению Сталина началась кропотливая работа по созданию его советского варианта, которым стал известный впоследствии бомбардировщик ТУ-4. Несмотря на плотную завесу секретности вокруг этой работы, судьба интернированных Б-29 вскоре стала известной американской разведке. В ноябре 1945 г. помощник военно-морского атташе США во Владивостоке со ссылкой на разговоры среди советских летчиков сообщал своему начальству о том, что первые опытные модели на базе «суперкрепости» уже испытаны и готовы к полетам (в действительности первые летные испытания Ту-4 прошли летом 1947 г.).[14]

В августе того же года еще один Б-29 попал в аварийную ситуацию под Хабаровском. На сей раз экипаж не дотянул до земли и выбросился с парашютами в гуще дальневосточной тайги. Троих летчиков, как сообщал в Вашингтон Дин, лесорубы нашли только через три недели, которые они продержались благодаря охоте и лесной пище. «Еще четверо были обнаружены советским поисковым самолетом, который сбросил им продовольствие, одежду, медикаменты и ориентиры о том, как выбраться из леса». И это был далеко не единичный случай. Советские военные не раз спасали потерпевших аварию американских летчиков на суше и воде, откликаясь на просьбы военного командова-

ния США, как подтверждал Дин в своих отчетах для генерала Маршалла. Советские летчики-истребители часто вылетали навстречу американским пилотам и помогали им садиться на свои аэродромы. 12 сентября 1943 г., например, на Камчатке сели сразу семь бомбардировщиков США с экипажами в количестве 51 человек, участвовавших в массированном налете на японские объекты на Курилах (11-я авиагруппа армейской авиации США потеряла тогда почти половину своих машин).

Посол Японии Н.Сато на экстренной встрече с Молотовым 20 сентября выразил «большое беспокойство» своего правительства в связи с происшедшим и запросил подтверждения этой информации. Оно было дано через четыре дня одновременно с очередным протестом, заявленным временному поверенному в делах США в СССР. В устном заявлении Лозовского японскому послу говорилось, что «в соответствии с общепринятыми международными нормами все вышеуказанные самолеты вместе с их командами были интернированы местными военными властями». Еще через несколько дней — видимо, для того, чтобы успокоить японскую сторону, послу в качестве жеста вежливости была передана дополнительная информация о типах интернированных самолетов.[15]

Самой болезненной частью проблемы для американской стороны оставалась судьба интернированных экипажей. К концу 1943 г. в деревне Вревской, под Ташкентом, где размещался лагерь для интернированных американцев, накопилось свыше 60 человек летного состава. Посольство и военная миссия США в Москве имели весьма смутное представление об условиях их содержания, но к декабрю по горячим следам Тегеранской конференции «большой тройки» Гарриману наконец удалось добиться у Молотова разрешения на поездку туда военного врача миссии майора Дж.Уолдрэна. Мы не хотим, полушутя добавил посол, слишком долго злоупотреблять гостеприимством советских властей в отношении наших авиаторов. Молотов рассмеялся и заверил, что проблема эта «скоро

прояснится», а тем временем советское правительство сделает все возможное для улучшения условий их содержания. На замечание Гарримана о том, что эта проблема «близка сердцу наших военных», Молотов прочувствованно ответил — «не только ваших».[16] Судя по всему, выдача разрешения оттягивалась для наведения в лагере большего порядка. Длинный список прошлых претензий со стороны американского персонала, полученный военврачом по прибытии, оставлял весьма тягостное впечатление: следы навоза в хлебе, волосы в супе, грубое обращение охраны («как с военнопленными, а не союзниками»), обыски и пропажа личных вещей, принуждение к тяжелым работам вместо себя и т.п.[17]

Уолдрен прибыл во Вревскую после смены начальника лагеря и нашел там уже другую картину (его неотступно сопровождал капитан В. Огородник из отдела внешних сношений НКО, «случайно» оказавшийся в лагере для проведения своей проверки). Лагерь размещен в просторном школьном здании с бильярдом. Санитарные условия далеко не отвечают американским стандартам (туалет во дворе, отсутствие водопровода, раз в неделю баня — «идеальное место для распространения кожных заболеваний»), но «вполне удовлетворительны по русским нормам». Пища вкусная и хорошо приготовленная, хотя и в недостаточном количестве, мало овощей и фруктов. В целом, отметил майор в своем отчете, «наши военнослужащие живут гораздо лучше, чем Красная Армия и советские граждане». Состояние здоровья интернированных в целом неплохое (не считая частой дизентерии), дисциплинарных нарушений немного — две попытки к бегству, незаконный обмен долларов на рубли, редкие случаи пьянства («ввиду практической невозможности купить алкоголь», честно признал майор).

Главной психологической проблемой была полная изоляция, неопределенность и томительное безделье, особенно тяжкие для молодых боевых летчиков, большей части которых едва перевалило

за двадцать лет. Помогали импровизированные спортивные и учебные занятия, редкие выезды в Ташкент и его окрестности. Режим в лагере установился сравнительно щадящий: охрана смотрела сквозь пальцы на самовольные отлучки в соседнюю деревню и другие мелкие нарушения распорядка, начальники лагеря, назначаемые из числа комиссованных боевых офицеров, сочувственно относились к своим заокеанским пленникам, немногочисленный обслуживающий персонал исправно выполнял свои обязанности. Особую симпатию и доверие американцев заслужили переводчицы — Нонна Солодовинова и сменившая ее в начале 1945 г. Тамара Гуськова, которые не только прекрасно владели английским, но и много нянчились со своими подопечными. Один из них — Лео Лодал — по возвращении домой даже назвал свою дочь Тамарой.[18] Интернированным разрешалась редкая переписка с домашними через диппочту, но на условиях строгой секретности относительно своего местопребывания. Советские власти оперативно информировали военную миссию США в Москве о «вновь прибывших» интернированных, а американское военное министерство доверительно оповещало их семьи о том, что они живы-здоровы и находятся в некой «нейтральной стране».[19]

Тем не менее, несмотря на военную цензуру, обрывки информации о секретном лагере, в том числе и из писем интернированных и их сослуживцев, просачивались в американскую печать, давая пищу слухам и иностранным разведкам. В январе 1944 г. глава армейской разведки США генерал Стронг запросил Дина о реакции в Москве на эти утечки и их возможных последствиях для переговоров об освобождении интернированных. «Любая огласка в США относительно интернированных в России затруднит их освобождение, — однозначно отвечал Дин. — Мы убеждены, что когда русские сочтут, что присутствие летчиков в России почти забыто, они организуют их освобождение. Естественно, что любая огласка оттягивает этот момент».[20]

Резюме отчета Уолдрена было срочно передано шифротелеграммой в Вашингтон, причем Дин акцентировал внимание на том, что «по отзывам наших ребят, русские власти обращаются с ними исключительно хорошо».[21]

Получив отчет военврача, Гарриман на очередной встрече с Молотовым 31 декабря заручился его согласием на эвакуацию одного серьезно больного летчика на родину и намеком на освобождение остальных. «Как мы ни старались», пошутил нарком, но так и не смогли обнаружить в СССР пятерых членов экипажа, подобранных после «рейда Дулиттла» (они были тайно переправлены на родину в мае 1943 г. — через год с небольшим после интернирования. — *Авт.*). Вряд ли, добавил он, остальным авиаторам придется «загорать» под Ташкентом целый год. «Я не сомневаюсь в том, что советское правительство позволит нашему персоналу бежать, — докладывал Гарриман о результатах беседы президенту Рузвельту. — Но они будут делать это по-своему... для них крайне важна секретность».[22] Это и неудивительно. «Освобождение интернированных военнослужащих США, участвовавших в войне с Японией, — писал впоследствии Дин, — было серьезным предприятием для советского правительства и всех союзников, поскольку это могло стать поводом к преждевременному военному столкновению Японии с Советским Союзом... Так или иначе, маршал Сталин решил пойти на риск».[23]

Действительно, решение о подобной операции вряд ли могло быть принято без участия «Верховного», которому в «особых папках» докладывалось о всех случаях посадки американцев в Приморье.[24] Разработать и провести эту операцию было поручено НКВД. Дин вспоминает, как вскоре после той беседы Гарримана с Молотовым к нему неожиданно поздним вечером явились генерал НКВД П.Иванов и начальник отдела внешних сношений НКО генерал Евстигнеев. Попросив поплотнее закрыть все двери, Иванов поведал американцу строго секретный план «побега» интернированных летчиков. «Суть плана состояла в том, что вначале он и я по-

сылаем своих офицеров связи в ташкентский лагерь. По прибытии туда мой офицер должен был вручить приказ старшему по лагерю майору Салтеру о том, что вся группа с одобрения советской стороны переводится на Кавказ для перегонки американских самолетов, доставляемых в Россию через Персидский залив. Затем группа садится на поезд, обслуживаемый исключительно персоналом НКВД. При подъезде к Ашхабаду — ближайшему к границе с Ираном железнодорожному пункту — поезд «ломается». Команда поезда выходит с инструментом, обстукивает колеса и заводит длинное обсуждение, чтобы придать правдоподобие «поломке». В этот момент мой офицер сообщает интернированным, что он и офицер Иванова отправляются в Ашхабад за грузовиками для их перевозки на ночлег в этот город. В ожидании их возвращения интернируемые будут заперты в своих вагонах. В положенное время к поезду подъезжают грузовики с водителями из НКВД. Затем мой офицер сообщает американцам о том, что ему удалось подкупить водителей, которые готовы перебросить нас на границу с Ираном, что в милях десяти к югу. Интернированные должны будут затаиться под брезентом грузовиков, когда на границе их будут досматривать пограничники — тоже люди из НКВД. В конце поездки все военнослужащие должны поклясться не разглашать происшедшее до самого конца войны».

Взбудораженный Дин тут же послал экстренную, особой важности депешу («только для прочтения генералу Маршаллу») с сообщением о советском плане. «Советские власти, — говорилось в ее заключении, — высказали просьбу, с которой я согласился, о том, чтобы этот личный состав не перебрасывался сразу в США, а провел бы 1—2 месяца на Ближнем Востоке или где-то еще до своего возвращения в Соединенные Штаты».[25] В Москве явно стремились поглубже спрятать операцию по переброске американских летчиков.

Получив «добро» из Вашингтона, Дин связался со штабом генерала Коннэлли — командующего

американским контингентом в Иране — и согласовал с ним заключительную фазу предстоящего «побега». Коннэлли должен был обеспечить размещение и скрытую переброску интернированного персонала в распоряжение генерала Икера, командующего союзной авиацией в Северной Африке. «Ввиду возможности просачивания информации через агентов «оси» в Тегеране, — писал Дин Коннэлли, — рекомендуется отправить их из Тегерана как можно скорее».[26]

«Побег» 61 американца прошел в полном соответствии с планом. 15 февраля интернированных авиаторов, снабженных обильным пайком, поездом доставили в район Ашхабада. «Единственным импровизированным довеском к плану, — вспоминал Дин, — был банкет из икры, рыбы, коньяка и водки, устроенный по настоянию военного коменданта Ашхабада перед передачей грузовиков моему представителю подполковнику Р. Маккейбу и его русскому напарнику — полковнику Мяхотнику».[27]

Сам Маккейб в своем отчете писал: «В начале наши ребята ничего не подозревали... Все они дали подписки сохранять эту тайну до конца войны, которые затем были сожжены без их ведома... Организация операции со стороны НКВД, Красной Армии и штаба ген. Коннэлли была превосходной. Тем не менее у команды, возможно, зародились сомнения в том, что побег был настоящим, а не подстроенным советской стороной».[28] После пересечения советско-иранской границы летчики двухдневным автопробегом окольными путями по горам и пустыням Ирана были тайно переброшены в Тегеран и размещены в специальной казарме, где штаб Коннэлли потчевал их омлетами с ветчиной, бифштексами, мороженым и другими домашними деликатесами, о которых в лагере они могли только мечтать. После этого их самолетом доставили в Каир, а затем — через Тунис и Италию на родину, куда они добрались лишь в апреле (американцы полностью выполнили пожелания советской стороны по срокам переправки). После дебрифинга и отдыха они были направлены в летные части, но без права ко-

мандирования за пределы американского континента. Летчики вновь дали подписку о неразглашении (на сей раз тщательно сохраненную), причем секретность интернирования была настолько строгой, что даже в их личных делах на период пребывания в СССР они числились как «без вести пропавшие».[29]

Авиаторы, вспоминал Дин, «свято хранили свою тайну, опасаясь, что утечка подорвет шансы на «побег» для тех, кому еще придется приземляться в России».[30] Заговорили они лишь в 1980-х годах, когда в США вышла книга «Домой из Сибири», составленная из воспоминаний уцелевших ветеранов лагеря во Вревской. И только в 1988 г. Конгресс США специальным актом восстановил интернированных в статусе «военнопленных», что позволило им пользоваться соответствующими льготами по линии Администрации по делам ветеранов.

Компетентность и великодушие советских властей, поставивших союзнический долг выше соблюдения нейтралитета с Японией, были по достоинству оценены в Вашингтоне. Президент Рузвельт хотел было направить личную благодарность Сталину с приложением аналогичного послания от командующего армейской авиацией генерала Г. Арнольда, но вовремя получил предостережение от своих помощников. «Госдепартамент, — писал ему адмирал У. Леги, — не советует направлять послание Арнольда Сталину ввиду настоятельной просьбы советской стороны о том, чтобы не было никакого письменного обмена или упоминания в связи с «побегом» этих интернированных».[31]

Благодарность президента и военных была передана в устной форме Гарриманом на встрече со Сталиным 2 февраля. Из советской записи этой беседы, сделанной В.Бережковым: «Гарриман говорит, что он хотел бы поблагодарить маршала Сталина за то гостеприимство, которое было оказано непрошеным американским гостям. Он, Гарриман, имеет в виду американских летчиков. Генералы Маршалл и Арнольд особенно признательны за хо-

рошее обращение с этими летчиками. Тов. Сталин спрашивает, думал ли Гарриман, что мы будем обращаться с этими летчиками враждебно?

Гарриман говорит, что он, конечно, ожидал, что с летчиками будут обращаться хорошо, но он все же хотел за это поблагодарить маршала Сталина». На этой же встрече Сталин подтвердил, что время для провоцирования японцев на Дальнем Востоке пока не настало.[32]

Через несколько месяцев был организован еще один «побег», ставший точной копией первого. Вдохновленные удачным опытом, американцы ожидали его дальнейшего развития по мере пополнения лагеря новыми интернированными соотечественниками. Всего с 1942 по 1945 г. в Приморье совершили вынужденную посадку 37 американских самолетов с 291 членом экипажа.

Между тем в американской прессе продолжались утечки о таинственных «возвращенцах из Сибири». В конце апреля 1944 г. Дин с тревогой сообщил в военное министерство о своем разговоре с московским корреспондентом агентства «Юнайтед пресс» Г.Шапиро, который получил задание редакции в развитие сообщения агентства из Великобритании о неком сержанте Лабане — участнике налета на Токио, интернированном в СССР и позднее переброшенном на авиабазу США на Британских островах. Дину удалось пресечь это журналистское расследование на корню: «Я сказал этому корреспонденту, что все, касающееся нашего персонала, интернированного в России, является делом чрезвычайной секретности и что любые публикации на эту тему будут иметь пагубные последствия для переговоров об освобождении этого персонала в будущем». Через два дня представитель советской военной разведки вручил Дину сообщение корреспондента ТАСС из Нью-Йорка, в котором подтверждался факт сообщения «Юнайтед пресс» о сержанте Лабане. Дин в который раз предупредил свое руководство, что в случае новых огласок «мы можем ожидать, что интернированный личный состав так и останется в России до

конца войны».[33] Но военная цензура была не всесильна, а журналисты не все так сознательны как Шапиро.

В начале октября Гарриман на встрече с Молотовым вновь поднял вопрос о «незваных гостях», заметив полушутя, что «наши ребята в Ташкенте для вас большая обуза, и, может быть, им пора переехать». В том же конспиративном тоне нарком «дал понять, что наших ребят скоро перевезут, но без спешки, дав им отдохнуть, а «Ташкент для этого идеальное место».[34]

Через неделю после этой беседы Дин получил сообщение от своих советских визави о начале формирования группы для следующего «побега», в которую, помимо 68 авиаторов из ташкентского лагеря, должны войти еще 28 интернированных из других мест Камчатки и Сибири, а также 11 американских военнослужащих, находившихся на излечении в сибирских госпиталях.[35] Операция была запланирована на начало декабря.

Между тем обстановка в лагере для интернированных продолжала улучшаться. Очередная инспекция военной миссии США, прибывшая в лагерь с грузом сигарет, медикаментов, кинофильмов и «другого развлекательного снаряжения» (как было сказано в отчете), была приятно удивлена белыми скатертями в столовой, обильным и вкусным питанием, хорошей физической формой и бодрым настроением авиаторов,[36] которому, видимо, способствовало и предвкушение скорого освобождения.

4 декабря, когда американцев уже везли к иранской границе, Дин получил еще один тревожный сигнал от Генри Шапиро. Журналист показал ему телеграммы от своего агентства, в которых цитировались статьи известных американских журналистов Дрю Пирсона («Вашингтон пост») и Генри Кассиди («Ассошиэйтэд пресс») об интернировании и возвращении участников «рейда Дулиттла» из России. Пирсон сообщал невесть откуда взятые подробности об обстоятельствах приземления американцев в приграничной полосе: они якобы оказались между советскими и японскими танкистами,

доказывавшими, что самолет находится на их территории. После жаркой перепалки японцы ретировались, выстрелив для острастки в воздух.[37] Кассиди дал более достоверную информацию, сравнительно точно описав маршрут «побега» по советской и иранской территории.[38] Обе публикации не оставляли сомнений в нарушении советской стороной пакта о нейтралитете с японцами.

В Токио, естественно, не пропустили этих публикаций мимо ушей, и 13 декабря посол Сато опять запросил соответствующих разъяснений в НКИД. Принявший его Лозовский возмутился инсинуациями американской прессы о том, что «Советское правительство и впрямь имеет какое-то отношение к бегству американских летчиков», пообещал проверить эту информацию, но посоветовал послу «не придавать особого значения подобным сообщениям, политическая цель которых должна быть ему так же ясна, как она ясна нам».[39] Обещанная проверка по понятным причинам затянулась.

Редакция «Юнайтед Пресс» дала задание Шапиро осветить реакцию на это сообщение советских властей и американских представителей в Москве. Реакция последних была предсказуемой: Дин строго-настрого наказал Шапиро ничего не публиковать на эту тему. Он срочно сообщил об этом Маршаллу в депеше с грифом «только для прочтения», выразив в конце надежду на то, что «советским властям не придет в голову вернуть группу «побега» назад в Ташкент».[40]

Надежды Дина не оправдались — именно эта мысль пришла в голову советскому руководству под свежим впечатлением от вашингтонских утечек и японских запросов. Обстоятельства принятия этого решения не отложились в доступных нам документах, хотя мало сомнений в том, что оно было принято на самом высоком уровне. Сталин, видимо, решил подстраховаться, а заодно и проучить не в меру болтливых американцев. Ведь недавно, во время беседы с Гарриманом 17 октября, он лично предупреждал их об опасности утечек военных секретов к японцам, особенно — через «сек-

ретарш и стенографисток, которым не терпится поделиться новостями со своими друзьями».[41] Дальнейшее развитие событий изложено в донесении ответственного за операцию начальника 2-го управления НКГБ Федотова (известного американцам под именем «генерала Иванова»), направленном Молотову 16 декабря: «Распоряжение об отмене операции застало летчиков на приграничной станции Аннау, в двадцати километрах от Ашхабада, где они должны были быть погружены на автомашины и переправлены через границу... Так как к тому времени представитель американской военной миссии подполковник Маккейб посвятил часть офицеров в «свой» план нелегальной переброски летчиков в Иран, известие о том, что они должны вернуться в лагерь, вызвало среди них бурную реакцию. В результате 35 человек летчиков, ночью, сломав двери вагона, двинулись по направлению к границе. Днем часть из них, заблудившись, вернулась назад, другая часть в результате быстро принятых мер была задержана и водворена в вагоны...» (по американской версии — отчету Дина для Маршалла — «большинство из них сдались добровольно, а остальные были легко задержаны»).[42]

Федотов просил указаний: «Можно ли ответить генералу Дин, что операция по переброске интернированных американских летчиков в Иран отменена в связи с нарушением обещания американской стороны сохранять тайну негласного возвращения в США летчиков, интернированных в СССР, сославшись при этом на появление 2 декабря 1944 г. в американской печати сообщения «Ассошиэйтед пресс» об обстоятельствах «побега» пяти американских летчиков, совершивших вынужденную посадку и интернированных в СССР после налета на Токио 18 апреля 1942 г.»[43]

Дину и Гарриману были даны соответствующие разъяснения, которые они незамедлительно передали в Вашингтон. Гарриман даже выразил президенту опасение, как бы данный инцидент не помешал советско-американским военным переговорам

о будущих совместных действиях против Японии. «Вы помните, как Сталин постоянно напирал на необходимость строжайшей секретности в этих делах и высказывал сомнения в нашей способности ее сохранить».[44] На сей раз советское предупреждение вызвало ощутимый резонанс в Белом доме. Президент Рузвельт приказал начальнику военной цензуры «принять меры для предотвращения отныне опубликования впредь каких-либо сведений о побегах американцев, интернированных из нейтральных или союзных стран».[45]

Военные и дипломаты США были возмущены безответственностью газетчиков. «Американский обозреватель, — писал Дин о цене журналистского тщеславия Пирсона, — получил сенсационный и, видимо, хорошо оплаченный абзац, но за это сто наших авиаторов были возвращены в неволю, а их надежды рухнули. Их ценный боевой потенциал был потерян для ведения войны, но самое главное — возник риск реакции со стороны Японии, которая могла бы привести к ее преждевременному столкновению с Россией, всецело занятой германским фронтом».[46] Гарриман во время беседы с Молотовым 2 января 1945 г. тоже осудил «возмутительную», по его словам, статью Пирсона. Нарком с удовлетворением воспринял информацию посла о распоряжении Рузвельта по цензуре и напомнил, что это уже второй случай утечки с американской стороны. Гарриман признал, что «советские действия по возвращению наших людей явились очень полезным уроком».[47] Утечки с тех пор действительно прекратились, но прошло еще несколько месяцев, прежде чем злополучная группа была переправлена через иранскую границу.

В 1945 г. было организовано еще два удачных «побега», но лагерь под Ташкентом продолжал пополняться, а условия жизни в нем — улучшаться. К лету в нем появились даже импровизированный плавательный бассейн и площадка для игры и бейсбол. Следующая группа инспекторов военной миссии, посетившая лагерь в мае, записала в своем отчете: «После трех приездов в Ташкент мы твердо

убеждены, что советская сторона делает все возможное для удобства наших людей во время их вынужденного пребывания в Советском Союзе».[48]

Денонсация советско-японского договора о нейтралитете в мае 1945 г. и предстоящее вступление СССР в войну с Японией меняли ситуацию вокруг интернированных американцев. Журналисты нажимали на военную цензуру с просьбой открыть запретную тему, да и сами военные были не прочь снять этот запрет и опередить журналистов со своей версией. 2 августа Дин обратился к Маршаллу за разрешением согласовать с советской цензурой выпуск пресс-релиза об этом тайном сотрудничестве военных двух стран. В этом случае, писал Дин, «советской стороне предстоит решить, хочет ли она пожать плоды добрых чувств, возбужденных проявлением их дружеского отношения к освобождению американских интернированных, или предпочтет даже сейчас не разглашать тот факт, что она нарушала дух и букву пакта о нейтралитете, подписанного с Японией». Текст предложенного пресс-релиза начинался интригующими словами: «Теперь, когда Советский Союз объявил войну Японии, стало возможным рассказать об одной из самых секретных историй войны...»[49] Маршалл дал добро на запрос Дина только 12 августа — после объявления Советским Союзом войны Японии. Вскоре после этого из лагеря была вывезена последняя группа американских авиаторов в составе 51 человека, на сей раз — открыто, через Европу.

Процесс согласования с советской стороной общей линии в вопросе о разглашении этого сотрудничества не зафиксирован в доступных нам документах, но, судя по отсутствию сообщений на эту тему, в американской и советской печати вплоть до подписания капитуляции Японии в Кремле предпочли соблюдать дипломатический этикет, а не «пожинать плоды» добрых чувств американцев. Да и в самой администрации Г. Трумэна еще продолжался процесс межведомственных согласований по вопросу о разглашении «побегов» авиаторов.

В конце августа командование ВМС направило директору военной цензуры США предоставлен-

ные для публикации сообщения американских корреспондентов на Алеутских островах, в которых со ссылкой на местные военные источники рассказывалось об использовании американцами Петропавловска и последующем освобождении интернированных летчиков, но без подробностей организации их «побегов». По мнению командования ВМС, публикация этих сообщений не была бы нарушением безопасности, но может стать «потенциальным источником дипломатических трений». Мнение госдепартамента было более категоричным. Отдел общественной информации рекомендовал руководству ведомства не препятствовать публикации, даже если это вызовет недовольство советской стороны, поскольку «большим риском в настоящий момент является мнение о том, что наша политическая цензура и так слишком предупредительна к чувствам русских по таким вопросам».[50] Возникал интересный парадокс — новое пренебрежение чувствами союзника давало ход информации, работавшей на улучшение его образа в глазах американцев. В итоговом заключении для министра ВМС Дж.Форрестола первый заместитель госсекретаря Д.Ачесон писал: «Поскольку эти материалы исходят от частных корреспондентов, а не от государства, госдепартамент считает, что нет оснований возражать против их публикации».[51] Так в США появились первые санкционированные материалы об истории интернированных в СССР американских летчиков.

В Советском Союзе об этом практически не писалось и в послевоенные годы. А жаль, ибо это, пожалуй, единственный ничем не омраченный опыт боевого сотрудничества двух стран в годы войны и яркий пример безупречного союзнического поведения СССР. Недаром даже генерал Дин в своих сердитых мемуарах, написанных в самый разгар холодной войны, выделял этот эпизод как «отмеченный большой сердечностью и доброй волей», подчеркивая, что «отношение русских (к интернированным .— *Авт.*) было более великодушным, чем можно было ожидать даже в самом лучшем слу-

чае». С учетом проблем в других сферах сотрудничества Дин так и не смог найти иного объяснения этой аномалии, кроме философского заключения о том, что «в стране противоречий вообще все трудно объяснить».[52]

В боевом взаимодействии летчиков обеих стран были, к сожалению, и другие — мрачные страницы, которые тоже замалчивались долгие годы, хотя и по иным причинам. Речь идет не только об уже упомянутом и описанном в нашей литературе разрушительном налете «люфтваффе» на Полтавский аэродром в июне 1944 г., нанесшем сильный удар по операции «Фрэнтик», но и о столкновениях американских и советских пилотов в воздухе по мере сближения войск союзников в Восточной Европе. Самое кровопролитное из них состоялось 7 ноября 1944 г. в небе над Югославией, когда группа из 27 американских «лайтнингов» по ошибке атаковала в зоне действия советских войск авиаколонну Красной Армии, которую прикрывали девять истребителей. Неравный бой продолжался 15 минут и прекратился только после того, «как ведущий группы советских истребителей полковник Колдунов, рискуя быть сбитым, подстроился к ведущему группы американских истребителей и показал ему опознавательные знаки своего самолета», — говорилось в представлении Генштаба за подписью А.И. Антонова генералу Дину. При налете, продолжалось в представлении, был убит командир корпуса генерал-лейтенант Котов, 2 офицера, 3 рядовых, уничтожено 2 советских самолета с летчиками и 20 автомашин. Бой произошел в 50 километрах от линии фронта, причем появление там американских самолетов не было согласовано с советским командованием. «Этот из ряда вон выходящий случай нападения американских самолетов на колонну войск и группу самолетов Красной Армии вызывает у нас крайнее недоумение», — заключал Антонов, требуя от американского командования провести тщательное расследование инцидента.[53]

Расследование показало, что американские летчики из 82-й истребительной группы под командо-

ванием опытного пилота полковника С. Эдвинсона допустили «навигационную ошибку» в условиях горной местности и «большого топографического сходства» между запланированной и ошибочной целями.[54] Представители штаба армейских ВВС уточняли, что американцы тоже потеряли два самолета (о чем не говорилось в представлении Антонова), а также пытались поделиться ответственностью за происшедшее с советской стороной: «Хотя я не считаю, что этого было бы достаточно для избежания инцидента, — докладывал Г. Арнольду командующий 15 военно-воздушной армией генерал Икер, — хочу все же заметить, что русские недооценивали необходимость установления на местности рубежей бомбометания и крайне неохотно санкционировали контакты наших миссий связи со штабом Второго Украинского фронта». Но в сложившейся боевой обстановке, философски подытоживал Икер, «эпизодические инциденты такого типа могут возникать и впредь».[55] В том же духе была выдержана и докладная Средиземноморского командования, представленная в военное министерство: «Хотя мы не пожалеем сил для предотвращения подобных инцидентов в будущем, мы не собираемся позволять, чтобы подобный риск приводил к ослаблению давления на противника».[56] Полковник Эдвинсон был откомандирован в США «без понижения для перевода в другую часть».

Результаты расследования были доложены президенту Рузвельту и доведены до советской стороны со всеми подобающими извинениями. В Кремле решили не раздувать происшедшего, тем более что одиночные случаи такого рода бывали и с советской стороны.[57] «Во время войны такие инциденты всегда происходят, — великодушно заключил Сталин на беседе с Гарриманом 14 декабря. — Они случаются даже между русскими летчиками и пехотой».[58] Средиземноморское командование предложило выпустить специальный пресс-релиз об инциденте чтобы поставить все точки над i, но Дин и Кеннан в отсутствие в Москве Гарримана заблокировали его опубликование до согласования с послом и советской стороной. Дин в шифровке Икеру и Маршаллу на-

стоятельно просил в любом случае исключить из пресс-релиза все упоминания о людских потерях ,дабы «не давать врагу знать, что у нас не отлажен механизм взаимодействия с советскими войсками».[59] Обе стороны извлекли уроки из несчастного случая: в начале 1945 г. для предотвращения подобных инцидентов было подписано соглашение между советским, американским и британским штабами ВВС о демаркационной линии для воздушных налетов и установлен регулярный обмен информацией о текущих и планируемых операциях.[60] Генерал Котов и его товарищи погибли не напрасно.

И все же полностью исключить столкновения союзников не удалось. Военные архивы США сохранили упоминание по крайней мере еще об одном, на сей раз — трехстороннем воздушном бое, который произошел в районе Кюстрина на Одере в марте 1945 г. Группа американских бомбардировщиков в сопровождении истребителей была атакована немецкими истребителями; находившиеся в поле зрения советские асы поспешили на выручку американцам, но, будучи приняты за противника, сами попали под их огонь и потеряли шесть машин, поскольку предпочли не открывать ответного огня по союзникам.[61] Советские летчики остались верными союзническому долгу до конца.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСЛЕВОЕННОГО МИРА:

В ВАШИНГТОНЕ

Готовиться к послевоенному миру в США начали сразу же после Перл-Харбора. В конце декабря 1941 г. по личному указанию Ф. Рузвельта при государственном департаменте создается Совещательный комитет по послевоенной внешней политике с тем, чтобы (как было сказано в сопроводительном письме К. Хэлла на имя президента) помочь в «подготовке страны к эффективному участию в решении огромных и сложных проблем

международных отношений, которые встанут перед нами и всем миром после окончательного разгрома сил агрессии...»[1] Трудно сказать, чего больше было в этом решении президента — инстинктивной уверенности в победе, предусмотрительности или памяти о Первой мировой войне и Версальском мире, к которому американское общество оказалось не готово.

О грядущем мире думал не один Рузвельт. Уже в 1942 г. послевоенной проблематикой во всевозможных ее аспектах занимались сотни государственных ведомств, общественных организаций и научных центров.[2] Тем не менее именно «комитет Ноттера» (так по имени его исполнительного директора — сотрудника госдепартамента Г. Ноттера прозвали Совещательный комитет) стал основным мозговым центром внешнеполитического планирования на послевоенный период. Задуманный как собрание лучших внешнеполитических умов государственного и частного секторов страны, он включал в себя видных деятелей госдепартамента, авторитетных ученых и журналистов-международников, общественных и политических деятелей. Первоначально в комитет, возглавляемый К. Хэллом и его первым замом С. Уэллесом, входили помощники госсекретаря Д. Ачесон и А. Берл-мл., глава отдела специальных исследований Л. Посвольский, юрисконсульт госдепартамента Г. Хэквуд, советник этого ведомства Г. Фейс, президент Совета по внешним сношениям Н. Дэвис, главный редактор журнала «Форин аффэрс» Г.Армстронг, президент университета Дж.Гопкинса И.Боуман, заведующая редакционной полосой «Нью-Йорк Таймс» А. Маккормик. Позднее в комитет вошли сенаторы Т. Коннэлли, У. Джордж, Э. Томас и У. Уайт, конгрессмены С. Блум, Ч. Итон и Л. Джонсон, а также некоторые другие деятели.

У комитета имелся свой предшественник — группа «Исследование», образованная в конце Первой мировой войны при военном министерстве и наделенная сходными функциями. Несколько членов «комитета Ноттера», прежде всего геогра-

фы И. Боуман и Дж. Шотуэлл, были организаторами «Исследования» и принимали активное участие в подготовке делегации США к Парижской мирной конференции. Живая связь времен подчеркивалась преемственностью задач обоих органов — предстояло вновь в стремнине всемирных потрясений, революций и войн предугадать развитие основных событий и подготовить к ним политику США. Вместе с тем руководство комитета учитывало и негативный опыт «Исследования» — «бесполезность энциклопедических разработок и невозможность точных прогнозов послевоенных проблем», решив придать своей работе более прикладной и вариативный характер; главный упор делался на изучение конкретных проблем и выработку различных вариантов их решения в зависимости от меняющейся обстановки.[3]

При этом одной из важнейших задач считался анализ внешней политики ведущих мировых держав, выдержанный в предельно объективном и реалистическом духе. Подчеркивалась необходимость «включения всех факторов», влияющих на эту политику, беспристрастного взгляда на других и самих себя, исключения «стремления принимать желаемое за действительное», а также симпатий или антипатий в отношении других стран. Короче говоря, такой анализ «должен быть свободен от любых предвзятостей и всех этических соображений, кроме верности реализму». Требуемая для этого «полная откровенность», подчеркивали члены комитета, будет возможна только в обстановке «максимальной секретности» и строгого ограничения круга лиц, допущенных к этой информации.[4] Хотя претензии участников на абсолютную объективность оказались недостижимыми, секретность и откровенность обсуждений действительно были обеспечены, что придает особый интерес записям заседаний комитета, где велась свободная и откровенная дискуссия по самым чувствительным внешнеполитическим вопросам, не скованная этическими или дипломатическими условностями. Но даже и при этом наиболее деликатные моменты об-

суждения текущей американской политики изредка исключались из протокола по общему согласию участников.[5]

Практическая работа «комитета Ноттера», развернувшаяся с марта 1942 г., была обширной и разнообразной. При нем образовались подкомитеты по политическим, экономическим и территориальным вопросам, проблемам безопасности, европейской организации и др. Остановимся лишь на тех аспектах этой работы, которые были непосредственно связаны с Советским Союзом и американо-советскими отношениями и не получили пока достойного освещения даже в американской литературе, затронувшей лишь один — восточноевропейский аспект этой проблематики.[6]

Члены комитета — современники и участники создания Версальской системы — хорошо понимали одну из главных ее слабостей — исключение Германии и России и были настроены не повторять ошибок прошлого. В отношении Германии особых разногласий не возникало: большинство участников дискуссий было против чрезмерного унижения Германии, чреватого новой вспышкой агрессивного национализма, и выступало в долгосрочном плане за «реассимиляцию этой страны в приличное общество» как неотъемлемой (хотя и проблемной) части западной цивилизации. Планировщики не закрывали глаза на угрозу возрождения германской агрессии в будущем: считалось, что и разгромленная Германия сохранит достаточный людской и экономический потенциал для последующего доминирования на европейском континенте. Внешними предпосылками предотвращения этой угрозы виделись создание мировой системы безопасности, европейская интеграция, которая будет сдерживать Германию в рамках «большой Европы», и союзный контроль над Германией в первые послевоенные годы при сохранении единства страны (члены комитета скептически оценивали возможность долговременного сотрудничества союзников в Германии). Внутренними условиями «реассимиляции» считались разоружение, умеренная децентрализация и посте-

пенная либерально-демократическая трансформация Германии; по оценке Л. Посвольского, требовалось не менее двадцати лет мирного развития, чтобы демократические институты «укоренились в германской политической жизни».[7]

Если грядущее обращение с главным противником просматривалось относительно ясно, то перспективы отношений с главным союзником вызывали гораздо больше сомнений и опасений — Россия, по выражению Боумана, считалась «главным камнем преткновения».[8] Признавалось, что СССР подписался под принципами нового демократического мироустройства и должен бы быть интегрирован в послевоенную систему международной безопасности, но будет ли он играть по западным правилам и возможна ли в принципе интеграция столь чужеродного в цивилизационном и политическом отношении образования в западную систему? Эти вопросы оставались открытыми. Уже 7 марта 1942 г. на одном из первых заседаний комитета Г.Армстронг предложил обсудить пути блокирования советского влияния в Восточной Европе, а А.Маккормик — создать там антисоветский «буфер». А.Берл тут же разъяснил всю практическую невозможность второго издания «санитарного кордона» в принципиально новых условиях: «М-р Берл поинтересовался, понимаем ли мы, чем чревата такая постановка вопроса. У нас сейчас нет никаких других вариантов, кроме нацистско-японской победы с одной стороны и долгой кровопролитной войны, в которой мы можем избежать поражения только благодаря мощи русской армии — с другой. Если мы начнем насаждать на границах с Россией ее врагов и она этой поймет, то русские могут заключить мир либо с Германией, либо с Японией... Мы окажемся в устрашающем военном тупике. Вопрос скорее следует поставить иначе — Россия, дважды за последние двадцать пять лет подвергавшаяся германскому вторжению, будет приветствовать создание на своих границах государств в целях собственной защиты».[9] Сам Берл успокаивал себя и своих коллег тем, что ослабленный войной СССР не сможет за-

ниматься экспансией: «Материальные и людские потери на Восточном фронте огромны; немцы и русские перемалывают друг друга на куски. Россия может оказаться слишком надломленной, чтобы после ее окончания действовать за пределами своих границ».[10]

Прошло всего полгода, фашисты еще только смыкали кольцо вокруг Сталинграда, а вашингтонские планировщики уже начали задумываться о той цене, которую Западу придется заплатить России за «перемалывание» основных сил вермахта. 2 октября Боумана осенила мысль о том, что «Россия, если ее армии будут и дальше нести на себе основное бремя войны в Европе, не даст нам забыть об этом факте на переговорах по окончании войны. Может оказаться совсем не просто противостоять русским требованиям о получении дополнительной территории, основанным на стратегических соображениях». Председательствующий С.Уэллес дипломатично назвал обсуждение этого «интересного вопроса» «преждевременным»,[11] но еще через неделю в отсутствии Уэллеса Боуман развил тему дальше: «Где закончится территория России на западе и как удержать ее в пределах этой территории? Ответ будет определяться соотношением сил, которое сложится к концу войны. Возможно, что Соединенные Штаты и Великобритания не будут иметь никакого влияния в вопросе о том, распространит ли Россия свой контроль до самого Берлина. М-р Берл добавил, что целью России является не только Берлин, но и Адриатика». Боуман напомнил о «трудностях, испытанных в конце прошлой войны при попытках вытеснить войска, захватившие спорную территорию. После победы над Германией народы будут жаждать мира, а не рваться в новый бой, тем более с недавними союзниками».[12]

Собеседники хорошо понимали не только практическую сложность подобного «вытеснения», но и моральную трудность отказа «коренному» союзнику в его законных требованиях. Даже русофоб Боуман считал, что, хотя «предсказать будущую политику России невозможно, нам по крайней мере на

время придется считать Россию вечным другом», а эмигрант из России Посвольский подчеркивал — «мы вряд ли можем согласиться на меньшее, чем разумное для России урегулирование».[13] Весь вопрос состоял в том, что считать разумным для России и каковы ее законные интересы безопасности. Это, прежде всего, касалось будущих границ СССР, в первую очередь — на западе.

Выставленное к тому времени Москвой требование восстановления «границ 1941 года» представлялось членам комитета явно чрезмерным и они попытались откорректировать его до «разумных», т.е. приемлемых для США размеров. Меньше всего возражений вызывала советско-финская граница по мирному договору 1940 г., которая, как считалось, отражает реальные интересы советской безопасности и скорее всего ляжет в основу и послевоенного разграничения. К тому же Финляндия воевала «на стороне наших врагов», «не послушавшись совета США», и должна понести за это наказание.

Совсем другое дело — страны Прибалтики, ставшие «явными жертвами России» и сохранившие дипломатические отношения с США. Все три республики будут «плакать на нашей груди», отметили Армстронг с Боуманом, но «надо ли Соединенным Штатам вставать на их сторону наперекор России?» Посвольский тут же показал узкие пределы такой оппозиции: «Если германский фронт в России рухнет, Россия быстро оккупирует три балтийские республики и по крайней мере часть Финляндии. Каким образом, после того как там окажутся русские войска, Соединенные Штаты могут надеяться уговорить русских вывести их оттуда?»[14] Берл со своей стороны напомнил о важном геополитическом значении Прибалтики для России — она прикрывает Ленинград, а в межвоенные годы служила центром «антироссийских интриг». Кроме того, скрытые споры о Прибалтике уже стали камнем преткновения в советско-английских отношениях, и будирование этого вопроса американцами может «зажечь запальник, который взор-

вет всю войну». Максимум того, на что мы можем рассчитывать, заключил заместитель госсекретаря, это «свести российские запросы к Прибалтике до уровня соглашений (о военном базировании) между США и Исландией с Гренландией», иными словами — стремиться добиться соблюдения Россией буквы своих соглашений с правительствами Латвии, Литвы и Эстонии, заключенных в момент их захвата. Но не пострадает ли престиж Соединенных Штатов, если мы будем требовать того, чего не в состоянии добиться, усомнился Боуман. Философский ответ Берла оказался весьма пророческим: «Даже наши «политические разговоры» часто оказывают моральное воздействие, которое со временем иногда превращается в реальную силу. Так будет и впредь».[15] Собеседники не смогли прийти к единому мнению о судьбе Прибалтики, но их дискуссия выпукло выявила основные дилеммы американской политики в этом вопросе.

Особенно сложную проблему представляло определение новой границы между СССР и Польшей — ключевой вопрос советско-польских отношений и серьезный раздражитель между Москвой и западными союзниками. Среди членов комитета не было полонофилов: за закрытыми дверями они не стеснялись в осуждении «фантастических» великодержавных претензий Польши, ее авторитарного наследия и не считали желательным ее «чрезмерное расширение».[16] В то же время они не могли игнорировать позицию лондонских поляков, предлагавших оставить в силе территориальные статьи Рижского договора, и полностью согласиться с советским предложением вернуться к «линии Керзона». Задача, по словам Берла, состояла в нахождении компромисса между этими двумя крайностями, «совместимого с нашими целями и честью».[17] После долгих обсуждений и исследований этнического состава, транспортных и экономических связей спорных территорий, их значения для обеих сторон большинство членов комитета высказалось за проведение новой границы между «линией Керзона» и «рижской линией» с

одновременным приращением польской территории за счет Восточной Пруссии. Восточную Галицию предлагалось оставить за Польшей, а Буковину — за Румынией, с тем чтобы не допустить выхода СССР к Карпатам — «разделительному рубежу между Россией и Западом».[18] Бессарабию допускалось передать СССР — с учетом ее этнического состава и военного ущерба, нанесенного Румынией Советскому Союзу.

Такой представлялась «оправданная» западная граница СССР вашингтонским планировщикам по осени 1942 г. «Никто из членов комитета, — великодушно подытожил Берл, — не имеет ни малейших возражений против общего тезиса о том, что Россия вправе восстановить свое положение великой державы с западной границей образца 1938 года... плюс Бессарабия». (А. Маккормик, правда, так и не смогла взять в толк, зачем такой огромной стране, как Россия, вообще нужда «дополнительная территория».)[19]

После Сталинграда соотношение сил, которые будут действовать ко времени «перекройки карты Европы» (Посвольский), стало выглядеть иначе, а вместе с ним — и пределы возможных уступок советским требованиям. В июльском (1943 г.) меморандуме для комитета подчеркивалась необходимость убедить русских в том, что «у нас и в мыслях нет игнорировать их безопасность и тем более — действовать против них в свете победы, купленной в основном русской кровью».[20] Уже в конце 1942 г. комитет стал готов передать Советскому Союзу украинскую часть Буковины с учетом того, что Красная Армия может вступить в Восточную Галицию.[21] Итоговые рекомендации комитета по советско-польской границе (май 1943 г.) предусматривали уже несколько ее вариантов, включая «линию Керзона». В таком случае, предупреждалось в докладе, «СССР приобретет 68,4 тыс. кв. миль (или почти всю спорную территорию) с населением 10,575 млн.чел. ...Польша утратит города Вильно и Львов, а также большую часть запасов нефти, природного газа и других минеральных ресурсов Галиции. Советская граница

пройдет по Карпатам вдоль всей линии между Рутенией и Восточной Галицией». Предпочтение комитета отдавалось скорректированной «линии Керзона» за счет сохранения большей части Восточной Галиции за Польшей, с тем чтобы не позволить СССР выйти на Карпаты и иметь общую границу с Чехословакией.[22]

Еще большую прижимистость проявляли эксперты госдепартамента в отношении вероятных территориальных запросов СССР на Дальнем Востоке. Их общие контуры просматривались довольно ясно, ибо специалисты хорошо понимали, что СССР в случае победы над Японией будет как минимум стремиться к возвращению позиций, утраченных Россией в русско-японской войне 1904 г. Стоит ли Америке соглашаться с такими требованиями — этот вопрос оказался в центре обсуждений комитета в июле 1943 г. Берл без обиняков заявил, что если Япония, скорее всего, будет надолго обезврежена, то на Дальнем Востоке «гипотетическим врагом является Россия, поэтому мы должны иметь это в виду, планируя общие границы с ней в северной части Тихого океана».[23] Председательствующий Боуман подхватил этот тезис, предложив вопрос о том, насколько «желательным» будет получение «враждебной Россией дополнительных военных баз на Северных Курилах». При такой презумпции ответы напрашивались сами собой. Курильские острова было предложено оставить за Японией при условии демонтажа на них всех военных объектов. Дополнительным доводом в пользу такого решения служила возможность получения прав базирования на островах авиации США, которая приобретет таким образом прямой доступ к азиатскому материку.[24] Что касается Южного Сахалина, то хотя члены комитета и признавали «примерное равенство» российских и японских претензий на него, в силу экономических и демографических факторов эту территорию, по их мнению, следовало бы сохранить за Японией с тем же условием ее демилитаризации.[25] При этом понималось, что окончательное решение террито-

риальных вопросов на Дальнем Востоке, как и в Восточной Европе, будет зависеть от ситуации на фронтах к моменту окончания войны.

За всеми этими вопросами о будущих границах и другими частностями вставали и гораздо более общие проблемы восприятия России и отношения к ней. Какая Россия — сильная или слабая — нужна Америке? Не превратится ли сегодняшний союзник в завтрашнего врага? Как, надеясь на лучшее в отношениях с ним, приготовиться к худшему? В прямой или косвенной форме эти вопросы иногда всплывали в ходе дебатов на комитете и его подкомитетах. Так, обсуждение вопроса о маленькой Бессарабии неожиданно вылилось в целую дискуссию о роли России, заслуживающую подробного изложения.

Ее начал Берл, активно поддержавший передачу Бессарабии Советскому Союзу: «Он заявил, что наша заинтересованность здесь не ограничивается поисками справедливости, ибо в наших интересах усилить Россию в этом районе. Он объяснил, что углубленное изучение русско-американских отношений со времен обретения нами независимости и по настоящее время породило у него «смутное ощущение» того, что сильная Россия была постоянно на пользу Соединенным Штатам. В гряде кризисов нашей истории существование мощной массы России оказывалось для нас благотворным. Она была важна для отвлечения Западной Европы во время американской революции, она помешала Наполеону воплотить в жизнь его трансатлантические амбиции, она смягчила угрозу потенциальной европейской интервенции в ходе Гражданской войны и помогла приобрести Аляску. В 1914-м и вновь — в 1941 г. Россия поднялась на борьбу со странами, угрожавшими американской безопасности. Эта устойчивая историческая закономерность заставляет задуматься, стоит ли нам создавать плацдармы для нападений на Россию. Как заявил м-р Берл, он предпочитает, чтобы устье Дуная контролировала Россия, а не слабая Румыния или другая комбинация сил сомнительной лояльности.

Председатель (Боуман. — *Авт.*) попросил разъяснить логику, лежавшую в основе этой полезной для США роли России. М-р Берл назвал ее логикой стабилизирующего влияния, силой, которую нельзя игнорировать, короче — фактором европейского баланса сил, который постоянно способствовал безопасности Соединенных Штатов».

Трудно было оспаривать этот исторический послужной список России, но можно было усомниться в правомерности его экстраполяции на будущее, что и сделал Боуман своим вопросом — «можно ли ожидать, что силовые комбинации прошлых лет вновь заявят о себе в будущем? Берл ответил, что крутые повороты в соотношении сил, конечно, возможны, но, на его взгляд, любой вероятный сдвиг лишь увеличит заинтересованность США в России. Для западноевропейских стран соблазн нападения на Соединенные Штаты будет возрастать, а препятствия к нему в виде Атлантического океана будут уменьшаться. Короче говоря, российский заслон будет все более важным».[26]

В НКИД, где Берла всегда считали одним из самых «злостных антисоветчиков», были бы немало удивлены его ролью в «комитете Ноттера», где он практически в одиночку часто занимал наиболее пророссийскую линию. На той же дискуссии по Бессарабии на него в помощь Боуману навалились и Посвольский с Армстронгом; последний вообще отрицал «смысл проведения аналогий с периодом русской инерции. Россия теперь стала динамичной как в идеологическом, так и в националистическом смысле».[27] Для большинства членов комитета Россия оставалась все-таки чужеродной и потенциально враждебной силой, которую следовало не столько интегрировать, сколько сдерживать.

Это, прежде всего, касалось Восточной Европы — наиболее вероятного направления советской экспансии. Здесь самым тревожным сценарием, активно обсуждавшимся на комитете во второй половине 1942-го — начале 1943 г., было революционное развитие событий. Как и четверть века назад в Версале, призрак спутника войны — революция

преследовал западных разработчиков нового послевоенного миропорядка. 7 августа 1942 г. на обсуждение был поставлен вопрос о путях противодействия «зловещей перспективе революций в послевоенной Европе и обеспечения создания временных правительств до избрания законных органов власти».[28]

На сей раз угроза революционного взрыва и его последствий представлялась еще более серьезной ввиду новой роли «советского фактора». Красная Армия могла не только принести революцию на своих штыках, но и «коммунизировать» местные левые революции, приведя к власти просоветские силы. «В какой степени русские войска будут сотрудничать с революционерами или даже учинят свержение прежних режимов, будет зависеть от того, насколько Сталин и его окружение сохранили верность Третьему интернационалу», — говорилось в материалах комитета.[29]

Оживленная дискуссия на эту тему состоялась на заседании 9 октября 1942 г. «М-р Боуман поставил вопрос о том, объединятся ли эти революционные правительства с СССР. М-р Берл ответил, что скорее они останутся в качестве стран-сателлитов. М-с Маккормик предположила, что в любом случае там развернется гражданская война между «красными» и их противниками. Председатель (Боуман. — *Авт.*) подчеркнул, что подобная гражданская война создаст предлог для вторжения мощной русской армии. М-р Берл считает, что ближайшей армией могут оказаться англо-американцы. Не исключена и возможность того, что революции будут умеренными и разрешатся без войны. Он считает, что, если США окажутся перед свершившимся фактом, они, вероятно, останутся в стороне, ограничатся заботой о своей безопасности и предоставят событиям на местах развиваться своим чередом — даже если англо-американские войска окажутся в непосредственной близости от революционных районов». Посвольский не поверил, «что США или Великобритания смогут остаться безразличными к этим революциям», а Боуман назвал такое отношение «умиротворением».

Берл в ответ еще более заострил свою позицию: «США не пошлют войска для подавления революции...» Он подкрепил свое предсказание доводом о том, что «самой большой ошибкой» политики США в первый послевоенный период была, по его мнению, попытка подавить русскую революцию. Он считает, что мы не будем вновь пытаться восстанавливать старые режимы. Посвольский с надеждой заметил, что если американские и британские войска войдут в Италию и Германию, возникнет иное соотношение сил, которое в корне изменит ситуацию. М-с Маккормик вставила вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты готовы подавить революцию в Германии. Когда же Армстронг предложил обсудить возможность совместных англо-американских действий в этих вопросах, Берл свернул дискуссию доводом о том, что «на данный момент для двух из Объединенных Наций вряд ли будет разумной политикой обсуждать возможные действия против третьей. Суть коалиционной дипломатии, на его взгляд, состоит в том, чтобы не предпринимать совместно с одним из союзников ничего такого, о чем нельзя было бы сказать остальным».[30] Золотое правило, к сожалению, не раз нарушавшееся англо-американским дуэтом «большой тройки». «Участники разошлись во мнениях о том, — говорилось в резюме заседания, — примут ли Соединенные Штаты и Великобритания такие революции как свершившийся факт или, отчасти в силу принятых обязательств перед правительствами в изгнании, попытаются подавить их. Была также высказана идея о том, что две державы (США и Великобритания. — *Авт.*) могут оказать действенное экономическое давление на СССР».[31]

Не сумев договориться о методах противодействия революциям, члены комитета перешли к обсуждению возможных преград на пути советской экспансии в случае эволюционного развития событий. В этой связи надежды возлагались сначала на возможность стабилизации советско-германского фронта в Восточной Европе к концу войны, а потом на сопротивление антисоветских националисти-

ческих сил в этих странах. Постепенно в русле этих построений возник и гораздо более амбициозный проект создания восточноевропейской федерации, способной, по словам А.Маккормик, «стать противовесом как Германии, так и России».[32] Различные варианты подобной комбинации на послевоенный период для устранения опасного вакуума силы между Германией и Россией к тому времени начали открыто обсуждаться в англосаксонских кругах и эмигрантскими правительствами восточноевропейских стран, но доверительная обстановка «комитета Ноттера» позволяла делать это с полной откровенностью.

Основные направления подхода к этой проблеме определились весьма четко. Политический подкомитет, по словам Г.Армстронга, «пришел к выводу о том, что чем больше государств войдет в региональную федерацию, тем лучше, поскольку небольшая группа рискует подпасть под доминирование таких стран, как Германия или Россия». Дополнительные преимущества «большого размера» такого объединения выявились в 1943 г., когда советская дипломатия стала продвигать идею «славянской солидарности», под которой имелось в виду не наднациональное объединение, а система коллективной безопасности с упором на славянские народы во главе с СССР. Прообразом такой системы стал советско-чехословацкий договор о взаимопомощи, заключенный в конце 1943 г.

Такое сближение, основанное на национально-исторических факторах и уроках совместной борьбы с фашизмом, было бы более естественным и жизненным, чем аморфная восточноевропейская или балканская федерация разнородных по своему национальному составу, культурным традициям и внешнеполитическим интересам стран. Во многом поэтому идея «славянского блока» в любой его форме вызывала сильную идиосинкразию в Вашингтоне и Лондоне. «Хотя такое объединение могло бы вполне соответствовать желаниям и благосостоянию южнославянских народов, оно имело бы серьезные пороки в глазах великих держав, — говори-

лось в докладе комитета от 9 ноября 1943 г. — Одна из великих держав могла бы получить в нем преобладающее влияние, а через него — и во всем регионе; кроме того, образование такого объединения антагонизировало бы соседние государства и превратило бы его в серьезный источник нестабильности». Поэтому в случае прохождения плана балканской федерации комитет предлагал обязательно включить в нее Румынию, а Югославию — в виде трех отдельных государств с прозрачным расчетом создать дополнительные противовесы православно-славянской Сербии.[33]

Проблема заключалась не только в практической сложности создания подобных объединений, но и в получении на это хотя бы молчаливого согласия советской стороны, негативное отношение которой к проектам такого рода было хорошо известно. В Кремле видели в них реанимацию «санитарного кордона» и, кроме того, более реалистически оценивали их искусственность. В телеграмме НКИД советскому послу в Лондоне от 10 марта 1943 г. идея восточноевропейской конфедерации называлась не только «вредной и опасной», но и «безжизненной»,[34] а в беседе с Черчиллем и Иденом (17 октября 1944 г.) Сталин прямо говорил о живучести национализма в Восточной Европе, который после войны заглушит наднациональные идеи.[35]

Вопросу о том, как сделать подобную конструкцию приемлемой для СССР, был посвящен специальный доклад Нью-Йоркского Совета по внешним сношениям («Россия и восточноевропейская федерация»), который широко использовался в «комитете Ноттера». В нем подтверждались те же цели создания подобного объединения — «преодоление внутренних разногласий» в Центральной и Восточной Европе и «защита их безопасности от Германии и России». Авторы доклада обстоятельно разбирали причины советского неприятия «федеративной идеи», попутно обнажая и стоящие за ней собственные мотивы. Прежде всего такая федерация ограничит свободу действий СССР в регионе,

сократив возможности политики в духе «разделяй и властвуй», а также затруднит реализацию советских территориальных претензий к своим западным соседям. Федерация также будет способствовать созданию у ее участников единообразной политической структуры, которая «будет какой угодно, но только не советской. С другой стороны, при отсутствии федерации отдельно взятые государства в условиях социальной и национальной напряженности могут подвергнуться советизации изнутри или извне и быть включены в состав СССР. Крайности социального изнеможения, усиленные нацистским вторжением и гнетом, могут слиться с панславизмом и придать поддержку волне советской экспансии. А федерация будет усиливать сопротивление ее членов пансоветизму и панславизму и вновь будет в основном смотреть на Запад как свою модель». Кроме того, объединение военных усилий членов федерации сократит военно-стратегическое преимущество СССР, а их общий торгово-экономический потенциал может сделать ее более серьезным конкурентом Советскому Союзу в экспорте таких товаров, как зерно, нефть, древесина. Наконец, федерация «обесценит то преимущество, которое может приобрести Россия в войне как поборница славянского дела. Федерации следует предусмотреть вхождение в нее тех стран — как славянских, так и иных, которые испытывали хронический страх перед посягательствами России и вступили в войну с ней с убеждением если не энтузиазма, то фатализма. Без федерации интересы и традиции этих традиционно враждебных государств будут нейтрализованы, с советской точки зрения, просоветской ориентацией некоторых других потенциальных ее членов».[36]

Все эти явные минусы для СССР, по мнению авторов, могли бы быть уравновешены не столь очевидными с точки зрения традиционной Realpolitik, но в долгосрочной перспективе не менее выигрышными плюсами. Перечень этих преимуществ представляет, пожалуй, еще больший интерес как образец изощренного американского подхода к решению проблем безопасности СССР.

Во-первых, федерация придаст ее членам новое ощущение безопасности, которое может сделать их более покладистыми в территориальных уступках России. Так, например, «Польша... найдет в ней большую безопасность, чем в продвижении своей восточной границы за пинские болота; Румыния, гарантированная в своих внутрирегиональных границах, может скорее примириться с возможной потерей Бессарабии. Таким образом, имея дело с федерацией, Россия может закрепить свои новые, продвинутые на запад границы, не вызывая постоянной враждебности федерации как единого целого. Более того, те члены федерации, которые не будут напрямую ущемлены этими территориальными изменениями, вероятно, постараются охладить ирредентистский пыл ущемленных стран-участниц».

Во-вторых, если Россия хочет прежде всего безопасности, для нее может быть более выгодно совместно с США и Великобританией оказывать стабилизирующее воздействие на федерацию как постоянную преграду на пути нового германского броска на восток. События 1939—1941 гг. показали, что «Германия переигрывает Россию в создании своей политической клиентуры в регионе» и что единственный путь для России в этой игре — создавать свою клиентуру, поддерживая тем самым раскол региона. Но «русские государства-клиенты» будут на ножах со своими соседями и всеми великими державами, враждебными России. Союзы с отдельными государствами Восточной Европы создадут опасность ненужного и проигрышного вовлечения России во внутренние конфликты в регионе». Авторы доклада признавали, что эта опасность может уменьшиться, «если весь регион попадет под советский контроль». Но такая перспектива пока представлялась маловероятной: «Вряд ли, однако, партнеры России по победе могут позволить добавление к «русской мощи» еще сотни миллионов европейцев».

В-третьих, «ввиду ее и без того огромных размеров целью России должно быть завоевание как

Полпред К.А. Уманский

Встреча Г. Гопкинса. Москва, 1941. Слева направо: С.А. Лозовский, Г. Гопкинс, Л. Штейнгардт, Г.Н. Зарубин

Слушая «Интернационал»: прибытие делегаций США и Великобритании на Московскую конференцию 1941 г. Слева направо: А.Я. Вышинский, У. Бивербрук, А. Гарриман

Председатель КНШ адмирал У. Леги

Во время заседания Московской конференции 1941 г.

Визит В.М. Молотова в Вашингтон 1942 г. Встреча на аэродроме. Слева направо: Э. Кинг, М.М. Литвинов, В.М. Молотов, К. Хэлл, Дж. Маршалл

«Что за человек этот Молотов?» На встрече с Ф.Рузвельтом в Белом Доме

Дж. Дэвис в гостях у И.В.Сталина в Кремле (1943 г.)

Завтрак у В.М. Молотова (Дом приемов НКИД, июнь 1943 г.).
Слева направо: У. Стэндли, А.Керр, В.М. Молотов, В.Н. Павлов,
В.Г. Деканозов, А.И. Микоян, А.Я. Вышинский

Во время вручения американских наград: У. Стэндли, В.Н. Павлов, В.М. Молотов и С.А. Лозовский (1943 г.)

«Крепкий орешек этот дядюшка Джо!» Первая встреча «большой тройки» (Тегеран, 1943 г.)

Затишье на втором фронте: высадка союзников в Нормандии (июнь 1944 г.)

Среди своих. А.Я. Вышинский, В.Г. Деканозов, А.И. Микоян и М.М. Литвинов на завтраке у В.М. Молотова в честь второй годовщины подписания советско-американского Соглашения (июнь 1944 г.)

Вожди и миллионеры: прием председателя Торговой палаты США У. Джонстона. Крайний справа — А. Гарриман (июнь 1944 г.)

На приеме в «Спасо-хаус»: А. Гарриман, Кэтлин Гарриман и В.М. Молотов (август 1944 г.)

Советская делегация на конференции в Думбартон-Оксе (1944 г.). В первом ряду слева направо: генерал-майор Н.В. Славин, А.А. Соболев, А.А. Громыко, С.К. Царапкин, контр-адмирал К.К. Родионов

Интернированные американские авиаторы с советскими друзьями

Неуставные отношения во время операции «Фрэнтик».
(Полтавский аэроузел, 1944 г.)

За круглым столом Ялтинской конференции (февраль 1945 г.)

Последняя встреча: «большая тройка» в Ялте (стоят Э. Иден, Э. Стеттиниус, В.М. Молотов и А. Гарриман)

«Папаха, сэр Уинстон, Вам явно к лицу!» — веселый момент в Ялте

Подписание итоговых документов Ялтинской конференции (слева – Э. Стеттиниус)

Советско-американское танго в конце войны (Германия, 1945 г.)

И.В. Сталин и Г. Трумэн в Потсдаме. На заднем плане Ч. Болен, В. Павлов, А.А. Громыко

Победители в Потсдаме: еще вместе, но уже на расстоянии

можно большего числа друзей, а не всей той дополнительной территории, какую только можно захватить силой в момент краха Германии. Для России расширение своего военного и политического контроля за пределы районов, привязанных к ней в социальном и культурном отношении, будет означать отсрочку в стабилизации Восточной Европы и ускорение возрождения германской мощи. Самоконтроль в момент триумфа должен вести Россию к созданию долгосрочных механизмов защиты, а не к дорогостоящим и шатким территориальным приращениям».

В-четвертых, «Советская Россия, дружественная к восточноевропейской федерации, будет вызывать в ней силу притяжения. Такое воздействие, основанное на социально-культурных факторах, в долгосрочной перспективе будет для России более плодотворным, чем сколачивание шаткой свиты государств-клиентов, которые со своей стороны будут использовать силу России в своих шкурных интересах и ссорах. И чем сильнее будет это мирное воздействие России, тем меньше у нее будет оснований опасаться, что федерация может стать враждебной для территориальных и других интересов России».

В-пятых, рост конкуренции с Восточной Европой в области экспорта сырья и продовольствия будет способствовать переводу советской экономики на рельсы высокотехнологического промышленного производства и созданию взаимовыгодного разделения труда между Россией и Восточной Европой.

И, наконец, главный — «мирный» дивиденд: «Имея на своем западном фланге сильную, способную к самозащите федерацию, направляемую на первых порах совместными усилиями трех великих держав, Советский Союз сможет ослабить бремя своих вооружений и направить усилия на воплощение давно откладываемых обещаний повышения уровня жизни своих народов. Поддерживая контроль над военным потенциалом Германии совместно с США и Великобританией, осуществляя в

том же режиме трехстороннего сотрудничества стабилизацию и консолидацию Восточной Европы, Россия сможет направлять гораздо большую долю своего промышленного потенциала на производство потребительских товаров. «Мир», который обречет советский народ на новые жертвы в гонке вооружений образца 1929—1941 годов, принесет ему глубокое разочарование и в длительной перспективе может иметь серьезные последствия для внутренней стабильности страны». Авторы доклада подчеркивали, что подобная организация Восточной Европы потребует от России «терпимости», а от США и Великобритании — «активного и детального руководства». «Хотя текущие интересы России, кажется, прямо противоречат созданию такой федерации, — говорилось в заключении доклада, — долгосрочный взгляд на место России в мире создает общую почву, на которой русские цели могут быть примирены со стремлением восточноевропейцев к стабильному и автономному саморазвитию».[37]

Конечно, эти американские проекты создания восточноевропейской федерации были утопичными. Однако лежавшие в их основе общие установки действительно намечали привлекательную альтернативу грядущему расколу Европы на сферы влияния, равно как и самой советской политике в регионе. В силу целого ряда причин советское руководство было не в силах подняться до столь просвещенного взгляда на свои долгосрочные интересы и отношения с Восточной Европой, не проявив ни «самоконтроля в момент триумфа», ни «терпимости» к своим западным соседям. Правительства США и Англии со своей стороны оказались не готовы к «активному и детальному руководству» процессами трансформации в Восточной Европе, не имея там продуманной, согласованной стратегии. Стремительные события явно опережали расчеты планировщиков и политиков. На Московской конференции министров иностранных дел «большой тройки» Кремль прочно заблокировал расплывчатые английские предложения о наднациональных

объединениях в Европе, а к весне 1944 г. стало очевидно, что практически вся Восточная Европа окажется в зоне действия Красной Армии. Ввиду «глубоких изменений», констатировалось на заседании подкомитета по европейской организации 31 марта, «некоторые из схем, изучавшихся подкомитетом, превратились в чисто академические...»[38]

Теперь речь могла идти только о формах, а не факте советского доминирования в регионе. Стало ясно, как отмечал политический подкомитет, что отныне СССР будет в силах предотвратить «возврат к довоенной ситуации, когда, с советской точки зрения, почти все государства Восточной Европы имели антисоветские режимы и полную свободу заключать между собой и государствами Центральной и Западной Европы союзы против СССР».[39]

Внимание членов комитета переключилось на поиски оптимальной реакции США на это явление и путей предотвращения полной советизации Восточной Европы. Берл предложил принять в качестве «рабочей презумпции» для обсуждения образование группы государств от Чехословакии до Триеста, находящейся под преобладающим влиянием СССР. Вопрос — «будет ли в интересах США оказывать сопротивление созданию восточноевропейской группы под эгидой СССР?» Центральный вопрос в другом, вмешался председательствующий Боуман: «Смогут ли США предотвратить распространение на запад советской формы общества и правления?» И еще — «как далеко могут пойти Соединенные Штаты в принятии аргумента соседства, выдвигаемого русскими в отношении Восточной Европы?» Понятно, что США придерживаются принципов Атлантической хартии, но с другой стороны — они признают за собой право на доктрину Монро. Впрочем, Боуман тут же нашел выход из этого логического несоответствия: «Приверженность США доктрине соседства применительно к западному полушарию может и не означать, что сходные доктрины будут для них приемлемы в других частях света».

И все же неувязка с «двойным стандартом» сохранялась: «Будет крайне трудно сказать русским «нет» после всех потерь, которые они понесли в результате небезопасности их западных границ. Соединенным Штатам, возможно, не захочется согласиться с советской «доктриной Монро» для Восточной Европы, но в ответ им всегда можно будет напомнить о Кубе и Панамском канале как аналогичных примерах законных опасений о национальной безопасности. Боуман сказал, что главная проблема состоит в том, чтобы примирить такие законные озабоченности с принципами Атлантической хартии». Берл ехидно заметил, что проблема эта решается просто — «можно быть в принципе против воровства, но не обязанным предотвращать грабеж по всему свету».[40] Трудно было оспаривать философское замечание Г.Армстронга о неумолимом законе международных отношений, «сравнимом по своей универсальности с законом притяжения» — «великая держава, окруженная малыми странами, должна неизбежно довлеть над их делами».[41]

В ходе дальнейшего обсуждения сфер влияния великих держав участники пришли к выводу о важности форм и методов великодержавного доминирования над своим окружением, которые могут отличать легитимную сферу влияния от простого «грабежа». В этой связи подчеркивался либеральный характер «доктрины Монро» — уважение суверенных прав подопечных государств и защита демократических идей от реакционной «европейской интервенции». Автор специального меморандума на эту тему А.Уитэкер, правда, честно признал, что «либеральный дух американской системы» объяснялся не только демократизмом США, но и геополитическим везением — «отсутствием другой мощной державы, представлявшей непосредственную угрозу безопасности Западного полушария». Рассуждая о советской «доктрине Монро», один из участников заметил, что «Соединенные Штаты могут признать особый характер русских интересов в Восточной Европе и даже то обстоятельство, что ситуация тре-

бует сильного советского влияния в регионе, но методы достижения советских целей безопасности остаются предметом серьезной озабоченности. Существует большая разница между системой, основанной на договорах типа советско-чехословацкого, и системой, построенной на радикальной социально-политической и административной реорганизации всего региона». Итог подвел Дж.Данн: политика США не должна «ни отрицать, ни препятствовать законным советским интересам» в Восточной Европе, но «регион не должен подпасть под полную зависимость от Советского Союза».[42]

Недопустимость такого положения объяснялась не столько заботой о благе восточноевропейцев, сколько геополитическими соображениями — образование монолитного советского блока для американских планировщиков было чревато ответными мерами Западной Европы и расколом континента на две враждебные группировки, а в худшем случае — советским доминированием над всей континентальной Европой.[43] Удержится ли СССР с его идеологией, политическим строем и гораздо менее щадящим геополитическим окружением в рамках «мягкой гегемонии», вызывало большие сомнения. Заявленная роль СССР как протектора Восточной Европы, говорилось в меморандуме комитета «О региональной политике Советского Союза» (февраль 1944 г.), «с учетом его огромной военной мощи, экономического потенциала, тоталитарной философии и методов может приобрести такой характер, что сделает остальные государства беззащитными перед СССР и приведет к утрате их реальной независимости. Методы поглощения балтийских государств, а также частей Польши, Финляндии и Румынии в 1939—1940 годах, естественно, свежи в умах народов Восточной Европы».[44] Объявленные в начале 1944 г. в СССР конституционные изменения по расширению военных и внешнеполитических прав союзных республик также прочитывались американцами как подготовка к следующему этапу расширения СССР на Запад, симптом «программы экспансии, в которой СССР

будет в одностороннем порядке решать, в какой степени он станет уважать права и независимость других европейских государств».[45]

И все же вариативность советской политики в Восточной Европе для многих членов комитета еще сохранялась. В следующем меморандуме на эту тему от 1 марта рассматривалось два возможных варианта советского доминирования в регионе. «Программа-минимум» предусматривала «открытую сферу влияния наподобие «доктрины Монро» (или «советско-чешской модели») — систему договоров о взаимопомощи и неучастии в союзах, направленных против СССР; гарантии независимости восточноевропейских государств и невмешательства в их внутренние дела; права этих государств на свободное участие в международных соглашениях, мировой экономике и торговле. «Программа-максимум» включала в себя «инкорпорацию восточноевропейских государств в СССР, установление в них однопартийной системы советского образца, интеграцию экономики Восточной Европы с советской, создание базы для давления и возможной агрессии против Западной Европы».[46]

Если последнее было явно несовместимо с интересами США, то «программа-минимум» представлялась не только приемлемой для Америки, но и возможной для СССР. По мнению экспертов «комитета Ноттера», торгово-экономические связи региона с другими странами сами по себе еще не означали бы ослабления там политического влияния СССР; более того, Советский Союз должен быть заинтересован в процветании «своих соседей, находящихся под его покровительством». Равным образом и национальное самоопределение вовсе не обязательно должно было привести к власти антисоветские режимы в этих странах, учитывая заметное усиление в них демократических и левых сил за годы войны. Страны региона могли быть свободными и дружественными к СССР одновременно.[47]

Приглашенный для обсуждения этого вопроса Ч.Болен заявил, что не считает «программу-мини-

мум» представляющей угрозу американским интересам. Он отметил, что перед Советским Союзом к концу войны встанет огромная проблема восстановления экономики, и даже для возвращения к уровню производства 1941 г. ему может потребоваться лет пятнадцать. Поэтому, на его взгляд, Советский Союз вряд ли выйдет за рамки этой минимальной программы, по крайней мере — в первые послевоенные годы. Вместе с тем Болен предупреждал, что советские лидеры могут трактовать понятие «дружественных правительств» иначе, чем западные, и считал, что «будущее Чехословакии будет подлинной проверкой способности советской системы существовать бок о бок с несоветской системой, не пытаясь определять ее внутренние дела».[48]

Окончательный выбор в этом вопросе, заключил Болен, будет зависеть от «готовности Советского Союза навсегда отказаться от мессианского духа в отношениях со своими соседями». В ответ один из членов комитета усомнился в том, что «в отношениях между однотипными обществами гармония более вероятна, чем между различными по своему устройству обществами. Он отметил, что идеологическое вмешательство России в других странах было формой защитного механизма на тот период, когда СССР ощущал угрозу со стороны окружающего капиталистического мира; поэтому с исчезновением этого страха ситуация может в корне измениться».[49]

К осени 1944 г. планировщики госдепартамента, встревоженные ужесточением советской позиции по Польше и растущими англо-советскими противоречиями в регионе, стали ратовать за активизацию политики США в Восточной Европе. Американцам импонировала роль «честного посредника» между «британским экспансионизмом и советским доминированием», умеряющего захватнические аппетиты обеих сторон. Но для этого, как подчеркивал Болен, Соединенным Штатам нужно было отказаться «от привычной роли наблюдателя в этой части света» и занять «позитивную позицию, к которой

затем можно было подтянуть Великобританию и Россию».[50] Конкретным наброском этой «позитивной позиции» вскоре станут разработанные при активном участии Болена рекомендации по Восточной Европе к Ялтинской конференции — «Декларация об освобожденной Европе» как свод принципов ее демократического самоопределения и проект создания Чрезвычайной высокой комиссии для Европы как механизма союзного контроля за соблюдением этих принципов.[51] Однако к тому времени строительство новой Восточной Европы окончательно перейдет из стадии планирования в практическую плоскость.

Отметим, что в антисоветизме американские планировщики все же отставали от своих британских коллег. Английский эквивалент «комиссии Нотстера» — Комитет планирования на послевоенный период, состоявший в основном из военных, летом осенью 1944 г. уже вовсю обсуждал планы создания западноевропейского блока для «сдерживания» СССР, вызывая опасения в руководстве Форин офис. Э.Иден предупреждал коллег о том, что планы военных, «рассматривающие Россию как врага номер один», грозят стать «самосбывающимся пророчеством».[52]

Советская проблематика была лишь частью внешнеполитических разработок вашингтонских планировщиков. Большое внимание в них уделялось и общеевропейским проблемам, которые изучались преимущественно под углом зрения «пацификации Европы» — этого «самого конфликтного района мира на протяжении многих лет», по словам Берла.[53] В разгар войны эксперты госдепартамента еще не связывали этой «пацификации» с постоянным военным присутствием США и военно-политическими союзами с Западной Европой: господствовало мнение о том, что США выведут свои войска с континента вскоре после окончания войны под давлением конгресса и общественного мнения страны. Поэтому прежде всего искались европейские решения проблемы Европы, на первое место среди которых вышла идея европейской интеграции.

Старая идея примирения Европы через ее объединение получила в годы войны новое дыхание, и в Вашингтоне внимательно изучали различные европейские проекты в этой области, а также практический опыт фашистской Германии в наведении «нового порядка», показавший большие возможности экономической интеграции континента.[54] Аналитики госдепартамента полагали, что важнейший импульс к европейской интеграции после войны даст «ощущение слабости подорванных войной европейских стран и их стремление к объединению усилий для укрепления позиций Европы на полях мировой экономической и политической конкуренции».[55] При этом считалось, что политическая интеграция будет отставать от экономической и развиваться в той мере, какая будет необходимой для обеспечения экономического объединения.[56] Долгосрочные перспективы такой интеграции оценивались по-разному: скептики вроде Берла полагали, что единая Европа если и реальна, то только в далеком будущем. Тем не менее комитет стал прикидывать возможные последствия этих интеграционных процессов для Америки и на этой основе попытаться определить оптимальное отношение к ним со стороны США.

Плюсы интеграции с точки зрения американских интересов виделись, во-первых, в том, что объединенная Европа «снизит вероятность контроля над континентом со стороны неевропейской державы», прежде всего — России, а в случае резкого ухудшения отношений с Россией сможет стать «эффективным противовесом» ей.[57] (Правда, в итоговом меморандуме комитета было решено убрать прямую ссылку на СССР).[58] Во-вторых, интеграция сулила облегчение задачи сдерживания Германии: в такой Европе «Германия будет окружена намного превосходящими ее по численности населения странами, которые крайне отрицательно относятся к германскому доминированию, и регулирование ее экономической жизни будет во многом определяться народами, всеми силами стремящимися предотвратить возрождение воен-

ной мощи Германии». Наконец, развитие интеграции в Европе может ограничить опасную борьбу великих держав за «зоны влияния» на континенте и со временем стать прочной альтернативой такому разделу.[59]

Вместе с тем европейская интеграция имела бы, как считали американские планировщики, и негативные стороны для США. Прежде всего она все-таки не исключала возможности нового доминирования Германии, но уже в рамках объединенной Европы и потому, возможно, еще более опасного. Внимательно изучив планы и достижения нацистского объединения Европы и его исторические прецеденты времен «первого» и «второго рейхов», эксперты госдепартамента пришли к выводу о том, «что, несмотря на все издержки и просчеты, нацистам удалось достичь высокого уровня координации в планировании производства, торговли и потребления в общеевропейском масштабе».[60]

Идея исторической миссии Германии как «главного организатора Европы», предсказывали авторы доклада, переживет и поражение нацистов: «Независимо от того, какую форму правления примет Германия после войны — республиканскую, монархическую или социалистическую, вполне вероятно, что эта концепция германского лидерства в той или иной форме останется основой внешней политики Германии, как это было во времена империи Гогенцоллернов, германской республики и нацистского Третьего рейха».[61] С учетом депопуляции остальной Европы в годы войны и сохраняющихся у Германии людских и других экономических ресурсов немцы могут вновь попытаться подчинить себе Европу, хотя и в новых, более цивилизованных формах. «Нельзя исключать, что после войны новое и более «европейски мыслящее» правительство Германии за одно-два десятилетия может преуспеть в создании серьезного европейского блока финансово-промышленных интересов в поддержку панъевропейского, а не пангерманского объединения» Европы. Но и такое объединение вряд ли будет соответствовать аме-

риканским интересам. «Опыт учит, что мощный европейский блок, соединяющий международные устремления ведущих групп Германии, Франции, Италии в сочетании с европейскими устремлениями Венгрии, Болгарии, Польши или других стран, вряд ли будет шагом вперед к организации всеобщего мира».[62]

Таким образом, американские планировщики в решении задачи сдерживания послевоенной Германии сталкивались со сложной дилеммой: «Если Европа останется разъединенной, это поневоле может способствовать сохранению за Германией роли возмутителя спокойствия; в единой же Европе Германия в долгосрочном плане может стать самой мощной организованной силой, влияющей на управление ею».[63]

Но даже если Германии не удастся подчинить себе объединенную Европу, возникала другая потенциальная угроза — превращение этой Европы в мощного экономического и геополитического конкурента США. В Старом свете могла появиться «поистине угрожающая комбинация экономической мощи», способная превратить Европу в протекционистский торгово-экономический блок. На случай такого сценария Соединенным Штатам предлагалось подумать о создании своих собственных торгово-экономических объединений в Западном полушарии и совместно с Великобританией.[64]

В политическом отношении европейская интеграция была чревата возникновением «сильного чувства европейской национальности (категория «идентичности» была еще не в ходу. — *Авт.*), которое со временем может достичь такой степени, что Европа станет грозным агрессивным образованием». Эксперты понимали, что для создания «Европейского Союза» (именно этот термин появился в недрах комитета) потребуется много лет, но учитывали и эту отдаленную перспективу. «Хотя в недалеком будущем просматривается лишь рыхлое политическое объединение ради ограниченных целей, — говорилось в главном докладе комитета на эту тему, — это вовсе не означает, что из этого

скромного начала лет через 25 или 50 не вырастет гораздо более внушительное образование, которое при определенных условиях может представить серьезнейшую опасность для США и всего мира».[65] Словом, «опасность с американской точки зрения заключается не в германизме, а в европеизме».[66] Эта опасность могла особенно возрасти в случае отсутствия после войны всеобщей организации безопасности и ее главного элемента в виде «пакта четырех держав» («большая тройка» плюс Китай), которые хотя бы отчасти уравновешивали панъевропейский сепаратизм.[67]

Отсюда — главная рекомендация для американской политики: «не поощрять, но и не тормозить» процессы интеграции в Европе, особенно если она будет иметь добровольный характер, демократическую структуру и поддерживаться большинством европейских стран.[68] В случае образования после войны сильной международной организации безопасности, США, как считалось, могли бы отнестись к этому процессу более позитивно, поскольку в таком случае он вряд ли «выйдет за пределы образования рыхлой конфедерации европейских государств».[69] Единственный вариант развития событий, при котором США должны будут активно поддержать объединительные тенденции в Европе, — это резкое обострение отношений с СССР: «Если растущее население и мощь Советского Союза станут угрожать Европе и Западу в целом, в интересах США скорей всего будет поощрение объединения Европы до такой степени, пока она не станет эффективным противовесом (Советскому Союзу. — *Авт.*)».[70]

При ретроспективном взгляде эти, казалось бы, чисто гипотетические рассуждения о будущем Европы впечатляют преемственностью американских опасений независимой и сильной Европы. Они прямо предвосхищают современное кризисное состояние трансатлантических отношений, наступившее, когда единая и независимая Европа действительно стала превращаться в реальность. Не менее выразителен и

контраст между этим настороженно-отстраненным отношением к европейской интеграции и последовавшим всего через несколько лет периодом форсированного сколачивания «атлантического сообщества» на антисоветской основе, когда США стали одной из главных движущих сил европейской интеграции. Но это будет уже совсем другая интеграция — при активном участии и направляющей роли США, что надолго изменит отношение к ней американской дипломатии.

Будущее Европы и ее место в американо-советских отношениях зависело и от путей социально-политического развития континента после войны. Эта проблематика оставалась на заднем плане анализа планировщиков госдепартамента; хотя опасения новых революционных потрясений в Европе были весьма сильны, члены «комитета Ноттера», как уже отмечалось, не смогли прийти к согласованному мнению о линии поведения США в такой ситуации, не говоря уже о выработке стратегии предотвращения подобных потрясений.

Одной из последних попыток подступа к этой проблеме можно считать меморандум Болена, составленный для комитета в конце марта 1944 г. «Судя по доступной нам скудной информации о чувствах и настроениях народов Европы, — писал Болен, — общее настроение направлено явно против реставрации довоенных политических и социальных форм и имеет четко выраженную левую тенденцию». Однако «единственным правительством в настоящее время, использующим превалирующий настрой на прогрессивное социальное развитие, является советское правительство, действующее через местные компартии. С помощью этих организаций, получивших серьезную поддержку благодаря своему организованному и активному сопротивлению немцам практически во всех оккупированных странах, советское правительство изображается в качестве единственного государственного руководства, заинтересованного в продвижении социального прогресса и демократии.

Правительства США и Великобритании выставляются сторонниками реакции; при этом используются все возможности, чтобы подчеркнуть, что их политика направлена на реставрацию старых систем особых привилегий и экономической реакции».

Опасность этой ситуации автор меморандума видел не только в тактическом пропагандистском выигрыше СССР, но и в том, что таким путем европейским компартиям и стоящему за ними Советскому Союзу удастся преодолеть узость своей естественной социальной базы и превратиться в ведущую политическую силу послевоенной Европы. Между тем основная политическая масса Европы «не расположена к коммунистическим режимам, прямо или косвенно контролируемым Москвой». Задача США в этой борьбе за душу Европы — доказать, что они не являются ретроградной страной и готовы поддержать эти некоммунистические левые силы. «Указание на то, что Соединенные Штаты помогут тем европейским силам слева от центра, которые в отличие от коммунистов верят в социальные изменения в сторону социализма через демократические процедуры и при сохранении гражданских свобод, может внести существенный вклад в противодействие влиянию компартий». Такая поддержка, подчеркивал Болен, должна не сводиться только к декларациям, а подкрепляться реальными делами, особенно в тех районах, которые после высадки в Нормандии окажутся под американским контролем.[71]

Меморандум Болена интересен прежде всего как пример раннего понимания американскими планировщиками того, что послевоенная Европа станет полем не только геополитического, но и идеологического соперничества с Советским Союзом, в котором Соединенные Штаты могут сыграть важную роль. Примечательно, что эта роль виделась не в подавлении «коммунистических революций», а в их профилактике. Реальная политика США в Европе будет более противоречивой: она сохранит элементы «ретроградства», а помощь будет оказываться лишь антикоммунистическим силам как консервативного, так и умеренного свойства. Но это будет уже не вина планировщиков.

На одном из заседаний комитета осенью 1944 г. тот же Болен заметил, что «Советы из-за нехватки квалифицированных кадров в области международных отношений зачастую не составляют долгосрочных планов во внешней политике, а действуют по обстановке, не всегда ясно понимая, к чему ведут их действия».[72] Хотя Болен был отчасти прав, это не значит, что советская дипломатия в годы войны не занималась планированием. Именно в этот период, несмотря на острый дефицит подготовленных кадров для решения оперативных задач, в НКИД разворачивается интенсивная работа по подготовке к послевоенному периоду, аналог которой трудно найти во всей остальной истории советской дипломатии.

Первый шаг к послевоенному планированию был сделан почти одновременно с американцами — в декабре 1941 г. под свежим впечатлением поражения вермахта под Москвой, которое, казалось, открывало дорогу к скорой победе (не случайно в приказе «Верховного» на 1942 г. говорилось, что «недалек тот день», когда советская земля будет очищена от немецко-фашистских захватчиков).[73] Тогда — в канун нового 1942 г., и поступила через Молотова к Сталину докладная записка С.А. Лозовского с предложением начать готовиться к мирному урегулированию. «Хотя война в полном разгаре и неизвестно, когда она закончится, но исход войны уже ясен. Германия, Япония, Италия и их союзники будут разгромлены, — уверенно предсказывал автор записки. — В связи с этим пора уже начать подготовку мирной конференции, задачи которой будут гораздо сложнее задач Парижской мирной конференции». Сложность эта, по Лозовскому, определялась, во-первых, тем, что «из строя выйдут четыре великие державы», а во-вторых, послевоенной поляризацией сил между СССР и западными странами: «Решающее слово на этой мирной конференции будет за той страной, которая в экономическом и военном отношении окажется к концу войны наиболее сильной. Мы бу-

дем иметь против себя на конференции не только блок Соединенных Штатов и Великобритании, но и другие капиталистические государства (Польша, Чехословакия и т.д.), которые все вместе будут прежде всего заботиться о сохранении капиталистической системы, в том числе и в побежденных странах, и об удержании Советского Союза во что бы то ни стало в старых границах до 1939 г.».

Как видно, Лозовский довольно точно предсказал первоначальный настрой американских планировщиков. Необходимость «заняться хотя бы в предварительном порядке подготовкой будущего мира» автор объяснял и тем, что на Западе она уже началась — в виде Атлантической хартии, польско-чехословацкого проекта федерации и др. Предлагалось вести эту работу по нескольким основным проблемам: компенсация финансово-экономического ущерба, нанесенного Советскому Союзу, границы (особенно на Дальнем Востоке, балтийском и черноморском направлениях («под углом зрения безопасности и свободы коммуникаций»), а также пути «обезвреживания» Германии и ее союзников.[74]

Предложение Лозовского, видимо, понравилось Сталину, поскольку уже через месяц Политбюро постановило создать «комиссию по послевоенным проектам государственного устройства стран Европы, Азии и других частей мира». Комиссии поручалась подготовка дипломатических материалов по спорным территориальным проблемам, сферам влияния, международной организации и другим «затрагивающим СССР» вопросам. Председателем комиссии был назначен В.Молотов, а ее членами — А. Вышинский, В. Деканозов, С. Лозовский, А. Соболев, Я. Суриц и академик Е. Варга.[75]

Однако война, как известно, затянулась, и подготовку к миру пришлось отложить. Лишь осенью 1943 г. после коренного перелома эта задача вновь оказалась в повестке дня. Были образованы сразу три комиссии НКИД, которые занялись различными аспектами этой проблематики — Комиссия по подготовке мирных договоров и послевоенного уст-

ройства во главе с Литвиновым, Комиссия по вопросам перемирия, которую возглавил Ворошилов, и Комиссия по репарациям во главе с Майским. Работа этих комиссий НКИД уже получила некоторое освещение в отечественной литературе;[76] однако имеет смысл специально остановиться на направлениях этой работы, связанных с советско-американскими отношениями. Речь идет прежде всего о материалах комиссии Литвинова — советского аналога «комитета Ноттера», а также о прогностических записках Майского и Громыко, дающих наглядное представление о том, как виделись перспективы послевоенного мира и советско-американских отношений с Кузнецкого моста.

Перспективы эти представлялись как никогда широкими. К началу 1944 г., когда развернулась эта работа, исход великой войны был уже предрешен. Неизбежный разгром двух главных врагов России на западе и востоке, превращение СССР из международной парии в ведущую военную державу мира, признанного лидера победоносной антигитлеровской коалиции, новые отношения сотрудничества с ведущими демократиями Запада — все это открывало широкие стратегические горизонты, сулило возможность коренной перестройки прежнего миропорядка в интересах СССР.

В то же время война показала и зияющие бреши в обеспечении безопасности страны: проницаемость ее западных границ, ограниченность выхода в Мировой океан, отсутствие надежных союзников и стратегических опорных пунктов за пределами страны, острая нехватка потенциала проецирования мощи (стратегической и транспортной авиации, современного океанского флота), недостаточность военно-технологической базы. Грядущая победа давала уникальную возможность ослабить эти уязвимости, перевести огромные жертвы советского народа и военные успехи Красной Армии в долговременное укрепление международных позиций СССР и тем самым — восстановить историческую справедливость в отношении России и ее

законных интересов, нарушенную в неудачных войнах предшествовавших десятилетий.

Как же виделась эта «стратегическая дезидерата», или, говоря словами Майского из его записки начала 1944 г., «желательные основы будущего мира» в построениях советских дипломатов? Разумеется, эти построения были сугубо предварительными, ибо никто не мог точно предсказать конкретную обстановку и расклад сил к окончанию войны; отсюда — и разброс мнений по многим вопросам. И все же «программа-минимум», которую ясно различали и американские эксперты, была очевидной и бесспорной: долговременное обезвреживание Германии и Японии, «дружественные государства» вдоль западных границ, возвращение прав и территорий на Дальнем Востоке, утраченных в войне с Японией, пересмотр режима черноморских проливов.

По границам 1941 г. особых проблем с американцами не предвиделось. Литвинов в большой записке «О взаимоотношениях с США» (январь 1945 г.) уверенно прогнозировал: «Не приходится ожидать больших трений между нами и США при окончательном оформлении наших западных границ. США ни политически, ни экономически не заинтересованы в судьбе Прибалтики или Западной Украины и Белоруссии. Уступая давлению известных кругов, Рузвельт будет, вероятно, выдвигать по этому вопросу «идеологические» возражения. Он может, например, предлагать плебисцит в Прибалтике, не придавая, однако, своему предложению особого значения. В конце концов, он примирится с неизбежным и признает границы, соответствующие нашим стремлениям».[77] А.А. Громыко был лишь немногим осторожней — в своей развернутой записке «К вопросу о советско-американских отношениях» (июль 1944 г.) он писал: «Правительство Рузвельта считает, что вопрос о Прибалтийских странах решится сам собой при освобождении этих стран Красной Армией» (автор ссылался на кулуарные разговоры с деятелями администрации, включая Гопкинса, «который не скрывал, что, говоря это, он выражает не только личное мнение, но и мнение

президента»). Но все же Рузвельт «до окончания войны, во всяком случае, учитывая внутриполитическую обстановку... не пойдет на признание Прибалтийских республик составными частями СССР».[78]

В вопросе о Дальнем Востоке полной ясности (во всяком случае до Ялты) не было. Майский, например, в своей программной записке предлагал заполучить Южный Сахалин и Курилы политическими средствами, «не сделав ни одного выстрела» и «предоставив «честь» разгрома Японии англичанам и американцам. Это сэкономило бы нам человеческие и материальные потери, а вместе с тем заставило бы США и Великобританию несколько порастрясти свои человеческие и материальные ресурсы. Тем самым империалистический пыл США в послевоенную эпоху был бы несколько охлажден... Это было бы также нашим реваншем за позицию англо-американцев в вопросе о втором фронте».[79]

Немалые разногласия среди советских экспертов возникали по поводу обращения с поверженной Германией и роли германского вопроса в отношениях с США. Наиболее жесткую позицию здесь занимали комиссии Литвинова и Майского, выступавшие за «аграризацию» и расчленение Германии как самый надежный способ ее долговременной нейтрализации. Эта жесткость была связана не только с антигерманским настроем Литвинова, но и его пессимизмом в отношении возможности проведения единой союзной политики в Германии (который он не скрывал и от своих доверенных американских собеседников). «Теоретически можно было бы совершенно обезвредить Германию на долгие годы путем разоружения и репараций, — говорил он на заседании комиссии в марте 1944 г., — но при условии, что соответственные мероприятия проводились бы последовательно и под неослабным контролем трех великих держав, для чего требуется длительное согласие между ними. Ввиду отсутствия гарантий такого согласия и возможности расхождений возникает опасность сознательного ослабления

контроля со стороны некоторых держав и даже активного поощрения вооружения и реиндустриализации Германии. Расчленение затруднит подобные попытки. Вновь вооружить расчлененную на множество независимых государств Германию и снова превратить ее в мощное промышленное государство — дело многих и многих десятилетий. И только в этом я вижу смысл расчленения».[80]

Возможность расхождений с США по германскому вопросу (особенно по проблеме репараций) предвидел и А.А.Громыко.[81] Более сдержанной позиции придерживалась комиссия Ворошилова, которая и внесла основной вклад в разработку принципов обращения с Германией.

Что касается «дружественных государств» в Восточной Европе, то советские дипломаты, как правило, остерегались открыто предвосхищать характер их отношений с СССР, как бы оставляя это на усмотрение высшего руководства. Но этот вопрос затрагивался в рассуждениях авторов о будущем политическом развитии этих стран и Европы в целом. Здесь, как и в «комитете Ноттера», рассматривались два основных варианта — революционный, следствием которого будет установление режимов советского типа, и эволюционный, проходящий в формах буржуазной демократии или коалиционных правительств в духе «народного фронта» 1930-х гг. Первый сценарий, по убеждению экспертов, был самым пугающим для США. «Больше всего, — писал Громыко, — их тревожит мысль о возможных социальных переворотах в европейских странах, могущих произойти в результате усиления влияния Советского Союза в Европе в годы войны, хотя пока сознание общности интересов обеих стран в этой войне в известной степени приглушает эту тревогу».[82] Реализация революционного сценария грозила резко обострить советско-американские противоречия, превратив СССР и США, по словам Майского, в «противоположные полюса социального напряжения».[83]

Подобная поляризация резко усилит «ретроградную линию» США на поддержку правконсер-

вативных сил в Европе, о которой писал Майский. «Перед угрозой установления советского режима», Соединенные Штаты, вторил ему Громыко, «могут поддержать и диктатуру фашистского типа».[84] В целом же «пролетарские революции» в Европе и особенно в Германии, как подчеркивал Майский, создадут принципиально иную политическую ситуацию в мире и потребуют «пересмотра» всей внешнеполитической стратегии СССР. Но «это пока еще музыка будущего». Превращение континентальной Европы в социалистическую Майский относил на 30—50 лет или на «два поколения» вперед.[85]

Отдав дань политически корректной революционной перспективе, советские планировщики в своих конкретных построениях исходили из существующих тенденций в рамках эволюционного развития событий. При таком варианте перспективы Европы и советско-американского взаимодействия в ней представлялись совсем иными. Выделяя позитивные моменты в послевоенной политике США, Громыко уверенно предсказывал, что при отсутствии революционных потрясений «США будут сочувствовать и способствовать установлению в западноевропейских странах, и прежде всего в Германии, буржуазно-демократических политических режимов»: «...если оставить в стороне возможность социалистической революции в тех или иных европейских странах, то логичным является предположение, что Соединенные Штаты, по крайней мере в течение определенного периода времени, также будут противником фашистских форм правления».[86]

Майский заходил еще дальше в видении демократизации Европы как сферы общих интересов «большой тройки». Говоря о наиболее проблемных с точки зрения демократии странах «оси» и их сателлитах, он предлагал не останавливаться и перед тем, что сегодня бы назвали демократическими интервенциями: «Здесь, возможно, для создания настоящих демократических режимов придется пустить в ход различные меры влияния извне, т.е., в первую очередь, со стороны СССР, США и Анг-

лии. Перед таким «вмешательством во внутренние дела» других наций не следует останавливаться, ибо демократия в государственном устройстве стран является одной из существенных гарантий прочного мира...» «Есть основания думать, — заключал Майский, — что по вопросу о демократическом режиме в странах послевоенной Европы сотрудничество между СССР, США и Англией окажется возможным, хотя и не всегда легким».[87]

Литвинов расценивал возможность такого сотрудничества более скептически, видя в нем больше проблем, чем решений: «...неодинаковый подход к наведению порядка и установлению власти в некоторых странах Европы может породить недоразумения и трения между нами с одной стороны, и Англией и США — с другой». Но и он усматривал интерес США в «нормализации жизни европейских стран», «установлении таких буржуазно-демократических или даже консервативных форм правления, при которых не приходилось бы опасаться социальных потрясений».[88]

Короче говоря, эволюционный путь развития Европы в буржуазно-демократическом, либеральном направлении не представлял серьезной угрозы советско-американским отношениям, в том числе — и в Восточной Европе, где при этом варианте западные соседи СССР сохраняли свое независимое существование, хотя и входили бы в советскую орбиту безопасности. Отсюда — предложения Майского о заключении договоров о взаимопомощи с Румынией, Югославией и Болгарией, о размещении советских военных баз в Финляндии. Отсюда же — и дебаты в комиссии Литвинова, и предложения Майского о подходе к тем или иным восточноевропейским странам. «...Мы не заинтересованы в нарождении слишком большой и слишком сильной Польши, — без обиняков писал Майский. — В прошлом Польша почти всегда была врагом России, станет ли будущая Польша действительным другом СССР... никто с определенностью сказать не может».[89]

Литвинов и Лозовский также были против «чрезмерного усиления» Польши как «барьера

против нас и острия» в руках английской политики.[90] То же самое относилось к Венгрии и Румынии. Другое дело — Чехословакия, способная, по словам Майского, «стать проводником нашего влияния в центральной и юго-восточной Европе», поэтому «если при окончательной перекройке карты Европы окажется возможным еще что-либо приразать к Чехословакии, это следует сделать».[91] При всем цинизме этих выкладок за ними, несомненно, крылась презумпция независимого, «несоветского» статуса этих стран — иначе зачем было бы ослаблять лояльных союзников? Другими словами, под «дружественными государствами» подразумевалось нечто вроде традиционной, «открытой» сферы влияния, с которой готовы были смириться и планировщики госдепартамента.

Наконец, последний пункт «программы-минимум» — пересмотр режима черноморских проливов также не должен был встретить непреодолимых препятствий: англо-американцы обещали поддержать пересмотр конвенции в Монтре, а Турция представлялась неспособной противостоять советскому стремлению ослабить ее позиции «часового на Проливах», по выражению Майского.[92]

Но «стратегическая дезидерата» советских планировщиков, как и опасались их американские коллеги, не ограничивалась этой «программой минимум». Тот же Майский в своей записке предлагал превратить в зону советского влияния Северный Иран, который «прикрывает наш Кавказ и обеспечивает нашу связь с Персидским заливом», а также обратить внимание на предстоящую конкуренцию вокруг колониальных владений стран «оси», советуя «в срочном порядке подготовиться к этой перспективе».[93] (Молотов подчеркнул эти слова, взяв полезную идею на заметку.) Но наиболее полное отражение максимальные геополитические притязания советских планировщиков получили в разработках комиссии Литвинова.

В нее входили два других заместителя Молотова — С. Лозовский и Д. Мануильский, близкие к

Литвинову дипломаты Я.Суриц и Б.Штейн, а также авторитетный историк-международник академик Е. Тарле. При всех разногласиях между ее маститыми членами именно Литвинов определял содержание работы комиссии, он же был автором основных записок от ее имени, направляемых затем Сталину и Молотову и написанных с присущими ему блеском и эрудицией. Литвинову приходилось работать с открытыми и тассовскими материалами, поскольку он не имел допуска к шифрпереписке, на что он неоднократно и безуспешно жаловался Молотову. Это придавало работе комиссии несколько академический характер, зачастую вынуждая Литвинова, по его собственным словам, «ограничиваться общими прогнозами».[94] Тем не менее за полтора с небольшим года работы комиссия произвела на свет немало интересных прогнозов и рекомендаций по проблемам послевоенного мироустройства, некоторые из которых нашли затем практическое применение. То была последняя вспышка творческой активности ветерана советской дипломатии, подлинный масштаб которой оставался неизвестным до недавнего открытия этих документов — ранее биографы Литвинова считали его работу в комиссии «бессильной синекурой».[95]

Взятые в своей совокупности записки Литвинова представляли собой концептуальное обоснование стратегических запросов СССР на послевоенный период, которые шли в развитие внешнеполитических устремлений царской России. Это прежде всего касалось обеспечения свободы выхода Советского Союза в Мировой океан как на южном, так и на западном направлении.

В вопросе о черноморских проливах Литвинов в качестве оптимального решения предлагал учреждение совместного контроля над ними черноморских держав, при котором у СССР и его потенциальных союзников — Болгарии и Румынии — было бы три четверти голосов. Подлежал пересмотру и регламент пропуска военных и торговых судов через проливы для обеспечения Советскому Союзу сво-

бодного прохода любых своих кораблей как в мирное, так и в военное время.

Но этим дело не ограничивалось: разработки комиссии предусматривали создание опорных пунктов в стратегически важном Средиземноморье — давней вотчине Великобритании — за счет бывших итальянских колоний, рассматривались возможные варианты установления советской опеки (индивидуальной или совместной с другими государствами) над Додеканезскими островами, Триполитанией и даже Палестиной.[96] Литвинов особенно подчеркивал стратегическое значение Додеканезов: «Прикрывая подступы к побережью Малой Азии, контролируя важнейшие морские коммуникации Восточного Средиземноморья, Додеканезы могут быть использованы как плацдарм для нападения на Анатолию, Грецию и Египет и как ключевая позиция на пути к греческим островам Эгейского моря и далее к Дарданелам и Стамбулу». «Эритрея и Сомали, — продолжалось в записке «К вопросу о получении подопечных территорий», — могут нас интересовать и как промежуточные базы между Черным морем и Дальним Востоком, а также как средство влияния на близлежащие арабские страны и Абиссинию. Подходящим объектом была бы Ливия, где мы могли бы стать твердой ногой в бассейне Средиземного моря».[97] В целом намечался мощный стратегический прорыв в Средиземноморье, вратами которого должны были стать черноморские проливы под советским контролем: «Предпосылкой получения и удержания нами любых из этих объектов, — писал Литвинов, — представляется наш контроль над проливами и свободный выход нашего максимально усиленного флота из Черного моря».[98]

Важное значение придавалось и обеспечению растущих стратегических интересов СССР на Северо-Западе — в акватории Балтийского моря. Балтийские проливы, подчеркивал Литвинов, лежат «на линии коммуникаций между советскими портами Балтийского моря и портами СССР в Ледовитом океане, в Белом и Черном море и в Тихом океане... и

имеют такое же значение для Советского Союза как, например, Панамский канал для США... Опыт первой и второй мировых войн показывает, какой ущерб может быть нанесен Советскому Союзу при овладении господством над проливами враждебным государством и разъединении советских балтийских портов со всем остальным миром».[99]

Если НКВМФ и соответствующий территориальный отдел НКИД для решения этой задачи предлагали навязать Норвегии и Дании соглашения о совместной обороне архипелага Шпицберген и острова Борнхольм, то Литвинов делал основной упор на интернационализации Кильского канала и балтийских проливов; последнее — при участии только балтийских государств по аналогии с предложением по черноморским проливам, предлагая использовать советское военное присутствие на датской территории в качестве рычага давления на союзников: «Наше предложение может быть подкреплено намеками на неизбежность, в случае отклонения его, изыскания нами других мер безопасности в Балтийском море, например, созданием своего рода балтийского Гибралтара путем укрепления островов Рюген и Борнхольм».[100]

В целом «максимальная сфера» интересов СССР, по замыслу Литвинова, должна была включать в себя «Финляндию, Швецию, Польшу, Венгрию, Чехословакию, Румынию, славянские страны Балканского полуострова, а равно и Турцию».[101] В следующей записке — «К вопросу о блоках и сферах влияния» (январь 1945 г.) к этому списку была добавлена и Норвегия.[102]

Как видно, разработки комиссии Литвинова очерчивали крайне амбициозную и явно завышенную геополитическую «дезидерату», далеко превосходящую не только худшие опасения американских планировщиков о советских «аппетитах», но и конкретные запросы Кремля, выдвигавшиеся в 1945 — 1946 гг., хотя Сталин и Молотов взяли на вооружение ряд элементов этой программы (прежде всего — черноморско-средиземноморский проект). Но даже и этот сокращенный вариант вызвал,

как известно, серьезные осложнения в отношениях с западными союзниками. Отсюда — закономерный вопрос: на что же рассчитывали опытные советские дипломаты в реализации подобной программы и как они надеялись совместить ее с другой важной задачей, выдвигавшейся в этих документах — сохранением сотрудничества в рамках большой тройки»? Парадокс ситуации подчеркивается еще и тем, что у американских внешнеполитических планировщиков, как мы видели, больший пессимизм в отношении перспектив этого сотрудничества сочетался с более скромной оценкой геополитических запросов Советского Союза. При всей некоторой искусственности и непоследовательности этих построений, уже отмеченной отечественными исследователями,[103] за ними скрывалась целая система представлений о характере мирового развития, присущих «стратегической культуре» советской дипломатии военных лет.

Одной из таких «несущих» концептуальных конструкций было представление о США как о мощной и растущей, но отдаленной державе, интересы которой мало сталкиваются с интересами СССР. И.М. Майский в своей записке называл США «твердыней в высшей степени динамичного империализма, которая будет энергично стремиться к широкой экспансии в различных районах мира...». Но это будет «экспансия нового типа», опирающаяся не на военную силу и территориальные захваты, а методы «финансово-экономической аннексии», которая к тому же географически «в основном пойдет мимо нас и будет иметь своим главным противников Великобританию». Последняя, напротив, выйдет из войны обедневшей и ослабевшей, думающей «не о новых завоеваниях, а о сохранении того, что у нее уже есть». Рассчитывая прежде всего на финансово-экономические рычаги, США, как считалось, не задержат свои войска в Европе и вряд ли будут представлять серьезную военную угрозу для СССР. «...США — не могущественная сухопутная держава (и вряд ли станет ею), — писал Майский, — ... между СССР и США

залегли два океана, которые делают нашу страну относительно неуязвимой для американской авиации (по крайней мере, в первый послевоенный период)». Он, правда, не исключал, что «если бы в более отдаленном будущем между СССР и США возникли какие-либо острые противоречия, Америка могла бы создать для СССР немало серьезных затруднений»: «начать различными способами стимулировать возрождение Германии и Японии... сколачивать антисоветский блок в Европе», «еще опаснее был бы союз США с Китаем, острием своим направленный против СССР. Американская техника плюс китайская живая сила смогли бы стать большой угрозой для Советского Союза...»[104] Это будущее (за исключением американо-китайского альянса) наступило гораздо раньше, чем предполагал Майский, но тогда ни он, ни Литвинов с Громыко не предвидели скорого разрыва с Америкой. Даже более скептически настроенный в этом отношении Литвинов считал, что «отсутствуют основательные причины для серьезных и длительных конфликтов между США и СССР в какой-либо части света (за исключением, может быть, Китая)».[105]

С учетом предполагаемого военного ухода США из Европы и обезвреживания Германии на континенте должны были остаться только две великие военные державы, что вполне соответствовало советским представлениям о желательном европейском балансе сил. Его важнейшее условие, подчеркивал Майский, — «предупреждение создания в Европе каких-либо других держав или комбинаций держав с сильными сухопутными армиями. Нам выгоднее всего такое положение, при котором в послевоенной Европе была бы только одна могущественная сухопутная держава — СССР и только одна могущественная морская держава — Англия». Поэтому возрождение Франции представлялось желательным «без ее былого военного могущества»,[106] а Италию следовало ослабить репарациями, изъятием колоний и сужением границ. «Моральный принцип наказания — он неплох на будущее время, — говорил на заседании комиссии Литвинова Е.Тарле, — ведь предстоят еще тре-

вожные времена, и память об известного рода ущербе, который влечет за собой нападение на Россию, будет иметь воздействие даже для итальянского народа, впечатлительного, легко увлекающегося и трижды воевавшего против нас без провокаций с нашей стороны».[107]

С ослабевшей же Великобританией можно будет договориться «на базе полюбовного разграничения сфер безопасности в Европе по принципу ближайшего соседства» (Литвинов).[108] В сферу влияния Англии, по мнению Литвинова, могли войти Голландия, Бельгия, Франция, Испания, Португалия и Греция, а Норвегия, Дания, Германия, Австрия и Италия могли бы составить «нейтральную зону». Но что может подвигнуть Англию на столь радикальную сделку? Сам Литвинов отвечал на этот вопрос вполне определенно — «сознание неизбежности серьезных трений и напряженности отношений между Англией и США при отсутствии такого соглашения и оставлении за нами полной свободы действий». Соглашаясь с Майским в том, что США будут теснить Англию с ее позиций, Литвинов подчеркивал: «При таких малорадужных перспективах перед Англией не может не возникнуть вопрос о целесообразности обеспечения себе длительного спокойствия в Европе путем прочного соглашения с СССР».[109] «Логика вещей, — вторил ему Майский, — должна будет все больше толкать Англию в сторону СССР, ибо ее основная борьба в послевоенный период все-таки будет борьбой с США». А США, в свою очередь, «будут заинтересованы по меньшей мере в нейтрализации СССР при проведении своих империалистических планов».[110]

Здесь мы подходим к еще одной основополагающей презумпции советских планировщиков — о неизбежности англо-американского антагонизма как важнейшей тенденции развития послевоенного мира. Для Майского и его коллег было «совершенно очевидно, что мировая ситуация в послевоенную эпоху будет окрашена в цвета англо-американских противоречий».[111] Глубоко укорененное в

большевистской теории империализма, это представление было детерминировано не только идеологически, но и стратегически, ибо давало главную надежду на поддержание равновесия в рамках «большой тройки», лежавшего в основе этих советских представлений о послевоенном миропорядке. Этот антагонизм не только исключал (или по крайней мере сильно затруднял) формирование англо-американской коалиции против СССР, но и сулил советской дипломатии повышенную свободу рук и возможность использовать эти противоречия в своих интересах. Так, например, признавая «огромную стратегическую важность» бывших итальянских колоний в Африке для Великобритании и предвидя ее сильное сопротивление советским запросам, Литвинов рассчитывал в этом на помощь США как противника британского империализма: «Для того, чтобы сбить Англию с ее позиций, нам несомненно потребуется сильная поддержка со стороны США», — писал он в своих рекомендациях к Потсдамской конференции.[112] В тоже время и Великобритания с ее флотом и широкой сетью военных баз, писал Майский, «может нам понадобиться для балансирования перед лицом империалистической экспансии США».[113]

Вырисовывался своеобразный «концерт» трех великих держав, основанный на разграничении и взаимном признании сфер влияния друг друга. Хорошо понимая опасность раскола мира на враждующие военно-политические блоки, Литвинов и его коллеги рассчитывали избежать его как путем сохранения сотрудничества между членами «большой тройки» (прежде всего — в поддержании мира и нейтрализации Германии с Японией), так и за счет сохранения этих сфер влияния открытыми и ограниченными лишь сферой безопасности. Так, «полюбовный раздел» с Великобританией, по Литвинову, должен был быть основан на том, что «Англия должна обязаться не вступать в какие-либо особо близкие отношения и не заключать против нашей воли каких-либо соглашений со странами, входящими в нашу сферу безопасности, и само со-

бой не должна добиваться там военных баз, ни морских, ни воздушных. Такие же обязательства мы можем дать в отношении английской сферы безопасности».[114] Для придачи этим сферам большего международно-правового обоснования Литвинов даже предлагал облачить их в форму «региональных секций» в рамках будущей ООН, которые бы закрепили лидирующее положение великих держав в пределах зон их региональной ответственности без ущемления независимости остальных входящих в них стран (зона США при этом должна была охватывать все Западное полушарие и большую часть Азиатско-Тихоокеанского региона).[115] В целом эта схема, как признавал и сам Литвинов, перекликалась с концепцией сотрудничающих «стратегических орбит» У. Липпмана из его нашумевшей книги 1944 г. «Цели США в войне». Главное различие состояло в том, что Липпман вводил Англию в «атлантическую орбиту», находящуюся под эгидой США, и включал в нее всю Западную и Центральную Европу, т.е. продвигал ее заметно дальше на восток, чем это делал Литвинов.[116]

Сегодня, более чем полвека спустя, просчеты советских планировщиков видны невооруженным взглядом. Находясь в плену экономического детерминизма, они явно переоценили потенциал «межимпериалистических противоречий» (как между США и Англией, так и между англосаксами с одной стороны и Германией с Японией — с другой). По логике большевистской теории империализма первые не должны были быть заинтересованы в усилении своих потенциальных конкурентов. Так, например, Майский предлагал склонить США и Великобританию к искомой сумме репараций с Германии, давая им «понять, что США и Англия в конечном счете должны выиграть в связи с исчезновением столь опасного конкурента, как Германия. Однако это надо делать в осторожной форме, так как в силу свойственного им лицемерия англо-американцы не захотят признать правильность

данного вывода открыто».[117] Американские же стратеги видели в Германии не только конкурента.

Как следствие, советские эксперты недооценили солидарность Запада, особенно перед лицом угрозы расширения советского влияния. Их поглощенность американской финансово-экономической экспансией помогла «проглядеть» другую — военно-стратегическую экспансию США, связанную с новым глобальным пониманием ими своих интересов безопасности и угроз этим интересам. Этот же экономический детерминизм приводил советских экспертов к преувеличению западной заинтересованности в развитии торговых связей с СССР. Не оправдались и расчеты на сохранение советской сферы влияния открытой и ограниченной: если кремлевское руководство было осторожнее экспертов НКИД в масштабе своих притязаний, то оно же было гораздо жестче и неразборчивей в методах построения «советской империи». Планы «полюбовного раздела» Европы и мира на сферы влияния оказались нежизнеспособными еще и потому, что не учитывали ни самостоятельности объектов такого раздела, ни неспособности его субъектов — англо-саксонских демократий — к столь откровенно циничному размену. В любом случае подобное согласованное размежевание потребовало бы определенного уровня взаимного доверия и совместимости подходов обеих сторон, до чего в действительности было очень далеко. Это понимал и главный автор идеи «полюбовного раздела», который, похоже, в душе и сам не очень-то верил в реальность своего замысла. В октябре 1944 г. — как раз в период подготовки своих основных записок Литвинов в разговоре с известным американским журналистом Э. Сноу говорил о сползании «большой тройки» к разрыву на почве растущего недоверия друг к другу: «Дипломатия, возможно, могла бы кое-что сделать для его предотвращения, если бы мы прояснили англичанам наши цели и границы наших потребностей. Но сейчас уже слишком поздно, подозрения накопились у обеих сторон».[118]

И все же определенная перекличка проектов советских и американских планировщиков в вопросе о сферах влияния говорит о некоторой общности видения возможного мироустройства после войны, которая до сих пор оставалась вне поля зрения историков советско-американских отношений и заслуживает более пристального изучения. Не менее интересны и глубокие различия в содержании и духе подходов обеих сторон к перспективам советско-американского союза и послевоенному устройству в целом. Советских планировщиков отличал широкий полет мысли, повышенный оптимизм в отношении продолжения сотрудничества с Западом и весьма позитивный для большевизма взгляд на роль и место Соединенных Штатов в послевоенном мире. Построения их американских коллег были гораздо более приземленными и негативными по своим оценкам советского союзника, хотя порой и более реалистичными в прогнозах расхождений интересов обеих держав. В Вашингтоне готовились к худшему, а в Москве — к лучшему, и это не сулило большого взаимопонимания в будущем. В немалой степени оно зависело и от уровня реального знания потенциала и намерений друг друга. Пристальнее всего изучала своего партнера американская разведка.

РАЗВЕДКА США НА СОВЕТСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Хотя оперативная и агентурная разведдеятельность на территории союзника была резко ограничена по указанию президента Ф.Рузвельта, сбор информации и всесторонний анализ советского потенциала продолжался по различным каналам: военных и дипломатических миссий США в СССР, советского отдела Управления стратегических служб (УСС), военных и иных делегаций, посещавших Советский Союз.

Особенно интересной и многогранной была работа советологов УСС под руководством видного

историка-русиста из Колумбийского университета профессора Дж.Робинсона. До войны американских специалистов по России можно было пересчитать по пальцам, но ее превращение в решающий фактор войны резко увеличило спрос на таких специалистов и их продукцию. В свою лучшую пору советский отдел УСС насчитывал до 60 человек, среди которых было немало тогдашних и будущих светил американской науки: географ Дж. Морриссон (профессор Чикагского университета и заведующий сектором географии), будущий нобелевский лауреат В. Леонтьев (профессор Гарварда, зав. сектором экономики), Б. Шмидт (профессор Чикагского университета, зав. политического сектором), экономисты П. Баран и А. Бергсон, социологи А. Айнкелес и Б. Мур, историки Дж. Кертис, Р. Такер и А. Левин. Аналитические материалы советского отдела отличались академическим междисциплинарным подходом, а положенная в основу его работы модель комплексного изучения «отдельно взятой страны» стала эталоном для дальнейшего развития советологии и других страноведческих и региональных исследований в США.[1]

Директор УСС генерал У. Донован выступил инициатором серии разведывательных оценок потенциала и намерений СССР, ориентированной на нужды послевоенного времени. «С поражением Германии Соединенные Штаты и Советский Союз станут и надолго останутся двумя сильнейшими странами мира, — писал он в докладной на имя генерала Дж. Маршалла в августе 1944 г. — ...Ввиду силовых позиций СССР американскому правительству несомненно следует иметь точную оценку советского потенциала и намерений». Такая сводная оценка, доказывал Донован, особенно необходима для планирования «аспектов безопасности послевоенного урегулирования в Европе и Азии», а также «долгосрочной национальной обороны США». В качестве основной экспертной базы для проведения этой работы Донован предлагал советский отдел УСС, «тридцать сотрудников которого владеют русским языком и получили законченное университетское образование до зачисления в УСС». Весьма харак-

терным был и предложенный генералом список тем по данной проблематике, включавший такие названия, как «Военный потенциал СССР после окончания войны», «Военный потенциал советской промышленности в послевоенный период», «Политическая стабильность советского режима после войны», «Советские цели в Германии, Польше, на Балканах и Дальнем Востоке».[2] Военное командование предложило Доновану вести эту работу совместно с армейской разведкой в рамках Объединенного комитета по разведке (ОКР), сводившего воедино все важнейшие оценки разведывательного сообщества США.[3]

С января 1945 г. ОКР начинает специальную серию аналитических докладов (ОКР-250) под общим названием «Советский потенциал и намерения после войны», призванных дать всестороннюю оценку возможностей СССР уже не столько в качестве союзника, сколько потенциального конкурента США на мировой арене. Все эти оценки интересны, во-первых, как отображение состояния советского общества и государства к концу войны через призму американского восприятия, а во-вторых, как ориентир планирования политики самих США в отношении СССР.

Между тем, хотя значительная часть этих документов рассекречена и доступна историкам в американских архивах и документальных публикациях, они еще не стали предметом специального исследования ни в США, ни в российской историографии. Попытаемся хотя бы отчасти восполнить этот пробел за счет анализа узловых моментов американских оценок итогов развития СССР в годы войны и его внешнеполитических перспектив на послевоенный период.

* * *

За годы войны американские оценки советского потенциала претерпели радикальную трансформацию. В начале войны в них преобладало уничижительное отношение к способности СССР не только выдержать испытание фашистской агрессии, но и

оказать ей серьезное сопротивление. «Колосс на глиняных ногах, вся сила которого — в его массе», — так в духе геббельсовской пропаганды оценивал военный потенциал страны пребывания накануне гитлеровского вторжения военный атташе США в СССР полковник Дж.Микела.[4] Первые месяцы фашистского «блицкрига», казалось, подтверждали правильность этих оценок, разделявшихся военным командованием США.

Тональность и прогнозы военной разведки стали меняться лишь в 1942 г. после первого разгрома немцев под Москвой: американские аналитики все чаще обращаются к факторам силы — подъему военного производства, морального состояния и боеспособности Красной Армии, а предсказания скорого краха СССР сменяются знаком вопроса в отношении вероятного исхода войны. Осенью 1942 г. УСС в своих сводках констатирует стремительное наращивание производства вооружений (до 2 тыс. самолетов и 1400 танков в месяц) и высокий боевой дух войск, ссылаясь на многочисленные случаи самопожертвования. Вместе с тем отмечается, что «Россия может резко ослабнуть и рухнуть».[5]

Весной того же года разведка сухопутных сил в своей регулярной «Оценке советской боеспособности» не без удивления сообщает о стойкости тыла, «несмотря на ужасные и все возрастающие лишения», объясняя это не только извечным стоицизмом русских, но и всенародным характером войны: «Русские сражаются за свое место в настоящем и будущем. Ныне в отличие от Первой мировой войны все группы населения — будь то русские или корейцы, учителя или крестьяне, знают, что могут заслужить честь и отличие своей храбростью и боевыми успехами, что они больше не господа и быдло. Все группы отдают борьбе свои силы, пот и кровь; никто не наживается на дутых поставках оружия или спекуляции припрятанным продовольствием». Отмечается и критическая роль государственного руководства в мобилизации сил для отпора врагу: «Беспощадность, секретность, догматизм и непреклонная решимость в достижении

национальных целей всегда импонировали русскому сознанию. Так действовали все великие правители России, и советская история не прочь напомнить об этом своему народу. С другой стороны, слабость и нерешительность властей могут погубить все дело. Поражения прошлого лета и осени подорвали веру в многолетнюю пропаганду, проповедовавшую непобедимость Красной Армии и создавшего ее режима. Паника и сумятица, охватившие Москву во время октябрьского наступления немцев, без сомнения, пошатнули правительство. Только решение Сталина остаться в Москве, чтобы защищать ее любой ценой, и успешное отбрасывание немцев от города восстановили авторитет власти. Неизбежны и новые поражения. Но если Сталин сохранит свое хладнокровие и беспощадную волю, гражданское население России будет держаться до последнего, работая изо всех сил, голодая и умирая миллионами».[6]

Общий вывод «Оценки» сводился к тому, что «без огромной материальной помощи и значительных контингентов отборных англо-американских войск Россия вряд ли сможет разгромить Германию или открыть действенный фронт на Тихом океане». Эта явно заниженная оценка соседствовала с весьма проницательным прогнозом масштаба геополитических притязаний СССР в случае «советской победы или участия в союзной победе»: «Российское преобладание в Восточной Европе будет неизбежным. Вероятные требования как минимум будут включать балтийские государства, значительные территории Финляндии, Польши и Румынии, а также контроль над Дарданеллами. На Среднем Востоке высока вероятность советизации Ирана, а возможно — и Афганистана. Сильному давлению подвергнется Китай. От него потребуют признать независимость внешней Монголии, а возможно, и Синьцзяна, а также предоставить значительные экономические и политические привилегии в Манчжурии. Японию заставят отдать Курильские острова, Южный Сахалин, а может быть — еще и острова Цу и Сайшу».[7]

Преемственный характер этих притязаний отмечался и аналитиками УСС в начале 1943 г. как закономерное явление, поскольку «в мире соперничающих государств международное положение Советского Союза определяется теми же географическими и стратегическими факторами, что и положение дореволюционной России». Политическая разведка в отличие от своих военных коллег шла дальше в признании естественности многих из этих притязаний. Отмечая «стратегическую обусловленность» территориальных аннексий СССР в Прибалтике, Финляндии и Бессарабии, авторы доклада «Политическая ориентация и моральное состояние СССР» (февраль 1943 г.) признавали, что «исторические и правовые претензии СССР на юрисдикцию над этими территориями не лучше и не хуже, чем большинство других подобных претензий». Подчеркивая приоритет стратегических задач СССР над идеологическими, аналитики УСС продолжали: «Введение на этих территориях советской системы управления само по себе еще не доказывает наличия у СССР широких революционных целей. Неизбежность таких мер диктуется, по всей видимости, если не соображениями внутренней безопасности, то стремлением привести политический и экономический порядок в этих районах в соответствие с советским».

Неожиданная политическая устойчивость многонационального советского государства, эффективность, продемонстрированная им в экстремальных условиях войны, заставляли американских аналитиков по-новому оценить его возможности и перспективы, увидеть сильные места там, где раньше виделась только слабость. Это касалось и национального вопроса, долгие годы считавшегося на Западе ахиллесовой пятой советского государства. Размышляя о том, почему не оправдались эти прогнозы, эксперты УСС приходили к выводу, что дело не только в «жестком контроле над этими (националистическими) настроениями... В более глубоком смысле это объясняется полным отсутствием каких-либо чувств расового или национального

превосходства. Официальная политика развития национальных культур и меры поощрения культурной автономии принесли свои плоды в час испытаний».[8] «Советская система полного равенства всех рас и национальностей естественно привлекательна для многочисленных меньшинств СССР», — говорилось и в более позднем докладе ОКР. «Советский режим преуспел там, где провалился царский — в развитии лояльности Союзу со стороны различных национальностей и этнических групп. Вместо того чтобы решать эту проблему на путях «русификации», Советы прославляют достижения режима, ставшие слагаемыми победы — партию, армию, социалистическую индустриализацию, коллективизацию сельского хозяйства, политические свободы социалистической системы».[9]

Американские аналитики подмечали и еще один важный источник национального сплочения, сблизивший в роковое время народ и власть: «Общее участие в борьбе с агрессивным и жестоким врагом, без сомнения, немало способствовало сглаживанию былого отчуждения, оставшегося в наследство от предыдущего периода внутреннего раскола вокруг коллективизации и «большой чистки».[10] Как поведал сотрудникам советского отдела УСС «чрезвычайно хорошо осведомленный американский наблюдатель, недавно вновь побывавший в СССР» (скорее всего имелся в виду советник госдепартамента Ч. Болен), «по контрасту с периодом чисток 1937—1938 годов в стране заметна предупредительность и внимание людей друг к другу. Война на удивление идет безо всякой показухи... атмосфера в стране спокойная и доброжелательная».[11]

После коренного перелома в ходе войны американские военные наблюдатели констатировали дальнейший рост оптимизма советского народа и его уверенность в победе. «Русские преисполнены воли к победе и полной уверенности в своей способности добиться ее, — сообщал в подробном отчете о командировке в СССР на рубеже 1943—1944 гг. генерал Д.Коннэлли. — Русские достигли удивитель-

ных успехов в деле пробуждения в каждом человеке стремления работать на общее благо».[12] Отвергая ходячие западные стереотипы о «бессмысленной самопожертвенности русского народа», аналитики УСС отмечали: «Русские хотят умирать не больше других; в чем они действительно отличаются от остальных, так это в беспощадной решимости вынести любую бойню, чтобы повернуть германское вторжение вспять».[13]

С особым вниманием изучался и феномен «нового советского национализма», подъем которого в годы войны отмечался многими американскими наблюдателями. В специальном докладе УСС на эту тему (июнь 1944 г.) выделялись два главных источника подъема этого «национального чувства» — гордость за достижения советского режима в годы войны и возросшее отождествление со славным историческим прошлым России. Слияние этих двух факторов, отмечали авторы доклада, «расширило базу поддержки режима и придало ему дополнительную силу в ходе войны, а также аналогичную перспективу на послевоенный период». Американцев прежде всего интересовали внешнеполитические последствия этого национализма, который они сравнивали с германским, находя при этом существенные различия между ними. «Советский национализм не слишком отличается от германского по части акцентирования любви к отечеству, преклонения перед героями прошлого и лидерами настоящего, мистического элемента и силе чувства. Но несмотря на налет шовинизма... он резко отличается от германского в том, что не содержит агрессивности в отношении других наций и народов».[14]

Подъем патриотизма и национального самосознания советских людей с удивлением отмечался американской разведкой даже среди военнопленных в немецких лагерях. Обобщая информацию из разных источников о положении в этих лагерях, руководство УСС нашло ее настолько важной, что в начале 1944 г. направило президенту Рузвельту специальный меморандум, который начинался с описания изменения в отношении рядовых немцев к советским пленным

после первой победы под Москвой. «Во многом это происходило под воздействием возвращающихся с Восточного фронта немецких солдат, которые в массе своей стали высоко ценить своих русских противников». «В целом, — продолжалось в сообщении, — русские пленные сохранили свою веру в Сталина и абсолютную уверенность в своей конечной победе. Они никогда не жалуются на режим в своей стране и в массе своей остались равнодушны к германской пропаганде. Они, как правило, грамотны и исполнены гордости за свою страну». Не менее удивительным для немецких властей и американских разведчиков было и то, «насколько хорошо даже простые рабочие и крестьяне среди русских пленных знают русскую литературу и продолжают живо интересоваться ей. Очень часто первое, о чем они просят в лагерях , — это материал для чтения».[15] Тот же патриотизм и новая гордость за свою страну фиксировались американскими разведчиками и среди другой обездоленной части советского общества — заключенных, занятых в портовых работах на Дальнем Востоке.[16] Для американских аналитиков это было еще одним красноречивым свидетельством возросшей жизнеспособности и внутренней прочности своего советского союзника.

Большой резонанс в разведывательном сообществе США получили известные шаги советского руководства по «национализации» сталинской модели — примирение государства с церковью («разительный отход от духа марксизма-ленинизма», по оценке УСС), роспуск «штаба мировой революции» — Коминтерна, снижение роли партийных комиссаров в армии и возрождение в ней традиционных офицерских званий и знаков отличий, перестройка вселенско-большевистской идеологии и символики в более традиционном национально-патриотическом ключе, включая знаковую замену «Интернационала» новым гимном (слова которого, как сообщало посольство в Москве, не содержат никаких ссылок на марксизм, а апеллируют к национальной гордости)».[17]

Все это способствовало новому взгляду на состояние и перспективы советской системы, кото-

рая все чаще рассматривалась как переходящая из революционной в «термидорианскую» стадию и постепенно превращающаяся в подобие нормальной великой державы авторитарного типа с легитимными национальными интересами и рациональными мотивами поведения.[18] Подводя итоги переломного 1943 г., специалисты УСС подчеркивали: «Советский режим выдержал испытание войны в 1943 г. с удивительной твердостью... Давление войны усилило тенденцию к возрождению традиционных взглядов и практики, которые усиливают национальную солидарность и публичную власть...»

Среди этих проявлений особо отмечался рост «иерархии в профессиональной, военной и гражданской среде» и в более широком плане — «растущая в СССР тенденция к развитию более нормальных и менее «чрезвычайных» типов институтов по мере усиления и стабилизации режима... Диктатура продемонстрировала отзывчивость к факторам общественной жизни, отражающим желания народа». События года, подводился итог в докладе, «бесспорно усиливают тенденции кристаллизации советской нации, для которой социализм будет лишь одной из сторон национальной жизни».[19]

Состояние советской экономики постоянно находилось в центре внимания американских аналитиков. Начиная с 1944 г., посольство в Москве составляло регулярные квартальные (а в 1945 г. — полугодовые) сводки экономического развития СССР. Десятки специальных аналитических материалов по различным экономическим вопросам давал советский отдел УСС; военная разведка отслеживала состояние оборонной промышленности. Сбором экономической информации об СССР занимались и другие, казалось бы, далекие от разведки ведомства — министерство сельского хозяйства, собиравшее аграрную статистику, министерство внутренних дел, следившее за добычей полезных ископаемых (прежде всего — золота) и др.[20] Конец войны побудил американских разведчиков и дипломатов к совокупной

оценке экономических итогов войны и ее последствий для дальнейшего развития экономического потенциала СССР.

Разрушительная экономическая цена войны не вызывала сомнений или серьезных разночтений. По американским оценкам начала 1945 г., Советский Союз потерял в ней четверть национального богатства, более половины мощностей производства стали, и алюминия, добычи угля, более 1/3 протяженности железных дорог. Прямой экономический ущерб СССР от германской оккупации по расчетам экономистов УСС, превышал 20 млрд. долл. (по данным комиссии И.М. Майского, он составлял как минимум 50 млрд. долл).[21]

Людские потери подсчитать было сложнее ввиду отсутствия надежной статистики и недоверия американских специалистов к официальным советским оценкам. Помогли данные по количеству избирателей в каждой республике и избирательном округе, по результатам выборов в Верховный Совет СССР 10 февраля 1946 г. Сопоставляя их с данными о предыдущих выборах 1937—1940 гг., экономисты посольства пришли к выводу о том, что прямые людские потери СССР в войне составили как минимум 13 млн. человек, а общая демографическая цена войны (с учетом падения рождаемости) достигла по крайней мере 25 млн. чел.[22]

На фоне этих колоссальных трудностей и лишений особенно впечатляюще выглядели «великие достижения советского военного производства», продемонстрированные в годы войны: «Они показывают, — продолжалось в докладе посольства, — чего может добиться даже та страна, половина экономических ресурсов которой была захвачена врагом, если все до последнего ресурсы мобилизуются для военного производства. Хотя американская и британская помощь была важным, а по отдельным статьям и решающим фактором на Восточном фронте, факт остается фактом — подавляющая часть военной техники и оборудования, полученных Красной Армией, была произведена самими русскими из своего сырья и материалов. Вместе с вкладом союз-

ников этого было достаточно для разгрома основных сил германской армии. С учетом всех сопутствующих обстоятельств это было нечто иное, как чудо, основная заслуга в котором по праву принадлежит советскому государству, сумевшему организовать это огромное производство».[23]

Действительно, хотя американский «арсенал демократии» и добился огромных успехов в военном производстве, за океаном оно разворачивалось в несравненно более благоприятных условиях, а степень напряжения сил — мобилизации людских и производственных ресурсов — была на порядок ниже, чем в Советском Союзе, и значительно ниже, чем в Великобритании. По подсчетам комиссии И.М. Майского, например, на один миллион населения в СССР приходилось 27,1 млн. солдато-дней, тогда как для двух главных союзников Советского Союза этот показатель составлял 4,7.[24] В этом отдавали себе отчет и сами руководители военной экономики США. Так, глава Управления военной мобилизации Дж.Бирнс, выступая с отчетом на заседании КНШ в марте 1944 г., отмечал заметное улучшение уровня жизни американцев в годы войны и откровенно признавал, что «на самом деле наша страна призвана пожертвовать сравнительно немногим».[25]

Оценивая перспективы развития экономики СССР, американские специалисты отмечали большие проблемы на пути послевоенного восстановления народного хозяйства: общий спад промышленного производства (за исключением тесно связанного с оборонной промышленностью машиностроения) до половины довоенного уровня, критическое состояние транспортной системы, острая нехватка капиталовложений, резкое падение уровня жизни населения на фоне обострения жилищной и продовольственной проблемы. В целом, отмечалось в выводах посольства, СССР в 1945 г. экономически слабее, чем был в 1940 г., и еще больше отстает от США.

Вместе с тем экономическое положение СССР относительно других ведущих стран заметно укре-

пилось, поскольку «Германия и Япония были полностью разгромлены, а Советский Союз вышел из войны в лучшем экономическом состоянии, чем любая из крупных стран Европы и Азии, за возможным исключением Англии». Еще важнее для будущего были «огромные долгосрочные возможности СССР» — промышленный фундамент, заложенный в годы индустриализации, изобилие природно-сырьевых ресурсов, грамотная рабочая сила. Советский Союз, говорилось в прогнозе посольства, при умелом руководстве «в ближайшие двадцать лет способен развиваться быстрее всех остальных стран и превратиться в сравнимую с Соединенными Штатами экономическую державу».[26]

В период восстановления проблема трудовых ресурсов может быть разрешена за счет начавшейся демобилизации, возвращения советских военнопленных и угнанных на работы в Германию, а также — немецких военнопленных. Капиталовложения для восстановления и развития промышленности будут как и раньше обеспечиваться за счет ограничения потребления и доходов населения. Дополнительным источником производственных и людских ресурсов могут стать новые союзники СССР в Центральной и Восточной Европе: «Если русским удастся интегрировать эти новые подконтрольные территории с советской экономикой, перспективы развития военно-экономического потенциала СССР в долгосрочном плане значительно улучшатся».[27] В целом задачи «пятилетки восстановления» представлялись американским аналитикам вполне реальными: к 1949—1950 гг. СССР может выйти на пиковый уровень довоенного производства, а уровень потребления довести до отметки 1937—1938 гг. Иными словами, подытоживали эксперты УСС, «по общему объему производства война обойдется Советскому Союзу в девять лет».[28] Предоставление крупных иностранных кредитов, по их мнению, могло сократить сроки послевоенного восстановления не более чем на полгода.

Этот прогноз УСС радикально расходился с преобладавшим в Вашингтоне мнением о том, что советская экономика, подорванная войной, не сможет быстро восстановиться без западной помощи. Тем самым расчеты УСС размывали позиции как либералов, считавших необходимой щедрую помощь Советскому Союзу, так и консерваторов, стремившихся использовать ее как рычаг политического давления. Однако эти выводы специалистов не были приняты во внимание госдепартаментом.[29]

Большинство американских оценок исходило из того, что главным вектором развития советской экономики в послевоенный период будет наращивание военно-экономического потенциала, хотя эксперты УСС были менее однозначны в своих прогнозах. Проанализировав показатели 4-й пятилетки и ориентиры последующего экономического развития, эксперты посольства отмечали: «Твердая политика Советского правительства состоит в максимально быстром увеличении военного потенциала СССР. Экономические программы составляются таким образом, чтобы направить как можно большую долю национального дохода на капитальные вложения в тяжелую и оборонную промышленность, развитие средств производства и транспорта... в следующие пятнадцать лет создание огромной военной экономики и поддерживание больших вооруженных сил будет идти за счет советского потребителя».[30]

Иными словами, послевоенное восстановление должно было сочетаться с наращиванием военного потенциала при поддержании хотя бы минимального уровня жизни народа. Эта «огромная задача сама по себе, требующая дальнейшей мобилизации всех ресурсов, была бы не столь масштабной, если бы СССР не сталкивался с еще одной экстренной проблемой, — отмечалось в экономическом обзоре посольства в январе 1946 г. — Советский Союз рвется к атомному оружию. Имеющиеся у нас скупые свидетельства говорят о том, что огромные усилия предпринимаются для реализации этого

проекта, получившего сверхприоритетный статус. Создание атомной бомбы потребует огромных капиталовложений... Производство атомной бомбы наряду с другими амбициозными планами приведет к предельному напряжению советской экономики».[31]

Через месяц после этого анализа «предвыборная» речь Сталина 9 февраля поставила все точки над i. Сталинский лозунг о готовности «к любым неожиданностям», отмечали аналитики посольства, «имеет в виду войну, и в этом кроется суть всей программы... Во благо или во зло, но Советский Союз будет создавать огромную военную экономику, и он не против, чтобы об этом узнал весь мир».[32]

Сопоставив программные ориентиры речи (60 млн. т стали, 500 млн. т угля, 60 млн. т нефти) с показателями США, посольские экономисты быстро обнаружили, что речь идет о примерном достижении соответствующего уровня развития американской экономики в конце 1930-х — середине 1940-х гг., или, иными словами, о возрождении на новом этапе довоенных советских планов догнать Америку в течение 15 лет.[33]

Масштабная экономическая помощь со стороны США (прежде всего в виде предоставления запрошенного в начале 1945 г. шестимиллиардного кредита) могла бы, по оценкам посольства, ускорить реализацию этих планов по крайней мере на два года. Только вот стоит ли это делать? «Большая часть этих закупок, скорее всего, придется на промышленное оборудование, используемое для реализации военно-промышленной программы. В той мере, в какой речь пойдет о потребительских товарах, это лишь позволит советскому правительству выделить дополнительные производственные мощности на развитие военной промышленности». И напротив — при отсутствии такой помощи «реализация советской военно-промышленной программы будет замедлена, дипломатический потенциал СССР сокращен, а советскому государству придется пойти на большие компромиссы с наро-

дами завоеванных стран и своим собственным народом».

В то же время посольство, хотя и расходилось с УСС в оценке важности фактора американской помощи, предостерегало против «недооценки способности СССР достичь своих экономических целей и без иностранной помощи. Для этого советское государство способно мобилизовать все ресурсы страны в условиях как войны, так и мира. Если главной задачей на сегодня является производство атомной бомбы, все остальное будет подчинено этому. Если в силу амбициозных планов капиталовложений окажется невозможным повысить уровень жизни, то он будет принесен в жертву капиталовложениям. Советский гражданин не может возражать против этой программы. (Он даже не может выразить свое недовольство путем эмиграции.)»[34]

Как видно при ретроспективном взгляде, американские дипломаты и разведчики весьма объективно оценивали состояние и перспективы развития экономического потенциала СССР после войны, отчетливо различая его слабые и сильные стороны, прежде всего — огромные мобилизационные возможности советской системы, позволявшие ей при гораздо более ограниченных ресурсах добиваться огромных результатов. Однако этот плюс советской экономики в годы борьбы против общего врага мог обернуться для США большим минусом, если бы вчерашний союзник превратился в сегодняшнего конкурента. И об этом тоже все чаще начинали задумываться в Вашингтоне.

Морально-политический потенциал СССР, столь мощно заявивший о себе в годы войны, также был объектом пристального внимания заокеанских наблюдателей. Многие из них сходились в том, что советский режим не только успешно выдержал страшное испытание войной, но и вышел из нее значительно окрепшим.

Во-первых, отмечалось расширение социальной базы сталинского режима за счет «привлечения к себе ключевых групп населения, которые по своим собственным соображениям будут заинтере-

сованы в сохранении основ существующей советской системы». Имелось в виду прежде всего резкое расширение «новой номенклатуры» и численности ВКП(б) за счет военных, служащих, инженерно-технической и научной интеллигенции. Тем самым в СССР возникал «новый правящий класс, составленный из людей, наиболее необходимых для постоянного функционирования высокоцентрализованного индустриального государства. Прочная поддержка со стороны этих групп, мотивируемая отчасти их эгоистической заинтересованностью в существующем режиме, видимо, будет вносить большой вклад в стабильность режима власти».[35]

Условия войны и «национализация» сталинского режима изменили отношение к нему и ранее враждебных или отчужденных слоев населения — крестьянства, интеллигенции, верующих. Сама большевистская партия превратилась из закрытой и узкой организации подавления в массовую партию, заслужившую народный авторитет: «Она провела народ СССР через отчаянную борьбу к вершине полного успеха... — отмечалось в докладе УСС «Положение компартии и Красной Армии при советском режиме» (октябрь 1944 г.). — Хотя можно сказать, что люди воевали не за партию, а за свои дома и близких, именно партия руководила этой борьбой... воплощение компартии — Сталин никогда еще не пользовался таким широким признанием». Красная Армия — ключевой институт советской системы, заключалось в докладе, также выйдет из войны более авторитетной и лояльной в отношении режима силой.[36]

Во-вторых, сам факт войны и неизбежной победы в ней доказывал эффективность советского режима и придавал новый смысл огромным жертвам военного и предвоенного времени, связанным с индустриализацией и коллективизацией страны. «...Важнейшим результатом и лучшим оправданием пятилетних планов промышленного развития стало то, что СССР в итоге заполучил средства самообороны, обеспечившие поражение гитлериз-

ма», — писали авторы «Брошюры о России», подготовленной в военном министерстве для личного состава армии США.[37] Советский народ, говорилось в сводных оценках УСС и ОКР начала 1945 г., «может испытывать лишь высочайший подъем в связи с той решающей ролью, которую сыграет Красная Армия в окончательном разгроме вермахта. Они испытывают огромное удовлетворение от сознания, что страдания, потери и унижения, испытанные в результате вторжения (нацистов. — *Авт.*), были не напрасны».[38]

Эта законная гордость одерживаемой победы усиливалась ощущением возвращения России на мировую арену в качестве великой державы, еще раз подтвердившей свою историческую роль «спасителя Европы от угрозы азиатского и тевтонского порабощения». Этот настрой, отмечали эксперты УСС, был особенно живительным контрастом советскому комплексу «неполноценности и изоляции» межвоенных лет.[39]

Большая часть этих изменений имела долгосрочный характер, что приводило американских аналитиков к выводу о том, что «основные черты советского общества образуют систему, которую можно считать очень стабильной и способной сохраниться примерно в своем нынешнем виде по меньшей мере еще десятилетие, а вероятно, и два». Считалось, что она вполне может пережить и уход Сталина при всех сопутствующих этому пертурбациях. Что касается позиций партийного и государственного аппарата, то «есть все основания полагать, что они будут прочнее, чем когда-либо в прошлом». Американские аналитики весьма проницательно усматривали и обратную сторону связанной с этой консолидацией самоуверенности, которая подведет два последующих поколения советских реформаторов — «растущую тенденцию считать основания советской системы гарантированными раз и навсегда».[40]

Анализ нового геополитического положения СССР американскими специалистами также свидетельствовал о значительном укреплении пози-

ций советского государства. Во многом оно было относительным, связанным с сокрушением главных исторических противников России — Германии и Японии, а также ослаблением в ходе войны других крупных европейских держав. «К окончанию войны на Дальнем Востоке, — писал Дж. Кеннан в меморандуме начала 1945 г., — Россия впервые в своей истории окажется без единого великодержавного соперника на всем евразийском пространстве. Она также будет обладать физическим контролем над новыми огромными районами этого пространства, некоторые из которых никогда прежде не бывали под русским владычеством. Эти новые районы (точные границы которых пока сознательно не очерчиваются) будут, вероятно, включать в себя свыше ста миллионов человеческих душ, по большей части — в европейском секторе. Это окажет огромное воздействие на развитие российского государства».[41]

Хотя «точные границы» советской сферы влияния и самого СССР были тогда еще действительно неизвестны, американская разведка и дипломатия, как уже отмечалось, еще до Ялты неплохо представляли себе общие контуры этих новых рубежей — границы 1941 г. плюс значительные территориальные приращения на Дальнем Востоке и в Восточной Пруссии, плюс обширная «буферная зона» на своих западных границах в виде «открытой» или «закрытой» сферы влияния. Все это существенно расширяло «глубину обороны» по всему периметру советских границ, которая, как резонно полагали американцы, лежала в основе представлений советского руководства о безопасности свой страны.

Самым уязвимым участком этого «пояса обороны» военные планировщики США считали ее южный фланг — район Закавказья, выходящий на недружественные Советскому Союзу Турцию и Иран и содержавший важнейшие нефтяные запасы СССР.[42] Эта оценка полностью сходилась с оценкой Сталина, которого, по воспоминаниям современников, из всех послевоенных границ больше всего

беспокоил именно «южный фланг».[43] То обстоятельство, что данный коридор лежал в русле традиционных геополитических устремлений России к черноморским проливам, делало стратегическую ситуацию в этом районе еще более неустойчивой.

По оценкам ОКР (октябрь 1945 г.) у СССР имелись и другие стратегические слабости, составлявшие весьма внушительный список (с указанием времени, необходимого для их устранения): а) военные потери в производственных мощностях и человеческих ресурсах, общий низкий уровень развития (15 лет); б) нехватка технических специалистов (5—10 лет); в) отсутствие стратегической авиации; г) нехватка военно-морских сил (15—20 лет); д) плохое состояние железных дорог, оборудования и систем военного транспорта (10 лет); е) уязвимость основных промышленных центров, центров добычи и переработки нефти, а также железнодорожных узлов к стратегическим бомбардировкам; ж) отсутствие атомной бомбы (5—10 лет, возможно, меньше); з) сопротивление на оккупированных территориях; и) количественная военная слабость на Дальнем Востоке, особенно — по части ВМС (15—20 лет).[44]

Одним из немногих американских экспертов, видевших в новообретенной «буферной зоне» в Восточной Европе не столько силу, сколько потенциальную слабость СССР, был Дж. Кеннан. В уже упомянутом меморандуме о международных позициях СССР к концу войны с Германией он проницательно писал о громадных трудностях на пути консолидации советского контроля над Восточной Европой, которые в конечном счете сделают этот контроль насильственным, верхушечным и непрочным. Ускорить процесс дезинтеграции «советской империи», по его мнению, могла политика Запада, направленная на отрицание легитимности советского влияния в регионе и отказ в «моральной и материальной поддержке» попыток СССР укрепить там свое влияние.[45]

Все эти слабости не меняли кардинальной геополитической реальности — Советский Союз к

концу войны представлялся единственным потенциальным военно-стратегическим гегемоном в Евразии, способным при желании реально подчинить ее своему влиянию. Однако для превращения этой гипотетической возможности в реальность требовались соответствующие намерения и стратегия, поэтому вопрос о том, как СССР распорядится своей новой мощью и возможностями, вышел на передний план в оценках американской разведки и дипломатии. Ясности при этом было гораздо меньше, а ангажированности — гораздо больше, чем при оценке советского потенциала, и потому разброс мнений оказался более широким.

Большинство экспертов УСС, оставаясь в рамках «термидорианской» модели Советского Союза как «нормализующейся системы», исходило из вероятности постепенного угасания «революционно-экспансионистской» составляющей советской внешней политики и ее замещения традиционными национальными интересами безопасности. Внимательно изучая эволюцию советской пропаганды, аналитики приходили к выводу о том, что, хотя общая идеологическая установка на замену капитализма социализмом остается в силе, советские писания проводят четкую грань между западными демократиями и фашизмом, признают за капитализмом «продолжительный жизненный цикл» и в целом ориентированы скорее на длительное мирное сосуществование с демократическим Западом, чем на революционную борьбу с ним.[46] В сочетании с неотложными нуждами послевоенного восстановления это должно было сообщить советской политике более умеренный и предсказуемый характер. «По окончании военный действий, — говорилось в докладе ОКР, составленном накануне ялтинской конференции, — у России не будет ни ресурсов, ни склонности (если говорить об экономических факторах) встать на путь авантюристической внешней политики, способной, на взгляд советского руководства, вовлечь СССР в конфликт или большую гонку вооружений с западными странами». У СССР, продолжалось в докладе, не будет

не только «сильных экономических мотивов, но и массовых настроений в пользу территориальной экспансии», поскольку «советский национализм не порождает низового энтузиазма к заморским войнам».[47]

За вычетом этих факторов оставались политико-идеологические пружины возможной советской экспансии. Большевистская идеология, считали американские эксперты, безусловно, сохранится в качестве одного из факторов советской внешней политики: «Идеологические соображения как минимум будут вынуждать советских лидеров видеть злой умысел даже в некоторых дружественных шагах несоветских государств. Соответственно они будут вооружаться и искать безопасности в экспансии своего влияния более активно, чем в отсутствие таких соображений. По всей видимости, это будет вызывать дополнительные осложнения в отношениях между СССР, США и Великобританией. Как максимум марксистские концепции со временем могут дать сильный импульс дальнейшей широкой экспансии советской мощи и влияния».[48]

Реализация того или иного из этих сценариев, как считалось, будет зависеть от действия ряда противоборствующих факторов. В пользу более умеренного варианта будут действовать военное присутствие США и Великобритании в оккупированных странах, неотложные нужды послевоенного восстановления и хотя бы некоторого повышения уровня жизни советского народа, расчеты на достижение более благоприятного соотношения сил в пользу СССР в будущем и опасения сверхреакции Запада на «преждевременную экспансию» СССР (особенно — в виде возрождения фашизма как ответа на открытую советскую поддержку крайне левых сил). Еще одним фактором умеренности считался стратегический почерк хозяина Кремля: «Сталин, — говорилось в одном из прогнозов начала 1946 г., — многократно демонстрировал свою способность реалистически оценивать обстановку и не брать на себя непосильных задач. До тех пор, пока он сохраняет контроль над советским го-

сударством, резонно ожидать, что СССР будет продолжать избегать подобных ошибок».

В противоположном направлении будут работать вакуум власти во многих освобожденных странах Европа и Азии, огромный престиж просоветских элементов Сопротивления и самого Советского Союза как главного победителя Гитлера, исключительные возможности использования присутствия Красной Армии для создания «дружественных» и просоветских режимов и опасения перехода соседних восточноевропейских стран на сторону Запада в случае их стабилизации в «несоветской форме».

Наиболее вероятной результирующей взаимодействия всех этих факторов авторы доклада считали следующую линию советского внешнеполитического поведения: 1) тщательное отслеживание потенциала и намерений США и Великобритании; 2) усиление стратегических позиций СССР, особенно путем расширения своей власти и влияния на направлениях возможного вражеского нападения, но без серьезного риска столкновения с превосходящей военной мощью; 3) компромиссы с Великобританией и США и даже уступки их решительному давлению для предотвращения военного столкновения или экстремальной гонки вооружений. «Фундаментальную задачу» послевоенной советской стратегии аналитики разведывательного сообщества видели в том, «чтобы извлечь из войны и мира максимально возможный прирост советской мощи внутри страны и за ее пределами, при этом избегая или, по крайней мере, откладывая провоцирование опасной контрреакции извне, особенно со стороны США и Великобритании».[49]

Как видно, эксперты УСС и ОКР более-менее верно предвидели основные параметры советского поведения в начале «холодной войны». Не менее проницательным был и их прогноз основной погрешности советского восприятия мотивов и действий западных стран: «С учетом истории иностранных нападений на СССР и влияния марксистской идеологии советские лидеры, скорее всего,

будут преувеличивать экспансионистские тенденции англо-американцев и возможность агрессии против СССР из любого источника... Преувеличивая грозящие своей стране опасности, они, вероятно, переборщат с экспансией советской мощи и влияния, необходимой для предотвращения или отражения этой агрессии. В свою очередь их попытки такого рода превентивной экспансии могут войти в конфликт с представлениями США и Великобритании о своей безопасности». Поэтому для предотвращения такой превентивной экспансии Западу предлагалось сочетать «доказанные мирные намерения» с «большим военным потенциалом» и «политикой твердости».[50]

Вашингтонские аналитики отдавали себе отчет в огромной сложности стоявшей перед ними задачи — совместить запросы нового поднимающегося гиганта мировой политики в лице Советского Союза с растущими аппетитами самих Соединенных Штатов и глобальными интересами слабеющей Британской империи.

«Выработать действенный компромисс между расширяющейся динамичной державой (СССР), развивающейся, но в основном удовлетворенной державой (США) и державой, клонящейся к упадку (Великобританией), будет очень нелегко», — предупреждал в одном из докладов 1944 г. директор советского отдела УСС Дж.Робинсон, и основная ответственность за это лежит на более искушенных и прагматичных западных союзниках СССР. Если они проявят подлинную государственную мудрость, терпимость и великодушие, «путь компромиссов и сотрудничества получит предпочтительные шансы».[51]

Судьба этого пути, считали эксперты ОКР, будет решаться прежде всего в «проблемных странах» — Германии, Японии и Китае, а также в Восточной Европе. Германия может стать главным яблоком раздора между союзниками, если они будут бороться за свое преобладание во всей стране, чего ни та, ни другая сторона не сможет допустить. Поэтому более вероятными вариантами решения гер-

манского вопроса считались единая нейтральная Германия или открытый раздел страны на две зоны влияния. В прогнозе начальной оккупационной политики СССР в Германии (октябрь 1944 г.) эксперты УСС весьма точно предвидели ее основные компоненты: ликвидация военного потенциала и денацификация страны, упор на репарационные поставки оборудования и принудительный труд (с учетом экономического ущерба от германской оккупации, который оценивался в более чем 20 млрд. долл.), воздержание от форсированной перестройки германской экономики на социалистический лад, противодействие политическому разделу Германии, избежание серьезных конфликтов в германском вопросе с США и Великобританией при активном противодействии попыткам придать западную ориентацию всей Германии.[52]

В Японии и Китае главной целью СССР, по мнению авторов доклада ОКР, являлось предотвращение подавляющего влияния США в этих странах и стремление к увеличению там своего влияния — но не ценой прямого конфликта с США. Здесь также будет возможно неформальное размежевание сфер влияния.

В Восточной Европе надежды возлагались на то, что с учетом позиций западных союзников и сильного внутреннего сопротивления советизации в этих странах СССР не пойдет на форсированное насаждение советской модели и будет проявлять терпимость в отношении социально-политического плюрализма и автономии в регионе, что может стать приемлемой основой компромисса для всех заинтересованных сторон. Вместе с тем не исключалась и возможность перехода советского руководства к полной советизации как наиболее надежному решению основных проблем СССР в регионе — подавления антисоветской оппозиции, создания полностью лояльных и зависимых от Москвы режимов, которые не подведут в возможных коллизиях с Западом. Этому же будет способствовать инерция советской традиции тотального контроля над обществом, пример советизации Прибалтики и Западной Украины, а также «влияние старой

большевистской идеологии и нового энтузиазма в отношении советской системы, выдержавшей испытание войны».[53]

Главной стратегической задачей США и Великобритании на послевоенный период считалось «предотвращение контроля над ресурсами и людской силой Европы и Азии со стороны поднимающейся державы — СССР (в случае если такая попытка будет предпринята)». Решение этой задачи виделось либо на пути раздела проблемных стран и регионов на сферы влияния и «нейтральные зоны» (предпочтение англичан), либо за счет поощрения национального самоопределения и демократического правления на всех территориях по американскому принципу «открытых дверей» и свободной конкуренции великих держав за влияние среди этих государств.

Таким образом, авторы этих докладов исходили из того, что характер и методы советской экспансии еще не определились, а намерения СССР являются эластичными и зависят от политики самого Запада. Поэтому при условии ответственного поведения последнего и встречной сдержанности Советского Союза сложные проблемы послевоенного урегулирования могут быть решены, хотя «трения между союзниками будут возрастать».[54]

Такой подход в духе осторожного оптимизма разделялся далеко не всеми в разведывательном сообществе США. Наиболее антисоветски настроенные армейские разведчики и планировщики не разделяли ключевой презумпции оптимистов о возможности «нормализации» советской системы и эластичности советских мотивов. «Вопреки мнению экспертов данный наблюдатель считает, что Третий Интернационал не умер и по-прежнему будет использоваться Советами, — писал, например, в своем прощальном отчете из Москвы военный атташе Микела. — Как бы это ни называли — мировой революцией или советским «империализмом», суть остается одна — Советы полны решимости взять Европу под свой контроль, если это будет им по силам».[55] Но даже те из них, кто не был до конца

уверен в советских намерениях, следовали военной логике планирования «по наихудшему варианту» и предпочитали подстраховаться заранее, не дожидаясь, пока СССР встанет на путь агрессивной экспансии. Этой перестраховке учил и свежий опыт борьбы с нацизмом, надолго дискредитировавший политику выжидания и умиротворения агрессора. «Надо ли нам дожидаться самой этой попытки?» — начертал один из рецензентов доклада ОКР напротив процитированного абзаца о возможной попытке установления советской гегемонии над Евразией.[56]

Да и в самом УСС были свои скептики, не говоря уже о влиянии быстрых изменений к худшему в политической атмосфере межсоюзных отношений весной 1945 г. Не прошло и трех месяцев после выхода упомянутых докладов УСС и ОКР, как УСС по заказу армейских планировщиков подготовило новый доклад под названием «Проблемы и цели политики Соединенных Штатов», выдержанный в заметно более жестких тонах как по своим оценкам, так и по рекомендациям (этот анонимный документ отмечен печатью авторства самого Донована). Советский Союз изображался в нем уже почти сложившимся «евразийским гегемоном», способным в силу сохраняющихся у него «экспансионистских устремлений» «стать для США самой зловещей угрозой из всех известных до сих пор». Хотя авторы еще оставляли небольшой знак вопроса над советскими намерениями, США, утверждали они, «никак не могут ждать, пока русская политика обнаружит себя полностью», с принятием мер по предотвращению этой пусть даже пока еще потенциальной угрозы, ибо «подавляющим императивом ситуации является *будущий* (курсив мой. — *Авт.*) военный потенциал России и та огромная угроза, которую она будет представлять Соединенным Штатам, если преуспеет в объединении ресурсов Европы и Азии под своим контролем».

В докладе признавалось, что СССР истощен войной, значительно уступает США по своему экономическому потенциалу и «в течение следующих

10—15 лет будет избегать еще одной крупной войны». Но этот период предлагалось использовать как передышку для создания противовесов «советской экспансии» в Европе и Азии. В Европе это должен был быть «западноевропейско-средиземноморско-американский блок» с опорой на Великобританию, «сильную Францию» и западные зоны Германии (если не получится создать единую нейтральную демократическую Германию в качестве «прокладки» между двумя блоками). При этом подчеркивалось, что в условиях конкуренции с «динамичной и привлекательной» советской идеологией США не могут себе позволить поддерживать полуфашистские или консервативно-монархические режимы в Европе, но в то же время не должны «ослаблять или подрывать» колониальные владения европейских стран, «чья помощь нам потребуется для уравновешивания советской мощи».

В Азиатско-Тихоокеанском регионе считалось необходимым создать новый баланс сил, как минимум — уравновесить советское влияние в Китае и Японии, как максимум (в зависимости от исхода войны с Японией) — получить «доминирование» над ней; в дополнение к этому — укрепить военно-политические отношения с Австралией и Новой Зеландией, дабы «обеспечить себе прилегающие бастионы в юго-западной части Тихого океана».

Авторы доклада с присущей для стратегической культуры США склонностью просчитывать все возможные варианты не исключали возможности «ухода США» из Европы в случае проигрыша Советскому Союзу в борьбе за влияние на континенте. В качестве заблаговременной подстраховки на такой случай предлагалось (как и в более раннем сценарии захвата всей Европы нацистами) уже сейчас начать укреплять внутренний пояс обороны США в Западном полушарии за счет вовлечения стран Латинской Америки в «долгосрочный пакт безопасности».[57]

Эти мрачные выводы и рецепты, удивительно точно предвосхитившие основы стратегии США в холодной войне, при жизни Ф.Рузвельта не полу-

чали поддержки в верхнем эшелоне администрации. Однако они обозначили направление дальнейшей эволюции американских оценок летом—осенью 1945 г., в которых советский военный потенциал будет становиться все более мощным, а намерения — все более негативными и однозначно экспансионистскими.

* * *

Деятельность американских спецслужб на советском направлении, как, впрочем, и советских — в США, не ограничивалась анализом потенциала и намерений друг друга. Спецслужбы обеих стран сотрудничали в борьбе против общего врага, хотя эта сторона советско-американских отношений пока еще не нашла достойного отражения в отечественной литературе. Одна из причин тому — засекреченность и по сей день многих относящихся к этому документов. Но некоторые характерные и поучительные страницы этого сотрудничества могут быть восстановлены уже и сегодня на основе преимущественно американских документов и исследований.

Хотя намеченный проект обмена миссиями УСС и НКВД не состоялся, миссия У. Донована в Москве не осталась без последствий. Налаживание личного контакта с руководством советской внешней разведки и взаимный интерес обеих организаций подготовили почву для их сотрудничества. Советские партнеры, сообщал Дин Доновану о своей встрече с начальником внешней разведки НКВД П. Фитиным и «Осиповым» (под личиной которого скрывался известный советский разведчик Г. Ованкимян), «были разочарованы отсрочкой с обменом миссиями», «но согласились продолжить обмен информацией через меня, а также просили Вашего согласия на ознакомление со специальным вооружением и техническими приспособлениями, используемыми Вашими людьми».[58]

Действительно, взаимный обмен информацией через военную миссию США в Москве стал глав-

ной формой сотрудничества двух спецслужб. Уже начиная с января 1944 г. они стали обмениваться списками интересующих вопросов и ответов на них. Американцев в первую очередь интересовало положение на Балканах как следующем театре военных действий, и на Дальнем Востоке, а также разведданные по фашистской Германии и Японии. Список «обменной проблематики», предложенный УСС, включал в себя широкий комплекс вопросов как по военно-экономическому потенциалу «стран оси» так и по социально-политическим вопросам — от морального состояния противника до роли церкви и методов управления оккупированными территориями.

Советские запросы были более нацеленными и прикладными: германская агентура в Турции, методы вербовки агентов и диверсионной работы, специальная радиоаппаратура и другие технические новинки шпионского снаряжения.[59] УСС инициировало обмен, направив «советским друзьям» в качестве жеста доброй воли и в расчете на взаимность образцы своей основной продукции разведсообщения от агентуры и разведывательные доклады, подготовленные в исследовательско-аналитическом отделе УСС на базе сведений из всех доступных источников.[60] ПГУ было прижимистей, ограничиваясь скупыми ответами на вопросы американцев и послав за все время лишь один подробный аналитический материал по Болгарии, получивший весьма высокую оценку американских коллег.[61] Обе стороны, естественно, стремились поменьше дать и побольше «выудить» друг у друга, подталкивая партнеров к большей откровенности. Весь обмен по договоренности шел через генерала Дина, равно как и переписка между Донованом и Фитиным. Попытки Донована вывести сотрудничество на уровень регулярных прямых рабочих контактов представителей разведок обеих стран, в том числе — с помощью посулов предоставления в их ходе дополнительной информации, не имели успеха.[62] Руководство НКВД, видимо, не слишком доверяло своим агентам, хотя у американской стороны было больше оснований опасаться прямых кон-

фактов — судя по американским данным, советской разведке удалось-таки проникнуть в УСС.[63] Впрочем, косвенные признаки этого проникновения отложились и в партийных архивах советского времени в виде «пиратских» переводов некоторых секретных материалов УСС.[64]

В сотрудничестве разведок двух стран был особенно заметен элемент конкуренции, так что порой трудно было отличить, где кончалось одно и начиналось другое. Показательна в этом смысле история с советскими шифрами, добытыми финской разведкой в 1944 г. Хотя НКВД и ГРУ после этого сменили прежние шифры, эти материалы представляли немалую разведывательную ценность для противника. Поэтому когда финны вышли на резидента УСС в нейтральной Швеции с этим товаром, Донован загорелся идеей его заполучить. Учитывая деликатность вопроса, директор УСС запросил мнение госдепартамента, мотивируя тем, что «взлом шифра русских будет представлять большой интерес и ценность для военной разведки США». К.Хэлл счел это приобретение «нецелесообразным и неправильным», но Донована, которого недаром прозвали «диким быком», это не остановило. Еще через месяц помощник госсекретаря Дж. Данн доложил Хэллу, что по, сообщению американского посольства в Стокгольме, агенты Донована готовят-таки сделку с финнами. На повторные предупреждения госдепартамента заместитель Донована полковник Бакстон ответил, что его шеф «берет всю ответственность за эту покупку на себя и лично объяснит свои мотивы президенту».[65]

Донован действительно попытался уговорить Рузвельта оставить материалы для дешифровки, но Рузвельт распорядился срочно без копирования вернуть перекупленное советской стороне и немедленно информировать об этом Москву, как зафиксировал в меморандуме для президента Э.Стеттиниус.[66] Донован через Дина направил Фитину прочувствованное послание со своей версией происшедшего: оказывается, как только Донован узнал о получении этого материала «из вражеских источников», он решил тут же передать его закон-

ным владельцам, а президент и госсекретарь одобрили эту инициативу как «единственно возможный для верного союзника образ действий». Но самая фальшивая нота звучала в конце послания, где заверялось, что «мы совсем не изучали этот материал и потому не можем определить его ценность, но исходим из того, что он представляет важность для русского правительства».[67] На самом деле все материалы до их передачи послу Громыко были тщательно скопированы и впоследствии очень помогли с дешифровкой сообщений советской разведки в рамках известного проекта «Венона».[68]

Особые сложности для сотрудничества разведок двух стран представляла проблема ликвидации остатков немецкой агентуры в самой Германии и сопредельных с нею странах. Многие из немецких разведчиков, как и германского военного командования в целом, попадая в руки союзников, предлагали свои услуги, в том числе — и в работе на советском направлении. Самый известный случай этого рода — судьба генерала Р. Гелена главы разведки вермахта на Восточном фронте, и остатков его агентуры, пригретых американской разведкой летом 1945 г. и впоследствии активно на нее работавших.[69] Гораздо менее известен эпизод с группой «доктора Геттла» (шефа германской разведки на Балканах), в котором опять-таки сотрудничество американской и советской разведки тесно переплеталось с соперничеством.

Штурмбанфюрер СС В.Гетлл был захвачен разведкой Третьей армии США под командованием знаменитого генерала Дж. Паттона и тут же предложил представителям УСС использовать остатки своей сети в Румынии и Венгрии против СССР. Проведенная УСС проверка на месте подтвердила наличие агентуры Гетлла в Будапеште и Бухаресте, где она имела хорошие контакты среди «железной гвардии» и других элементов профашистского подполья. Соблазн был велик, но риск — еще больше, поскольку речь шла о территории, оккупированной Красной Армией и группа Гетлла уже могла быть засечена советской разведкой.

Мы считаем слишком опасным использовать эту сеть далее без ведома русских», — сообщал шеф «Джи-2» генерал Зилберт.[70] Поэтому Донован и Зилберт сочли за благо информировать о ней П.Фитина с предложением о совместной ликвидации этой сети. Для предварительного обсуждения этой проблемы в Вейсбаден для встречи с курировавшим Гетлла резидентом УСС в Германии Алленом Даллесом был приглашен представитель НКГБ.[71] Фитин выразил большой интерес к этой идее, но запросил у Донована дополнительную информацию о группе Гетлла и «других крупных германских разведчиках, захваченных американскими военными».[72]

Последний вопрос поставил Донована в сложное положение — не мог же он рассказать о Гелене и секретных переговорах с ним того же Даллеса. К тому же у него возникли сложности со своим прямым начальством — руководством КНШ, выразившим недовольство отсутствием координации его действий с военным министерством и санкции самого КНШ на информирование советской стороны.[73] Пентагону явно не хотелось выдавать Гетлла, который уже давал Паттону ценные сведения о советской группировке в Австрии; кроме того, это могло повредить переговорам с Геленом и охладить желание других немецких разведчиков сотрудничать с американцами. Но дело зашло слишком далеко, чтобы давать ему обратный ход. КНШ в конце концов санкционировал предложенную Донованом «совместную ликвидацию». Состоялась ли она на самом деле, в доступных американских документах не прослеживается. Зато известно, что сам Гетлл недолго задержался в американской тюрьме и вскоре по ходатайству УСС и «Джи-2» был выпущен на свободу. «Вчерашние враги стали сегодняшними коллаборантами», — пишет по этому поводу биограф Донована А. Браун.[74]

Другой ареной конкурентного соперничества спецслужб США и СССР были восточноевропейские сателлиты Германии — Румыния, Болгария, Венгрия. Уже после коренного перелома на Вос-

точном фронте Донован стал уделять особое внимание Балканам в поисках контактов с умеренными политическими силами, которые могли бы ускорить выход этих стран из войны, а затем стать опорой новых некоммунистических режимов. До поры до времени попытки УСС проникнуть в эти страны до прихода туда советских войск блокировались госдепартаментом из-за опасений осложнить отношения с Москвой и втянуться в англо-советское соперничество в этом регионе.[75] КНШ был тоже против тайного вмешательства в чувствительной для СССР зоне.

Рассмотрев в сентябре 1943 г. предложение Донована о развертывании подрывной работы на Балканах, командование напомнило, что «операции в Болгарии, Румынии и Венгрии представляют непосредственный интерес для России» и что «необходимо избегать действий, которые будут ее антагонизировать». Между тем УСС «предлагает использовать страхи групп, опасающихся советского доминирования, и поощрять создание заслона из независимых некоммунистических стран, что, несомненно, станет известно русским и вызовет их возмущение».[76] Однако крах режима Антонеску в Румынии открыл для этого новые возможности. Уже через неделю после этих событий в Бухаресте высадилась первая группа офицеров УСС во главе с Ф. Визнером (впоследствии одним из создателей ЦРУ), намного опередив прибытие туда официальных военных и политических представителей США. Заявленными целями группы, о которых была проинформирована советская сторона, являлись помощь эвакуации американских военнопленных и сбор стратегической информации по Германии. Но в секретных инструкциях Донована ставились совсем другие задачи — сбор информации о советском военном присутствии на Балканах, целях и методах советской политики в Румынии, деятельности СКК, политической и экономической обстановке в стране.[77]

Используя подкуп и антирусские настроения румынской элиты, а также то, что первые три ме-

ница он был фактически единственным представителем США в Румынии, Визнер установил широкие связи в Бухаресте. Резидентура УСС стала для Вашингтона источником важной информации о советской военной и оккупационной политике в Румынии, скрытых методах постепенной советизации этой страны.[78] В то же время Визнер умело поддерживал отношения с командованием 2-го Украинского фронта, делясь полезной информацией о германских стратегических объектах. По сообщению Визнера, в середине октября штаб маршала Малиновского в ответ на вопрос Молотова по телефону о том, чем занимается УСС в Бухаресте, дал сугубо положительный отзыв о своем «тесном сотрудничестве» с американцами.[79] Это, видимо, помогло миссии УСС продержаться в Румынии до осени 1945 г. Вряд ли закрытая часть ее работы была секретом для советских властей, но, как докладывал Донована один из его представителей в штаб-квартире союзников осенью 1944 г., «политика русских в настоящее время состоит в том, чтобы демонстрировать желание сотрудничать с англичанами и особенно с нами, и потому русские придерживаются курса выжидания и проволочек вместо того, чтобы ясно и открыто заявить о своем нежелании мириться с действиями УСС в зоне их военного (и политического) влияния».[80]

В Болгарии отношения миссии УСС с советским командованием поначалу также складывались неплохо, хотя советская сторона постепенно ограничивала доступ миссии к болгарским военным. Но в конце сентября американцам было заявлено, что ввиду отсутствия у миссии официального разрешения на деятельность в зоне советского контроля ей как и группе английской разведки придется покинуть страну. Жалуясь на «бесцеремонные методы русских», глава миссии лейтенант Г. Харпер в своем отчете для руководства УСС признавал, что «резоны русских были технически обоснованы», а их мотивы объяснялись «стремлением отрезать нас от информации о своей армии».[81] Тем не менее после обращения Донована за помощью к Фитину и

нескольких запросов посольства США в Москве миссии было разрешено вновь вернуться в Болгарию, хотя, как потом оказалось, и ненадолго.[82] На будущее Фитин предложил действовать в таких случаях только через НКИД.

Ободренное благополучной развязкой по Болгарии, руководство УСС решило расширить свои операции в Восточной и Центральной Европе. В январе 1945 г. Молотову от имени Гарримана был направлен запрос об открытии миссии УСС в Венгрии. «Задача Бюро, — говорилось в нем, — будет заключаться в сборе стратегических разведывательных сведений, необходимых для операций против Германии».[83] Нарком своим синим карандашом подчеркнул насторожившие его слова о «сборе стратегической информации» и решил посоветоваться с Генштабом. Ответ его начальника маршала А.В.Василевского был по-военному четким: «Учреждение Бюро Стратегической службы США в Венгрии, по мнению Генштаба Красной Армии, нежелательно». В качестве официальной аргументации для отклонения «просьбы американцев» предлагались доводы о том, что сбором такой информации в СССР занимаются только в Москве, что в Венгрии нет соответствующих УСС партнерских служб, а главное — что Венгрия является зоной боевых действий советских войск и «согласно существующих положений в Красной Армии, такого рода службы в этой зоне не могут получить возможностей для развертывания своей деятельности».[84] А.Вышинский наложил резолюцию для отдела американских стран НКИД: «В этом духе подготовьте проект ответа американцам».[85]

Однако в конечном счете с американцами решили не церемониться, возможно, чтобы отбить у них охоту впредь обращаться с подобными запросами. Была избрана тактика «отказа по умолчанию», в том числе — и на последующие напоминания посольства. После капитуляции Германии КНШ распорядился отменить этот запрос ввиду «новой ситуации» в регионе. Сообщая об этом Вышинскому, Временный Поверенный Дж. Кеннан

не преминул выразить неудовольствие американской стороны почти четырехмесячным игнорированием ее просьбы: «...отсутствие ответа Советского правительства на письмо Посла явилось равнозначным отказу разрешить сотрудникам УСС действовать в Венгрии в течение периода военного времени; и я соответственно уведомил мое правительство».[86]

В октябре 1945 г. советское командование выставило миссию УСС из Мукдена, которая снабжала Вашингтон информацией о массовом вывозе в СССР из Манчжурии японского промышленного оборудования. На сей раз американцы не стали протестовать, поскольку сами «забыли» вывезти ее вместе с другим американским персоналом после оккупации Манчжурии советскими войсками. «То, что весь персонал был эвакуирован, оставив только команду УСС с главной целью сбора разведданных, не могло не вызвать враждебности русских», — признавал Донован в депеше для генерала Дж. Маршалла.[87]

Впрочем, Донован далеко не всегда испрашивал разрешения Москвы на посылку своих агентов, в том числе — и на советскую территорию. Но чтобы обойти запрет Рузвельта на нелегальную разведработу в СССР, нужны были специальные меры и хотя бы молчаливое согласие со стороны КНШ. Засылка профессиональных тайных агентов-нелегалов или под прикрытием посольства представлялась слишком непроходимой с американской стороны и слишком рискованной — с советской. Представитель УСС при госдепартаменте У.Кимбелл довел до Донована мнение дипломатического ведомства на сей счет: «лучшая в мире русская контрразведка», и жесткие ограничения на передвижение чужаков делают получаемые сведения мизерными, а провал — практически неизбежным. Последствия же такого провала, с учетом нынешних отношений с Россией, «могут быть серьезны как в военном, так и в политическом смысле», тем более что «госдепартамент твердо выступает за запрет агентурной работы России и других союз-

ных держав в Соединенных Штатах». В итоге госдепартамент отклонил эту идею и отказался от сотрудничества с УСС в подобной деятельности.[88]

Оставался еще один вариант — использование добровольных помощников из других ведомств. В мае 1942 г. Донован направил Гопкинсу конфиденциальный меморандум с предложением послать под прикрытием администрации ленд-лиза своего агента в Восточную Сибирь. Стратегическое значение региона, пояснял «Дикий бык», прежде всего в том, что «там находятся (военные) базы, с которых можно нанести прямой удар по Японии», пролегают потенциальные транспортные коридоры для американских поставок России в случае нападения на нее Японии и для сил США в случае их боевых действий против Японии с китайских баз, а также для американских поставок в Китай. Для этой деликатной миссии Донован предлагал американского инженера Дж. Миттлпейджа, который в 1930-х гг. несколько лет работал по контракту в Сибири, является «персоной грата» для русских и «жаждет применить свое глубокое знание Сибири на пользу своей стране». Официальной легендой для его поездки могло бы быть «не только ускорение текущих ленд-лизовских поставок через Сибирь, но и разведка новых маршрутов для расширенных поставок (прежде всего — самолетов) в максимально короткие сроки».[89]

Реакция Гопкинса на это предложение в доступных нам архивных документах не отложилась, но, скорее всего, она была отрицательной, ибо на следующий год Донован снова попытался провернуть похожую схему, но уже в гораздо более широком масштабе. Осенью 1943 г. УСС договорилось с владельцем крупной инженерной фирмы «Маккерди, Баджер и сыновья», которая занималась монтажом оборудования нефтеочистительных предприятий, поставляемых в СССР по ленд-лизу, о сборе информации «промышленного, сельскохозяйственного, культурного и в небольших объемах — политического характера», докладывал Донована полковник УСС О. О'Коннор. «Крыша» была

тем более подходящей, что фирма имела более тридцати специалистов в шести регионах страны и должна была работать в СССР по крайней мере полтора года. Для связи с информаторами планировалось разместить агентов УСС во Владивостоке, Тегеране и Синцзяне (Китай). «Поскольку нефтеочистительные предприятия финансируются по ленд-лизу с полного одобрения русских, безопасность перемещения людей будет обеспечена, — резюмировал О'Коннор. — Весь проект ничего не будет стоить УСС, а следовательно, не будет иметь официального статуса и фигурировать в наших финансовых документах».[90] Иными словами, шпионаж на советской территории должен был оплачиваться из средств ленд-лиза. Практическая реализация этого проекта в документах не прослеживается, однако вряд ли это был единичный случай такого рода и, следовательно, не только советские закупочные организации в США занимались сбором разведывательной информации, на что постоянно жаловались американские власти.

Все это не мешало самому УСС бдительно следить за целевым использованием ленд-лизовской техники и оборудования советской стороной. Так, например, осенью 1944 г. агенты управления в Тегеране отследили «левую» продажу иранцам советскими офицерами ленд-лизовского «джипа» и 20 автопокрышек, списанных советской стороной в порядке амортизации. Соответствующая информация была направлена в Вашингтон, и госдепартамент предложил заявить по сему поводу официальный протест советским представителям. Но посол США в Иране Л. Моррис по зрелом размышлении отсоветовал своему начальству «поднимать шум из-за мелких нарушений», которыми «грешат не только русские». К тому же, добавил Моррис, ему не хочется портить хорошие отношения, сложившиеся с советским послом, и рисковать раскрытием источника этой информации, что может ударить по работе УСС на контролируемой русскими иранской территории.[91]

В апреле 1945 г. неугомонный Донован предпринял еще одну попытку секретного проникновения

на советскую территорию, предложив тайно высадить разведгруппу на Курильских островах с целью их изучения для борьбы с японцами и возможного последующего использования самими Соединенными Штатами. Заключение КНШ было отрицательным: «Хотя успешная реализация плана дала бы ценную информацию, шансы на успех очень сомнительны и провал может помешать будущим операциям».[92]

Еще одним каналом информации для УСС были официальные визитеры, в том числе — высокопоставленные типа Д.Нельсона, которые перед поездкой в Советский Союз получали брифинг в советском отделе Управления, а по возвращении делились полученной информацией.[93]

Но главным источником разведданных оставались кадровые сотрудники военной и дипломатических миссий, которые даже в условиях плотной опеки советских спецслужб работали напористо и профессионально, умудряясь добывать весьма ценные сведения, в том числе — путем анализа, казалось бы, самой рутинной информации. Вот что заметил, например, генконсул США во Владивостоке Э.Клабб в ходе своей ознакомительной поездки в порт Находка в октябре 1945 г., когда американцы особенно внимательно отслеживали военную активность СССР на Дальнем Востоке. Сам отчет о поездке, направленный непосредственно госсекретарю Дж.Бирнсу, занимает восемь страниц очень убористого текста с подробным описанием всех объектов военно-промышленного значения по маршруту следования. Но главный вывод был сделан в конце донесения на основе наблюдений об отсутствии каких-либо признаков обустройства и расширения порта в Находке, который, как подозревали американцы, должен был взять на себя большую часть коммерческой нагрузки Владивостокского порта в случае превращения последнего в мощную военно-морскую базу. «Советский Союз в настоящее время, — отмечал Клабб, — как представляется, не в том положении, чтобы начать большую программу экспансии на Дальнем Востоке... Маловероятно, чтобы

он быстро развернул строительство большого флота на Тихом океане и необходимых для него баз».[94] Так фактическая информация с мест корректировала расхожие вашингтонские представления о реальном масштабе «советской угрозы» на Дальнем Востоке.

Особенно энергично действовал во Владивостоке кадровый сотрудник военно-морской разведки лейтенант Дж.Руллард, работавший под прикрытием генконсульства США. Глаза и уши профессионального разведчика подмечали и скрытые передвижения войск, и военные грузы на гражданских судах, и начавшуюся переброску военных и гражданских специалистов в порт Дальний и другие новые советские объекты в Маньчжурии.[95] Его декабрьское донесение 1945 г., легшее на стол адмирала У. Леги в Белом доме, приподнимает завесу над одной из мрачных страниц финала советско-японской войны: «10 декабря во Владивосток в сопровождении эскадренного миноносца вошло неизвестное советское судно класса «либерти» (танкеры, поставлявшихся американцами по ленд-лизу. — *Авт.*) с полутора тысячами японских военнопленных на борту. Судно вышло из Сахалина, имея на борту около трех тысяч пленных, которые в море подняли бунт, перебив весь советский экипаж и охрану, кроме радиста и двенадцати охранников из числа военных моряков. Миноносец пришел на помощь по сигналу SOS. Во время бунта было также перебито около половины пленных, включая их главарей, расстрелянных прямо на месте по прибытии в порт».[96]

При всех достижениях американской разведки на советском направлении уровень ее проникновения в СССР, судя по всему, был намного ниже, чем у советской разведки на территории США.[97] Но американцы компенсировали нехватку оперативной информации недюжинной аналитикой, хотя политический анализ по обе стороны океана, видимо, заметно отставал от сбора фактической информации военно-технического характера. Ясно, что в борьбе и сотрудничестве разведок как нигде переплетались взаимные подозрения и опасения, трезвые и

явно предвзятые оценки. Крайне сложным моментом для исследования, особенно — в советском случае, остается вопрос об использовании разведывательной информации в процессе принятия политических решений. Конкретный вклад разведок обеих стран в отношения между ними требует специального и всестороннего изучения, время которого пришло, но час — с учетом закрытости ведомственных архивов — еще не пробил.

Часть III

КАК ПРОГОРКЛИ ПЛОДЫ СОЮЗА

ОТ ЯЛТЫ ДО ПОТСДАМА

Итоги Ялтинской конференции были восприняты в США с большим оптимизмом, который разделяло и американское руководство. «Русские показали, что они могут поступать разумно и проницательно, — говорил об этом Г. Гопкинс, — и ни у президента, ни у кого-либо из нас не оставалось никакого сомнения в том, что мы сможем ужиться с ними и работать мирно так долго, как это только можно себе представить».[1] Однако это настроение было не всеобщим. Делегация американского посольства возвращалась в Москву со смешанными чувствами. Преобладало ощущение, что «ялтинский медовый месяц» продлится недолго: оптимисты на борту самолета заключали пари с пессимистами вроде Ч.Болена, считавшими, что счет идет на дни и недели, а не месяцы.[2]

Пессимисты оказались правы. Не успели просохнуть чернила на ялтинской «Декларации об освобожденной Европе», как между союзниками начались споры о ее нарушениях. Упомянутое сталинское напутствие Молотову по поводу этого документа было прежде всего апробировано в Румынии. Демонстративный «хлопок дверью» Вышинским в заключение аудиенции с королем Михаем в конце февраля и последовавшая затем спешная замена кабинета Радеску просоветским правительством П. Гроза шумно отозвались в Вашингтоне и Лондоне. «Что касается румынской си-

туации, — писал Рузвельт Черчиллю 11 марта, — то Аверелл поднял и продолжает поднимать этот вопрос с Молотовым, апеллируя к Декларации об освобожденной Европе... но Румыния — неподходящее место для пробы сил».[3]

Настоящая «проба сил» разворачивалась вокруг Польши, и одним из главных дипломатических полигонов этой борьбы стала работа комиссии Молотова — Гарримана — Керра, созданной по решению Ялтинской конференции. Хотя комиссия была призвана играть роль нейтрального посредника и арбитра между различными фракциями поляков, на деле обе стороны — советская и англо-американская — занялись проталкиванием «своих» кандидатов в состав будущего правительства Польши. С советской стороны эта задача была четко поставлена уже в предложениях Вышинского по польскому вопросу, доложенных Молотову 16 февраля. Они предусматривали выделить остальным «демократическим силам» всего 5 мест из 20, согласовывать всех кандидатов с Берутом и его соратниками, и с самого начала вести обсуждение всех кандидатур на комиссии с участием Берута, Осубки-Моравского и Роля-Жимерского. Не менее выразительными были и карандашные «замечания тов. В.М.Молотова», приложенные к записке Вышинского: «Польша — большое дело! Но как организованы правительства в Бельгии, Франции, Греции и т.д., мы не знаем. Нас не спрашивали, хотя мы не говорим, что нам нравится то или другое из этих правительств. Мы не вмешивались, т.к. это зона действий англо-американских войск» (подчеркнуто в тексте. — *Авт.*).[4]

Этот крик души наркоминдела (в более дипломатичном виде повторенный затем и Сталиным в его послании Черчиллю от 24 апреля) ясно говорит о том, что в Кремле искренне считали вмешательство англосаксов в польские дела нарушением неписаного правила союзнических отношений и видели в своих ялтинских уступках по Польше чуть ли не одолжение союзникам. А раз так, то было необходимо свести практические последствия к ми-

нимуму, благо ялтинские формулировки позволяли это сделать. Молотов, как докладывал в Вашингтон Гарриман, уцепился за русский перевод соответствующего абзаца ялтинского документа, где говорилось, что Комиссия должна «проконсультироваться в Москве в первую очередь с членами теперешнего Временного правительства и с другими польскими демократическими лидерами», тогда как взятые за его основу в английском варианте слова «в первую очередь» относились к Москве как месту проведения первого тура консультаций. Хотя официально англосаксы упирали на необходимость качественного обновления состава правительства, втихомолку американцы признавали (как писал Рузвельт Черчиллю 29 марта), что ялтинское соглашение «делает больший упор на люблинских поляках, чем на двух других группах».[5] Потому Гарриману с Керром нелегко было противостоять железной настойчивости Сталина и Молотова в том, что «их поляки» должны стать основой «реорганизованного правительства», иначе, как доказывал на Комиссии Молотов, получится «не реорганизация, а ликвидация правительства».[6]

Ни упорные возражения западных послов, ни протесты Рузвельта с Черчиллем в посланиях к Сталину не имели эффекта; Сталин в ответ обвинил Гарримана и Керра в отступлении от ялтинских договоренностей, согласился лишь «попросить» Временное правительство рассмотреть кандидатуру Миколайчика при условии, если тот публично заявит о своей поддержке Ялтинских решений. Единственное, на что еще можно надеяться в «спасении Польши от полного советского господства», подытожил Гарриман в телеграмме госсекретарю от 3 апреля, это договориться о включении в будущее правительство «ряда лидеров крестьянской и социалистической партий».[7]

Для самого Гарримана «полное советское господство» в Польше было чревато и серьезным материальным ущербом, поскольку он был совладельцем крупного акционерного общества «Гиш», занимавшегося разработкой полезных ископае-

мых в Силезии. И в самом деле, уже через полгода новое правительство Польши начнет национализацию крупной промышленности и его представители на переговорах в Москве специально поднимут вопрос о судьбе этой компании с учетом личного интереса в ней важного американца. Молотов, однако, не стал предлагать для кампании каких-либо льготных условий, как это было сделано в конце 1920-х гг. при свертывании концессии Гарримана в СССР. Финансовое положение новой власти в Польше и без того было крайне плачевным, если даже драгоценные металлы для польских орденов приходилось выпрашивать у Москвы.[8]

Дальнейшая борьба в польском вопросе развернулась вокруг персоналий, приглашаемых в Москву для консультаций. «Варшавский список» составлялся Берутом и К° с последующим утверждением в Москве, а англо-американский — группой Миколайчика в Лондоне с последующей перетасовкой его в госдепартаменте и Форин Оффис.[9] Советская сторона почти не скрывала авторства своих предложений, тогда как союзники пытались держать свои источники в тайне. Оба списка практически не пересекались (за единственным исключением С. Кутцебы), поэтому были взаимно неприемлемы.

Вот, например, как выглядели одни и те же персонажи из числа выдвигавшихся кандидатов во внутренних оценках советской и западной сторон (официальная английская характеристика дается в скобках). Кардинал А.Сапега — «человек глубоко реакционный, эндекофашистского типа, беспредельно преданный Ватикану, враг демократии... Для переговоров абсолютно неприемлем» («хорошо известный и пользующийся всеобщим уважением деятель, авторитет которого особенно велик в части населения, которая населена преимущественно католиками»?. З. Заремба — «члены ППР характеризуют Зарембу как матерого врага СССР и единства рабочего движения. За согласие и коалиционное правительство — только на словах. Кандидатура ... абсолютно неприемлема» («пользуется значитель-

ным влиянием среди социалистов... Хорошо проявил себя в борьбе против немецкой оккупации»). Не лучше воспринимался в Москве и сам Миколайчик, которого Вашингтон и Лондон считали непременным участником нового правительства и своим кандидатом номер один: «...Миколайчик настроен явно антисоветски. Его переговоры с ПКНО в Москве служили прикрытием для польской реакции... Перехваченная нами переписка Миколайчика с руководителями Армии Крайовой изобличала его как ярого врага СССР».[10]

На фоне затягивания польского узла разыгрался еще один кризис в межсоюзнических отношениях, связанный с «Бернским инцидентом» — историей вокруг секретных контактов разведки США в Берне с нацистскими представителями по поводу капитуляции немцев в Италии. Контакты были санкционированы самим Рузвельтом, который, как отмечает видный дипломатический историк США У.Коэн, в данном случае «проявил несвойственное ему равнодушие к советским опасениям».[11] Получив 12 марта от Молотова запрос на участие советских представителей в этих контактах, Гарриман первым порекомендовал Вашингтону отклонить его на том основании, что в Берне речь идет о предварительных контактах по чисто военным вопросам. «Русские на нашем месте, — мстительно добавлял посол, — никогда не пригласили бы западных представителей и расценят наше согласие как признак слабости, поощряющий к новым требованиям». Согласиться с требованием русских, вторил ему Дин в рекомендациях своему начальству, «будет актом умиротворения».[12] Эта аргументация была положена в основу позиции руководства КНШ,[13] а затем и самого Рузвельта, который опасался, что советское присутствие в Берне отобьет у немцев желание капитулировать, и считал к тому же Италию сферой западного влияния, в которой решающее слово должно оставаться за англо-американцами.[14]

Между тем, согласно донесениям УСС из Берна, обергруппенфюрер Карл Вольф прибыл в Берн

не только с целью установления контактов с американцами, но и для «обсуждения конкретной программы вывода из войны германских сил на Севере Италии», которую он и изложил своим партнерам по переговорам. УСС готовилось к продолжению этих секретных переговоров в Швейцарии с участием представителей штаба командующего войсками США в Италии генерал Александера, на которые приглашались и англичане, но не русские союзники.[15]

Гарриман первым откликнулся на врученный ему 16 марта возмущенный протест Молотова, который назвал отказ американцев «совершенно неожиданным и непонятным с точки зрения союзных отношений между нашими странами» и потребовал прекратить начатые переговоры.[16] «Самонадеянный тон письма Молотова, — откомментировал посол, — выводит наружу то командное отношение к Соединенным Штатам, о котором до сих пор мы только подозревали».[17] Позже в тот же день он телеграфировал свои соображения о возможных мотивах столь «сильной» советской реакции. Вполне вероятно, что русские не верят нам, писал посол, и к тому же опасаются или имеют информацию о том, что и другие немецкие соединения «могут начать сдаваться нам с целью себя обезопасить».[18]

Посол был близок к истине. Советское руководство имело основания не доверять союзникам в этом вопросе, располагая обильной информацией о происходящем в Берне, о других тайных контактах союзников с немцами, в том числе через различных посредников. Агенты и информаторы советской разведки в УСС, Лондоне, Париже, столицах нейтральных государств регулярно сообщали о многочисленных «мирных происках» немецкой агентуры с целью достижения сепаратных соглашений с западными союзниками на завершающем этапе войны. Так, в начале апреля нарком НКГБ Меркулов докладывал Молотову, что «по данным, исходящим из польских эмигрантских кругов в Лондоне, германское командование якобы договорилось че-

ра Буркхардта (председателя Международного Красного креста. — *Авт.*) с англичанами и американцами относительно того, что все танковые и механизированные части будут сняты с западного фронта и переброшены на Восточный фронт с целью удержания Восточного фронта до тех пор, пока союзники не оккупируют остальную часть Германии».[19] Наслаиваясь на традиционно-большевистскую подозрительность в отношении западных партнеров и повышенную нервозность финала изнурительной войны, подобные сведения, естественно, создавали в Кремле крайне негативный фон для восприятия бернского инцидента.

Советские подозрения усиливались и очевидной разницей между сопротивлением немцев на Восточном и Западном фронте. «Русские, очевидно, пришли к выводу о том, что немцы оказывают лишь показное сопротивление нашему продвижению, — писал об этом чуть позже сам Гарриман. — Они подозревают, что причиной тому является либо какое-то скрытое взаимопонимание с нашими военными, либо надежда немцев на более мягкое отношение с нашей стороны. Эти подозрения, несомненно, усугубляются опасениями о том, что Красная Армия может лишиться славы первой достигнуть жизненных центров Германии в то время, как западные союзники одерживают сенсационные, но, на их взгляд, дешевые победы».[20] Не случайно в Москве сложилось убеждение в том (как писал Молотов в ответ на очередные уверения англо-американцев), что переговоры с немцами ведутся «за спиной Советского Союза, несущего на себе основную тяжесть войны против Германии».[21]

Через несколько дней переписка по этому вопросу вышла на высший уровень, приведя к самому резкому за всю войну обмену во взаимных обвинениях между Рузвельтом и Сталиным. Менее известны некоторые новые детали, высвечивающие остроту советской реакции. Изучение сталинского архива показывает, что ключевое послание от 3 апреля (воспринятое в Белом доме как наиболее оскорбительное), от начала и до конца было напи-

сано самим Сталиным в отличие от подавляющего большинства других посланий Рузвельту, составленных на основе молотовских заготовок. Мало того, в последний момент Сталин внес еще два дополнения в уже отпечатанный текст послания (они отмечены курсивом), поднимая ставки «бернского инцидента» до предельной высоты: «Понятно, что такая ситуация никак не может служить делу *сохранения* и укрепления доверия между нашими странами... Я лично и мои коллеги ни в коем случае не пошли бы на такой *рискованный* шаг, сознавая, что минутная выгода, какая бы она ни была, бледнеет перед принципиальной выгодой по сохранению и укреплению доверия между союзниками».[22]

Другой штрих связан с известным решением не посылать Молотова на открытие учредительной конференции ООН в Сан-Франциско, принятым в самый разгар «бернского кризиса» и, думается, напрямую связанным с ним. Дело не ограничивалось простой заменой Молотова на Громыко, как обычно считается в публикациях на эту тему. Согласно первоначальному постановлению Политбюро от 13 марта (т.е. до начала бернской истории) в Сан-Франциско планировалось послать необычно представительную советскую делегацию с участием А. Жданова и других партийных и государственных деятелей, что, видимо, должно было подчеркнуть особую роль СССР в учреждении ООН и повышенное внимание Кремля к запуску этой всемирной организации. Однако всего через неделю с небольшим это решение пересматривается в сторону резкого снижения уровня и сокращения численности советской делегации, которая превращается из парадно-представительской в чисто рабочую.[23] Вряд ли это было сделано ввиду «большой занятости» Молотова на сессии Верховного Совета СССР, как гласила официальная версия в объяснениях с разочарованными союзниками.

В ходе подготовки к Сан-Францисской конференции в комиссии Литвинова обсуждался и вопрос о местонахождении постоянной штаб-квартиры будущей международной организации. Сам

Литвинов был против ее американской «прописки» как чреватой непропорциональным влиянием США на деятельность ООН. «Мне лично представляется очень удачным выбор Монако, — писал он в докладной Молотову и Сталину, — с тем, чтобы все это крошечное государство целиком перешло бы под администрацию Организации, в каковом случае экстерриториальность и свобода от местных влияний были бы полностью обеспечены». В пользу Монако говорили и моральные соображения: «Попутно была бы достигнута ликвидация мирового игорного притона в Монте-Карло. Но именно вследствие ассоциации с рулеткой предложение может показаться смешным». В качестве других вариантов Литвинов предлагал Прагу, Вену или Зальцбург.[24]

Помимо польского вопроса и «бернского инцидента» немалые трудности возникли и с реализацией ялтинского соглашения об обмене военнопленными. Привыкшие беречь своих людей американцы не могли понять равнодушного отношения советских властей к освобожденным из немецкого плена военнослужащим союзников, как, впрочем, и враждебного обращения со своими собственными пленными. Дело осложнялось тем, что большинство недавних американских пленных оказалось на территории Польши, куда советское командование не хотело пускать представителей США и под разными предлогами отказывало в таких просьбах. Чудом добравшиеся оттуда до Москвы американские офицеры, среди которых оказался родственник близких соратников Рузвельта Г. Моргентау и губернатора Нью-Йорка Г. Лемана, рассказывали Дину и Гарриману о своих мытарствах и тяжелых условиях содержания в советских фильтрационных лагерях, которое, по их словам, немногим отличалось от положения немецких военнопленных (характерно, что у американских рядовых было гораздо меньше жалоб на сей счет и они усматривали здесь скорее «типичную русскую халатность, а не сознательное стремление плохо обращаться с нами»).[25] К тому же военнопленные союзников

были избалованы сравнительно щадящими условиями германского плена, в котором, как сообщали советские наблюдатели, «для них, благодаря работе Красного Креста, были созданы неплохие условия существования. Они получали посылки весом до 24 кг в месяц, неплохо питались и одевались».[26]

Гарриман и Дин тщетно бомбардировали НКИД и Генштаб просьбами и предложениями своей помощи в снабжении и репатриации американского персонала. «Я возмущен, — телеграфировал посол Рузвельту 14 марта, получив от Молотова разъяснение о том, что не Москва, а Временное правительство Польши возражает против допуска в страну американских представителей. — Советское правительство, на мой взгляд, пытается использовать наших военнопленных как дубинку для укрепления престижа польского правительства, вынуждая нас обращаться к нему». С подачи Гарримана и Дина Рузвельт перешел на повышенный тон в обсуждении этой проблемы в своей переписке со Сталиным, который упорно стоял на своем, отвечая контробвинениями насчет плохого содержания советских военнопленных в американских лагерях и задержек с их передачей советским властям.[27]

К сожалению, протесты и жалобы американских военных и дипломатов по этому поводу доходили до Белого дома с большим трудом, чем позитивная информация. Слова Сталина (из его послания Рузвельту от 5 марта) об улучшении положения с репатриацией американских военнопленных подтверждались и донесениями с мест сотрудников военной миссии США. «Условия содержания улучшаются с каждым днем, — сообщал, например, из транзитного лагеря в Одессе в начале марта майор П. Холл, — ...Русские делают все, что могут, но их нормы уровня жизни гораздо ниже наших... Тем не менее американские солдаты и офицеры получают не худшее, а скорее лучшее обслуживание, чем их собственные войска». Да и сам генерал Дин докладывал в те же дни Маршаллу о том, что «русские совершают почти чудо в пе-

реброске наших пленных из зоны военных действий в Одессу за столь короткое время».[28] Проведенное военной миссией анкетирование более полутора тысяч репатриированных военнопленных в апреле—мае показало, что около 60% опрошенных считало условия своего содержания в СССР «настолько хорошими, насколько можно ожидать».[29] Тем не менее военное командование и посол сгущали краски, подталкивая президента к жесткому тону обсуждения этой проблемы с Москвой.

Накапливались и другие раздражители. После первых совместных инспекций разведывательных объектов на освобождаемой от фашистов территории (в том числе — сверхсекретного ракетного комплекса нацистов в Пенемюнде), которые разожгли аппетиты американской разведки,[30] советские власти стали ограничивать допуск туда представителей США. Так, например, запрос Дина о разрешении на поездку американских специалистов для анализа результатов стратегических бомбардировок вызвал следующий комментарий отдела американских стран НКИД: «Генерал Славин (начальник Управления внешних связей НКО. — *Авт.*) сообщил, что у него есть указание с ответом по этому вопросу не спешить с тем, чтобы этот вопрос со временем отпал». Резолюция Вышинского была еще категоричней: «Затянуть. Не отвечать до нового напоминания».[31]

Дело было не только в политических мотивах, но и в элементарной перегруженности советского командования подобными запросами, отвлекающими его от главных задач на решающем заключительном этапе войны. Это хорошо понимали и сами американские представители. Список интересующих нас разведывательных объектов постоянно растет и уже перевалил за три сотни, писал в КНШ генерал Дин, «а каждый объект и направляемая туда команда ложится дополнительным бременем на советские боевые части; поэтому мне трудно не сочувствовать русским в их сопротивлении этим запросам».[32] Однако разведка США не собиралась умерять свои аппетиты, и Дин оставил свое сочувствие при себе.

Затягивался и вопрос о предоставлении американцам авиабаз в Приморье, осуществлялась негласная (но хорошо известная американцам) передача ленд-лизовских поставок Временному правительству Польши и другим новоиспеченным союзникам СССР. Жесткие требования американской стороны предоставить «исчерпывающие сведения» о таких поставках вызывали лишь раздражение у руководства НКИД (заметное даже по молотовским подчеркиваниям в этих нотах).

Тон рекомендаций посольства и военной миссии США в Москве становился все более жестким — вплоть до предложений приостановить поставки по ленд-лизу.[33] Но Комитет советского протокола в очередной раз воспротивился пересмотру сложившейся политики. «Линия, утвержденная Президентом и м-ром Гопкинсом, исключает политику quid pro quo в использовании ленд-лиза для достижения политических или дипломатических целей, — отмечал генерал Йорк в ответ на запрос госдепартамента. — Эта линия действовала на протяжении почти четырех лет, и было бы неверно изменять ее без одобрения Президента и м-ра Гопкинса».[34] В конце марта Гарриман запросил госдепартамент и президента срочно отозвать его в Вашингтон для доклада о причинах «пугающего поворота в наших отношениях с Советским правительством после Крымской конференции».[35]

То же ощущение растущего раздражения поведением Москвы Гарриман осторожно пытался довести и до своих советских коллег, кивая при этом на внутреннюю обстановку в США. Так, на чае, устроенным в честь супруги Черчилля женой Молотова П.С.Жемчужиной, посол между прочим поделился с И.М.Майским «некоторыми опасениями»: «Президент очень огорчен и разочарован. В печати и общественном мнении США явно нарастают раздражение и недовольство ходом событий после Крымской конференции. В такой обстановке достаточно какого-нибудь сравнительно мелкого инцидента для того, чтобы в Америке разразилась буря». (Запись этой беседы с «дружеским предуп-

реждением» Гарримана была исправно разослана Молотову и всем его замам).[36]

В начале апреля Гарриман, ощущая нехватку поддержки из Вашингтона, решил подвести концептуальную базу под свою жесткую линию и вновь вернулся к идее политического использования экономической помощи. В длинной аналитической депеше госсекретарю от 4 апреля он уже совершенно однозначно характеризовал советскую стратегию в кеннановских тонах как направленную на большевизацию всей Европы: «Мы должны ясно отдавать себе отчет в том, что советская программа направлена на утверждение тоталитаризма и отрицание личных свобод и демократии в нашем понимании». «СССР, — продолжал Гарриман, — выйдет из войны с самым большим после США золотым запасом, будет располагать значительным запасом ленд-лизовских материалов и оборудования для послевоенного восстановления, будет нещадно вывозить все, что можно, из оккупированных стран, контролировать в своих интересах внешнюю торговлю подчиненных ему стран... и в то же время — требовать от нас всей возможной помощи для продвижения своих политических целей в различных районах мира в ущерб нашим интересам». Вывод делался один: поскольку США не могут тягаться с Советским Союзом в политических методах распространения своей системы, им следует сделать главный упор на финансово-экономические рычаги: «Если мы не хотим жить в мире, большая часть которого находится под советским господством, мы должны использовать свое экономическое влияние для защиты наших политических идеалов». Конкретно говоря, Гарриман предлагал «заботиться прежде всего о наших западных союзниках и других странах под нашим попечением», дабы выбить из-под ног СССР экономическую почву для распространения своего влияния.[37]

Эти рекомендации Гарримана были сочтены настолько серьезными, что попали на первое место в ежедневной сводке наиболее важных сообщений

госдепартамента.[38] Однако в Белом доме к ним не прислушались; не внял Рузвельт и настойчивой просьбе посла вызвать его в Вашингтон для личного доклада. Следуя указаниям президента, руководство КНШ в те же дни отклонило предложения Дина и Гарримана о мерах по ограничению военного сотрудничества с СССР в ответ на «нелояльное поведение» советских властей. Формулировки высшего военного командования были все еще выдержаны в традициях союзнической лояльности: «Поддержание единства союзников в ведении войны остается кардинальной и важнейшей задачей наших военных и политических отношений с Россией. Приведенные примеры отказов русских от сотрудничества при всем том, что их трудно понять и они вызывают раздражение, сами по себе являются сравнительно незначительными инцидентами. Они могут стать важными, только если приведут к ответным мерам с нашей стороны, за которыми последуют аналогичные шаги русских и так — вплоть до нарушения в конце концов союзного единства». В постановлении КНШ, подготовленном Комитетом стратегического обзора, также давалась смягченная оценка бернского кризиса и подчеркивалась необходимость «скорейшего устранения» его негативных последствий.[39]

Рузвельт в конечном счете тоже решил сгладить бернский инцидент, направив Сталину примирительное послание с заверением в том, что он «поблек и отошел в прошлое» и «незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем».[40] Получив это послание для передачи в Кремль, Гарриман на свой страх и риск задержал его вручение под предлогом ожидания дополнительной информации от Керра (о согласовании англо-американской реакции по Берну), а в основном для того, чтобы попытаться ужесточить его тон. «Могу я предложить, — телеграфировал он Рузвельту 12 апреля, — опустить эпитет «незначительный», поскольку должен признаться, что в данном случае непонимание представляется мне очень серьезным». Посол даже заготовил новый

текст послания, в котором отсутствовал неприятный для него эпитет, но президент, очевидно, также считал этот нюанс очень важным. «Я не намерен, — ответил он Гарриману в тот же день, — опускать слово «незначительный», так как хочу считать бернское непонимание незначительным инцидентом».[41] «Та энергия, с которой он отверг мое предложение, — вспоминал впоследствии Гарриман, — была очень характерна для его решимости обращаться со Сталиным максимально сдержанно, несмотря на все трудности».[42]

Сталинская жесткость в Восточной Европе и особенно в Польше ставила под вопрос эффективность всей рузвельтовской «стратегии приручения». Очевидцы вспоминали, что в последние недели своей жизни президент был встревожен и возмущен «нарушением Сталиным ялтинских договоренностей».[43] Однако и в этот момент он еще не терял надежды на урегулирование разногласий, призывая Черчилля — за день до своей смерти — не педалировать «советскую проблему».[44]

Покуда оставалась «большая тройка» и его личные отношения со Сталиным, сохранялись и шансы на решение проблем послевоенного урегулирования. «Вопросы размеров, границ и соотношения сил между государствами континентальной Европы могли казаться не столь уж важными, — угадывал этот настрой Рузвельта известный историк и дипломат Г. Фейс. — Если, как это, возможно, представлялось, три основных участника военной коалиции смогли бы действовать сообща в новой международной политической организации, то эти вопросы поддавались удовлетворительному разрешению. Но если бы они разругались и не оказались на высоте своей спасительной миссии, Европе предстояло мрачное будущее независимо от принятых в тот или иной момент решений».[45]

Рузвельтовское указание Гарриману по бернскому инциденту было одним из последних распоряжений президента, сделанное за несколько часов до его смерти. В посольстве об этом узнали ночью 13 апреля. «В 02 часа 50 минут позвонил

Гарриман и просил сообщить Народному комиссару Молотову, что незадолго до 23 часов по московскому времени скончался Президент Соединенных Штатов Рузвельт, — записал в дневнике дежурный помощник наркома М. Потрубач. — Гарриман заявил, что сегодня днем, по возможности раньше, он хотел бы видеть г-на Сталина и г-на Молотова». Посол явно не находил себе места: через пять минут он снова позвонил в НКИД и запросил встречи с наркомом «этой ночью». В 3 часа 05 минут Потрубач перезвонил Гарриману с сообщением о желании Молотова «посетить посла сейчас, если это ему удобно» (это необычное ночное желание, видимо, возникло у наркома после согласования с «Хозяином».[46] Молотов, докладывал Гарриман в Вашингтон на следующий день об этом визите, «казался очень расстроенным и взволнованным... Я никогда не видел его таким искренним».

Вечером того же дня Гарримана принял Сталин, также как будто потрясенный внезапным известием. «Он встретил меня скорбным молчанием и не отпускал моей руки секунд тридцать», — отмечается в американской записи этой беседы. Ответив на вопросы Сталина об обстоятельствах смерти президента и о его преемнике, Гарриман заверил вождя в том, что Трумэн продолжит политику Рузвельта. «Президент Рузвельт умер, но дело его должно продолжаться, — ответил Сталин. — Мы окажем президенту Трумэну поддержку всеми своими силами».[47] Гарриман воспользовался моментом, чтобы сделать заранее заготовленный ход — вновь поднять вопрос о поездке Молотова в Сан-Франциско и Вашингтон «для подтверждения того, что было сказано маршалом Сталиным в отношении американского народа и Трумэна». Посол даже пригласил Молотова полететь вместе на американском самолете по краткому маршруту через Европу и в шутку предложил нарисовать на нем красную звезду (нос четырехмоторного посольского «Либерейтора» уже украшала надпись «Америка» на русском языке). Лучше зеленую, отшутился Сталин и тут же всерьез поинтересовался, чье

приглашение — свое или официальное — имеет в виду посол. Гарриман признался в импровизации, но заверил, что уверен в официальном приглашении. Соблазн сделать жест доброй воли в отношении Рузвельта и Трумэна, а заодно и «прощупать» нового президента был слишком велик, и Сталин, посовещавшись с недовольным Молотовым, пообещал Гарриману организовать поездку наркома.[48]

Посол торжествовал вдвойне — помимо дипломатического успеха решался вопрос и о его поездке в Вашингтон для доклада новому президенту, о которой он вновь запросил сразу же после смерти Рузвельта. Уже на следующий день госдепартамент подтвердил, что приезд Молотова «будет приветствоваться как свидетельство искреннего сотрудничества с президентом Трумэном».[49] Нарком ответил официальным согласием в письме на имя Гарримана: «По поручению И.В.Сталина прошу Вас довести до сведения Президента и Государственного Секретаря, что советское правительство — несмотря на трудности, связанные с моим отсутствием в Москве ввиду предстоящей сессии Верховного Совета СССР — решило принять изложенное в Вашем письме от 14 апреля приглашение».[50] Молотов полетел хотя и американским самолетом, но не через Европу, а длинным проторенным путем через Сибирь и Аляску. Гарриман же спешно вылетел наперегонки в противоположном направлении, выиграв несколько лишних дней, которые ему очень пригодились.

Недюжинный актер, Сталин, по всей видимости, был все же действительно потрясен кончиной Рузвельта, как и большинство современников. Правда, в Ялте он видел президента ослабленным, но знал, что тот продолжает твердо сохранять управление государством в своих руках, о чем говорила и их активная переписка вплоть до самого последнего дня. К эффекту внезапности примешивалось чувство тяжелой потери: Сталин рассчитывал на привычное партнерство с президентом в критический период завершения войны и закладывания основ послевоенного устройства. Не дове-

рявший даже самому себе, привыкший и в союзниках видеть врагов, он, конечно, не доверял до конца и Рузвельту, тем более что благодаря хорошо поставленной разведке отчетливо видел и его двойную игру (прежде всего с разработкой атомного оружия и затягиванием открытия второго фронта). Но как утилитарист Сталин хорошо понимал, что Рузвельт для СССР — это наилучший из всех возможных вариантов американского руководства, крайне важный для реализации своей большой стратегии, главными целями которой являлись разгром общего врага и закрепление плодов победы — новой расширенной сферы влияния СССР в Европе и на Дальнем Востоке.

Сталин был хорошо информирован о нарастании сопротивления советской политике Рузвельта в Америке и теперь имел веские основания опасаться ее пересмотра. Тем более что преемник Рузвельта не входил в круг его близких соратников и был известен в Москве главным образом своим памятным призывом 1941 г. к взаимному истреблению немцев и русских. Не случайно в первых оценках нового президента для советского руководства этот факт неизменно занимал видное место, хотя в справке американского отдела НКИД делался весьма оптимистический прогноз о том, что «Президент Трумэн будет в основном продолжать внешнеполитическую линию Рузвельта, направленную на разгром Германии и послевоенное международное сотрудничество».[51] Любопытно, что Сталин с его кровавым опытом борьбы за власть и манией преследования не исключал варианта заговора против покойного президента, о чем свидетельствовал переданный через Гарримана совет провести медицинскую экспертизу на предмет возможного отравления Рузвельта.[52]

Отношение Сталина к Рузвельту и реакция на его кончину прослеживаются и в том, как Сталин откликнулся на нее в своих посланиях американцам. В Фонде Молотова сохранился черновик сталинского соболезнования вдове президента Элеоноре — первого официального отклика вождя на

смерть Рузвельта. В нем Сталин высоко поднимает значение мировой роли Рузвельта, заменяя скупую молотовскую характеристику президента как друга и соратника по борьбе с нашим общим врагом» на куда более выразительное и масштабное — «великого организатора борьбы свободолюбивых наций против общего врага и как руководителя дела обеспечения безопасности во всем мире».[53]

Именно в такой чеканной формулировке послание было срочно, 13 апреля, напечатано в «Известиях», задав тон всей советской пропаганде в освещении этого события. «Мы все потрясены этой неожиданной потерей, — отвечала ему Э.Рузвельт, — но думаем, что Господь в его бесконечной мудрости призвал моего мужа к себе, когда тот сделал все, что только мог сделать человек на его месте».[54] В опубликованном в том же номере «Известий» большом некрологе (также просмотренном Сталиным) давалась развернутая и самая комплиментарная характеристика всей политической деятельности Рузвельта: «...проводил «новый курс», имевший целью ограничение монополий и улучшение социальных условий широких народных масс... руководитель великой заокеанской демократии»; отмечался «прогрессивный образ мысли Рузвельта, его непримиримость к фашистской агрессии и стремление обеспечить безопасность в будущем». В том же номере «Известий» было опубликовано и послание Сталина президенту Трумэну, в котором подчеркивалась историческая роль Рузвельта как «величайшего политика мирового масштаба и глашатая организации мира и безопасности после войны».[55]

Под тем же заголовком — «Глашатай мира и безопасности» — вышла и большая статья о Рузвельте в газете «Правда» от 15 апреля. Главный упор в ней делался на вкладе Рузвельта в советско-американское сотрудничество. Статья заключалась на пафосной ноте: «Пусть же и впредь расцветает эта выдержавшая испытания войны дружба, как истинно величественный памятник сошедшему без-

временно в могилу президенту Рузвельту».[56] В газете были также напечатаны подробный отчет о траурных церемониях в Вашингтоне и текст последней речи президента, которую он должен был произнести 13 апреля, с памятным призывом «развивать способности всех людей жить и трудиться вместе на одной и той же планете в условиях мира». Решением СНК советским государственным учреждениям в Москве было «предложено вывесить на своих зданиях траурные флаги». Это фактически означало объявление официального траура в связи с кончиной буржуазного лидера — первый случай подобного рода во всей советской практике. И за этим решением тоже стоял Сталин.

Разумеется, в сталинской реакции на смерть Рузвельта присутствовали и чисто политические расчеты — светлый образ покойного президента отождествлялся с с золотой порой советско-американских отношений и становился их мерилом на будущее. Свое дальнейшее развитие культ Рузвельта получит в годы холодной войны по контрасту с политикой его преемников в Белом доме. И все же думается, что в реакции Сталина на смерть главного союзника было и искреннее сожаление, и опасение о будущем. 15 апреля, отвечая на взволнованное письмо Г.Гопкинса, в котором говорилось об утрате Россией «своего самого большого друга в Америке», Сталин написал в необычно прочувствованном для себя тоне: «Совершенно согласен с Вами в оценке роли и значения Рузвельта для Советского Союза. Лично я глубоко опечален потерей испытанного друга — человека великой души».[57]

Если так, то Сталин был не одинок в этих чувствах. Как это делалось для выяснения общественных настроений по важным вопросам, 13 апреля по линии партийных органов и НКВД была собрана специальная информационная сводка «Об откликах на смерть президента США Франклина Рузвельта». «Известие о смерти Президента США Франклина Рузвельта встречено в Москве с чувством искреннего соболезнования и глубокого сожаления о безвременной кончине, — докладывал

результаты секретного опроса глава партийной организации Москвы Г.Попов Молотову. — ... Одновременно высказывается чувство тревоги — будет ли преемник Рузвельта на посту президента — Трумэн — продолжать последовательно линию Рузвельта в важных вопросах войны, мира и послевоенной безопасности и в отношении к Советскому Союзу?»[58] Однако в Москве не спешили с выводами, о чем свидетельствовали и упомянутые оценки нового президента экспертами НКИД.

В Вашингтоне же смена политических ветров ощутилась в первые же дни. Уход Рузвельта открыл шлюзы копившегося давления в пользу ужесточения советской политики. Малоопытный и прямолинейный Трумэн, чуждый виртуозной рузвельтовской стратегии «приручения», быстро дал понять, что предпочитает более откровенный и жесткий тон в отношении СССР и будет больше полагаться на мнение своих военных и дипломатических советников. «Было ясно, — запишет в дневнике Дж.Дэвис уже в середине мая, — что смерть Рузвельта и поражение Германии ослабили единство «большой тройки». Большая часть людей вокруг нового президента разделяет скорее подозрения Черчилля насчет России, чем надежды Рузвельта и его решимость исчерпать все достойные пути сохранения этого единства, необходимого для сохранения мира...»[59]

Сторонники ужесточения незамедлительно воспользовались новой обстановкой. Уже 17 — 23 апреля КНШ пересмотрел свое решение двухнедельной давности, согласившись с рекомендациями генерала Дж.Дина о выходе из совместных проектов и зарезервировав за собой право на ответные меры в случае дальнейшей советской неуступчивости.[60] Новые директивы для военной пропаганды предписывали «не замалчивать трудностей» между союзниками и укреплять репутацию Трумэна, в том числе — и за счет «прекращения рассуждений о способности Америки выдержать шок от смерти Рузвельта».[61]

В те же дни руководство УСС повторной и более широкой рассылкой распространило среди военно-дипломатической верхушки страны проигнорированный Рузвельтом доклад «Проблемы и цели политики Соединенных Штатов», подводивший развернутую концептуальную базу под новую жесткую стратегию. В ее основе лежало представление об СССР как о новом, по завершении разгрома Германии и Японии, «евразийском гегемоне», способном в силу сохраняющихся у него «экспансионистских устремлений» «стать для США самой зловещей угрозой из всех известных до сих пор». В качестве основных средств этого «профилактического сдерживания» предлагалось создание американо-западноевропейского блока в Европе, исключение советского влияния в Японии и недопущение его распространения на всю Германию и Китай.[62] Примерно в том же духе был выдержан и меморандум «О послевоенной безопасности», подготовленный в марте группой государственных консультантов под руководством принстонского профессора Э. Эрла.[63] Ключевые посылки этих документов вскоре лягут в основу всего военно-стратегического планирования США.

20 апреля состоялся первый разговор Гарримана с Трумэном в присутствии Стеттиниуса и Грю, в ходе которого посол выложил весь набор основных аргументов, которыми он до того безуспешно бомбардировал Рузвельта, добавив для острастки угрозу «варварского вторжения в Европу».[64] Трумэн, однако, среагировал на них совсем иначе, чем Рузвельт — как по сути, так и по прямолинейной форме. «Президент сказал, что ни в коей мере не боится русских и намерен быть с ними твердым, но справедливым, поскольку они нуждаются в нас больше, чем мы в них». На осторожное напоминание Гарримана о неизбежности компромиссов ответом было, что «в важных вопросах мы должны получить 85% того, что хотим». У нового президента явно были свои понятия о взаимности в отношениях с СССР. Оставшись с ним наедине, окрыленный Гарриман поспешил (как пишет в своих мему-

ярах Трумэн) выразить чувство «большого облегчения в связи с тем, что Вы, оказывается, прочли все мои телеграммы и что мы совершенно одинаково смотрим на создавшуюся ситуацию».[65] Трумэн похвалил посла за хорошую работу и просил продолжать присылать ему «длинные послания».

Вдохновленный удачным дебютом, Гарриман продолжил свою агитацию на двух совещаниях с руководством госдепартамента 20 и 21 апреля. Здесь шел более конкретный разговор по болевым проблемам американо-советских отношений. Обсуждались возможности использования различных рычагов давления на СССР, главным из которых был признан кредит на послевоенное восстановление. Призывая к отпору «советской угрозе», Гарриман вместе с тем советовал не переоценивать советскую мощь: «Их армия очень эффективна в боевых действиях, но дезорганизована в человеческом плане... Страна остается фантастически отсталой. Нет нормальных дорог, железные дороги в плохом состоянии, девять десятых населения Москвы живет в условиях наших трущоб».[66] Именно эта отсталость, доказывал Гарриман, усиливает заинтересованность Москвы в экономическом содействии США, которая повышает шансы на уступчивость Кремля в политических вопросах. Реакция начальства была вполне благосклонной, и скоро эти идеи начнут претворяться в жизнь.

Тем временем война в Европе приближалась к концу. Войска Жукова, Конева и Рокоссовского приближались к Берлину. «Дела под Берлином идут неплохо, — с удовлетворением сообщал Сталин Молотову в Вашингтон 19 апреля... Думаю, что через дней 5—6 мы должны быть в предместьях Берлина. Что касается союзников, они, как видно, застряли пока на Эльбе».[67] Вождя радовали не только успехи своих войск, но и промедление «застрявших» союзников.

Первая встреча Трумэна с Молотовым 22 апреля имела ознакомительный характер и прошла довольно гладко. Однако последовавшее за этим совещание министров иностранных дел «большой

тройки» подтвердило тупиковую ситуацию по польскому вопросу. Молотов имел жесткое указание Сталина твердо держаться уже заявленной позиции и уклоняться от попыток союзников «решить вместе с тобой польский вопрос в Америке», ссылаясь на отсутствие там представителей Временного польского правительства.[68] Между тем к тому времени советское правительство сделало еще один важный шаг к легализации своих польских союзников, объявив о намерении («идя навстречу требованиям советского и польского народов») заключить с ними договор о дружбе и союзе. Вышинский проинформировал об этом Гарримана еще 16 апреля, явно наслаждаясь произведенным эффектом внезапности: «В первые минуты Гарриман явно растерялся и не знал, видимо, как ему реагировать», — записал Вышинский в своем дневнике. Оправившись, посол заявил о необходимости дождаться создания нового польского правительства и о готовности Вашингтона высказаться по этому поводу официально. В ответ Вышинский великодушно согласился выслушать американскую сторону, но «дал понять, что заключение договора не может стоять ни в какой зависимости от замечаний американского правительства, если такие замечания и последуют».[69]

Неудивительно, что при таком настрое работа «польской комиссии» в Вашингтоне не сдвинулась ни на шаг. Перед следующей беседой с Молотовым Трумэн собрал совещание по советской политике с участием госсекретаря, военного командования и Гарримана. Выслушав мрачное сообщение Стеттиниуса об итогах совещания трех министров, Трумэн задал тон обсуждению: все предыдущие соглашения с СССР были, по его мнению, «улицей с односторонним движением, и так дальше продолжаться не может», «планы на Сан-Франциско остаются в силе, и если русские не хотят присоединиться к нам, они могут идти ко всем чертям» (хотя на предыдущей беседе с Гарриманом Трумэн признал, что «без России от всемирной организации мало что останется».[70]

Однако военный министр Стимсон и генерал Маршалл высказались куда осторожней. Стимсон напомнил о верности СССР своим обязательствам и «больших военных вопросах» и призвал к пониманию советских мотивов в польском вопросе (в котором, по его словам, «русские, вероятно, более реалисты, чем мы, в отношении их безопасности»). Маршалл подтвердил большую заинтересованность военного командования во вступлении СССР в войну с Японией и согласился со Стимсоном в том, что польский кризис угрожает «серьезным разрывом с Россией». Гарриман, Форрестол и Дин поддержали президента: по мнению посла, твердость только поможет избежать большего разрыва, тем более что СССР, добавил Дин, вступит в войну с Японией, невзирая на остальные факторы. Короче, заключил Форрестол, «если русские будут упорствовать, то лучше устроить демонстрацию силы уже сейчас, чем позднее».[71]

Что и было сделано Трумэном в тот же день на встрече с Молотовым. Хотя сохранившиеся версии этой памятной беседы существенно рознятся,[72] а самый драматичный — трумэновский вариант («Я дал ему прямо в челюсть», сказал он Дж. Дэвису) на фоне официальных записей обеих сторон представляется явно утрированным, нет сомнений в том, что «продолжатель дела Рузвельта» обдал Молотова холодным душем, прежде всего — по польскому вопросу. Впоследствии Гарриман вспоминал, что сам был удивлен «атакой Трумэна» и сожалел об этой «ошибке», поскольку «его (Трумэна) поведение дало Молотову повод сообщить Сталину об отходе от рузвельтовской политики».[73]

Окончание войны в Европе дало новый импульс демонстрации жесткости. Откровеннее всего возможности новой ситуации оценил британский разведывательный комитет в своем докладе Объединенному комитету начальников штабов США и Великобритании. «С окончанием войны в Европе отпала необходимость предоставления России военной помощи... наше положение в торге с русскими сразу же улучшилось, и нам нет больше нужды

любой ценой сохранять примирительный тон». Отныне, делался вывод, СССР больше зависит от Запада (прежде всего — финансово-экономически), чем Запад от него, что открывает новые возможности для более жесткого торга.[74] Вообще повышенный негативизм британской военно-политической верхушки в отношении перспектив сотрудничества «с Советами» находил все больший резонанс в вашингтонских кругах. В кулуарных разговорах с американскими партнерами высокопоставленные английские разведчики и дипломаты не скрывали надежд на то, что после войны «США и Великобритания будут стоять плечом к плечу как преграда на пути СССР с его огромными славянскими ордами».[75] Опасения геополитического толка, как видно, смешивались с англосаксонским комплексом превосходства в отношении «отсталых народов» и откровенным русофобством. Даже обычно осторожный Э.Иден, выступая не для протокола перед узкой группой журналистов накануне конференции в Сан-Франциско, подтвердил решимость Уайт-холла и Белого дома «твердо стоять за выполнение ялтинских соглашений, невзирая на последствия» — «даже если наша твердость приведет к тому, что русские начнут действовать в одиночку».[76]

Дальнейшие события только подтвердили смену политической погоды в Вашингтоне. Учредительная конференция ООН в Сан-Франциско началась с ожесточенных споров по процедурному вопросу о председательствовании, в котором Молотов вынужден был пойти на компромисс под объединенным давлением «четверки» (США, Англия, Франция, Китай). Следующий конфликт разгорелся вокруг вопроса о приеме в ООН новых членов: подзуживаемые помощником госсекретаря по Латинской Америке Н.Рокфеллером, страны континента ратовали за прием недавней союзницы стран «оси» Аргентины в качестве негласной платы за свое согласие на прием в организацию Украины и Белоруссии. Упорные попытки Молотова отложить прием Аргентины и в то же время добиться вступ-

ления в ООН союзной, но еще не признанной Западом Польши окончились неудачей. Однако пропагандистская победа осталась за ним — контраст между Польшей и Аргентиной был явно не в пользу последней, и Вашингтон оказался в положении обороняющейся стороны.[77] Даже крайне скупой на похвалу Сталин на сей раз остался доволен своим заместителем: «Твое выступление по Аргентине совершенно правильно, — телеграфировал он ему в начале мая, — ...Вообще, я должен сказать, что ты хорошо ведешь работу на конференции».[78]

Между тем в кулуарах «Фремонт-отеля», где проходила конференция, расползались слухи о грядущем конфликте и даже войне между союзниками. Одним из главных источников этих слухов стал посол США в Москве. Хотя формально Гарриман был лишь советником американской делегации, он взял на себя роль одного из главных ее представителей. На серии закрытых брифингов для американских журналистов и издателей он решил открыть глаза публике на вероломство советской политики и, не стесняясь в выражениях, излагал свое видение «непримиримого конфликта» между союзниками и необходимости нового жесткого подхода к СССР. Многие журналисты были шокированы непривычно враждебным тоном — тем более от человека, слывшего близким сторонником Рузвельта. Известный радиокомментатор Р.Свинг даже вышел в знак протеста из зала, а мэтр американской журналистики У.Липпман в сердцах высказал А.Керру, что «с таким настроем Гарримана следует убрать из Москвы».[79] Слухи об антисоветских высказываниях «влиятельных фигур» проникли в печать, вызывая письма протеста в адрес госдепартамента и самого президента.[80]

9 мая — в «советский» день Победы (межсоюзное соперничество помешало договориться о единовременной капитуляции Германии) — на встрече у госсекретаря в Сан-Франциско было решено: 1) усилить давление на Кремль по польскому вопросу; 2) отдать приоритет экономической помощи Западной Европе за счет сокращения поставок по

ленд-лизу в СССР.[81] На следующий день состоялось ключевое межведомственное совещание в госдепартаменте по вопросу дальнейшей судьбы советского ленд-лиза. Как докладывал своему начальнику его участник от штаба армии генерал Линкольн, «в ходе обсуждения присутствовавшие представители госдепартамента дали понять, что рассматривают использование ленд-лиза как политическое оружие в связи с нашими трудностями с русскими по Центральной Европе».[82] Однако открытое давление, как понимали Гарриман и Стеттиниус, могло дать противоположный эффект. Поэтому указание госсекретаря своему заместителю Дж.Грю предписывало в вопросах ленд-лиза проявлять «твердость при избежании намека на угрозы или политический торг».[83] Трудность подобного сохранения хорошей мины при плохой игре скоро подтвердилась на практике. Параллельно в госдепартаменте стали обсуждаться варианты увязки с восточноевропейскими проблемами и другого важного для СССР вопроса — о предоставлении послевоенного кредита. Предлагалось намекнуть советской стороне на то, что отношение к этому конгресса напрямую зависит от «большой озабоченности развитием событий в Восточной Европе со времени Крымской конференции».[84]

По итогам совещания в госдепартаменте Дж.Грю и Л.Кроули (глава Администрации иностранной экономической помощи) 11 мая представили Трумэну проект директивы о «немедленном прекращении» запланированных поставок Советскому Союзу, как только «это представляется физически возможным».[85] Трумэн тут же подписал директиву, а ранним утром 12 мая представители Кроули в Комитете советского протокола настояли на буквальном толковании «немедленного прекращения»: была не только остановлена погрузка уже стоявших в портах судов, но и повернуты вспять суда, находившиеся в Средиземном и Черном морях на пути в СССР.[86] Последнее было явным перебором, отдающим намеренной провокацией, тем более что все это делалось без согласования с со-

нетской стороной, а ее уведомление постфактум в ноте Дж.Грю носило весьма расплывчатый характер — в ней говорилось лишь о «немедленном видоизменении», но никак не о прекращении отгрузок поставок.

Советские представители в Нью-Йорке тут же сообщили в посольство о происходящем в порту, и поверенный в делах Н.Новиков срочно запросил разъяснений у Грю, который отрицал существование такого распоряжения и адресовал Новикова к другому заму Стеттиниуса — Клейтону. В госдепартаменте началось срочное разбирательство дела, в которое активно вмешался Гарриман. Он первым забил тревогу, связавшись по телефону со всеми ключевыми лицами — Кроули, Клейтоном, генералами Йорком и Вессэном. Госдепартамент при этом сваливал вину на чрезмерное рвение военных, а те, в свою очередь, ссылались на недвусмысленную директиву, подготовленную самими же дипломатами для президента: Клейтон и Гарриман, с иронией докладывал своему начальству генерал Линкольн, «теперь говорят, что не имели в виду того, что написали».[87] («Неудачная фраза была, видимо, вставлена в последнюю минуту мелким чиновником госдепартамента на основании расшифровки им неразборчивой записи г-на Гарримана, — говорилось в записи расследования этого инцидента, сделанной Линкольном. — Г-н Гарриман утверждал, что под «прекращением» он всегда имел в виду производство, а не поставки. Мы с генералом Вессэном ясно заявили о том, что для простых солдат эта фраза звучала как недвусмысленный приказ, подразумевающий немедленные однозначные действия»).[88]

В итоге телефонных переговоров Гарриман и Клейтон заручились согласием президента на то, чтобы было вновь повернуть суда вспять и продолжить погрузку уже запланированных к отправке судов, прекратив последующие поставки (для подстраховки исполнители попросили подтвердить эти новые указания письменно).[89] Вечером того же дня Клейтон сообщил Новикову о пересмотре,

объяснив происшедшее «недоразумением». Руководители Комитета Советского протокола в разговорах между собой сетовали на «подставивших президента» анонимных авторов злополучной формулировки и надеялись, что инцидент «не принесет большого ущерба».[90]

Однако ущерб оказался большим. Даже на искушенных советских дипломатов в Вашингтоне, ощущавших бюрократическую неразбериху вокруг этого решения, оно произвело впечатление «репрессивного мероприятия», как сообщал в Москву Новиков. «У меня создалось впечатление, — проницательно резюмировал он, — что приказ о полной приостановке погрузки был отдан не по недоразумению, как утверждали Клейтон и Дюрброу, а как проявление определенной тактики. Однако эта тактика позднее была сочтена слишком резкой и потому видоизменена».[91]

В Кремле же оно было однозначно воспринято как попытка оказать нажим на СССР и как разрыв с деполитизацией ленд-лиза при Рузвельте. Там давно опасались, что ленд-лиз может стать рычагом политического давления,[92] и теперь эти опасения получили наглядное подтверждение. Сдержанное возмущение сквозило даже в официальной ответной ноте, где сухо говорилось о том, что «указанная нота (Грю. — *Авт.*) и прекращение поставок явились для Советского правительства полной неожиданностью. Однако если Правительство Соединенных Штатов не видит другого выхода, то Советское Правительство готово принять к сведению указанное решение Правительства США».[93] Открытым текстом оно было выражено в суровом молотовском указании совпослу, приложенном к той же ноте — «не клянчить перед американскими властями насчет поставок» и «не высовываться вперед со своими жалкими протестами. Если США хотят прекратить поставки, тем хуже для них».[94]

Эта смесь бравады и искреннего возмущения как нельзя лучше передает подлинное настроение кремлевских вождей, оскорбленных в час своего победного триумфа не столько сутью в общем-то

ожидавшегося американского решения, сколько его бесцеремонной стилистикой. Три недели спустя, уже после компромиссного урегулирования вопроса о дальнейших поставках, Сталин в разговоре с Гопкинсом опять вернется к этому эпизоду, подчеркнув «оскорбительный и неожиданный» характер действий американцев и предупредив о тщетности попыток «оказать давление на русских с целью сделать их более уступчивыми». «Если бы советское правительство было заранее предупреждено об этом, — сказал Сталин, — не возникло бы такого чувства, о котором он говорит; такое предупреждение было необходимо, поскольку советская экономика является плановой». Он добавил, что в ответ в Кремле даже решили отказаться от намерения «выразить в соответствующей форме благодарность Соединенным Штатам за помощь по ленд-лизу во время войны».[95] Выговорами американцам дело не ограничилось. Прекращение ленд-лиза было доведено до всего советского руководства в специальной ориентировке, которая, как свидетельствуют ветераны советской разведки, квалифицировала этот акт Вашингтона как серьезный симптом нового жесткого курса в отношении СССР.[96] Все это, естественно, сказывалось на отношении Сталина и к самому Трумэну: именно в эти майские дни «Верховный» сказал Молотову и Жукову что «теперь, после смерти президента Рузвельта, Черчилль быстро столкуется с Трумэном».[97]

В американской литературе весь этот эпизод до сих пор часто трактуется как явно непомерная советская реакция на чисто техническую ошибку чиновников, тогда как отечественные авторы и американские историки-ревизионисты до сих пор видят в нем явный политический умысел. Реальная ситуация была, видимо, противоречивее: при всем несомненном элементе случайности этот технический сбой стал возможен только в новой политической атмосфере охлаждения отношений, когда для тех же чиновников стало безопаснее переборщить в сторону жесткости, чем думать о тонкостях со-

ветского восприятия своих действий. Иными словами, вместо рузвельтовского правила «в случае сомнения идти русским навстречу» начинал действовать принцип «в случае сомнения — отказать». Между тем даже некоторые сторонники твердой линии среди американских военных типа генерала Линкольна в разговорах среди своих признавали, что «с военной точки зрения... невозможно уравнять победы и американские жизни с техникой и долларами».[98] Вполне правомерно ведущий американский знаток этого вопроса историк Дж. Герринг назвал решение 12 мая «серьезной дипломатической ошибкой»: «внезапная, радикальная и даже грубая остановка поставок без предупреждения и консультаций с русскими без нужды антагонизировала их в критический момент советско-американских отношений. Она... создала у них впечатление, что Соединенные Штаты пытаются использовать экономическое давление, чтобы вынудить их пойти на политические уступки».[99]

В те же майские дни госдепартамент под влиянием Дж.Грю и Гарримана затеял подготовку ревизии ялтинских соглашений по Дальнему Востоку. Растущее убеждение в некритичности советского вклада в разгром Японии подогревало усилившееся со смертью Рузвельта и окончанием войны в Европе стремление переиграть ялтинские договоренности в пользу США. Ставился даже вопрос о том, стоит ли президенту Трумэну взять на себя обязательства, данные по этому вопросу Рузвельтом.

Конкретно речь шла о сокращении согласованных советских прав в Порт-Артуре и Дальнем, получении дополнительных уступок по Маньчжурии и Корее, а также об использовании Курильских островов военной авиацией США. Соответствующий запрос на эту тему за подписью Грю был направлен военному министру 12 мая.[100] Однако реакция военных на этот запрос была в целом прохладной: Стимсон подчеркнул, что вступление СССР в войну с Японией по-прежнему «будет иметь глубокие военные последствия», а США все равно не в силах

воспрепятствовать занятию данных территорий Красной Армией (за исключением Курильских островов, где это повлекло бы за собой удлинение сроков войны с Японией и неприемлемые «потери американских жизней»). Военный министр также подтвердил, что советское участие в оккупации Японии было бы оправданным с военной точки зрения, но является предметом политического решения.[101] В результате «задний ход» по Ялте не удался, хотя его рецидивы еще дадут себя знать в будущем.

Вообще май — июнь 1945 г. стали периодом, пожалуй, самых напряженных дебатов по советской политике в общественно-политических кругах США. В борьбе «за душу Трумэна» сталкивались два противоположных подхода. Сторонники рузвельтовской линии (Г.Уоллес, Дж.Дэвис, О.Кокс, Г.Кларк и др.), встревоженные первыми серьезными признаками похолодания, били тревогу, призывая к срочным мерам для пресечения дрейфа советско-американских отношений в сторону враждебности. Продолжая разделять ключевые посылки рузвельтовского подхода (советско-американское сотрудничество как основа послевоенного мира, легитимность интересов безопасности СССР, эластичность советских мотивов), они предупреждали об опасности ужесточения американской политики, которое грозит привести к «ощетинившейся России» и расколу Европы на два враждебных блока. Вместо этого предлагалось снять советские опасения за счет заключения военно-политических договоров о демилитаризации Германии и Японии, интернационализации Рура, учета советских запросов по черноморским проливам, безотлагательного предоставления крупных кредитов на восстановление экономики СССР.[102]

«Ястребы», со своей стороны, исходили из противоположных презумпций и ратовали за сдерживание «советской экспансии» путем создания противовесов ей в Европе и Азии как единственного способа избежать новой большой войны, а в случае необходимости — победить в ней. «Грядущая вой-

на с Советской Россией — предрешенное дело», — писал Дж.Грю в записке от 19 мая, распространить которую в кругах госдепартамента ему с трудом отсоветовали Гарриман и Болен, опасаясь, что более чем вероятная утечка этой информации будет расценена как «планирование войны с Советским Союзом».[103] Впрочем, и сам Грю, как опытный дипломат, понимал опасность публичного нагнетания страстей вокруг столкновения с еще необходимым союзником. В те же майские дни он резко пресекает всякую связь госдепартамента с организацией общественных дебатов на эту тему: «Трудно оказать худшую услугу для нашей страны и мира в целом, чем устраивать публичные дебаты о возможности советско-американской войны».[104]

Масло в огонь антисоветских настроений подливала тенденциозная информация от захваченных в плен немецких генералов и дипломатов, командования Армии Крайовой и других врагов СССР, подзуживавших американцев к «неизбежному столкновению» с «советской тиранией».[105] Матерый нацистский разведчик и дипломат фон Папен, например, на допросах старался внушить американцам, что «главным врагом Запада является СССР» и поэтому ему нужна «сильная Германия». Политический смысл подобных настроений не был тайной для разведки США. «Среди образованных слоев, — доносила военная разведка из Германии в самом начале мая, — уже распространяется злорадство по поводу трудностей в отношениях союзников с Россией, и ясно, что они будут делать все возможное, дабы отравить эти отношения и противопоставить стороны друг другу».[106] Значительная часть финских военных, сообщали американские дипломаты из Хельсинки, «разочарована тем, что русские первыми вошли в Берлин. Эти круги продолжают лелеять идею о том, что сближение США и Великобритании с СССР является неестественным и долго не продлится».[107]

Антагонистов в этих внутренних дебатах объединяло ощущение критичности переходной ситуации и необходимости резкой смены курса. Однако

время однозначных решений еще не пришло. Сохранялась зависимость от советского вклада в разгром Японии: на июньских дебатах в КНШ с участием президента Трумэна вступление СССР в войну на Дальнем Востоке все еще называлось одним из главных факторов капитуляции Японии, способным в сочетании с американским вторжением на острова сыграть роль «решающего довеска» в решении японского командования выбросить белый флаг.[108] Кроме того, оставалась неясность как в стратегических аппетитах самих США, так и в отношении советской политики; в общественном мнении и влиятельных СМИ еще были сильны настроения в пользу сотрудничества с СССР. Докладываемые президенту внутренние оценки госдепартамента подтверждали, что несмотря на некоторое ослабление пост-ялтинского оптимизма и рост недоверия к СССР явное большинство американцев (до 72%) выступало за продолжение сотрудничества с советским союзником.[109]

Поэтому за первым похолоданием последовала серия примирительных шагов со стороны США. Последняя миссия Гопкинса в Москве помогла развязать сразу несколько узлов в межсоюзнических отношениях, и прежде всего — проложила дорогу к признанию Западом Временного польского правительства.

Гопкинс (недаром прозванный Черчиллем «мистер суть дела») сразу же расположил Сталина тем, что назвал наконец вещи своими именами — США в духе Ялты признают, что «члены нынешнего польского режима составят большинство нового польского правительства».[110] Гопкинс также дал понять, что США могут согласиться на предложенные Москвой количественные квоты при советских уступках по персональному составу приглашаемых на консультации. После этого дальнейший торг свелся к определению персонального списка, который был согласован к концу переговоров. Сталину пришлось смириться с включением туда не только Миколайчика, но и В. Витоса с Я. Станчиком. Первого ввиду его «кулацкого происхождения» и «популярности среди

зажиточного крестьянства» в Москве считали неприемлемой кандидатурой.[111] О втором (лидере Соцпартии) Сталин в переписке с Молотовым высказывался как о «фигуре, которая не может вызвать у нас сочувствия».[112] С учетом этих уступок Гопкинс с Гарриманом рекомендовали Белому дому дать согласие на данный состав, каковое и было быстро получено как из Вашингтона, так и из Лондона. Тем не менее, общий баланс в составе приглашенных поляков (семеро против пяти) складывался в пользу просоветской группировки. Недаром посол Временного правительства Польши в Москве Модзелевский, узнав о достигнутом 6 июня соглашении, назвал его на встрече в НКИД «победой по всей линии», «большим и несомненным успехом советской дипломатии».[113]

Состав нового правительства Польши был окончательно согласован на консультациях между приглашенными в Москву польскими представителями, проходивших под эгидой «трехсторонней комиссии». «Не-люблинские поляки» получили в нем всего шесть мест из двадцати одного, причем все ключевые силовые ведомства остались в руках берутовцев. Рекомендуя Белому дому признать новое правительство, Гарриман не скрывал контраста между «приподнятым настроением Молотова и варшавских поляков» и «серьезной озабоченностью остальных». Со своей стороны «лондонские поляки», по сведениям УСС, настраивались отнюдь не на сотрудничество с Москвой и просоветской группировкой: «...Ясно, что в конечном счете они надеются, вернувшись домой, доказать англосаксонскому миру, насколько невозможно иметь дело с Россией».[114]

Настроения в послевоенной Польше шокировали даже видавших виды американских наблюдателей. Побывавший там представитель американского Красного Креста с удивлением сообщал Гарриману о широком распространении антисемитизма, комплексе превосходства и враждебности по отношению к России, контрастирующими со столь же иррациональным преклонением перед Западом и особенно — Америкой: «В их инфантильном покло-

шении есть нечто жалкое, они преувеличивают наши достоинства и не замечают недостатков».[115] Умеренные польские деятели вроде бывшего маршала сейма Тромпчинского, крайне недовольные «линией Керзона», видели «единственное утешение в том, что мы избавляемся от западных украинцев. Я бы посоветовал советскому правительству выслать этих украинцев в Сибирь, — продолжал Тромпчинский в беседе с польским журналистом, переданной в Москву. — Это совершенно другой элемент, нежели восточные украинцы. Если бы вы только знали, что эти западные украинцы проделывали в Варшаве...»[116]

Во беседах с Гопкинсом Сталин откровенно поделился с ним «определенной тревогой» советских правительственных кругов в связи с последними действиями американского правительства по польскому вопросу, ленд-лизу, разделу германского флота, включению Франции в состав репарационной комиссии, принятию Аргентины в ООН. «По мнению этих кругов, — сказал Сталин, — в отношениях Америки к Советскому Союзу наступило заметное охлаждение, как только стало ясно, что Германия потерпела поражение, и дело выглядит так, будто бы американцы теперь говорят, что русские им больше не нужны».[117] Сталин, как видно, попал в точку, верно уловив главную причину смены ветра в Вашингтоне. Характерно, что Гопкинс в ответ не стал обсуждать тезис о «нужности», сосредоточившись на конкретных проблемах.

Визит Гопкинса, снявший и некоторые другие спорные проблемы (прежде всего — по вопросу о процедуре голосования в Совете Безопасности), на время улучшил атмосферу в Москве. «Отношение советских должностных лиц после отъезда Гопкинса стало менее скованным, — сообщалось в телеграмме посла Трумэну. — Сталин подарил Гарриману обученных кавалерийских рысаков».[118]

Посол — страстный наездник, бывший когда-то членом сборной США по поло, приметил редкостно обученную лошадь под генералом Антоновым на просмотре кинохроники майского военного парада

во время приема в честь Гопкинса. Заметив интерес посла, Сталин пообещал подыскать ему скакуна. На следующий день в посольство позвонил советский генерал и запросил срочную встречу с Гарриманом, отказавшись назвать предмет разговора. «Дин и Аверелл решили, что случилось нечто ужасное, поскольку русские никогда не звонят нам сами, — описала происшедшее Кэтлин. — Через полчаса Аверелл поднялся наверх с папкой в великолепной красной коже. В ней были фотографии и родословные двух лошадей — той, которой восхищался Аверелл (английской породы), и донского жеребца, видимо, для меня. Первого зовут Факт, а второго Бостон».[119] Кэтлин описала и сам кремлевский прием в честь Гопкинса, на который (редкий случай) были приглашены женщины — жена Гопкинса Луиза и сама Кэтлин: «Женскую половину СССР представляла мадам Майская. В отличие от Ялты Сталин не произносил никаких официальных тостов, а только вставлял забавные реплики в тосты Молотова. Аверелл, сидевший напротив Сталина, отметил его необычно хорошее расположение духа, но мне он показался более спокойным, чем в Ялте. Молотов исполнял роль тамады».[120]

Во время визита Гопкинса произошел еще один любопытный эпизод, характерный для дипломатической самостоятельности Гарримана. 7 июня он получил для передачи советской стороне ответ Трумэна на послание Сталина от 27 мая, в котором советский вождь предлагал союзникам восстановить дипломатические отношения с Румынией, Болгарией, Финляндией, а затем и с Венгрией.[121] Трумэн согласился в отношении Финляндии как страны демократической и не воевавшей с Соединенными Штатами, но высказал осторожные сомнения в легитимности просоветских правительств остальных трех стран. Гарриман, посоветовавшись с Гопкинсом, убрал из президентского послания комплименты в адрес Финляндии и объяснил это Трумэну лишь постфактум как стремление избежать «серьезного непонимания со стороны Сталина», которого наверняка бы покоро-

было «наше невнимание к роли Финляндии в ее совместных с Германией действиях против России». Я считал, — телеграфировал он Трумэну, — что Вы не станете возражать против этого изменения, поскольку оно не затронуло содержания послания».[122] Через два месяца после «бернского инцидента» посол снова подправлял президента, но на сей раз — в противоположную сторону и с большим успехом.

В ходе июньской переписки А.Громыко со Стеттиниусом США согласились поддержать заявку СССР на мандатное управление одной из бывших итальянских колоний.[123] В июне после колебаний Белый дом все-таки не последовал призывам Черчилля оставить американские войска в отведенной для СССР оккупационной зоне в Германии в качестве «козырной карты» на предстоявших переговорах. Хотя у сэра Уинстона нашлись сторонники в администрации,[124] энергичное вмешательство Гопкинса и отрицательное мнение госдепартамента предотвратили взрывоопасную ситуацию. Такой шаг, предупреждал госдепартамент, будет расценен русскими «как разрыв официального соглашения, а ответные советские действия будет трудно предвидеть».[125] «Считаю это решение (об отводе войск. — *Авт.*) очень важным для наших будущих отношений с Россией», — телеграфировал Гопкинс Трумэну из Парижа.[126]

Любопытно, что незадолго до этого Сталин пресек как «неверную и вредную» аналогичную рекомендацию своих дипломатов в отношении советских войск, продвинувшихся в глубь западной оккупационной зоны в Австрии.[127] Таким образом, обе стороны удержались от соблазна воспользоваться военной ситуацией для пересмотра достигнутых договоренностей. (Это не помешало союзникам при отходе из Тюрингии и Саксонии захватить с собой немало ценного промышленного и научного оборудования, а также культурных ценностей; предъявленный союзникам отчет Г. Жукова об этих реквизициях был ими фактически проигнорирован, хотя представитель США в межсоюзной репарацион-

ной комиссии Э.Паули в донесении Трумэну признавал, что «список Жукова в основном правилен».)[128]

Весьма положительной была и предварительная американская реакция на советские предложения по уровню репараций с Германии в пользу СССР (10 млрд.) и интернационализации Рурской области. «Намерения у них неплохие», — подытожил для руководства И.Майский впечатления от первой встречи с представителями США в межсоюзной репарационной комиссии, особенно выделяя из них «советофильски настроенного» соратника Ф. Рузвельта И. Любина.[129]

Едва был развязан польский узел, как начались еще одни серьезные переговоры. 30 июня в Москву прибыл глава китайского правительства Сун Цзывэнь с целью заключения советско-китайского договора на базе ялтинских соглашений. Госдепартамент и сам Гарриман внимательнейшим образом следили за ходом переговоров, стремясь руками китайцев подправить ялтинские договоренности в свою пользу, прежде всего — по сохранению «открытых дверей» в Маньчжурии. Посол ежедневно встречался с Сун Цзывэнем, который не только держал его в курсе всех переговорных нюансов, но и координировал с ним свои действия.[130] К началу второй декады июля нерешенными оставались лишь вопросы портов и железных дорог. Сталин, ссылаясь на Ялту и правомочность восстановления российских позиций в Маньчжурии, требовал преимущественных прав в управлении КВЖД и ЮМЖД, а также включения Дальнего в зону советского военного контроля. Сун Цзывэнь, поддерживаемый американцами, стоял за интернационализацию Дальнего и равную долю в управлении железными дорогами.[131] На сем переговоры были приостановлены в связи с отъездом Сталина на Потсдамскую конференцию, а Сун Цзывэня — в Пекин для консультаций с Чан Кайши.

Опытные советские дипломаты хорошо понимали, что податливость союзников долго не продлится, и предлагали форсировать переговоры по

мирному урегулированию. Союзники, докладывал Сталину и Молотову М.Литвинов, «заинтересованы в том, чтобы мы вступили в войну с Японией... Именно поэтому они будут более расположены к уступчивости, чем после победоносного завершения ими войны на востоке...»[132] В этом смысле Потсдамская конференция «большой тройки» представляла реальную возможность для закрепления и дальнейшего продвижения советских интересов. Накануне и в ходе конференции их растущий размах обозначился весьма выразительно. В дополнение к Восточной Европе и Дальнему Востоку речь шла о новых требованиях к Турции (совместный контроль над Проливами, включая советские военные базы в их районе плюс территориальные претензии на Карс и Адаган), индивидуальной опеке над одной из бывших колоний Италии в Средиземноморье, создании советских военных баз на территории Норвегии (на Шпицбергене и о-ве Медвежий) и Дании (о-в Борнхольм).[133] Наметилось также усиление активности СССР на севере Ирана, направленной на его превращение в зону советского влияния. Хотя некоторые из этих запросов имели характер зондажа, в целом этот список, имевший под собой весомое стратегическое обоснование, представлялся советскому руководству вполне законной «долей», причитавшейся союзнику, внесшему наибольший вклад в победу над общим врагом (по оценкам комиссии Майского, он составлял 75% всех военных усилий союзников).[134]

«Ревизионизм» в отношении Запада вряд ли всерьез затронул Сталина, Молотова и таких твердокаменных замов последнего, как Вышинский, Лозовский или Деканозов. Военный опыт сотрудничества с Западом не изменил в корне их большевистски циничного взгляда на союзников как корыстных, коварных и лицемерных, а на сам союз — как временное соглашение с «одной фракцией буржуазии», на смену которому может прийти соглашение с «другой (по словам Сталина, сказанным Г. Димитрову).[135]

Но тот же циничный прагматизм подталкивал Сталина и его окружение к сохранению заинтересованности в продолжении сотрудничества с Западом, по крайней мере — на ближайшую послевоенную перспективу. Во-первых, союз представлялся реальным способом предотвращения новой германской и японской угрозы. Несмотря на сомнения Кремля в способности англосаксов к совместному контролю над Германией и Японией (на которые Вашингтон и Лондон «отвечали взаимностью»), антифашистский потенциал антигитлеровской коалиции еще не представлялся исчерпанным и проецировался на послевоенный период.

Во-вторых, союз предоставлял институциональные рамки для легитимации новых советских границ и обширной зоны влияния за их пределами. Большая часть новых границ была де-факто или де-юре признана еще в годы войны, признание остальных представлялось советской дипломатии делом предрешенным. Но еще предстояло заключать мирные договоры с сателлитами Германии, добиваться весомой роли в оккупации Японии, отстаивать «дружественные правительства» в соседних государствах, и хотя в Москве знали, что здесь грядет упорный торг, особенно по Польше, согласованный «дележ» сфер влияния был гораздо предпочтительней конфронтационно-силового.[136] Тем более что большая часть геополитических притязаний Кремля шла за счет английских интересов и питалась расчетами на ослабление Британской империи и поддержку США. Отсюда — еще одна инструментальная полезность союза для СССР: только оставаясь в рамках «большой тройки», можно было рассчитывать продолжить игру на англо-американских противоречиях, выдерживая при этом «генеральную линию нашей внешней политики» (по словам Лозовского) — «не дать сложиться блоку Великобритании и США против Советского Союза».[137]

Кроме того, сотрудничество США было необходимо для получения экономической и финансовой помощи, в которой так остро нуждалось разрушен-

послевоенной хозяйство страны. Еще на встрече с главой Управления военного производства Д.Нельсоном в октябре 1943 г. Сталин обозначил масштабные потребности СССР в закупках американского промышленного оборудования после войны за счет долгосрочного кредита, к получению которого советская сторона затем приложила немало усилий.[138] Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор — признание Советского Союза в качестве новой великой державы, а самого Сталина — полноправным членом «большой тройки», вершащей судьбы послевоенного мира. Этот ставший привычным для Сталина формат соответствовал и его великодержавному самовосприятию, и накопленному умению в обращении с Рузвельтом и Черчиллем.

Короче говоря, у советского руководства были причины надеяться на то, что ему удастся совместить консолидацию геополитических «трофеев» войны с сохранением сотрудничества с Западом, по крайней мере — на ключевой период послевоенного урегулирования до новых крупных сдвигов в соотношении сил в пользу СССР, которые могли принести дальнейшее усиление советской мощи с одной стороны и ослабление капитализма под влиянием новых кризисных потрясений — с другой. В этом смысле Сталин мог быть более заинтересован в сохранении нормальных отношений с союзником, чем Трумэн с его исходной посылкой о том, что русские теперь «нуждаются в нас больше, чем мы в них».

При этом Сталин считал свои геополитические притязания вполне обоснованными с точки зрения обеспечения безопасности СССР. Это признавалось сведущими людьми и на Западе. Так, например, в большой статье, написанной через две недели после капитуляции Германии, один из ведущих военных обозревателей США Г.Болдуин писал, что с «чисто стратегической точки зрения» интересы национальной безопасности России требуют защиты границ и выхода в Мировой океан». «На Западе русские стратегические запросы нацелены на рас-

ширение политического, военного и экономического влияния России к западу от ее традиционных границ. Эта стратегическая цель объясняет создание ряда буферных государств вдоль западных границ в качестве санитарного кордона, но не против России, а для ее защиты». На востоке, продолжал Болдуин, главным стратегическим фактором для СССР является «близость транссибирской железнодорожной магистрали к границе с Маньчжурией и географическая уязвимость Владивостока и Приморья», что предполагает советское преобладание в Северной Маньчжурии и Корее, контроль над КВЖД и ЮМЖД. Что касается выхода в Мировой океан, то он «диктует необходимость контроля над Петсамо, Триестом, Дарданеллами и входом в Балтийское море, влияния в Иране и районе Персидского залива». А на Дальнем Востоке «российское стремление к контролю над всем Сахалином и японскими Курилами, перекрывающими морские пути к сибирским портам России, также является стратегически объяснимым».[139]

Подобное расширение зоны советского контроля представлялось Сталину и всему советскому руководству обоснованным не только стратегически, но и морально-политически, ибо считалось заслуженным вознаграждением Советского Союза за его огромные потери и решающий вклад в разгром фашизма. По этой логике СССР, превратившийся за годы войны из международной парии в общепризнанную великую державу, имел по крайней мере не меньше прав, чем США и Великобритания, на свою сферу влияния.

Что еще важнее — стратегически желанное и морально обоснованное впервые за долгие годы становилось еще и реально возможным. Сокрушительный разгром смертельных врагов России — Германии и Японии, выход Красной Армии к Эльбе — давали уникальную возможность перевести гигантские потери и победы военных лет в гарантии безопасности СССР на долгие годы вперед. «Нам надо было закрепить то, что завоевано», — вспоминал Молотов, и Сталин, по его словам, был

полон решимости не упустить этот исторический шанс и не «дать себя надуть», как это часто проделывал Запад с Россией в предыдущих войнах.[140]

Однако в то время как советские геополитические аппетиты росли, былая терпимость к ним западных партнеров быстро сокращалась вместе с нуждой в советской помощи. Англосаксов настораживали не только все новые официальные запросы Кремля, но и многочисленные сигналы об «экспансионистских настроениях» советских дипломатов и военных, сведения о которых по дипломатическим и разведывательным каналам стекались с самых разных сторон. Агенты УСС на Балканах фиксировали эйфорию советских офицеров, готовых дойти до Ламанша»; разъезжающие по СССР американские военные доносили, что командиры Красной Армии на Дальнем Востоке «ведут себя как строители новой империи»; послы США в Европе с готовностью подхватывали откровения своих советских коллег, которые «после нескольких рюмок водки с жаром начинали говорить, что Россия будет хозяйкой в мире и даже Америке придется капитулировать».[141] Рассуждая об истоках этого настроя, искушенные западные обозреватели видели в нем не только родовую связь с имперской традицией дореволюционной России, но и естественное «головокружение от успехов» народа — победителя в исполинской войне: «Кто может поручиться, что после таких страданий и испытаний даже англичане с их трезвостью и умеренностью не потребовали бы для себя достойного вознаграждения и не стали бы жертвой иррационального экспансионистского динамизма?» — писал авторитетный английский журнал летом 1945 г. [142]

Процесс межведомственного согласования позиций США к Потсдаму еще сопровождался внутренними разногласиями, но на сей раз «ялтинцы» оказались уже в явном меньшинстве. В военном командовании по сути лишь генерал С.Эмбик из Объединенного комитета стратегического анализа продолжал отстаивать прежнюю линию в отношении СССР. «В отличие от Соединенных Штатов и

Великобритании, которые сражались в войне преимущественно для сохранения статус-кво, — писал он, — Россия стремится к изменению своего прежнего статуса, что вполне логично в свете ее истории. В течение столетий ее территория подвергалась вторжениям и усечениям с Запада со стороны немцев, поляков и австрийцев. В последние полтора века Великобритания не давала ей выхода в Средиземноморье на юге, а в нынешнем столетии Япония блокировала ее на Востоке». Советские запросы по Проливам и Кильскому каналу, доказывал Эмбик, затрагивают интересы Великобритании, а не США и отражают легитимные потребности безопасности русских, отказывать в которых у США нет ни военных сил в этих районах, ни «морального основания», поскольку сами они требуют баз в Атлантике и на Тихом океане и сохраняют контроль над жизненно важными для себя морскими путями. Подобный отказ, заключал он, лишь создаст угрозу для союза трех держав и всего мирового порядка.[143] Эмбик выступал против одностороннего заполучения военной базы США в Исландии, которое «выдвинет США на европейский театр, не может быть оправдано как необходимое для нашей безопасности и способно возбудить подозрения русских относительно англо-американских намерений».[144] Это последнее соображение было отвергнуто руководством военного министерства как отражающее «весьма ограниченное представление о том, что необходимо для национальной обороны».[145]

Для критиков Эмбика опасность дальнейших уступок виделась в поощрении «экспансионистских тенденций» СССР, создании опасных прецедентов интернационализации для зон влияния США и Англии (Суэц, Панамский канал). Доводы об отсутствии в советских запросах непосредственной угрозы американским интересам парировались увязкой стратегических интересов США и Британской империи, а также указанием на угрозу превращения Советского Союза в соперника США на море: «Россия — потенциально самая могуще-

ственная сухопутная держава в мире. Если она станет еще и великой военно-морской державой, то мы можем оказаться в состоянии конфликта с ней в любой точке земного шара. ЕЕ контроль над Кильским каналом, Дарданеллами и островами Рюкю будет первым серьезным шагом к превращению в такую державу». Тезис о невозможности США помешать силовому решению этих проблем Советским Союзом отводился сомнениями в том, что СССР решится встать на путь открытого разрыва с Западом. «Мы и Британия не бессильны перед русскими. Наш совокупный военный потенциал, вероятно, превосходит русский потенциал, и уж, конечно, не уступает ему», а что касается «нашей способности к ведению длительной войны с Россией, то это отдельный вопрос, требующий дальнейшей оценки». Наконец, довод о «моральной непоследовательности» «снимался» характерной посылкой о качественных различиях между США и СССР как в методах достижения стратегических целей, так и, самое главное, в мотивах и репутации обеих сторон: «История показывает, что мы не являемся агрессивными экспансионистами, тогда как Россия пока находится под подозрением. До тех пор, пока ее добрая воля не будет доказана на протяжении достаточного периода времени, мы должны бдительно следить за ее стремлением к контролю над стратегическими морскими путями...»[146] Иными словами, то, что позволено Соединенным Штатам, было не позволено России.

Но даже те, кто еще не убирал знак вопроса над советскими намерениями, считали, что безопаснее подстраховаться на случай возможного «развала отношений между великими державами» и не усиливать позиции потенциального конкурента.[147] В частности, оценивая полученную от норвежского правительства информацию о советских запросах по Шпицбергену, руководство КНШ отмечало, что хотя «у США нет важных военных интересов на архипелаге», но «до прояснения послевоенной обстановки и характера советской политики нам следует в пределах возможного противодействовать требованиям и мерам, которые усиливают совет-

ские позиции в Западной Европе».[148] С помощью той же логики обосновывались запросы на сохранение военных баз на дальних подступах к советской территории. «Следует иметь в виду, что после войны у Соединенных Штатов могут не сохраниться дружественные отношения со всеми основными Объединенными Нациями, — отмечалось в постановлении КНШ. — В таком случае нам потребуются исключительные права базирования в Исландии как абсолютная защита нашей безопасности».[149]

Непримиримее всего были настроены армейские разведка и планировщики, по долгу службы ориентированные на поиск новых угроз и врагов. Для них уже не было сомнений в том, что советской политикой движут не законные интересы безопасности, а стремление к неограниченной экспансии и что, следовательно, разрозненные геополитические «заходы» СССР в различных регионах мира есть составляющие единого плана борьбы «за мировое господство», которому пора поставить заслон. «Мы достигли предела в санкционировании советской экспансии», — гласил вывод «Джи-2» о советских намерениях.[150]

Подробный анализ этих пределов содержался в подготовленном к Потсдаму докладе Оперативного управления штаба сухопутных сил о «Позиции США в отношении советских намерений экспансии». Эта «экспансия» характеризовалась в нем как глобально-неограниченная по своим целям и «оппортунистическая» по своим методам, график которой во многом зависит от «географической близости того или иного района к границам СССР и степени зрелости плода». Районом «наибольшей стратегической угрозы» считалась Турция, поскольку выход СССР на Карское плато и Проливы будет означать начало «двойного охвата Малой Азии» с перспективой распространения советского контроля на Эгейское море и Восточное Средиземноморье.

Следующим этапом советской экспансии в Европе считалась дестабилизация ситуации на западе континента с целью укрепления там просоветс-

ких сил. Не исключалась и возможность применения военной силы, особенно — по мере сокращения военного присутствия США на континенте: если в настоящее время, считали планировщики, США в случае конфликта могут удержать свои позиции по нынешней линии раздела, то через несколько месяцев им придется отойти к Центральной Франции и странам Бенилюкса, а через год с небольшим (когда по планам демобилизации у США в Европе останется всего 8 дивизий) вообще убраться с континента. В свете подобного расклада сил ключевое значение приобретала Великобритания, которая, как говорилось в докладе, является «европейской душой» «кучки сравнительно маломощных стран (Западной Европы. — *Авт.*), возможно, еще готовых сражаться с нами против России». «Безусловно, что без ее участия, как, видимо, и без нашего, нельзя ожидать сопротивления России со стороны этих стран». Отсюда делался вывод о необходимости всемерной поддержки интересов Британской империи в Турции, Средиземноморье и других районах.

Не более утешительно выглядели возможности военного отпора «советской экспансии» в Иране и континентальной Азии, где СССР, как считалось, может легко захватить Монголию, Маньчжурию и Корею, а также победить в борьбе за влияние в Китае. После этого, прогнозировали авторы доклада, СССР посягнет и на стратегическую вотчину США — Западное полушарие. Для срыва этих воображаемых планов рекомендовалось оказывать решительное политическое противодействие советским притязаниям в Турции и Иране, распространению советского военного присутствия на Тайвань, Японские острова и к югу от реки Янцзы в Китае. Наконец, США должны были «противодействовать, если необходимо — с использованием военной силы, любой дальнейшей экспансии России на западноевропейском направлении».[151] Хотя авторы доклада пока воздерживались от более далеко идущих выводов, из подобного анализа они напрашивались сами собой — необходимо сохранение и наращивание американских и союзных с

ними сил по всем ключевым направлениям «советской экспансии». В этом смысле данный сугубо рабочий документ интересен как, пожалуй, самый ранний набросок будущей стратегии сдерживания.

К сходным выводам приходили и военные планировщики Великобритании, опережавшие своих заокеанских коллег в разработке военных планов против СССР. Составленный еще в конце мая по личной инициативе Черчилля план «Операция Немыслимое» показал, что даже в случае совместных действий США и Англии при поддержке нескольких дивизий бывшего вермахта у них будет мало шансов нанести поражение советскому союзнику в Европе.[152]

Через ту же призму «советской угрозы» начинали рассматриваться и другие проблемы, включая японскую и германскую. Так, в докладе УСС о стратегических целях США на Дальнем Востоке намечалось решение проблемы создания там нового противовеса СССР на замену Японии: «Если мы будем поддерживать наше превосходство в воздухе и на море примерно на нынешнем уровне и сохраним оккупацию японских островов, мы можем стать таким же, если не более эффективным заслоном русской экспансии на Севере Китая, каким на протяжении полувека были японцы».[153] В отношении ялтинских договоренностей по Дальнему Востоку эксперты госдепартамента подготовили обстоятельный доклад, главный вывод которого сводился к следующему: предусмотренное в Ялте «восстановление» российских прав в Маньчжурии в полном объеме приведет к «возрождению ситуации крайне пагубного империализма» в этом важном для США районе. Поэтому в пунктах о Дальнем и железных дорогах предлагалось добиваться от СССР «модификации в пользу Китая (и других стран)», трактуя «интернационализацию» Дальнего в духе «открытых дверей», а «совместное управление» железными дорогами как управление на равных долях.[154] В этом же духе были выдержаны и рекомендации Гарримана, сделанные им для Трумэна и Бирнса уже в ходе самой конференции. Более того, он предложил свести «преимуществен-

ные интересы» СССР в Маньчжурии к праву свободного транзита через ее территорию.[155]

На европейском направлении рекомендации планировщиков КНШ к Потсдаму предусматривали продолжение «торга» по вопросу западной границы Польши (ввиду вероятности ее просоветской ориентации) и отклонение советского предложения по интернационализации Рура, которая, как подчеркивали авторы, «неизбежно и в нежелательной степени допустит Россию к участию в западноевропейских делах».[156] Явное охлаждение к идее совместного контроля над Руром — «арсеналом будущих войн» со стороны верхушки госдепартамента отмечал в своих потсдамских дневниках и единственный советник Трумэна из числа ялтинцев» Дж.Дэвис.

Заметно ужесточилась и официальная позиция по советскому предложению о репарациях с Германии, чему предшествовали острые дебаты внутри американской делегации в межсоюзнической репарационной комиссии. (Недаром несколькими годами позднее, в разгар маккартизма, ее члену И.Любину будет предъявлено обвинение в том, что он «открыто защищал русскую позицию и пытался склонить других членов делегации к сочувственному пониманию советских требований», а Гарриману придется доказывать его благонадежность).[157] США отошли не только от принятого в Ялте их общего уровня в 20 млрд. долл., но и решили ограничить получение репараций Советским Союзом в основном пределами советской зоной оккупации. Общий настрой американской делегации в Потсдаме, по словам Дж.Дэвиса, определялся не желанием найти справедливое общее урегулирование, а стремлением «объегорить» партнера или послать его к черту...»[158] Английские дипломаты в своих отчетах также писали о том, что в Потсдаме «западные державы были менее готовы, чем прежде, к удовлетворению основных пунктов советской программы».[159]

Неудивительно, что при таком настрое и заготовленных позициях англосаксы в Потсдаме сумели отбить ключевые советские требования по Руру

и репарациям с Германии, заявки на стратегические форпосты в Проливах, Средиземноморье и других районах. По Маньчжурии Сталин, к удивлению американцев, выразил готовность либерализовать ялтинские условия — отказаться от военного контроля над Дальним, объявив его «свободным портом», а также ускорить последующую передачу КВЖД и ЮМЖД Китаю.[160] Советской дипломатии удалось отстоять свои основные предложения по оккупационному режиму для Германии, новым границам Польши, ведущей роли СССР в подготовке мирных договоров с европейскими сателлитами Германии (кроме Италии), а также о присоединении к СССР части Восточной Пруссии. «Решение о Кенигсберге и прилегающем к нему районе имеет для Советского Союза большое значение, — с удовлетворением отмечал Молотов в ориентировке для НКИД по итогам конференции. — У нас будет свой незамерзающий порт на Балтийском море, причем этот кусок германской территории непосредственно присоединяется к СССР». Одновременно были отвергнуты попытки союзников установить международный контроль за выборами в Румынии, Болгарии и Венгрии. Это решение, сообщал Молотов в том же циркуляре, «развязывает нам руки в дипломатическом признании Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии» (в разговоре с Г. Димитровым нарком был еще откровенней, назвав потсдамские решения «признанием Балкан как советской сферы влияния»).[161] Устраивало Москву и решение о сохранении за «большой тройкой» главной роли в согласовании мирных договоров.

Таким образом, общий баланс уступок представлялся в Кремле вполне приемлемым, тем более что торг по остальным советским требованиям должен был быть продолжен в рамках Совета министров иностранных дел: «...Конференция окончилась вполне удовлетворительными для Советского Союза результатами», — констатировалось в молотовском отчете. В этом сказалось и дипломатическое превосходство Сталина над своими партнерами, отмеченное и самими американскими уча-

стниками: «Острота постановки вопросов Сталиным, его умение поймать своих коллег врасплох обнаруживает пробелы в их подготовке, — отметил в своих заметках на полях записей потсдамских переговоров Г.Фейс. — Сбивчивые объяснения Черчилля представляют собой немногим большее, чем обдумывание проблемы вслух. Трумэна вообще трудно винить за его нехватку знания истории вопросов. Сталин же демонстрирует интеллектуальную глубину в разложении предмета на составные части, требующие конкретных решений».[162] Высокую оценку советскому вождю дал «про себя» и американский президент: «Я могу иметь дело со Сталиным, — сделал запись он в своем дневнике 17 июля. — Он честен, но чертовски умен».[163]

Однако самую выразительную характеристику Сталину как партнеру по переговорам дали проницательные англичане, подводя итоги общению с ним за годы войны: «За столом переговоров он обычно сохраняет вид невозмутимого спокойствия и тихой сосредоточенности изготовившейся к прыжку кошки, за которым скрывается огромное упорство в стремлении к поставленной цели, — отмечалось в секретном сборнике портретов советских руководителей, подготовленном английским посольством по окончании войны. — Если он и нарушает молчание, то одной-двумя фразами соленого, грубоватого и часто цепляющего юмора, что всегда дает большой эффект. Это в тех случаях, когда он в хорошем настроении. Тогда в нем явно ощущается теплота и готовность поддаться эмоциональному обращению. Когда же он не в духе, то становится мрачным и саркастическим, что требует от окружающих большой выдержки. В ведении текущих внешнеполитических дел — игре, в которой он редко допускает промахи, — Сталин выказывает ту же непоколебимую и жесткую целеустремленность, окрашенную подозрительностью». Эта характеристика современников заканчивалась на необычно высокой для английского снобизма ноте: «Короче говоря, Сталин со всеми его изъянами и неудачами — это «великий человек» в со-

временном смысле этого термина. Он является непререкаемым правителем 180 миллионов советских граждан, которых он объединил в едином и успешном отпоре самой грозной военной машине всех времен».[164]

Историческое сообщение из Аламогордо об успешном испытании первой американской атомной бомбы 16 июля, по свидетельству очевидцев, немало воодушевило Трумэна и Бирнса,[165] а также Черчилля, сразу уловившего смысл и последствия этого прорыва для дальнейших отношений с Москвой, прежде всего — в свете окончания войны с Японией. «Теперь нам не нужны русские... — записал он в своем дневнике, — и нам не надо просить у них одолжений... Сталинский рычаг для торга, которым он так успешно давил на американцев в Ялте, теперь исчез».[166] Трумэн, ехавший в Потсдам, чтобы добиться вступления СССР в войну с Японией, теперь надеялся его избежать. «Думаю, что япошки сдадутся прежде, чем туда придет Россия, — пометил он в дневнике после получения сообщения из Аламогордо. — Уверен, что так оно и будет, когда над их родиной возникнет Манхэттэн».[167] Белый дом наказал Чан Кайши не уступать в переговорах со Сталиным до тех пор, пока он не примет американской и китайской интерпретации ялтинских соглашений по Дальнему Востоку. Бирнс, как записал в дневнике его ближайший помощник, «твердо решил перехитрить Сталина по Китаю. Он надеется, что Сун Цзывэнь упрется и тогда русские не пойдут войной (на Японию. — *Авт.*). Тем временем Япония капитулирует до вступления в войну русских...»[168]

Надежды англосаксов на повышение сговорчивости Сталина после известий из Аламогордо были перечеркнуты его деланно-равнодушной реакцией на сообщение Трумэна о «новом сверхоружии». «Мы думали, что он будет очень взволнован и встревожен, — вспоминал Гарриман, — но он не выказал ни малейшего беспокойства и тем самым очень всех подвел».[169]

Годы спустя А.Гарриман, комментируя мнение Трумэна и других о «непонимании» Сталиным этой информации, говорил о том, что «у меня никогда не было такого впечатления. Я помню разговор с Молотовым после возвращения из Потсдама, в котором он, говоря об этом сообщении, сказал мне с недоброй усмешкой: «Вы поделились с нами очень большим секретом». Это было сказано в такой манере, что для меня стало ясно — для них здесь не было никакого секрета. Сведения, полученные позднее от Клауса Фукса и других, подтвердили, что русские еще до Потсдама располагали полной информацией о всем наиболее существенном в создании нашей атомной бомбы. Так что для Сталина это не было неожиданностью. Конечно, никто не знал, что бомба действительно сработает, так что сообщение Трумэна об успешном взрыве в Аламогордо, возможно, и было новостью, но Сталин, к сожалению, знал, что мы были очень близки к этому, хотя некоторые ученые полагали, что для успешного испытания может потребоваться еще год».[170]

Более интригующий вопрос в связи с реакцией Сталина состоит в другом — почему он не воспользовался сообщением Трумэна для того, чтобы обсудить вопрос о новом сверхоружии и повести свою «мирную контригру» вокруг, скажем, ограничений на его использование или установления над ним международного контроля? Одна из причин, вероятно, кроется в скрытности Сталина и его неготовности к столь серьезному демаршу в режиме импровизации, которая никогда не была его стихией. Но стоит внимательно прислушаться к знатоку атомной дипломатии В.Л. Малькову, который пишет, что «Сталин не «проспал» эту возможность», а «сознательно ухватился за другую, приступив немедленно к разработке на свой манер «образа врага» как для внутреннего, так и для внешнего потребления».[171]

Так или иначе, вести из Аламогордо не изменили характера и хода потсдамских переговоров. Напротив, основные договоренности на конференции (как отмечал в том же циркуляре и Молотов) были

достигнуты на ее заключительной стадии: «Вначале англичанами и американцами нам был предъявлен ряд претензий насчет наших самостоятельных действий по вывозу трофейного и репарационного оборудования из Германии и из стран-сателлитов, насчет нашей политики в балканских странах, где будто бы нет демократического развития политической жизни и нужен контроль над правительствами со стороны всех союзников и т.д. В начале конференции англичане и американцы не хотели идти на уступки по политическим вопросам и особенно по западной границе Польши, а также не соглашались пойти нам навстречу по вопросу о репарациях с Германии. Большинство важных решений было принято в конце конференции, причем тогда было достигнуто значительное единодушие. Смена Черчилля и Идена внешне не отразилась на итогах конференции, но большинство решений были приняты уже при Эттли и Бевине».[172]

Поражение Черчилля на выборах явилось для Сталина, как известно, большой неожиданностью. Хотя в Ялте он подтрунивал над тем, что Черчилль боится предстоящих выборов, диктатор искренне верил, что английский народ не отвернется от своего выдающегося лидера в час его триумфа. При всей своей глубокой антипатии к закоренелому врагу большевизма он видел в нем крупного деятеля и привычного партнера, с которым можно будет договариваться и впредь. «...Пока мы все живы, бояться нечего. Мы не допустим опасных расхождений между нами», — говорил Сталин еще совсем недавно в Ялте.[173] И вот теперь вслед за Рузвельтом сошел с политической арены и Черчилль, недаром предрекавший, что после войны «гигантов заменят пигмеи». Из гигантов «большой тройки» остался один. О том же на свой лад думал и Трумэн: «Если Сталин сыграет в ящик, это будет конец первоначальной «большой тройки», — записал он в своем дневнике после отъезда Черчилля из Потсдама. — Сначала умер Рузвельт, потом потерпел политическое поражение Черчилль, и вот затем Сталин». Впрочем, перспектива кончины великого

диктатора-реалиста Трумэна совсем не вдохновила: «Интересно, что будет с Россией и Центральной Европой, если Джо уйдет в мир иной, — продолжал он свою запись. — Если какой-нибудь демагог на коне захватит контроль над эффективной военной машиной России, он может надолго ввергнуть европейский мир в хаос».[174]

Напряженный дипломатический торг на конференции еще перемежался юмористическими мизансценами, свойственными неформальному общению лидеров «большой тройки» в годы войны. Несколько таких застольных эпизодов занес в свой потсдамский дневник Дж.Дэвис. Черчилль рассказывал о своем сравнительно недавнем разговоре с командующим Армии Крайовой генералом Андерсом, который сформулировал задачи своих войск следующим образом — «сперва уничтожить германскую армию, а затем разгромить русскую армию». Премьер-министр со смехом воспроизвел свой ответ Андерсу: «Да, генерал, судя по всему, вы наметили для себя долгую и бурную военную карьеру». Дэвис записал, что «засмеялись все, кроме Сталина, который сначала выглядел довольно хмуро, как будто не поняв юмора, затем сказал что-то о романтизме поляков и наконец присоединился к общему смеху». На ужине у Трумэна Сталин, явно подначивая аристократа Черчилля, стал предлагать тосты за «трудящиеся массы» — сначала за рабочих, потом — солдат, и т.д. Не выдержав, Черчилль «всплеснул руками и сказал: «Я присоединяюсь к Вашему тосту за трудящихся, кто бы они ни были — солдаты, матросы или рабочие; консерваторы или либералы; черные или белые; тори, республиканцы или даже коммунисты». Все засмеялись, а Сталин только усмехнулся».[175]

То была последняя личная встреча двух основателей «большой тройки», хотя заочно они еще не раз скрещивали политические мечи. Черчилль, видимо, сохранил глубокое уважение к советскому лидеру, которое нашло отражение не только в его мемуарах, но и в невидимых для внешнего мира сигналах. Так, уже в разгар холодной войны — в

конце 1947 г. на приеме в Букингемском дворце он подошел к Молотову, и между ними состоялся следующий разговор (в передаче Молотова для Сталина): «Я сказал, что в мемуарах он, наверное, нападает на СССР больше, чем Бевин. Черчилль ответил, что, напротив, он не только не нападает на СССР, а защищает политику СССР в предвоенные годы, в частности, в период Мюнхена. «Я, — добавил он, — всегда был и остаюсь врагом коммунизма, но всегда был и остаюсь другом России и, несмотря на нынешние политические разногласия, помню и ценю боевое сотрудничество с Россией в годы минувшей войны». Черчилль осведомился о здоровье т.Сталина и просил передать т. Сталину, что хотя между ним, Черчиллем, и т. Сталиным имеются политические разногласия, он, Черчилль, горячо приветствует т. Сталина как своего товарища по оружию в годы войны».[176] Трудно сказать, что чувствовал Сталин, читая эти строки молотовской депеши; но, быть может, и во мраке его суровой души шевельнулось что-то похожее на взаимность.

КУРСОМ «ВЫДЕРЖКИ И СТОЙКОСТИ»

Дипломатическая борьба по Дальнему Востоку продолжилась сразу после потсдамской конференции. 7 августа возобновились советско-китайские переговоры, в которых Гарриман продолжал играть роль наблюдателя и негласного участника. Еще до первой встречи со Сталиным Сун Цзывэнь согласовал с Гарриманом исходную китайскую позицию и пределы возможных уступок советской стороне. Первый день переговоров не дал результатов по наиболее спорным вопросам — Дальнему и железным дорогам. Вооружившись инструкциями из Вашингтона, составленными на основе его же потсдамских рекомендаций, Гарриман 8 августа вышел на прямой разговор со Сталиным. Посол изложил позицию США по этой проблеме и без оби-

ников предложил Сталину в качестве совместного советско-китайского обращения к правительству США по итогам переговоров... свой собственный проект, составленный еще в Потсдаме.[1] Генералиссимус пропустил мимо ушей бесцеремонную форму гарримановского вмешательства, но не согласился с ключевым пунктом предложенного документа, сводившим «преимущественные права» СССР в Маньчжурии к праву свободного транзита при недопустимости «дискриминации и преференций» в отношении любых стран.

Мы тоже против дискриминации, твердо сказал Сталин, «но что касается преференций, то советское правительство считает, что они заключаются в обеспечении преимущественных интересов Советского Союза и что они должны быть предоставлены Советскому Союзу. Без этого ничего не выйдет».[2] Последовал жесткий детальный спор двух знатоков вопроса, в котором Сталин с картой в руках доказывал умеренность советских требований по сравнению с правами царской России и необходимость советского управления портом Дальний ввиду сохранения опасности японских провокаций — в порту должен быть один хозяин». Гарриман открытым текстом заявил о поддержке Белым домом позиции Китая. Сталин, со своей стороны, «просил передать Трумэну его просьбу о том, чтобы Трумэн не принимал решений, выслушав только одну из сторон — китайцев и не выслушав Советского правительства».[3] При этом Сталин заверил посла в том, что Дальний будет открыт для международной торговли. Но Гарриман уже не полагался на слово вождя. «Несмотря на заверения Сталина, мне трудно представить действительно свободный порт, находящийся под советским управлением...», — доносил он в Вашингтон.[4] (Эти опасения посла впоследствии полностью подтвердились — на деле порт оказался под полным контролем советских военных, так что Сталин наверняка знал истинную цену своей уступки.)[5]

Сталинское упорство навело Гарримана и на весьма рискованную мысль. Еще в Потсдаме он узнал о предложении военного командования США

оккупировать Корею и Дальний в случае, если Япония капитулирует раньше, чем туда войдут советские войска. Теперь «с учетом поведения Сталина, увеличивающего требования к Сун Цзывэню», он посоветовал Трумэну незамедлительно последовать этой рекомендации,[6] видимо, рассчитывая исключить или хотя бы затруднить вероятную передачу порта в советское управление. Неизвестно, какую именно роль сыграла эта депеша в принятии решений Белым домом, но уже на следующий день, 11 августа, Трумэн действительно приказал оккупировать порт Дальний после капитуляции Японии, «если к тому времени он еще не будет захвачен силами советского правительства».[7]

Эта директива Трумэна, изданная еще до решения судьбы Дальнего в ходе советско-китайских переговоров и предусматривавшая, по сути, его захват независимо от их исхода, могла иметь крайне тяжелые последствия. К счастью, американский десант замешкался и в необъявленной «гонке за Дальний» его опередили советские войска.[8]

По Договору о дружбе и союзе, подписанному 14 августа, СССР получал лишь незначительное преимущество в управлении КВЖД и ЮМЖД, советский начальник порта Дальнего подлежал утверждению обеими сторонами, а вместо совместной собственности порта СССР получал лишь право аренды на половину его сооружений и оборудования.[9] (Сталин также дал устное заверение в соблюдении принципа «открытых дверей» в Маньчжурии, но уклонился от письменных обязательств на сей счет). Компромисс был достигнут во многом благодаря вмешательству США и личной настырности Гарримана. Своеобразным признанием этой его роли «третьего лишнего» могут служить раздраженные пометки Молотова из его набросков по итогам советско-китайских переговоров: напротив пункта о Дальнем в скобках стоит «вмешательство США», а в конце отмечены «постоянный контакт Сун Цзывэня с Гарриманом» и «попытки американского правительства вмешаться через Гарримана в ход переговоров»[10].

Финал советско-китайских переговоров сопровождался бурным развитием военно-дипломатических событий на японском направлении. 8 августа Советский Союз объявил войну Японии. В американских газетах открытие второго фронта против Японии называлось советской заявкой на «право голоса во всех азиатско-тихоокеанских делах» и изображалось на рисунках в виде солдата Объединенных Наций с повязкой «Русская декларация» на правой руке и «Атомная бомба» — на левой.[11] «Теперь мы можем возвращаться домой!» — радостно сообщил Гарриман своим помощникам, считая свое главное дело в Москве законченным.[12] После атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки зависимость США от советской помощи еще более сократилась, хотя у американского командования все же не было полной уверенности в быстрой капитуляции Японии. «Многочисленные, высокодисциплинированные и хорошо вооруженные сухопутные силы Японии, еще не знавшие поражений, способны оказать упорное фанатичное сопротивление наземным действиям союзников на своей территории и нанести им тяжелые потери, — говорилось в представленном Дж.Маршаллу 12 августа прогнозе армейской разведки. — Атомные бомбы могут не дать решающего эффекта в течение ближайших 30 дней».[13] Главной задачей американской дипломатии стало ограничение нежелательных для США последствий участия СССР в войне с Японией, прежде всего — минимизация роли Советского Союза в оккупации и послевоенном развитии этой страны.

Первая советская заявка на эту роль последовала в ночь с 10 на 11 августа, когда Гарриман вручил Молотову американский проект ответа на заявление японского правительства о его намерении капитулировать. Консультация с Москвой (как, впрочем, и другими союзниками) по этому вопросу была скорее проформой, поскольку в Белом доме уже твердо решили действовать самостоятельно, и Трумэн на заседании кабинета 10 августа прямо заявил о готовности «обойтись без русских».[14] Хотя

было уже за полночь, посол попросил срочной реакции и через два часа был вновь приглашен в Кремль вместе с Керром. Советское правительство, заявил Молотов, готово присоединиться к американскому заявлению при условии, что в нем будет сказано о готовности союзных держав «достичь соглашения о кандидатуре или кандидатурах представителей Союзного Верховного Главнокомандования, которому будут подчинены японский император и японское правительство».

Речь шла о ключевом посте Верховного главнокомандующего союзников на Дальнем Востоке, и хотя Гарриман не имел никаких инструкций на случай подобного советского демарша, он прекрасно знал и полностью разделял твердый настрой Белого дома и военных на сохранение американского единоначалия в Японии. Поэтому его реакция была демонстративно непреклонной. Советское правительство, отчеканил посол, не может претендовать на право вето в этом вопросе, что же касается главнокомандующего союзников, то им, несомненно, будет генерал Макартур. Молотов возразил, что речь идет не о вето, а о договоренности и что наряду с Макартуром эти функции мог бы исполнять маршал Василевский. Керр попытался смягчить конфликт, подчеркнув, что, хотя основная роль на Дальнем Востоке по праву принадлежит США, союзники должны консультироваться друг с другом. Гарриман тут же предложил заменить в советском ответе слово «договориться» на «консультироваться» и убрать упоминание о «нескольких кандидатурах», «иначе в Вашингтоне будут считать этот ответ неприемлемым. Раздраженным тоном Гарриман добавляет, — продолжается в советской записи беседы, — что Советский Союз не может предъявлять таких претензий после всего лишь двух дней войны с Японией. Соединенные Штаты, сковывая японские силы, не давали японцам возможности напасть на Советский Союз в самое тяжелое для Советского Союза время». Нарком, естественно, не остался в долгу: «Молотов заявляет, что он считает совершенно неуместными

такие речи Гарримана. Он, Молотов, мог бы в таком случае привести Гарриману пример европейской войны, в которой Советский Союз вел борьбу один на один в течение трех лет».[15] «После очень жаркой перепалки» (как сообщал о беседе сам Гарриман) Молотов все же настоял на передаче советского ответа американскому правительству, хотя посол продолжал твердить о его неприемлемости.[16]

Твердость Гарримана возымела действие: едва он успел вернуться в посольство, как позвонил В.Павлов с сообщением о том, что после разговора со Сталиным Молотов готов устранить возникшее «недоразумение», поскольку, дескать, с самого начала имелись в виду именно консультации по поводу назначения главнокомандующего. А где же упоминание об одной кандидатуре вместо нескольких? — не унимался посол. Пришлось Молотову еще раз связываться со Сталиным (можно представить, какими эпитетами они награждали при этом упрямого американца, которого годы спустя президент Кеннеди назовет за его хватку «крокодилом». В итоге по телефону была сдана и эта позиция. Гарриман, тем не менее, настоял на письменном подтверждении достигнутой договоренности, которое получил наутро после той же бурной ночи.[17] Окончательный вариант «совместного» ответа японцам был направлен из Вашингтона в тот же день без дальнейших согласований с Москвой — «чтобы не терять времени» (как писал Молотову Гарриман)[18], а также, добавим, дабы исключить дальнейшее вмешательство Кремля. Советское правительство смирилось и с этим фактом, и с последовавшим 12 августа назначением Макартура Верховным Главнокомандующим в Японии.

Генерал Дин считал эту схватку «самой важной победой Гарримана в Москве».[19] Вскоре о ней стало известно и более широкой публике. 15 августа — уже после капитуляции Японии — респектабельная «Нью-Йорк геральд трибюн» со ссылкой на популярного лондонского корреспондента радиокомпании Си-би-эс Э.Мэрроу дала описание той памятной ночной перепалки в деталях и выражениях,

которые кроме Молотова могли знать только его собеседники — Гарриман и Керр. Основной сюжет сообщения газеты был прост и сенсационен: «Советские официальные круги считали, что главнокомандующим должен быть представитель Красной Армии... Через два часа после окончания длительных и горячих дебатов Советский Союз взял обратно свое требование и согласился принять американского верховного главнокомандующего в Японии».

Молотов не мог оставить эту версию без ответа, поскольку речь шла не только о декоруме союзнических отношений, но и престиже великой державы, якобы поставленной на место американцами. Он самолично составил текст опровержения ТАСС, в котором аккуратно изложил суть состоявшегося «обмена мнениями», опустив лишь одну деталь — свое собственное предложение кандидатуры Василевского. В опровержении также отмечалось, что «назначение генерала Макартура состоялось после консультаций с Советским правительством», которое с самого начала не возражало против этой кандидатуры. Все это позволило автору заключить, что «сообщение газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» о том, что советские официальные круги считали, что Верховным главнокомандующим должен быть представитель Красной Армии и что якобы такое требование было предъявлено Советским правительством Американскому правительству, является вымышленным».[20]

Весь этот обмен любезностями проходил на фоне демонстрации советско-американской службы в связи с визитом в Москву Главнокомандующего войсками союзников в Европе генерала Эйзенхауэра. Прославленного полководца встречали не только со всеми официальными почестями, но и с неподдельным массовым энтузиазмом. Когда вместе с Г.К.Жуковым он появился на футбольном матче на стадионе «Динамо», вспоминал Гарриман, «раздался такой гул приветствий, какого я не слышал еще никогда в жизни».[21] 12 августа во время

первого послевоенного парада физкультурников на Красной площади Сталин оказал Эйзенхауэру и Гарриману неслыханную для «буржуазных гостей» честь — пригласил их на трибуну Мавзолея. Так они и остались стоять на фотографиях советских газет — Гарриман по левую руку от Сталина, а Эйзенхауэр — по правую, рядом с Жуковым. Сталина больше всего впечатлила интеллигентность американского полководца, которого в беседе с Гарриманом он нашел «негрубым» в отличие от большинства знакомых ему военачальников.

Тем временем дипломатическая борьба вокруг Японии и Дальнего Востока продолжалась. 16 августа последовала вторая попытка Кремля поглубже внедриться в японские дела — запрос Сталина на принятие советскими войсками капитуляции японских войск не только на Курилах (о которых Трумэн пытался «забыть» в приказе Макартуру), но и на Северном Хоккайдо, о чем в Ялте не было разговора. Стратегический соблазн был велик: оккупация Северного Хоккайдо замкнула бы кольцо вокруг Охотского моря, превратив его в «советское озеро» (по выражению разведки США),[22] а также дала бы СССР прямой выход к японским островам. Немудрено, что, согласившись по Курилам, Трумэн жестко отверг хоккайдский вариант, а вдобавок в весьма бесцеремонной форме запросил право базирования авиации США на одном из Курильских островов.

Трумэновский заход по Курилам вряд ли был просто неожиданной импровизацией, как считают некоторые исследователи. В Вашингтоне хорошо понимали стратегическое значение островов для СССР — этого «750-мильного барьера между открытым Тихим океаном и Восточной Сибирью, который в японских руках блокировал русских...»[23] Кроме того, Курилы давно привлекали американские ВВС как кратчайший воздушный коридор от Алеутских островов в Японию, и военное министерство настойчиво подбивало госдепартамент и Белый дом на попытку вклиниться на острова. В частности, планировалось, что Гопкинс прозон-

дирует эту возможность во время своей последней поездки в Москву,[24] но тот забыл (или скорее всего не захотел) поднять этот вопрос со Сталиным. 3 июля в ответ на запрос Трумэна КНШ подтвердил желательность получения «подходящего аэродрома на пути от Алеут к Японии и Филлипинам», а 16 июля — в день испытания в Аламогордо — Стимсон в Потсдаме напомнил Трумэну о необходимости добиваться «постоянного права посадки» для ВВС США на Курилах.[25]

Некоторые армейские планировщики даже ставили вопрос о создании военно-воздушной базы на Южных Курилах для сдерживания СССР: «Если мы не хотим себя обманывать, то совершенно ясно, что наш единственный противник в Азии — это Россия. Поэтому зачем тратить столько сил и средств на обеспечение безопасности в Тихом океане и не получить базу вблизи очевидного плацдарма, лежащего на направлении главного удара против нас?»[26] Но только через месяц — после Хиросимы и Нагасаки — Трумэн наконец подписал подготовленное в КНШ послание советскому лидеру. Для американского командования это был последний шанс зацепиться на Курилах, оправдывая запрос интересами ведения войны с Японией: после окончания военных действий, как подчеркивали армейские планировщики, «советская политика отрицания доступа к российской территории для иностранных авиакомпаний сделает получение прав посадки в этом районе гораздо более трудным делом и использование северного воздушного маршрута через Тихий океан на Восток может оказаться для нас невозможным».[27]

Для Сталина, особенно с его подозрительностью, двойной демарш Трумэна не мог не иметь серьезнейшей подоплеки: мало того, что наглые янки хотят закрыть для СССР дверь в Японию, они решили еще и влезть в зону советского контроля, завоеванную в Ялте, или по крайней мере испытать этот контроль на прочность. Поэтому, с возмущением проглотив горькую пилюлю по Хоккайдо и отменив в последнюю минуту массированный советс-

или десант на этот остров (который затруднялся и продолжающимся упорным сопротивлением японцев на Южном Сахалине и Курилах),[28] Сталин отплатил Трумэну той же монетой по Курилам. Подобные требования, ответил он, предъявляют либо побежденной стране, либо слабому союзнику, а СССР не относится ни к тем, ни к другим.[29] Получив ледяной ответ Кремля, Белый дом запросил мнение военных о целесообразности дальнейшего нажима на Сталина по Курилам. В ходе внутреннего разбирательства военные вынуждены были признать, что вопрос этот действительно до сих пор с русскими не обсуждался, позиция Сталина вполне правомочна и вряд ли стоит снова «выводить этот вопрос на политический уровень».

В телефонных разговорах между собой генералы кляли не столько советскую сторону, сколько госдепартамент, который «смазал это дело» (по словам заместителя Дж. Маршалла генерала Хэлла), упустив время для своевременной проработки вопроса с русскими. «Надо было сразу сказать русским, как только они заявили, что хотят оккупировать Курилы: ладно, оккупируйте, но мы будем считать Южный Сахалин и два ближайших к Хоккайдо острова прилегающей территорией, — сетовал адмирал Кук. — На это русским было бы сложнее возражать, и мы смогли бы использовать Южный Сахалин». А теперь, «будь я на их месте, — честно признался Хэлл, — я ответил бы точно также, как они». Военные согласились, что «из-за этого дела не стоит ссориться с русскими на данной стадии».[30]

Трумэн вынужден был ретироваться. «Не заметив» (по совету Бирнса и Леги) возмущения Сталина отказом по Хоккайдо,[31] он послал примирительный ответ по Курилам, в котором пояснял, что имел в виду лишь временное право посадки на период оккупации Японии и не собирается настаивать на своем предложении. В то же время Трумэн задним числом оправдывал свой запрос тем, что вопрос о статусе Курил еще де окончательно не решен и будет предметом мирного урегулирования.

Это было явным отступлением от его предыдущих заверений (в том числе — в послании Сталину от 15 июня) о готовности полностью соблюдать ялтинскую договоренность по Дальнему Востоку. Вряд ли эта многозначительная подвижка ускользнула от внимания Сталина, но он в ответ также предпочтет «не заметить» эту часть документа.

Прочтя это послание Трумэна, Гарриман вздохнул с облегчением, поскольку он с самого начала считал «заход» по Курилам безнадежным делом. Вручая послание Сталину, посол заявил (согласно советской записи беседы), что «получив первое послание от Трумэна по этому вопросу, он, Гарриман, опасался, что оно будет неправильно понято тов. Сталиным. Последнее послание Трумэна вносит ясность в это дело». «Тов. Сталин спрашивает, — продолжается в записи беседы, — имеется ли в виду создание временной базы на Курильских островах на время, пока будет оккупирована Япония. Гарриман ответил утвердительно, добавив, что речь также идет о «предоставлении права посадки коммерческим самолетам США в послевоенный период». Сталин сослался на необходимость «обсудить этот вопрос с коллегами». «У меня создалось впечатление, — докладывал Гарриман Трумэну, — что он считает право посадки на время оккупации приемлемым, но мне не ясна его реакция на возможность коммерческого использования этих объектов в послевоенный период».[32] Однако Трумэн по совету военных не стал больше возвращаться к этому вопросу.

В заключение беседы Гарриман поднял вопрос о поддержке Советским Союзом принципа «открытых дверей» в Китае — исконного принципа внешней политики США наряду с «доктриной Монро», и для красного словца добавил, что «сейчас выкристаллизовывается третий принцип американской внешней политики — дружба с Советским Союзом». Сталин ответил в том же духе дружественной демагогии: «У нас нет возражений, ибо советские люди считают политику открытых дверей и равных возможностей для торговли более прогрессивной и

лучшей политикой, чем колониальная политика Англии».[33] Союзная вежливость еще соблюдалась и в личных контактах лидеров. В разгар перепалки по Японии и Курилам Сталин передал через посольство США в Москве свои фотопортреты в дар Эйзенхауэру и Трумэну с надписями «Прославленному полководцу, генералу армии Д.Эйзенхауэру, с наилучшими пожеланиями» и «Наилучшие пожелания президенту Трумэну от его друга И.Сталина».[34] (Эйзенхауэр в ответ просил Гарримана передать генералиссимусу свою «глубокую благодарность» за «столь великодушный отзыв» о своей персоне).[35]

Капитуляция Японии стала толчком для полного прекращения поставок по ленд-лизу. Памятуя о печальном опыте 12 мая, ветераны советского ленд-лиза О.Кокс, С.Сполдинг и другие настойчиво рекомендовали руководителям администрации проявить такт и осмотрительность в отношении Москвы, заранее подготовив ее к этому решению. Однако администрация проигнорировала эти советы, действуя так же бесцеремонно, как и четыре месяца назад. Сказывалось и отсутствие заболевшего Гопкинса — главного радетеля русского ленд-лиза. Сообщая ему в больницу о растущем ведомственном сопротивлении этой программе, генерал Йорк писал: «Ваше присутствие за нашими спинами всегда было мощным стабилизатором, без которого Комитет протокола давно бы прекратил свою работу».[36] Еще за несколько часов до получения распоряжения Трумэна от 17 августа Комитет протокола прекратил уже начатую погрузку советских судов, хотя остальные союзники получили несколько дней отсрочки. Только после новых протестов советских представителей Кроули разрешил догрузку советских судов (за исключением боеприпасов) и их ремонт до подписания капитуляции Японией.[37] 2 сентября — на следующий день после этого события, ленд-лиз окончательно и незаметно прекратил свое существование «без фанфар в честь его достижений и без официальных сожалений о его конце», как писала «Нью-Йорк таймс».[38]

В дни обмена по Курилам Кремль получил еще один очень тревожный сигнал — категорический отказ западных союзников признавать просоветские правительства в Румынии и Болгарии до тех пор пока в них не войдут представители прозападных оппозиционных партий. Одновременно англо-американцы активизировали скрытую поддержку оппозиционных сил в этих странах, и так уже всерьез препятствовавших советскому доминированию. Особенно напористо действовали американские спецслужбы в Румынии.[39] Представители СССР в этих странах начали сигнализировать об «англо-американском наступлении», а в Болгарии даже члены правительства стали поговаривать об отсрочке выборов до введения межсоюзного контроля за их проведением.[40]

Попытка западных союзников оспорить советский контроль в решающей и казавшейся уже обеспеченной зоне влияния СССР вкупе с происходившим на Дальнем Востоке в глазах советского руководства могла означать только одно — ободренные новым атомным козырем в своих руках, англосаксы перешли в наступление, пытаясь ревизовать Ялтинско-Потсдамские договоренности в своих целях. Разговоры союзников о «защите демократии» в Восточной Европе и на Балканах, безусловно, воспринимались в Москве как лицемерное прикрытие попыток возродить антисоветский «санитарный кордон» (коль скоро даже сами американцы между собой не воспринимали всерьез демократические потенции восточноевропейских стран).[41]

Сталинский ответ на «атомную дипломатию» союзников был вполне предсказуем, в том числе — и для самих англосаксов. Чуть позднее Гарриман, размышляя о психологическом воздействии американской атомной бомбы на русских, писал, что оно оказалось особенно сильным, поскольку пришлось на момент торжества советской военно-политической мощи, которая после долгих лет изоляции и войн, казалось, наконец-то обеспечила безопасность СССР на многие годы, создав

необходимую «глубину обороны» почти по всему периметру страны. Атомная бомба одним махом дискредитировала защитную роль Красной Армии и завоеванных территориальных приращений, «возродив прежнее ощущение опасности».[42] О том же сообщал в Лондон советник-посланник английского посольства Ф.Робертс: «Тень атомной бомбы омрачила наши отношения, и за каждым проявлением англо-американской солидарности, будь то Болгария или Румыния, правители Советского Союза, доселе уверенные в подавляющей мощи Красной Армии, стали усматривать угрозу англо-американского блока, обладающего этим решающим оружием и потому способного не только лишить СССР плодов победы, но и создать угрозу его с таким трудом завоеванной безопасности».[43]

Нетрудно было предвидеть и ответные действия Кремля, вытекающие из этой реакции. «Столь сильное и озабоченное своей мощью государство, как советское, не может не прореагировать решительно на создавшуюся ситуацию, — предупреждал Трумэна Ачесон. — Оно должно и непременно будет направлять всю свою энергию для восстановления баланса сил, нарушенного этим открытием. Если мы сохраним политику исключения (СССР из сотрудничества в этой сфере. — *Авт.*), то они будут делать это в атмосфере подозрительности и враждебности, усугубляя все существующие между нами проблемы».[44] Именно такими сталинскими словами — о нарушенном равновесии» и необходимости действовать «с широким русским размахом» для его восстановления сопровождалось ключевое решение о стремительном наращивании советской атомной программы (Постановление ГКО от 20 августа о создании Специального Комитета во главе с Берия). Другой, тоже просчитываемой реакцией стала встречная жесткость на переговорах с целью дискредитировать атомное преимущество США или (по словам Гарримана) «напористостью и бравадой компенсировать это чувство внезапно возросшей уязвимости».[45] Сталин, вспоминал А.Громыко слова вождя, был уверен, что американцы используют

свою атомную монополию, чтобы «навязывать нам свои планы как в вопросах оружия, так и в вопросах положения в Европе и в мире в целом. Нет, такого не будет!»[46]

В этом наступательном ключе и подготавливались советские позиции на предстоящей первой сессии СМИД в Лондоне: под руководством Литвинова обосновывались заявки на получение подопечных территорий и Додеканезских островов, готовилась защита преобладающих интересов СССР на Балканах и контраргументация против американской критики «недемократического» характера румынского и болгарского правительств, разрабатывались предложения по усилению роли СССР в контрольном механизме для Японии. Директивы советской делегации по этим и другим вопросам были утверждены на специальном заседании в ЦК ВКП(б) под председательством Сталина.[47] Американцы, в свою очередь, также готовились к наступлению: «С бомбой и долларом в кармане, — записал в своем дневнике Г.Стимсон, — Бирнс не предвидел больших трудностей в достижении согласия остальных министров по мирным договорам на условиях Соединенных Штатов».[48]

Главными задачами советской дипломатии на сессии было закрепить свой контроль на Балканах и попытаться навязать американцам контрольный механизм в Японии по типу германского. «...По всем данным, махинации союзников (в Румынии) будут разбиты», — сообщал Сталин Молотову в Лондон после встречи с делегацией П.Гроза, наказывая своему заму «держаться крепко» и не делать «никаких уступок союзникам насчет Румынии». Главным аргументом было обвинение союзников в поддержке «антисоветских элементов» в Румынии, «что несовместимо с нашими союзническими отношениями».[49] Молотов дополнил этот довод параллелями с американской зоной влияния в Мексике, но Бирнс продолжал упорно настаивать на «независимости балканских стран» от Москвы. И доводы Сталина, и реакция Молотова («при Рузвельте было иначе», а «теперь мы, что же, стали не нужны»)[50] говорят об искреннем возмущении обо-

их нарушением неписаного правила поведения союзников времен Рузвельта — невмешательства в сферы влияния друг друга.

Еще большим было возмущение Сталина беззастенчивым отводом англосаксами советского предложения по контрольному механизму для Японии. «Я считаю верхом наглости англичан и американцев, считающих себя нашими союзниками, то, что они не захотели заслушать нас, как следует, по вопросу о Контрольном Совете в Японии, — телеграфировал он Молотову. — Один из союзников — СССР заявляет, что он недоволен положением в Японии, а люди, называющие себя нашими союзниками, отказываются обсудить наше заявление. Это говорит о том, что у них отсутствует элементарное чувство уважения к своему союзнику».[51] Чувствуется, что Сталин был действительно оскорблен не только сутью, но и формой ответа американцев, отбросивших былую вежливость и видимость союзного равноправия.

Столь же жесткое сопротивление встретил и советский «заход» по Триполитании, получение которой в опеку предусматривалось инструкциями Политбюро. Ссылки Молотова на моральное право и богатый опыт СССР в решении национальных проблем не могли скрыть геополитические уши этого проекта: триполитанский плацдарм в сочетании со свободным проходом через черноморские проливы, которого тоже добивалась советская дипломатия, обеспечили бы СССР ощутимое стратегическое присутствие в Средиземноморье. Не помогли и неоднократные напоминания об обещанной поддержке в этом вопросе (высказанной в переписке Громыко — Стеттиниус), что создавало общее впечатление «отката» американцев от ялтинско-потсдамских договоренностей сразу по нескольким направлениям. Это впечатление еще больше укрепилось, когда западные союзники «при попустительстве» Молотова (как потом скажет Сталин) в обход потсдамского решения добились участия представителей Франции и Китая в обсуждении всех мирных договоров. Сталинский выговор Молотову с требованием вернуться к потсдамской

формуле участия «только вовлеченных стран» поставили конференцию на грань срыва.

Не менее тревожным сигналом для Сталина стало и неожиданное предложение Бирнса заключить договор о разоружении и демилитаризации Германии, которое по замыслу госсекретаря должно было стать испытанием для советских опасений возрождения германской угрозы. Молотов в отчете о беседе высказался в поддержку этой инициативы. Сталин же со свойственной ему проницательной подозрительностью сразу разглядел в этой преимущественно пропагандистской затее четырехзвенный стратегический замысел. «Первое, отвлечь наше внимание от Дальнего Востока, где Америка видит себя как завтрашний друг Японии... — разъяснял он Молотову в очередной депеше, — второе — получить от СССР формальное согласие на то, чтобы США играли в делах Европы такую же роль, как СССР, с тем, чтобы потом в блоке с Англией взять в свои руки судьбу Европы; третье — обесценить пакты о союзе, которые уже заключены СССР с европейскими государствами; четвертое — сделать беспредметными всякие будущие пакты СССР о союзе с Румынией, Финляндией и т.д.».[52] Вместе с тем, учитывая,что «нам трудно отказаться от антигерманского пакта с Америкой», Сталин предложил увязать его с подписанием аналогичного пакта в отношении Японии.

В реакции вождя на зондаж американцев прослеживалось сразу несколько расчетов и опасений. Прежде всего — ослабление надежды на скорый уход США из Европы и явное нежелание делить с дядей Сэмом роль гаранта европейской безопасности. Минимизация влияния США в Европе становилась особенно насущной в свете обретения американцами преобладающего влияния в Японии. Привыкший мыслить глобально, Сталин понимал, что контрольное влияние США и в Европе, и в Японии будет означать радикальный сдвиг в мировом соотношении сил. Во-вторых, — подспудная боязнь связать себе руки в Германии договорным обязательством вывести оттуда советские войска по завершению демилитаризации и тем самым лишиться

главного геополитического козыря СССР на континенте — военного присутствия в сердце Европы. И третьих — стремление сохранить Германию в качестве жупела для пристегивания восточноевропейских стран к советской «орбите» безопасности. Наконец, — попытка использовать увязку двух пактов для того, чтобы влезть в японские дела вместе с американцами.

В любом случае заход Бирнса по Германии только подтверждал худшие опасения Сталина насчет новой постхиросимской линии союзников. Отплачивая им той же монетой, Сталин предпочел срыв Лондонской конференции любым уступкам, способным, как ему представлялось, лишь разжечь аппетиты англосаксов. Одна из его последних депеш своему заму в Лондон предельно наглядно передает это настроение и подлинное отношение к союзникам как соперникам: «Союзники нажимают на тебя для того, чтобы сломить у тебя волю. Ясно, что ты должен проявить полную непреклонность... Возможно и то, что совещание Совета кончится ничем, короче говоря — провалом. Нам и здесь нечего горевать. Провал конференции будет означать провал Бирнса, по поводу чего нам горевать не приходится». В ответ Молотов, комментируя отказ «западников» вернуться к потсдамской формуле, отзывался о них в том же духе: «Значит, надо быть готовым к открытому антисоветскому выступлению наших «уважаемых союзников». Отвечать на это придется в зависимости от характера этого нападения».[53]

Первая послевоенная атака Запада была отбита, и в этом в Кремле видели главный итог лондонской встречи, которая (как сообщал Молотов в НКИД) «окончилась провалом попытки определенных англо-американских кругов развернуть первое после войны дипломатическое наступление на внешнеполитические завоевания Советского Союза, достигнутые в ходе войны».[54] Примерно такой же смысл вкладывали в происшедшее и англосаксы: Советскому Союзу преподан первый настоящий урок жесткости, после которого ему придется умерить свои аппетиты.[55]

Окончание войны с Японией устранило последнюю серьезную зависимость США от советского союзника, что не замедлило сказаться на ходе мысли и поведении Пентагона. Военное командование, панически напуганное перспективой обвальной демобилизации и «саморазрушения» вооруженных сил после разгрома Японии (прежде всего — ВВС и сухопутных сил),[56] видело в сохранении глобального присутствия и военной мощи США единственный способ избежать повторения стратегических провалов Первой и Второй мировых войн. ООН, как откровенно говорили в своем кругу американские планировщики, будет бессильной в принуждении к миру крупных держав, неспособной к проведению «серьезных военных операций» и не должна приниматься в расчет при стратегическом планировании.[57] СССР с его огромными военными ресурсами и чуждой идеологией представлялся идеальным функциональным эквивалентом фашистской угрозы, дающим как нельзя более подходящее и единственно возможное оправдание дальнейшего наращивания американской военной мощи.[58] Доказать стране необходимость выделения «огромных финансовых, людских и промышленных ресурсов для подготовки США к войне в скором будущем после того, как мы только что разгромили две великие державы, — писал своему начальству глава оперативного управления сухопутных сил генерал Линкольн, — будет реально, только если мы сможем назвать конкретное государство — мощное и потенциально враждебное, с которым у нас есть конкретный конфликт, способный в недалеком будущем привести к войне».[59]

Не прошло и двух недель после капитуляции Японии, как планировщики КНШ принялись за разработку новой «Стратегической концепции и плана использования вооруженных сил США», исходившей из того, что «единственной ведущей державой, с которой США могут войти в конфликт, неразрешимый в рамках ООН, является СССР».[60] Пока еще это было гипотетическое планирование

на случай «наихудшего варианта» — «развала отношений между ведущими странами и возникновения угрозы третьей мировой войны», наиболее вероятным casus belli в которой считалось «продемонстрированное намерение» СССР захватить Западную Европу или Китай. Планировщикам предписывалось сохранять строжайшую секретность в виду «крайне серьезных последствий, которые может иметь любая утечка об этом документе».[61] Тем не менее выдвинутая в нем «Стратегическая концепция разгрома России» стала быстро обретать плоть конкретных военных планов: уже в октябре 1945 г. был разработан первый из таких планов, предусматривавший стратегические бомбардировки 20 крупнейших советских городов с использованием атомного оружия.[62] К концу года военные планировщики, видимо, получив указания с самого верха, перешли на еще более секретный режим работы над подобными планами: поскольку «сами США не готовятся воевать с СССР»(!), говорилось в циркуляре для генерала Линкольна, любые разработки, связанные с целью «снижения военного и политического потенциала СССР», должны осуществляться только по устным указаниям.[63]

К тому времени мотивы и характер советской политики трактовались в Пентагоне уже только однозначно по аналогии с фашистской угрозой: СССР стремится к «доминированию над Евразией и стратегическими подступами к ней», а «многие аспекты внешней и внутренней политики Кремля разительно напоминают политику Гитлера перед Второй мировой войной». В то же время признавалось, что изнуренный войной Советский Союз «нуждается в 10—15 годах мира» и что Сталин вряд ли сознательно пойдет на открытое столкновение с Западом: «Сталин многократно демонстрировал способность реалистически оценивать обстановку, избегая разрыва между своими задачами и возможностями. Пока он сохраняет контроль над Советским правительством, резонно ожидать, что Советский Союз будет продолжать избегать подобных ошибок».[64] Тем не менее профессиональ-

ная ориентация на «наихудший вариант» брала верх над всеми остальными соображениями. Единственной гарантией против пока еще гипотетических угроз представлялось сохранение потенциала военного превосходства над наиболее вероятным противником, ибо, как подчеркивалось в директиве КНШ от 20 сентября 1945 г., «мы не можем позволить другим напасть на нас первыми».[65] Теперь уже и последние сторонники договоренности с СССР типа генерала Эмбика присоединились к антисоветскому консенсусу.[66]

Быстро менялось к худшему и отношение американского общественного мнения к СССР. Окончание войны в сочетании с жесткой советской политикой в Восточной Европе, массовыми реквизициями и эксцессами поведения военнослужащих Красной Армии в Германии и других оккупированных странах быстро стирали в массовом сознании образ «славного союзника», воскрешая глубинный западный стереотип «варварского нашествия с востока». Сами массовые контакты советских и американских военнослужащих на этих территориях порождали не только атмосферу братания. Документальные свидетельства о впечатлениях американцев от своих русских союзников, анализируемые военной разведкой США, рисовали весьма противоречивую картину. Отдавая должное храбрости советских солдат, их единодушному порыву «дойти до Берлина», американские офицеры в тоже время отмечали «задиристость», «слабую дисциплину» и «пьянство» русских, грубость в отношениях с местным населением («изнасиловать немку у них считается патриотичным долгом, а польку — просто удовольствием»), «открытую критику и даже презрение в отношении союзных войск на Западном фронте». Резал глаза американцам и «диковатый», на их взгляд, внешний вид красноармейцев, примитивные условия их содержания и низкий уровень бытовой культуры. «Поскольку наши взгляды, мораль и подготовка во многом противоположны, а американцы так же задиристы, как и русские, возникнут большие проблемы, когда эти две петушиные нации сой-

ются», — говорил один из опрошенных офицеров, советуя начальству сводить эти контакты к минимуму.[67] Поведение американских военнослужащих в оккупированной Европе также было далеко не безупречным, о чем свидетельствовали многочисленные сигналы с мест разведчиков и дипломатов США.[68] Но так или иначе, культурно-цивилизационные различия между двумя «петушиными нациями», державшиеся под спудом в годы войны, теперь все больше выходили на передний план.

Активную роль в этом играла печать союзников, освободившаяся с концом войны от сдерживающего влияния цензуры в освещении советской политики[69] и не замечавшая аналогичных явлений на своей стороне. Слухи о жестокости и грабительстве русских, отмечал в своем потсдамском дневнике Дж.Дэвис, «старательно распространяются и отравляют всю атмосферу. Французы тащат все подряд из своей зоны, включая кухонные печи. Наши солдаты и даже некоторые члены делегации США на Потсдамской конференции. — *Авт.*) «освобождают» ценные вещи в этом районе. Но критика направлена только на русских...»[70] Советская сторона, в свою очередь, не проводя различия между частными СМИ и государственной пропагандой, усматривала в этой критике целенаправленную «кампанию союзников по дискредитации Красной Армии» и приступила к «отпору» путем сбора и распространения «компромата» на поведение союзников.[71]

К концу 1945 г. и официальная пропаганда США на СССР стала смещаться в сторону более наступательно-критического «разоблачения» политики Кремля и открытой апологетики американского образа жизни. Призывая к развертыванию русскоязычного радиовещания на территорию СССР (в ответ на «антиамериканское» радиовещание на США), посольство США в Москве заверяло госдепартамент в том, что «наш народ будет менее восприимчив к клевете, чем русские — к правде».[72] Предложения посольства легли в основу подготовки к открытию «русского канала» на «Голосе Аме-

рики». Так пропагандистское сотрудничество времен войны сменялось растущим соперничеством.

Не отставали от пропагандистов и спецслужбы США. Освободившись от ограничений рузвельтовских времен, они резко активизировали работу против советской агентуры. С осени в Белый дом начала поступать регулярная реформация от ФБР, свидетельствовавшая о серьезности советского проникновения в атомные и другие секреты США.[73]

Ужесточение американской политики коснулось и такой, казалось бы, чисто гуманитарной области, как оказание Советскому Союзу содействия по линии Администрации ООН по помощи и восстановлению (ЮНРРА), членом которой был и сам СССР. Советский запрос на 700 млн. долл. усилиями американских представителей был урезан почти втрое, несмотря на его очевидную правовую и моральную обоснованность. «Ни в одном другом союзном государстве гражданское население не вынесло таких лишений и разрухи, как в России, — подчеркивалось в депеше посольства США в Лондоне. — Ни одна другая союзная армия не понесла таких огромных потерь, как советская, и ни в одной союзной стране рабочие не жили на такой убогий рацион, как в России». Посольство считало большой ошибкой скупость в отношении союзника на фоне щедрой помощи по линии ЮНРРА, предоставляемой бывшим союзникам стран «оси».[74] Однако посольство США в Москве высказалось резко против расширения этой помощи с тем, чтобы «заставить СССР выделять больше внутренних ресурсов для повышения уровня жизни и сократить свою огромную военную машину более быстрыми темпами».[75] Руководство госдепартамента заняло ту же позицию.

И все же дипломатия США перестраивалась в духе соперничества несколько медленнее, чем остальные ведомства. Еще в конце сентября при опросе руководителей государственных ведомств относительно целесообразности сохранения полной секретности производства атомного оружия

заместитель госсекретаря Д.Ачесон присоединился к ученым-атомщикам (Э.Ферми, Л.Сциларду, В.Бушу), предлагавшим сотрудничество с СССР в этом вопросе. «Никакое прочное взаимопонимание, основанное на твердости, откровенности и признании коренных интересов друг друга, — писал он президенту, — на мой взгляд, будет невозможно при англо-американской политике исключения России из атомных разработок».[76] Ч.Болен в закрытом выступлении перед сотрудниками госдепартамента (октябрь 1945 г.) ставил под сомнение намерение Москвы установить полный контроль над Восточной Европой, считая, что «русские слишком умны для этого. Думаю, они усвоили из истории, что страны, пытавшиеся контролировать европейский континент, устраивали себе сплошную головную боль и в конечном итоге плохо кончали... Наличие политического вакуума создает для мощной державы естественный стимул к его заполнению, но по мере роста местного сопротивления появляется тенденция к ограничению этой экспансии». Посему, заключал Болен, пока «нет оснований опасаться России как таковой».[77]

Разброс мнений по советской политике среди дипломатов сохранялся вплоть до конца 1945 г. Срыв лондонской встречи стимулировал поиск альтернативных идей среди аналитиков госдепартамента, озабоченных дрейфом союзнических отношений к новой враждебности. Наиболее примирительную позицию занимал Дж.Дэвис, представивший президенту в конце сентября большой меморандум с общей оценкой опасной ситуации в советско-американских отношениях и конкретными предложениями по ее нормализации. Дэвис исходил из того, что последние события — отказ советским запросам по Проливам и подопечным территориям, западное сопротивление установлению просоветских режимов на Балканах, демонстрация атомного оружия — резко усилили опасения и подозрения советского руководства, его готовность к силовым и односторонним действиям в защиту своих интересов.

Экс-посол призывал Трумэна войти в положение русских, показывая обоснованность их опасений. Они, писал он, согласились с англосаксонским преобладанием в Италии и Греции и не понимают, почему союзники «не отвечают им взаимностью» в жизненно важных для них регионах: «Нас бы тоже возмутило, если бы Советы пытались подорвать дружественные нам правительства в Южной Америке, которые мы ввиду континентальной безопасности или других соображений считаем демократическими, хотя они во многом не отвечают нашим демократическим нормам». «Им трудно понять, почему Соединенные Штаты отказались поддержать их по Проливам — воротам к безопасности России, которые должны быть для них открыты... Они не доверяют контроль над Проливами Турции, как мы бы не позволили Аргентине или Чили контролировать Панамский канал». Дэвис предлагал пойти навстречу законным интересам безопасности СССР в обмен на признание Москвой преимущественных интересов США в азиатскотихоокеанском регионе; продолжение жесткого противодействия эти интересам, предупреждал он, превратит нынешний «снежный ком» взаимных опасений в «снежную лавину», и тогда «начнется настоящая гонка вооружений и война лабораторий».[78]

Трумэн поблагодарил своего советника за его «письмо о русской ситуации» и благодушно заверил, что она его «ничуть не тревожит. Мы ее исправим — при том, конечно, условии, что ничего не случится со Сталиным. Если он сыграет в ящик, придется начинать все сначала, поскольку никто на свете не может поладить с Молотовым».[79] Трудно сказать, действительно ли Трумэн еще сохранял надежду поладить со Сталиным, или просто хотел угомонить Дэвиса. Хотя рецепты последнего выглядели в Вашингтоне все более эксцентричными, это еще не был глас вопиющего в пустыне.

В стремлении развязать восточноевропейский узел заведующий южноевропейским отделом госдепартамента К. Хьюстон в своем меморандуме от

4 октября предложил публично признать советскую сферу влияния в Восточной Европе, отказавшись от поддержки любых групп в этом регионе, направленных против Советского Союза». Автор считал стремление СССР ликвидировать «санитарный кордон» на своих западных границах вполне законным и призывал свое правительство сделать все возможное, чтобы «стена, отделяющая Россию от остальной Европы, никогда бы не была воздвигнута вновь».[80]

Более сдержанный вариант, предложенный Бирнсу Боленом, предусматривал те же действия США в обмен на советские гарантии сохранить эту сферу влияния открытой. (Болен также прозорливо предупреждал об опасности создания в умах советских лидеров представления о якобы тщательно «продуманном дипломатическом наступлении на советские интересы, отражающем коренной поворот в американской политике».[81] Признавая, что для «советского ума» трудно провести различие между дружественным и марионеточным правительством», Болен все же еще не терял надежды на «перевоспитание» советского руководства в этом вопросе под воздействием «последовательной, твердой и терпеливой» политики США.[82]

Отголосок этих рекомендаций был слышен в выступлении Бирнса 31 октября перед журналистами в Нью-Йорке, с помощью которого госсекретарь пытался подтолкнуть СССР к политике в духе добрососедства» в Восточной Европе за счет признания законных интересов СССР в этом регионе.[83]

Мы понимаем решимость народов Советского Союза никогда более не допустить (со стороны своих соседей. — *Авт.*) враждебной политики, направленной против безопасности и образа жизни СССР, говорил госсекретарь. — Америка никогда не присоединится к каким-либо группам в этих странах, вовлеченным во враждебные интриги против Советского Союза. Мы также уверены, что Советский Союз не втянется во враждебные интриги против нас в Западном полушарии».[84] В декабрьском меморандуме госдепартамента еще подчеркива-

лась специфика особых отношений с советским союзником: «Нам всегда следует помнить, что ввиду различий экономической и политической систем (СССР и США. — *Авт.*) поддержание наших отношений с Россией требует большего терпения и старания, чем с другими странами... Для уменьшения советских подозрений в отношении наших мотивов нам следует избегать даже видимости односторонних действий».[85]

Последней и наиболее концептуальной попыткой найти альтернативу жесткому антисоветизму в недрах госдепартамента можно считать меморандум Болена—Робинсона от 10 декабря 1945 г. «Возможности и намерения Советского Союза в зависимости от американской политики». Этот документ уже изучен в американской и отечественной историографии,[86] поэтому подчеркнем лишь ключевые моменты, относящиеся к нашему изложению.

Авторы документа исходили из посылки о возможности «прогрессивной модификации советского отношения к внешнему миру и методов советской политики», задаваясь вопросом о том, «какая политика США будет лучше всего этому способствовать». Они считали, что «решающее военное превосходство» США над СССР (прежде всего в атомном оружии и средствах его доставки) должно было продлиться еще «несколько лет» («период № 1»), в течение которых США могут не слишком беспокоиться о советских намерениях и имеют повышенную свободу маневра. Однако вслед за этим неминуемо должен был последовать «период № 2», когда СССР достигнет «сравнимого потенциала», а его намерения станут «критически важными для США». Поэтому главная проблема, поставленная авторами, заключалась в том, как разумнее распорядиться этим преходящим периодом превосходства, чтобы минимизировать главную опасность последующего периода — сочетание «сравнимого потенциала» СССР с враждебными намерениями. Исходя из того, что политика США в течение «периода №1» окажет большое воздействие на обе эти

переменные (особенно — на дальнейшие советские намерения), Болен и Робинсон предлагали избрать в отношении СССР «умеренный, рассчитанно успокоительный курс вместо максимального сосредоточения мощи против Советского Союза». Такой курс А» («долгосрочная стабилизация американо-советских отношений») предусматривал предоставление советской стороне данных, необходимых для производства атомного оружия (или по крайней мере — для мирного использования атомной энергии), признание советской сферы влияния в Восточной Европе, «совместные усилия по созданию в Германии, Японии и Китае стабильных буферных режимов, приемлемых для обеих сторон», а также активную поддержку Соединенными Штатами «экономических и политических реформ» в Европе и Азии в целях предотвращения там «революционных ситуаций».

Подобная политика, считали авторы, не будет представлять чрезмерного риска для США с учетом их явного превосходства и возможности ее обратимости в случае, если Кремль однозначно станет на путь «экспансии, облегчаемой революциями». И напротив, «курс Б» (ставка на приумножение силового превосходства) грозит стать «самосбывающимся пророчеством», способным «затвердить советские намерения в этой (агрессивной) форме», что в сочетании с достижением СССР силового паритета со временем создаст для США чрезвычайно опасную ситуацию».[87]

Нетрудно заметить преемственность основных презумпций этого документа (об эластичности советских намерений, о влиянии США на политику Москвы, законности советских интересов безопасности) с рузвельтовской стратегией «интеграции» СССР в мировое сообщество. Проекция которой на послевоенный период порождала серьезную альтернативу надвигавшейся «холодной войне». История этой войны полностью подтвердила обоснованность опасений авторов относительно пагубных последствий принятия Соединенными Штатами «курса Б». Однако подобные идеи уже не делали

погоды в госдепартаменте. Меморандум Болена — Робинсона остался невостребованным,[88] хотя некоторые шаги в духе «умеренности» еще будут сделаны Бирнсом в Москве.

В целом же общий подход США (и в какой-то степени — Великобритании) к отношениям с СССР становился все более противоречивым — декларируемые цели продолжения сотрудничества «большой тройки» все больше расходились с их конкретными действиями, направленными на вытеснение Советского Союза из решения ключевых вопросов послевоенного мироустройства. Это противоречие было тонко подмечено влиятельным британским журналом «Экономист» в декабрьской статье «Русское дело», привлекшей внимание госдепартамента. Журнал писал о противоречии «между стратегией и тактикой западных союзников. Они по-прежнему надеются на совместное урегулирование мировых проблем, но их недавние действия словно нарочно рассчитаны на крушение этих надежд. Они занимают превосходную позицию для дипломатического наступления против России и подрыва ее влияния на мировые дела, но не это является их целью... Что это — просто неразбериха или изменение реальной политики? Как западные союзники представляют себе решение русской проблемы — соглашение через убеждение или изоляция через дипломатическое поражение?»[89] Окончательного ответа на эти вопросы еще не было, но новые средства все больше довлели над старыми целями.

В Советском Союзе между тем тоже продолжался пересмотр политики в отношении западных союзников, имевший, правда, некоторые специфические причины и протекавший в несколько иных формах. Пожалуй, главным отличием советского разворота к холодной войне была повышенная роль внутренних факторов. Хотя победоносная народная война и укрепила легитимность сталинской системы, окончание войны ставило перед ней ряд новых проблем. Помимо уже отмеченных сдвигов в общественных настроениях и государственной политике за годы войны заметно укрепилась само-

ственность нового поколения руководящих военных и хозяйственных кадров, резко расширился состав ВКП (б), превратившейся в многомиллионную организацию, возросли роль и авторитет научно-технической и творческой интеллигенции, были созданы конституционные предпосылки большей самостоятельности союзных республик. Продолжить движение к дальнейшей нормализации и плюрализации советской системы, идя навстречу народной тяге к спокойной мирной жизни после долгих лет огромных лишений и крайнего напряжения сил, или вернуться к привычной системе тотального контроля и принудительной мобилизации — таков был, видимо, главный стратегический выбор Сталина и его окружения.

Впрочем, для Сталина ответ на этот вопрос был фактически предрешен. Дальнейшие эксперименты с уже отработанным режимом личной власти вряд ли входили в его планы, тем более, что окончание войны породило и ряд более непосредственных угроз стабильности этого режима. Брожение в армии, где «декабристские» настроения части боевого офицерства, его фронда в отношении «представителей органов» сочетались с буйным разгулом солдатской массы на оккупированных территориях и внутри страны; послевоенная волна преступности, охватившая крупные города СССР; наконец, признаки десубординации в среде «возомнившего о себе» за годы войны ближайшего сталинского окружения[90] — все это на фоне серьезнейших экономических трудностей послевоенного периода не могло не создавать в уме Сталина тревожной картины «разболтанной страны», которую было необходимо «подморозить» (используя известное выражение писателя и философа В.Леонтьева). Тем более что предстояло мобилизовать народ на новые гигантские усилия и лишения, связанные с послевоенным восстановлением и наращиванием военно-промышленного потенциала страны, что уже предусматривалось в верставшихся планах первой послевоенной пятилетки. «Враждебное окружение» с его императивами

сплочения, жертв и дисциплины было правдоподобным (учитывая все более жесткое поведение Запада), привычным и универсальным решением целого комплекса проблем.

Уже летом — осенью 1945 г. происходит постепенное изменение тона советской пропаганды, руководители которой на служебных совещаниях призывают пропагандистский актив вновь «обострить идеологическую борьбу»,[91] советским людям опять начинают напоминать о «капиталистическом окружении», «реакционных тенденциях» в политике Запада и необходимости борьбы с ними. Более идеологизированной и напористой становится и внешняя пропаганда, особенно — после принятия сентябрьского постановления ЦК «Об усилении советской пропаганды за рубежом». Эти сдвиги быстро фиксировались американскими дипломатами в СССР, сообщавшими о «возвращении к довоенному стилю пропаганды».[92]

После срыва Лондонской сессии СМИД Сталин, дабы показать свое недовольство поведением американцев, отменяет ранее запланированный жест «доброй воли» в отношении трумэновской администрации — визит маршала Г.К.Жукова в США в ответ на августовский визит Д.Эйзенхауэра. «Президент Трумэн, — говорилось в приглашении Белого дома, переданном через Гарримана, — желает оказать гостеприимство Соединенных Штатов маршалу Жукову в знак высокой оценки и выражения горячего чувства, которые он и народ Соединенных Штатов испытывают в отношении Красной Армии и маршала Жукова, как одного из самых выдающихся ее руководителей».[93] Сталину вряд ли хотелось отпускать Жукова в триумфальную поездку за океан, да и сам маршал, хорошо это понимая, высказался против поездки. Но поначалу перевесили другие соображения. В середине сентября на обсуждении этого приглашения в Политбюро Сталин говорил, что «первоначально казалось правильным отказаться от такой поездки, но такой отказ может быть плохо воспринят президентом Трумэном. Он может обидеться, подумать,

что если бы тов. Жуков был приглашен Рузвельтом, мы, вероятно, не отклонили бы приглашения, а приглашение Трумэна отклоняем, потому что мы с ним мало считаемся». [94] 17 сентября о «согласии Жукова» было сообщено американцам и Белый дом приступил к спешной подготовке визита. Но уже через две недели — после срыва лондонской сессии — у Жукова появились «неотложные и весьма важные дела», не позволяющие ему «воспользоваться этим приглашением», как говорилось в письме НКИД, переданном в посольство США.[95] Теперь обидеть Трумэна стало даже очень кстати. Американцы правильно поняли посланный сигнал. «Судя по всему, с их стороны идет ужесточение позиции и нагнетание давления, как это обычно бывает после расхождений, — комментировал Гарриман на совещании в посольстве. — Жуков не едет в США, что вполне понятно. Дальше будет еще жестче».[96]

В ноябре Сталин, находясь в отпуске на юге, делает резкий выговор Молотову за ослабление цензуры материалов иностранных корреспондентов в Москве и публикацию речи Черчилля с дифирамбами в адрес советского народа и «великого Сталина». Он использует последний эпизод для того, чтобы вскрыть «лицемерие Черчилля» и предупредить соратников по Политбюро: «У нас имеется теперь немало ответственных работников, которые приходят в телячий восторг от похвал со стороны Черчиллей, Трумэнов, Бирнсов и, наоборот, впадают в уныние от неблагоприятных отзывов со стороны этих господ. Такие настроения я считаю опасными, так как они развивают у нас низкопоклонство перед иностранными фигурами. С угодничеством перед иностранцами нужно вести жестокую борьбу... Я уже не говорю о том, что советские лидеры не нуждаются в похвалах со стороны иностранных лидеров. Что касается меня лично, то такие похвалы только коробят меня».[97] Предельно убедительно — на собственном примере Сталин демонстрирует своим соратникам образец нового (а точнее традиционно-большевист-

ского, но подзабытого за годы войны) отношения к капиталистическим союзникам.

В начале декабря для вящей назидательности Сталин организует унизительную процедуру обвинения и покаяния Молотова перед «тройкой» Политбюро в «либерализме» и «уступчивости» по отношению к «англо-американцам».[98] В «ошибках» Молотова со времени Лондонской сессии СМИД действительно просматривалась если не «уступчивость», то инерция привычного союзного сотрудничества, тогда как Сталин уже начинал настраивать соратников и страну на более жесткое соперничество с Западом. Попутно решалась и задача укрепления его личной власти над ближайшим окружением, которое теперь прекрасно понимало, что отныне лучше «переборщить» в сторону жесткости и ксенофобии, чем былого пиетета в отношении «союзников».

Вместе с тем в конкретных внешнеполитических шагах Кремля еще не было линейной одномерности. Сталин не оставлял попыток шире внедриться в японские дела, однако он проявлял большую осторожность в Китае, опасаясь конфликта с наращивавшими там свое военное присутствие американцами. В ноябре Сталин приказывает отозвать «наших людей» из Янаня, «поддерживать хорошие отношения» с гоминдановцами в Маньчжурии и «отгонять» «так называемые коммунистические отряды» от городов региона, «имея в виду, что эти отряды хотят втянуть нас в конфликт с США, чего нельзя допускать».[99] Весной за этим вопреки всем прогнозам американских военных последовал вывод советских войск из Маньчжурии, а также с датского острова Борнхольм, несмотря на рекомендации советских дипломатов сохранить возможность превращения этого острова в «балтийский Гибралтар».[100] Военная разведка США считала советскую оккупацию Борнхольма «первым шагом» на пути установления контроля СССР над Балтикой и предсказывала, что «Советы не уйдут с острова».[101] Некоторые американские историки считают возможным мотивом этого решения надежду осложнить удовлетворение запро-

ров США о базах в Исландии и Гренландии.[102] Если так, то эти расчеты не оправдались: хотя советская уступчивость усилила датское и норвежское сопротивление военному присутствию США на их территории, американцам в конце концов удалось его преодолеть.

В конце октября госдепартамент с тайной подсказки президента Э.Бенеша рекомендовал Трумэну обратиться к Сталину с предложением о совместном выводе войск обеих стран из Чехословакии, видя в этом «самый эффективный способ удаления» размещенной там трехсоттысячной группировки Красной Армии (по сравнению с двумя дивизиями американцев). Трумэн согласился с рекомендацией, но заметил на полях записки госдепартамента: «Звучит разумно. Сомневаюсь, однако, чтобы русские к нам прислушались».[103] Однако русские прислушались. Получив на отдыхе в Сочи послание Трумэна, Сталин телеграфировал в Политбюро: «Я думаю, что надо согласиться с предложением Трумэна. Если четверка также согласна с этим, я могу написать соответствующий ответ Трумэну, при условии, что чехословацкое правительство не имеет против этого возражений».[104] (Даже бездонно подозрительный Сталин, видимо, не догадывался о сговоре Бенеша с американцами в этом вопросе.) В конце октября Сталин прервал свой отдых для приема посла Гарримана, рассчитывая, что тот привезет новые уступки по Японии и другим проблемам.

Необычному визиту американца предшествовали причудливые согласования внутри кремлевского руководства. Внешнеполитическая «четверка» Политбюро (Молотов, Берия, Маленков, Микоян), рассмотрев запрос Гарримана, информировала «Хозяина» о своем мнении: «Мы считаем, что Гарримана с посланием Трумэна следует принять ввиду просьбы президента, а также ввиду того, что американцы взяли на себя инициативу в вопросе о дальнейшем обсуждении происшедшего на Лондонской сессии Совета министров. В этом деле, однако, нежелательным является то, что Гарриман будет знать место Вашего пребывания на отдыхе».[105]

Забота соратников не сводилась к безопасности вождя — они приложили к депеше и проект сталинского ответа Гарриману, в котором сквозило их желание подчеркнуть и собственную значимость: «Я, конечно, с удовольствием приму Вас как гостя и друга там, где провожу сейчас свой отпуск. Вместе с тем, должен сказать, что у нас не принято, чтобы Глава Правительства, находящийся в отпуску, принимал какие-либо решения без участия своих коллег по правительству».[106]

Сталин, как и его коллеги по правительству, был заинтригован поручением Гарримана. После срыва лондонского совещания он вел игру на выжидание, расчитывая, что союзники дрогнут и пойдут навстречу советским требованиям по Балканам и Японии, вернутся к ялтинской формуле решения вопросов мирных договоров. «Важное послание» Трумэна вполне могло быть таким встречным шагом, ради которого можно было раскрыть место своего пребывания. Поэтому Сталин, немного поразмыслив, ответил «четверке» в ночь с 17 на 18 октября следующим образом: «Ввиду выраженного Вами желания я не возражаю против приема Гарримана в Сочи с целью выслушать его комментарии к посланию Трумэна. Если во время беседы с Гарриманом выяснится, что он не ограничивается своими комментариями и добивается решения вопроса, я отвечу, что, находясь в отпуску, не могу принять какого-либо решения без участия представителя правительства. В этом случае я вызову Молотова и вместе с ним примем решение, которое будет либо положительным, если решение будет благоприятным для нас, либо отрицательным, если оно не будет благоприятным».[107]

Сделав уступку коллегиальности, Сталин, однако, убрал ссылку на нее в проекте ответа «четверки» Гарриману, равно как и кавказские реверансы насчет «гостя и друга». Его собственный, набросанный от руки вариант ответа (с припиской «передайте Гарриману от меня») гласил: «Я с удовольствием приму Вас в г. Сочи, где провожу свой отпуск, и готов

выслушать *его* (так в тексте. — *Авт.*) комментарии к посланию президента».[108]

Сталин приветливо встретил гостя на пороге своей дачи и сразу же перешел к делу. «В послании не ставится вопроса о Японии», — сказал он, ознакомившись с текстом и, видимо, разочарованный отсутствием в нем ожидавшихся уступок. Гарриман с готовностью в «неофициальном порядке» проинформировал Сталина о том, «в каком направлении работает мысль советников президента по японскому вопросу». Однако через все рассуждения об учете интересов СССР рефреном звучало, что «окончательное слово должно оставаться за генералом Макартуром». Сталин внимательно выслушал посла, но не стал сходу вступать в подробное обсуждение японской проблемы, ограничившись соображением о том, что в Японии следовало бы создать Контрольную комиссию по аналогии с Венгрией или Румынией, в которой председателем с решающим словом будет Макартур. Он также высказал сомнение в целесообразности участия советских войск в оккупации Японии под началом Макартура, мотивируя это тем, что такое участие может поднять вопрос об ограничении прав Макартура, «чего не хотят США» (на деле Сталин просто не хотел символического участия в оккупации в подчиненном положении).

Далее разговор перешел на тему трумэновского послания о порядке созыва мирной конференции. США, как и Англия, выступали за максимальное расширение ее состава за счет лояльных им стран, расчитывая оставить СССР и его союзников в явном меньшинстве; советская позиция по тем же причинам была прямо противоположной. Но открыто сказать об этом, естественно, было нельзя. Поэтому Гарриман говорил о «неделимости войны», о трудности подсчета вклада в нее разных стран, о необходимости дать всем странам, так или иначе поддержавшим союзников, «высказать свои взгляды» на проекты мирных договоров. Сталин оперировал другими, более осязаемыми категориями — количество солдат, «израсходованных» той

или иной страной (в отличие от «платонического», по его выражению, ведения войны), степень причастности той или иной страны («какое дело Коста-Рике до мирного договора с Румынией?»?, преференции странам, наиболее пострадавшим или реально воевавшим против той или иной страны «оси». «Нельзя ставить на одну доску государство, которое действительно воевало, принесло жертвы и испытало оккупацию, с другим государством, которое никаких жертв не принесло. Это было бы несправедливо. Разница в поведении отдельных государств выдумана не им, тов. Сталиным. Случилось так, что одни государства воевали, другие только объявили, что они находятся в состоянии войны, а третьи, из числа Объединенных Наций, помогали немцам».[109] Поэтому Сталин сначала предложил созвать несколько конференций «узкого круга» с привлечением только реально вовлеченных стран, а затем в порядке компромисса согласился на общую мирную конференцию с поочередным приглашением вовлеченных стран для обсуждения мирных договоров одного за другим. В архиве Сталина сохранился экземпляр списка предложенных американцами стран со сталинскими пометками (плюс или минус напротив каждой страны). Здесь будущий компромисс уже просматривался — в отличие от японского вопроса, к которому собеседники вернулись на второй день в еще одной почти трехчасовой беседе.

Чуждый импульсным решениям, Сталин, видимо, все тщательно продумал, прежде чем вовсю высказаться по Японии. Он хорошо понимал игру американцев по созданию видимости советского участия в японских делах и не собирался им подыгрывать. На следующий вечер он назвал вещи своими именами, и теперь уже Гарриману пришлось выслушивать и оправдываться. Советское правительство, начал Сталин, «не получило никакой ответственной роли в Японии» и не собирается быть «приложением», не неся совместной ответственности за политику в отношении Японии и не имея никакого влияния на эту политику». Может

быть, Соединенным Штатам, саркастически осведомился Сталин, «нужен не союзник, а сателлит в Японии? Должен сказать, что Советский Союз не подходит для этой роли... Будет честнее, если СССР вообще уйдет из Японии, чем оставаться там в роли мебели».[110]

Но самое серьезное предупреждение Сталин приберег под конец: «Тов. Сталин говорит, что никогда не был сторонником политики изоляционизма, но сейчас, может быть, Советскому Союзу следует принять такую политику. Возможно, в ней нет ничего плохого». Гарриман догадывался, что речь идет не столько об изоляционизме, сколько об отказе от взаимодействия с союзниками, переходе к политике односторонних действий и опоры на собственные силы.[111]

Сталин, должно быть, понимал, что в сложившейся обстановке ему вряд ли удастся вырвать у американцев весомую роль в Японии, но дело было слишком серьезным, чтобы не исчерпать все возможности к этому, прощупывая защиту американцев в поисках какой-нибудь лазейки. Терять же при этом было нечего, поскольку даже в случае осечки по Японии нажим по данному вопросу давало возможность подороже продать эту уступку, скажем, в обмен на согласие США де-факто с советской сферой влияния на Балканах. Не случайно Сталин в беседе с Гарриманом недвусмысленно попросил «передать Президенту, что он, тов. Сталин, связывает вопрос о Японии с вопросами, возбужденными в послании Президента».[112] (Сам генералиссимус, перечитывая запись беседы, жирно подчеркнул это место).[113]

Собеседники расстались по-доброму. Сталин, не без гордости докладывал начальству Гарриман, был как нельзя более дружелюбен ко мне лично и на прощание сказал, что был рад принять меня не только как американского посла, но и как друга. Мое ощущение, что он хочет с нами поладить, но с непомерной подозрительностью относится к каждому нашему шагу...»[114]

На следующий день после возвращения в Москву Гарриман получил инструкции из Вашингтона с

новыми предложениями по контрольному механизму для Японии, которые предусматривали создание наряду с Дальневосточной комиссией Союзного военного совета как чисто совещательного органа при Макартуре. Посол сразу отметил неприемлемый для Кремля пункт — предложенный порядок голосования в Дальневосточной комиссии, при котором решения принимаются большинством голосов, включая голоса трех из четырех главных союзников. «Сталин, — предсказывал Гарриман, — будет возражать против этого предложения, считая, что оно направлено против Советского Союза... и настаивать на единогласии четырех главных держав». Мотивы Кремля в этом вопросе, пояснял он в следующей шифровке, вполне понятны — опасение того, что «Япония, как и Германия, будут вновь использованы западными странами как плацдарм для нападения на СССР. Япония не менее, чем Восточная Европа, находится в советской зоне жизненно важных стратегических интересов».[115]

Однако на встречах с Молотовым 1 и 3 ноября этот пункт не вызвал возражений наркома, который не только выразил предварительное личное согласие с мнением Гарримана, но даже в порядке обсуждения предложил ограничиться двумя совпадающими голосами ведущих стран вместо трех. Сомнения Молотова вызвало предоставление всех властных полномочий Макартуру даже в случае несогласия с ним членов Союзного военного совета. Гарриман отвечал, согласно советской записи беседы, что и в этих случаях «Главнокомандующий имеет окончательное решение и что якобы Генералиссимус Сталин при беседе в Сочи дал свое определенное согласие по этому вопросу».

Сталин в беседе с Гарриманом действительно признавал «решающее слово» и преобладающую роль Макартура, и Молотов, изучая запись той беседы, жирно подчеркнул в ней соответствующие места.[116] Видимо, поэтому он не стал оспаривать эту позицию. Но в данном случае следование букве указаний вождя сослужило ему плохую службу. Теперь уже Сталин, получив от Молотова записи

его последних бесед с Гарриманом, раздраженно подчеркнул и молотовское согласие по процедуре голосования, и пассаж о всевластных полномочиях Макартура.[117] Вместе с записями в Гагру пришел проект ответа американцам по Японии, подготовленный Молотовым и одобренный «четверкой», который, по сути, был согласием на предложения США.

Если Сталин и заметил свою оплошность, подмеченную Гарриманом, то он предпочел «перекинуть» ее своему заму, тем более что тот дал к тому повод своей поспешностью по вопросу голосования. 1 ноября «Хозяин» шлет «четверке» резкий отзыв на ее проект как «неудовлетворительный». Первым делом он отвергает предложенный американцами термин — «Союзный военный совет», считая, что он чрезмерно ограничивает функции и «подчеркивает совещательный характер этого органа при Макартуре, что невыгодно для нас». Надо назвать его «Союзным контрольным советом». Затем он переходит к распределению полномочий между Макартуром и Союзным советом: «Вы обходите вопрос о праве одного из членов контрольного органа апеллировать к своему правительству при несогласии с Макартуром в вопросах принципиального характера... Но обойти вопрос не значит решить его, — назидает он «четверке». — ...Гарриман не прав, утверждая, что я согласился на присвоение Макартуру безапелляционных прав». Предложение Сталина — в случаях принципиальных разногласий между Советом и Главкомом приостанавливать выполнение данного его решения до достижения согласия между правительствами. Но самые жесткие слова Сталин приберег под конец для Молотова (который к тому времени имел и другие провинности, совершенные на Лондонской сессии СМИД.) «Предложение о большинстве трех голосов великих держав — есть жульническое предложение, имеющее своей целью изолировать нас, — писал он о процедуре голосования в Дальневосточной комиссии, подтверждая прогноз Гарримана. — Предложение о большинстве двух голосов

не лучше предложения о трех голосах. Молотов не имел права высказываться за предложение о двух голосах. Манера Молотова отделять себя от правительства и изображать себя либеральнее и уступчивее, чем правительство — никуда не годится». В заключение Сталин распорядился после обсуждения передать Гарриману советские возражения «в виде поправок к предложениям американцев», что тактически было умелым ходом.

«Четверка» мгновенно сделала оргвыводы из сталинского нагоняя, свалив вину на своего старшего члена. В тот же день Сталин получил от Берии, Маленкова и Микояна на утверждение проект решения Политбюро следующего содержания: «Признать, что в переговорах с Гарриманом Молотов допустил ошибку... Указать т. Молотову, что он не имел права в переговорах с Гарриманом высказываться за предложение о двух голосах и признать неправильной манеру Молотова отделять себя от правительства и изображать (так в тексте. — *Авт.*) либеральнее и уступчивее, чем правительство». К тексту прилагалась рукописная приписка провинившегося: «Согласен с этим проектом решения. Постараюсь впредь не допускать таких ошибок».[118]

Молотов действительно постарался. Уже на следующий день он срочно пригласил Гарримана и вручил ему советские поправки, разработанные на основе сталинских указаний. Не догадывавшийся о кремлевских коллизиях посол решил, что имеет дело с «обычной тактикой Молотова по наращиванию советских требований». Тем не менее, Гарриман рекомендовал Бирнсу сделать небольшие встречные уступки — согласиться на Союзный контрольный совет или комиссию, не меняя чисто совещательных функций этого органа, пойти на допустимость широких консультаций в случае принципиальных разногласий между советом и Макартуром, сохраняя за последним решающее слово, если их не удастся урегулировать.[119]

Однако в Вашингтоне сочли советские предложения неприемлемыми, и 9 ноября Гарриман вру-

ший Молотову соответствующую ноту своего правительства. Главный упор в ней делался на то, что советские поправки «парализуют» действия США в Японии и «представляют собой полный отход от ... основления Генералиссимуса Сталина послу Гарриману».[120]

Навязчивые ссылки на особое мнение генералиссимуса побудили последнего к еще одному объяснению — как перед своими, так и перед американцами. 11 ноября он собственноручно сочиняет ответную ноту, в которой прямо утверждает, что информация правительства США о позиции Советского правительства и Генералиссимуса Сталина содержит элементы неточности. Сталин признавал и продолжает признавать, что на США ложится больше ответственности в делах Японии, чем на остальных союзников, но он никогда не соглашался с тем, чтобы ответственность несли только США, ибо он считает, что ответственность несут также и те союзные державы, войска которых приняли активное участие в деле разгрома японских вооруженных сил». В том же тяжеловесно-чеканном ключе («Сталин признавал и продолжает признавать» было описано и отношение к решающему голосу Макартура по всем вопросам, кроме «принципиальных — типа изменения режима контроля над Японией, изменения состава японского правительства и т.д.». Затем следовало необычное резюме — во всем этом советское правительство солидарно со Сталиным».

Гагрский отшельник направил проект ноты четверке» на предмет поправок, приписав, что «не уверен в безупречности проекта». «Четверка», помня недавнюю выволочку, не разделила авторских сомнений вождя. «Согласны с проектом, поправок не имеем.» — спешно телеграфировали они в Гагры на следующее утро.[121] Впрочем, одну поправку они все же рискнули сделать: заменили «Сталин» на И.В.Сталин». В таком виде в тот же день нота была вручена Гарриману, который сразу же объявил ее соображения неприемлемыми. В посольстве не заметили сталинского авторства этой ноты; лишь

чуткий Кеннан был насторожен необычным подчеркиванием солидарности советского правительства со своим премьером, да и тот увидел в этом другое — признак пошатнувшихся позиций Сталина. («Не вижу оснований для такого вывода,» — отвечал ему Гарриман.[122]) Если прочность положения Сталина не вызывала у посла сомнений, то мотивы и пределы политики диктатора продолжали порождать вопросы. Худшие опасения на сей счет усугубил М.Литвинов, который при случайной встрече в фойе Большого театра посетовал Гарриману на беспросветность ситуации и свое бессилие изменить ее. В срочном сообщении об этом разговоре в Вашингтон Гарриман поставил его в общий контекст нарастания антиамериканских настроений в Москве и тенденции к односторонним действиям в советской политике.[123]

Между тем акцентировка Сталиным в беседах с Гарриманом проблемы равенства в советско-американских отношениях была не просто тактическим ходом. Судя по всему, он и его соратники действительно воспринимали весь постхиросимский курс США как результат «головокружения от успехов» со стороны самонадеянных янки, взявших командный тон в отношении главного союзника. В начале декабря Сталин получил примечательную запись беседы И.М.Майского с Гарриманом (которая так понравилась Молотову, что тот дослал ее вождю и «тройке» Политбюро). В ней Майский, парируя сетования американца на «ухудшение атмосферы» и «нехватку доверия» в отношениях между союзниками, поставил вопрос иначе: «...все ли в этом отношении безупречно со стороны наших партнеров? Мне думается, что не все. И, если уж говорить с той откровенностью, которую допускает наше с ним старое знакомство, то — да простит меня Гарриман! — советским людям кажется, что как раз американцы в последнее время несколько зазнались и не дают себе труда даже сознавать этого. Здесь кроется одна из трудностей нынешнего положения. Здесь кроется и одна из причин лондонской неудачи. Если американцы

поймут и почувствуют, что все мы живем на одной и той же маленькой планете, что эта планета с каждым годом становится все меньше, а соприкасаемость народов все больше, что поэтому США в целях поддержания мирового порядка следует в отношениях с другими странами больше признавать принципы равноправия со всеми вытекающими отсюда последствиями, то мне думается, что с психологическим фактором на предстоящей конференции все будет в порядке». Гарриман, как следует из записи беседы, согласился с тем, что «элементы зазнайства» у американцев в последнее время действительно имелись, но пробовал доказать, что в данном случае речь может идти лишь об отдельных лицах или группах в США. Он, однако, признал, что с настроениями «зазнайства» необходимо вести борьбу и что такие настроения не должны быть допущены за столом конференции».[124]

Сталин и Молотов подчеркнули пассажи о «зазнайстве» и «равноправии», а особенно о «чистосердечном признании» Гарримана.[125] Оно, с одной стороны, авторитетно подтверждало опасения Москвы, а с другой — давало некоторую надежду на отрезвление» зарвавшихся заокеанских партнеров при условии твердого и спокойного их «осаживания». Именно к такой политике и призвал Сталин своих коллег по Политбюро накануне Московского совещания трех министров иностранных дел: «Очевидно, что имея дело с такими партнерами, как США и Англия, мы не можем добиться чего-либо серьезного, если начнем поддаваться запугиваниям или проявим колебания, — телеграфировал он «четверке» Политбюро. — Чтобы добиться чего-либо от таких партнеров, нужно вооружиться политикой стойкости и выдержки».[126]

К тому времени появился ряд признаков эффективности линии Сталина на блокирование политико-дипломатического наступления союзников после Потсдама. Бирнс, несмотря на рекомендации Форин Оффис и своих дипломатов «дать русским повариться в собственном соку»,[127] пошел на возврат к ялтинско-потсдамскому формату «большой

тройки», предложив созвать конференцию трех министров в Москве (причем без предварительного согласования этой инициативы с англичанами, что вдвойне порадовало Кремль как возможность игры на англо-американских разногласиях). Кроме того, после успешных выборов укрепились позиции просоветских режимов в Болгарии и Югославии, что усиливало надежды Кремля на решение «балканской проблемы». Все это расценивалось Сталиным как победа «советской линии», создавшая предпосылки для успеха Московского совещания.

Оно действительно ознаменовалось серией компромиссных решений. Советской дипломатии удалось добиться согласия союзников признать правительства Румынии и Болгарии в обмен на включение в их состав минимального числа представителей «лояльной» оппозиции. «Решения по Болгарии и Румынии, — информировал Молотов руководство НКИД, — укрепляют положение дружественных Советскому Союзу демократических правительств, а вместе с тем, благодаря небольшим уступкам, дают возможность Англии и США в скором времени признать румынское и болгарское правительства».[128] В Кремле хорошо понимали, что московские решения если и не прекратят, то резко сузят возможность западного вмешательства в Юго-Восточной Европе. «Конечно, за кулисами англичане и американцы будут продолжать свою поддержку оппозиции, — говорил чуть позже Молотов в беседе с болгарскими коммунистами, — но они не смогут больше это делать открыто».[129]

Гораздо более скромными были советские успехи по Японии, но и там американцы вместо прежнего лобового сопротивления согласились на создание Дальневосточной комиссии и Союзного Совета с участием СССР, что давало советской стороне небольшое влияние на оккупационную политику и надежду на его расширение в будущем. «...Правительство США пошло на уступки и согласилось предоставить контрольные функции для Советского Союза и изменить функции Дальневосточной комиссии», — говорилось в отчете наркома об итогах совещания. Взаимные уступки привели к

вопросам о составе участников будущей мирной конференции и создании Комиссии ООН по атомной энергии.

В целом итоги встречи в Кремле рассматривали не только как успех в решении ряда конкретных проблем, но и чуть ли не возврат к союзному сотрудничеству времен войны. «Нам удалось, — подытоживал Молотов в циркуляре по Наркомату, — достигнуть решений по ряду важных европейских и дальневосточных вопросов и поддержать развитие сотрудничества трех стран, сложившегося во время войны».[130] В сходных выражениях было выдержано и послание Сталина Трумэну от 23 декабря.[131]

Однако добиться большего взаимопонимания и ясности в отношении намерений друг друга участникам встречи не удалось. Несмотря на рекомендации отдельных советников обеих сторон «раскрыть карты» с тем, чтобы обозначить и попытаться согласовать сферы своих геополитических интересов, и несмотря на то, что обоюдные призывы в том же духе прозвучали и за столом переговоров,[132] обе стороны в основном продолжали действовать «в темную», предпочитая сохранять свободу рук и ставить друг друга перед свершившимися фактами, что, естественно, не укрепляло взаимного доверия. «США, — признавал А.Гарриман в служебном меморандуме, написанном во время московской встречи, — планируют и осуществляют определенные меры по обеспечению своей безопасности, которые они не раскрывают Советскому правительству, кроме отдельных случаев, когда имеются обращения к третьим странам (как, например, Исландии) или сообщения в печати... Советское правительство, со своей стороны, также не информирует Соединенные Штаты о своих планах в области безопасности, кроме как в самом общем виде или в связи с конкретными шагами, которые оно предпринимает или собирается предпринять».[133]

На встрече Сталин, правда, попытался завести разговор с Бевином о «справедливом» разделе сфер влияния между тремя великими державами,

вновь возвращаясь к вопросу об итальянских колониях. Советская делегация в Лондоне, сказал Сталин (согласно английской записи беседы от 24 декабря), «была несколько обижена отношением английского и американского правительств, которые как будто боятся согласиться на советскую опеку над Триполитанией. Но если бы об этом договорились, то Великобритания ничего не потеряла бы, поскольку она владеет множеством баз по всему свету, которых у нее даже больше, чем у США. Почему же нельзя учесть и интересы Советского правительства? ...У Великобритании есть Индия, владения в Индийском океане и целая сфера интересов; у США есть Япония и Китай, а у Советского Союза ничего нет». «Советская сфера, — возразил Бевин, — протянулась от Любека до Порт-Артура».[134] На том разговор о сферах влияния и закончился, хотя в параллельных контактах с американцами Бевин подробно обсуждал ситуацию во всех стратегически важных районах (Турции, Греции, Иране и т.д.), где СССР, по его словам, «терся о британскую империю».[135] Поддразнивая союзников в надежде вбить клин между Вашингтоном и Лондоном, Сталин с намеком на эти контакты говорил госсекретарю США: «Ведь у Бирнса блок с британцами». Бирнс, естественно, отвечал, «что у него нет никакого блока с британцами. Например, когда он, Бирнс, пригласил сам себя в Москву, он забыл телеграфировать приглашение Бевину». «Это только маскировка блока», — не растерялся Сталин.[136]

Тем не менее совещание закончилось ко взаимному удовлетворению обеих сторон (если не считать англичан). Во исполнение его решений Гарриману предстояла последняя дипломатическая миссия — поездка в Румынию в составе межсоюзной комиссии (вместе с А.Керром и А.Вышинским) для консультаций по поводу формирования там обновленного состава правительства. Опасения англосаксов о тщетности своей миссии в Бухаресте полностью подтвердились: политическая ситуация контролировалась правительством Грозы, нахо-

дошимся, в свою очередь, под контролем Москвы. Введение в него двух оппозиционных министров без портфеля (к тому же отобранных самим правительством) ничего не могло изменить. Гарриману с Керром оставалось лишь выслушивать мольбы лидеров антисоветской оппозиции Маниу и Братиану вперемешку с их протестами, призывать Вышинского к политике «добрососедства» и пытаться добиться от Грозы гарантий и сроков проведения новых «свободных» выборов. Последнего добиться так и не удалось — Гроза под разными предлогами уходил от конкретных обязательств, отделываясь общими обещаниями и грубоватыми шутками типа «какие могут быть выборы на голодный желудок?».[137] Но даже эти слабые попытки пресекались Вышинским как отход от решений Московского совещания (в отчете Молотову он с удовольствием сообщал о своем отпоре «жульнической политике» Гарримана).[138] Дабы не продлевать агонии, Гарриман и Керр после дежурных препирательств согласились с предложенными кандидатурами и рекомендовали своим правительствам признать правительство Грозы. Бесславный финал румынской драмы лишь ускорил отъезд Гарримана из Москвы. 20 января посол провел прощальное совещание на Моховой. Его наказ подчиненным был весьма жестким: урегулирования с СССР не предвидится, но «русские пока недостаточно сильны, чтобы пойти на открытый разрыв, и потому следует твердо отстаивать наши интересы в противовес русской политике».[139]

Поздним вечером того же дня он нанес прощальный визит Молотову, которому «по секрету» поведал о своей скорой отставке и об отсутствии точных планов на будущее. Нарком выразил сожаление и надежду на то, что Гарриман с его «большим опытом» «не будет стоять в стороне от политики». Посол подтвердил, что не собирается «отстраняться совсем от дела взаимоотношений между Советским Союзом и США, дела, которое стало столь дорогим его сердцу», и обещал «использовать этот опыт на благо советско-американ-

ских отношений». «...Полезная роль, которую сыграл Гарриман, — заключил нарком, — не вызывает сомнений у друзей Советского Союза и США». В заключение Гарриман попросил о встрече со Сталиным, получив обычный уклончивый ответ о «занятости» вождя.[140]

22 января посол распрощался с Литвиновым, с которым по привычке был более откровенен. Да и Максим Максимович со своей проницательностью быстро разгадал настрой американца, записав в своем дневнике следующее: «Сообщив внезапно, что Гопкинс, по его сведениям, опасно болен и, вероятно, умирает, что около Трумэна почти никого не осталось для продолжения традиции Рузвельта и что Бирнс не имеет опыта, он дал мне ясно понять, что он не прочь занять место советника президента, которое при Рузвельте занимал Гопкинс. Он добавил, что в таком случае рассчитывает еще приезжать в Москву». В заключение разговора Гарриман, видимо, расчитывая вызвать Литвинова на ответную откровенность, посетовал на политику СССР на Балканах и спросил «намерены ли мы проглотить всю Европу». Но Литвинов предпочел перестраховаться. «Я сказал, что посол, вероятно, шутит и что он отлично знает, что подобных стремлений у нас нет». Просматривая запись беседы, Молотов жирно подчеркнул пассаж о намерении «проглотить всю Европу» и поставил на полях знак вопроса — что бы значила эта необычная резкость осторожного в выражениях Гарримана?[141]

Неизвестно, что именно доложил Сталину Молотов о прощальных разговорах американского посла, но вождь, несмотря на всю свою занятость, принял Гарримана для прощальной беседы. Перед этим он внимательно прочел запись последней беседы посла с Молотовым, по привычке подчеркивая наиболее важные места. Генералиссимус начал разговор с извинения: «Тов. Сталин говорит, что он не знал, что Гарриман уходит со своего поста в Москве, иначе он, тов. Сталин, отложил бы дела для того, чтобы принять Гарримана раньше». Посол изложил уже известную версию о своих планах на будущее, но сделал

упор на вероятную работу в правительстве: «Теперь, когда Гопкинс настолько заболел, что не сможет больше заниматься политической деятельностью, он, Гарриман, остается одним из последних звеньев, связующих президента со старыми советниками Рузвельта». «Тов. Сталин, — гласит далее советская запись беседы, сделанная В.Павловым, — шутливо спрашивает, как же так случилось, что Гопкинс женился и заболел. Гарриман отвечает, что Гопкинс был болен до женитьбы, сейчас его болезнь обострилась».

Далее разговор перешел на конкретные проблемы отношений между двумя странами. Сталин выразил удовлетворение решениями Московского совещания, подчеркнув, что «по Японии, видимо, дела пойдут на лад. Советское и американское правительства нашли общий язык в японских делах». В Румынии, — продолжил он, — обе стороны, кажется, проявили солидарность, и фактически вопрос решен. Что касается Болгарии, то там дурацкая оппозиция обрекает себя на провал». Гарриман поспешил сообщить, что уже рекомендовал своему правительству не откладывая установить отношения с Румынией, и спросил Сталина о положении в Китае. Тот в ответ рассказал ему о своей недавней беседе с сыном Чан Кайши — «толковом человеке», по его словам, который де просил Москву о посредничестве в отношениях с коммунистами. Продолжая линию перед американцами на подчеркивание своего дистанцирования от китайских коммунистов, Сталин сказал, что советское правительство не уверено, что коммунисты примут его совет... «Как ему, тов. Сталину, кажется, главное заключается в том, что китайские коммунисты расходятся с позицией Советского Союза по вопросу о Китае. Поэтому Советское правительство, не желая оказаться в неловком положении, не хочет брать на себя посредничество». Между тем, продолжал Сталин в ответ на расспросы Гарримана, «глубоких расхождений» между Гоминданом и коммунистами по сути нет, поскольку последние «не стоят за советизацию Китая», а хотят лишь его демократизации. Разговор коснулся и Кореи, где начались

первые трения между представителями СССР и США в двусторонней комиссии по опеке. Опека, заявил Сталин, нужнее США, чем Советскому Союзу («предложения о Корее исходило ведь от американцев»), а теперь они сами, похоже, начинают тяготиться ею, изображая ее советской идеей. Гарриман пообещал изучить ситуацию на месте.

В ответ на расспросы посла об оценке Сталиным ситуации в Японии, тот сказал, что считает ошибочным сохранение императорской власти (которая «будет привлекать милитаристов») и посетовал на недостаточность мер по демилитаризации страны и информации от Макартура по этим вопросам. Гарриман заверил, что советские представители будут полностью информированы о происходящем и что с ними будут больше консультироваться.

Беседа затягивалась, и посол спросил, не задерживает ли он собеседника. Тот великодушно ответил, что «он и Гарриман видятся последний раз и он, тов. Сталин, к услугам Гарримана». Тогда американец перешел к коренному вопросу о советско-американских разногласиях. Некоторые в США, темнил посол, считают различия в концепциях обеих стран непримиримыми. «Различия в концепциях существуют, но они относятся к внутренней политике обеих стран, — уверенно отчеканил Сталин. — Что касается внешнеполитических концепций, то Советский Союз и Соединенные Штаты могут найти общий путь... война показала, что Советский Союз и США могут найти общий язык», и это главное в их отношениях. Гарриману оставалось лишь «выразить удовлетворение по этому поводу» и поблагодарить хозяина Кремля за все внимание, оказанное ему в Москве.

Сталин, однако, задал свой вопрос: насколько реально предоставление Советскому Союзу американского кредита или займа, если советское правительство вновь поставит этот вопрос? (Москва не раз напоминала об этом Вашингтону, но там с августа 1945 г. хранили упорное молчание по этому вопросу.) Гарриман отвечал утвердительно, но с ого-

норками о требуемом времени и целесообразности рассмотрения этого вопроса в широком контексте «общей основы экономического сотрудничества», включая расчеты по ленд-лизу и другие проблемы. Сталин ответил, что «Советское правительство вступит в переговоры с правительством США, но не на тех условиях, которые были выдвинуты конгрессменами, когда они вернулись из своей поездки в Советский Союз». Речь шла о делегации палаты представителей во главе с конгрессменом Комером, которая встречалась со Сталиным в сентябре, а затем в своем итоговом докладе выдвинула ряд политических условий предоставления займа Советскому Союзу (установление режима «открытых дверей» в Восточной Европе, предоставления подробной информации о советском промышленном потенциале и гарантий неиспользования займа в военных целях и др).[142] Сталин назвал эти условия «оскорбительными», заявив, что «Советское правительство просто не примет таких условий к обсуждению. Когда это будет исключено, то советское правительство будет готово вступить в переговоры с правительством США, если оно готово к этому». Судя по всему, Сталин еще сохранял надежду на получение американского займа, но не ценой политических уступок.

Между тем вопрос об этой цене прорабатывался не только в конгрессе. Военное командование тоже прикидывало, что можно будет потребовать от СССР в обмен на финансовую помощь. Представленный в группу стратегического планирования список таких требований давал наглядное представление о разгоревшихся аппетитах военного ведомства. В него входили свобода передвижения по территории СССР для военных представителей США, предоставление прав транзита и базирования на советских военных базах, отказ от требований репараций с Италии и опеки над ее бывшими колониями, право складирования военного снаряжения на советской территории и др. Самым масштабным было предложение ВМС о том, что «СССР соглашается остаться сухопутной дер-

жавой и не оспаривать позиций США в Тихом океане и совместных позиций США и Великобритании в Атлантике».[143] Нетрудно представить, как восприняли бы такие условия в Москве в случае их официального выдвижения.

В заключение беседы генералиссимус просил «передать привет Гопкинсу и пожелание его скорейшего выздоровления. Тов. Сталин просит также передать привет президенту» (в американской записи беседы это характерное для Сталина выделение Гопкинса смазано простым перечислением — «привет и наилучшие пожелания Гарри Гопкинсу и Президенту Трумэну)». Напоследок Гарриман приберег личную просьбу: «Может ли он взять с собой на родину двух лошадей, подаренных ему Сталиным. Тов. Сталин отвечает, что, конечно, Гарриман это может сделать. Лошади являются его собственностью».[144]

Сталин, видимо, остался доволен последней беседой с Гарриманом — ее подробная запись по его указанию была разослана членам Политбюро и советским послам в основных западных столицах.[145] Гарриман же покидал Москву под сильным воздействием магнетизма сталинской личности. После десятков встреч с ним на протяжении четырех лет он так и не смог найти ей объяснения. «Мне трудно примирить, — вспоминал он впоследствии о Сталине, — любезность и внимание, которое он оказывал персонально мне, с чудовищной жестокостью его массовых расправ. Те, кто не знали его лично, видели в Сталине только тирана. Но я видел в нем и другое — большой ум, удивительное владение деталями, расчетливость и человечность, которую он порой выказывал в военные годы. Для меня он был более информированным, чем Рузвельт, и более реалистичным, чем Черчилль; в некотором отношении — самым эффективным лидером военных лет... Сталин остается для меня самой неразгаданной и противоречивой личностью в моей жизни, и пусть последнее слово о нем скажет сама история».[146]

Не до конца ясным остается и особое отношение самого Сталина к Гарриману. Самый интригующий вопрос — как совместить его почти теплое, уважительное отношение к этому «тихому американцу» с тем, что в Кремле наверняка было известно о его скрытой роли и реальных взглядах в конце и сразу после войны. Ведь «компромат» на Гарримана стекался к Сталину с самых разных сторон: от информаторов ЦК среди обретавшихся в посольстве американских журналистов, просоветских членов американских делегаций, приезжавших в Москву в 1945 г.,[147] из американской прессы, не говоря уже о постоянном наружном наблюдении и внутреннем подслушивании со стороны НКВД. Не могла остаться незамеченной и возросшая жесткость в поведении посла на переговорах лета—осени 1945 г. Не кто иной, как сам Сталин впоследствии в узком кругу отзывался о Гарримане как о человеке, который «несет свою долю ответственности за ухудшение наших отношений после смерти Рузвельта».[148] И на этом фоне — неизменная любезность, особые знаки внимания, щедрые дары (те же лошади были не просто подарены Гарриману, а за счет советского правительства переправлены на пароходе прямо в Балтимор в сопровождении ветеринара и трех опытных кавалеристов).[149] «Глубокое уважение» диктатора к Гарриману вспоминал в беседе с ним в 1959 г. и Н.С.Хрущев, «по секрету» поведавший тогда же и о другом красноречивом примере этого уважения: «По окончании войны возник вопрос с Петсамо. Мы его захватили, но Сталин сказал, что надо заплатить за тамошний никель, поскольку его совладельцем является Гарриман».[150]

Конечно, для этого отношения были и вполне рациональные резоны: речь шла о посланнике главного союзника, человеке, близком к Рузвельту, а затем и Трумэну, надежном (как подтверждал и перехват его сообщений) канале связи с Белым домом, человеке с большим политическим будущим в своей стране. Нельзя сбрасывать со счетов и личные симпатии Сталина к Гарриману, его не-

вольное уважение к крупной самостоятельной фигуре, которых было так мало в его подобострастном окружении. «Говоря с Гарриманом, — вспоминал хорошо знавший его в последующие годы А.Ф.Добрынин, — можно было быть уверенным, что он не только все исправно передаст прямо президенту, но и выскажет свою точку зрения, которая может повлиять на государственные решения. Сталин это хорошо понимал и потому «нянчился» с Гарриманом».[151] И все же, думается, здесь было еще и другое — чисто большевистский пиетет перед «магнатами крупного капитала», в которых виделись подлинные «хозяева Америки» в отличие от обычных дипломатов и прочих «наемных слуг» этого капитала. «Нам нравится иметь дело с Вами, поскольку у вас власть. Вы — хозяин, а не лакей». Это прямодушное признание Хрущева, сделанное Гарриману в том же 1959 г., как нельзя лучше передает то неотразимое обаяние, которое имя «господина Гарримана» имело в кругах советского руководства военного поколения и которое открывало перед ним знакомые двери Кремля в его дальнейших миссиях в СССР вплоть до начала 1980-х гг.

И все же тогда, в 1946 г., это особое отношение имело свои пределы. Вскоре после отъезда Гарримана из Москвы отдел американских стран НКИД направил Вышинскому предложение вернуться к отложенному в 1944 г. вопросу о награждении Гарримана советским орденом, поскольку прежние возражения с американской стороны насчет «конфликта интересов» теперь отпали. Предлагалось наградить бывшего посла (как и до него — Дж.Дэвиса) орденом Ленина со следующей формулировкой (из проекта Указа Президиума Верховного Совета): «За плодотворную деятельность, способствовавшую объединению военных усилий народов США и Советского Союза... и содействие успешному разрешению ряда послевоенных проблем, а также за большой вклад в дело укрепления дружественных советско-американских отношений...» Работники отдела были, видимо, не в курсе последних веяний на «самом верху». «Думаю, что с этим надо повременить. Прошу Ваших указа-

ний», — начертал Вышинский на докладной, переправив ее Молотову. «Надо обсудить», — отреагировал нарком.[152] Повременили в Кремле почти сорок лет. Свой первый и последний советский орден — Великой Отечественной войны I степени — Гарриман получил лишь в 1985 г. с примерно той же формулировкой: «За глубокий личный вклад в установление и упрочение советско-американского сотрудничества в годы Великой Отечественной войны». Белый же дом отметил московские заслуги Гарримана в феврале 1946 г. высшей наградой США для гражданских лиц — «Медалью за заслуги», и в асимметричности этого признания была своя логика.

РАСКОЛ СТАНОВИТСЯ ФАКТОМ

В Кремле, ободренном итогами московского совещания трех министров, еще, видимо, не знали о том холодном приеме, который был оказан в Вашингтоне вернувшемуся из Москвы Бирнсу: его уступки (особенно по японским и атомным делам) были сочтены чрезмерными и отдающими «умиротворением», а Трумэн в письменном выговоре госсекретарю за десубординацию заявил, что ему «надоело нянчиться с Советами» и что «если с Россией не обращаться железным кулаком и жестким языком, то неизбежна еще одна война».[1] За полгода с небольшим вынужденного лавирования и некоторых уступок Кремлю президент явно растерял остатки своего терпения. Хотя трумэновская «выволочка» Бирнсу по форме выгодно отличалась от унизительного избиения Молотова Сталиным месяц назад, по сути оба жеста означали примерно одно и тоже — лидеры настраивали свое окружение на более жесткий курс в отношении вчерашнего союзника. Но если теперь в Кремле были несколько успокоены результатами успешного (как там казалось) «осаживания» «зазнавшихся» американцев, то в Белом доме, напротив, жаждали реванша.

Масла в огонь подлила известная речь Сталина в Большом театре 9 февраля, в которой тот, развивая линию, намеченную им еще по осени прошлого года в переписке с соратниками, призвал к новой мобилизации сил для очередного оборонно-экономического рывка и воскресил ортодоксальную идеологическую установку о капитализме как источнике войн. Советологи госдепартамента во внутренних оценках речи отмечали прежде всего ее внутримобилизационную направленность — «подчеркивая необходимость нового пятилетнего плана, подслащенного обещанием роста производства потребительских товаров, и возрождая пугало капиталистического окружения, поднять народ на новые тяжелые задачи и ответить на требования более легкой жизни». В международном плане речь, по их мнению, явилась «предупреждением миру» о том, что «Советский Союз собирается поддерживать большую армию и всемерно наращивать военный потенциал с тем, чтобы «быть застрахованным от любой случайности». Специалисты отмечали и большое значение речи в реанимации традиционной большевистской идеологии: «Постепенные усилия последних месяцев по возрождению капиталистического окружения как внешнего врага, против которого советским людям надо быть постоянно начеку, получили теперь официальную и публичную санкцию... капитализм, видимо, заменяет фашизм в качестве врага номер один».[2] В целом же, отбрасывая нюансы, в администрации эта речь была с пристрастием воспринята как отказ от союза с Западом и возвращение к идеологической вражде и революционной экспансии предшествовавшего периода.[3]

Написанная по горячим следам сталинской речи знаменитая «длинная телеграмма» Дж.Кеннана подвела развернутую аналитическую базу под новый (а точнее — подновленный) взгляд на «источники советского поведения». Неотразимая привлекательность кеннановского анализа для «вашингтонского сообщества» заключалась не только в том, что он давал авторитетное обоснова-

ние и ориентиры уже пробивавшему себе дорогу курсу в отношении СССР, но и в том, что он снимал с США всякую моральную ответственность за прогрессирующий развал союза и обострение всей международной обстановки, целиком перекладывал ее на СССР. В концептуальном плане выводы Кеннана довершали формулирование антитезы рузвельтовскому подходу к СССР: имманентная агрессивность советской системы (вместо рационального поведения великой державы), «неисправимость» советского поведения (вместо эластичности мотивов СССР) и как следствие — ставка на «слом» или «размягчение» этой системы под действием превосходящей силы (вместо ее постепенной интеграции в мировое сообщество).[4] В этом смысле «длинная телеграмма» означала не менее явно выраженную реидеологизацию политики США в отношении СССР, чем сталинская речь в Большом театре — в отношении советской политики. Обе стороны двигались в одном и том же направлении отрицания легитимности друг друга и признания непримиримой враждебности двух систем.

Среди хора одобрений в адрес творения Кеннана (разосланного в сотни адресов в столице и зарубежных миссиях США) еще звучали и отдельные голоса несогласных. Так, глава военной администрации США в Германии генерал Л.Клей воспринял «длинную телеграмму» (по сообщению в госдепартамент политического советника США в этой стране Р.Мэрфи) как «крайний алармизм» и результат происков англичан, пытающихся, в частности, переложить вину за осложнение работы союзного механизма в Германии с себя на советскую сторону, когда как советские представители в Германии, по словам Клея, «скрупулезно соблюдают основные принципы Потсдамских соглашений» и сохраняют дружественное отношение к своим американским коллегам.[5]

Но в целом постулаты «длинной телеграммы» стремительно становились новой ортодоксией в официальном Вашингтоне. «Отныне, — сообщал

своим коллегам по госдепартаменту Ч.Болен в середине марта, — нет больше необходимости в дальнейшем анализе мотивов или причин нынешней советской политики».[6] Все больше утверждался в своей жесткой позиции и президент Трумэн. «Президент, похоже, считает необходимым оказать сильное дипломатическое сопротивление программе советской экспансии, — записал в своем дневнике У.Леги. — Но я боюсь, что будет трудно вынудить госсекретаря признать ошибочность нашей нынешней политики умиротворения».[7]

Адмирал напрасно опасался за Бирнса. Подстраиваясь под новые веяния, госсекретарь быстро исправлял свои московские «ошибки». 12—13 февраля госдепартамент пересматривает прежнюю позицию по признанию болгарского и румынского правительств, резко протестует против советской «экономической эксплуатации» Венгрии, выставляет новые требования по Австрии и Албании. Еще через десять дней американская дипломатия начинает тайно подталкивать иранское правительство к постановке вопроса о военном присутствии СССР в Иране на рассмотрение Совета Безопасности ООН. 17 февраля госсекретарь в сопровождении Б.Баруха наносит «визит вежливости» гостящему в Америке У.Черчиллю, который обсуждает с ними свою будущую речь в Фултоне. Еще через несколько дней при активном участии Бирнса в Белом доме принимаются пока еще не объявленные решения о назначении Б.Баруха представителем США в Комиссии по атомной энергии (что, как понимали посвященные, означало конец сотрудничества с СССР в этом вопросе) и об отправке крупнейшего в мире американского линкора «Миссури» в Стамбул под предлогом доставки тела турецкого посла, а на самом деле — для демонстрации поддержки Турции в трудный для нее момент противостояния советским требованиям в вопросе о Проливах и территориальных претензиях по Карсу и Ардагану. Новое предложение администрации по послевоенному кредиту от 21 февраля, которое последовало после демонстративного полугодового

молчания (неуклюже оправдываемого инспирированной «утечкой» в прессе о якобы «затерянном» советском запросе), на сей раз открыто увязывалось с длинным списком экономических и политических условий.[8]

В целом речь шла о нажиме на СССР сразу по всем основным болевым направлениям, включая защиту интересов Британской империи в Средиземноморье и Малой Азии. Публичный намек на эту новую линию — сочетание «терпения и твердости» — содержался в программной речи Бирнса в Нью-Йорке 28 февраля, в которой он предупредил потенциальных агрессоров (пока не называя их по имени) о том, что США будут противодействовать им всеми средствами, в том числе и военными, невзирая на применение ими вето в Совете Безопасности. Сведения о пересмотре подхода к СССР и причастности к этому Черчилля начинали проникать в печать через близких к администрации журналистов. «Грядет ужесточение отношения Америки к России, которое скоро заявит о себе, — писала, например, газета «Нью-Йорк пост» 1 марта. — Новая программа начала обретать плоть и кровь в беседах Трумэна, а затем Бирнса и Баруха с Черчиллем».[9]

3 марта Черчилль прибыл в Вашингтон, чтобы оттуда по приглашению Трумэна вместе отправиться с ним в Фултон на президентском поезде. В тот же день он показал почти готовый вариант своей речи Бирнсу и Леги. По словам Черчилля (из его отчета К.Эттли и Э.Бевину от 7 марта), последний воспринял текст «с энтузиазмом», а первый пришел в радостное возбуждение и не предложил никаких изменений».[10] Тогда же Бирнс подробно информировал о содержании речи самого президента. Трумэн, по свидетельству его ближайшего помощника и участника фултонской поездки К.Клиффорда, сказал, «что не будет читать окончательный вариант с тем, чтобы позднее он смог бы сказать, что не давал на него предварительного одобрения». Однако, добавляет затем в своих мемуарах Клиффорд, когда в поезде текст был роз-

дан сотрудникам Белого дома и журналистам, Трумэн «не смог удержаться от его прочтения». Итоговую реакцию президента описал сам Черчилль в том же послании Эттли и Бевину: «Он сказал мне, что речь, по его мнению, восхитительна и не принесет ничего, кроме пользы, хотя и наделает шума».[12]

Итак, фултонская речь Черчилля была детально согласована с руководством США, и при этом американцы, по свидетельству ее автора, не исправили в ней ни единого слова, хотя имели к этому все возможности. «Зеленый свет» со стороны Белого дома был, разумеется, не случаен. Трумэн умел рассчитывать свои шаги не только в покере (которым они с Черчиллем занимались в поезде) и хорошо понимал, во что выльется затеваемый в Фултоне спектакль с его участием. Несмотря на предупреждения своих советников Дж.Дэвиса и Р.Ханнегана о том, что Черчилль может «зайти далеко» и «связать его своей речью»,[13] а также — на то, что антисоветский характер речи уже верно угадывался некоторыми журналистами, Трумэн не только не попытался умерить пыл Черчилля или дистанцироваться от него, но, напротив, усиленно демонстрировал свою близость к экс-премьеру и создавал рекламу его выступлению. Еще 20 декабря 1945 г. госдепартамент объявил о предстоящей речи Черчилля как о важном событии, и последующие многочисленные сообщения в прессе о контактах Черчилля с Белым домом изрядно подогрели к ней общественный интерес. «Все данные ясно говорят о том, — пишет подробно исследовавший этот вопрос американский историк Ф.Хэрбэт, — что Трумэн выдал Черчиллю лицензию на публичную апологетику, причем — в узаконивающем собственном присутствии — тесного и глобального военного союза между Англией и Америкой, единственной целью которого могло быть сдерживание советской мощи вплоть до ее последующего уничтожения».[14]

Мотивы этого «лицензирования» вполне объяснимы. В обстановке начавшейся перестройки своей

политики Трумэну было крайне важно прозондировать реакцию на нее со стороны СССР — не уступит ли Сталин (в частности, по Ирану) уже на ранней стадии, столкнувшись с перспективой появления англо-американского блока? Не случайно именно 5 марта — как бы в аккомпанемент черчиллевскому предупреждению в адрес СССР — Белый дом предпринял серию новых наступательных шагов: требование предоставить тексты всех экономических соглашений Советского Союза со странами Восточной Европы, протест против советского экономического вмешательства в Маньчжурии, требование объяснения задержки советских войск в Иране и официальное объявление о визите в Стамбул линкора «Миссури».

Не менее важно для Трумэна было прощупать и настроения самой американской общественности, готовность которой к столь серьезному повороту в отношениях со вчерашним союзником оставалась под вопросом. С помощью популярного в Америке златоуста Черчилля можно было убить не только этих двух зайцев, но еще и третьего — склонить свое общественное мнение к осознанию необходимости активного противодействия «советской угрозе». В этом плане для Трумэна, как пишет известный американский историк Б.Бернстейн, фултонская речь стала «частью стратегии его администрации по переориентации американского общественного мнения в русло «жесткой политики» в отношении СССР».[15]

В то же время, вспоминает Клиффорд, Трумэн был «еще не готов открыто одобрить мнение Черчилля о том, что мы вступили в эру безудержной конфронтации с Москвой, хотя его присутствие на трибуне вместе с Черчиллем как бы подразумевало такое одобрение. Все еще надеясь сохранить канал связи со Сталиным, президент поручил мне вставить в его вводное выступление несколько положительных слов о Сталине...»[16] Зарезервировав за собой возможность дистанцирования от конкретных призывов Черчилля, Трумэн вел практически беспроигрышную игру.

Как и предвидел хозяин Белого дома, речь Черчилля наделала немало шума по обе стороны Атлантики. Однако публичная реакция в США, Западной Европе и в самой Англии оказалась противоречивой, отражая неготовность западной общественности сразу пойти так далеко в англо-американском противодействии СССР, как предлагал Черчилль. Последние рузвельтовские либералы в администрации (Г.Уоллес, Г.Икес и некоторые другие) были шокированы откровениями экс-премьера и их молчаливой поддержкой Трумэном. Особенно много возражений в США вызвала идея создания англо-американского военного союза, грозившего втянуть Америку в чужие конфликты. Это побудило Трумэна к некоторому публичному отстранению от спорной речи: на пресс-конференции 8 марта президент озвучил запасную версию о своем предварительном «неведении» о ее содержании (чему Черчилль, к радости администрации, не стал перечить на публике) и снизил уровень официального представительства администрации на последующих чествованиях Черчилля в Нью-Йорке. Вместе с тем Трумэн отказался осудить идею англо-американского союза и заявил, что Объединенный комитет начальников штабов двух стран, созданный в годы войны, продолжит свою работу в Вашингтоне. Версию «непричастности» администрации повторил и Бирнс, одновременно подчеркнув, что курс «твердости» в отношении СССР будет продолжен.

Сам Черчилль остался доволен своим выступлением, назвав его в тот же вечер в компании Трумэна «самой важной речью моей карьеры». Он знал, что несмотря на критику широкой общественности, его призыв был воспринят главным адресатом. «После почти трех дней самого тесного и дружественного контакта с президентом и его ближайшим окружением, а также длительной беседы с мистером Бирнсом, — писал сэр Уинстон в своем отчете Эттли и Бевину, — я полностью убедился в том, что здешняя политическая власть глубоко уязвлена обращением со стороны русских и не собирается

терпеть их нарушений договоров в Иране, проникновения в Маньчжурию и Корею или давление русской экспансии в Турции и Средиземномо-рье».[17]

Сталин, несомненно, был быстро проинформирован о фултонской речи и обстоятельствах вокруг нее через тассовки и шифротелеграммы (полный тассовский перевод речи для руководства появился уже утром 6 марта). С характерной для него осторожностью пару дней он выжидает и только 8 марта — после того как выяснилась первая международная реакция — в «Правде» появляется корреспонденция ТАСС с кратким обзором критических откликов на речь в США и Англии. Этим, казалось, можно было бы и ограничиться, замолчав содержание самой речи, практически недоступной для массовой советской аудитории. Но 11 марта (когда внешние отклики в мире уже пошли на спад) в «Правде» дается ее развернутое изложение на четырех полосах и большая редакционная статья «Черчилль бряцает оружием», в которой знаменитая фраза (переведенная как «железная завеса») была названа клеветой, планы же англичанина — оторванными от реальности («широк размах г-на Черчилля, да хватит ли силенок?»).[18] На следующий день «Известия» публикуют разгромный материал академика Е.Тарле на ту же тему, а еще через день вся эта увертюра увенчивается знаменитым «Интервью тов. И.В.Сталина с корреспондентом «Правды» относительно речи г. Черчилля». Архивные документы показывают, что роль безымянного корреспондента взял на себя сам Сталин, собственноручно написавший весь текст от начала до конца. Чего же хотел добиться хозяин Кремля этим оглушительным ответом Черчиллю, наверняка согласованным с другими членами Политбюро? Вопрос непростой, ибо мотивы и положение Сталина были сложнее, чем у Черчилля и Трумэна, а объясняющих их документов гораздо меньше. И все же попробуем.

Сами по себе фултоновские откровения Черчилля вряд ли явились для Сталина сюрпризом.

Они лишь подтверждали его устойчивую оценку Черчилля как неискоренимого врага СССР, наступившего на горло своей антисоветской песне только перед лицом общей смертельной угрозы со стороны нацизма. Теперь, когда эта угроза миновала, Черчилль закономерно возвратился к своей прежней роли «вдохновителя» и «подстрекателя» нового крестового похода против СССР. Несколько сложнее дело обстояло с позицией США во всей этой истории. Сталин тогда вряд ли знал все закулисные подробности согласования речи Черчилля с американцами, но и общеизвестных обстоятельств было вполне достаточно (тем более — при сталинской подозрительности), чтобы усомниться в трумэновской версии «полного неведения». С точки зрения Сталина, речь могла идти в лучшем случае о попустительстве со стороны Белого дома, а в худшем — о его преднамеренном сговоре с Черчиллем.

На фоне других тревожных признаков ужесточения и сближения политики США и Англии после Московского совещания фултонская речь с ее призывом к сплочению англоязычного мира перед лицом новой тоталитарной угрозы всерьез возрождала угрожающий призрак англо-американского блока против СССР, который еще недавно казался в Москве маловероятным. Соединение же американской военно-экономической мощи и атомного оружия с глобальной стратегической инфраструктурой Британской империи не сулило для СССР ничего доброго (недаром и Сталин и Молотов при чтении перевода речи Черчилля особо подчеркнули именно эти ее пассажи). К этому силовому измерению добавлялся фронтальный идеологический вызов, впервые за последние годы столь открыто и резко брошенный англосаксами. Короче говоря, фултоновское действо, по всей вероятности, явилось для Сталина серьезным сигналом тревоги, вызовом со стороны все более бывших союзников, который даже в силу чисто престижных внешнеполитических соображений нельзя было оставить без ответа.

В публичной части этого ответа Сталина просматривался главный мотив — заклеймить Черчилля поджигателем новой войны, лютым врагом советского народа и изолировать его в глазах мирового общественного мнения как опасного ретрограда, пытающегося вопреки логике истории навязать господство англосаксов всему остальному миру. Другой ответный сигнал, адресованный непосредственно Белому дому, Сталин послал по дипломатическим каналам во время своей первой после фултонской речи беседы с официальным американским лицом — новым послом США в Москве У.Б.Смитом 4 апреля (тот привез в подарок вождю последние технические новинки — безопасную бритву и транзисторный радиоприемник). Здесь он первым делом отчитал американскую сторону за попустительство, заявив, что выступление Черчилля в США — «не семейное, а государственное дело», что советское правительство не допустило бы подобного «оскорбления союзников» и не понимает, «почему такое же отношение не было проявлено к Советскому Союзу в США». Но помимо этого прямого выговора Сталин использовал и более тонкий ход, намекнув на то, что вряд ли в интересах США идти на поводу у Черчилля в советских делах. Он напомнил Смиту, что Черчиллю раз уже «удалось организовать военную интервенцию против Советского Союза и повести за собой Соединенные Штаты Америки». «Я думаю, — многозначительно добавил Сталин, — что Черчилль и его друзья попытаются и на этот раз повести за собой Соединенные Штаты Америки».[19] Здесь за личиной чуть ли не дружеского предостережения угадывается настойчивое стремление Сталина вбить клин между двумя потенциальными противниками СССР, играя на американских опасениях насчет «таскания каштанов из огня» ради коварных англичан.

Та же тактика «разведения» США и Англии просматривалась и в других советских публичных комментариях к Фултону. В них избегалась критика американской политики, подчеркивалось дис-

танцирование Трумэна, акцентировались (как в статье Е.Тарле) давние традиции российско-американского сотрудничества, как имеющие более глубокую историю, чем англо-американские «особые отношения». Для демонстрации своей гибкости и миролюбия Сталин после Фултона пошел и на некоторые практические шаги в сторону американцев: согласие послать наблюдателей на сессию МВФ в США (которую СССР ранее бойкотировал), ускорение вывода советских войск из Мукдена и Борнхольма. Однако в главных вопросах — Восточной Европе и в иранском кризисе — советская позиция осталась неизменной, что объяснялось не только локальными факторами, но и явным нежеланием Сталина идти на серьезные геополитические уступки под нажимом англо-американцев. Напротив, в первую послефултоновскую неделю советская сторона усилила нажим на иранское правительство, так что ответ Сталина Черчиллю в западной печати соседствовал с заголовками типа «Советские войска подходят к Тегерану»,[20] что, естественно, подрывало его миролюбивое звучание. Подогреваемая госдепартаментом шумиха вокруг иранского кризиса, активное использование Вашингтоном и Лондоном трибуны ООН для публичного осуждения «советской экспансии» в этом регионе немало способствовали тому, что Сталин в итоге проиграл Черчиллю в борьбе за американское общественное мнение. Через месяц после Фултона, согласно опросам, доля сторонников англо-американского союза выросла почти вдвое (до 85%), а доля осуждающих «поведение русских» возросла до 71%.[21]

Но у Сталина был и «домашний адресат», внутренние причины для педалирования фултоновской истории. После сталинской речи в Большом театре, напомнившей об агрессивности капитализма и сохранении угрозы войны, речь Черчилля пришлась как нельзя более кстати — она воскрешала подзабытый за военные годы образ старого врага, а абстрактная угроза новой войны обретала вполне конкретное лицо, зовя к бдительности и новому напря-

...нию сил для отпора ей. Срежиссированная Сталиным широкая пропагандистская кампания вокруг фултонской речи перебросила своего рода мостик от ее «камерной» репетиции внутри Политбюро в ноябре 1945 г. к полномасштабной «ждановщине» августа 1946 г.

При всей хитроумности сталинской пропагандистской игры по расколу союзников его собственные шаги по продолжению грубого нажима на Иран и Турцию лишь подталкивали эти страны к опоре на западных союзников, а тех — к совместным ответным действиям. Контрпродуктивность грубо-силовой тактики Сталина в отношении Ирана и Турции сознавалась и в самом НКИД. Так, М.Литвинов, препровождая руководству запись своей беседы с У.Смитом, с явным намеком выделил в ней следующий пассаж: «Посол, как военный, вполне понимает, что нам нужны дружественные правительства в соседних странах, что нам нужна нефть и что мы имеем не меньшее право на иранскую нефть, чем Англия и США. Можно, однако, одобрять наши цели, но осуждать наши методы. Мы могли бы получить иранскую нефть, не прибегая к таким сильным средствам, как нарушение договора, вмешательство во внутренние дела и т.п.». Даже Молотов, судя по его воспоминаниям, пытался возражать Сталину по Турции.[22]

В начале года американские опасения насчет угрозы советского геополитического прорыва в Турции неожиданно получили новое подкрепление. Проведенный к тому времени экспертами госдепартамента анализ показаний пленных гитлеровских дипломатов и трофейных дипломатических архивов Третьего рейха, прежде всего — относящихся к советско-германским переговорам 1939—1940-х г., выявил устойчивую преемственность советских устремлений к сфере влияния в Восточной Европе и контролю над черноморскими проливами. Стало очевидно, что Сталин пытался достичь примерно тех же целей в отношениях с союзниками, что и в своем торге с Гитлером. Отсюда — вывод экспертов госдепартамента, направ-

ленный Л.Гендерсоном госсекретарю Бирнсу в качестве «самой полезной подготовки к заседанию Совета Безопасности в Лондоне»: «Великобритания и в несколько меньшей степени — Соединенные Штаты в своих отношениях с Советским Союзом сталкиваются с проблемами, сходными с теми, которые возникли между Германией и СССР в 1939—1941».[23]

13 марта КНШ в ответ на запрос госдепартамента о последствиях удовлетворения советских требований по Турции делал однозначный и нарочито алармистский вывод: «Поражение или дезинтеграция Британской империи устранит в Евразии последний оплот сопротивления между Соединенными Штатами и советской экспансией. После этого военный потенциал США и их возможных союзников по общей идеологии может оказаться меньшим, чем потенциал расширившегося Советского Союза».[24] В те же дни информационная служба Киплинджера, имевшая хорошие связи в военных кругах, сообщала своим клиентам о «новом настрое» американских военных — «настало время остановить русских, пока не поздно». В печати поползли питаемые правительственными «утечками» слухи о планах атомных бомбардировок бакинских нефтяных месторождений в случае выдвижения Красной Армии к границе с Турцией.[25] Последовавшее в конце марта советское решение о выводе войск из Ирана не изменило этой принципиальной позиции союзников, ибо советское отступление целиком приписывалось «твердости Запада», которую следовало проявлять и впредь.

Вообще, весна 1946 г. стала еще одной важной вехой в перестройке военно-политического планирования США в духе холодной войны. Окончательно определившись с выяснением целей и характера «советской угрозы», планировщики Пентагона принялись за оформление военной составляющей новой доктрины «сдерживания». Главной стратегической задачей теперь объявлялось «недопущение физического выхода советской мощи за ее нынешние пределы». Для этого было необходимо

возродить наш военный истеблишмент», а в более конкретном плане — создать единую структуру военного командования, провести «ремобилизацию» промышленности, нарастить атомный потенциал, разработать эффективные планы войны с СССР с использованием атомного оружия, расширить систему зарубежных военных баз и даже — подготовить строго секретный план организации и быстрого развертывания вспомогательных сил из бывших военнослужащих Германии и Японии на случай чрезвычайных обстоятельств».[26] В перспективе впервые говорилось о возможности сколачивания военного блока в Западной Европе, пока — в качестве ответной меры на вероятные советские действия: «В случае если восточноевропейский блок станет реальностью, сплочение западноевропейских стран в единый блок с военной точки зрения будет не только желательным, но и необходимым». Понимание безопасности США приобретало все более глобальный и абсолютный характер. «В конечном счете, — отмечалось в том же докладе СНШ, — важнейший военный фактор обеспечения безопасности мира — это абсолютная военная безопасность Соединенных Штатов».[27] При этом планировщикам по-прежнему вменялось «избегать прямых ссылок на СССР как будущего врага». Вместо этого использовался эвфемизм «потенциальный противник».[28]

Всего год спустя после смерти Рузвельта его пора в отношениях с СССР начинала казаться в Москве далеким и безоблачным прошлым, о котором можно было лишь вспоминать и напоминать. В связи с этой годовщиной посол Новиков порекомендовал обратиться к американской общественности с посланием, посвященным памяти покойного президента, дабы «подчеркнуть, что Советский Союз при Рузвельте успешно сотрудничал с Соединенными Штатами в общем для союзников деле». Сталин использовал эту возможность, направив в адрес Американо-Русского Института в Нью-Йорке краткое приветствие со следующей оценкой Рузвельта: «Человечество должно быть

благодарно этому великому государственному деятелю за его выдающиеся заслуги в деле разгрома немецко-японской агрессии, а народы наших стран, кроме того — за развитие дружественных отношений между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом».[29] Столь же выразительно Сталин отозвался о Рузвельте и в беседе с Генеральным секретарем ООН Трюгве Ли летом того же года: «Как только в разговоре всплыло имя Рузвельта, Сталин выказал подлинное чувство, — рассказывал Трюгве Ли Гарриману. — Он сказал, что смерть Рузвельта была трагедией для мира, и добавил, что тот был «настоящим другом Советского Союза».[30]

Важным индикатором советско-американских отношений стало продолжение переговоров о заключении мирных договоров с бывшими сателлитами Германии, возобновившихся в Париже в апреле 1946 г. Советская дипломатия использовала их и для продвижения своего «средиземноморского проекта», на сей раз — в более гибкой форме совместной (советско-итальянской) опеки наряду с индивидуальной.[31] «Цель нашего предложения в том, — откровенно делился Молотов с лидером итальянских коммунистов П.Тольятти, — чтобы Советский Союз получил возможность вклиниться в Средиземное море, где Англия пытается занять чуть ли не монопольное положение против интересов других средиземноморских держав».[32] В ответ госдепартамент предпринял последнюю робкую попытку нащупать компромиссное решение по советскому запросу. Советник госдепартамента и бывший помощник президента Ф.Рузвельта Б.Коэн по поручению Бирнса прозондировал в Пентагоне возможность предоставления Советскому Союзу права опеки над Триполитанией (а затем, возможно, и над Додеказскими островами) в обмен на двадцатилетний мораторий на следующие запросы СССР в этом регионе. Военные усмотрели за предложением Бирнса наивные надежды на соблюдение Советским Союзом такого обязательства, равно как и на то, что «к концу этого периода

произойдут такие изменения в международной обстановке и в самой России, которые устранят причины нынешних противоречий». «Он (Коэн), — заключили для себя армейские планировщики, — совсем не представляет военных последствий русского контроля над Триполитанией или Додеканезами и не понимает, что в случае войны будет крайне необходимо иметь буферную прослойку государств между стартовыми рубежами России и такими жизненно важными районами, как Гибралтар и Суэц, которые мы должны удержать, если надеемся предотвратить быстрый русский блиц через Евразию». В итоге зондаж дипломатов встретил категорический отказ: такой шаг, утверждал КНШ, не только создаст угрозу коммуникациям Британской империи и «окружения» Италии и Греции, но и в случае войны с СССР «крайне осложнит блокирование советского наступления и затруднит реализацию стратегии переноса военных действий на территорию России».[33]

Итоговый наказ Трумэна Бирнсу по данному вопросу был предельно прост — «стоять на своем и если надо — послать их (русских. — *Авт.*) ко всем чертям». Инструкции Сталина, хотя и более подробные, были выдержаны в том же духе: «Бирнс говорил тебе об экспансионистских тенденциях СССР и о том, что нужно доказать отсутствие таких тенденций у СССР, — телеграфировал он в Париж своему заму. — В ответ на это заяви Бирнсу, что, как видно, он разделяет клеветническую позицию Черчилля, высказанную им в его антисоветской речи в США, раскритикованной Сталиным. В таком случае это обстоятельство дает повод Советскому правительству разрешить советской печати сделать ряд выступлений против империалистической политики правительства США».[34] Немудрено, что долгие препирательства Бирнса с Молотовым на сей счет вылились во взаимные обвинения в экспансионистских намерениях, не дав никакого результата.

Советская сторона, в свою очередь, устроила обструкцию новым попыткам США провести план

Бирнса о заключении договора по демилитаризации Германии. Позиция СССР предварительно уточнялась в ходе необычно широкого опроса военного и партийно-государственного руководства страны. Общий вывод тридцати с лишним участников, предрешенный реакцией самого Сталина во время Лондонской сессии СМИД 1945 г., был единодушен: проект США нацелен на вытеснение СССР из Германии и должен быть отвергнут. Военно-стратегическую опасность плана Бирнса лучше всех уловил маршал Жуков: «Американцы желают как можно скорее закончить оккупацию Германии и удалить вооруженные силы СССР из Германии, а затем поставить вопрос о выводе наших войск из Польши, а в дальнейшем — и из Балканских стран». Другую опасность подобной демилитаризации Германии участники обсуждения не без оснований видели в том, что в невоенном соревновании за влияние в этой стране долгосрочное преимущество было бы не на стороне СССР. «Принятие предложения Бирнса, — подчеркивал С.Лозовский, — привело бы к ликвидации оккупационных зон, к выводу наших войск и политическому объединению Германии и к экономическому господству Соединенных Штатов над Германией. Экономическое и политическое объединение Германии под руководством американцев означало бы и военное возрождение Германии, а через несколько лет — германо-англо-американскую войну против СССР».[35] Советский отказ от плана Бирнса, нарушающего потсдамские договоренности, обернулся, как и рассчитывали его авторы, пропагандистским выигрышем для Запада, общественное мнение которого расценило этот шаг Москвы как подтверждение ее скрытых экспансионистских намерений и притворности ее опасений насчет возрождения германской угрозы. «Блеф Сталина разоблачен!» — торжествовал Трумэн в кругу своих советников.[36]

Тупик по германской проблеме и итальянским колониям сопровождался жестким торгом по территориальным и репарационным статьям мирных

договоров. Хотя компромиссы здесь намечались, основные проблемы были отнесены на следующий раунд СМИД в Париже. На нем были в основном согласованы проекты мирных договоров с Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией, причем на условиях, близких к советским. Главная борьба развернулась вокруг самых болевых вопросов — итало-югославской границы и статуса Триеста, по которым СССР поддерживал Югославию, а англосаксы — Италию. Промежуточную позицию заняла Франция, предложившая отдать Югославии часть Юлийской Крайны, а Триест сделать «свободным городом». В крайнем случае на французскую формулу были готовы согласиться и американские военные, которые видели в передаче Триеста Югославии не столько военную угрозу, как казалось в Москве (поскольку СССР мог договориться с югославами о создании базы и в соседнем Фиюме), сколько политическую — усиление влияния коммунистов и захват ими власти в Италии. С другой стороны, аналитики Пентагона считали, что из-за Триеста СССР вряд ли пойдет на срыв подписания мирного договора с Италией, поскольку в таком случае войска США останутся в Триесте.[37]

Воспользовавшись разногласиями между западными союзниками, Молотов решил было взять их измором, однако Сталин, как и предполагали американцы, на сей раз предпочел гибкость. «Я думаю, что не стоит срывать парижское совещание министров из-за вопроса о Триесте, — телеграфировал он Молотову под псевдонимом «Дружков». — Как видно, союзники не согласятся передать город Триест и порт Триест Югославии. Если будет согласие по всем другим вопросам, в том числе по вопросу о Болгарии, тебе следовало бы пустить в ход мемельский вариант. Если режим Мемеля в отношении Триеста не будет принят, можно было бы выдвинуть модус, аналогичный предложению Тольятти, т.е. интернационализацию порта Триеста и кондоминиум Югославии и Италии в отношении города Триеста. Только в самом крайнем случае можно пойти на режим Данцига. При всех условиях граница между Югославией и Италией должна прохо-

дить несколько западней «французской линии» или, по крайней мере, по «французской линии». «Дружков», как видно, неплохо владел сложной триестской проблематикой. В ходе длительных и напряженных дискуссий Молотову пришлось отступить к последнему из предложенных Сталиным резервных вариантов.

Под занавес сессии нарком увязал вопрос о выплате искомых 100 млн. долл. репараций с Италии в пользу СССР с советским согласием на созыв мирной конференции. Советская сторона опять балансировала на грани срыва. «При такой постановке, — писал Молотов «Дружкову», — мы в крайнем случае срываем парижское совещание на вопросе о репарациях, если это допустят наши партнеры, которые тем самым возьмут на себя ответственность за этот срыв. Мы не думаем, что они на это отважатся, но если даже отважатся, то они окажутся в невыгодном политическом положении, отказывая Советскому Союзу в его законных скромных требованиях. Мы думаем, что у нас больше оснований рассчитывать, что на этом вопросе мы сломаем их антисоветское упорство, что для нас вдвойне выгодно». Сталин согласился с предложенной тактикой, которая на сей раз себя оправдала. Помимо подвижек по мирному договору с Италией на сессии были в основном согласованы проекты мирных договоров с Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией, причем на условиях, близких к советским. Совещание в Париже, сообщал Молотов в итоговой информации совпослам за рубежом, «привело к тому, что по всем важным вопросам мы достигли приемлемых для нас решений».[39]

Однако эти переговоры, как видно и по переписке Сталина с Молотовым, все больше напоминали переговоры между противниками, а не союзниками. В первую годовщину победы над Германией Белый дом распорядился в кратчайшие сроки усилить разведработу на советском направлении по всем линиям.[40] И хотя деятели администрации в контактах с советской стороной еще говорили о сохраняющемся для СССР выборе между сотрудничеством и «разграничением Запада и Востока», в

своем кругу они уже не видели реальной альтернативы углубляющемуся расколу. Посол Смит в майской депеше Бирнсу из Москвы предсказывал: «мы постепенно оказываемся (если уже не оказались) в положении, когда реальность обстановки заставит нас рассматривать Европу как не единое целое, а нечто разделенное на две части: восточную, где мы можем надеяться только смягчить советскую политику, и западную, которая еще не подпала под пяту Советов и где еще есть возможность для нас с англичанами взрастить и защитить здоровые общества, обладающие иммунитетом от тоталитарного вируса».[41]

То же ощущение надвигающегося раскола Европы и мира в целом на две враждебные системы крепло и в Москве, сменяя былые надежды на сохранение сотрудничества великих держав. К лету 1946 г. там уже были приняты ключевые решения, определившие национальные приоритеты на годы вперед — пятилетка восстановления народного хозяйства, огромные военно-технические программы в области ПВО и ракетной техники наряду с форсированным продолжением атомного проекта.[42] Причем все это предстояло осуществить, опираясь только на собственные силы и ресурсы. Союзники продолжали блокировать расширение репараций с Германии и в нарушение потсдамских договоренностей прекратили передачу промышленного оборудования из своих зон в советскую. Переговоры с США о кредите были окончательно заморожены в июне после очередного отказа американской стороны снять или хотя бы сократить список политических и экономических условий, явно неприемлемых для СССР.[43] Такая позиция на фоне щедрого послевоенного займа, предоставленного Великобритании, помощи Франции и другим странам, могла восприниматься в Москве только как свидетельство враждебной дискриминации. Кроме того, после напряженной внутрибюрократической борьбы советское правительство, опасаясь зависимости от Запада и увеличения прозрачности своей экономики, отказалось от участия в Бретон-Вудс-

кая граница, установленная в марте 1940 г.; кроме того, СССР получал в аренду район Порккала-Удд, а в собственность — район Печенги (Петсамо). В целом мирное урегулирование закрепило территориальные приобретения и политическое доминирование СССР в Восточной Европе. «Подготовка проектов мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией, — с удовлетворением подводил итоги этого дипломатического марафона Молотов в отчете Сталину, — заняла больше года, сопровождалась упорной борьбой, в которой мы отстояли свои принципиальные позиции и защитили свои интересы и интересы дружественных нам государств».[71]

Уступчивость западных союзников в вопросах мирного урегулирования в Восточной Европе объяснялась не только отсутствием у них реальных возможностей противодействия там Советскому Союзу, но и расчетами на то, что ратификация мирных договоров приведет к выводу оттуда советских войск и тем самым облегчит мирную борьбу за влияние в регионе.

Пока же соперничество двух сторон в Восточной Европе протекало в скрытых формах. Общий курс Кремля на «растянутую» (по выражению Л.Я.Гибианского)[72] советизацию региона все еще ограничивался рамками «народной демократии», предполагавшей мирные национальные пути к социализму без революций и массовых репрессий при опоре на коалиционные, а не только коммунистические правительства. В Польше Сталин даже удерживал своих клиентов от крайних мер в отношении оппозиции. На встрече с В.Гомулкой и Б.Берутом в мае 1946 г. он наказывал терпеть Миколайчика (хотя и называл его «британским агентом») и не отталкивать от себя католическую церковь. Польша, по его словам, должна была идти к социализму мирным путем, минуя диктатуру пролетариата.[73] В Венгрии и Чехословакии Москва продолжала мириться с некоммунистическим руководством этих стран, следовавшим в фарватере советской внешней политики. Более неприкрытым был контроль коммунистов в Румынии и Болгарии,

но и там сохранялся демократический фасад в виде действующих некоммунистических партий. Раскол Европы еще не стал окончательным фактом.

Подводя итоги советской политики в соседних странах, Объединенный разведывательный комитет США отмечал в ней элементы сдержанности: «С середины 1944 года до Хиросимы способность СССР навязать свою волю соседним государствам была максимальной... Однако нельзя сказать, что даже в этот период СССР применял свою силу по максимуму; он избегал открытого конфликта с населением оккупированных территорий и военного столкновения с Великобританией и США. В той мере, в какой Советский Союз воздерживался от максимального применения своей мощи, он шел на временные компромиссы с влиятельными элементами оккупированных стран и политикой Великобритании и Соединенных Штатов». Разведывательное сообщество не видело причин для резкого изменения этой политики и в недалеком будущем: «При том, что уровень единообразия может постепенно возрастать, СССР будет мириться с существенным разнообразием социальных, политических и экономических форм в странах этой зоны в соответствии с тактическими потребностями различных местных условий».[74]

Провозглашение доктрины Трумэна в марте 1947 г. поначалу не оказало заметного воздействия на советское восприятие и политику. Глобальный идеологический замах доктрины на борьбу с «тоталитарной угрозой» настораживал, но ее конкретное содержание — американская помощь Греции и Турции — не стало неожиданностью или прямым вызовом. Эти страны уже были в сфере западного влияния, и действия Трумэна лишь подтверждали советское убеждение в том, что американцы замещали англичан в слабых местах британской империи. Доктрина не вызвала ни официальных протестов, ни тревоги в МИДе — советские дипломаты в США подчеркивали противоречивость и неясные последствия этого шага, а также сопротивление ему

в самой Америке.[75] Доктрина никак не отозвалась и на апрельской сессии СМИД в Москве по германскому вопросу. Хотя договориться не удалось, Сталин в заключительной беседе с новым госсекретарем Дж. Маршаллом излучал терпение и оптимизм, заявив, что «по всем главным вопросам — демократизация, политические организации Германии, экономическое единство и репарации — возможно достичь компромисса».[76] Маршалл, напротив, вернулся в Вашингтон с ощущением бессмысленности дальнейших переговоров и решимостью начать новый тур борьбы за Европу.

Он открылся с выдвижением «плана Маршалла», поначалу встреченного в Москве смесью недоверия, интереса и неопределенности в отношении подлинных мотивов американской инициативы. Оценки экспертов и дипломатов скрытых в нем угроз и возможностей разнились, но возобладало желание «прощупать» партнеров и попытаться по возможности повернуть план на себя, ослабив его негативные аспекты. В установках Молотова для редколлегии «Правды» фигурировал даже термин «ленд-лиз»: «План Маршалла может быть полезным, если будут определенные условия», — записал с его слов главный редактор газеты П.Поспелов.[77] «Надо готовиться» — начертал сам министр на приглашении англичан и французов принять участие в Парижской конференции по обсуждению плана Маршалла. Инструкции советской делегации предписывали прояснить масштабы и условия предлагаемой помощи, а также настоять на составлении заявок отдельными странами, а не сведении их в общеевропейскую программу, которая, как считалось, скорее подпадет под контроль американцев. Кроме того, инструкции запрещали «ущемление суверенитета европейских государств» в процессе оказания помощи и использование в ней германских ресурсов, если только западники не согласятся удовлетворить советские требования по репарациям и совместному контролю над Руром.[78] В инструкциях отчетливо просматривались главные советские опасения — угро-

и экономического перетягивания Восточной Европы и интеграции Германии в западную экономику.

Обоснованность этих опасений подтвердилась уже в начале работы конференции. Англичане и французы упорно настаивали на общеевропейском плане, включении в него германских ресурсов и отбивали все попытки выяснить подлинный масштаб и реалистичность американской инициативы. «Было ясно, — докладывал Молотов Сталину 28 июня, — что наши партнеры боятся, как бы не сделать чего-нибудь такого, что могло бы на понравиться американцам, и явно не хотят, чтобы СССР был посвящен в их закулисные дела». Речи Бидо и Бевина, продолжал он на следующий день, — «... ясно показали насколько оба они хотели бы использовать настоящий случай, чтобы влезть во внутреннюю экономику европейских стран и особенно — перестроить в своих интересах направление европейского товарооборота».[79]

В этом действительно крылась суть дела: вовлечение Восточной Европы в общеевропейский план открыло бы их экономику для западного капитала и возродило их ориентацию на Западную Европу времен «санитарного кордона», которую Москва старательно разворачивала на восток с помощью двусторонних торговых соглашений 1945—1946 гг. Советское руководство прекрасно понимало, что в ситуации «открытых дверей» СССР не сможет конкурировать с американским экономическим колоссом, а за экономическим притяжением неизбежно последует и политическое. План Маршалла на поверку представал хитроумным инструментом подрыва советской сферы влияния в Восточной Европе (что и на самом деле входило в расчеты его авторов).[80]

Поэтому советский отказ от участия в плане Маршалла был неизбежен. Политические и пропагандистские издержки этого отказа были весьма велики: как и рассчитывали автора идеи «приглашения СССР» (прежде всего — Кеннан), советский самоотвод вызвал серьезную напряженность в отношениях с восточноевропейцами, жаждавшими

американской экономической помощи, а также возложил на СССР долю ответственности за экономический раскол Европы. Но выбора у Кремля не было, хотя, по мнению некоторых отечественных и американских обозревателей СССР, мог бы скорее сорвать план Маршалла своим участием, чем последующим сопротивлением извне. Ставки — сохранение контроля СССР над Восточной Европой и своей собственной экономикой — были слишком велики, чтобы пойти на такой риск. «Они затягивали нас в свою кампанию, но подчиненную кампанию, — вспоминал впоследствии Молотов. — Мы бы зависели от них, но ничего бы не получили только, а зависели бы безусловно. И уж тем более чехи, поляки, они в трудном были положении...»[91].

Так или иначе, продвижение плана Маршалла со всеми его выявившимися последствиями привело к серьезному пересмотру советского восприятия и политики. Стало ясно, что США ввели в игру свой самый мощный ресурс, распространяя советско-американское противоборство на торгово-экономическую сферу, в которой СССР был наименее конкурентоспособен. Декларируемая цель европейского восстановления в большевистском мировосприятии могла означать лишь перспективу реставрации капиталистической Западной Европы (включая большую часть Германии) в качестве младшего партнера антисоветского блока под руководством США. Все тревожные симптомы американской политики — доктрина Трумэна, пакт Рио, план Маршалла — окончательно сложились в целостный узор нового образа США как «центра империалистической реакции», стремящегося к мировому господству и ликвидации социалистического лагеря во главе с СССР. Срыв этого «глобального замысла», соперничество с США за влияние в мире становились главным смыслом работы советских дипломатов и военных, видящих в действиях США растущее наступление на послевоенные завоевания СССР.

Теперь даже новиковская записка 1946 г. подверглась критике в МИДе и самом посольстве как «слишком мягкая», поскольку в ней говорилось об

использовании Соединенными Штатами «угрозы атомной войны» лишь в качестве средства шантажа, а не реальной подготовки к войне.[82] Сам Новиков впал в немилость и был отозван в Москву как «не оправдавший доверия ЦК».[83] В политическом отчете посольства за 1947 г. США характеризовались как «организатор и ведущая сила империалистического лагеря», сколачивающая «антисоветский фронт в Европе», превращающая Японию в «главный американский оплот в борьбе с коммунизмом на Дальнем Востоке», подстрекающая «профашистские силы» в Восточной Европе. Короче говоря, заключалось в отчете, США в 1947 г. «окончательно порвали с внешней и внутренней политикой Рузвельта», встав «на авантюрный путь подготовки новой мировой войны».[84] В этой системе идеологических координат доктрина сдерживания, популяризированная летом 1947 г. в известной статье Кеннана, воспринималась в Москве как доктрина «удушения» коммунизма — именно на таком переводе этого термина настаивало руководство министерства при направлении статьи Молотову и Сталину.[85] Примитивные идеологические клише приходили на смену полноценному политическому анализу.

На уровне практической политики советским ответом на план Маршалла стало открытое противодействие его реализации в Западной Европе и ужесточение контроля над восточноевропейскими странами, показавшими свою податливость к экономическому притяжению Запада. «Закручивание гаек» в советской зоне влияния, начавшееся еще весной—летом, получило теперь мощное ускорение. Кремль дал зеленый свет компартиям Болгарии, Румынии и Венгрии на окончательное подавление оппозиции, а создание Коминформа в сентябре 1947 г. создавало не только новый инструмент контроля над восточноевропейскими компартиями, но и подводило идеологическую базу под новый курс большевизации региона — на смену «народной демократии» и «национальным путям» приходило насаждение советской модели, всякое отступление от которой теперь объявля-

лось «националистическим уклоном», граничащим с антисоветизмом.[86]

Связь этого нового курса советской политики с действиями самих США хорошо понималась американской разведкой. «Доктрина Трумэна и инициативы США по экономическому восстановлению Европы вынудили СССР пересмотреть свою позицию в отношении Венгрии, Румынии и Болгарии, — отмечалось в регулярной сводке разведывательного сообщества для Белого дома. — Имея дело с пассивной политикой Запада, Советский Союз мог считать свой контроль в этих странах достаточным, чтобы пойти на раннюю ратификацию мирных договоров без угрозы своему доминированию. Однако последствия американской помощи Греции и Турции в сочетании со стремлением (советских. — *Авт.*) сателлитов к участию в программе США для Европы укрепило советскую решимость поддерживать абсолютный контроль над этими странами».[87] Смысл плана Маршалла, откровенно признает ведущий американский историк холодной войны, состоял в «разделе Европы», важная задача которого заключалась в том, чтобы вынудить Сталина построить стену, за которой его можно будет удерживать».[88] Со своей стороны насильственная консолидация «советской империи» закрепляла раскол Европы и противостояние двух враждебных систем.

Таким образом, Сталину не удалось выполнить свой план-максимум — подчинить себе Восточную Европу, не испортив при этом отношений с Западом. Однако для него это была приемлемая цена решения главной задачи — создания широкого защитного пояса вдоль западных границ СССР. Тем более что возвращение Запада к естественной враждебности в отношении социализма считалось рано или поздно неизбежным и тогда расширенный плацдарм для борьбы с ним был особенно необходим.

И все же некоторые западные и отечественные историки считают силовое решение проблемы восточноевропейского «буфера» большой ошибкой Сталина. Более мягкий вариант доминирования в виде «открытой» сферы влияния наподобие фин-

кой модели, отмечают они, смог бы обеспечить безопасность западных границ СССР без эскалации холодной войны.[89] Преимущества подобного варианта сознавались в Кремле. Сталин сам в беседе с финнами назвал мягкую политику в отношении Финляндии «великодушием по расчету», а его правая рука в проведении этой линии А.Жданов на совещании партийного актива осуждал «костоломную», по его выражению, политику в Финляндии как препятствующую главной цели — «иметь под боком у себя не враждебную, а дружественную Финляндию».[90]

Но, во-первых, нет уверенности в том, что даже открытая сфера советского влияния могла бы полностью устроить Запад. В частности, специалисты госдепартамента США считали полюбовный раздел сфер влияния с СССР неприемлемым по внутриполитическим соображениям и неспособным сдержать советское проникновение в западную сферу через местные коммунистические партии.[91]

Гораздо больше проблем «открытая» сфера создала бы для советской стороны. Она означала бы открытые двери для торгово-экономического и культурно-пропагандистского проникновения Запада, с которым Москве было явно не под силу конкурировать. Чисто внешнеполитический контроль, типичный для открытой сферы влияния в условиях жесткой конкуренции с Западом, был чреват угрозой «потери» этих стран, традиционно тяготевших к Западу в культурном и экономическом отношениях и в ряде случаев к тому же имевших старые счеты с Россией (как Польша, Венгрия и Румыния). Финляндия здесь была исключением, которое стало возможным ввиду отсутствия в ней советской оккупации, слабости местных коммунистов и памяти о тяжелой для СССР «зимней войне» 1940 г.

По сути дела все строительство сталинского «соцлагеря» в Восточной Европе было не чем иным, как гигантской попыткой развернуть это историческое тяготение с запада на восток, переделав огромный регион с почти стомиллионным населени-

ем по образцу и подобию СССР. В грубо-силовом большевистском исполнении эта переделка обернулась массовым подавлением и жертвами. Но дело опять-таки было не в ошибочном выборе Сталиным средств и методов, а в практическом отсутствии у него такого выбора при достижении своих целей. Истощенный войной Советский Союз не располагал финансово-экономическими рычагами для мягкой привязки к себе новых союзников и по необходимости опирался в основном на грубую силу.

Целью новой стратегии западных компартий по Шклярской Порембе была провозглашена дестабилизация капиталистической экономики и срыв плана Маршалла путем перехода от коалиционных парламентских действий к более радикальным методам борьбы — всеобщим забастовкам, кампаниям неповиновения и даже вооруженной борьбе. Это был решительный поворот от сталинской стратегии 1944—1946 гг., направленной на сдерживание воинственного радикализма местных коммунистов в надежде на сохранение сотрудничества с Западом. Теперь, с исчезновением такой надежды, Сталин фактически брал курс на использование западных компартий в качестве «пятой колонны» для борьбы с американским влиянием. Советское руководство, резюмировал итоги встречи в Шклярской Порембе Дж.Кеннан, «жертвует своей поддержкой на Западе ради укрепления своего контроля на Востоке» (Европы. — *Авт.*).[92] Среди прочего это усиливало политическую изоляцию коммунистов в обществе и вело к их маргинализации как национальных политических сил. Ч.Болен считал этот поворот одной из главных ошибок послевоенной внешней политики Сталина. «Если бы они (советское руководство. — *Авт.*) оставили компартии Европы в покое и позволили им самим выбирать свой курс в качестве чисто французской, германской и других партий, то в оккупированной Германии, Италии и других европейских странах мы бы сегодня имели очень сильное представительство коммунистов в правительствах», — говорил он на встрече с учеными-советологами ле-

том 1948 г.[93] Но для Сталина советские интересы (разумеется — в его понимании) были важнее популярности европейских компартий, а их подчинение Москве — естественной нормой отношений с ними. Агрессивный по форме, сталинский ответ на план Маршалла по сути был защитной реакцией более слабой стороны в конфликте, не имевшей ни действенной альтернативы программе американцев, ни даже эффективных рычагов для успешного противодействия ей.

Общим идеологическо-пропагандистским обрамлением все этих перемен в советской политике стал известный лозунг «двух лагерей», окончательно порывавший с союзнической фразеологией и открыто провозглашавший раскол мира на две непримиримовраждебные силы, в борьбе между которыми нет места нейтрализму. Советская политика, пропаганда и дипломатия холодной войны обрели наконец свое органическое единство.

Сходное ощущение пересечения Рубикона в этом конфликте переживала и американская сторона — облегчение от сделанного выбора, от наступившей определенности в отношениях с Москвой и возможности более не скрывать своего отношения к главному противнику». «Окончательный раскол мира надвое стал фактом», — резюмировал Ч.Болен на августовском совещании руководства госдепартамента и военного министерства, посвященного реализации «плана Маршалла».[94] Это особенно хорошо ощущали представители США на «передовой» холодной войны. «Жизнь здесь, как Вы себе хорошо представляете, не становится легче, — писал Гарриману в частном письме советник-посланник посольства США в Москве Э.Дюрброу в конце августа. — Но во многих отношениях теперь, когда маски сброшены, а игра закончена, работа становится более интересной и стимулирующей. Для всех русских — начиная от Буробина (бюро обслуживания иностранцев. — *Авт.*), таможни и кончая МИДом этот год проходит под лозунгом «давайте гадить американцам»... В этом — еще одно свидетельство того, что они действительно напуганы возможными

последствиями успеха плана (Маршалла. — *Авт.*). Между тем, как Вы прекрасно знаете, именно их собственные действия на протяжении последних двух лет привели к тому, чего они боялись больше всего — возникновению западной коалиции».[95]

* * *

Хотя ни одна из сторон не желала видеть своего вклада в развал союза «большой тройки», это было общим делом всех его основных участников. Союз государств, принадлежавших к противоположным социальным системам, был вызван к жизни чрезвычайными обстоятельствами войны с общим смертельным врагом и сохранял внутреннюю непрочность. С устранением этой сплачивавшей угрозы подспудные противоречия и системные различия стали выходить на передний план, тем более что стратегические запросы к концу войны заметно выросли у обеих сторон, особенно в США, где произошла подлинная революция глобализации американских интересов безопасности. Этот обоюдный рост аппетитов подстегивался как уроками самой войны, так и новыми возможностями, созданными образовавшимся в ее итоге вакуумом силы. Согласование этих сталкивавшихся интересов в виде, скажем, полюбовного раздела сфер влияния, само по себе было крайне непростым делом, требовавшим определенного взаимного доверия и сопоставимости подходов обеих сторон. При отсутствии того и другого реальные разногласия усиливались столкновением советской и американской идеологий миропорядка, взаимными страхами и подозрениями. В итоге обе стороны фактически пришли к выбору в пользу своих главных стратегических приоритетов — обеспечению безопасности в самом широком смысле слова, пожертвовав второстепенным — сохранением сотрудничества, которое стало несовместимым с первыми.

Часть IV

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА В РАЗГАРЕ

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ВОЙНА

Советская внешнеполитическая пропаганда по окончании войны сталкивалась как с новыми возможностями, так и с новыми проблемами. Новые возможности были весьма очевидны: Советский Союз, выдержав тяжелейшее испытание войны и внеся решающий вклад в разгром германского фашизма, вышел из войны авторитетной мировой державой, к голосу которой прислушивались во всем мире. «Мы имеем возможность, — говорил А. Жданов в начале 1946 г., — проводить и отстаивать нашу внешнюю политику в условиях несравненно более благоприятных, чем до сих пор».[1] Хотя тогдашняя риторика советских руководителей о «превращении СССР в важнейший фактор международной жизни», о «величайших симпатиях народных масс к Советскому Союзу, к стране-освободительнице»[2] содержала немалую долю самовнушения, было очевидно, что ценой колоссальных жертв страна за годы войны накопила большой международный политический капитал, который можно было с успехом использовать во внешней пропаганде. То, что этот капитал во многом зиждился на уважении к наглядно продемонстрированной советской военной мощи, лишь усиливало его прочность в глазах советского руководства. Как с грубоватой большевистской прямотой говорил об этом ветеран советской пропаганды, начальник Совинформбюро С.А. Лозовский на совещании армейских пропагандистов-международников в мае

жению Лозовского) мысль о том, что «кто выступает против Советского Союза, тот выступает против своей собственной страны».[105]

Но были в работе ВОКСа изъяны, свойственные всем советским пропагандистским организациям: валовый подход, безадресность, низкая печатаемость пропагандистской продукции и ее несоответствие потребностям рынка, отсутствие координации со смежными ведомствами. Например, как признавались на проверке сами работники ВОКСа, почти все советские книги, распространяемые в США, были только на русском языке, зато «бывали случаи, когда одна и та же книга переводилась дважды разными советскими издательствами». В 1946 г. ВОКС запланировал для США восемь статей о В.Белинском и серию статей о вульгарной социологии. «А какое американское издательство, которое ничего не знает о Белинском, опубликует столько статей о Белинском?» — вопрошал на заседании комиссии советник посольства в США Ф.Орехов. Немудрено, что даже в изданиях обществ дружбы и организаций культурных связей с СССР в том году, по данным проверки, было напечатано всего около 1% всех статей, посланных ВОКСом за границу.[106] Аналогичные примеры приводили в своих выступлениях на Комиссии советские дипломаты в других странах — Англии (Зарубин), Франции (Богомолов), но резче всех деятельность ВОКСа оценил тот же Орехов — «работа впустую», «деньги, выброшенные на ветер».[107]

Однако главный «криминал», обнаруженный комиссией в работе ВОКСа, был другого свойства, отражающего дух разгорающейся холодной войны. «Главным пороком и позорным явлением в работе аппарата ВОКС, — говорилось в итоговой докладной записке, направленной Сусловым Жданову в мае 1947 г., — является укоренившееся низкопоклонство и угодничество перед заграницей и иностранцами, потеря бдительности и чувства советского патриотизма, выражающаяся в посылке за границу материалов, бюллетеней, раскрывающих систему научно-исследователь-

ской работы в СССР, в передаче не подлежащих разглашению сведений об открытиях советских ученых».[108] То, что сведения эти черпались, как правило, из советской печати и научной периодики, не меняло сути дела, ибо они, подчеркивала комиссия, подавались «в систематизированном виде, что в значительной мере облегчало работу... иностранных разведок» (многоточие в тексте. — *Авт.*).[109] Вменялись в вину ВОКСу и другие прегрешения: «не организовал отпора многочисленным нападкам деятелей литературы и искусства на решения ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам», «не добился устранения провокаторов, разведчиков и других врагов Советского Союза», «проникших к руководству организаций дружбы с СССР», допустил «враждебные СССР публикации в изданиях обществ дружбы».[110]

21 мая 1947 г. итоги проверки ВОКСа были заслушаны на заседании Оргбюро ЦК под председательством Жданова. Острие начальственной критики, вспоминает присутствовавший на заседании А.В.Караганов, было направлено на «потерю бдительности», причем Жданов, к немалому удивлению руководства общества, открытым текстом наказал ВОКСу не только противодействовать вражеской разведке, но и самому активно заниматься сбором разведывательной информации.[111] (Указание это, как мы увидим ниже, отнюдь не было одиночным экспромтом.)

Признав «наличие в работе ВОКСа крупных политических и организационных недостатков», ОБ постановило создать новую комиссию ЦК под руководством Жданова для разработки соответствующего постановления.[112] Однако, судя по свидетельству участников событий и отсутствию в протоколах Политбюро и Оргбюро дальнейших постановлений по этому вопросу, это решение ОБ было спущено на тормозах и не привело ни к большой чистке аппарата ВОКСа, ни к коренной перестройке его работы, помимо общего «устрожения».

Более серьезные последствия имела уже описанная проверка Совинформбюро, но и там, несмот-

ря на большую чистку и другие «решительные меры», коренного перелома на первых порах не произошло, как вынужден был признать и сам Лозовский в отчете Молотову о работе, проделанной после постановления 1946 г.: «Плагиат и халтура еще бытуют... Особенно плохо обстоит с США», где из 1394 статей, отправленных туда с 1 октября 1946-го по 1 мая 1947 г., было напечатано лишь 160. Выводы отчета носили самокритичный характер: «Совинформбюро еще далеко не выполнило задач, возложенных на него решением ЦК от 9 октября 1946 г. В отделах Совинформбюро слабо изучается пресса и политическая обстановка соответствующих стран. Наши заведующие отделами плохо или совсем не знают стран, на которые они работают». Однако для исправления положения предлагалось «заставить посольства и миссии серьезно заниматься популяризацией внутренней и внешней политики Советского Союза», а в отношении самого Бюро — расширить его представительство за границей, увеличить число загранкомандировок его сотрудников и улучшить их «материально-бытовое» положение.[113]

Реакцией Молотова (а возможно, и самого Сталина) на этот отчет стало сердитое предложение о создании еще одной комиссии ЦК по проверке Совинформбюро, но на сей раз — с еще более четким наказом («Я готов проинструктировать комиссию», — пишет Молотов Жданову и А.Кузнецову).[114] Новая комиссия в спешном порядке представила Жданову отчет, в котором фигурировали все те же старые обвинения, порой в еще более резкой форме: вместо того чтобы «оперативно разоблачать» «англо-американскую экспансию» (и в частности — «раскритиковать» доктрину Трумэна), Совинформбюро «превратилось в своеобразное культурническое пресс-бюро», публикуя «аполитичные статьи» типа «Тульские самовары», «Выставка фресок», «Филателистический обзор», «Сибирские меха» и «Выведение ранних сортов картофеля».

Помимо «культурничества» Бюро вменялся в вину не менее тяжкий грех «пораженчества»: ста-

тьи Совинформбюро «почти перестали проникать на страницы «большой» прессы в Англии и США», причем в его отделах «господствуют вредные и опасные для дела настроения о невозможности широкого проникновения советской политической пропаганды в зарубежную печать». Между тем факты показывают, что этому мешают «не только и, может быть, не столько противодействие реакции, сколько безынициативность, неповоротливость Информбюро и особенно низкое качество отправляемых им материалов». И опять — примеры «грубых ошибок», «принижающих достижения советского народа», «сведений и данных, могущих представить интерес для иностранных разведок», фотоснимков, «дискредитирующих советское государство». («Например, в Югославию были посланы снимки о колхозном детском очаге, дети *изображены* (курсив мой. — *Авт.*0 заморенными рахитиками. В Германию посылали снимки, на которых крупным планом изображались велосипеды и аккордеоны с маркой немецких фирм».)

В целом, резюмировала комиссия, «деятельность Совинформбюро в настоящее время все еще неудовлетворительна и не отвечает государственным интересам», в связи с чем предлагалось снять Лозовского, подготовить новое положение о задачах и структуре Совинформбюро, а также — предложения «об основных направлениях пропаганды по внешнеполитическим вопросам и по вопросам внутрисоюзной жизни».[115]

Эти выводы и рекомендации были одобрены решением Политбюро от 25 июня 1947 г. В нем постановлялось возложить руководство Совинформбюро на Управление пропаганды и агитации, направить в Бюро «группу квалифицированных журналистов-обозревателей», а также содержался характерный новый момент — требование наладить взаимодействие Совинформбюро с недавно созданным Комитетом информации, призванным стать главным межведомственным органом внешней разведки и анализа для высшего партийного и государственного руководства. Конкретно речь

шла об «использовании работников Совинформбюро за границей в целях получения полезной для Советского Союза информации» и «выполнении других заданий КИ».[116] Эта установка по времени и содержанию шла в унисон со ждановским наказом ВОКСу «заняться разведкой», что явно указывало на общую линию по усилению «разведывательного крена» внешней пропаганды, ставшую частью дальнейшей перестройки всей внешнепропагандистской машины на рельсы холодной войны.

Вообще после дальнейших поворотных событий 1947 г. — принятия плана Маршалла и создания Коминформа, закрепивших раскол континента и всего мира на два противоборствующих «лагеря», — вся советская внешняя пропаганда выстраивается единым фронтом, окончательно превращаясь в инструмент «психологической войны».

Снимается последнее символическое ограничение в разоблачении американских «поджигателей» холодной войны — начинаются адресные нападки на руководящих деятелей США. Их первой мишенью стал президент Трумэн, издевательски изображенный писателем Борисом Горбатовым в заказной статье о «маленьком человеке в коротких штанишках», опубликованной в сентябре «Литературной газетой». Реагируя на тревожный прецедент, посольство США тут же заявило официальный протест и получило столь же издевательский ответ Молотова в том духе, что советское правительство не властно над действиями своей прессы. Мало того, эти заявления Смита и Молотова были демонстративно опубликованы в «Правде» — видимо, для того, чтобы отбить у американцев охоту обращаться с подобными протестами впредь.

Следующими на очереди стали члены трумэновского кабинета, включая бывшего союзного посла в Москве, а ныне министра торговли А.Гарримана: сначала по нему прошелся И.Эренбург, а затем — ведущий обозреватель «Правды» Маринин (псевдоним Я.С.Хавинсона) в статье под названием «Денежный мешок теоретизирует».[117] Началась и

публикация карикатур на деятелей администрации, причем в самых ответственных случаях это делалось по прямому указанию и под «художественным» руководством самого Сталина. Немногим по тону от публичных поношений отличались и внутренние оценки американских деятелей. Так, в закрытом справочнике «О руководящих деятелях Соединенных Штатов Америки», подготовленном Отделом внешней политики ЦК весной 1947 г., тот же Гарриман характеризовался как занимающий враждебную позицию по отношению к Советскому Союзу» и как деятель, который даже в годы войны «рассматривал этот союз (против Германии) с позиции империалистических интересов».[118]

Явное повышение уровня агрессивности советской пропаганды, однако, еще не означало ее большей эффективности в воздействии на американскую аудиторию. Это признавали и работники самого ЦК. Так, в информационной записке В.Вронского «О советской пропаганде в США», написанной осенью 1947 г. с «места событий» (под видом спецкора «Известий» ее автор несколько месяцев провел в Нью-Йорке), констатировалось: «По-прежнему плохо работают советские организации, имеющие отношение к распространению советской информации в США», начиная с посольства (прекратившего бесплатную рассылку своего информационного бюллетеня) и кончая ВОКСом с его «старыми», не принимаемыми местной аудиторией фотовыставками.[119]

Но, пожалуй, самой выразительной эпитафией всей кампании 1946—1947 гг. по «улучшению» советской внешней пропаганды и укреплению контроля ЦК над ней звучат слова заведующего отделом УПА М.Харламова, произнесенные на отчетном совещании в Управлении 19 сентября 1947 г.: «Полтора года назад секретари ЦК указали нашему руководству, что пора покончить с политикой невмешательства в дело советской пропаганды на заграничные страны. Управление агитации и пропаганды не может стоять в стороне от этого дела... Что же делало Управление пропаганды?

Проект подготовили, но после этого ничего не делается. Говорили, что будет якобы группа специальных людей, которые будут заниматься делами советской пропаганды, много шумели о необходимости поворота всех отделов к этому делу, а воз и ныне там. И ведь нельзя сказать, чтобы это дело было невозможным. Дальше разговоров и заклинаний о необходимости заняться советской пропагандой, за исключением отдельных эпизодов, так и не пошли».[120] Дело не ограничивалось первыми годами холодной войны: дальнейшие проверки работы Совинформбюро, ТАСС и других внешнепропагандистских ведомств в 1948—1949 гг. выявляли все те же недостатки — мизерное «проникновение», формализм, неподготовленность или «обуржуазивание» загранработников идеологического фронта. «Советские люди, — говорил, например, на совещании в ТАСС его директор Пальгунов летом 1948 г., — находясь за границей по 6—7 лет, привыкают к этой обстановке, сживаются с ней и часто оправдывают такие действия, на которые советские люди должны бурно реагировать».[121]

Весьма неэффективная в пропаганде на Запад советская пропагандистская машина добивалась гораздо большего в идеологической обработке своего собственного народа применительно к потребностям холодной войны. Здесь, в отличие от международной конкурентной среды, она действовала на «своем поле», располагая монополией идеологического воздействия на хорошо знакомую, невзыскательную и послушную аудиторию. Более благодарным был и ее материал — образ коварного американского противника, стремящегося к мировому господству и уничтожению СССР. Он апеллировал не только к страху перед «враждебным окружением» и угрозой войны, но и к патриотизму и национальному достоинству, эксплуатируя старинные психологические комплексы россиян по отношению к «прогнившему» и «упадническому» Западу.[122]

Это особенно ярко проявилось в кампании против «угодничества» и «низкопоклонства», посту-

лировавшей как социально-политическое превосходство советской системы над капитализмом, так и морально-духовное превосходство советского человека над «рабами капитала». По словам Сталина, «последний советский гражданин, свободный от цепей капитала, стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши, влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства». Острие этой кампании было направлено на выкорчевывание в среде интеллигенции остатков «рабского сознания неполноценности и духовной зависимости от буржуазных стран» (из ноябрьской речи Молотова 1947 г.).[123] К ней же обращены слова, сказанные Сталиным на печально известном совещании редакторов и писателей в ЦК по журналам «Звезда» и «Ленинград»: «На цыпочках ходите. Вы ученики, они учителя. По сути дела неправильно это».[124] Дело заключалось не только в манипуляции общественным сознанием, но и в искренней убежденности советских вождей, для которых психология враждебного окружения и «советского превосходства» была органической чертой менталитета, сближавшей их с народом.[125]

Дополнительную убедительность этой пропаганде придавал невольный «подыгрыш» ей со стороны самих США. В условиях холодной войны враждебное окружение» имело не просто мифические, но и вполне реальные черты, узнаваемые в американских военных базах, атомной бомбе, рекламируемых военных планах и воинственной риторике Вашингтона.[126] Так что в использовании военной угрозы» проблема для советской пропаганды состояла не столько в нехватке материала, сколько в его дозировке с тем, чтобы не переборщить с ее нагнетанием — угроза должна была быть достаточно реальной для поддержания бдительности и мобилизации, но не слишком фатальной, дабы не создавать паники и неуверенности в своих силах. С решением этой задачи советская пропаганда и ее главный режиссер справлялись неплохо. Сталин, заключает историк послевоен-

ного советского общества Е.Ю.Зубкова, «умел управлять умонастроениями в обществе, по крайней мере — делал это лучше своих преемников. Он использовал ситуацию холодной войны, чтобы блокировать развитие настроений недовольства от нереализованных послевоенных ожиданий, и направил энергию негодования по проверенному руслу поиска внешних и внутренних врагов».[127]

Наконец, именно внутренняя пропаганда пользовалась особым вниманием Сталина и всего партийного руководства. Молотов лично направлял ведущих обозревателей-международников, (особенно выделяя Б.Леонтьева), заказывал и редактировал важные статьи на внешнеполитические темы, нередко «заворачивая» их на доработку или бракуя целиком.[128] Этим же занимались и его заместители. Но главным пропагандистом и цензором являлся сам Сталин: он правил ключевые статьи и заявления, давал интервью, занимался кадрами «идеологического фронта», одергивал неумелых журналистов, указывая им? как надо подавать тот или иной материал. Вот лишь один из подобных примеров. Осенью 1948 г. вождь, находясь на отдыхе, шлет с берегов Кавказа в Политбюро указание перепечатать во всех газетах письмо потомков Л.Н.Толстого, которое было инспирировано МГБ и опубликовано в «Литературной газете» в связи с антисоветской деятельностью дочери великого писателя Александры Львовны — главы «Толстовского фонда» в США. Но Сталин подходит к этому распоряжению неформально: «Нужно дать шапку вроде: «Протест членов семьи Льва Николаевича Толстого против изменницы Родины А.Толстой». «Литературная газета» не дала шапки, так как в этой газете сидят крайне неопытные и неумелые газетчики».[129] Разносы («Надо руки и ноги переломать», — отзывался А.Вышинский в записке П.Поспелову об обзоре Викторова в «Правде»)[130] и «оргвыводы» были основным рычагом воздействия на журналистов. Но одними негативными стимулами дело не ограничивалось.

Так, в августе 1946 г. по указанию Сталина резкой критике подверглась газета «Правда», особенно — работа ее иностранного отдела, который, как говорилось в Постановлении ЦК, «не проявляет инициативы в освещении актуальных внешнеполитических проблем, не готовит самостоятельные статьи на эти темы, а ограничивается лишь помещением статей, написанных по поручению вышестоящих органов, или опубликованием информации ТАСС».[131] Помимо смены руководства газеты постановление предусматривало создание группы постоянных обозревателей «Правды» по международным вопросам, в которую наряду с известными журналистами вошли видные партийные публицисты и ученые типа О.Куусинена и Е.Варги. Правдист Б.Изаков, тоже назначенный в эту группу, вспоминал, как уже на следующий день круто изменилась его жизнь — появился отдельный кабинет, служебная машина с водителем, персональный оклад и... право быть редактированным «самим товарищем Сталиным».[132]

В силу всех этих обстоятельств общественные настроения в СССР быстро менялись в сторону негативного и враждебного отношения к Западу и его новому лидеру — Соединенным Штатам. Этот сдвиг фиксировался закрытыми данными, собираемыми по каналам партийной информации и МГБ, а также наблюдениями американских разведчиков и дипломатов, внимательно следивших за внутренним климатом в стане «главного противника». Еще в ноябре 1945 г. разведка США, регистрируя первые признаки разворота советской официальной пропаганды, предсказывала, что для него потребуется «значительное время», ибо «нельзя быстро повернуть вспять настроения общества». Ровно через год посольство констатировало завершение этого процесса: «...Усилия советских властей подстегнуть народ к увеличению производства путем запугивания его призраком капиталистического окружения и агрессивных намерений англо-американцев увенчались полным успехом».[133]

Процесс перестройки американской пропаганды в духе холодной войны был еще более непростым, чем в СССР, учитывая его более стихийный характер. Сложившийся за годы войны мощный аппарат государственной пропаганды (Управление военной информации) был расформирован, его внешнеполитические функции были переданы госдепартаменту, где был введен пост заместителя госсекретаря по общественным вопросам. К концу 1945 г. численный состав и бюджет информационно-пропагандистского блока госдепартамента были сокращены почти на 80% по сравнению с пиком военных лет.[134] Между тем официальная американская пропаганда на СССР стала принимать более критический тон в отношении советской внешней политики и более откровенно-апологетический — в отношении американского образа жизни. Главным застрельщиком этой переориентации выступило посольство США в Москве. Уже с конца 1945 г. оно начало активно подталкивать руководство госдепартамента к развертыванию русскоязычного радиовещания на СССР как наиболее эффективной формы пропаганды. «Радио, — писал А.Гарриман в одном из своих последних донесений в Вашингтон, — это единственное для США средство свободного и прямого обращения к советскому народу». Советские власти, считал посол, вряд ли смогут помешать такому вещанию, а если и пойдут на глушение радиопередач, то это будет дискредитировать их в глазах всего мира и собственного народа, лишь подогревая его интерес к запретной информации. «Победить же Соединенные Штаты в радиовойне Советский Союз не сможет, — заверял Гарриман, — ибо советские власти хорошо знают, что их народ гораздо более уязвим для правды, чем наш — для клеветы».[135]

Первые передачи «Голоса Америки» на русском языке начались в феврале 1947 г., не встречая на первых порах никаких препятствий со стороны

советских властей. Новую программу разрабатывали лучшие эксперты по СССР: ее директором стал Ч.Тайер, а Дж.Кеннан и Ч.Болен вошли в специальный совещательный совет, который на еженедельных планерках в Вашингтоне корректировал содержание передач.[136] Посольство в Москве служило «наводчиком» этой радиопропаганды, систематически отслеживая по мере сил восприятие передач советской аудиторией. Эксперты посольства предостерегали против излишней политизации передач, подчеркивая, что «русские изголодались по юмору, веселой музыке и любым развлечениям, которые дали бы отдушину от мрачной реальности повседневного существования». Они призывали стремиться к «золотой середине между недостаточно культурным для советского слушателя балаганом, оглушающим американскую радиоаудиторию, и высокопарной политической полемикой, давящей советских слушателей». Одновременно посольство, как и советское пропагандистское начальство, предупреждало об опасности чрезмерного увлечения «культурничеством» в ущерб главным пропагандистским целям программы — «нейтрализации советской пропаганды, направленной на нагнетание враждебности и презрения к США, а также созданию доброжелательного отношения к США».[137]

Однако поначалу пальма первенства в перелицовке образа вчерашнего союзника принадлежала частным средствам массовой информации. Помимо окончания самой войны этому способствовали эксцессы поведения советских военнослужащих на оккупированных территориях, постепенная советизация стран Восточной Европы и усиление разногласий между союзниками по вопросам послевоенного урегулирования.

Госдепартамент со своей стороны вносил скрытый вклад в эту переориентацию, используя отработанный инструментарий санкционированных «утечек» и регулирования доступа журналистов к информации. Очень показательной в этом смысле стала история германских дипломатических доку-

ментов (в т.ч. — о переговорах с СССР в 1939—1941 гг.), захваченных американцами в своей зоне оккупации. Еще в декабре 1945 г. военный министр Р.Паттерсон предлагал в духе «союзного сотрудничества» ознакомить с этими трофейными документами представителей СССР и Франции, тогда как госдепартамент настаивал на предварительной экспертизе этих документов якобы с тем, чтобы «избежать возможного конфуза для британского правительства».[138] Предварительный осмотр быстро подтвердил «конфузный потенциал» этих документов, но не для британской, а для советской дипломатии, сделка которой с Гитлером предстала в них во всей своей наготе. Аналитиков госдепартамента больше всего впечатлила преемственность советских геополитических целей в Восточной и Юго-Восточной Европе, а также та железная настойчивость, с которой Сталин и Молотов добивались их сначала в переговорах с нацистами, а затем — с англо-американцами. Стало быть, заключили они, Запад «сталкивается с коренной и долгосрочной тенденцией советской экспансии, требующей самого серьезного внимания».[139]

Соблазн использовать этот динамит в начавшейся пропагандистской войне быстро пересилил остатки союзнического духа — немецкие документы так и не были переданы советской стороне. Вашингтон предложил ей их совместную публикацию, обоснованно расчитывая, что гарантированный отказ Москвы от этого предложения развяжет ему руки для их опубликования в одностороннем порядке. Тем временем госдепартамент, еще полтора года назад блокировавший публикацию неприятных для Кремля документов, теперь не только снял старые запреты, но и решил пустить в ход новые материалы из трофейных немецких архивов. Первой ласточкой стала «утечка» через «Нью-Йорк таймс» содержавшихся в них сведений, призванных доказать преемственность советских притязаний на Персидский залив, что должно было прозвучать особенно разоблачительно в те мартовские дни 1946 г., когда американская пресса с пода-

чи администрации подогревала страсти вокруг иранского кризиса как начала советского «броска на юг» — к тому самому заливу. Версия эта между тем была построена на явной подтасовке, поскольку Сталин и Молотов во время переговоров 1940 г. в Берлине не поддались на попытки Гитлера и Риббентропа направить советские аппетиты в сторону Персидского залива и других стратегических вотчин Великобритании. Это было хорошо известно экспертам госдепартамента, изучившим данные документы и усматривавшим в этих попытках Гитлера аналогию с замыслом Наполеона и «сумасшедшего царя Павла Первого».[140] Тем не менее для получения пропагандистского выигрыша все средства были хороши. При этом сам президент Трумэн прекрасно знал цену газетным вымыслам. «Русские распространяют ложь о нас. Наши газеты лгут и искажают, говоря о мотивах русских, а англичане переплевывают в этом и тех и других», — философски заметил он в своем дневнике.[141]

К весне 1946 г. — времени закулисной кристаллизации новой военно-стратегической доктрины США — в администрации наметилось понимание необходимости усиления пропагандистской составляющей соперничества с СССР. Неоднозначная реакция американских СМИ на фултоновскую речь Черчилля показала, что в стране еще сильны надежды на сохранение сотрудничества с СССР и опасения оказаться втянутыми Англией в борьбу с новым противником. Не случайно Белый дом, тщательно отслеживавший общественный резонанс на речь экс-премьера, предпочел хотя бы задним числом несколько дистанцироваться от нее и ее автора.[142] Стало ясно, что американское общество нуждается в дополнительном «просвещении» относительно «подлинных намерений» Советского Союза и ставок в разворачивающейся холодной войне. Именно эта идея «создания информированного общественного мнения» прошла красной нитью через основные документы администрации марта—мая 1946 г., намечавшие новые военно-стратегические установки в отношении СССР. Это прежде всего

касалось материалов Координационного комитета представителей госдепартамента и военных министерств, ставшего на время межведомственным штабом разработки новой стратегии.

В них особо подчеркивалась необходимость борьбы с бытующими в стране «ложными представлениями» об СССР и его политике, среди которых выделялся «миф» о том, что внешнеполитические цели Советского Союза имеют ограниченный характер и продиктованы его стремлением к безопасности и подозрениями в отношении мотивов Запада.[143] Иными словами, искоренению подлежали те самые представления военных лет, которые служили психологической опорой рузвельтовской политики. Наряду с усилением психологической обработки американского общественного мнения предлагалось активизировать пропаганду на СССР и страны Восточной Европы для преодоления «информационной блокады» — дискредитации коммунистических идей и «сеяния сомнений среди русского народа в своем руководстве», что со временем должно было привести к изменению целей советской политики.

Дело «пропагандистского перевооружения Америки» находило все больший отклик и среди деловой и политической элиты страны. Руководители крупнейших радиовещательных компаний поддержали идею расширения государственного иновещания под эгидой госдепартамента.[144] В мае 1946 г. Комитет Соединенных Штатов по зарубежной информации, куда вошли крупные бизнесмены, издатели, журналисты, президенты университетов и специалисты по рекламе, опубликовал во многих газетах США открытое письмо под названием «Объясняя Америку», содержавшее призыв к пропаганде американских ценностей и образа жизни по всему миру в противовес советской пропаганде.[145] Размах и эффективность последней всячески преувеличивались, как это делалось и по другую сторону «железного занавеса» в отношении западной пропаганды. «Советская пропагандистская кампания, — писала, например, «Нью-Йорк

таймс», — достигла такого масштаба и эффективности, что американскому и британскому правительствам скоро придется давать ей отпор. Эти меры не должны сводиться к контрпропаганде того же свойства, а давать максимальную огласку всем затронутым фактам. Но опубликование фактов само по себе не даст большого эффекта, если они не будут достигать изолированного русского народа. Решение этой проблемы потребует большой энергии и изобретательности со стороны всех заинтересованных государственных ведомств».[146]

Практическим результатом этого внутригосударственного и частного лоббирования стало резкое расширение вещания «Голоса Америки», в первую очередь — на Советский Союз. Верхом же изобретательности в продырявливании «железного занавеса», пожалуй, стала идея создания внешне независимых, но тайно финансируемых ЦРУ радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа», вскоре превратившихся в одно из главных орудий психологической войны против СССР и его новых союзников в Восточной Европе.

Советы и предложения о перестройке внешней пропаганды поступали в госдепартамент и от многих частных лиц — журналистов, бизнесменов, отставных разведчиков и дипломатов. Среди них выделяется, например, меморандум на имя Ч.Болена, составленный Н.Набоковым — известным белоэмигрантским композитором по профессии и пропагандистом по призванию, ставшим вскоре одним из организаторов «культурного фронта» США в холодной войне. Набоков исходил из того, что в этом глобальном конфликте «Соединенные Штаты могут определить ход событий путем активной, умной и дальновидной политики в сочетании с терпеливой и хладнокровной работой «по просвещению мира», основанной на «пропаганде идеалов, за которые ведется эта война». Для организации этой работы и руководства ею автор предлагал создать «центральное управление информации» (избегая одиозного в США термина «пропаганда»). Особое внимание он предлагал уделить западным зонам

Австрии и Германии, прежде всего — Берлину как «аванпосту» по сбору информации о советской политике и каналу пропаганды на всю Центральную и Восточную Европу. Будучи хорошо осведомлен о ситуации в Германии по опыту работы в военной администрации США в этой стране, Набоков предлагал целую программу «культурного нашествия» в западные зоны и взращивания там новой проамериканской культуры в противовес «мощной пропагандистской машине советской военной администрации» (многие из этих предложений будут вскоре претворены в жизнь при активном участии самого Набокова). В заключение, зная о планах создания в Мюнхене радиостанций для вещания на СССР и страны Восточной Европы, автор давал дельные рекомендации по содержанию их будущих программ для советской аудитории. В отличие от чрезмерно политизированного и прямолинейно-критического стиля передач «Би-би-си» Набоков предлагал начать с «невинных на вид передач экономического, технического и образовательного свойства с большим количеством информации о Соединенных Штатах и мире в целом в сочетании с краткими сводками новостей безо всяких комментариев и литературно-художественными программами, на которые русские столь падки. И только после пробного периода (2—3 месяца) можно будет начать видоизменять этот формат вставками с критической оценкой советской политики и экономики, ответами г-ну Молотову и т.п.».[147] Эти рецепты, как видно, тесно перекликались с соответствующими рекомендациями посольства США в Москве.

Госдепартамент, военные и разведывательные ведомства внимательно следили за подачей информации о Советском Союзе в американских СМИ, стараясь оказывать на них посильное воздействие. Последнее осуществлялось более тонкими средствами, чем это представлялось советским властям и пропагандистам. Комментируя известную пьесу К.Симонова «Русский вопрос», описывавшую кухню антисоветской пропаганды США,

левый американский журналист И.Стил в доверительной беседе с советским представителем посетовал на то, что «Симонов изобразил печать, подкуп журналистов очень примитивно — «на тебе 30 тысяч долларов и напиши антисоветскую книжку». Все это делается гораздо тоньше. Вас приглашают в хороший ресторан, вас с женой приглашают провести конец недели в поместье какого-нибудь крупного дельца... вас обволакивают роскошью, вас ставят в такое положение, что вы уже не можете отказаться от того, чтобы поступиться своими убеждениями. Надо признаться, — заключил Стил, — что это искушение очень велико».[148] Эти замечания Стила показались начальнику СИБ С.А.Лозовскому настолько важными, что он направил запись беседы Сталину.

Действительно, в использовании журналистов (особенно — именитых) деятели администрации полагались не на прямой подкуп или угрозы, а на поддержание доверительных отношений, основанных на обмене «эксклюзивной информацией». Известны, например, близкие отношения первого заместителя госсекретаря Д.Ачесона с У.Липпманом, Дж.Рестоном и другими видными журналистами того времени, периодически озвучивавшими нужные госдепартаменту мотивы и сведения.[149] Та же картина воспроизводилась и на более низких этажах бюрократической и журналистской иерархии, где дипломаты, военные и разведчики служили источниками целенаправленной информации для своих журналистских контактов.

В недавних американских исследованиях пропаганды США отмечалось, например, редкое совпадение содержания серии репортажей вернувшегося из Москвы корреспондента «Нью-Йорк таймс» Б.Аткинсона с последними оценками разведывательного сообщества США о сути «советской угрозы».[150] Сохранившаяся в архиве военного помощника Трумэна адмирала У.Леги докладная руководства Центральной разведывательной группы (предшественницы ЦРУ в 1946—1947 гг.) пролива-

дымовую завесу слов Сталина, опровергнуть по очереди все его утверждения, обнажив их подлинную суть».[61]

Сходным образом толковали мотивы Сталина и ведущие советологи госдепартамента. «Открытое письмо Сталина Уоллесу несомненно вызвано целым рядом соображений, — отмечал в своем экспресс-анализе для госсекретаря Ч.Болен. — Оно отражает стремление Кремля вызвать ослабление международной напряженности, чтобы успокоить народы СССР и стран-сателлитов насчет непосредственной угрозы войны. Попутно советское правительство пытается получить пропагандистское преимущество в качестве «миролюбивого» государства и поставить США в положение стороны, отвергающей протянутую руку дружбы. Вряд ли Сталин ожидает весомых конкретных результатов от каких-либо переговоров или обсуждений на основе поддержанной им программы Уоллеса. В этой программе нет ни одной проблемы, не подвергавшейся всестороннему обсуждению в ООН, Совете министров иностранных дел и других местах, которое каждый раз заканчивалось тупиком из-за советской несговорчивости. Сталин по сути и не выдвигает конкретных предложений по урегулированию названных им проблем. В сложившейся ситуации, — продолжил Болен, — важно, чтобы наше правительство не отмалчивалось. Хотя это письмо и адресовано частному гражданину США, оно явно рассчитано на оказание влияния на кампанию по выборам президента. Во всем мире оно воспринимается как явное предложение со стороны Сталина». Болен высказывался за незамедлительную реакцию на рабочем уровне госдепартамента.[62]

Рекомендации посольства и Болена были поддержаны на экстренном совещании в отделе Кеннана, созванном в тот же день (18 мая) для обсуждения контрмер в отношении сталинского заявления.

Было решено «принизить» уровень ответа, поскольку в отличие от ноты Молотова «письмо Ста-

лина не было адресовано правительству». Вместе с тем, учитывая печальный опыт предыдущего раунда, руководство госдепартамента пошло на более хитроумный и действенный ход. В пресс-релизе от 18 мая сталинское заявление о готовности к урегулированию расценивалось как «ободряющее» само по себе, но не соответствующее реальным действиям СССР. В подтверждение тому на следующий день госдепартамент обнародовал справку о состоянии переговоров по всем одиннадцати проблемам, затронутым в ответе Сталина, из которой следовало, что не США, а СССР и его союзники блокируют развязку этих проблем.[63]

Однако уверенности в достаточности и эффективности этих мер у администрации не было. Министр обороны Дж.Форрестол в частном порядке делился «ощущением фрустрации от успехов советской пропаганды», Р.Ловетт сетовал на «способность русских использовать невежество американской общественности».[64] 21 мая уже сам Трумэн собрал совещание для обсуждения противодействия «мирному наступлению» СССР, в котором участвовала вся верхушка госдепартамента, Пентагона и СНБ. Маршалл возмущался «вероломством русской дипломатии и подверженностью американцев пропаганде», Гарриман — «вмешательством Сталина во внутренние дела нашей страны». Совещание завершилось принятием предложения Трумэна о серии выступлений руководителей администрации для перехвата инициативы в пропагандистской войне и обсуждением основных тем июньского выступления самого президента.[65]

Пропагандистская дуэль между Москвой и Вашингтоном набирала обороты и приобрела поистине глобальный размах. 20 мая ТАСС дало ответ на пресс-релиз госдепартамента от 19 мая. Видимо, в Москве были не готовы к этому американскому финту с «перебросом мяча» на советскую половину поля, и краткое сообщение ТАСС выглядело довольно неубедительно: в нем повторялся прежний тезис о противоречии в американской позиции, а

ссылки госдепартамента на нерешаемость проблем по вине СССР по существу остались без конкретного ответа.[66] «Поспешный и раздраженный тон сегодняшнего сообщения ТАСС, которое, похоже, составлено самим Сталиным, говорит об успехе твердой позиции госдепартамента и его оперативной реакции на письмо Сталина», — с удовлетворением телеграфировало посольство США в Вашингтон.[67]

Сталинское авторство этого документа не отложилось в архиве, но, видимо, хозяин Кремля и сам был им недоволен, поскольку потребовал от Молотова переработанный его вариант, который затем тщательно правил сам, заменяя отдельные фразы и выражения. Теперь американцам был дан подробный ответ по всем пунктам заявления госдепартамента от 19 мая (которое в свою очередь подробно излагалось в том же номере «Правды»). Сталину целиком принадлежит и заключительный абзац этого обстоятельного документа, опубликованного в виде нового сообщения ТАСС 23 мая. В нем Сталин с характерной для него тяжеловесной дидактичностью решил опровергнуть тезис администрации о неуступчивости Советского правительства: «Всем известно, что при правительстве Рузвельта самые трудные международные проблемы решались в порядке согласия и единодушия США, СССР, Великобритании. А это было тогда возможно потому, что основные решения Тегеранской и Ялтинской конференций исполнялись лояльно, а практические решения по конкретным вопросам принимались на базе этих основных решений, во исполнение этих основных решений. Что изменилось с того времени? Изменилась позиция Правительства США».[68] Отклики на «ответ» Сталина и эти сообщения ТАСС печатались в советской прессе еще целую неделю. Как бы подводя итоги этому обмену пропагандистскими ударами, международный обозреватель «Правды» Я.Викторов (Гольденберг) суммировал кремлевскую версию: «Весь мир понял акцию советского правительства как проявление искреннего желания упорядочить советско-американ-

ские отношения и внести успокоение в международную обстановку».[69]

Аргументация Кремля была подхвачена коммунистической пропагандой во всем мире и находила широкий резонанс в нейтральных странах Азии, как подтверждалось в донесениях американских посольств в Вашингтон.[70] Белый дом со своей стороны активизировал «продвижение» собственных контрпропагандистских материалов по обмену Уоллес—Сталин в прессе союзных и нейтральных стран.[71]

В целом администрации удалось выйти из второй фазы майского кризиса с меньшими потерями в собственной стране по сравнению с первой. Отдел общественных связей госдепартамента в специальной сводке о состоянии американского общественного мнения и реакции прессы после ответа Сталина Уоллесу отмечал ослабление критики в адрес администрации благодаря «эффективному отпору» госдепартамента. Вместе с тем, признавалось в анализе, советское пропагандистское наступление все же оставило заметный след — в стране усилились голоса в пользу переговоров с Москвой и сомнения в наличии у администрации конструктивных целей в отношении урегулирования противоречий с СССР. В качестве наиболее авторитетного выражения такой позиции приводились слова ведущего внешнеполитического обозревателя страны У.Липпмана, подводившие итог всего майского противоборства: «Недавние эпизоды — Смит—Молотов, Уоллес—Сталин и публичная реакция на них со стороны Трумэна и Маршалла — нельзя списать на русскую пропаганду с одной стороны и дипломатическое дилетантство — с другой. Главный итог продемонстрированного администрацией негативизма состоит в выявлении большого изъяна — нехватки позитивной политики, способной разумно распорядиться имеющимися у нее финансовыми и военными средствами... Негативное отношение, проявляемое в последнее время Маршаллом, в сочетании со стратегическими идеями, лежащими в основе американской про-

граммы перевооружения, вызывают большое беспокойство у народов Европы. Они еще предпочитают иметь дело с нами, но не потому, что мы внушаем надежду и уверенность, а как меньшее из зол и источник благ».[72]

Однако пропагандистское преимущество, полученное Кремлем в мае, оказалось скоротечным. В развернувшемся вскоре берлинском кризисе Советский Союз предстал стороной, провоцирующей напряженность, а жесткая линия администрации получила дополнительное оправдание в глазах общественного мнения Запада.

Еще более проблематичной оказалась «помощь» Уоллесу, оказанная демаршем Сталина. На первых порах он привлек общественное внимание к оппозиционному кандидату в президенты и его внешнеполитической платформе.[73] Но в конечном счете тесная ассоциация с советской «повесткой дня» скорее повредила Уоллесу, дав в руки администрации весомый повод для обвинений его в «пособничестве Москве». Компрометация Уоллеса как вольного или невольного «апологета Кремля» стала одним из главных направлений всей предвыборной стратегии Трумэна.[74]

Эта стратегия оказалась особенно эффективной в обстановке военного психоза вокруг берлин-ского кризиса. Резкие выпады Уоллеса против линии администрации в германском вопросе «на возрождение реакции и милитаризма в Германии и отказ от переговоров с Россией»[75] отпугивали от него даже недавних сторонников. В октябре, по данным закрытого опроса, проведенного исследовательским центром Мичиганского университета по заказу госдепартамента, три четверти американцев называли Советский Союз агрессивным государством, стремящимся к господству или преобладанию в мире, а две трети считали политику США в отношении СССР «недостаточно твердой».[76] Если еще в апреле за Уоллеса были готовы проголосовать около четырех миллионов избирателей, то в октябре — лишь два миллиона (в итоге на выборах в ноябре он получил около миллиона голосов).[77]

Это вряд ли входило в расчеты Сталина, который, как показывают архивные документы, действительно надеялся не только на внушительный результат, но и на чистую победу «рузвельтовского» кандидата. Еще в середине апреля — в ходе конфиденциальных консультаций по подготовке «открытого письма» — дипломатические представители СССР в США получили указание встретиться с Уоллесом и сообщить тому о поддержке его кандидатуры Москвой, что и было исполнено. Им были также даны инструкции о перечне вопросов для обсуждения с Уоллесом после его избрания президентом, из которого можно было заключить, что Сталин собирался вернуться к основным, уже туго затянутым узлам советско-американских противоречий в надежде развязать их вместе с новым президентом.

Политическое влияние Уоллеса в Советском Союзе явно переоценивалось уже по чисто идеологическим причинам. В закрытых материалах ЦК он характеризовался как имеющий «большую поддержку в широких слоях американского общества», а его партия — «объединяющей широкие массы прогрессивно настроенных американцев и имеющей опору в крупнейших профсоюзах, фермерских организациях и среди интеллигенции».[78]

Но всерьез рассчитывать на победу Уоллеса можно было, только имея очень искаженное представление об американской внутриполитической кухне. Это, впрочем, и неудивительно, учитывая, что сам Сталин плохо разбирался в этих вопросах,[79] а его информаторы — дипломаты и разведчики — избегали самостоятельного политического анализа, предпочитая (в том числе — и ради самосохранения) следовать сложившимся стереотипам советской пропаганды. К 1948 г. эта жесткая, черно-белая идеологизация холодной войны достигла такой степени, что донесения советских дипломатов из США в общеполитической части стали мало отличимы от передовиц «Правды».[80] То же самое касалось и закрытых тассовских материалов, служивших главным источником информации совет-

ского руководства о внутриполитической жизни США. Как писали в 1948 г. хорошо осведомленные вашингтонские обозреватели братья Олсопы в статье под характерным заголовком «Сталин имеет странное представление о Соединенных Штатах», «неоднократные перехваты этих (тассовских. — *Авт.*) сообщений неизменно показывали, что анализ ТАСС представляет собой немногим большее, чем перефразировку статей из «Дэйли уоркер» (органа КП США. — *Авт.*) — отнюдь не самого надежного толкователя американской внутренней политики».[81]

Любопытно, что эта оценка тесно перекликалась с критикой работы советских пропагандистов самим кремлевским руководством. Так, например, в одобренных Политбюро указаниях корреспондентам «Правды» в капиталистических странах (июль 1952 г.) отмечались «поверхностный характер», «крикливо агитационный стиль» многих корреспонденций из западных столиц. Инструкции обязывали корреспондентов «не воспроизводить механически публикуемые коммунистической и другой оппозиционной прессой материалы, повторяя аргументы и доводы коммунистической и другой оппозиционной прессы...»[82]

Думается, что помимо идеологических симпатий и плохой информации в этой переоценке шансов Уоллеса сказывалось и другое — большое стремление принимать желаемое за действительное, обусловленное тем, что в Кремле к тому времени, видимо, поставили крест на администрации Трумэна, тем более что большинство обозревателей и опросов общественного мнения в самой Америке предсказывали победу республиканцев. Об этом красноречивее всяких слов свидетельствовала и сама сталинская пощечина администрации в виде публикации обмена Смит—Молотов.

Неожиданная победа Трумэна и полный разгром Уоллеса заставили Сталина пересмотреть прежние оценки. После краткой заминки тон советской пропаганды в отношении Трумэна резко изменился: если до выборов демократы и респуб-

ликанцы изображались партиями-близнецами в руках монополий по контрасту с Прогрессивной партией Уоллеса как представительницы трудящегося большинства, то теперь подчеркивался «социал-реформистский» характер демократической партии, а ее победа объяснялась тем, что демократы перехватили популярные лозунги Уоллеса и избиратели (по словам В.М.Молотова в речи от 6 ноября) «отвергли откровенно реакционную и крайне агрессивную программу республиканской партии и Дьюи».[83]

Анализируя этот разворот советской пропаганды на фоне потепления отношения к американским дипломатам, посольство США в Москве отмечало: «Он призван создать впечатление о том, что советское правительство хочет мирного урегулирования и считает, что «может иметь дело с Трумэном». Посольство сочло этот разворот чисто «тактическим ходом» — возможной «прелюдией к очередному «мирному» шагу... рассчитанному на то, чтобы ослабить нашу бдительность и посеять микробы подозрения и недоверия между западными союзниками».[84]

Было ли это тактикой или чем-то большим, но, как показывают архивные документы, в конце 1948 г. советское правительство действительно искало возможности «прощупать» администрацию на предмет хотя бы частичной нормализации отношений, подорванных кризисами 1948 г. К этому подталкивала и необходимость пристойной развязки берлинского кризиса, не оправдавшего расчетов Сталина на потеснение западных союзников.

Здесь-то и возникла вновь фигура Генри Уоллеса, выступившего с новой неожиданной инициативой. На встрече с послом А.Панюшкиным 25 декабря он предложил свое негласное посредничество в отношениях с Белым домом, мотивируя тем, что после выборов там сложилась новая обстановка — Трумэн почувствовал себя гораздо увереннее и после отставки Маршалла будет самостоятелен и инициативен во внешней политике. Сообщив о беседе в Москву, посол поначалу воздержался от ре-

комендаций, но через два дня вновь вернулся к этой идее под впечатлением от весьма примирительной по тону речи Трумэна в Канзас-сити от 27 декабря, в которой Панюшкин усмотрел некоторую «перекличку» с высказываниями Уоллеса. Посол не исключал, что Уоллес действовал не по своей инициативе, а от имени конструктивно настроенных деятелей администрации, и рекомендовал отнестись к высказываниям Уоллеса со вниманием.[85]

В Москве задумались и лишь на шестой день дали отрицательный ответ, ссылаясь на отсутствие в высказываниях Уоллеса каких-либо конкретных предложений. Телеграмма была завизирована Сталиным. Однако еще через два дня Панюшкин получил новые указания Молотова: после повторного обсуждения вопроса решено дать согласие Уоллесу на его неофициальное посредничество между СССР и США в деле улучшения отношений, «если, конечно, сам Уоллес верит в это дело».[86] Нет сомнений в том, что эти колебания отражали неуверенность самого Сталина в целесообразности такого посредничества.

Уоллес, похоже, и сам уже не очень верил «в это дело». На следующей встрече с Панюшкиным он подтвердил свою готовность к этой щекотливой миссии, но расценил ее шансы на успех, как «один к четырем». Весьма проблематично выглядели и его соображения по конкретной части предлагавшегося зондажа: Уоллес советовал «захватить воображение Трумэна» приемлемыми для него предложениями типа предоставления гарантий о «пределах советской экспансии», развития обменов и др. Американец предлагал свою помощь в «корректировке» советских предложений для передачи их Белому дому. Тем самым Уоллес предлагал как бы поменяться ролями со Сталиным: теперь он был готов стать редактором сталинского послания Трумэну, но уже в виде не «открытого», а скорее «закрытого» письма.

Получив эту информацию Панюшкина, Молотов подготовил новый проект инструкций послу о

дальнейших контактах с «неофициальным посредником». Министр предписывал не давать Уоллесу возможности «отделываться общими фразами» или «общим изложением своего мнения», ориентируя его на получение конкретной информации о настроениях в Белом доме: «Мы заинтересованы в том, чтобы при содействии Уоллеса в неофициальном порядке получить более убедительные данные о действительной позиции Трумэна в настоящее время и о том, имеется ли в правительстве США тенденция к какому-либо улучшению отношений с СССР, поскольку пока у нас нет такого рода данных».[87]

Скупая заготовка Молотова говорила о многом. Во-первых, о неосведомленности советского руководства относительно реалий вашингтонской политической кухни. Считать, что опальный Уоллес, уже давно не имевший прямого доступа к Трумэну, может стать посредником или хотя бы ценным информатором в отношении президента, можно было, только не разбираясь в американской политической конъюнктуре. С этим связано и второе — отсутствие в Москве достоверной информации о настроениях в окружении Трумэна, отчасти, видимо, объясняемое развалом советской агентурной сети в Вашингтоне в результате серии провалов и разоблачений 1946—1948 гг. Вполне вероятно, что именно эта «непроницаемость» трумэновского Белого дома подталкивала Молотова к использованию Уоллеса если и не в качестве посредника, то хотя бы в роли информатора.

Но Сталин с его бездонной подозрительностью, осторожностью и недоверием к буржуазным «попутчикам» был не готов и на это. Вряд ли все дело сводилось к тому, что он «утратил всякий интерес к этой фигуре (Уоллеса. — *Авт.*)», как считают некоторые отечественные исследователи.[88] Такое объяснение плохо вяжется и с его колебаниями в отношении инициативы Уоллеса. Более вероятно, что, проанализировав последние предложения американца, он решил, что польза от запланированной операции перевешивается ее риском — не-

надежностью самого Уоллеса, непредсказуемостью реакции Трумэна, в том числе — угрозой того, что тот сыграет такую же злую шутку с «мирными происками» Сталина, как сам Сталин поступил с майским демаршем Белого дома. К тому же накануне Национальный исполком Прогрессивной партии выступил с заявлением (перепечатанным 12 января советскими газетами), призывавшим Трумэна «доказать» искренность своего стремления к миру путем отказа от участия в планировавшемся Северо-Атлантическом пакте и согласия на проведение встречи со Сталиным.[89] Подобная «публичная дипломатия» Уоллеса в глазах Сталина могла лишь повредить делу его конфиденциального посредничества. В итоге на проекте Молотова появилась следующая сталинская резолюция: «Я не согласен. Как видно из выступления исполкома партии Уоллеса, Уоллес думает использовать свое посредничество только для своей партии, мало заботясь о результатах посредничества для СССР. Нам не нужно открывать все свои карты Уоллесу. Пусть сам Уоллес вертится и маневрирует как хочет».[90] Резолюция Сталина дышит раздражением и недоверием к американцу как человеку, не оправдавшему возложенных на него надежд.

Приговор «Хозяина» поставил крест на мирном посредничестве Уоллеса и его «прямой связи» с Москвой. В тот же день внешнеполитическая «семерка» Политбюро одобрила новые указания советским представителям в США, подготовленные А.А.Громыко. В них предписывалось уклоняться от новых контактов с Уоллесом на том нарочитом основании, что встреча с «руководителем оппозиционной партии в США» «даст повод реакционным кругам США... использовать ее против нас...»[91] Попытка самого Уоллеса через доверенных лиц возобновить контакт с Панюшкиным в феврале 1949 г. была также пресечена из центра, где сочли встречу с Уоллесом или его представителем «нецелесообразной».[92]

Холод, повеявший из Москвы, в сочетании с растущей изоляцией внутри страны подействовали

на Уоллеса удручающе. Его политическая активность и оппозиционный запал резко пошли на убыль, а в 1950 г. он открыто поддержал администрацию Трумэна в корейской войне. Советский Союз потерял еще одного верного друга. Теперь, в свете новых документальных свидетельств о тайной борьбе Уоллеса за улучшение советско-американских отношений, становится понятней необычно теплый отзыв о нем в воспоминаниях А.А.Громыко, полностью посвященного в перипетии этой борьбы: «Немного мне встречалось людей, занимающих видное положение на политической арене США, которые мыслили не интересами сиюминутных выгод во внешней политике, а, как Уоллес, заглядывали вперед».[93]

* * *

Среди американских историков давно идут дебаты о роли и значении описанных событий в истории советско-американских отношений. Представители старшего поколения — А.Улам, Р.Дивайн, М.Шульман — вслед за официальной линией считали советское «мирное наступление» чисто пропагандистской кампанией, направленной на подрыв позиций Трумэна, замедление ремилитаризации Германии и провоцирование разногласий между США и их союзниками.[94]

Историки-ревизионисты — Дж. и Г.Колко, Р.Уолтон и др. — усматривали в нем искреннее стремление руководства СССР к мирному урегулированию и резко осуждали администрацию Трумэна за нежелание пойти навстречу этой советской инициативе. Май 1948 г., на их взгляд, стал одной из упущенных возможностей к ослаблению холодной войны.[95]

Промежуточную позицию между этими двумя трактовками заняли Д.Ёрджин и С.Уолкер, глубже всех изучившие американскую реакцию на это «наступление». Признавая пропагандистские мотивы Сталина и явную незаинтересованность тру-

мэновской администрации в переговорах с СССР, они все же не исключают, что в Кремле ухватились за заявление Смита и письмо Уоллеса в надежде «не мытьем так катаньем усадить американское правительство за стол переговоров».[96] Лидеры США, заключает С.Уолкер, «оказались еще менее готовы, чем Москва, к попытке примирить разногласия. В своем ответе на советские заходы администрация Трумэна даже не попыталась взвесить плюсы и минусы позитивного ответа или рассмотреть возможность наличия позитивного содержания в советских предложениях. Американские деятели просто-напросто сочли советские предложения рассчитанно неискренними и сосредоточили свои усилия на минимизации ущерба, нанесенного ими Соединенным Штатам».[97]

Использованные в этом очерке новые документы из российских архивов скорее подтверждают правоту «традиционалистов» с той существенной поправкой, что не только в Москве, но и в Вашингтоне не было реального желания пойти навстречу друг другу и найти взаимоприемлемый выход из создавшегося тупика.

КОНЕЦ АТОМНОЙ МОНОПОЛИИ США

О том, что в один прекрасный день США сами могут оказаться объектом атомного нападения, в Вашингтоне задумались сразу же после испепеления Хиросимы и Нагасаки. 8 августа 1945 г. военный помощник президента Г.Трумэна адмирал У.Леги — еще недавно скептик в отношении мощи атомного оружия — под свежим впечатлением от Хиросимы записал в своем дневнике: «Смертоносные возможности такого атомного боя поистине пугающие, и хотя мы получили это оружие первыми, в будущем его наверняка разработают потенциальные противники и, вероятно, используют его против нас».[1]

15 августа Г.Трумэн поручил Бюро оценки стратегических бомбардировок, созданному в ноябре 1944 г. для анализа эффективности стратегических бомбардировок Германии, провести аналогичное исследование последствий атомных ударов по японским городам. Огромная работа, в которой было занято более тысячи человек, завершилась к лету 1946 г. Итоговый доклад комиссии, среди руководителей которой были известные впоследствии дипломат П.Нитце и экономист Дж. Гэлбрейт, рисовал впечатляющую картину огромных разрушений и потерь, военных, психологических и других последствий атомных бомбардировок. В заключительном разделе доклада, озаглавленном «Угроза, и что можно сделать для ее устранения», авторы писали: «В процессе своей работы аналитики проекта постоянно задавались вопросом: «А что, если бы мишенью этой бомбы стал американский город?» Разумеется, главной задачей обзора было собрать и оценить приведенные выше факты. Но тем, кто вдумчиво обследовал остатки Хиросимы и Нагасаки, невозможно было уйти от выводов о значении этих фактов для граждан самих США». Главный вывод был ясен — проведенный авторами элементарный сравнительный анализ застройки и плотности населения городов Японии и США показывал, что последствия подобных ударов по американским городам будут не менее разрушительными, чем в Японии. Отсюда — заключительная рекомендация доклада: «Зрелище опустошения Хиросимы и Нагасаки — самый сильный аргумент в пользу мира и международного контроля за его поддержанием. Наша страна, создавшая и применившая это зловещее оружие, несет особую, затрагивающую каждого американца ответственность за разработку и создание системы международных гарантий и контроля для предотвращения его применения в будущем».[2]

Первый раунд закрытых внутриправительственных дебатов о том, как распорядиться этим новым оружием и связанной с ним ответственностью, прошел в Вашингтоне уже в сентябре—октяб-

ре 1945 г. с участием членов кабинета и ведущих ученых-ядерщиков — Э.Ферми, Л.Сциларда и других. При этом главный практический вопрос состоял в том, нужно ли раскрывать атомную программу США для международного контроля и прежде всего — для Советского Союза как главного потенциального конкурента США в военно-стратегической области. Ученые и некоторые члены кабинета (министр торговли Г.Уоллес, министр внутренних дел Г.Икес, заместитель госсекретаря Д.Ачесон) отвечали на этот вопрос утвердительно, считая, что Соединенным Штатам в дальнейшем вряд ли удастся реально применить это оружие, а СССР так или иначе овладеет его секретом уже в недалеком будущем, и потому лучше использовать даже небольшой шанс для предотвращения гонки атомных вооружений.

Объединенный комитет начальников штабов и некоторые министры (включая министра ВМС Дж.Форрестола) высказались за продолжение «политики исключения» СССР, подчеркивая опасность укрепления потенциального противника, ненадежность международного контроля и невозможность доверять русским в столь деликатном вопросе.

В.Буш — крупный ученый и организатор оборонной науки, глава Управления научных исследований и разработок, подчеркивал ключевое значение временного фактора в атомном диалоге с СССР: «Если Россия встанет на рельсы собственной интенсивной программы, ее будет трудно остановить. Мы хотим, чтобы она выбрала путь международного взаимопонимания, и здесь важны первые впечатления. В этом смысле мы уже кое-что потеряли, когда не предприняли никаких шагов до взрыва бомбы. Больше времени терять нельзя».

Авторитетные свидетельства о способности советских ученых справиться с этой задачей поступали тогда и из других источников. Так, пленные немецкие военные — участники германского атомного проекта в Гейдельберге и Институте Кайзера Вильгельма в Берлине генералы фон Фулстейн и Дорн-

бергер, ссылаясь на советское оборудование по расщеплению атома, захваченное в Днепропетровске, утверждали на допросах, что «русские будут в состоянии при опоре на свои собственные силы удивить мир атомной бомбой чисто домашнего производства».[3] Бывший посол США в Москве Дж.Дэвис предупреждал президента Трумэна, что «русские неизбежно догонят нас, и быстрее, чем мы думаем».[4] Военная разведка США на исходе 1945 г. определяла этот срок в 5—10 лет, подчеркивая, что здесь «нет проблем, которых Советский Союз не смог бы со временем решить. Более того, советское научное мышление обладает склонностью к высокой абстракции, требуемой для подобных проектов». Слабость виделась в другом — нехватке крупных физиков мирового плана, технических и людских ресурсов, необходимых для ускорения этой работы.[5]

Эта весьма взвешенная оценка советских возможностей сочеталась с крайне жесткой позицией военного командования по вопросу о сотрудничестве с СССР в области атомной энергии. В правительственных дебатах, как писал тот же Буш, США оказались на историческом перекрестке: «Одна дорога ведет к секретной гонке вооружений в области атомной энергии; другая — к международному сотрудничеству и, возможно, в конечном счете — контролю. Оба пути тернисты, но мы живем в новом мире, и нам придется сделать выбор».[6]

Чуть позже ведущие эксперты США по советским делам — Ч.Болен из госдепартамента и Дж.Робинсон из Управления стратегических служб — поставили эту атомную дилемму в более широкий контекст американо-советских отношений в своем докладе «Возможности и намерения Советского Союза в зависимости от американской политики» (декабрь 1945 г.). Авторы документа предупреждали, что рано или поздно СССР догонит Америку в производстве атомного оружия и средствах его доставки; тогда сочетание его сравнимого военного потенциала с враждебными намерениями (усугубленными за годы атомного отставания) будет представлять критическую угрозу.

Болен и Робинсон предлагали избрать в отношении СССР «умеренный, рассчитанно-успокоительный курс вместо максимального сосредоточения мощи против Советского Союза». Такой курс «А» предусматривал предоставление советской стороне данных, необходимых для производства атомного оружия (или по крайней мере — для мирного использования атомной энергии) наряду с признанием советской сферы влияния в Восточной Европе и «совместными усилиями по созданию в Германии, Японии и Китае стабильных буферных режимов, приемлемых для обеих сторон».

Подобная политика, считали авторы плана, не будет представлять чрезмерного риска для США с учетом их явного превосходства и возможности ее обратимости в случае, если Кремль однозначно станет на путь «экспансии, облегчаемой революциями». И, напротив, «курс Б» (ставка на приумножение силового превосходства и сохранение атомной монополии) грозит стать «самосбывающимся пророчеством», способным затвердить советские намерения в этой (агрессивной. — *Авт.*) форме, что в сочетании с достижением СССР силового паритета со временем создаст для США «чрезвычайно опасную ситуацию».[7]

Доклад Болена — Робинсона остался без внимания. Конечный выбор был сделан администрацией Трумэна в пользу «курса Б», хотя и с некоторыми декоративными вкраплениями из варианта «А». Создание Международной комиссии по атомной энергии в рамках ООН, выдвижение «плана Баруха» создавали впечатление готовности США к международному контролю над «зловещим оружием», тогда как реальное содержание этого плана было нацелено на то, чтобы продлить свою атомную монополию как можно дольше, одновременно блокируя развитие военного атомного потенциала СССР.

Однако в Вашингтоне скоро поняли, что остановить «монопольное мгновенье» не удастся. СССР отверг «план Баруха» и, судя по данным разведки и обнаруженным масштабам атомного шпионажа в США, форсировал свою атомную программу. Наи-

более горячие головы среди военных и гражданских экспертов, а также журналистов предлагали использовать «окно возможностей» для радикальной модификации советского поведения с помощью ультиматумов, подкрепляемых угрозой превентивной атомной войны. Идея такой войны обрела новое дыхание,[8] поскольку атомный фактор делал ее, во-первых, более эффективной (усиливая преимущество нападающей стороны), а во-вторых, более экстренной как средство упреждения грядущего атомного вооружения противника. «Лучшая оборона против атомной бомбы — нанести удар прежде, чем она появится», — открыто заявлял главком армейской авиации генерал Г.Арнольд, предвосхищая аргументы современных сторонников превентивных ударов по «странам-изгоям», тянущимся к ОМУ.[9] Заявлениями дело не ограничивалось: в 1946—1949 гг. вопрос о превентивном применении атомного оружия против СССР не раз рассматривался в Пентагоне и Белом доме, составлялись и соответствующие военные планы, самым масштабным из которых стал «Бройлер» (февраль 1948 г.).

Дебаты историков о причинах, удержавших администрацию Трумэна от этого соблазна, еще продолжаются, но большинство ученых выделяют в качестве главного фактора отсутствие уверенности в успехе такого предприятия. Во-первых, вплоть до начала 1950-х гг. у США не было достаточного количества атомных бомб и стратегических бомбардировщиков, предусматривавшегося планами войны с СССР. (Так, в период берлинского кризиса 1948 г. в арсенале США насчитывалось только 50 атомных бомб и 30 бомбардировщиков Б-29, оборудованных для их доставки).[10] Во-вторых, не было и полной уверенности в том, что атомный блицкриг в принципе способен привести к полному поражению СССР и смене его режима. Хотя атомные бомбардировки могут уничтожить несколько миллионов человек и до 40% промышленного потенциала СССР, говорилось, например, в докладе представителей всех родов войск под руководством генерала ВВС Г.Гармона (май 1949 г.),

они «не приведут к капитуляции, уничтожению корней коммунизма или критическому ослаблению способности советского руководства контролировать свой народ».[11] В-третьих, не меньшими проблемами для США был чреват легко просчитываемый асимметричный ответ СССР на такое нападение — захват превосходящими сухопутными силами континентальной Западной Европы, откуда их если и можно будет выкурить, то лишь ценой «гибели сотен тысяч наших друзей», как писал авторитетнейший американский обозреватель У.Липпман.[12] Среди военного командования США не было полного согласия даже в вопросе использования атомного оружия первыми в ответ на советский удар по Западной Европе, лежавшего в основе стратегического планирования Пентагона. «Я с этим не согласен, — записал в своем дневнике адмирал У.Леги после обсуждения очередного варианта такого плана осенью 1947 г. — Это оружие вряд ли будет использовано, а если и будет, то США не станут инициатором такого варварского нападения на гражданское население».[13]

Наконец, существовали и некоторые моральные ограничители на превентивное использование столь страшного оружия. Апологеты превентивной войны с СССР, правда, пытались найти ей этическое оправдание. «Если есть основания считать, что внезапный массированный удар (вместо того, чтобы дожидаться, пока его нанесет противник) спасет много жизней и собственности, вызовет меньшие разрушения и социальную дезинтеграцию и даст больший шанс на создание жизнеспособного мирового порядка, — писал, например, известный правый публицист Дж.Бёрнхэм, — то его применение будет не моральной ошибкой, а моральным долгом».[14] Однако трудно было, особенно после Перл-Харбора и «плана Барбароссы», рассчитывать на то, что подобная «агрессия во имя мира» (по выражению министра ВМС Ф.Мэтьюза)[15] получит санкцию мирового и американского общественного мнения в условиях отсутствия реальной угрозы безопасности самих Соединенных Штатов. Не кто

иной, как президент Трумэн в обращении к соотечественникам говорил, что «мы не верим в агрессию или превентивную войну. Такая война является орудием диктаторов, а не свободных демократических стран типа Соединенных Штатов.[16]

Короче говоря, причин для «атомного воздержания» у Белого дома было в те годы вполне достаточно. Поэтому ни более поздние умиления некоторых американских авторов по поводу «добровольной сдержанности» США в период своей атомной монополии, ни тоска современных «ястребов» о якобы упущенных тогда возможностях для «изменения советского режима» не имеют под собой серьезных оснований.

На что действительно оставалось надеяться в Вашингтоне, так это на сохранение отставания СССР — сначала в погоне за атомным оружием, а потом в его накоплении и совершенствовании. Разведслужбы США начали интенсивную работу на советском «атомном направлении» с осени 1945 г.[17] К началу 1946 г. в посольстве США в Москве уже не было сомнений в том, что «СССР рвется к атомному оружию... Имеющиеся у нас скупые свидетельства говорят о том, что огромные усилия предпринимаются для реализации этого проекта, получившего сверхприоритетный статус. Создание атомной бомбы, — продолжалось далее в экономическом обзоре посольства, — потребует огромных капиталовложений. Производство оборудования для советского эквивалента «манхэттенского проекта» займет очень большую часть производственных мощностей СССР, особенно по части электрооборудования и точного приборостроения. Производство атомной бомбы наряду с другими амбициозными планами приведет к предельному напряжению советской экономики».[18]

Но ключевой вопрос — как далеко продвинулся Советский Союз в создании атомного оружия — оставался неясным. В марте 1946 г. атомная программа СССР была объявлена главным приоритетом в работе военной разведки. Тогда же американское посольство в Москве запросило директив для вы-

работки специальной разведывательной программы по отслеживанию советских атомных разработок. Соответствующие ориентировки от экспертов «манхэттенского проекта» и военного министерства были вскоре получены, и в том же году в посольстве был создан объединенный разведывательный комитет, сконцентрировавшийся в основном на атомном шпионаже. Хотя многие документы американской разведки тех лет все еще остаются засекреченными, полученная ею достоверная информация о советском атомном проекте была, видимо, крайне скудной и неточной, судя по сделанным на ее основе прогнозам. Судя по всему, до Пеньковского у англо-американцев не было агентов внутри советского комплекса стратегических вооружений.

В сводном докладе ЦРУ, направленном президенту Трумэну 6 июля 1948 г. и согласованном с разведкой госдепартамента, родов войск и Комиссией конгресса по атомной энергии, признавалось, что «остается по-прежнему невозможным точно определить статус этого проекта или график завершения работ над первой советской атомной бомбой». Самой ранней и «отдаленно возможной» датой называлась середина 1950-го г., а «наиболее вероятной» — середина 1953-го. «Дополнительные обсуждения с консультантами-геологами, анализ научной литературы и информация, полученная с мест, — говорилось далее в докладной директора ЦРУ адмирала Р.Хилленкоттера президенту Трумэну, — привели к выводу о том, что предыдущие оценки запасов урана в распоряжении СССР оказались заниженными. В итоге оценка производства бомб была скорректирована. В настоящее время считается, что количество бомб в советском арсенале не превысит 20 в 1955 г., если первое испытание пройдет в 1953 г., и 50 — если это произойдет в 1950 г.».[19] Тот же прогноз был подтвержден в июле и сентябре 1949 г. в качестве базовой сводной оценки всего разведывательного сообщества США.[20]

Помимо нехватки информации правильной оценке мешала и инерция высокомерия в отноше-

нии научно-технических возможностей СССР. Даже такой искушенный в советских и разведывательных делах человек, как генерал У.Б.Смит, после двух с лишним лет работы послом США в Москве на совещании в отделе внешнеполитического планирования госдепартамента в сентябре 1948 г. заявлял: «Как подсказывает мне моя «женская интуиция», у русских нет и не будет «А-бомбы» в заметном количестве еще по крайней мере лет пять — по той простой причине, что они не обладают тем уровнем технологического совершенства в объеме широкомасштабного массового производства, которое требуется для этого».[21] Еще большим снобизмом грешила британская разведка, не верившая в то, что система научных «шарашек» и тотального контроля МГБ может вывести советскую науку на мировой уровень, необходимый для таких проектов. «Представляется очевидным, что научный потенциал СССР, несмотря на его огромную численность, гораздо менее внушителен, чем кажется, — отмечал британский комитет научно-технической разведки в июне 1949 г. — Разумно предположить, что, хотя они осуществляют и будут продолжать профессиональные и оригинальные исследования, советские ученые вряд ли достигнут высот научной мысли и воображения, которые порождают основные продвижения в человеческом познании».[22] Летом того же года версия о том, что у СССР «точно нет» атомного оружия, подтверждалась осведомленными советскими перебежчиками в Германии.[23]

Тем не менее широкая американская общественность начинала с тревогой ощущать, что утрата атомной монополии США — это лишь вопрос времени, причем, возможно, уже совсем недалекого. Закрытые опросы общественного мнения, проводившиеся по заказу госдепартамента осенью 1948 г. авторитетным исследовательским центром Мичиганского университета, показывали, что преобладающее ощущение сохраняющегося военного превосходства США над Советским Союзом во многом зиждется на атомном оружии («пока бомба

есть только у нас, мы — босс») и омрачается «беспокойством в связи с будущей утратой нашего монопольного владения атомной бомбой».[24]

Планировщики госдепартамента под руководством Дж.Кеннана также заглядывали вперед, пытаясь предугадать те последствия, которые будет иметь обретение атомного оружия для советской политики. Их прогноз был весьма неординарным, резко отличаясь от кошмарных сценариев многих военных и гражданских аналитиков, предсказывавших новый виток «советской агрессии» после конца атомной монополии США. В специальном докладе для СНБ, подготовленном госдепартаментом в августе 1948 г., приводился ряд политических и военно-экономических факторов, которые «будут препятствовать советскому использованию атомного оружия против ведущих городских и промышленных районов других стран, кроме как в виде ответного удара на нападение на саму Россию». В качестве главного политического фактора приводилось то обстоятельство, что «советские руководители мыслят скорее в политических, нежели военных категориях и считают себя лидерами не только советского народа, но и крупных групп населения западных стран, особенно в больших городах и промышленных районах. Их главная цель — исподволь получить политическое преобладание в этих районах, а не разрушить их. Во время последней войны они не принимали активного участия в воздушных бомбардировках против немецкого населения и впоследствии стремились нажить на этом политический капитал в отношениях с немцами. Хотя отчасти это было вынужденной мерой, имеющиеся данные указывают на определенное политическое нежелание советской стороны в отсутствиу внешней провокации прибегать к методам массовых разрушений против гражданского населения других стран». Отмечалась также «традиционная осторожность» русских и особенно советских лидеров в планировании военных операций: «Финская война была единственным случаем, когда они решили прибегнуть к прямой военной аг-

рессии для достижения своих целей, и можно с уверенностью считать, что впоследствии они пожалели об этом эксперименте».

Из других сдерживающих факторов называлась повышенная уязвимость СССР к ответному атомному удару, вызываемая высокой концентрацией населения, промышленности и стратегических объектов в крупнейших городах, скудостью экономических резервов на случай новой большой войны и др. Советскому руководству, считали авторы доклада, придется также считаться с преимуществами США в этой области, количеством атомных боезарядов с обеих сторон, ситуацией со средствами доставки и стратегическим сырьем.

Более того, если отсутствие у СССР атомного оружия порождало в Кремле комплекс неполноценности и делало советское руководство «более непримиримым», то его приобретение, напротив, может дать обратный эффект: «Для советского ума невозможно представить, что мы, обладая этим фактором военного превосходства, не учитываем его в своих планах и не пытаемся использовать его в политических целях. Поэтому они неизбежно полагают, что наши позиции по международным вопросам, особенно — по контролю над атомной энергией, опираются на это превосходство и содержат завышенные требования, которых бы не было в случае более равномерного распределения атомной мощи. Посему на деле они могут оказаться более покладистыми в переговорах после того, как обретут это оружие и избавятся от ощущения, что ведут их с позиции слабости».[25] Возможно, авторы этого доклада принимали желаемое за действительное, но сейчас, по прошествии многих лет, очевидно, что их оптимистический прогноз в целом оправдался. На поверку Советский Союз действительно оказался ответственной ядерной державой, руководители которой и в критических ситуациях удерживались от соблазна «нажать на кнопку». Но для этого сначала нужно было избавиться от комплекса неполноценности, покончив с атомной монополией США.

Сталинская стратегия противодействия «атомной дипломатии» США была по-своему логичной и обоснованной. Публичное спокойствие и даже бравада в отношении атомного оружия как средства «устрашения слабонервных» (из известного интервью Сталина А.Верту осенью 1946 г.)[26] должны были девальвировать атомный козырь англосаксов, а повышенная жесткость в переговорах — показать им тщетность переговоров с позиции силы.[27] К этому добавлялась весьма хитроумная кампания пропаганды и дезинформации, проводившаяся по самым разным каналам с целью дезориентировать противника и замаскировать отставание Советского Союза в этой области.

Уже на Лондонской сессии Совета министров иностранных дел (сентябрь 1945 г.) В.М.Молотов походя, словно повторяя потсдамский «экспромт» Трумэна с его сообщением Сталину об испытании американской атомной бомбы, намекнул госсекретарю Дж.Бирнсу на то, что в СССР появилась атомная бомба.[28] Еще через месяц посольство США в Финляндии получило достоверные сведения о том, что просоветские члены побывавшей в Москве делегации общества «Финляндия — СССР» получили там указание распространять версию о появлении советской атомной бомбы. Аналогичная информация со ссылкой на более косвенные источники поступила в Вашингтон и из столицы Швеции.[29] 7 ноября в докладе об очередной годовщине Октябрьской революции Молотов заявил о невозможности сохранения монополии на технические секреты в руках какой-либо одной страны или группы стран. Вскоре, продолжил он, «мы будем иметь атомную энергию и много других вещей у нас в стране».[30] Американские дипломаты обращали внимание руководства госдепартамента на участившиеся сообщения в мировой прессе о том, что «СССР с его огромными сырьевыми ресурсами, промышленным потенциалом и высококлассными учеными, несомненно, способен сделать (атомную) бомбу». Предполагалось, что эти сообщения являются результатом «спланированной пропагандист-

ской кампании», цель которой — «преуменьшить военное значение бомбы и в то же время — создать впечатление, что Советский Союз тоже обладает ее секретом и готов к ее производству».[31]

В сентябре следующего года помощник военно-морского атташе США на Дальнем Востоке передал экстренное сообщение о якобы имевшем место испытании советской атомной бомбы в районе Читы. После обсуждения этого сообщения с военным и военно-морским атташе в посольстве пришли к выводу о том, что эта версия «создана для внешнего потребления» и стоит в ряду с другими «атомными слухами» последнего времени — «словами агитатора на московской фабрике о том, что СССР создал атомную бомбу, объявлении на концерте о взрыве первой советской атомной бомбы и заявлении советского наблюдателя по возвращении с Бикини о предстоящих вскоре атомных испытаниях в СССР». При всем скепсисе в отношении «атомных слухов» посольство все же не решилось списать их полностью, завершив свою шифровку словами: «До тех пор, пока нет убедительных доказательств в ту или иную сторону, представляется разумным исходить из того, что СССР, возможно, уже произвел и испытал атомную бомбу или сделает это в недалеком будущем».[32] Через неделю после отправки этой депеши Сталин в том же интервью Верту многозначительно предупредил, что «монопольное владение (атомным оружием. — *Авт.*) не может продолжаться долго».[33] Еще через месяц с небольшим Молотов с трибуны ООН дополнил вождя многозначительным пассажем, вызвавшим фурор: «Нельзя забывать, что на атомные бомбы одной стороны могут найтись атомные бомбы и еще кое-что у другой стороны, и тогда окончательный крах расчетов некоторых самодовольных, но недалеких людей станет более чем очевидным». «Кое-что еще» было, по воспоминаниям Молотова, его собственной импровизацией, направленной на то, «чтобы наши чувствовали себя более-менее уверенно... Сталин мне потом сказал: «Ну ты силен!»[34]

Своей кульминации кампания «атомных слухов» достигла в ноябре 1947 г., когда тот же Молотов в речи по поводу тридцатилетия Октябрьской революции официально заявил, что секрета атомного оружия «давно уже не существует».[35] Это заявление, хотя и встреченное «продолжительными аплодисментами» собравшихся, было весьма расплывчатым, ибо овладение секретом не обязательно означало создание и испытание атомного боезаряда. И все же на фоне других тогдашних действий СССР в ответ на «план Маршалла» — создания Коминформа, ужесточения контроля над Восточной Европой — оно звучало весьма внушительно, успокаивая советский народ и поддерживая в напряжении Запад. Атомный блеф облегчался отсутствием в США надежной системы обнаружения атомных взрывов, что, вероятно, не являлось тайной для Кремля.

Белый дом и «большая пресса» успокаивали себя тем, что в любом случае до реальной атомной бомбы Советскому Союзу еще далеко. «Большинство реакционно настроенных политиков и журналистов, — отмечал в этой связи закрытый орган внешнеполитической информации ЦК ВКП(б), — сознавая, что широкие массы людей без сомнения поверят заявлению товарища Молотова, и что империалистический лагерь потерял, таким образом, одно из своих наиболее мощных средств шантажа, пытаются доказать, что Советский Союз, зная секрет атомного оружия, еще не овладел «техникой производства» в этой области».[36]

Впрочем, в работе советской пропагандистской машины случались и осечки. Так, например, в потоке секретных донесений с анализом ноябрьской речи Молотова в госдепартамент поступило следующее сообщение от посла США во Франции Дж.Кэффри: «По сведениям от надежного источника Богомолов (посол СССР в Париже. — *Авт.*) в доверительной беседе с высокопоставленным дипломатом советского блока, аккредитованным во Франции, заметил, что заявление Молотова об атомной бомбе является преувеличением». Посол

не только дезавуировал своего министра, но и по секрету поведал своему (видимо, тоже разговорчивому) собеседнику, что «советское правительство концентрирует свои усилия на массовом производстве управляемых ракет, производившихся до этого на ракетном центре вермахта в Пенемюнде (вблизи Штетина). По словам Богомолова, этот центр был вывезен советскими специалистами в Восточную Сибирь, где был развернут в огромном масштабе».[37] Такого рода «утечки» лишь утверждали американскую разведку и дипломатию в их убеждении, что Советский Союз еще далек от обладания сверхоружием и продолжает наводить тень на плетень, маскируя свое отставание. Кто знает, быть может, подобное «усыпление бдительности» противника тоже входило в планы режиссеров советской пропаганды, и тогда богомоловские откровения вовсе не были безответственной отсебятиной?

Так или иначе, все это было лишь политико-пропагандистским шлейфом, окружавшим комету советского ответа на атомное превосходство США, ядро которой составляла форсированная реализация атомного проекта СССР. Здесь нет нужды подробно останавливаться на уже известном описании этой гигантской работы, потребовавшей неимоверного напряжения сил и ресурсов всего советского народа.[38] Результат известен — «женская интуиция» генерала У.Б.Смита на сей раз подвела матерого разведчика. «29 августа 1949 г. в 4 часа утра по московскому времени и в 7 утра по местному времени в отдаленном степном районе Казахской ССР, в 170 км западнее г.Семипалатинска, на специально построенном и оборудованном опытном полигоне получен впервые в СССР взрыв атомной бомбы, исключительной по своей разрушительной и поражающей силе мощности». Так писали в своем отчете Сталину 30 августа Берия и Курчатов, докладывая о выполнении задания вождя — создать советскую атомную бомбу. Хорошо зная сталинскую недоверчивость, руководители проекта особенно подчеркивали подлинность происшедшего: «На-

блюдавшаяся всеми участниками испытания картина взрыва не оставляет никаких сомнений в том, что произведенный на полигоне опытный взрыв является атомным взрывом». «1. Точно в назначенный момент взрыва в месте установки атомной бомбы (на 30-метровой стальной башне в центре полигона) произошла вспышка атомного взрыва, во много раз превосходящая по своей яркости поверхность Солнца.

В течение 3/4 секунды вспышка приняла форму полушария, увеличившегося до размеров 400—500 м по диаметру.

2. Одновременно со световой вспышкой образовалось взрывное облако, достигшее в течение 2—3 минут высоты нескольких км и прорвавшееся затем в обычные дождевые облака, которые покрывали в момент испытания небо.

3. Вслед за вспышкой взрыва возникла огромной силы ударная волна атомного взрыва.

Зарево взрыва было видно, а грохот ударной волны был слышен наблюдателями и очевидцами, находившимися от места взрыва на расстоянии 60—70 км».[39]

Эхо взрыва под Семипалатинском быстро докатилось и до Вашингтона. В начале сентября военно-воздушная разведка США обнаружила признаки повышенной радиации над Тихим океаном у берегов Камчатки. Проведенный анализ не оставлял сомнений в том, что в СССР действительно было испытано атомное взрывное устройство. Разведывательное сообщество США переживало шок от краха своих пророчеств. Даже спустя годы в известном впоследствии «докладе Гейтера» (1957 г.) сквозило удивление этим советским прорывом, начатым практически с нуля: «У них не было ни атомных бомб, ни мощностей для производства расщепляющихся материалов, ни производства реактивных двигателей, а электронная промышленность находилась в зачаточном состоянии. С учетом разрушения наиболее промышленно развитых районов в ходе войны и оккупации Россия напоминала отсталую страну. Ее промышленный потен-

циал составлял, видимо, около одной седьмой потенциала Соединенных Штатов».[40]

Москва между тем хранила полное молчание. Администрация Трумэна оказалась в сложном положении, и только появившиеся в прессе будоражащие утечки заставили президента 23 сентября выступить со специальным заявлением по этому поводу. США, было сказано в нем, «имеют доказательства, что в течение последних недель в СССР произошел атомный взрыв». Сохраняя хорошую мину при плохой игре, Трумэн заверил американцев и весь мир в том, что администрация была полностью готова к такому развитию событий: «Освоения этой новой силы другими странами следовало ожидать, и эта вероятность всегда нами учитывалась».[41]

При подготовке этого заявления пригодился меморандум отдела планирования госдепартамента под названием «О политических последствиях взрыва атомной бомбы Советским Союзом», по иронии судьбы составленный про запас всего за две недели до самого взрыва. В меморандуме подчеркивалась важность достоверного знания и своевременного оповещения об атомных испытаниях СССР с целью воздействия на общественное мнение и союзников, принятия мер по «снижению уязвимости США к атомному нападению» и оценки последствий данного феномена для советской и американской политики.[42]

«Сообщение Трумэна произвело невероятный переполох, — с удовольствием докладывал Сталину преемник Молотова на посту министра иностранных дел А.Я.Вышинский, находившийся тогда в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. — Редакции газет добиваются от меня подтверждения. Я, конечно, высказываться по этому поводу не намерен».[43] Сообщение Трумэна вызвало немалый переполох и в Москве — как американцы смогли узнать о сверхсекретном испытании? «Первой реакцией, — по воспоминаниям шефа атомного шпионажа П.Судоплатова, — была мысль о том, что в испытание проник американский агент; но

через неделю наши ученые доложили, что атомные взрывы в атмосфере могут быть легко обнаружены с помощью самолетов, берущих пробы воздуха вдоль советских границ».[44] Контрразведчики с облегчением вздохнули.

Трумэну ответил сам Сталин — но не напрямую, а в виде сообщения ТАСС, сделанного в ответ на заявление американского президента. Его перевод Сталин получил в тот же день (23 числа в 23 часа 55 минут, судя по записи в его канцелярии), находясь на отдыхе в районе Сочи. Сталин собственноручно составил текст сообщения (как он это делал в особо ответственных случаях) и еще раз отредактировал его машинописный вариант перед сдачей в печать. Сообщение, опубликованное 25 сентября, было выдержано в подчеркнуто будничном, спокойном тоне — Сталин явно обыгрывал контраст с алармизмом и «атомным бряцаньем» американцев. Он даже не признал сам факт взрыва атомного устройства, сославшись на мистические «строительные работы больших масштабов», сопровождавшиеся «большими взрывными работами», которые могли «привлечь к себе внимание за пределами Советского Союза». Эта вроде бы излишняя осторожность могла объясняться нежеланием вождя подтверждать данные американской разведки, тем более, если верить Судоплатову, советские ученые к тому времени еще не успели успокоить руководство насчет отсутствия американских агентов в Семипалатинске. К тому же Сталину нужно было довести свою атомно-пропагандистскую партию до конца, продолжая скрывать от своего народа и всего мира, что все эти годы СССР оставался беззащитен перед атомным мечом США. Поэтому в сообщении подтверждалась версия Молотова 1947 г., которая, оказывается, означала, что уже тогда СССР «открыл секрет атомного оружия, и он имеет в своем распоряжении это оружие». «Научные круги Соединенных Штатов, — с удовольствием напоминал Сталин о неоправдавшихся американских прогнозах, — приняли это заявление В.М.Молотова как блеф, считая, что русские могут овладеть атомным оружием не

ранее 1952 года. Однако они ошиблись, так как Советский Союз овладел секретом атомного оружия еще в 1947 году». Вместе с тем подчеркивалось, что у мировой общественности нет оснований для тревоги, ибо Советский Союз, «несмотря на наличие у него атомного оружия», по-прежнему выступает за международный контроль над атомной энергией и собирается использовать ее исключительно в мирных целях.[45]

Д.Холловэй — самый авторитетный западный историк советской атомной программы — назвал это заявление «гротескным», подготовленным «без участия физиков-ядерщиков, которые нашли его ужасным». Тем не менее он сам приводит вполне рациональное объяснение этой сталинской мистификации — опасение, что США в ответ могут резко ускорить свою атомную программу и пойти на другие крайние меры, прежде чем СССР поставит производство атомных бомб на поток.[46]

Сталинское «сообщение ТАСС» задало тон всей советской пропаганде на эту тему. Поначалу в ней преобладали международные отклики на это сообщение, призванные дать «внешнее» подтверждение исторического значения происшедшего. Затем в международном обозрении «Правды» появилась статья Маринина с подзаголовком «Крах атомной дипломатии», которая развивала все основные мотивы «сообщения». Правящие круги США, говорилось в статье, напрасно не поверили заявлению Молотова двухлетней давности (хотя «Советский Союз не делал никакой тайны из того факта, что он является обладателем атомного оружия») и сделали «мнимую монополию на атомное оружие» основой своей политики шантажа и стремления к мировому господству. «Ныне они хотят для той же цели использовать отсутствие этой монополии, призывая к дальнейшей гонке вооружений». Теперь ее придется пересматривать, но у народов мира нет оснований опасаться атомного оружия СССР, который будет продолжать борьбу за мир и полное запрещение атомного оружия. «Правда» также обвиняла президента Трумэна в разжигании «военной

истерии» вокруг этого сообщения, нацеленной, в частности, на проталкивание в конгрессе США программы военной помощи американским союзникам.[47]

Сообщение ТАСС, воспринятое в США как советское подтверждение конца атомной монополии Америки, вызвало не меньший переполох, чем заявление Трумэна. Сталин с интересом читал подробные тассовские сводки об этих откликах; его особое внимание, судя по подчеркиваниям, привлекла статья У.Липпмана из «Нью-Йорк Геральд Трибюн» о том, что Соединенным Штатам теперь придется менять свою политику и договариваться с русскими по атомным делам.[48] Вскоре «Правда» приведет еще одно примечательное липпмановское высказывание в своем обзоре зарубежных откликов: «Иллюзорная политика, на основании которой предполагалось, что советская система должна прийти к краху, так как ее сдерживают по всем ее границам, в настоящее время ликвидирована — сначала в результате ее полного поражения на Дальнем Востоке (имелась в виду победа китайских коммунистов в гражданской войне), а затем в результате создания атомной бомбы в Советском Союзе. Нет никакого другого выхода, кроме ведения переговоров о модус вивенди на основе равновесия сил и взаимных выгод».[49]

Реакция американской прессы была неоднозначной: наряду с выводами в духе Липпмана в ней сквозили и шок от неожиданного известия, и страх перед его последствиями, и даже призывы к превентивному удару по СССР, пока тот не обзавелся достаточным количеством атомных бомб и средств их доставки. На другом фланге раздавались голоса в пользу срочных переговоров с СССР на высшем уровне. В специальном обзоре реакции прессы для госсекретаря Д.Ачесона с удовлетворением отмечалось, что «преобладающим настроем является признание необходимости продолжения основ нынешней внешней политики США, в особенности — укрепления единства североатлантического и западноевропейского сообщества с помощью таких

мер, как Северо-Атлантический Союз, программа военной взаимопомощи и план Маршалла... Упор делается на том, что мы опережаем Советы в производстве атомных бомб на 4—5 лет, обладаем большей технологической и промышленной мощью. Поэтому многие считают, что России будет трудно нас догнать. Большинство комментаторов поддерживает наращивание нашей атомной и другой обороны, хотя и выражается надежда на предотвращение гонки атомных вооружений за счет создания эффективной системы международного контроля».[50]

В целях предотвращения паники и сохранения своей репутации надежной защитницы безопасности отечества администрация всячески поддерживала версию о том, что советский прорыв не означает серьезного сдвига в соотношении сил и СССР обречен на длительное отставание в атомной гонке. Посол У.Смит, назначенный вскоре новым директором ЦРУ, публично заверял, что этот разрыв составляет не менее десяти лет. Ему вторили придворные «атомные стратеги» типа Б.Броуди. Однако первоначальное благодушие общественного мнения быстро сменялось растущей тревогой по мере осознания происшедшего и нарастания голосов критиков официальной политики с разных сторон. Уже 1 октября группа ведущих ученых-физиков Чикагского университета, где в 1942 г. была получена первая устойчивая атомная реакция, выступила с резким опровержением прогноза Смита. Л.Сцилард, Ю.Рабинович и их коллеги предупреждали, что Советский Союз способен быстро наладить массовое производство атомного оружия и средств его доставки (прежде всего — ракет) и что единственный способ предотвратить дальнейшую гонку смертоносных вооружений и атомную войну — это пойти вместе с СССР на согласованные меру по контролю над ними. Сцилард даже призывал к роспуску НАТО для снижения стимулов Кремля к наращиванию своего атомного арсенала.[51] Еще через два дня популярный еженедельник «Ньюсуик» посвятил советскому атомному

вызову центральную часть номера, поместив на обложке портрет Сталина с надписью: «Человек, в руках которого бомба».[52] К ноябрю советское испытание уже вовсю сравнивали с Пёрл-Харбором, а ведущий американский геополитик Г.Моргентау назвал обретение Советским Союзом атомного оружия главным событием послевоенной эры, «превосходящим по своему значению даже переход Китая в социалистический лагерь».[53]

Острой была и реакция на происшедшее внутри самой администрации Трумэна. Спецслужбы срочно озаботились защитой территории США от атомного нападения, ибо вопрос, впервые осенивший американских специалистов на развалинах Хиросимы, вставал теперь в иной, гораздо более практической плоскости. «Недавний атомный взрыв в России, — говорилось в специальном докладе Комиссии по атомной энергии от 4 ноября 1949 г., — приблизил время принятия решений по основным проблемам гражданской обороны, включая вопросы рассредоточения объектов, находящихся в плотно заселенных городских районах, таких как правительственные учреждения в Вашингтоне».[54]

Столица США, естественно, стала главным фокусом внимания. В упомянутом докладе под названием «Город Вашингтон и атомные бомбардировки» на основе данных, полученных в Хиросиме и Нагасаки, оценивался вероятный масштаб поражения и предлагались меры по минимизации потерь. Основными целями советских бомбардировок считались Пентагон, Капитолийский холм со зданиями конгресса и комплекс правительственных зданий вокруг Белого дома, включавший госдепартамент, министерство финансов, ВМС и др. Трех десятикилотонных бомб хиросимского типа с радиусом поражения около 1 км каждая, как считали авторы доклада, будет вполне достаточно для полного разрушения этих стратегических объектов. Для их выживания предлагалась целая система мер, начиная от рассредоточения и кончая строительством убежищ от атомного поражения. В Вашингтоне разда-

вались и более радикальные призывы типа переноса правительственных учреждений из столицы США в далекую глубинку. Один из авторов этой идеи, конгрессмен Рэнкин даже стал персонажем карикатур в «Правде»: его изображали в панике убегающим из Вашингтона с Капитолием под мышкой. Доклад положил начало интенсивным приготовлениям США к атомному Армагеддону, продолжавшимся вплоть до середины 1960-х гг.

Дипломатию и разведку США волновали другие вопросы — воздействие советского атомного прорыва на нейтралов и союзников США, мировое общественное мнение, а также на саму советскую политику. Уже 23 сентября — в день заявления Трумэна — руководство госдепартамента разослало в 69 посольств и 17 консульств США по всему миру следующие инструкции: «Сообщите о первой местной реакции на объявление Трумэна о советской атомной бомбе. Особенно важно оценить видимые подвижки в уровне доверия и поддержки по отношению к позиции США и с другой стороны — СССР. Конкретизируйте преобладающие надежды, страхи, слухи и предположения. Соотнесите их с конкретными слоями и важными общественными группами страны вашего пребывания — рабочими, интеллектуалами и т.д. Дайте повторный отчет через две недели после сообщения о первой реакции».[55]

Одновременно еще более широкой рассылкой во все заграничные представительства США был направлен подробный циркуляр с ориентировкой относительно линии, которой следовало придерживаться при разъяснении данного вопроса иностранным партнерам. Прежде всего предписывалось не раскрывать источник информации о советском атомном взрыве и его технических характеристиках, воздерживаться от сопоставлений советского и американского прогресса в этой области, а также следовать версии о том, что это был «первый атомный взрыв в России», которая вряд ли имеет в запасе другие подобные бомбы. Отдельным пунктом в инструкциях выделялся тезис о том, что «нет ос-

нований считать это явление результатом копирования или воровства» американского атомного устройства (администрации было, видимо, легче признать самостоятельные способности русских, нежели собственные провалы в обеспечении секретности «манхэттенского проекта»). В циркуляре также подчеркивалась приверженность США идее международного контроля над атомной энергией, их способность принять адекватные меры для защиты от атомного нападения и сохранения способности к ответному удару. Для успокоения союзников предлагалось подчеркивать то обстоятельство, что советская бомба вовсе не означает радикального изменения соотношения сил, определяемого «общим военным потенциалом конфликтующих сторон, который, в свою очередь, основан на их экономическом и политическом здоровье и благосостоянии. Поэтому чем сильнее будут члены Северо-Атлантического договора по отдельности и все вместе в своем общем военно-экономическом потенциале... тем меньше вероятность того, что это оружие будет когда-либо использовано против кого-то из них».

Более изощренная аргументация предлагалась в поддержку тезиса № 16 инструкции, гласившего: «Мы не рассматриваем это развитие событий как очень тревожное». «Мы, естественно, озабочены тем, что это оружие оказалось в руках страны, политика которой во многих отношениях пагубна для мировой стабильности, тем более — в условиях отсутствия эффективной системы международного контроля. Мы никогда не считали войну неизбежной и не думаем, что овладение этим оружием Советским Союзом непременно сделает войну более вероятной. Мы никогда не должны забывать, что атомное оружие, при всей его ужасающей мощи, это лишь один из элементов сложной политической и военной реальности, определяющих безопасность нашей страны. Само по себе оно не дает его обладателю ни гарантий победы, ни страховки против возмездия... Мы должны помнить, что в этом мире нет и не может быть абсолютной безопаснос-

ти. Безопасность — понятие относительное. Тот факт, что мы более не является единственными обладателями атомного оружия, должен быть источником обновленной решимости сделать войну невыгодной, а значит, и маловероятной, и доказать народам мира, что есть лучшие решения проблем человечества, чем международное насилие». При всей пропагандистской предназначенности этих рассуждений в них явно просматриваются зачатки нового, более трезвого взгляда на роль и возможности атомного оружия, который уже начинал формироваться в госдепартаменте в противовес «атомному энтузиазму» военного командования.

Но, пожалуй, самым интересным был заключительный, 17-й пункт циркуляра, касавшийся возможных последствий этого события для политики СССР: «Мы, разумеется, не знаем, вызовет ли это изменения в советской политике. Напомним, что когда мы впервые заполучили это оружие, президент в своем обращении к стране 9 августа 1945 г. признал возложенную на нас ответственность перед всем миром за использование этого оружия. Говоря о «выпавшей на нашу долю огромной ответственности», он подчеркнул, что мы должны «стать попечителями этой новой мощи с тем, чтобы предотвратить злоупотребление ею и поставить ее на службу человечеству». Мы не теряем надежды на то, что сознание обладания этим ужасающим и разрушительным оружием приведет советских лидеров к схожему пониманию своей ответственности перед народами мира и что они присоединятся к нам и другим странам в новых поисках путей защиты человечества от разрушительной силы этого открытия».[56]

Госдепартамент, как видно, продолжал лелеять надежду (впервые выраженную в упомянутом выше докладе 1948 г.) на «умеряющее» воздействие атомного оружия на советское поведение. То же стремление к акцентированию позитива ощущалось и в анализе международных откликов на конец атомной монополии США. В Европе, по сообщениям американских дипломатов, эта реакция

оказалась довольно умеренной, не приведя к заметному ослаблению престижа и позиций США. В качестве главной долгосрочной опасности искушенные аналитики рассматривали усиление нейтралистских настроений на континенте под действием соблазна «отсидеться» в смертельной схватке двух атомных сверхдержав. Эта опасность предвиделась еще до советского испытания. В уже упомянутом меморандуме планировщиков госдепартамента от 16 августа 1949 г. говорилось: «Большая часть свободных стран мира в настоящее время склонны сотрудничать с Соединенными Штатами в свете угрозы советской агрессии. Убеждение в том, что мы являемся единственным обладателем атомных бомб, которых нет у Советского Союза, вероятно, усиливает их желание сотрудничать с нами и ощущение безопасности такого сотрудничества... Сознание того, что СССР также обладает таким оружием, может подвигнуть третьи страны к позиции нейтралитета между США и СССР».[57] Теперь эти опасения начинали подтверждаться. «Я думаю, — писал из Парижа Ч.Болен, — что долгосрочным последствием, несомненно, будет усиление тех элементов в Европе, которые всегда тяготели к политике нейтралитета в шведском духе и искали убежища в иллюзии о том, что эта борьба идет между США и СССР, а Франция и более мелкие страны континента в ней не более чем невинные посторонние. Этот взгляд, правда, с лихвой перекрывается растущим пониманием опасности советских целей для них самих и иллюзорности нейтрализма перед лицом этой опасности. И все же не следует недооценивать психологического и политического воздействия появления советской атомной бомбы как фактора, подрывающего общность, создаваемую планом Маршалла и Атлантическим пактом».[58]

Действительно, как сообщало посольство США в Париже, советская атомная бомба стимулировала в интеллектуальных кругах страны дебаты о возможности появления нейтральной континентальной Европы между «двумя гигантами». Эти

сценарии варьируются от Европы в роли мировой Швейцарии до Европы как «американской Югославии, которая еще не нашла своего Тито».[59]

Впрочем, в той же Франции звучали и более ответственные голоса, жадно ловимые американской дипломатией. Так, Раймон Арон — восходящая звезда на французском интеллектуальном небосклоне — откликнулся на происшедшее редакционной статьей в газете «Фигаро» под названием «Конец атомной монополии», которую посольство США в Париже рекомендовало руководству госдепартамента как авторитетный образчик «ученого французского мнения».[60] Арон высмеивал надежды нейтралистов как «инфантилизм», считая, что Европа — этот главный приз в холодной войне, обречена быть полем боя двух сверхдержав и союзником одной из них. Это и без того незавидное положение Европы становилось, на его взгляд, еще более критическим, поскольку теперь именно она могла стать главным объектом советского ответного удара, пока еще бессильного достичь самой Америки. Арон видел бессмысленность продолжения гонки атомных вооружений, которая не сможет изменить новой кардинальной реальности — взаимной уязвимости обеих сторон к атомному уничтожению. Единственным конечным выходом из ситуации, которую потом теоретики назовут «взаимным гарантированным уничтожением», Арон видел в ее осознании атомными державами и на этой основе — в достижении «договоренности избегать применения средств разрушения, которые не пощадят никого».[61]

В качестве образца более оптимистической французской реакции посольство рекомендовало статью другого видного теоретика — К.Ругерана «Атомная война». Автор стремился доказать, что, во-первых, атомная война не обязательно будет самоубийством для человечества или даже двух сверхдержав; и, во-вторых, что США благодаря своему географическому положению, многомерности своей мощи, глобальному военному присутствию будут обладать в ней неоспоримыми пре-

имуществами перед СССР, что будет и дальше заставлять Советский Союз избегать большой войны со своим главным противником и вообще проявлять особую осторожность в применении своего атомного козыря.[62]

Даже в лояльной Великобритании, впервые ощутившей свою уязвимость для советского нападения, появились признаки примиренческих настроений. Как свидетельствовали американские дипломаты, вскоре после сообщения об испытании в Семипалатинске экс-премьер У.Черчилль решил выступить с публичным призывом провести встречу в верхах руководителей СССР, США и Великобритании для ослабления напряженности в холодной войне и только по настоятельной просьбе американцев на время отказался от этой затеи.[63]

Пока европейские интеллектуалы упражнялись в гипотетических построениях, дипломаты и военные США разрабатывали конкретные планы противодействия новым возможностям Советского Союза. При всех надеждах на «атомную ответственность» СССР военно-политические планировщики США исходили из презумпции о резком усилении советской угрозы в результате утраты Америкой атомной монополии. Речь еще не шла о реальной утрате военно-стратегического превосходства США, хотя некоторые проницательные эксперты вроде Г.Моргентау уже начали говорить о наступлении нового — «биполярного» мира.[64] Не рассматривалась всерьез и немедленная угроза прямого военного нападения со стороны СССР, которое считало вероятным только командование ВВС. Главная непосредственная опасность виделась в политико-психологическом воздействии атомного рычага на советское мышление и поведение. Все военные планы США рассматривали свой атомный щит как главное средство сдерживания советского превосходства в обычных силах, и потому теперь считалось, что уязвимость этого щита может поощрить советское руководство к большей напористости и риску в достижении своих целей — «большему, чем ранее желанию предпринимать дей-

ствия, включая применение силы в локальных ситуациях, способные привести к случайному возникновению общего военного конфликта», — как писал П.Нитце.[65] В то же время новая ситуация уязвимости грозила лишить Соединенные Штаты повышенной свободы рук, которую они имели в годы своей атомной монополии.

Реальность такой угрозы должна была возрастать по мере накопления атомного арсенала СССР и средств его доставки. Еще в конце 1948 г. Пентагон исходил из того, что СССР накопит достаточный для глобальной войны атомный арсенал (100—200 бомб) лишь к 1964 г.[66] Теперь ОКНШ передвигал этот срок на целых десять лет, вперед, предсказывая, что к середине 1950 г. у СССР будет 10—20 атомных бомб, еще через год — 25—45 и к 1954 г. — 120—200.[67] В сочетании с прогрессом в развитии стратегической авиации и использованием дозаправки в воздухе это поставило бы под угрозу уничтожения промышленную инфраструктуру США и тем самым лишило бы их способности вести затяжную войну против СССР. В ситуации, когда США убоятся пойти на риск атомной войны, Советский Союз, по логике американских планировщиков, «мог пойти на вмешательство в Берлине, форсировать объединение Германии на своих условиях, поддержать захват власти коммунистами в Греции, Италии или Франции, подтолкнуть Китай к помощи Хо Ши Мину или заблокировать переговоры о мирном договоре с Японией...» Даже если сами Соединенные Штаты не поддадутся такому давлению, то их союзники могут дрогнуть и не поддержать линию США.[68]

Даже В.Буш, в 1945 г. выступавший за сотрудничество с СССР в атомной энергетике, теперь с большой тревогой писал в ОКНШ о новой уязвимости США, вспоминая о золотой поре атомной монополии. «Вскоре после войны казалось, что мы как единственные обладатели атомной бомбы и средств ее доставки могли поддерживать мир во всем мире, а если бы внезапно разразилась война, то быстро привести ее к успешному завершению одним лишь этим средством. Возможно, и тогда это

было не совсем так, но сейчас это явно не так. У нас больше нет монополии на атомную бомбу, а средства защиты от бомбардировочной авиации проделали огромный прогресс и продолжают усовершенствоваться с каждым днем. В итоге, случись завтра война, она будет затяжной и отчаянной, которая принесет нам серьезные поражения в своем начале и победить в которой мы можем надеяться лишь годы спустя благодаря нашему промышленному потенциалу, да и то после нанесения нам непоправимого ущерба».[69]

Единственным выходом в рамках такой логики было форсированное наращивание военно-силового, прежде всего атомного, потенциала с целью сохранения, а лучше — увеличения отрыва в этой области от СССР. 10 октября специальный комитет СНБ в составе госсекретаря Д.Ачесона, министра обороны Л.Джонсона и главы Комиссии по атомной энергии Д.Лилиенталя представил президенту доклад с рекомендациями ускорения атомной программы. «Когда СССР создаст запас атомного оружия, — говорилось в нем, — потребуется подавляющее превосходство нашего запаса и темпов его пополнения, если мы хотим, чтобы наш атомный потенциал оставался средством сдерживания войны».[70] Трумэн быстро одобрил предложения комитета. Решение об ускорении своей атомной программы приняли и англичане, еще не испытавшие собственной атомной бомбы.

В США на подходе было и другое, еще более важное решение — о создании термоядерной бомбы. Этот проект теоретически обсуждался учеными с конца Второй мировой войны, но лишь после взрыва под Семипалатинском стал выдвигаться на передний план. Энтузиасты «супербомбы» — физики Э.Теллер и Э.Лоуренс, член КАЭ Л.Штраус, руководство ОКНШ — с удвоенной энергией принялись за проталкивание этой идеи, сулившей возрождение монополии США на новом — ядерном витке гонки вооружений. Дополнительную привлекательность их аргументам придавали обоснованные подозрения о том, что СССР уже ведет работу

по созданию этого оружия[71] и в случае пассивности США может обогнать их на этот ключевом направлении. Последствия же советской ядерной монополии представлялись катастрофическими: «овладение супербомбой», предупреждало военное командование, «придаст советским лидерам и их сателлитам огромный психологический толчок, который в условиях мирного времени может привести к росту их агрессивности и политического проникновения в страны западного мира. Огромные возможности использования термоядерного оружия как средства шантажа сослужат Советскому Союзу хорошую службу в навязывании своей воли народам Европы и отчуждении их от западного мира».[72] Короче говоря, заключил П.Нитце, СССР «может начать господствовать в мире».[73]

Энтузиастам «супербомбы» противостояла большая часть ученых — членов Совещательного Совета при КАЭ во главе с Р.Оппенгеймером, а также некоторые эксперты госдепартамента. Они считали ядерную бомбу не только аморальным оружием геноцида, но и ненужной (поскольку и атомного арсенала будет достаточно для сдерживания советского «термоядера») и даже опасной, способной лишь подстегнуть новый, еще более разрушительный тур гонки вооружений.[74] Пожалуй, самым убежденным и красноречивым оппонентом «супербомбы» стал Дж.Кеннан. Он видел в ней не рациональный инструмент политики, а возврат к первобытным концепциям войн, практиковавшимся азиатскими ордами, «несовместимый с политическими целями, направленными на изменение поведения противника, а не на его полное истребление».[75] На совещаниях в госдепартаменте Кеннан призывал отказаться не только от производства водородной бомбы, но и от использования атомного оружия первыми ввиду опасности эскалации атомной войны с СССР. Вместо этого Кеннан уже тогда предлагал договориться с Советским Союзом о взаимном отказе от применения атомного оружия первыми и сохранить его лишь в качестве средства ответного удара.[76] Пойти на это, возразил Ачесон,

значит отказаться от использования атомного оружия как средства сдерживания обычной агрессии. Кроме того, «будет весьма неловко просить у конгресса дополнительные ассигнования для увеличения производства бомб, которые мы так и не собираемся использовать».[77] Позиция военных была еще более жесткой: назвав добровольный отказ от производства супербомбы «глупым альтруизмом», ОКНШ утверждал, что «публичный отказ США от создания супербомбы может быть истолкован как первый шаг к одностороннему отказу от применения любого атомного оружия, за чем неизбежно последуют глубокие сдвиги в международном соотношении сил в ущерб Соединенным Штатам».[78]

Действительно, предложения Кеннана были явной ересью с точки зрения военно-стратегической и бюрократической логики. Инициатива в закулисной борьбе вокруг судьбы термоядера переходила к его апологетам. Этому способствовали осуждение бывшего ответственного сотрудника госдепартамента А.Хисса (21 января 1950 г.), обвинявшегося в работе на советскую разведку, и арест в Лондоне К.Фукса по обвинению в атомном шпионаже в пользу СССР (27 января). Под воздействием этих громких дел общественные настроения менялись в сторону поддержки ядерной программы: согласно опросам Гэллапа 69% американцев выступало за создание «супербомбы».[79] 31 января после заключительного обсуждения с Ачесоном и Джонсоном Трумэн объявил о начале развертывания программы по созданию ядерного оружия.

В те же дни мир облетело известие о заключении в Москве договора о дружбе и взаимопомощи между СССР и недавно образованной КНР, что означало становление советско-китайского союза. Потеря Китая для Запада вслед за утратой атомной монополии США сулила глубокий сдвиг глобального соотношения сил в пользу СССР, усиливая оптимизм в Москве и опасения в Вашингтоне. В декабре 1949 г. на обсуждение в отделе Кеннана был даже поставлен вопрос: «На кого работает время — против США или СССР?»[80] Американское

посольство в СССР сообщало о новом «чувстве удовлетворения от растущего престижа и мощи страны», которое при помощи официальной пропаганды охватывает не только советских лидеров, но и простых людей: «Самые неотложные задачи по восстановлению промышленности, по всей видимости, решены, пятилетний план, судя по всему, будет выполнен досрочно: налицо серьезные продвижения во многих областях, включая атомную энергию: в любом случае СССР стал одной из двух сверхдержав современного мира, слова и действия лидеров которой отзываются по всей планете, как подчеркивается в «Правде». Подобные обращения особенно эффективны, поскольку подспудно сильный русский патриотизм веками угнетался превалировавшим ощущением русской отсталости и неполноценности в сравнении с Западом. Поэтому новое ощущение мирового лидерства, вероятно, усиливается его новизной».[81] Вторя военным планировщикам, аналитики госдепартамента вновь акцентировали, что подобное «головокружение от успехов» может привести Кремль к «большему, чем раньше желанию пойти на действия, включая применение силы на локальном уровне, которые могут привести к непреднамеренному началу всеобщего военного конфликта».[82] Выводы напрашивались сами собой.

Свое окончательное оформление стратегия «нового рывка» получила весной 1950 г. с принятием знаменитой впоследствии директивы СНБ-68, подготовленной под руководством преемника Дж.Кеннана на посту начальника отдела планирования политики П.Нитце. В документе рисовалась тревожная картина изменения военно-стратегического баланса в пользу СССР: момент «максимальной угрозы» должен был наступить в 1951—1953 гг., когда советский атомный арсенал, по расчетам, будет составлять около 200 бомб. Для выправления ситуации предлагалась программа массированного наращивания военной мощи, нацеленная на сохранение военного превосходства над противником как непременного условия достижения победы в

холодной войне: «Без превосходящей совокупной военной мощи в состоянии высокой мобилизационной готовности политика сдерживания которая по сути, является политикой рассчитанного и постепенного принуждения, будет не более чем блефом». Основу этой превосходящей мощи должно было составить атомное (а в перспективе и ядерное) оружие: «Только в случае, если мы будем иметь атомное превосходство и господство в воздухе, можно будет удержать СССР от применения атомного оружия по мере продвижения к достижению наших целей».[83]

Погоня за призрачным ракетно-ядерным превосходством продолжалась еще долгие годы до достижения стратегического паритета США и СССР, о неизбежности которого предупреждали дальновидные американские аналитики на заре атомной эры. Советский атомный прорыв положил начало новому биполярному миру, основанному на взаимном сдерживании двух ядерных сверхдержав. У СССР появился свой ядерный щит, который и поныне остается основой обеспечения безопасности России. Конец атомной монополии обернулся благом и для самих США, резко ослабив опаснейший соблазн боевого применения ядерного оружия. Теперь, когда этот биполярный мир ушел в прошлое, а США на время превратились в «единственную сверхдержаву», Америка проходит новое испытание на ядерную зрелость и ответственность.

КРАХ ИЛИ РАЗМЯГЧЕНИЕ? О ЦЕЛЯХ США В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ

Анализу стратегии «сдерживания» посвящена обширная американская литература, писали о ней со своих позиций и советские историки. Однако в последние годы, после окончания холодной войны, эта тема нуждается в новом прочтении. Как с высоты сегодняшнего исторического опыта, когда мы знаем исход этого великого противоборства и ко-

нечную судьбу советской системы, видится американская стратегия борьбы с ней? Насколько верными были ее исходные посылки, выбор целей и средств их достижения? Какой вклад она внесла в исход холодной войны и развал советской системы?

Американская дискуссия по данной проблематике пока не дала объективных ответов на эти вопросы. Это и неудивительно, ибо она крайне политизирована и заострена на борьбе за лавры победителя в холодной войне. Правоконсервативные публицисты с редким единодушием приписывают эту победу наступательной стратегии США (прежде всего — в ее рейгановском варианте). Главный контртезис либералов сводится к тому, что советская система стала жертвой внутренней слабости, а не внешнего давления.[1]

Это размежевание получает почти зеркальное отражение в российских дискуссиях о причинах конца холодной войны с той разницей, что место американских консерваторов в них занимают сторонники советской системы (с их тезисом «во всем виноват Запад»), а место американских либералов — ее противники («система прогнила изнутри»).[2] При этом и американские и российские дискутанты, как правило, не дают себе труда обратиться к историческому анализу, ограничиваясь общими рассуждениями и крайне избирательным цитированием известных документов и авторов американской стратегии. Попытаемся же для начала реконструировать представления первых творцов этой стратегии о ее целях в отношении СССР.

Отправной точкой всех стратегических построений Кеннана и других «мудрецов» послевоенного стратегии США было стойкое этическое отвращение к сталинской системе как воплощению зла на земле. «Если Сталин в чем-то и преуспел, — писал Кеннан летом 1949 г. госсекретарю Д. Ачесону, — так это в доказательстве того, что деградацию человека можно «организовать» столь же эффективно как и его достоинство; что презрение к челове-

ческой личности может стать приемлемой и практичной основой государственного устройства; и что при всей проблематичности создания царства небесного на земле вполне реально и даже выгодно создать на ней чистилище и сам ад».[3]

Масштаб «советской угрозы» для Запада определялся, по Кеннану, сочетанием этой «адской» системы и мессианских претензий ее лидеров с огромной военной мощью, обильными ресурсами и возможностями распространения своего влияния, открывшимися для Кремля по окончании Второй мировой войны. При этом полностью опускался ключевой вопрос о законных интересах безопасности СССР, поскольку считалось, что «советское поведение» определяется не ими, а ненасытным и безграничным стремлением к экспансии, которую Кеннан уподоблял «текучему потоку, стремящемуся заполнить все полости в бассейне мирового влияния».[4]

Главные источники этой экспансии виделись в большевистской идеологии как продолжении русского мессианства и диктаторской форме сталинского правления. «Ментальный мир советского руководства» представлял, по Кеннану, «особый род фанатизма», основанного на убеждении в «непримиримости антагонизма между капитализмом и социализмом» и «непогрешимости Кремля как единственного хранителя истины». Такой менталитет исключал для Москвы саму возможность «искреннего допущения общности целей между Советским Союзом и странами, считавшимися капиталистическими». В свою очередь тоталитарно-репрессивный характер сталинской системы постоянно нуждался во внутренних и внешних врагах для собственного самосохранения «Упор, который делается в Москве на угрозе советскому обществу со стороны внешнего мира, основан не на реальной враждебности этого мира, а на необходимости обоснования диктаторской власти внутри страны».

«В итоге, — заключил Кеннан в своей знаменитой «длинной телеграмме», — мы имеем дело с по-

литической силой, фанатически убежденной в том, что с Соединенными Штатами не может быть никакого постоянного модус вивенди, что для обеспечения безопасности советской власти желательно и необходимо подорвать гармонию нашего общества, разрушить наш традиционный образ жизни и международный авторитет нашего государства. Эта политическая сила имеет в своем полном подчинении энергию одного из величайших народов мира и ресурсы самой богатой национальной территории, опирается на глубокое и мощное течение русского национализма. Она также располагает изощренным всепроникающим аппаратом распространения своего влияния в других странах... Проблема обращения с этой силой есть, безусловно, величайшая задача для нашей дипломатии за всю ее прошлую, а возможно — и будущую историю...»[5] Ставки в этой борьбе предельно высоки, поскольку советские лидеры, подчеркивал Кеннан, «располагают средствами, способными обрушить храм западной цивилизации на наши и свои головы».[6]

Какие же рецепты обращения с этой силой вытекали из подобного диагноза? Первое — бессмысленность попыток договориться с Кремлем путем убеждения или удовлетворения его запросов. Главный пафос «длинной телеграммы» как раз и был направлен на изживание остатков рузвельтовского подхода в духе «мягкого приручения». Фанатиков невозможно переубедить силой аргументов, а уступки лишь разожгут аппетиты Кремля, не меняя его враждебности к Западу.

Более логичным выглядел радикальный вариант решения проблемы силой — вплоть до «безоговорочной капитуляции», уже апробированный в отношении германского фашизма и японского милитаризма. Представление о том, что борьба двух столь враждебных систем выльется в лобовое военное столкновение между ними уже в обозримом будущем, получала все большее распространение в политических кругах США, ибо мало кто мог тогда предвидеть, что эта «борьба миров» затянется

почти на полвека и закончится мирным путем. А если война неизбежна, считали сторонники превентивного удара по СССР, то лучше начать ее самим по своему выбору, пока соотношение сил явно в пользу США.

По практическим и моральным соображениям Кеннан, который даже во внутренних документах советской дипломатии тех лет считался одним из застрельщиков «подготовки войны против СССР»,[7] отвергал «большую войну» как средство решения «советской проблемы». Соединенным Штатам, доказывал он в своих закрытых выступлениях перед американскими военными и дипломатами в 1946—1949 гг., не под силу оккупировать всю советскую территорию или добиться безоговорочной капитуляции советского правительства; вообще при наличии атомного оружия, с точки зрения либерально-демократической традиции, «война между великими державами даже при самых благоприятных обстоятельствах ведет к ужасающей деградации состояния всего мира». На рубеже 1950-х г. — в разгар военного психоза в США в связи с «потерей Китая» и концом американской атомной монополии — Кеннан по согласованию с руководством госдепартамента даже пишет специальную статью для массовой аудитории под заголовком «Неизбежна ли война с Россией?», в которой ставит под сомнение наличие у Кремля планов «военного нападения на западный мир» и отрицает целесообразность такой войны для США.[8] Превентивная война к тому же противоречит самой сути демократического государственного устройства. «Демократическое общество не может планировать превентивной войны, — говорил Кеннан на лекциях перед слушателями Института дипломатической службы в начале 1949 г. — Демократия не оставляет места для заговоров в больших государственных делах. Но даже если бы было возможно для демократии целенаправленно вести дело к войне, это, на мой взгляд, стало бы ложным ответом. Мне представляется, что мы обречены определять наши цели таким образом, чтобы их можно было достичь

средствами помимо войны». Кеннан, по его словам, был «готов ждать хоть тридцать лет ради победы над Кремлем мучительно трудными и медленными средствами дипломатии, нежели прибегнуть к силе оружия для урегулирования проблемы, столь мало подвластной такому решению».[9]

Какому же решению была подвластна эта проблема и как нужно было определить цели «холодной войны», чтобы добиться их без превращения ее в войну «горячую»? Оставался только один вариант: «Холодная война», — писал Кеннан в упомянутой статье «Неизбежна ли война с Россией?», — не будет окончательно разрешена в нашу пользу до тех пор, пока те, чьи цели и решения держат в напряжении весь мир, не будут вынуждены прийти к выводу о том, что их усилия по установлению и поддержанию политического контроля над другими народами противоречат их собственным эгоистическим интересам...»[10] По сути речь шла о том, чтобы найти функциональный эквивалент победоносной войны — заставить противника отказаться от своих целей без его военного разгрома, то есть изменить намерения противника без разрушения его военного и экономического потенциала. В качестве такой принуды и предлагалась стратегия «сдерживания», ставшая, по точному выражению ее главного знатока — историка Джона Гэддиса, «экспериментом по модификации советского поведения».[11]

В этом смысле общий замысел был сродни рузвельтовскому, но если покойный президент искал подобной модификации на путях сотрудничества и признания интересов безопасности СССР («приручение через интеграцию»), то Кеннан предлагал скорее подобие смирительной рубашки для душевнобольной коммунизмом России, сохраняющей, однако, шансы на выздоровление и возвращение в цивилизованное сообщество. Мягкий способ «перевоспитания» на сей раз предназначался для вчерашних смертельных врагов Америки — Германии и Японии, подлежавших либерально-демократической «переделке» под прессом американской оккупации.

«Сдерживание», по Кеннану, было возможным и достаточным средством решения советской проблемы ввиду превосходства Запада над внутренне уязвимой советской системой и ее отличия от фашистского тоталитаризма. «Советская мощь в отличие от мощи гитлеровской Германии не авантюрна и не действует по схеме, — писал Кеннан в «длинной телеграмме». — Она не идет на ненужный риск. Неподвластная логике разума, она очень восприимчива к логике силы. Поэтому она способна к отступлению и обычно отступает, если встречает сильное сопротивление». Советские лидеры, писал он в другом месте, лишены «слепоты и безумства Гитлера», «ими руководит стремление к самосохранению».[12] Отсюда главная задача Запада — «длительное, терпеливое, но твердое и бдительное сдерживание экспансионистских тенденций России».[13]

В анализе слабостей советской системы Кеннан выделял текущие и системные факторы. К первым относились «физическая и духовная усталость» народа, подорванного десятилетиями лишений и репрессий, лишенного пылкой «веры и самоотверженности по отношению к режиму»; послевоенная разруха. Глубинная слабость этой системы, «пытающейся жить за счет унижения человека», проистекала из ложных, противоречащих здравому смыслу и человеческой природе принципов, на которых она была основана. Однобокое развитие тяжелой промышленности за счет ограбления потребителя и деревни, неразрешимость аграрной проблемы, предвидел Кеннан, будет не только тормозить экономический прогресс Советского Союза, но и подрывать ресурсные возможности распространения его влияния в мире. При сохранении этих родовых пороков «Россия останется экономически уязвимой и в определенном смысле немощной страной, способной экспортировать свой энтузиазм и излучать странное обаяние своей примитивной политической живучести, но бессильной подкрепить эти статьи экспорта реальными свидетельствами материальной мощи и процветания».[14]

Экономическую слабину советской системы видели и другие наблюдатели, для которых она, правда, во многом компенсировалась ее сильными сторонами — способностью к концентрации ресурсов на решающих направлениях и т.п.

Более оригинальным и прозорливым было кеннановское прочтение политических слабостей системы. Одна из них относилась ко всем тоталитарным режимам и может быть названа тенденцией к их самоугасанию, впервые подмеченной именно Кеннаном, а не профессиональными исследователями тоталитаризма, загипнотизированными его витальной силой. Речь идет о неспособности тоталитарного режима сохранять свой исходный динамизм и первозданную природу по мере ухода со сцены его создателей. «Возможно, что близкие помощники этих людей унаследуют их власть, а с нею и разгоревшиеся в борьбе страсти, — писал Кеннан в статье «Америка и русское будущее». — Но процесс наследования не может пойти дальше этого. Люди могут двигаться как бы в силу привычки, в результате эмоциональной инерции, полученной ими от других, но они уже не в состоянии передать ее дальше... Жестокость, ложь, бесконечное издевательство над человеком, практикуемое в концентрационных лагерях, — все эти атрибуты полицейского государства, возможно, и имеют вначале зловещую притягательную силу, вроде той, которую опасность и анархия имеют для живущего налаженной и спокойной жизнью общества; но рано или поздно они надоедают всем, как надоедает приевшаяся, однообразная порнография, — включая и тех, кто этому предавался».[15] Чуть ниже в той же статье он сравнивал тоталитарное состояние России с затянувшейся мучительной болезнью, которую ее организм рано или поздно преодолеет сам.

Однако подлинной ахиллесовой пятой режима была, по Кеннану, его политическая неукорененность в обществе, проистекавшая из глубокого разрыва между народом и правящей партийной номенклатурой, чья власть основана «на железной

дисциплине и беспрекословном повиновении, а не на искусстве компромисса и взаимного приспособления». «Кремлевская правящая группа отчуждена от своего собственного народа», говорил Кеннан на одном из закрытых совещаний с европейскими союзниками в 1948 г., поэтому «если фортуна им по-настоящему изменит и вера их подопечных и врагов в прочность и неизбежность их власти всерьез пошатнется, то у них не окажется большого запаса лояльности или интересов, к которым можно было бы обратиться с последним призывом о помощи».[16] Иными словами, в критический час системе будет не на кого опереться, что и подтвердилось на рубеже 1990-х г.

Но тогда, как предвидел Кеннан, в стране не будет и силы, способной разумно распорядиться этой выпавшей из рук номенклатуры властью, ибо раздавленный деспотизмом советский народ вряд ли окажется способен к скорой демократической самоорганизации. «Советская власть... это лишь оболочка, скрывающая аморфную человеческую массу, которой отказано в любой независимой организационной структуре. В России нет даже местного самоуправления. Нынешнему поколению русских людей неведома спонтанность коллективного действия. Поэтому если произойдет нечто такое, что подорвет единство и дееспособность партии как политического инструмента, Советская Россия может за ночь превратиться из одной из сильнейших в одну из самых слабых и жалких наций мира... хаос и слабость русского общества явят себя в неописуемых формах».[17]

Эти малоизвестные слова из знаменитой «статьи Икс» — одно из самых ранних и точных предсказаний обвального характера распада советской системы, зиждившейся на партократии. Сейчас кажущееся случайным угадыванием, а тогда — экстравагантным вымыслом, это предвидение между тем логично вытекало из кеннановского анализа советской системы как строя, который в критический момент некому будет защищать и который оставит после себя выжженную землю задавленного,

неспособного к самоуправлению общества. Не случайно он не раз возвращался к этому прогнозу в других своих работах и выступлениях тех лет.

Глубокий анализ слабостей советской системы подводил Кеннана к мысли о том, что она, возможно, уже прошла свой зенит: «Кто может поручиться за то, что лучи, все еще посылаемые Кремлем недовольным народам западного мира, не являются тем самым последним светом угасающей звезды? Доказать это нельзя. И опровергнуть тоже. Но остается надежда (и, по мнению автора этой статьи, довольно большая), что советская власть, как и капиталистический строй в ее понимании, несет в себе семена собственной гибели и что эти семена уже тронулись в рост».[18]

Нужно было обладать немалой независимостью мышления, чтобы писать такое в 1947 г., когда сталинская система, успешно выдержав огромное испытание, казалось, была на небывалом подъеме, а капитализм еще не оправился от ударов мирового экономического кризиса и недавней войны. Недаром самый серьезный критик Кеннана в американском истеблишменте У.Липпман в своей знаменитой серии статей «Холодная война» обрушился на мистера Икс прежде всего за упование на «чудеса» и «выдавание желаемого за действительное». Как можно, вопрошал знаменитый публицист, строить долгосрочную стратегию на недоказанных презумпциях о неминуемом крахе советской системы и торжестве американской? «Можем ли мы, выходя на арену и вступая в эту гонку, исходить из того, что Советский Союз сломает себе ногу, а у нас за спиной вырастет пара крыльев?»[19]

Большинство коллег Кеннана по военно-разведывательному и дипломатическому комплексу также придерживалось других оценок состояния и перспектив советского потенциала. Так, в первом комплексном анализе главного противника, составленном в марте 1948 г. на межведомственной основе под руководством ЦРУ, давалась весьма высокая оценка эффективности советского режима, под-

утверждением которой был «сам факт его выживания. За истекшие 30 лет нынешний режим, несмотря на распад государственной машины после захвата власти большевиками в 1917 году, постепенно восстановил сильное центральное правительство, устранил всю оппозицию, реорганизовал экономическую жизнь страны и провел успешную войну против стран «оси». Очевидно, что нынешнее правление более эффективно, чем предшествовавший ему режим, о чем, прежде всего, свидетельствует его способность создавать и поддерживать большую армию в боевых условиях. Советское правление выигрывает в эффективности благодаря своей высокой централизации и политике формулирования национальных планов и проверки их реализации... Представляется, что нынешнее правление достаточно компетентно для по крайней мере частичного достижения поставленных им целей, хотя этот процесс может затянуться и обойтись очень дорого в плане человеческих и материальных затрат».[20] Хотя аналитики ЦРУ соглашались с Кеннаном в том, что партия есть ключ к стабильности советской системы, они не предвидели ее серьезного ослабления в обозримом будущем.

Больше согласия среди экспертов по СССР было в отношении внешних слабостей «советской империи» — неспособности Кремля обеспечить долговременную привязанность новых союзников в Восточной Европе, а затем и в Азии. Общие трудности поддержания имперского контроля в советском случае, как подчеркивал Кеннан, усугублялись двумя важными обстоятельствами. Во-первых, «сто миллионов русских вряд ли смогут постоянно держать под контролем, в дополнение к своим собственным меньшинствам, еще около девяноста миллионов европейцев, стоящих на более высоком уровне культуры и имеющих большой опыт сопротивления иностранному владычеству». Во-вторых, противоестественный разворот Восточной Европы на восток будет непрочным и в силу грубых методов его осуществления: «Лидеры Кремля настолько бесцеремонны, грубы и нена-

сытны, настолько циничны в навязывании дисциплины своим последователям, что мало кто сможет надолго смириться с их властью».[21]

Что касается Азии, то Кеннан еще в начале 1947 г. — задолго до победы коммунистов в Китае — предвидел непрочность будущего советско-китайского союза: «Люди в Кремле внезапно обнаружат, что живое и тонкое восточное движение, которое, казалось, они твердо держали в своих руках, тихо утекло сквозь пальцы, оставив после себя лишь церемонный китайский поклон и вежливый, но непостижимый китайский смешок».[22] Кеннан даже не исключал, что коммунистический Китай со временем может стать большей угрозой для СССР, чем для США, как с точки зрения безопасности, так и лидерства в международном коммунистическом движении.

Таким образом, и в Восточной Европе, и в Азии советский контроль будет неизбежно порождать сопротивление местного национализма, которое рано или поздно подорвет прочность этого контроля и повернет советскую экспансию вспять.

С учетом всех этих факторов долгосрочные преимущества в борьбе двух систем, доказывал Кеннан, были на стороне США и Запада в целом: «...Россия по сравнению с западным миром в целом все еще гораздо слабее, советская политика отличается большой неуравновешенностью, а советское общество, судя по всему, имеет серьезные изъяны, которые со временем ослабят его потенциал. Все это дает Соединенным Штатам возможность с уверенностью проводить политику твердого сдерживания, направленную на то, чтобы противопоставлять русским неколебимую контрсилу везде, где они посягнут на интересы миролюбивого и стабильного мира».[23]

Суть всей аргументации в статье Икса, как писал о ней сам Кеннан своему оппоненту У.Липпману, в том, что «русские — это тоже люди, сделанные из плоти и крови, что время поворачивается против них, как это бывает и с другими народами, и что у нас есть все основания надеться на то, что не-

которые внутренние противоречия их собственной системы со временем их настигнут...» Поэтому, заключал он, «при условии успеха нашей нынешней политики русские разгромят сами себя».[24]

Общим местом критики «сдерживания» справа были обвинения в «пассивности» и «оборонительном характере» этой стратегии. «Политика сдерживания, если обнажить ее суть, — писал главный идеолог «отбрасывания коммунизма» Дж. Бёрнхэм, — есть бюрократическое озвучивание политики дрейфа. Ее внутренний голос гласит: предоставим это истории».[25] Между тем даже в публичном изложении своей концепции (не говоря уже о ее «подводной» части, о чем речь ниже) Кеннан был далек от упования на автоматизм исторического процесса. «...Возможности американской политики, — писал Икс, — ни в коей мере не сводятся к удержанию своей линии обороны и надеждам на лучшее». Истории нужно было помочь свершить свое антисоветское дело: «Было бы преувеличением сказать, что американское поведение само по себе в силах решить судьбу коммунистического движения и привести к быстрому падению советской власти в России. Но Соединенным Штатам вполне под силу в огромной степени увеличить давление на среду, в которой приходится действовать советской политике, вынудить Кремль к гораздо большей умеренности и осмотрительности, чем ему приходилось выказывать в последние годы, и тем самым помочь тенденциям, которые со временем выльются в развал или постепенное размягчение советской власти. Ибо никакое мистически-мессианское движение — и особенно кремлевское — не способно бесконечно выносить крах своих устремлений без того, чтобы со временем так или иначе приспособиться к логике подобного положения вещей».[26] «Развал или постепенное размягчение» — так впервые пунктиром была намечена конечная цель стратегии «сдерживания».

Первоочередной задачей «сдерживания» было восстановление баланса сил, нарушенного в результате Второй мировой войны, и возрождение

политической стабильности и экономического потенциала Западной Европы (включая западные зоны оккупированной Германии) и Японии как основных мировых центров силы, способных создать превосходящий противовес «советской орбите». «Мировой баланс сил это прежде всего — баланс в Евразии, а он немыслим, покуда Германия и Япония представляют собой вакуум силы». Задача в том, чтобы «вернуть этим народам их мощь и волю, достаточные для вклада в евразийской баланс сил, но не в такой степени, чтобы позволить им вновь угрожать интересам океанического Западного мира».[27] По сути в этой формуле были заложены и «план Маршалла», и послевоенная политика переделки Западной Германии и Японии в лояльных членов западного сообщества. При этом сам Кеннан отнюдь не имел в виду создание антисоветских военных блоков: поскольку «советско-коммунистическая угроза» была не столько военной, сколько политической, то для противодействия ей требовалось прежде всего повысить иммунитет ослабленных войной стран против коммунистических идей и советского проникновения. Конечной целью для Кеннана была не гегемония США или раздел мира на советскую и американскую зоны влияния, а мир, внутренне уравновешенный естественными центрами силы — США, Западная Европа, Россия, Восточная Азия.

Однако восстановление баланса сил, начатое на практике уже в 1946—1947 г., само по себе являлось скорее предпосылкой достижения конечных целей в отношении СССР, которые, если не считать упомянутого пассажа в статье «Икс», пока оставались неясными. А какая же стратегия без четких целей? Летом 1948 г. в ответ на запрос министра обороны Дж. Форрестола Отдел внешнеполитического планирования госдепартамента под руководством Кеннана подготовил примечательный документ с простым названием — «Цели США в отношении России» (СНБ 20/1). В преамбуле документа отмечалось, что, хотя советский вопрос является главным для всей американской политики, «до сих

пор не было четкого определения основных целей США в отношении России».

В качестве таковых предлагалось «всего две»: 1) «сократить власть и влияние Москвы до пределов, когда они более не будут представлять угрозы для мира и стабильности мирового сообщества; 2) добиться коренной перемены в теории и практике международных отношений, которых придерживается правительство России». Достижение этих целей, отмечалось в документе, позволит придать отношениям с Россией более или менее «нормальное измерение».

Под «сокращением власти и влияния» имелись в виду вывод из под советского контроля стран Восточной Европы и подрыв влияния СССР на другие страны, оказываемого через их компартии. Решающее значение придавалось выпроваживанию СССР из центра Европы, присутствие которого там рассматривалось как историческая аномалия, вызванная Второй мировой войной и неспособностью Запада справиться с вермахтом своими силами. Покуда Красная Армия стояла на Эльбе, Советский Союз, опираясь на свой восточноевропейский плацдарм, располагал самыми весомыми и неоспоримыми геополитическими козырями в холодной войне.

Для решения этой задачи авторы документа в полном соответствии с кеннановским анализом уязвимости «советской империи» предлагали «оказывать максимально возможное давление» на отношения Москвы с новыми союзниками с тем, чтобы «постепенно, с помощью естественных и легитимных сил Европы вытеснить русских с их доминирующих позиций и позволить правительствам этих стран обрести свободу действий». В качестве рычагов такого давления перечислялись «умелое использование нашей экономической мощи, прямая или скрытая информационная активность, максимальное осложнение задачи поддержания «железного занавеса», укрепление надежд и жизненных сил Западной Европы для максимального увеличения ее притягательности в

глазах восточных европейцев и другие средства, которые слишком долго описывать».[28] На главное место среди этих неописанных средств к тому времени уже выдвигалась психологическая война и подрывные операции, разворачиваемые ЦРУ в тесном сотрудничестве с госдепартаментом и самим Кеннаном.

Новейшие исследования, основанные на рассекреченных в последние годы американских документах, показывают, что эта невидимая война велась гораздо более агрессивно и масштабно, чем представлялось ранее.[29] Она включала в себя помощь в организации антисоветского «подполья», засылку диверсантов, сколачивание эмигрантских группировок для будущего захвата власти в этих странах. Важнейшим инструментом этой войны — «нашей главной контрнаступательной программой в Восточной Европе» (по откровенному признанию одного из ее руководителей А.Берла) — стал небезызвестный «Национальный Комитет за Свободную Европу», созданный и финансируемый ЦРУ по предложению Кеннана. Первым директором новой организации стал матерый разведчик А.Даллес. «Обращение с подпольем и его аналогами требует самых деликатных и ответственных решений, — писал Берл А.Гарриману, назначенному помощником Трумэна по национальной безопасности. — Вам не нужно объяснять всей важности этого предприятия. Одно дело, если американская политика опирается только на собственную армию, и совсем другое — если она также имеет широкую и организованную поддержку в самих этих странах».[30]

Однако тогда эта «подводная» часть политики «сдерживания» оставалась втуне, что давало простор для обвинений ее в «пораженчестве» и «примиренчестве» по отношению к советскому контролю над Восточной Европой. Руки администрации были связаны режимом секретности, и сам Кеннан мог отвечать на эту критику лишь в закрытых аудиториях. «Взгляд на сдерживание как чисто негативную политику, исключающую наступатель-

ные действия и не имеющую видения подлинного решения проблем Восточной Европы, полностью не соответствует действительности, — писал он в ориентировке для совещания руководства Пентагона в ноябре 1948 г. — Соображения скрытности вынуждают нас обходить эту сторону политики США в официальных и полуофициальных заявлениях... Мы не можем открыто говорить о ниспровержении советского влияния в Восточной Европе без того, чтобы фактически не призывать к свержению существующих там правительств. Это непосредственно сыграло бы на руку советской пропаганде во всем мире».[31]

Главная проблема в осуществлении такой ползучей десоветизации состояла в том, что над ней постоянно висел дамоклов меч советского подавления и большой войны. «Мы, разумеется, не можем гарантировать, что русские останутся в стороне и позволят сателлитам освободиться таким образом от своего контроля, — отмечали в этой связи авторы документа. — У нас нет уверенности в том, что на определенном этапе этого процесса русские не прибегнут к насилию — повторной военной оккупации и даже большой войне, чтобы пресечь его».[32] Уверенность могла быть скорее в обратном — как можно было рассчитывать на то, что советское руководство добровольно откажется от столь критически важных, с таким трудом и кровью заработанных позиций? Да еще перед лицом явно провокационной, подрывной деятельности «главного противника» в сфере своего влияния? Тем более (как удивительно проницательно писал об этом сам Кеннан) что потеря Восточной Европы может стать роковой для всей советской системы, вызвав «общий обвал российского влияния и престижа, который выйдет за пределы стран-сателлитов и дойдет до сердца Советского Союза».[33] Непосредственным результатом всей этой подрывной работы, как признают и американские историки, стало не «разрушение советского влияния», а усиление антиамериканской враждебности Москвы и репрессий

в отношении подлинных и мнимых противников просоветских режимов в этих странах.[34]

В любом случае искомое крушение советского контроля над Восточной Европой было связано с большими опасностями, как хорошо понимали в Вашингтоне. «Начало краха советского правления в восточноевропейском регионе будет одним из самых опасных моментов для мировой стабильности, — предупреждал (с подачи Кеннана) госсекретарь Дж. Маршалл на заседании кабинета в ноябре 1947 г. — Кремль может воспринять это как серьезную внутреннюю угрозу и прибегнуть к отчаянным мерам». Рецепты авторов СНБ 20/1 не шли дальше рекомендаций обставить «освобождение сателлитов» таким образом, чтобы оно не бросало «прямого вызова советскому престижу».[35]

Свое дальнейшее развитие эта общая установка получила в специальном докладе отдела внешнеполитического планирования «Политика США в отношении советских сателлитов в Восточной Европе» (одобренном в сентябре 1949 г. в качестве директивы СНБ № 58). В документе подчеркивалось, что, хотя долгосрочной целью США в регионе является «дружественная Западу», «нетоталитарная Восточная Европа», Соединенным Штатам не следует ставить ее в качестве «непосредственной задачи» — как в силу слабости демократических традиций в этих странах (за исключением Чехословакии), так и ввиду опасений крайней советской реакции. Более реальный и безопасный путь к этой цели, подсказанный советско-югославским расколом, — ослабление контроля Москвы над местными коммунистическими режимами при сохранении ими своей политической идеологии и ее последующей демократизации. Поэтому важнейшей задачей США на первом этапе является временное «подталкивание этого процесса еретического отмежевания, но без принятия на себя какой-либо ответственности за него», дабы не спровоцировать Кремль на крайние меры. Вообще «все предлагаемые операции в отношении сателлитов должны соотноситься с вероятными ответными мерами воз-

мездия со стороны Кремля. Провокационный эффект этих операций не должен превышать приемлемого для данной ситуации».[36] Важной «предпосылкой» успешной десоветизации Восточной Европы авторы документа считали вывод советских войск из Германии. Польши, Румынии и Венгрии.

В поисках мирного решения этой проблемы Кеннан к концу 1948 г. приходит к важному выводу: для того чтобы «увести наших русских друзей в положенное им место», надо «держать открытыми двери, через которые они, как мы надеемся, когда-нибудь выйдут» [37] Мирное советское отступление было возможно только при условии, если кремлевское руководство не усматривало бы в нем критической угрозы своим интересам и авторитету. А это, в свою очередь, подразумевало взаимность уступок и общую разрядку ситуации в Европе. Отсюда и возник известный «План А», разработанный отделом Кеннана осенью 1948 г. и предусматривавший взаимное разъединение западных и советских сил в Германии с ее последующим образованием в единое, демилитаризованное и нейтральное государство. Руководство госдепартамента отвергло этот план, и реальная политика США (как, впрочем, и СССР) продолжала двигаться в сторону ужесточения раскола континента. «Если мы и дальше будем придерживаться такого курса, — предупреждал коллег Кеннан в августе 1948 г., — то Германия неизбежно разделится на восточное и западное государства, а Западная Европа войдет в тесный военный союз с нашей страной, что только затруднит конечную интеграцию (советских) сателлитов в европейское сообщество. При таком развитии тенденций будет сложно — сложнее, чем сейчас, найти «дорогу назад» к единой и свободной Европе».[38] Окончательный раскол Германии и Европы на противостоящие политические блоки, как опасался Кеннан, «закроет двери к будущему мирному решению и лишит русских выхода, даже если они когда-нибудь захотят выйти». Короче говоря, все это вместе взятое «сделает нынешний раздел Европы непреодолимым, кроме как военным путем».[39]

Не менее опасным, чем де-факто раскол Европы на противостоящие военно-политические блоки, был, по мнению Кеннана, и ее «полюбовный раздел» на сферы влияния, предлагавшийся Г.Уоллесом, а затем и главой американской школы геополитиков Г.Моргентау в его нашумевшей статье «О переговорах с русскими», опубликованной в «Бюллетене ученых-атомщиков» весной 1950 г. и вызвавшей замешательство в госдепартаменте.[40] Подобная сделка, писал Кеннан в специальной записке на эту тему для госсекретаря Д.Ачесона, придаст легитимность советской сфере влияния, вынудит неприсоединившиеся страны — Финляндию, Австрию — примкнуть к одному из двух полюсов и в целом затруднит возвращение разделенного континента к его естественному состоянию. «Соблазну «окончательного и всестороннего» урегулирования, — заключал Кеннан, — следует противопоставить стратегию постепенной адаптации СССР к усилению несоветизированной Европы: У нас есть основания надеяться, что Советский Союз под давлением обстоятельств позволит и другим странам (кроме Югославии. — *Авт.*) обрести большую независимость без официального оповещения об этом остального мира или заключения соглашения путем переговоров... Иными словами, мы стремимся к процессу приспособления, и для нас неважно, будет ли этот процесс официально признан и оформлен».[41]

История показала прозорливость основных презумпций стратегии «сокращения власти и влияния» СССР — диагноз слабостей «социалистического лагеря» и прогноз его судьбы, включая взаимосвязь распада системы и советского строя в самом СССР. Ошибся Кеннан только в одном — он недооценил способность позднего советского руководства без боя отказаться от своего контроля над Восточной Европой, сделавшую возможным тот самый мирный уход из нее Советского Союза, который так и не смогли просчитать американские стратеги. Этот же отказ обусловил и обвальный характер распада социалистической системы, также

непредусмотренный эволюционным сценарием Кеннана и его коллег. В сочетании с недооцененными в госдепартаменте демократическими потенциями большинства восточноевропейских стран это позволило им «проскочить» проектировавшуюся в СНБ-58 стадию «промежуточного тоталитаризма» и сразу приступить к «демократическому транзиту».

Но вернемся к СНБ 20/1. Сама постановка задачи «отвода» России в ее «естественные пределы» предполагала некое географическое определение этих пределов. Таковыми Кеннан и его коллеги считали границы СССР осени 1939 г. за вычетом Прибалтики — как стран, доказавших свою способность к самостоятельному государственному развитию, насильственная инкорпорация которых в состав Советского Союза так и не была признана законной странами Запада. Однако их «полная независимость будет означать для советского правительства реальную уступку территории, а значит непосредственно посягнет на достоинство и жизненные интересы советского государства. Невозможно представить, чтобы этого можно было достигнуть средствами без войны». Поэтому авторы документа в условиях мирного времени не шли дальше «всемерного поощрения и развития в СССР федерализма, который позволил бы возродить национальную жизнь балтийских народов».

Независимость Прибалтики, согласно этому плану, становилась возможной лишь в случае поражения СССР в войне с Западом, да и то — с согласия новых «некоммунистических властей» в самой России. Но даже при таком гибельном для советского режима варианте не ставилось задачи разрушения территориальной целостности и многонационального состава остального Советского Союза. Наиболее логичным кандидатом на выход из него могла быть Украина, но Кеннан и его коллеги предупреждали о трудностях и опасностях реализации подобного сценария. Украинцы в истории, писали они, «не проявили способности быть «нацией», могущей успешно справляться с ответствен-

ностью независимого существования перед лицом противодействия великороссов... Украина не имеет четких этнических и географических характеристик... Между Украиной и Россией нет и невозможно провести ясной разделительной линии. «Если уж и проводить реальную границу на Украине, — добавляли авторы документа, — это будет граница между районами заселенными православными и католиками».) Основу «украинизма» составляет ощущение «особости», связанное со специфическим крестьянским диалектом и небольшими различиями в одежде и фольклоре жителей сельской местности... Поверхностная политическая агитация (в пользу независимости) является делом рук интеллектуалов-романтиков, не имеющих представления об ответственности государственного управления... экономика Украины неразрывно переплетена с общероссийской... попытка вырвать ее оттуда и насадить в качестве чего-то отдельного была бы столь же искусственной и разрушительной, как попытка отделить «кукурузный пояс» с промышленными районами Великих озер от экономики Соединенных Штатов».

«Наконец, — говорилось далее в документе, — мы не можем быть безразличны к чувствам самих великороссов. И в Российской империи, и в Советском Союзе они были и остаются самым сильным национальным элементом. Таковым они останутся на этой территории и далее, при любом ее статусе. Любая долгосрочная политика США должна основываться на их согласии и сотрудничестве. Украинская территория — такая же часть их национального наследия, как для нас Средний Запад, и они это прекрасно осознают. Любое решение, основанное на попытке полностью отделить Украину от остальной России, неизбежно встретит их возмущение и сопротивление; в конечном счете такое решение может удержаться только силой». Вместо этого авторы предлагали вариант федеративного устройства, при котором Украина получит «значительную политическую и культурную автономию,

но не экономическую или военную независимость».[42]

Вместе с тем авторы документа предусмотрительно допускали, что независимый режим на Украине может появиться без участия США и помимо их желания. В таком случае Соединенным Штатам следует не противодействовать ему, а занять нейтрально-выжидательную позицию, не отталкивая от себя новую Украину, которая может оказаться способной самостоятельно противостоять российскому давлению и доказать тем самым «свою способность и моральное право на независимое существование».

Такую же позицию предполагалось занять и в отношении других национальных меньшинств СССР. «Маловероятно, что им удастся успешно удержать реальную независимость в течение продолжительного времени. Однако, если они предпримут такую попытку (что вполне вероятно в случае кавказских народов)... нам не следует ей препятствовать, чтобы не утратить навсегда симпатий этих меньшинств. С другой стороны, мы не должны связывать себя обязательствами поддержки такой линии их поведения, реализация которой окажется возможной только при нашей военной помощи».[43]

В этом анализе и рекомендациях просматривается явный налет кеннановского русофильства, который, как показала история реального распада СССР, привел его к явной переоценке силы и политической воли великорусского национализма и некоторой недооценке способностей бывших советских республик к независимому существованию. Бросается в глаза и другое — последние советские лидеры явно «перевыполнили» даже самые смелые прогнозы развала СССР, сделанные задолго до этого американскими планировщиками.

Реальная политика США в отношении стран СНГ многие годы спустя лет отклонилась от рекомендаций Кеннана в сторону откровенного поощрения национального самоопределения и центробежных тенденций на пост-советском пространстве.

Тем не менее в этих рекомендациях весьма точно были нащупаны ключевые вопросы, вставшие перед этой политикой через сорок с лишним лет, а к призыву Кеннана считаться с интересами и национальным самосознанием великороссов не грех было бы прислушаться и сегодня.

Восстановление нарушенного баланса сил и сокращение сферы советского влияния прокладывали дорогу к достижению главной цели, обозначенной в СНБ 20/1 — «коренной перемене» в подходе Кремля к мировой политике. Под этим подразумевалась полная инверсия основных постулатов сталинского подхода к мировым делам: о глубоком антагонизме между социализмом и капитализмом, который может разрешиться лишь победой первого, о необходимости идеологической борьбы и изоляции коммунистического мира от влияния Запада, о невозможности подлинного мирного сосуществования и сотрудничества между двумя системами.

В документе признавалось, что подобная «интеллектуальная революция», а по сути — отказ от классового подхода к мировой политике, для российского коммунизма будет означать «метаморфозу его политической идентичности и отказ от претензий на роль независимой и жизнеспособной силы среди мировых идеологических течений». Отказ от идеологии во внешней политике был чреват общим ослаблением идеологических основ советской системы, и потому трудно было представить, чтобы советские лидеры добровольно пошли бы на такую «потерю лица». Однако авторы документа считали «опасным заблуждением» полагать, что, ставя перед собой такую цель, США тем самым должны стремиться к свержению советского режима, которое, в свою очередь, было возможно лишь путем войны.

Выход виделся диалектически в постепенности и протяженности процесса деидеологизации через приспособление к сокращающимся в условиях «сдерживания» возможностям реализации максималистских идеологических установок: «Совет-

ские лидеры готовы считаться с реальными ситуациями, а не аргументами. Поэтому если создавать ситуации, в которых акцентировать конфликтную составляющую будет не в их интересах, то их действия и даже тон их внутренней пропаганды могут подвергнуться изменениям». В доказательство приводился пример союзнических отношений в годы Второй мировой войн, когда советская политика и пропаганда приобрели примирительный характер по отношению к Западу, «хотя в этот период в СССР не было никакой смены руководства и естественной эволюции внутриполитической жизни». Если же «поддерживать подобные ситуации в течение более длительного времени — достаточного, чтобы охватить весомую часть органического процесса роста и перемен в советской политической жизни, то они могут оказать долгосрочное умеряющее воздействие на взгляды и привычки советских властей». В одной из своих закрытых лекций 1947 г. Кеннан нашел более образное и выразительное описание этого процесса: «Форма советской власти подобна дереву, которое в начале своего роста было согнуто и искривлено на определенный манер. Его можно развернуть и заставить расти в другую сторону, но не разовым и резким применением силы. Это может быть достигнуто лишь приложением постоянного и устойчивого давления на протяжении ряда лет».[44]

«Перевоспитание под давлением» требовало силового превосходства, и не случайно его главной предпосылкой в документе считалось «поддержание ситуации, при которой Советский Союз в политическом, военном и психологическом отношении был бы слабее неподконтрольного ему мира».

Вопрос о том, потребует ли искомая «модификация советского поведения» коренных изменений или даже краха советской системы, оставался открытым, как и в случае с целью номер один. «Не наше дело предугадывать внутренние изменения в чужой стране, к которым может привести принятие таких концепций, да мы и не несем ответственности за эти изменения. Если советские лидеры

признают, что более просвещенный подход к международным отношениям несовместим с сохранением их власти в России, то это будет не наш, а их выбор, лежащий на совести и у них, и у народов Советского Союза... Мы не можем знать наверняка, приведет ли успешное достижение этой нашей цели к дезинтеграции советской власти, ибо нам неведом временной фактор. Вполне возможно, что под давлением времени и обстоятельств некоторые исходные концепции коммунистического движения в России будут пересмотрены, как это произошло в отношении некоторых исходных концепций американской революции в нашей собственной стране».[45]

В частном письме того же периода Кеннан определил эту свою позицию куда более выразительно в форме заочного обращения к кремлевским вождям: «Мы считаем вашу политическую философию глубоко ошибочной и опасной как для ваших собственных интересов, так и для мира на земле. Мы убеждены, что обстоятельства со временем вынудят всех, в том числе и вас самих, осознать это и понять неотвратимость краха и бедствий, если вы и дальше будете следовать этой философии. Когда вы это поймете, то не от нас, а от вас будет зависеть, сумеете ли вы приспособиться к новой реальности и удержаться у власти, или под давлением обстоятельств сойдете со сцены, уступив власть другим людям, менее отягощенным верованиями и деяниями прошлого. Мы не будем предвосхищать тот или иной вариант своей политикой».[46]

Иными словами, Кеннан и его коллеги не исключали возможность эволюционного развития советского режима — вариант «постепенного размягчения» наряду с «крахом». По существу речь шла о возможности коренной реформы этой системы — возможности, не исключаемой и современными аналитиками, хотя и в чисто ретроспективном ключе.[47] В нынешних внутриамериканских дебатах о внешней политике администрации Дж.Буша-младшего неоконсерваторы изображают раннего Кеннана своим прямым предтечей, поскольку де главной це-

лью его стратегии сдерживания была «смена режима» в СССР, т.е. безусловное разрушение советского строя, а не его реформирование.[48] Думается, что подлинная позиция Кеннана была не столь однозначной.

Во-первых, ему, как настоящему историку по призванию, всегда претил грубый детерминизм и, напротив, было присуще искреннее смирение перед непредсказуемостью и многовариантностью исторического процесса; в данном случае, как он не раз подчеркивал, слишком многое зависело от «фактора времени», качеств будущего советского руководства и других «неведомых нам» переменных.

Во-вторых, как подлинный консерватор и человек по-своему любящий историческую Россию, Кеннан вообще опасался разрушительных революционных сломов, считая «постепенное размягчение» более щадящим и безопасным путем для России и мира в целом. Словно отвечая тогдашним и будущим маловерам и признавая, что его оптимизм отчасти является «актом веры», он писал в 1951 г.: «Судя по тому, что видно на поверхности, мало оснований надеяться, что желательные перемены во взглядах и образе действий московского правительства могут произойти без насильственного перехода в преемственности власти, то есть без насильственного ниспровержения строя. Но в этом не может быть никакой уверенности. *Случались более странные вещи, хотя и не настолько уже более странные* (курсив мой. — *Авт.*). Во всяком случае не наше дело заранее предрешать этот вопрос».[49]

В-третьих, выдвижение — даже в секретных документах национальной стратегии — сокрушения советского режима в качестве официальной цели американской политики было бы, на взгляд Кеннана, опасным превышением реальных возможностей США, чреватым к тому же срывом отношений с СССР в военное столкновение, если Кремль почувствует себя загнанным в угол. «Западу следует вести себя осторожно и не допускать, чтобы в ходе этого

процесса Советский Союз оказался перед вопросом жизни или смерти, — писал он госсекретарю Д.Ачесону в 1950 г. — Запад должен ясно показывать, что приспособление предпочтительней войны, что оно не угрожает власти и авторитету Кремля в самой России. Ибо единственный по-настоящему устраивающий нас вариант краха этой власти — это ее ниспровержение самим русским народом».[50]

Не случайно ни в служебных документах, ни в частных высказываниях Кеннан не ставил целью политики США ниспровержение советского строя, неизменно подчеркивая решающую роль в этом внутренних процессов и самого советского руководства. Единственным исключением был рассмотренный в СНБ 20/ 1 вариант большой войны и поражения в ней СССР, в результате которого Соединенным Штатам пришлось бы взять на себя ответственность за «декоммунизацию» России.

Даже при таком исходе, предупреждали авторы, Соединенным Штатам не удастся полностью оккупировать территорию СССР или добиться полной и безоговорочной капитуляции советского режима. Не смогут США и создать в России дееспособное марионеточное правительство или «быстро навязать какой-либо группе русских лидеров нашу концепцию демократии. В длительной перспективе политическая психология любого режима, сколько-нибудь отражающего волю народа, совпадает с психологией самого народа. Но, как наглядно показал наш опыт в Германии и Японии, мировосприятие и психология великого народа не могу быть быстро изменены по воле иностранной державы даже в условиях полного поражения и подчинения. Такие изменения могут произойти лишь в результате органического политического роста самого народа. Самое большое, что одна страна может сделать для другой в этом смысле, — изменить внешние воздействия на данный народ, предоставив ему самому реагировать на них по своему усмотрению». Поэтому, заключалось в документе, «мы должны исходить из большой вероятности того, что нам придется иметь дело с русскими влас-

тями, не имеющими нашего полного одобрения, у которых будут свои, отличные от наших цели, чьи взгляды и пожелания мы должны будем учитывать, независимо от того, нравятся они нам или нет. Иными словами, мы не можем надеяться полностью навязать свою волю на территории России, как это мы стремимся сделать в Германии и Японии». Даже в маловероятном случае «полной дезинтеграции» советской власти в ходе войны, отмечали авторы документа, «мы не поставим целью проведение своими силами широкомасштабной политики декоммунизации на территории, освобожденной от коммунистических властей, предоставив решение этой проблемы новой власти, пришедшей на смену советскому правлению».[51]

Однако каковы бы ни были исход войны и формат послевоенного урегулирования, любому новому режиму в России («даже номинально дружественному нам») «не должно быть позволено: а) сохранять военную мощь, способную угрожать любому соседнему государству; б) поддерживать экономическую автаркию, которая позволила бы воссоздавать такую военную мощь без помощи западного мира; в) отказывать в автономном самоуправлении основным национальным меньшинствам страны; г) сохранять подобие нынешнего «железного занавеса». Эти жесткие рамки, особенно — по ограничению военно-экономического потенциала, должны были подстраховать США даже на случай возможного рецидива советских намерений. «При соблюдении этих условий, — заключали авторы документа, — мы будем в безопасности, даже если первоначальный демократический энтузиазм нового режима (в России) окажется скоротечным и постепенно уступит место антисоциальным концепциям международных отношений, к которым приучено нынешнее советское поколение».[52]

Эта заключительная часть СНБ 20/1 — единственный на сегодняшний день известный нам американский план обращения с Россией, побежденной не только в холодной, но и в «горячей» войне. При всей экстраординарности этого, к счастью,

нереализовавшегося сценария, в нем просматриваются общие, типические черты внешнеполитического мышления США тех лет. Во-первых, очевидно, что несмотря на обвинения «сдерживания» в «бесцельности» и «отсутствии перспективы» американские планировщики смотрели далеко вперед, прорабатывая разные, даже маловероятные варианты развития событий. Во-вторых, при всей несомненной жесткости подхода к побежденному противнику впечатляет ограниченность и продуманность целей — отказ от навязывания будущей России американской модели, готовность предоставить ей значительную самостоятельность во внутренних делах при жесткой регламентации военной и внешней политики.

Сам Кеннан предвидел не только конец советской системы, но и контуры будущей — постсоветской России. Ярче всего это ощущается в удивительной по силе предвидения и сочувствия к этой будущей России статье «Америка и русское будущее», написанной в разгар Корейской войны и развивающей основную тему СНБ 20/1 — какой явится миру эта переболевшая коммунизмом Россия и как к ней надо будет относиться Соединенным Штатам. Его ответ на первый вопрос был прост в своей негативной части — Россия с ее родословной и традициями еще очень долго, а может быть, и никогда не будет «капиталистическим, либерально-демократическим государством, сходным по строю с нашей республикой». Этому будет мешать и советское наследие, которое Кеннан при всем своем отвращении к этой системе, не мазал одной только черной краской; впоследствии он даже считал поздний советский период для миллионов россиян более сносным, чем тяготы и лишения первых постсоветских лет.[53] «Многие характерные черты советской системы переживут советскую власть хотя бы уже потому, что все другое, что можно было ей противопоставить, было уничтожено. Некоторые же черты советской системы заслуживают того, чтобы они пережили ее, ибо ни одна система, просуществовавшая десятилетия, не может

быть лишена отдельных положительных черт. Программа всякого правительства будущей России должна будет учесть тот факт, что в русской жизни был советский период и что этот период оставил вместе с отрицательным и свой положительный отпечаток. Плохую помощь окажут правительству будущей России те западные доктринеры и нетерпеливые доброжелатели, которые будут ожидать, что они создадут в кратчайшие сроки точную копию демократической мечты Запада...».

Отсюда — проникновенный, но не услышанный ни в Америке, ни в России и потому оказавшийся пророческим совет-предостережение на будущее: «Когда советская власть придет к своему концу или когда ее дух и руководители начнут меняться (ибо и тот и другой конечный исход возможен) — не будем с нервным нетерпением следить за работой людей, пришедших ее на смену, и ежедневно прикладывать лакмусовую бумажку к их политической физиономии, определяя, насколько они отвечают нашему представлению о «демократах». Дайте им время; дайте им возможность быть русскими и решать их внутренние проблемы по-своему. Пути, которыми народы достигают достойного и просвещенного государственного строя, представляют собою глубочайшие и интимнейшие процессы национальной жизни. Иностранцам эти пути часто непонятны, и иностранное вмешательство в эти процессы не может принести ничего, кроме вреда».[54]

Другая глубокая мысль Кеннана из этой статьи связана с его оценкой тоталитаризма как общечеловеческой болезни — беды, а не вины русского народа, ставшего ее жертвой в силу чисто исторических причин и заслуживающего не осуждения и покаяния, а сочувствия и поддержки. Близко наблюдавший жизнь нацистского и сталинского режимов, Кеннан глубоко понимал всю трагедию человеческого существования в этих нечеловеческих условиях. «Для того, чтобы в условиях тоталитаризма личная жизнь могла хоть как нибудь продолжаться, она должна быть налажена путем ка-

кого-то соглашательства с режимом и при некотором принятии его целей. Более того, неизбежно, чтобы в некоторых областях тоталитарному правлению удалось отождествить себя с народными чувствами и устремлениями. Отсюда возникает неизбежная сложность взаимоотношений между гражданами и властью во всяком тоталитарном режиме... Реальность опровергает излюбленное нами представление о том, что народ тоталитарного государства может быть точно и без остатка разделен на коллаборантов и мучеников. Пережив тоталитарный режим, люди не могут остаться невредимыми; когда они выходят на свободу, они нуждаются в помощи, руководстве и в понимании, а не в выговорах и проповедях... Нужно подняться выше этих упрощенных, детских представлений и воспринять трагедию России как отчасти и нашу собственную трагедию, а в русском народе признать нашего сотоварища в долгой и тяжкой борьбе за лучший порядок, при котором люди нашей беспокойной планеты могли бы жить в мире друг с другом и в согласии с природой».[55]

Хорошо понимая всю утопичность скорой либерально-демократической метаморфозы России, Кеннан вместе с тем считал вполне вероятным ее превращение в открытое, не тоталитарное и не имперское государство, живущее в мире со своими соседями и в согласии со своим собственным народом. Такая Россия, на его взгляд, будет не только вполне возможной, но и вполне приемлемой для США, которым не следует ожидать и тем более — требовать от нее большего.

В ноябре того же 1948 г. основные положения СНБ 20/1, касающиеся целей политики США в отношении СССР и путей их достижения, были одобрены президентом Трумэном в виде директивы СНБ 20/4. Придание этим положениям официального статуса не прекратило внутренних дискуссий о целях и средствах «сдерживания». Хотя в служебных документах Кеннан и отмежевался от «гадания» насчет возможных сценариев развития внутренних процессов в СССР, способных привес-

ти к изменению советского поведения, ни он сам, ни его коллеги не могли удержаться от дальнейших размышлений на эту тему. Сосредоточием этих дискуссий продолжал оставаться отдел внешнеполитического планирования, к работе которого Кеннан подключал в качестве консультантов видных представителей деловой и научной элиты. Среди них были «отец» американской атомной бомбы выдающийся физик Р. Оппенгеймер, крупнейший протестантский теолог и философ Р. Нибур, эксперты-международники из Принстона С. Блэк и А. Волферс, президент компании «Кока-Кола» Дж. Вудроф.

Конечно, идеальным и радикальным решением «советского вопроса» была бы мирная антикоммунистическая революция в СССР. Но, как хорошо понимали коллеги Кеннана, в условиях тоталитарного режима шансы на это «были почти равны нулю»: по крайней мере — при отсутствии предшествующих потрясений типа «поражения в большой войне» (Дж. Дэвис). Если крах снизу был невозможен или слишком опасен, то оставался вариант «постепенного размягчения» или реформирования системы сверху.

С точки зрения консерваторов, крайне жесткая тоталитарная система была в принципе нереформируемой, в том числе и потому, что правящая номенклатура по определению не может пойти на ограничение своей власти и привилегий. «Надеяться на размягчение Советского Союза — значит, надеяться на самоубийство целого политического класса, — суммировал эту точку зрения годы спустя Н. Подгорец. — ...Они (советские лидеры. — *Авт.*) не смогут удержаться у власти, если откажутся от ленинизма». По этой логике единственной реалистической целью США в холодной войне, как не уставали призывать Дж. Бёрнхэм и его единомышленники, должно было быть сокрушение советской системы путем если и не превентивной войны, то нагнетания максимального давления по всем направлениям, включая открытое провоцирование антикоммунистических выступлений и раскола внутри самой элиты.[56]

Кеннан и его коллеги отвергали такое подстегивание естественного хода истории как слишком опасное. Все дело в том, комментировал вариант «свержения» на заседании отдела Р. Нибур, что «мы стремимся достичь большого сдвига в соотношении сил без возбуждения у Советов отчаянного духа самозащиты, который может привести к войне... Как прижатые к стене гангстеры, они начнут отстреливаться, чтобы выбраться из засады...» «Нам нужно набраться терпения в отношении исторических процессов — действовать с ними заодно, а не подгонять нещадно, если мы хотим сохранить мир и наш образ жизни», — писал Кеннан Ачесону летом 1950 г.[57]

Кроме того, им претил плоский детерминизм консерваторов, игнорировавший многовариантность и противоречивость политического поведения социальных классов и групп. Правящие классы, напоминал на заседаниях отдела Нибур, зачастую бывают вынуждены идти на уступки, делиться своей властью и привилегиями для сохранения основ существующего строя. И в международных отношениях возможны серьезные подвижки в соотношении сил «без использования прямого насилия». Кроме того, идеологии не вечны, особенно когда они входят в противоречие с реальностью. Поэтому вполне возможно, что «Советы со временем утратят уверенность в себе как носителях мировой революции, если исчезнет их надежда на то, что капитализм подорвет себя так называемыми внутренними противоречиями — надежда, которая до сих пор служит им главной опорой морального духа». Для этого, подчеркивал Нибур, им совсем не обязательно ломать свой режим или открыто отказываться от марксизма-ленинизма — «посмотрите на ислам, который по-прежнему держится за Коран, но давно лишился своих когтей». Иными словами, подвел итог помощник госсекретаря (впоследствии — известный советолог) М. Шульман, «мы делаем ставку на приращение силы, достаточной, чтобы вынудить советских лидеров пойти на примирение,

даже если они будут считать, что делают это на чисто временной или тактической основе; мы же надеемся, что этот период будет достаточно длительным, чтобы в ходе медленной метаморфозы произошли достаточные изменения в динамике (советского поведения) даже при сохранении его старой фразеологии».[58]

Вот он, идеальный вариант «модификации поведения», незаметный для самих советских лидеров, когда «больной» (в отличие от персонажа знаменитого рассказа Кафки) не замечает происходящей с ним «медленной метаморфозы». При таком варианте создавались благоприятные условия и для решения еще одной проблемы, поднятой в обсуждении Нибуром: как добиться того, чтобы Кремль «чувствовал себя достаточно уверенно внутри, чтобы пойти на соглашение с нами?» В самом деле, для успеха искомой метаморфозы советские лидеры должны были ощущать не только бесперспективность продолжения конфронтации с Западом, но и достаточную прочность своих позиций внутри страны. Сталин, хорошо представлявший хрупкость своей системы, ее несовместимость с западными ценностями, не мог себе позволить длительной разрядки с идеологическим противником. Однако прошло время, система, казалось, обрела новую прочность, и преемники Сталина утратили ощущение этой внутренней слабины, что помогло им начать поиски новых отношений с Западом.

Но даже при самом благоприятном сценарии развития событий путь к «мирному отступлению» СССР, как хорошо понимали участники дискуссии, пролегал через годы опасных испытаний под сенью постоянно нависающей катастрофы. «Ситуацию, в которой мы оказались, — заключил Ч. Маршалл, — образно говоря, можно сравнить с восхождением по отвесной скале. Каждый шаг вперед грозит опасностью сорваться на самое дно — буквально каждый шаг. Потребуется величайшая политическая и стратегическая мудрость для расчета этих шагов таким образом, чтобы избежать ло-

бового столкновения по мере нашего продвижения вперед... Необходимо наращивание военной силы, дабы отвадить Советский Союз от расширения своей сферы в поисках выхода из внутренних трудностей по мере того, как они, будем надеяться, начнут сознавать, что их историческая догма ошибочна, что на краю радуги нет никакого марксистского золота, что они обманывают самих себя».[59]

В ходе свободного обсуждения в стенах ОВП будущего советской системы вставал вопрос и о самой Америке, ее роли в определении этого будущего. Если «сдерживание» подразумевало длительный процесс соревнования систем и превосходство — в том числе морально-идеологическое западной цивилизации, то каковы должны быть роль и идеология Америки в этой борьбе идей?

Тон в этой дискуссии задавал Нибур, многочисленные работы которого к тому времени уже снискали ему известность одного из самых основательных и беспощадных критиков идеологии марксизма-ленинизма. Участники искали формулировку идеологического кредо Запада, которое можно было бы противопоставить коммунизму и которое вместе с тем не имело бы, по словам Нибура, «слишком явного американского акцента». Коммунизм, отчеканил он, это «извращение мечты о справедливости». Так же, как капитализм — это «извращение мечты о свободе», добавил Р. Хукер. Пусть так, согласился Нибур, но капиталистическое извращение «поддается корректировке» в сторону справедливости, тогда как коммунистическое ведет только к диктатуре, не порождая ни справедливости, ни свободы.

Формула «свобода против тирании» была принята собеседниками в качестве наименьшего общего кратного в идеологической борьбе, но, как подчеркивал Ч. Маршалл, США не должны тягаться с коммунизмом в предложении готовых решений проблем социальной справедливости: «Это вопрос, который каждая культура должна решить сама для себя». Задача США — создание такого междуна-

родного порядка, при котором становится возможным свободный поиск таких решений. В отличие от коммунистов мы не можем навязывать готовых решений, соглашался Дэвис, хотя в Азии они выигрывают именно на том, что «у них есть ответ на все проблемы». Да, «коммунисты обещают готовый пирог за горизонтом, а мы — лишь возможность заработать его собственными силами... — добавил Маршалл. — Гарантия гораздо убедительней, чем обещания предоставления возможностей».

Но сможет ли Америка удержаться от навязывания своих рецептов другим странам, учитывая национальную традицию мессианства, уверенность в превосходстве и универсальности американского опыта? «Мы считаем себя умнее других, поскольку решили свои проблемы и не понимаем, почему другие не могут сделать то же самое» (Дэвис). «...В этом и заключается огромная опасность, подстерегающая любую мощную нацию, — неспособности воспринимать мир в иных категориях, кроме своих собственных», — философски подтвердил Нибур. Он же высказал и другое, более фундаментальное сомнение — в зрелости американцев, необходимой для подлинного мирового лидерства: «Огромный риск нашего положения состоит в том, что благодаря производительным способностям Америки мы приобрели мощь и вытекающую из нее ответственность, но вовсе не обязательно обладаем необходимой политической мудростью... Я бы не поручился, что американский народ сможет справиться с этим (коммунистическим) вызовом, если он не будет в защитном окружении более широкого сообщества, принимающего решения...» Поэтому «в качестве защиты от самих себя» «лучше воспитывать привычку подчинения решениям ООН, чем сохранять свободу рук для односторонних решений».

Но Америка не может дожидаться, пока полностью созреет для мирового лидерства, возражал ему Маршалл: «Сохранение свободных институтов (назовем это так для удобства дискуссии) настолько неотложно, что мы не можем

ждать, пока дорастем до той степени ответственности, которую требуют ваши глубокие рассуждения. По-моему, нам придется взяться за это дело такими, какие мы есть, сознавая наши слабости по мере продвижения вперед».[60] Это противоречие между неготовностью к лидерству и необходимостью брать его на себя было диалектически разрешено самим Кеннаном в заключительном пассаже статьи «Икс» — сам советский вызов станет для Америки мобилизующим и воспитывающим началом, именно в процессе ответа на него она вырастет до подлинного мирового лидерства: «Всякий, кто внимательно следит за развитием советско-американских отношений, не будет сетовать на то, что Кремль бросил вызов американскому обществу. Напротив, он будет в какой-то мере благодарен судьбе, которая, послав американцам это суровое испытание, поставила саму их безопасность как нации в зависимость от их способности сплотиться и принять на себя ответственность морального и политического руководства, которое уготовано им историей».[61]

Ко времени этих дебатов в ОВП реальное воплощение стратегии «сдерживания» уже далеко отошло от первоначального замысла Кеннана: создание НАТО и ФРГ закрепило раскол Европы, исключив возможность мирного разъединения противоборствующих сил на континенте, гонка вооружений и логика конфронтации заслонили идею переговоров и поиска компромиссов, в «модификации советского поведения» кнут полностью вытеснил пряник. Милитаризация сдерживания подталкивалась несколькими факторами. Военные планировщики исходили прежде всего из своих (как правило, сильно преувеличенных) оценок военного потенциала СССР, а не трудно просчитываемых намерений советского руководства, на чем делал упор Кеннан. «Планировщики исходят из наличия врага, — писал много позднее об этой логике сам Кеннан. — Русские как самые сильные и враждебные на словах были наиболее очевидным кандидатом на эту роль. Затем про-

тивник наделяется самыми враждебными намерениями даже без обсуждения того, зачем ему нужны эти враждебные шаги или насколько вероятно, что он их предпримет... Таким образом в целях планирования образ бесчеловечного и абсолютно зловещего врага не только создается, но и укрепляется изо дня в день и год за годом, пока он не обретает плоть и кровь, становясь постоянным спутником своих создателей, так что любая попытка усомниться в его реальности выглядит как измена или в лучшем случае преступное легкомыслие».[62] Гипотетическая советская способность к агрессии даже при отсутствии реальных свидетельств агрессивных намерений считалась достаточным основанием для наращивания военного превосходства, тем более что СССР не выказывал заметной заинтересованности в переговорах. Преувеличение советской военной угрозы помогало и в укреплении общественной поддержки политики «сдерживания». Наконец, реальные события осени 1949 г. — испытание советского атомного оружия и победа коммунистов в Китае, подорвали прежние вашингтонские представления об изменении соотношения сил в холодной войне в пользу Запада. Новое ощущение возросшей угрозы вело к дальнейшей ревизии целей и задач «сдерживания», итогом которой стала знаменитая директива Трумэна СНБ-68.

Документ был подготовлен под руководством приемника Кеннана на посту директора ОВП Поля Нитце и сохранял определенную преемственность с СНБ-20/1 и 20/4. Главная ставка по-прежнему делалась на то, чтобы, не прибегая к большой или превентивной войне, вынудить Советский Союз к отступлению и радикальному пересмотру своего подхода к международным делам.

Ревизия коснулась нескольких ключевых положений американской стратегии. Во-первых, «советская угроза» приобрела «более экстренный характер», соотношение сил трактовалось как быстро меняющееся в пользу СССР. Момент «максимальной угрозы» относился к 1954 г., когда, по

расчетам авторов документа, ядерный потенциал СССР мог сравняться с американским, а советское руководство — решиться на превентивную войну против США. Во-вторых, были существенно «выпрямлены» советские цели и намерения: в отличие от неоднозначных оценок Кеннана они были сведены к «большому замыслу Кремля», направленному на завоевание мирового господства (что по сути было основано на прямой аналогии коммунизма с фашизмом и являлось зеркальным отображением советских представлений о целях стратегии США). В-третьих, важнейшей целью США теперь объявлялся «срыв» этого замысла, что, по мнению авторов документа, должно было стать «важнейшим шагом» к ослаблению и подрыву всей советской системы как главной гарантии необратимости требуемых перемен в советской политике. Кеннановские допущения возможности перестройки внешнеполитического мышления Кремля при сохранении основ советского строя опускались, и задачей США объявлялось «стимулирование коренных изменений в сути советской системы», поскольку без этого «невозможно ожидать долговременного ослабления нынешнего кризиса».

Наконец, в отличие от «раннего сдерживания» главным средством достижения этой цели становилась военная сила: «Без превосходящей и быстро мобилизуемой военной мощи политика «сдерживания», сутью которой является постепенное и дозированное принуждение, будет не более чем блефом». Переговоры были призваны играть чисто пропагандистскую роль или «фиксировать отступление Кремля» перед лицом превосходящей силы.[63] Создание такого решающего превосходства и составляло главный пафос всего документа, его основную практическую задачу — «обработать мозги высшего руководства» (Д. Ачесон) в духе осознания необходимости новых экстренных мер по борьбе с «советской угрозой».[64] В ходе подготовке СНБ-68 Белый дом принял еще одно ключевое

решение — о развертывании производства ядерного оружия в ответ на ликвидацию Советским Союзом атомной монополии США.

Принятие на вооружение новых стратегических установок проходило не без внутреннего сопротивления, исходившего в основном от экспертов госдепартамента по советским делам, отстраненных от разработки документа. Активнее всех возражал сам Кеннан. «Они, — писал позднее он об авторах СНБ-68, — не могли освободиться от призрака Гитлера с его расписанными по времени планами. Они считали, что советские лидеры всецело поглощены осуществлением т.н. «большого замысла», направленного на скорое разрушение американской мощи и завоевание мирового господства. Напрасно я упрашивал их понять, что это химера, что русские не таковы, что они слабее, чем мы думаем, и заняты многочисленными внутренними проблемами; что у них нет никакого «большого замысла» и они не собираются, в частности, тягаться с нами посредством большой войны».[65] Схожие аргументы приводил в своих служебных меморандумах и Ч. Болен: даже соглашаясь с тем, что «в случае с советскими намерениями лучше упрощать в сторону экстренности и угрозы, чем в сторону благодушия», он все же считал тезис о «большом замысле» «опасным упрощением», серьезно искажающим «подлинную картину того, что движет Советским Союзом, и способным привести к ошибкам во внешней политике».[66] Бюро бюджета ставило под сомнение другую ключевую посылку СНБ-68 — о надвигающемся сдвиге военного баланса сил в пользу СССР, отмечая, что США далеко опережает Советский Союз в развитии стратегической авиации, ВМС и ядерного арсенала, что военно-экономический потенциал союзников США «растет день ото дня», а СССР, в отличие от США, окружен союзными Америке государствами».[67]

Тем не менее начало войны в Корее придало новую убедительность алармизму СНБ-68, и в

конце сентября 1950 г. президент Трумэн утвердил его в качестве базового документа американской стратегии в холодной войне. СНБ-68 не только очертил дальнейшую политику администрации Трумэна в наращивании военного потенциала и психологической войне, но и заложил на годы вперед основы концептуального восприятия «советской угрозы» и методов противодействия ей. Уже в сентябре 1951 года Ч. Болен в служебном меморандуме отмечал, что «гипотеза в отношении Советского Союза, содержащаяся в серии СНБ-68, глубоко проникла в мышление правительства и военной бюрократии Соединенных Штатов... став путеводителем при толковании текущих советских действий и основой оценок их будущего развития и мотивов». Это превращение сомнительной гипотезы в новую ортодоксию имело, как доказывал Ачесону Болен, «вовсе не академическое значение, поскольку речь шла о далеко идущих практических последствиях, вытекавших из той или иной гипотезы о советских мотивах и целях».[68] Р. Хукер — один из немногих сотрудников ОВП, не принимавших эту новую ортодоксию, доказывал, что «Советский Союз будет и дальше действовать в защиту своих интересов относительно рационально, примерно так же, как и нетоталитарное государство, и поэтому аналогия с гитлеровским тоталитаризмом ошибочна и вводит в заблуждение. Если этот вывод верен, то мы должны с большей терпимостью относиться к советским интересам, чем если бы мы считали, что явной целью советской политики является достижение мирового господства и что аналогия с гитлеризмом может нам помочь в понимании советских амбиций и в предсказании советского поведения».[69]

Однако подобные голоса уже не делали погоды даже в госдепартаменте, не говоря уже о военном командовании, настроившемся на решительную и длительную борьбу с «глобальной советской экспансией». В закрытых аудиториях некоторые военные эксперты пытались доказать, что СССР «во

многих отношениях является отсталым государством... не планирует войны и не имеет никакого «большого замысла», а скорее «действует по обстановке», но подобные оценки, как сообщали очевидцы в госдепартамент, «вызывали большой ропот в военных кругах, особенно среди деятелей ВВС».[70]

Вспоминая потом внутренние дискуссии в госдепартаменте вокруг СНБ-68, Д. Ачесон писал о столкновении двух подходов в оценке природы «советской угрозы»: идеологизированного, трактовавшего советские цели в «троцкистских терминах мировой перманентной революции», и скептического, признававшего более ограниченный и традиционный характер советских целей. Скептики, возможно, были правы, допускал Ачесон, однако даже для этого полупризнания бывшего госсекретаря понадобилось двадцать лет.[71]

Готовясь к новому военно-силовому рывку в холодной войне, в госдепартаменте начали прорабатывать его возможные последствия и пропагандистское обеспечение. Серьезные переговоры с СССР откладывались до восстановления «позиции силы» и срыва пресловутого «большого замысла Кремля», но до той поры «в тактических целях» представлялось целесообразным демонстрировать готовность США к переговорам и даже «общему урегулированию» на заведомо неприемлемых для СССР условиях. Ярким образцом такой имитации стала известная речь Ачесона в Беркли от 16 марта 1950 г., в которой он изложил семь условий «общего урегулирования» отношения с СССР. Главными из них были вывод «отказ от косвенной агрессии» (т.е. поддержки коммунистических и просоветских сил во всем мире), снятие «железного занавеса», вывод советских войск из Центральной и Восточной Европы, принятие предложений США о мирных договорах с Японией, Германией и Австрией, а также о контроле над атомной энергией.[72]

Речь госсекретаря не была одиночным экспромтом или чистой декларацией. Как свидетельствуют архивные документы, осенью 1950 г. пла-

нировщики госдепартамента всерьез прикидывали варианты отступления СССР в случае успеха американского «рывка» и возможные условия советской капитуляции. В специальном досье под названием «Условия урегулирования», подготовленном директором восточноевропейского отдела госдепартамента Ч. Иостом, предусматривалось три возможных набора таких условий в диапазоне от минимума до максимума. Минимум обозначал тот предел советских уступок, на которые Кремль может пойти под давлением в условиях мирного времени «без трансформации свой системы, — столь радикальной, что он предпочтет ей риск войны». Сюда входили: «принятие эффективной системы контроля над вооружениями» (включая атомное оружие), «прекращение всех нынешних вооруженных агрессий» (т.е. поддержки КНДР в корейской войне), «вывод советских войск из Австрии и урегулирование германского вопроса на условиях США», «ослабление враждебной пропаганды и увеличение свободы информации сквозь «железный занавес». При этом подчеркивалось, что принятие Советским Союзом такого минимума будет означать не «урегулирование», а лишь модус вивенди в холодной войне, и даст Соединенным Штатам основание для «серьезного сокращения военных программ», предусмотренных в СНБ-68.

Минимальные условия на случай войны, в которой дело не дойдет до полного разгрома СССР, были близки соответствующим целям СНБ 20/1: введение «адекватной системы сокращения вооружений и проверки их исполнения», лишение СССР права вето в Совете Безопасности ООН, ликвидация инфраструктуры мирового коммунистического движения, ограничение советской территории границами 1939 г., свобода информации в СССР и соблюдение им международных соглашений в области прав человека.

Наконец, максимальные условия на случай «полного разгрома противника» в дополнение к

предыдущим предусматривали «свержение кремлевского режима русским народом в союзе с США и их союзниками»; «установление в России режима, избранного русским народом и готового честно сотрудничать с другими членами ООН»; «полное разоружение России» за исключением полицейских формирований; «запрещение всех партий, стремящихся к насильственному свержению демократического правления»; признание права национальных меньшинств на самоопределение вплоть до полного отделения.[73]

Нетрудно заметить, что по сравнению с СНБ 20/1 и 20/4 «домашние заготовки» образца 1950 г. исходили из более жестких и пессимистических оценок возможности мирного окончания холодной войны: модификация советского поведения ограничивалась узкими рамками модус вивенди, а «общее урегулирование» считалось теперь возможным лишь в результате военного поражения СССР. Принятие советским руководством «минимума» Иоста означало бы фактический отказ от национального атомного оружия и сферы влияния в Восточной Европе, от поддержки коммунистических и просоветских сил во всем мире, а также угрозу ослабления политической монополии на власть внутри страны. Как признавал в своих записках сам Йост, такое было бы возможно лишь в том случае, если бы «Кремль находился в гораздо более слабом положении, чем теперь».[74] Иными словами, вспоминал впоследствии Кеннан, «вместо переговоров мы предлагали Советскому Союзу капитуляцию, а он был слишком силен, чтобы ее принять».[75] Достаточно сравнить кеннановский план «общего урегулирования» (мирное «разъединение» в Германии, нейтрализация Японии, ограничение гонки ядерных вооружений) с ачесоновским, чтобы увидеть, насколько далеко реализация «сдерживания» отклонилась от его первоначального замысла.

Это отклонение резко усугубляло отмеченное Дж. Гэддисом изначальное противоречие, зало-

женное в доктрине «сдерживания» — «риск самосбывающегося пророчества»: «Что, если постоянный «срыв» советских замыслов привел бы не к ослаблению, а усилению антагонизма к Западу? Как можно было ожидать серьезных переговоров по достижении Соединенными Штатами «позиции силы», если для русских это означало бы «позицию слабости?»»[76] В самом деле, не создавала ли Америка себе еще большего врага — тем более опасного, что в будущем он мог нагнать США в военном отношении и попробовать поквитаться с ними? Эта грозная перспектива «двойного усиления» — враждебных намерений и ядерного потенциала СССР, волновавшая дипломатию США еще в конце 1945 г. (вспомним меморандум Болена—Робинсона), теперь даже и не упоминалась.

Продолжая ту же логику «самосбывающегося пророчества», можно задаться и другим вопросом, который вовсе не поднимался американскими планировщиками: не противоречили ли подобные средства конечной цели «сдерживания» — «смягчению» и «слому» советской системы, производя — по крайней мере в среднесрочной перспективе — скорее «ужесточающий» и «укрепляющий» эффект? Условия «враждебного окружения» и постоянной угрозы безопасности страны не только давали основания для «закручивания гаек» и оправдания экономической неэффективности властей, но и сближали режим и народ вместо их разъединения. Что не менее важно, враждебный вызов извне усиливал и без того мощный мобилизационный потенциал советской системы, способствуя напряжению сил народа и придавая смысл приносимым им жертвам. Противоборство двух систем затягивалось, становилось самоцелью, а его урегулирование относилось все дальше в будущее. «Настоящая разрядка напряженности между Востоком и Западом, — считали в руководстве госдепартамента, — станет возможной лишь при полной трансформации советской системы... Тогда холодная война закончится и

все наши концепции связанных с нею целей станут ненужными... Однако все это находится далеко за пределами предположений, допускаемых реальностью».[77] Холодная война превращалась в долгую позиционную борьбу на изматывание противника. Как меланхолически подытожил Кеннан перед уходом в отставку с поста директора ОВП: «Нам с русскими остается лишь упрямо держаться зубами за свои сферы и ждать, кого первого настигнут его внутренние противоречия...»[78] История дала ответ на этот вопрос, но это — предмет уже другой книги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При всем тематическом разнообразии очерков этой книги их объединяет стержневая тема — судьба советско-американского союза от его зарождения и становления до развала и перехода к холодной войне. Хотя судьба эта во многом определялась объективными факторами, в создании союза, равно как и в его распаде, не было автоматизма. И то и другое потребовало многих целенаправленных усилий и действий (а иногда и бездействия) всех участников, развивалось через политическую борьбу и преодоление сопротивления. Обе эти фазы — созидательная и разрушительная — были частью единого двустороннего процесса, имевшего внутреннюю динамику и закономерности, свои симметрии и асимметрии в его национальной специфике.

Императив совместной борьбы с общей смертельной угрозой потребовал от руководителей обеих стран поступиться идеологическими принципами и политическими симпатиями, отодвинул глубокие политико-системные и культурно-цивилизационные различия на второй план. Произошла серьезная деидеологизация межгосударственных отношений, сопровождавшаяся серьезными изменениями в восприятии друг друга, привычных установках и методах работы госаппарата, пропаганде и, конечно, в содержании самой политики и дипломатии.

«Перепрограммирование» на сотрудничество со вчерашним противником стало непростым и

весьма болезненным процессом, прежде всего — для США с их громоздкой системой «сдержек и противовесов», повышенной ролью общественного мнения, независимой прессой и огромной инерционностью ведомственных интересов. Для проведения своей политики Рузвельту пришлось сконцентрировать принятие основных решений в руках узкого круга ближайших помощников, часто действуя в обход конгресса, госдепартамента, военного министерства и других ведомств. В СССР в условиях тотального политического контроля и личной диктатуры подобные резкие повороты в политике институционально проходили гораздо легче, чем в плюралистических США — достаточно было сменить «программу» в голове Сталина и его ближайшего окружения. К тому же императив сотрудничества для Кремля был более настоятельным, чем для Белого дома, имевшего больший стратегический выбор.

По мере развития сотрудничества между двумя странами в свои права вступала логика коалиционного взаимодействия, заставлявшая считаться с интересами партнера и его самолюбием. В ходе этого взаимодействия с обеих сторон укрепилось чувство солидарности, появились надежды на сохранение сотрудничества и после войны, подкрепляемые (особенно в США) иллюзиями о постепенном сглаживании системных различий, в том числе и под воздействием самого этого сотрудничества — надежды на то, что «дружба по принуждению», говоря словами Рузвельта, превратится в «постоянную дружбу». К концу войны между союзниками были намечены некоторые общие принципы и подходы к решению проблем послевоенного урегулирования.

Вместе с тем даже в ходе общей борьбы между Москвой и Вашингтоном сохранялись серьезные противоречия, а сам союз не получил прочной социально-политической и институциональной опоры внутри обоих государств. Последнее в первую очередь касалось сталинского режима, повышенная политико-идеологическая жесткость которого

налагала дополнительные ограничения на сближение с Западом и усложняла поддержание тотального контроля в условиях такого сближения. Но и в США сохранялось как массовое неприятие коммунистической идеологии, так и инерция антисоветских настроений в госаппарате, особенно — среди военных и дипломатов. Внутри каждой из стран сближение с идеологически чуждой системой создавало немалые проблемы: в США — проблему общественной поддержки такой политики, в СССР — проблему контроля власти над обществом. Политика разрядки была слишком сложной и противоречивой для политических систем обеих стран, которые в силу своеобразной «логики упрощения» тяготели к более одномерной политике.

Стоит ли после этого удивляться, что союз «большой тройки» ненадолго пережил свою победу над общим врагом? Победоносные коалиции в истории редко сохраняются после войны, а тем более — коалиции столь разнородных по основным своим параметрам государств. В годы войны «необходимость заставила Советский Союз и нас действовать сообща против общего врага, — говорил об этой закономерности Ч.Болен на совещании в госдепартаменте осенью 1945 года. — С концом войны государствам свойственно начинать преследовать свои частные интересы. Объединяющий эффект войны сменяется подковерной борьбой между бывшими союзниками за свои узкие интересы».[1]

Действительно, с исчезновением «объединяющего эффекта войны» развитие событий быстро пошло вспять: общий интерес — уничтожение противника — сменился раздорами вокруг «дележа добычи» (как с горечью писал Дж.Дэвис),[2] вновь властно заявили о себе системные и культурно-цивилизационные различия, с исчезновением нужды друг в друге взаимная приязнь и уважение сменились привычным отчуждением, а затем и враждой.

Главными причинами развала союза (помимо исчезновения скреплявшей его общей угрозы) были растущие разногласия по вопросам послевоенного устройства мира и усиливавшееся соперни-

чество СССР и США в стратегически важных районах, где на развалинах Второй мировой войны образовался вакуум силы — Центральная и Восточная Европа, Средний и Дальний Восток, Китай и Корея. Положение усугублялось поляризацией мощи между двумя новыми сверхдержавами на фоне резкого ослабления других мировых центров силы. На этот геополитический «пейзаж после битвы» наслаивались универсальные идеологические претензии укрепившихся за годы войны американской и советской моделей, что придавало особую остроту и глобальный размах их борьбе за влияние в мире.

Лидеры США связывали послевоенный миропорядок и саму национальную безопасность с распространением западной модели открытой рыночной экономики и либеральной демократии, а также со своим доминированием в мире, основанном на финансово-экономической и военной мощи США, их глобальном военном присутствии и монополии на атомное оружие. Если Советский Союз и мог вписаться в этот миропорядок, то только в качестве младшего партнера, соблюдающего американские правила игры. В Вашингтоне, уже ощущавшем свою новую мощь и глобальную ответственность, считалось, что, во-первых, СССР и так уже получил слишком много, а во-вторых, вообще не вправе претендовать на подлинное равенство с Западом ввиду ущербности своей системы и недостаточной цивилизованности.

Советское руководство не было готово согласиться с такой подчиненной ролью. В Кремле считали, что решающим вкладом в общую победу СССР завоевал себе равное право на безопасность, признание своих интересов и справедливую долю геополитических «трофеев» войны. С учетом уроков войны и изоляции межвоенного периода советское понимание безопасности также приобрело расширительный характер и стало включать в себя создание «защитного пояса» из просоветских государств вдоль своих западных границ, свободный выход в Мировой океан и обеспечение макси-

мальной глубины обороны по всему периметру государства.

В Москве сознавали свое экономическое и военно-стратегическое отставание от США, но надеялись, что Запад, ослабленный «межимпериалистическими противоречиями» (прежде всего — «англо-американским антагонизмом») и неизбежной, как считалось, послевоенной депрессией, может пойти на полюбовный раздел сфер влияния; что США, скорее всего, уйдут с европейского континента (оставив там Советский Союз в качестве военного гегемона) и вряд ли будут заинтересованы в возрождении Германии и Японии как своих потенциальных конкурентов.

На деле обе стороны повели себя во многом наперекор ожиданиям друг друга. США избежали большого послевоенного кризиса; они не собирались уходить из Европы и сохранили свое военное присутствие в других регионах мира, взяли назад некоторые авансы военных лет (помощь в послевоенном восстановлении СССР, поддержка претензий Советского Союза на черноморские проливы и итальянские колонии), поддержали Великобританию в защите ее имперских интересов от покушений со стороны Москвы и встали на путь восстановления своих бывших противников.

Москва, в свою очередь, жестко противодействовала вмешательству западных союзников в свою сферу влияния и ужесточала над ней контроль, энергично пыталась расширить ее за счет прежде всего британских интересов, продолжала поддержку западных компартий и закручивала идеологические гайки внутри страны вместо либерализации сталинского режима.

Ускорителем этого дрейфа от сотрудничества к соперничеству служила еще одна закономерность, которую можно назвать «убывающей полезностью» союза — прогрессирующее ослабление стимулов к сотрудничеству по мере сокращения его дивидендов для обеих сторон. Сохранение сотрудничества постепенно приносилось в жертву главным стратегическим приоритетам обоих государств.

Обоюдное разочарование и усилившаяся подозрительность обеих сторон вели к возвращению традиционного представления о несовместимости систем и жесткой запрограммированности мотивов друг друга. Иными словами, обе стороны двигались в одном и том же направлении реидеологизации — отрицания легитимности друг друга и признания непримиримой враждебности двух систем, что в конце концов привело их к биполярной конфронтации.

С учетом всех этих геополитических, политико-идеологических и культурно-цивилизационных факторов советско-американское соперничество в послевоенном мире было, по всей видимости, неизбежным. Но оно могло принять другие, менее жесткие и опасные формы, если бы стороны проявили большую гибкость и терпимость в поиске компромиссов. Тот же Болен, когда он осенью 1945 г. говорил о неизбежности распада «большой тройки», еще отнюдь не считал, что начавшаяся «подковерная борьба» двух стран должна вылиться в холодную войну. К сохранению сотрудничества в новых послевоенных условиях не раз призывал Сталин, который в отличие от дежурного оптимизма заверений западных лидеров на сей счет реалистически подчеркивал всю сложность этой задачи: «Нетрудно было сохранять единство во время войны, поскольку существовала единая цель — нанести поражение общему врагу, — которая была ясна каждому, — говорил он на Ялтинской конференции. — Но более трудная задача встанет после войны, когда различие интересов будет толкать союзников к разобщению».[3] Ту же мысль он высказал в Потсдаме Трумэну, судя по записи в дневнике последнего.[4] В сентябре того же года на встрече с сенатором К.Пеппером Сталин опять поднял тему важности сохранения согласия великих держав, добавив: «Это будет трудно, но Христос сказал: «Ищите и обрящете».[5]

Однако поиска этого как раз и не было. Не искал сам Сталин: поглощенный укреплением и расширением своей системы любой ценой, он, по выраже-

нию авторов известной в США книги, «не хотел конфронтации с бывшими союзниками, но не знал, как ее избежать».[6] Но не искали (по крайней мере при Трумэне) и сами Соединенные Штаты, находившиеся в куда более выигрышном положении, чем Советский Союз. Страна, располагавшая непревзойденной многомерной мощью по всему набору военных, экономических, финансовых, научно-технических и других компонентов, имевшая большую свободу выбора, убежденная в своем политическом, интеллектульном и моральном превосходстве над другими, в своей ответственности, зрелости и способности к мировому лидерству, должна была оцениваться по более высоким меркам, чем вчерашняя пария и неотесанный новичок в большой мировой политике. Недаром тот же глава советского отдела УСС Дж.Робинсон писал в 1945 г. об особой ответственности США и Великобритании за сохранение сотрудничества великих держав, а эксперты госдепартамента в конце того же года предупреждали о необходимости повышенного «терпения и старания» в отношениях с СССР. Казалось бы, что, располагая таким запасом прочности, США могли бы позволить себе гораздо более умеренную и великодушную политику в отношении своего бывшего союзника. Даже Д.Ачесон на склоне лет признавал «возможную правоту» тех «академических критиков», которые считали, что «мы чрезмерно прореагировали на Сталина, а это, в свою очередь, вызвало его сверхреакцию на политику Соединенных Штатов».[7]

Эту ответственность ощущали и другие американские участники событий, которые еще на заре холодной войны задавались вопросом о том, все ли возможное было сделано с их стороны, чтобы предотвратить или хотя бы смягчить этот смертоносный конфликт. Наша совесть чиста, отвечал на этот вопрос в письме А.Гарриману Ч.Болен, озабоченный тем, как сохранить «огромный моральный капитал Америки», состоящий в том, что она при Рузвельте предприняла «честную и искреннюю

попытку найти основу для согласия с Советским Союзом». Неудача этой попытки, по Болену, объяснялась не «отдельными промахами» американской политики (заметными к тому же лишь «задним числом»), а «самой природой и действиями советского государства».[8] Его дополнил Черчилль в одном из своих публичных выступлений 1949 г., объяснив, что советское руководство умудрилось «объединить против себя весь свободный мир» не потому, что «в нем нет очень способных людей», а потому, что «они больше боятся дружбы Запада, чем его враждебности».[9]

Впоследствии, когда поколение Сталина сошло со сцены и живая память о великом диктаторе начала ослабевать, в американской историографии он стал вровень с «советской системой» в качестве главной причины сползания советско-американского соперничества к холодной войне. Пальма первенства здесь принадлежала А.Шлезингеру-младшему, который в своей известной статье 1967 г. писал о невозможности понять причины холодной войны без «непримиримости ленинской идеологии, зловещей динамики тоталитарного общества и безумия Сталина».[10] Еще через тридцать лет фигура Сталина разрослась в решающий фактор этой метаморфозы — по мнению дуайена американских историков холодной войны Дж.Гэддиса, «пока Советским Союзом управлял Сталин, холодная война была неизбежна».[11]

Спору нет, личность Сталина сыграла важную роль в сползании к холодной войне: как подтверждают новые архивные документы и материалы этой книги, именно он принимал все важнейшие политические решения, проложившие дорогу к ее эскалации с советской стороны. Дело было не только в его бездонной подозрительности и глубокой идеологической враждебности, как считают А.Шлезингер-мл. и Дж.Гэддис, но и в большевистском пристрастии Сталина к огромным преобразованиям и его железной воле в их реализации, невзирая на любые издержки. Советская холод-

ная война, потребовавшая предельной мобилизации весьма ограниченных ресурсов и всемерного напряжения всех народных сил, стала для него следующим великим «мобилизационным проектом» после коллективизации, индустриализации и Великой Отечественной войны. Она повлекла за собой усилия и жертвы сравнимого масштаба, особенно — в гонке вооружений, и трудно себе представить кого-то еще в тогдашнем советском руководстве кроме Сталина, кто смог бы с равной решимостью и беспощадностью навязать такое напряжение и такие жертвы измученной и опустошенной стране, заложить военно-стратегические программы, на долгие годы определившие развитие советской военной мощи.

Холодная война вполне согласовывалась и со сталинской системой, обеспечивая ее всеми мобилизационными преимуществами настоящей войны без рисков и потерь последней. Она не только оправдывала жертвы и принуждение, заложенные в основу самой этой системы, но и поставляла прикрытие для ее хронической неспособности обеспечить материальные нужды народа, позволяя списывать это на «враждебное окружение».

Но в то же время Сталин не был революционным романтиком или азартным экспансионистом, и уж тем более — безумцем. Его, как соглашаются авторы многих новейших исследований,[12] отличали ограниченность целей, безусловный приоритет геополитических задач по расширению сферы советского влияния, упорство, жестокость, хладнокровие и тактическая гибкость в достижении этих целей всеми доступными средствами, умение не только балансировать на грани кризиса и войны, но и отступать под давлением превосходящей силы. Последнее резко отличало Сталина как стратега от Гитлера, который (по словам Сталина в беседе с Иденом) «не знает, где остановиться». У Сталина было немало ошибок и просчетов, особенно — в передозировке силового нажима на противников, но каждый раз, будь то иранский, турецкий или

берлинский кризис, внутренняя осторожность спасала его от худших последствий собственных ошибок — прямого военного столкновения с Западом. Поэтому если Сталин и помог холодной войне стать более масштабной и интенсивной, то он же способствовал тому, чтобы она осталась холодной.

В этом смысле Сталин был ответственным и, можно даже сказать, надежным спарринг-партнером Запада по холодной войне. Ведь вся американская стратегия «сдерживания» — стратегия «постепенного и дозированного принуждения» — была рассчитана на рациональное поведение Кремля и, ее авторы крайне опасались сверхреакции Сталина на свое давление. Не случайно, столкнувшись впоследствии с импульсным и непредсказуемым Хрущевым, в эйзенхауэровском Белом доме с ностальгией вспоминали о «шахматном» стратегическом почерке Сталина.[13]

Основные геополитические задачи Кремля оставались неизменными на протяжении всех 1940-х годов (хотя к концу войны их масштабы несколько возросли вместе с возможностями). Больше менялись средства достижения этих целей: сначала — попытка договориться с Гитлером, потом — с союзниками, а когда и те встали в оппозицию его притязаниям, Сталин стал добиваться своего в одностороннем порядке. Несмотря на некоторые срывы, ему все же удалось добиться своей главной цели — раздвинуть границы СССР и сколотить «советскую империю», избежав при этом большой войны с Западом. Однако решающее испытание эффективности любой большой стратегии — это время, а его-то сталинское детище и не выдержало. Самой непрочной закономерно оказалась самая противоестественная его часть — «соцлагерь» в Восточной Европе. Советский контроль над ним был непрочен, союзники — ненадежны, а советская модель — неукоренившейся. «Лагерь» держался в основном на страхе, и как только он исчез, восточноевропейцы, а с ними и прибалты ринулись обратно на Запад, оставив Россию наедине с прежней проблемой защиты своих западных рубежей. Не говоря уже о

том тяжелом наследии, которое осталось у этих народов от советских времен и поныне осложняет их отношения с новой Россией. Более жизнеспособными, что тоже вполне объяснимо, оказались как раз те самые «исключения» — финское и китайское, основанные на сталинском «великодушии по расчету». Оно действительно окупилось и для самой России, сохранившей добрые отношения со своими великим и малым соседями. Как не вспомнить здесь слова другого российского дипломата — Федора Тютчева: «Счастлив, кому в наш век победа далась не кровью, а умом...»

Надолго «закрепить завоеванное» (говоря словами Молотова) так и не удалось. Последние оставшиеся форпосты сталинской империи, отвоеванные во Второй мировой войне — Калининградский экслав на Северо-Западе и Южные Курилы на Дальнем Востоке, — удерживаются Россией с большим трудом и неясными перспективами. А в долгосрочном выигрыше от послевоенной перекройки границ остались Польша (сдвинувшаяся далеко на запад и избавившаяся от украинско-националистической Галиции) да независимая теперь Украина, получившая эту самую Галицию, а потом еще и Крым — от Хрущева.

Могут, правда, сказать, что Сталин здесь ни при чем, а оставленное им геополитическое наследие промотали его «бездарные преемники». Действительно, все они уступали великому диктатору как в постановке великодержавных задач, так и в беспощадной последовательности в их реализации. И все же главный изъян был в непрочности самой империи, сохранить которую вряд ли смог бы и второй Сталин.

Коренной просчет, который задним числом можно усмотреть в стратегии Сталина, кроется не в конкретных мерах по расширению советской сферы (в чем он немало преуспел), а в самой сути его стратегического выбора — втягивании измученной войной страны, так нуждавшейся в мирном развитии и внутренних преобразованиях, в непосильное для нее глобальное противоборство, кото-

рое в конце концов подорвало экономику СССР и стабильность самой советской системы. Разве история не показала глубокой ошибочности сталинского диагноза соотношения сил, лежавшего в основе его «большой стратегии»? Не лучше ли было избрать нечто вроде стратегии Дэн Сяопина 1970-х годов — уклонившись от глобальной конфронтации, снизить бремя военных расходов и сосредоточиться на модернизации экономики страны и повышении уровня жизни народа, а уже потом, опираясь на накопленную экономическую мощь, вернуться к активной глобальной политике?

Но Дэн Сяопин в 1970-х располагал гораздо большей свободой маневра, чем Сталин в 1940-х : СССР и США сковывали друг друга, и КНР могла уподобиться обезьяне на горе, спокойно наблюдавшей за борьбой двух тигров в долине. А главное — соотношение сил в мире тогда выглядело совсем иначе, и далеко не только для Сталина. Капитализм еще не реабилитировал себя после мирового кризиса 1930-х годов, а системный кризис советской модели был далеко впереди. Сталинская система еще не исчерпала своих мобилизационных возможностей, которые будут заявлять о себе вплоть до конца 1960-х. Поднималась антиколониальное национально-освободительное движение, образовался какой-никакой социалистический лагерь. С империализмом «легче стало бороться, да и работа пошла веселее», как говорил Сталин на закрытии XIX партийного съезда.[14] Он чувствовал себя слишком сильным, чтобы капитулировать, но был слишком слаб, чтобы победить.

Более радикальные изменения по сравнению с советской политикой за 1940-е годы претерпела политика США. От терпимо-снисходительного отношения к сталинской «дезидерате» в годы войны они перешли ко все более активному противодействию ей в послевоенный период, от рузвельтовской стратегии «приручения» и «интеграции» — к трумэновскому «сдерживанию», которое, как мы видели, подразумевало не просто блокирование «экспансии Москвы», а слом самой советской сис-

темы как конечное условие победы в холодной войне. И здесь мы опять возвращаемся к вопросу о доле ответственности США за развал советско-американских отношений в послевоенные годы.

Версия Болена—Черчилля о «честной попытке» и отвергнутой Кремлем «дружбе» Запада, ставшая основой ортодоксальной интерпретации происхождения холодной войны, не могла претендовать на бесспорность уже хотя бы потому, что после Рузвельта и особенно — после Хиросимы в реальной политике США и Великобритании эта протянутая с Запада «рука дружбы» как-то не просматривалась, хотя в ту пору говорить о провале этой попытки было еще явно преждевременно. Уж очень легко Вашингтон отказался от дальнейших усилий «договориться с русскими».

Неудивительно, что проклятый вопрос о «чистоте совести» США периодически возникал в американской историографии — сначала в дебатах 1960 — 1970-х годов между «традиционалистами» и «ревизионистами», а затем на современном витке этих дебатов, разгоревшихся с открытием российских архивов. Масштабная попытка синтеза и интерпретации новых архивных документов как работающих на ортодоксальную версию, предпринятая Дж.Гэддисом, не встретила широкой поддержки его американских коллег и была подвергнута вежливой, но глубокой критике, ярче всего — со стороны М.Леффлера.[15] «Ревизионисты» находят и в новых документах немало данных в поддержку своей позиции о весомом вкладе американской политики в развязывание холодной войны. Отзвуки этих дебатов слышны и в российской историографии холодной войны и советско-американских отношений.[16]

Одним из ключевых аргументов «традиционалистов» остается довод о том, что США, во-первых, сделали все возможное (или даже больше, чем следовало) для сохранения нормальных отношений с СССР, а во-вторых, что даже самая миролюбивая американская политика была бы бессильна серьезно повлиять на «неэластичное» поведение Совет-

ского Союза. В свое время ярче других этот тезис сформулировал Дж.Кеннан в дополнении к «длинной телеграмме»: «Ничто, кроме полного разоружения, передачи наших военно-воздушных и военно-морских сил России, а власти в США — американским коммунистам, не решит этой проблемы (советского недоверия), да и тогда Москва заподозрит здесь ловушку и будет продолжать вынашивать самые мрачные домыслы».[17]

Полемизируя с этой точкой зрения, автор этих строк закончил недавно вышедшую в США книгу об интерпретациях происхождения холодной войны гипотетическим вопросом: «Изменилось бы советское поведение, если бы США проводили иную политику? Нет, утверждает преобладающая на Западе точка зрения. Но мы не можем быть в этом уверены, поскольку США после смерти Рузвельта так и не подвергли испытанию компромиссный вариант».[18] Видный представитель нового поколения критической школы калифорнийский историк Ф.Логеваль в недавней статье в журнале «Дипломатик хистори» подхватил этот тезис и развил его дальше, задавшись вопросом о том, почему США в начале холодной войны не только не вступали в серьезные переговоры с Советским Союзом, но «даже и не рассматривали такую возможность всерьез?»[19] В самом деле, как видно и из очерков данной книги, администрация Трумэна, начиная с осени 1945 года, неизменно отвергала с порога все компромиссные альтернативы, исходившие из госаппарата и от внешних экспертов, выбирая более жесткие варианты. Вместо поисков модус вивенди и хотя бы частичного урегулирования разногласий курс был взят на «смену режима» в СССР, выражаясь языком современной американской стратегии.

Логеваль обоснованно видит ключ к объяснению такого упрямого максимализма во внутренней кухне и некоторых устойчивых особенностях внешнеполитической традиции самих Соединенных Штатов. На первое место он ставит морализм, коренящийся в «американской исключительнос-

ти» и мессианском комплексе превосходства; согласно этому взгляду «Америка представляет собой высшую форму цивилизации, светоч надежды для всего человечества. ЕЕ политика уникально бескорыстна, а ее институты заслуживают особого подражания. Поэтому любая враждебность к Соединенным Штатам по определению является враждебностью к прогрессу и правому делу, а следовательно (тоже по определению) — находится вне закона». Вытекающая отсюда склонность к демонизации противника поощрялась системой «сдержек и противовесов» и популярностью массового антикоммунизма, толкавших политиков к повышенному алармизму в отношении «советской угрозы» для повышения своей популярности и управляемости системы власти. Не менее важным фактором, подчеркивает Логеваль, было и отсутствие у политической элиты США исторического опыта равноправных внешнеполитических союзов, поскольку они быстро «перескочили» от условий изоляции к мировому лидерству и «ни до, ни после достижения статуса великой державы не испытывали особой нужды в постоянных переговорах и компромиссах для своего выживания и процветания».[20]

Данное обстоятельство особенно важно для понимания повышенной идиосинкразии американского руководства к послевоенному возвышению СССР в качестве сопоставимой мировой державы, да еще представляющей альтернативную модель развития. Эта комбинация, по глубокому замечанию В.Л.Малькова, поставила Вашингтон перед очень серьезной дилеммой: «сохранить ли тесные партнерские отношения с Советским Союзом (тем самым добровольно соглашаясь с уравнением США с советской сверхдержавой) или, опираясь на экономическое и военное (атомное оружие) превосходство, постепенно отвоевать геополитическое пространство, оказавшееся под контролем СССР, сдержать его устремления к превращению в альтернативный центр силы и в конечном счете добиться либерализации советского режима и

рецепции им западных ценностей».[21] В примитивно образной форме суть послевоенной ситуации была схвачена безымянным участником специального опроса о взглядах американцев на советско-американские отношения, проведенного по заказу госдепартамента осенью 1948 года: «Это как история о старшем и младшем братьях во дворе. Когда младший еще мал, старший может им командовать, но со временем и тот становится большим... война сделала Россию взрослой. Она и сама понимает, что выросла. Теперь большому брату приходится менять свое обращение с выросшим младшим».[22] Но американский «большой брат», тоже «выросший» за годы войны, не желал делиться первенством ни с кем, тем более — с советским «мальчиком без штанов» из знаменитой притчи М.Е.Салтыкова-Щедрина.

Список Логеваля можно было бы и продолжить. В него следует включить сложившийся за столетия дармовой и нерушимой безопасности низкий болевой порог, вызывающий сверхреакцию на реальные и даже мнимые угрозы. Сюда же относится и отмечаемая исследователями американской стратегической культуры тенденция к перестраховке, ставке на подавляющее преимущество, полный разгром и «безоговорочную капитуляцию» противника.[23] Это, наконец, стремление к безопасности через экспансию и периодически оживающий «имперский позыв» к расширению «зоны свободы и демократии» в мире, тесно связанный с американским мессианством, «самонадеянностью силы» и психологией мирового лидерства. За годы «нового курса» и войны с фашизмом в стране был накоплен материальный и духовный потенциал для второго после начала XX века рывка Америки к мировому лидерству, открывшего период «американского века».[24] В этих условиях американские сторонники компромиссного урегулирования разногласий с СССР на равноправной основе не имели реальных шансов изменить политику Вашингтона.

Лишь с учетом всех этих факторов, а не только советских и сталинских «комплексов», можно по-

нять, как и почему вероятность перерастания советско-американского соперничества в холодную войну превратилась в практическую неизбежность, хотя развернутый ответ на этот вопрос требует еще многих конкретных исследований. Детального анализа с использованием новых, пока еще недоступных документов отечественных архивов, заслуживает и вопрос о том, насколько советское руководство в те годы было готово к серьезному диалогу с США. Ему препятствовал и атомный фактор: в Кремле возлагали главные надежды на выравнивание силового баланса с США, а те в свою очередь стремились использовать свое преимущество, чтобы дожать противника до капитуляции.

Пройдет еще почти четверть века после событий, описанных в этой книге, прежде чем США предпримут новую попытку поставить отношения с СССР на более равноправную основу. Это произойдет на следующем витке наращивания советского военного потенциала и относительного ослабления мировых позиций США после поражения во Вьетнаме. Столкнувшись с той же проблемой укрощения возросшей советской военной мощи, но на сей раз — в условиях военно-стратегического паритета, администрация Никсона—Киссинджера вернется к рузвельтовской по своей сути стратегии «приручения» СССР путем его вовлечения в западное сообщество и признания его интересов безопасности. В ходе разрядки 1970-х годов наконец произойдет окончательное (как тогда казалось) закрепление итогов Второй мировой войны, которого советская дипломатия добивалась долгие годы.

Президент Р. Никсон разговаривал с Л.И.Брежневым, почти как Рузвельт и Гопкинс со Сталиным: «Временами то одна, то другая страна выходит вперед, но оба наших народа — это сильные народы, обладающие большими производительными ресурсами, и они по велению самой судьбы должны будут в течение многих лет вести дела друг с другом на равной основе».[25] Г.Киссинджер, как пока-

зывают новейшие архивные документы, даже подошел вплотную к признанию доли ответственности США за холодную войну, связанной с американским нежеланием (или неспособностью) войти в положение соперника. В одобренном Никсоном проекте своего вводного слова к первому доверительному разговору с советскими лидерами (во время секретной поездки Киссинджера в Москву в апреле 1972 года) он писал: «После Второй мировой войны мы воспринимали сталинскую Россию как экспансионистскую и агрессивную силу и отвечали соответствующим образом. Мы признаем, что тем самым, видимо, создали у советской стороны впечатление, что мы стремились загнать СССР в перманентно проигрышное положение. Судя по всему, мы недооценили советские опасения, вынесенные из опыта Второй мировой войны. Мы также недостаточно хорошо сознавали, что потребности безопасности континентальной державы заметно отличаются от потребностей державы, окруженной, как наша, со всех сторон океанами. Наша история отсутствия иностранных вторжений с 1812 года сделала нас невосприимчивыми к проблемам страны, подвергавшейся неоднократным нашествиям».[26]

Судя по записям этих бесед, Киссинджер не использовал эту заготовку полностью в самих переговорах, хотя и повинился перед Л.И.Брежневым за прошлые ошибки: «Главное препятствие с нашей стороны, по-видимому, состояло в том, что нам казалось необходимым в отношениях с вами договариваться с позиций превосходящей силы» («бесполезная, пустая затея», ответил на это Брежнев). И все же эти запоздалые сожаления и сегодня могут служить не только авторитетным признанием погрешностей тогдашнего американского восприятия, но и полезным напоминанием тем западным историкам, которые судят о советской внешней политике тех лет, даже не пытаясь проникнуть в ее внутреннюю логику и мировосприятие.

Советско-американская разрядка 1970-х годов оказалась, как известно, весьма скоротечной и раз-

валилась примерно по той же схеме, что и союз военных лет. Основными закономерностями этого процесса вновь стали взаимная реидеологизация отношений, растущие расхождения геополитических интересов, ослабление стимулов к сотрудничеству по мере сокращения его дивидендов для обеих сторон.[27] С американской стороны вновь проявились те же черты политической культуры, которые так осложняли налаживание равноправных партнерских отношений с СССР в первые послевоенные годы. В итоге после недолгого экспериментирования с паритетом политика США вновь, как и в 1945—1947 годах, стала на путь стремления к превосходству, гегемонии и подрыву главного конкурента. Эти же американские комплексы осложняют и современные отношения США с постсоветской Россией, свидетельствуя о том, что отнюдь не все советско-американские противоречия времен холодной войны коренились в советской системе и коммунистической идеологии.

Сходная дилемма стоит перед Соединенными Штатами и сейчас, когда они переживают новый период «имперского искушения» — уже в качестве «единственной сверхдержавы». Найти модус вивенди с другими поднимающимися центрами силы, поделившись с ними правами и ответственностью, или попытаться сохранить свою гегемонию в мире, в том числе и самыми жесткими методами — таков в сущности главный выбор для американской стратегии, широко обсуждаемый сейчас в самих США и за их пределами.[28] Поймут ли американцы, «что все мы, — как говорил еще шестьдесят лет назад И.М.Майский А.Гарриману, — живем на одной и той же маленькой планете, что эта планета с каждым годом становится все меньше, а соприкасаемость народов все больше, что поэтому США в целях поддержания мирового порядка следует в отношениях с другими странами больше признавать принципы равноправия со всеми вытекающими отсюда последствиями?[29] Прислушаются ли они к предостережению своего соотечественника Р.Нибура о том, что у них нет монополии на «необходи-

мую политической мудрость»? и потому «для защиты от самих себя» они нуждаются в «более широком сообществе, принимающем решения»?[30] От ответа на этот вопрос будет во многом зависеть и будущее их отношений с Россией.

Но вернемся в заключение к советско-американским отношениям 1940-х годов. Размышляя об их исторической судьбе и не до конца реализованном позитивном потенциале, не следует забывать и о том многом, чего все-таки удалось достигнуть. Советско-американское сотрудничество привело к победе над страшным общим врагом, устранив огромную угрозу для всего человечества. Оно помогло заложить демократические основы международно-правового порядка, действующие и по сей день. Наконец, и в худшие годы холодной войны оба государства сумели проявить достаточную ответственность и сдержанность, чтобы не допустить новой всемирной катастрофы и дать возможность самой истории вынести свой приговор в развернувшейся борьбе двух систем.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

[1]Иванов Р.Ф. Сталин и союзники, 1941—1945.Смоленск, 2000; Иванов Р.Ф., Петрова Н.К. Общественно-политические силы СССР и США в годы войны: 1941—1945. Воронеж, 1995; Мальков В.Л. Путь к имперству. Америка в первой половине XX века. М., 2004; Союзники в войне. 1941—1945. Под ред. А.О.Чубарьяна, У.Кимбэлла и Д.Рейнолдса. М., 1995; Сталин и холодная война. Отв. ред А.О.Чубарьян. М., 1997; Сталинское десятилетие холодной войны: факты и гипотезы. Под ред. А.О.Чубарьяна и Н.И.Егоровой. М., 1999; Холодная война. 1945—1963 гг. Историческая ретроспектива: Сб. ст. Отв. ред. Н.И.Егорова, А.О.Чубарьян. М., 2003; Фалин В. Антигитлеровская коалиция: конфликт интересов. М.,2000; Очерки истории Министерства иностранных дел России 1802—2002 гг., Т. 2. М., 2002.

[2]Советско-американские отношения. 1939—1945. / Под ред. Г.Н.Севостьянова; сост. Б.И.Жиляев, В.И.Савченко. М., 2004; Советско-американские отношения. 1945—1948 / Под ред. Г.Н.Севостьянова; сост.В.В.Алдошин, Ю.В.Иванов, В.М.Семенов. М., 2004. См. также: Восточная Европа в документах российских архивов 1944—1953. Т.1—2., М. — Новосибирск, 1997—1998; СССР и Германский вопрос. Документы из Архива внешней политики Российской Федерации. Сост. Г.П. Кынин и Й. Лауфер. Т.1—3. М., 1996—2001; Ржешевский О.А. Война и дипломатия. Документы, комментарии (1941—1942); Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Т. IV: Советско-китайские отношения 1937—1945. Кн.2: 1945 г. / Отв. ред С.Л. Тихвинский. М., 2000.

[3]См.: Чубарьян А.О. Новая история холодной войны/Новая и новейшая история, 1997, № 6, с. 11—12.

ЧАСТЬ I

КАК СОЗДАВАЛСЯ СОЮЗ

ТРУДНОЕ НАЧАЛО

[1]Громыко — Молотову, 13 декабря 1939 г. О политической обстановке в настоящее время. Архив Внешней Политики РФ (далее — АВП РФ), ф.06, оп.2, п.23, д.158, л.218.

[2]Уманский — Литвинову, I.XII.1938. АВП РФ, ф.06, оп.05, п.147, д.132, л.102-103; Уманский — Молотову, 13.XII 1939. (Справка) — там же, оп.2, п.23, д.158, л. 219—220. Полный текст этого документа см. : Советско-американские отношения. 1939—1945. Под ред. Г.Н.Севостьянова; сост. Б.И.Жиляев, В.И.Савченко. М., 2004, док-т №9.

[3]Громыко — Молотову. 13.XII.1939 . АВП РФ, ф.06, оп.2, п.23, д.158, л.207—208; Громыко — Молотову. 21.I.1940. Там же, д.292, л.8, 29; Уманский — Молотову. 17.2.1940. Там же, л.31; Громыко — Молотову. Там же, л.107.

[4]Events and atmosphere m Moscow prior to Harriman mission, September 1941, as seen by Mr. Thayer. — September 29, 1953. — Library of Congress (далее — LC), William A.Harriman Papers (далее — WAHP), Writing Files, Memoirs, H. Feis Files, Cont.872.

[5]The Secretary of State to the Ambassador in the Soviet Union, June 14, 1941. Foreign Relations of the United States (далее — FRUS), 1941, I, Wash.,1958, pp.757-758.

[6]The Ambassador m the Soviet Union to the Secretary of State, June 17, 1941. Ibid., p. 765.

[7]The Ambassador in the Soviet Union to the Secretary of State, June 7, 1941. Ibid, p.621.

[8](Michela, Yeaton). An Estimate of the Combat Efficiency of the Red Army, June 16, 1941. National Archives (далее — NA), Record Group (далее — RG) 59, Decimal Files (далее — DF) 861.20 MID Reports.

[9]Dallek R. Franklin D.Roosevelt and American Foreign Policy, 1932—1945. N.Y., 1979, p. 209—212.

[10]Трояновский О.А. Через годы и расстояния. История одной семьи. М., 1997, с.77. О сходных прогнозах самого А.А.Трояновского в тот период см.: «Люди интересуются, как они будут жить при советском строе...».

Письма полпреда в США А.А.Трояновского И.В.Сталину // Источник, 2000, № 6, с.72—73, 77.

[11]Bennett E. Franklin D.Roosevelt and the Search for Victory. American-Soviet Relations, 1939—1945. Wilmington, 1990, p.13.

[12]Борисов А.Ю. СССР и США: Союзники в годы войны. 1941—1945. М., 1983, с.40; Kimball W. The Most Unsordid Act. Lend-Lease, 1939—1941. Baltimore, 1969, p.200—201, 215.

[13]Мальков В.Л. Путь к имперству. Америка в первой половине XX века. М., 2004. с. 343; Gaddis J. Russia, the Soviet Union and the United States: An Interpretive History. N.Y., 1978, p.141—142.

[14]Ambassador in the Soviet Union to the Secretary of State, February 28, 1940. NA, RG 59, DF 760D.61/1184.

[15]Memorandum of Conversation by the Secretary of State, February 5, 1941. FRUS, 1941, I, p. 603.

[16]Цит. по: Bennett E. Franklin D.Roosevelt and the Search for Victory, p.18.

[17]Kimball W.(ed.). Churchill & Roosevelt. The Complete Correspondence. (далее — Churchill & Roosevelt), N.Y.—L-n, 1984, vol. I, p. 100.

[18]Policy with Regard to the Soviet Union in Case of War between the Soviet Union and Germany, June 21, 1941 — FRUS 1941, I, p. 766—767.

[19]Ibid., p. 767—768.

[20]Kennan G. Memoirs, 1925—1963. vol.1, B-n, 1967, p.133-134.

[21]Мальков В.Л. На пути к имперству, с. 358—359.

[22]Лозовский — Молотову, 24 июня 1941 г. АВП РФ, ф.06, оп.3, п.21, д.281, л.43—44. Полный текст документа см.: Советско-американские отношения. 1939—1945, д. № 43.

[23]Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.: документы и материалы, т. I, М., 1984, с. 47.

[24]Events and Atmosphere in Moscow prior to Harriman Mission....

[25]Thayer Ch. Bears in the Caviar. Phil., 1951, p. 220—221.

[26]Архив Президента РФ (далее — АП РФ), ф. 3, оп. 66, д. 364, л. 15. Запись этой беседы см. в: Документы внешней политики СССР, T.XXIV. М., 2000, с.97.

[27]From Moscow to MID, July 15, 1941. NA, RG 59, DF, 861.20 MID Reports.

[28]Bennett E. Op. cit., p.28.

[29]General Strategy. Review by the British Chiefs of Staff. July 31, 1941. — LC, H.Arnold Papers, Subject Flle, Box 202.

[30]A.Berle to H.Hoover, July 10, 1941. — NA, RG 59, DF, 861.20211/137A.

[31]Leahy W. I Was There. N.Y. 1950, p. 37—38.

[32]FRUS, 1941, I, p. 784—785, 778—779.

[33]Mayers D. The Ambassadors and America's Soviet Policy. N.Y., 1995, p. 131—132.

[34]Получив отказ, Керенский по словам А.Берла, «ушел весьма расстроенным» (Memorandum of Conversation with A.Kerensky, July 18, 1941 (NA, RG 59, DF, 711.61/ 7–1841).

[35]FRUS, 1941, I, p. 788—789.

[36]Шервурд Р. Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца. М., 1958. Т. 1, с. 321—322.

[37]Memorandum to W.Coy, August 2, 1941. — Franklin D. Roosevelt Library (далее — FDRL), President's Secretary Flle (далее — PSF), Russia, 1941.

[38]Bennett E. Op. cit., p.32.

[39]Memorandum to W.Coy, August 2, 1941. FDRL, PSF, Russia, 1941.

[40]Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт: человек и политик. Новое прочтение. М., 1981, с.310.

[41]Kimball W. The Juggler. Franklln Roosevelt as War-Time Statesman. Princeton, 1991, p. 35.

[42]АВП РФ, ф.06, оп.3, п.21, д.288, л.14; Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс. Т.1, с.546.

[43]Harriman W.A, and Abel E. Special Envoy to Churchill and Stalin (далее — Special Envoy), N.Y., 1975, p.268. Подробнее об отношении Сталина к Гопкинсу см.: Юнгблюд В.Т. Эра Рузвельта. Дипломаты и дипломатия. СПб., 1996, с.148—149.

[44]FDRL, Harry L.Hopkins Papers (далее — HLHP), Sherwood Collection, Box 306.

[45]АП РФ, ф.45, оп.1, д.385, л.109, 119.

[46]Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (далее — Переписка...). М., 1976. Т.2, с. 5, 307.

[47]Лозовский — Молотову, 23 августа 1941 г. АВП РФ, ф. 06, оп. 3, п. 21, д. 281, л. 57, 58. Полный текст документа см.: Советско-американские отношения. 1939—1945, док-т №47.

[48]Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. М., 1983, Т.I, с. 104.

[49]Очерки истории Министерства иностранных дел России. 1802—2002. М., 2002. Т. 2, с. 284—285.

[50]Heinrichs W. Threshold of War: Franklin D. Roosevelt and American Entry into World War II. N.Y. — Oxford, 1988, p. 193

[51]Beaverbrook's Notes of the 3d Meeting — LC, WAHP, Moscow Files, Chronological File (далее — CF), Cont. 160.

[52]Hopkins to Harriman, September 20, 1941. Ibidem.

[53]Hopkins to Winant, September 5, 1941. FDRL, HLHP, Sherwood Collection, Box 306.

[54]A.T.Harris to H.Arnold, 2 August 1941. NA, RG 218, Central Decimal Files, Foreign Files, Russia 400-B.

[55]Col. A.Lyon to Brig Gen. O. Echols. Notes on Soviet Aircraft Production, Maintenance and Operation, October 17, 1941. — NA RG 218, Central Decimal Files, Foreign Files, Russia, 400-A.

[56]LC, WAHP, CF, Cont.160.

[57]Зарубин, Уманский — Молотову (б.д.). АВП РФ, ф. 06, оп. 3, п. 33, д. 441, л.11.

[58]Вышинский — Сталину, Молотову, 4.XI.1941. Там же, л. 26.

[59]АП РФ, ф.3, оп. 63, д. 217, л. 86.

[60]Interview at Carleton Hotel, September 12, 1941. — LC, WAHP, CF, Cont.160.

[61]H.Balfour. Moscow Diary, 1941. LC, WAHP, CF, Cont.164.

[62]Stoler M. Allies and Adversaries. The Joint Chiefs of Staff, the Grand Alliance, and U.S. Strategy in World War II. Chapel Hill, 2000, p.54.

[63]Memorandum for the Chief of Staff (Brief Periodic Estimate of the World Situation), September 5, 1941. — NA, RG 165, ABC 381 (October 1941).

[64]Цит. по: Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс. Т.1, с.646.

[65]Conversation, September 29, 1953. LC, WAHP, Writing Files, Memoirs, H.Feis Files, Cont. 872.

[66]Ibidem.

[67]Запись разговора по телефону с третьим секретарем английского посольства Денлопом, 28.09.1941. АВП РФ. ф. 06, оп. 3, п. 33, д.440, л.3. 2.

[68]Conversation, September 29, 1953. LC, WAHP, Writing Files, Memoirs, H Feis Files, Cont. 872.

[69]Архив Службы внешней разведки РФ (это выступление Гарримана было перехвачено советской разведкой).

[70]Уманский — Молотову, 28.IX. 1941. АВП РФ, ф. 06, оп. 3, п. 21, д. 279, л. 39.

[71]FRUS, 1941, I, p. 837.

[72]Beaverbrook's Notes on the 3d Meeting, September 30, 1941. LC, WAHP, CF, Cont.160.

[73]FRUS, 1941, I, p. 652—653.

[74]Formal Opening of Three Powers' Moscow Conference (September 29, 1941). LC, WAHP, CF, Cont.160.

[75]Abramson R. Spanning the Century. The Life of W.Averell Harriman, 1891—1986. N.Y. 1994, p. 292.

[76]A.Harriman to E.Abel, September 1974. LC, WAHP, Writing Files, Memoirs, E.Abel Files, Ch. 5.

[77]Молотову — докладная записка, 30.IX.1941. АВП РФ, ф. 06, оп. 3, п. 32, д. 436, л. 119.

[78]См.: Harriman to the President, September 18, 1941. LC,WAHP, CF, Cont.160.

[79]АП РФ, ф.3, оп.63, д.217, л. 103.

[80]Беседа т.Молотова с Бивербруком и Гарриманом. 1 октября 1941 г. — АВП РФ, ф. 06, оп. 3, п. 32, д. 438, л. 52.

[81]Протокол второго заседания, 1 октября 1941 г. АВП РФ, ф. 06, оп. 3, п. 32, д. 434, л. 22.

[82]FRUS, 1941, I, p. 840.

[83]Mission to Moscow 1941. LC, WAHP, Special Files, R. Meiklejohn World War II Diary (далее -R.Meiklejohn Diary), Cont. 211.

[84]Запись разговора с лордом Бивербруком и др. 2 октября 1941 г. АВП РФ, ф.06, оп.3, п.33, д.440, л. 7.

[85]Mission to Moscow 1941. R.Meiklejohn Diary, Cont. 211.

[86]Ibidem.

[87]Lord Beaverbrooke's Notes on 3[d] Meeting, September 30, 1941. LC, WAHP, CF, Cont. 160.

[88]Правда, 3 октября 1941 г.

[89]Известия, 3 октября 1941.

[90]Правда, 3 октября 1941.

[91]Military Policy Toward Russia. Memorandum for General Handy, December 12, 1942. LC, H.Arnold Papers, Military Subject File, Box 201.

[92]Подробный обзор подобных взглядов содержится в справке отдела американских стран НКИД от 21.09.1941. (Советско-американские отношения 1939—1945, док. 48).

[93]Цит. по: Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс, т. 2, с. 587.

[94]Казьмин — Г.А.Александрову, 8 июля 1944 г. Российский Государственный архив социально-политической истории (далее — РГАСПИ), ф. 17, оп. 125, д. 235, л. 71.

[95]Правда, 7 ноября 1941.

[96]Harriman to Hopkins, October 4, 1941. LC, WAHP, CF, Cont.160.

[97]War Department Strategic Estimate, October 1941. NA, RG 165, ABC 381 (1 October, 1941).

[98]Борисов А.Ю. СССР и США, с.59.

[99]Переписка... Т. 2, с. 9—10.

[100]Memorandum for the Assistant Chief of Staff, G-2, War Department. March 3, 1942. NA, RG 218, Geographic File, 1942—1945, CCS 400.3295 USSR (2-27-42), Sect.1, Pt.1.

[101]Memorandum for the Chief of Staff, April 3, 1942. Ibid.

[102]Hopkins to Lovett, March 6, 1942. Ibid, Transport Planes.

[103]Gen.Burns to Chairman, Munitions Assistance Committee, March 6, 1942. Ibidem.

[104]Hopkins for Gen. Burns, April 2, 1942. Ibidem.

[105]Combined Chiefs of Staff, April 20, 1942. Ibid., CCS Meetings.

[106]To Gen.Smith, May 7, 1942. Ibid., Transport Planes.

[107]H.Hopkins. Memorandum for the President, November 7, 1941. — FDRL, PSF, Confidential File, Box 12, (Lend-Lease).

[108]АП РФ, ф.3, оп.66, д.364, л.54.

[109]Gen. J.Burns. Memorandum for the President, November 19, 1941; FDR to Adm. E.Land, November 19, 1941. FDRL, PSF, Confidential File, Box 12, (Lend-Lease).

[110]Hopkins to President, November 25, 1941. FDRL, PSF, Box 5 (Russia: 1939—1941).

[111]Wartime Production and Aid to our Allies. (A.Harriman's Recollections). LC, WAHP, Writing Files, Memoirs, H.Feis Files, Cont.872.

[112]Hopkins to Harriman, December 6, 1941. LC, WAHP, CF, Cont.161.

[113]Secretary of War to the President, December 30, 1941. NA, RG 218, Geographic File, 1942—1945, CCS 400.3295 USSR (2-27-42) Sec.I, Pt. I.

[114]Report on War Aid Furmshed by the United States to the USSR. Harry S.Truman Library (далее — HSTL), PSF, SF, Russia — Lend-Lease.

[115]Ibidem.

[116]Faymonville to Spalding, January 13, 1941. FDRL, PSF, Confidential File, Box 12, Lend-Lease (Jan.-Febr. 1942).

[117]Current Situation in the USSR Jan.11 — Feb.16, 1942. FDRL, HHLP, Sherwood Collection, Box 3 (Aid to Russia).

[118]Советско-американские отношения. 1939—1945, док-т № 73.

[119]Берия — Сталину, 23 мая 1942 г. АП РФ, ф. 3, оп. 63, д. 217, л. 177—179.

[120]Memorandum for General Handy, December 10, 1942. LC, H.Arnold Papers, Military Subject File, Box 201 (Russia 1942—1943).

[121]H.Hopkins to A.MacLeish, February 13, 1942. FDRL, HLHP, Sherwood Collection, Box 306.

[122]Memorandum Regarding Conference at 4 PM, August 31, 1941. LC, WAHP, CF, Cont. 162.

[123]Ibid., Cont. 160.

[124]Memorandum for the President, February 25, 1942. FDRL, PSF, Diplomatic Correspondence, Russia.

[125]Микоян — Сталину (запись беседы Алексеева с Феймонвиллом от 30.4.42). АП РФ, ф.3, оп.63, д.218, лл.80—81.

[126]Hopkins to Marshall, January 15, 1942. FDRL, HLHP, Sherwood Collection, Box 309.

[127]Harriman to Stalin, January 28, 1942. LC, WAHP, CF, Cont.161.

[128]FDR to Land, January 16, 1942. FDRL, PSF, Confidential File, Box 12 (Lend-Lease).

[129]Hopkins to Stettinious, February 19, 1942. FDRL, HLHP, Box 11.

[130]Hopkins to Harriman, March 4, 1942. FDRL, HLHP, Box 12.

[131]Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны. Т.1, с.156.

[132]Burns to Hopkins, November 16, 1942. Draft Statement at the Opening of President's Soviet Protocol Committee. FDRL, HLHP, Sherwood Collection, Box 306.

[133]Memorandum for the Secretaries of State, War and Navy. FDRL, O.Cox Papers, Book 5 (Aid to Russia).

[134]Phone Conversation between Gen.Hull and Gen.York, 12 May, 1945. FDRL, President's Soviet Protocol Committee, Box 4.

[135]Assistance to Russia (ANFA 3[d] Meeting, 1-23-43). NA, RG 218, Geographic File, 1942—1945, CCS 400.3295 (2-27-42), See 2, pt 2.

[136]Herring G. The Legacy of Wartime Cooperation. Paper prepared for Soviet-American Conference, Moscow 1987, p. 7.

«ЕСЛИ РОССИЯ ПАДЕТ...»

[3] From Michela — April 23, 1942. FDRL, HLHP, Military Intelligence, USSR — EE Branch.

[2]Illusions after the Moscow trip of 1941. LC, WAHP, Writing Files, Memoirs, H.Feis Files, Cont. 872.

[3]Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.:документы и материалы, т. I, М., 1984, с.150—151.

[4]Blum J (ed.). From the Morgenthau Diaries, vol. 3, B-n, 1965, p. 81—82.

[5]Strategic Deployment of the Land, Sea and Air Forces of the U.S, March 6, 1942. NA, RG 218, Geographic File, 1942-1945, CCS 381 (1-30-42) Sec.3.

[6]Russian Combat Estimate, April 1, 1942. NA, RG 218, Geographic File 1942—1945, CCS 350.05 USSR (4-1-42).

[7]General Strategy. Review by the British Chiefs of Staff. July 31, 1941. LC, H.Arnold Papers, Military Subjects, Box 202; см. также: Данчев А. Стратегия непрямых действий // Союзники в войне.1941—1945. М., 1995.

[8]US — British Strategy (n.d.). NA, RG 165, OPD Exec. File 10, Item 69.

[9]Policy Conflicts among the United Nations. in: J.Magrudes to F.Roberts, 15 December 1943. NA, RG 165, ABC 092 (15 Dec.43).

[10]Churchill & Roosevelt, vol. 1, p. 520-521.

[11]Чуев Ф Молотов: полудержавный властелин. М., 2002, с. 8.

[12]Ржешевский О.А. Война и дипломатия. Документы, комментарии (1941—1942). М., 1997, с. 206.

[13]Там же, с. 168, 174.

[14]Там же, с. 174.

[15]Там же, с. 207, 187; FRUS, 1942, III, Wash., 1961, p. 582.

[16]Mmutes of 27th Meeting, June 21, 1942. NA, RG 218, Geographic File, 1942—1945, CCS 334 (5-26-42).

[17]FRUS, 1942, III, p. 583.

[18]Ржешевский О.А. Война и дипломатия, с. 197, 205.

[19]Bohien Ch. Witness to History: 1929—1969. N.Y., 1973, p. 128.

[20]Memorandum for Mr. Hopkms, May 26, 1942. FDRL, HLHP, Box 315.

[21]Ржешевский О.А. Указ. соч., с. 204.

[22]Там же.

[23]Борисов А.Ю. Указ.соч., с.98.

[24]Hopkms to Gill, June 12, 1942. FDRL, HLHP, Sherwood Collection, Box 311.

[25]Ржешевский О.А. Указ.соч., с. 259.

[26]Там же.

[27]Memorandum, June 20, 1942. FDRL, HLHP, Sherwood Collection, Box 3, Aid to Russia.

[28]Memorandum for the President. NA, RG 165, ABC 381 (9-25-41), Sec. VII.

[29]Notes on the letter of the Prime Mmister to the President of June 20, 1942. Ibidem.

[30]Marshall to Roosevelt, June 16, 1942. NA, RG 165, OPD Exec.10, Item 53.

[31]Stoler M. Allies and Adversaries, p. 86.

[32]Memorandum for the President, July 28, 1942. NA, RG 165, Top Secret General Correspondence (Entry 15).

[33]Ibidem.

[34]Переписка... Т. I, с.69.

[35]Churchill W. The Second World War, vol.4, The Hinge of Fate. L-n, 1951, p. 428.

[36]Цит. по: Ржешевский О.А. 60 лет высадки союзников в Нормандии // Материалы международной конференции «60 лет высадки в Нормандии». (Москва, май 2004), с.19.

[37]Personal Notes of 2[d] Trip to Moscow, August 1942. LC, WAHP, CF, Cont. 162.

[38]Churchill W. The Hinge of Fate, p.451.

[39]Churchill W. Op.cit., p.428. В русском переводе мемуаров Черчилля ошибочно говорится, что премьер-министр получил эту балладу накануне приезда в Москву (Черчилль У. Вторая мировая война. Кн.2. М.,1991, с.509).

[40]LC, WAHP, CF, Cont. 162.

[41]War Department Strategic Estimate, prepared by War Plans Division, GS, October 1941. NA, RG 165, ABC 381 (1 October 1941).

[42]Strategic Policy of the United Nations and the United States on the Collapse of Russia, August 7, 1942. NA, RG 165, ABC 384, USSR (6-1-42).

[43]Measures m Event of Russian Collapse in 1942. Joint Psychological Warfare Committee, June 1, 1942. NA, RG 218, Geographic File, 1942-1945, CCS 334 JPWC (3-18-42).

[44]JCS 30 th Meetmg, August 25, 1942; JCS 32[d] Meeting, September 8, 1942. NA, RG 165, ABC 384 USSR (6-1-42).

[45]АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 28, д. 327, л. 7.

[46]Цит. по: Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт: человек и политик, с.341.

[47]Herrmg G. Aid to Russia, 1941—1946. Strategy, Diplomacy, The Origms of the Cold War. N.Y.- L-n, 1973, p.69.

[48]Подробно о состоянии экономики и тыла США в годы войны см.: Александер Ч. Хорошая ли это была война для Америки? // Союзники в войне. 1941—1945; Поздеева Л.В. Экономика воюющих стран (США) // Мировые войны XX века: В 4 кн., кн.3. М., 2002, с.324—333.

[49]Broad Strategic Concept for Allied Nations (n.d.). NA, RG 165, ABC 381 (9-25-41). Sec. VII.

[50]АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 28, д. 327, л. 7.

[51]См.: Иванов Р.Ф., Петрова Н.К. Общественно-политические силы СССР и США в годы войны: 1941—1945. Воронеж, 1995, с. 174—175.

[52]Under Secretary of State to President, August 12, 1942. FDRL, PSF, Diplomatic Correspondence, Russia, Box 49.

МИССИЯ У. УИЛКИ

[1]Neal S. Dark Horse. A Biography of Wendell Willkie. N.Y., 1984, p.231.

[2]Burns J.M. Roosevelt: The Soldier of Freedom. N.Y.,1970,p.276.

[3]Уманский — Гнедину (получено 20.03.38). — АВП РФ, ф.05, оп.18, п.147, д.134, л.7.

[4]FRUS, 1942, III, p.631.

[5]Переписка ... Т. 2, с.27—28.

[6]Werth A. The Year of Stalingrad. N.Y.,1947, p.261.

[7]Переписка... Т.2, с.28.
[8] АВП РФ, ф.06, оп.4, п.22, д.239, л.54.
[9]Там же, л.1.
[10]Там же, л.77.
[11]Willkie W. One World. N.Y.,1943, p.37.
[12]АВП РФ, ф.06, оп.26-а, п.031, д.236, л.95; полную запись бесед Уилки с Вышинским см.: Советско-американские отношения. 1939—1945, с.287—288, 290.
[13]FRUS , 1942 , III, p.638.
[14]Willkie W. Op. cit., p.29—30.
[15]АВП РФ, ф.06, оп.4, п.22, д.239, л.67.
[16]Цит. по: Чуев Ф. Молотов: Полудержавный властелин, с.96.
[17]Там же, л.69.
[18]АП РФ, ф.45, оп.1, д.380, л.11.
[19]АВП РФ, ф.06, оп.26-а, п.3, д.236, л 100.
[20]FRUS, 1942, III, p.646.
[21]См.: Dunn D.Caught Between Roosevelt and Stalin. America's Ambassadors to Moscow. Lexington (Kentucky), 1998, p.4-5.
[22]АВП РФ, ф.06, оп.4, п. 22, д.239, л.23 (полную запись этой беседы см.: Советско-американские отношения. 1939—1945, с.291—294): АП РФ, ф.45, оп.1, д.380, л.19-20.
[23]АВП РФ, ф.06, оп.4, п.22, д.239, л.35.
[24]АП РФ, ф.45, оп.1, д.380, л.43-44.
[25]АВП РФ, ф.06, оп.4, п.22, д.239, л.35.
[26]Neal S. Op.cit.,p.246.
[27]Willkie W. Op.cit.,p.37.
[28]Судя по всему, Сталин вообще предпочитал американских бизнесменов — людей дела политикам, а первые, в свою очередь, видели в нем родственную душу. Когда во время длинной теплой беседы в Кремле (июнь 1944 г.) глава Торговой палаты США Э.Джонстон сделал Сталину похожий комплимент («ему, Джонстону, очень понравилось, что Сталин прямо, без обиняков подходит к делу и он, Сталин, является прямо-таки настоящим бизнесменом»), то реакция была неожиданно благодушной: «Тов. Сталин отмечает, что если бы он родился и жил в Америке, он был бы, вероятно, действительно бизнесменом». Эти слова были без отточий опущены в официальной публикации записи данной беседы — образ вождя тщательно оберегали и от него самого (Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны. Т.2, с.145: АП РФ, ф.45, оп.1, д.374, л.74).

[29]См.:Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны. Т.1, с.236.

[30]АП РФ, ф.45, оп.1, д.380, л.30,31.

[31]Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны. Т.1, с.233—239.

[32]Willkie W. Op.cit., p.36.

[33]АП РФ, ф.45, оп.1, д.380, л.53.

[34]FRUS, 1942, III, p.641.

[35]From Moscow to MILID, September 26, 1942. U.S. Military Intelligence Reports. Vol.2, Soviet Union 1941—1944. Ed. by P.Kesaris. Bethesda, 1984—1985 (далее — U.S. Military Intelligence Reports).

[36]Wllikie W. Op.cit., p.28.

[37]АВП РФ, ф.06, оп.4, п.22, д.239, л.29.

[38]FRUS, 1942, III,p.641n.

[39]From Moscow to MILID, September 26, 1942. U.S. Military Intelligence Reports.

[40]Mayers D. The Ambassadors and America's Soviet Policy, p.144.

[41]FRUS, 1942, III, p.643.

[42]АВП РФ, ф.06, оп.4, п.22, д.239, л.25,29.

[43]Willkie W. Op.cit.,p.55;К.Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя. М.,1975, с.177. (автор приносит благодарность профессору А.С.Маныкину, обратившего его внимание на это свидетельство).

[44]Willkie W.Op.cit.,p.34,27.

[45]Neal S.Op.cit.,p.248.

[46]Известия, 27 сентября 1942 г.; Neal S. Op.cit., p.248.

[47]Nicolas J. (ed.) Dispatches from Washington. L-n, 1992, p.89.

[48]Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс. Т.2, с.273.

[49]FRUS, 1942, III, p.466.

[50]From Moscow to MILID, September 27, 1942. U.S. Military Intelligence Reports.

[51]Ibidem.

[52]АП РФ, ф.45, оп.1, д.380, л.62.

[53]Barnes J. Willkie. N.Y., 1952, p.301-303.

[54]A.Harriman to H.Hopkins, September 21, 1942. FDRL, HLHP, Special Assistant to the President, Box 13.

[55]E.Rostow to O.Cox, October 10, 1942. FDRL, O.Cox Papers, Lend Lease Files, Box 103.

[56]Переписка... Т.1, с.84—85; J.Burns to H Arnold, October 31, 1942. — NA, RG 18, Central Decimal Files, Foreign Files (452.1B Russia).

[57]АП РФ, ф.45, оп.I, д.380, л.47.

[58]Willkie W.Op.cit.,p.36.

[59]АП РФ, ф.45, оп.1, д.380, л.65—66.

[60]FRUS, 1942, III, p.645; Standley W.and Ageton A. Admiral Ambassador to Russia. Chicago,1955, p.240.

[61]Bradley to War, October 3, 1942. NA, RG 165, OPD Exec 1, Item 20.

[62]Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны. Т.1, с.248.

[63]Переписка... Т.2, с.32.

[64]АВП РФ, ф.06, оп.4, п.22, д.239, л.59—62.

[65]Neal S.Op.cit.,p.250; Barnes J. Willkie, p.304.

[66]Barnes J.Op.cit.,p.300.

[67]Memorandum by Ch.Bohlen, October 22,1942. NA, RG 59, Records of Charles Bohlen, 1942—1952, General Correspondence, Box 3.

[68]Memorandum of conversation between the Secretary and the British Ambassador, November 9, 1942. Ibid.

[69]АП РФ, ф.45, оп.1, д.385, л.120.

[70]Там же, л.122.

[71]Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны. Т.1, с.294.

[72]См.: Ржешевский О.А.Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии: Документы, комментарии, 1941-1945. М., 2004, с.376-377.

[73]См.: Советско-английские отношения... Т.1, с.299—301; Ch.Bohlen. Memorandum for the Secretary: Recent Indications of Soviet Policy, November 16,1942. — NA, RG 59, Records of Charles Bohlen, General Correspondence, Box 3.

[74]Barnes J. Op.cit., p.312.

[75]Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны. Т.1, с.252 ; АВП РФ, ф.0129, оп.26, п.143, д.6, л.28.

[76]Правда, 5 января 1944 г.

[77]State Department to A.Harriman, February 9,1944. LC, WAHP, H.Feis Files, Cont.52.

[78]Neal S.Op.cit.,p.298.

[79]The New Masses, December 14, 1943.

[80]Neal S. Op.cit., p.299.

[81]Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны. Т.2, с.145.

[82]См.:Taubman W. Stalm's American Policy. N.Y.,1982; Mayers D. Op.cit.; Dunn D.Op.cit.

[83]Taubman W. Op.cit., p.58.

ЧАСТЬ II
В РЕЖИМЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

«Я ПРИЕХАЛ КАК ДРУГ...»

МОСКОВСКОЕ ПОСОЛЬСТВО АВЕРЕЛЛА ГАРРИМАНА

[1]АВП РФ, ф.06, оп.5, п.29, д.332, л.9.

[2]АВП РФ, ф.0129, оп.4, п.112, д.153, л.35.

[3]См. записку А.И.Микояна «Об отношениях с Америкой» от 27.07.1927 г. АП РФ, ф.3, оп.66, д.284, л.50.

[4]АВП РФ, ф.0129, оп.4, п.112, д.153, л.63.

[5]Account of Soviet Notes to August 1943. LC, WAHP, Special Files, Georgia Manganese Company, Cont.724.

[6]Обзор иностранной печати информотдела ГКК от 5.11.1928. — АВП РФ, ф.0129, оп.4, п.112. д.153, л.89.

[7]Переписка... Т.2, с.7.

[8]A.Harriman to W.Jeffers, May 30, 1941. LC, WAHP, CF, Cont. 165

[9]Washington Post, September 8, 1942.

[10]Spaldmg to Hopkins, May 11, 1943. FDRL, HLHP, Special Assistant to President. Box 177.

[11]Harriman W.A. with Abel E. Special Envoy to Churchill and Stalin, 1941—1946. N.Y., 1975 (далее — Special Envoy), p.219, 214.

[12]FRUS, The Conferences at Cairo and Teheran, p.13.

[13]Mackinder H. The Round World and the Winning of Peace/Foreign Affairs, July 1943, p.595-605.

[14]JCS 506, September 18, 1943. NA, RG 218, Geographic File, 1042—1945, CCS 337 (9-12-43), Sec.1.

[15]Stoler M. Allies and Adversaries. The Joint Chiefs of Staff, the Grand Alliance, and U.S.Strategy in World War II. Chapel Hill — L-n, 2001, p.128.

[16]CCS Meeting, January 20, 1943. NA, RG 218, CCS 334 (2-9-42).

[17]Memorandum for the Chief of Staff, February 26, 1943. NA, RG 165, General Correspondence 1942—1947. 091Russia (Secret Files).

[18]Davis L. Cold War Begins. Soviet-American Conflict over Eastern Europe. Princeton, 1974, p. 79-80.

[19]Цит. по: Stoler M. Allies and Adversaries, p.132.

[20]JCS 506, September 18, 1943. NA, RG 218, CCS 337 (9-12-43), Sec. 1.

[21]Kimball W. Stahngrad, p.112.

[22]Stoler M. Op.cit., p.141.

[23]Public Papers and Addresses of Franklin D.Roosevelt. N.Y., 1938—1950, vol.13, p.99.

[24]Churchill & Roosevelt, vol. 2, p. 297.

[25]Gardner L., Morgenthau H., Schlesinger A.M., Jr. The Origins of the Cold War. Waltham (Mass.), 1970, p. 72.

[26]Цит. по: Kimbail W. The Juggler. Franklin Roosevelt As Wartime Statesman. Princeton, 1991 p. 110.

[27]Churchill & Roosevelt, vol. 3, p. 339.

[28]Подробнее об этой стратегии Рузвельта см.: Gaddis J. The Strategies of Containment. N.Y., 1982, pp. 9 —13; Kimbail W. The Juggler, ch. 5; Мальков В.Л.Путь к имперству. Америка в первой половине XX века. М., 2004, с.393—405; Юнгблюд В. Эра Рузвельта: дипломатия и дипломаты. Киров, 1996, с.28—37.

[29]Roosevelt and Stalin. LC, WAHP, Writing Files, Memoirs, Feis Files, Cont.872.

[30]Цит.по: Юнгблюд В. Эра Рузвельта, с.35.

[31]Цит. по: Мальков В.Л.Путь к имперству, с.392.

[32]Gaddis J. Surprise, Security, and the American Experience. Cambridge, 2004, p.53.

[33]Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс. Т.2, с. 284—285, 431—432.

[34]Там же, с. 286.

[35]Churchill & Roosevelt, vol. 1, p.545-546.

[36]Press conference, January 29, 1943. LC, WAHP, CF, Cont. 161.

[37]Политика США. 2 июня 1943 г. АВП РФ, ф.06, оп.5, п.28, д.327, лл.16, 21, 23.

[38]См. замечания Молотова к этому документу. Там же, л.21, с.4.

[39]LC, W.Leahy Papers, Diaries, September 27, 1943.

[40]Special Envoy, p.227—228.

[41]Russian Holdings (Memo for W.Harriman); A.Harriman to the Board of Directors of Union Pacific, October 1, 1943. LC, WAHP, CF, Cont.170.

[42]Ibidem.

[43]АВП РФ, ф.0129, оп.28, п. 156, д.12, л 38.

[44]O.Cox to A.Harriman, October 1, 1943. FDRL, O.Cox Papers, Lend Lease Files, Box 86; Christian Science Monitor, September 28, 1943.

[45]АВП РФ, ф.0129, оп.27, п.152,д.41, л.6.

[46]Diary, October 21, 1943. LC, WAHP, CF, Cont.170. См. также: Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны 1941—1945: Документы и материалы. Т.1, с.386—387.

[47]LC, WAHP, Writings, H.Feis Papers, Cont.54 (Moscow Conference).

[48]Кордэлл Хэлл (Государственный секретарь США). 9 октября 1943 г. АВП РФ, ф. 0129, оп. 27, п.152, д. 41, л.26, 32.

[49]Фитин — тов.Деканозову, 18 сентября 1943 г. Там же, л. 37.

[50]АП РФ, ф. 3, оп. 63, д. 232, л. 34.

[51]Memorandum of Conversation with Molotov, October 24, 1943. LC, WAHP, CF, Cont.170.

[52]Personal Notes regarding dinner with Molotov and Stalin, October 30, 1943. Ibid.

[53]A.Harriman for the President, November 5, 1943. LC, WAHP, CF, Cont.170.

[54]Staff Meeting at American Embassy, November 9, 1943. Ibid.

[55]АП РФ, ф.3, оп.63, д.233, л.67.

[56]Staff Meeting at American Embassy, November 9, 1943. LC, WAHP, CF, Cont.170.

[57]РГАСПИ, ф.17, оп.3, д.1047, л.264-265.

[58]Kathleen to Mary, November 9, 1943. LC, WAHP, CF, Cont.170.

[59]A.Harriman to Secstate, November 8, 1943. NA, RG 59, DF, 861.415/90.

[60]Правда, 16 ноября 1943; Известия, 16 ноября 1943; АВП РФ, ф.06, оп.5, п.29, д.338, л.9, 60.

[61]JCS Meeting, Cairo, November 24, 1943. LC, WAHP, CF, Cont.170.

[62]Memorandum of Flight, Cairo to Teheran, November 27, 1943. Ibid.

[63]F.Roosevelt to A.Harriman, December 1, 1943. Ibid. Cont.171.

[64]Memorandum for the Chief of Staff: Conduct of the War in Europe, 7 August 1943. NA, RG 165, ABC 381 (9-25-41), Sec. VII.

[65]Наринский М.М. Сталин и М.Торез. 1944—1947. Новые материалы/Новая и новейшая история, 1996, №1, с 28.

[66]Memorandum for JCS, 6 August 1943. NA, RG 165, ABC 381 (9-25-41), Sec. VII; FRUS, Washington and Quebec, p.910—911.

[67]Memorandum for the President: Conduct of the European War, 8 November 1943. NA, RG 165, ABC 381 (9-25-41), Sec. VII.

[68]H.Stimson's Diary, December 5, 1943. Sterlmg Memorial Library, Yale University, H.Stimson Papers.

[69]См.: Наринский М.М. Сталин и М.Торез, с.28; Harrlman A. Amerlca ahd Russia ln A Chanding world. N.-Y., 1971, p. 44.

[70]CCS Meetmg 22 October 1943. — NA, RG 165, CCS 334 (2-5-43).

[71]Comments on Feis Notes by A.Harrlman. — LC, WAHP, Feis Records, Cont.53.

[72]Переписка... Т.2, с. 118; Печатнов В.О. Как Сталин писал Рузвельту (по новым документам)//Источник, 1999, № 6, с. 85.

[73]АП РФ, ф.3, оп.63, д.222, л.136.

[74]Staff Meetlng, December 8, 1943. — LC, WAHP, CF, Cont.171.

[75]Memo on Embassy Staff, December 1, 1943. — Ibid.

[76]G.Kennan. Memoirs, vol.1, 1925—1950, p.253.

[77]Ambassadorial Characteristics. — R.Meiklejohn Diary, Cont. 211.

[78]Запись беседы автора с Дж.Кеннаном от 8 марта 1995 г.

[79]R.Meiklejohn Diary, Cont. 211.

[80]Kathleen to Mary, January 13, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont. 176; Special Envoy, p.300.

[81]Вечерняя Москва, 21 февраля 1944.

[82]Kathleen to Mary (about the middle of October) 1943. — LC, WAHP, CF, Cont. 170.

[83]October 29, 1953. — LC, WAHP, Writing Files, Memoirs, Feis Files, Cont. 872; Kathleen to Mary, January 28, 1944. — Ibid.,CF, Cont. 171.

[84]Kathleen to Mary, March 4, 1944. — Ibidem.

[85]Прием посла США Гарримана и начальника Бюро стратегической службы США генерала Донована 25 декабря 1943 г. — АВП РФ, ф.06, оп. 5, п. 29, д. 232, л. 92.

[86]Deane J. The Strange Alliance, p. 53.

[87]См.: G.Marshall to Deane, 16 February 1944. — NA, RG 334, OSS (General), Box 18.

[88]Special Envoy, p.294.

[89]A.Harrlman to the Secretary of State, January 9, February 14, 1944. — FRUS, 1944, IV, Wash., 1966, p. 1034, 1035, 1055.

[90]См.: Советско-американские отношения. 1939—1945, с.418-422.

[91]Майский — Молотову, 11 января 1944. АВП РФ, ф.06, оп.6, п.14, д.147, л.28.

[92]В.Меркулов — в ГКО (Сталину, Молотову, Берия) 11 февраля 1944 г. Архив СВР РФ.

[93]Secretary of State to A.Harriman, February 2, 1944 — FRUS, 1944, IV, p. 1043.

[94]Secretary of State to A.Harriman, February 8, 1944. — Op. cit., p. 1046—1048.

[95]Op.cit., p. 1053.

[96]Op.cit., p. 803.

[97]Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны. Т.2, с. 15-18.

[98]Антонов — Молотову, 31 1.1944. АВП РФ, ф.06, оп.6, п. 46, д. 617, л. 5—8.

[99]A.Harriman to I.Eaker, March 23, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 172.

[100]Из записи беседы тов. Сталина с послом Гарриманом 2 февраля 1944 г. АП РФ, ф. 45, оп. 1, д. 377, л. 37—38, 33.

[101]A.Harriman to E.Stettinius, 8 February 1944. — US Military Intelligence Reports.

[102]Forrestal to Harriman, 30 March 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 172.

[103]The New York Tnnes, March 21, 1944.

[104]Государственный Архив Российской Федерации (далее — ГАРФ), ф.8581, оп.1, д.111, л.20. Подробнее об отношении общественности США к СССР в этот период см.: Наринский М.М., Поздеева Л.В. и другие. Имиджи, идеалы, иллюзии // Союзники в войне, с.336—338.

[105]Александер Ч. «Дядя Джо»: Образы Сталина в период наивысшего развития антигитлеровской коалиции // Американский Ежегодник 1989. М., 1990, с.32—34.

[106]РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.157, л.103.

[107]ГАРФ, ф.8581, оп.1, д.111, л.14.

[108]R.Moore to A.Harriman, June 1, 1943. — LC, WAHP, CF, Cont.164.

[109]Policy Committee Minutes, March 10, June 19, 1944. — NA, RG 59, Records of H.Notter, 1939—1945. Records relating to Miscellaneous Policy Committees, 1940—1945, Box 138 (Этот том и в самом деле был опубликован лишь в 1946 г. — через три года после предыдущего).

[110]Transfer of Italian Ships to the Soviet Union. — NA, RG 218, W.Leahy Records, Box 15 (Italian Ships).

[111]Ibidem.

[112]Об американских и английских моряках, находящихся в Архангельском порту. 23.08.1942. РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.124, л.93.

[113]Типичный случай такого рода был описан в одном из донесений НКВД из Архангельска: «Рядовые 54 стрелкового полка... во время посещения американцами квартиры гр. Кругловой пьянствовали в соседней комнате у гр. Сухаревой. Войдя в комнату Кругловой, они отобрали у моряков серебряные ручные часы, золотую цепочку, 600 рублей и документы». (Берия — Молотову, 3 ноября 1944. — ГАРФ, ф. 9401, оп.2, п.104, д.69, л.300). Но не все американцы так легко расставались со своим имуществом. В другом донесении для Берии рассказывалось о нападении группы архангельских подростков на капрала Горинга в апреле того же года. За отказ продать им сигареты его «стали бить, угрожали ножами, отобрали полуботинки». Однако бравый капрал босиком «догнал нападавших и потребовал вернуть отнятое... Подростки вновь набросились на Горинга, при этом один из них ударил его по лицу, двое показали ножи, а четвертый произвел выстрел из револьвера, но все же свои полуботинки Горингу удалось отнять» (Круглов — Берия, 8 мая 1944. — Там же, л.246—247).

[114]Об американских и английских моряках, л.89.

[115]Вопросы и высказывания команд иностранных пароходов. 17 апреля 1944 г. АВП РФ, ф. 0129, оп. 162, д. 72, лл.33, 36, 41, 44.

[116]РГАСПИ, ф. 17, оп. 125, д. 219, л.153-155.

[117]Пребывание Гарримана в Мурманске 30 апреля 1944 г. АВП РФ, ф. 0129, оп. 162, д. 72, л. 20-21, 25.

[118]Там же, л. 21.

[119]Items of Interest to Army regarding trip to Northern Russian ports. — LC, WAHP, CF, Cont. 172

[120]Пребывание Гарримана в Мурманске, л. 27. В 1994 г. автор встретился в США с тогда уже отставным адмиралом Толли, который прекрасно помнил этот эпизод, но категорически отрицал профессиональный умысел. Однако на показанных им фотографиях подделки самолетов действительно получились вполне отчетливо.

[121]Пребывание Гарримана в Мурманске, л.18, 22.

[122]A.Harriman to the President, April 14, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 172.

[123]Пребывание Гарримана в Мурманске.., л. 28.

[124]Captain C.Fielding to Ambassador Harriman, April 22, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 172.

[1]Микоян — Сталину, 18.1.1943. АП РФ. ф.3, оп.63, д.218, л.32—38.

[2]Memorandum for Mr.Hopkins, May 5, 1943. — NA, RG 165, ABC 400. 3295 USSR (1).

[3]Микоян — Сталину, Молотову, 27. 6.1943. АП РФ, ф.3, оп.63, д.218, л.93.

[4]Микоян — Сталину, Молотову, 4.4. 1944; Постановление ГКО от 29.10.1944 г. Там же, д.219, л.1, 120—121.

[5]Memorandum for Admiral William D. Leahy, 21 January 1944. — NA, RG 218, Records of W.Leahy, Box 15 (Lend-Lease).

[6]President to the Secretary of State, February 14, 1944. — FRUS, 1944, VI, p. 1053.

[7]Memorandum for the President from Mr.Lubin, February 21, 1944. — FDRL, PSF, Confidential File, Lend-Lease.

[8]Фитин — тов. Деканозову, 14 марта 1944 г. Архив СВР РФ.

[29]Indoctrination Annex. — Ibid.; «Russia Booklet». — NA, RG 334, Box 26.

[30]Гарриман — Вышинскому, 6 июня 1944 г. АВП РФ, ф.6, оп.6,п.45, д.601, л.39.

[31]Kathleen to Mary, June 4, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 172.

[32]From US Military Mission to War Department, 23 October 1944. — US Military Intelligence Reports. Это повышенное внимание могло дорого обойтись Пермикову, который, как отмечают американские военные историки, после войны полностью исчез из поля зрения его заокеанских коллег. (Conversmo M. Fightmg with The Soviets, p.215).

[33]US Strategic Airforce in Europe, Office of the Commanding General, 2 August 1944. — LC, Papers of C.Spaatz, Cont.212 (Russia-American Relations).

[34]Правда, 14 июня 1944.

[35]Kathleen to Mary, June 9, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont 172.

[36]For Jomt Chiefs of Staff from Deane, 7 June, 1944 — US Military Intelligence Reports; Борисов А.Ю. Указ. соч., с.161.

[37]Кальмин — Александрову, 8 июля 1944 г. РГАСПИ ф 17, оп. 125, д. 235, л. 72.

[38]A.Harriman to C.Churchill, July 25, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 173.

[39]To SecState, June 22, 1944. — Ibidem.

[40]Kathleen to Mary, June 9, 1944. — Ibid., Cont. 172.

[41]The New York Times, June 26, 1944.

[42]Comments by Harriman called to mind by Churchill's account of the Teheran Meeting in "Closing the Ring". — LC, WAHP, Writing Files, Memoirs, H.Feis Files, Cont. 872.

[43]Eisenhower to Harriman, 7 July, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont.173.

[44]F.Anderson to Harriman, July 10, 1944. — Ibid.

[45]Note, July 1, 1944. — Ibid.

[46]G.Kennan to Ch.Bohlen, September 29, 1944. — NA, RG 59, Records of Ch.Bohlen, General Correspondence, Box 3.

[47]Harriman to the President and Secretary of State, June 13, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 173.

[48]Постановление ГКО от 31 июня 1944 г. — АВП РФ, ф. 06, оп. 6, д. 667, п. 49, л. 8. Подробнее о борьбе с Армией Крайовой см.: НКВД и польское подполье 1944—1945 (По «Особым папкам» Сталина). М., 1994.

[49]Богомолов — Молотову, 7 июня 1943 г. АВП РФ, ф.06, оп.05, п.27, д.309, л.11-15.

[50]АП РФ, ф.45, оп.1, д.386, л.3.

[51]FRUS, 1944, III, p. 1315.

[52]Churchill & Roosevelt, vol.3. p. 273.

[53]Conversation between Kerr, Harriman and Vyshinsky, August 13, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 173.

[54]Harriman for the President and Secretary of State, August 15, 1944. Ibid.

[55]Memorandum for the President, August 17, 1944. — FDRL, PSF, Diplomatic Correspondence (Russia, 1944), Box 49.

[56]АВП РФ, ф.06, оп.6, п. 23, д. 242, л. 16.

[57]Там же, л. 18.

[58]Никитин — Молотову 29 июня 1944 г. АВП РФ, ф.06, оп.6, п. 46, д. 617, л. 62.

[59]АВП РФ, ф.06, оп. 6, п. 23, л.29.

[60]R.Meiklejohn Diary, Cont. 212.

[61]Запись беседы тов. И.В.Сталина с Миколайчиком 3 августа 1944 г. АВП РФ, ф.06, оп.6, п.42, д.550, л.11; Запись беседы тов.И.В.Сталина с Миколайчиком 9 августа 1944 г. — Там же, л. 26.

[62]Special Envoy, p. 340.

[63]Ibid., p.342.

[64]Антонов — Молотову, 19 сентября 1944 г. АВП РФ, ф.06, оп.6, д.6,л.26.

[65]Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны. Т.2, с. 214 -215.

[66]Special Envoy, p. 349.

[67]Russia — Seven Years Later. — FRUS, 1944, IV, pp.908-909; Kennan to Ambassador, September 18, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 174.

[68]Memorandum, September 18, 1944. — Ibid..

[69]Special Envoy, p. 346—347.

[70]Conversation with Molotov, October 4, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 174.

[71]C.Churchill to A.Harriman, 13 June, 1944; A.Harriman to C.Churchill, July 25, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 173.

[72]Churchill & Stalin, vol.3, p. 345.

[73]См.: Ржешевский О.А.Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии: Документы, комментарии, 1941—1945. М., 2004, с.418—428.

[74]Special Envoy, p. 357.

[75]Conversation with Churchill and Eden, October 16, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 174.

[76]Mikolajczyk S. The Rape of Poland. N.Y., 1948, p. 98—99.

[77]Запись беседы тов. И.В.Сталина с Миколайчиком, 18 октября 1944 г. АВП РФ, ф.06, оп. 6, п. 42, д. 555, л. 17, 19.

[78]Прием тов. И.В.Сталиным делегации населения Варшавы (15.XI. 1944). АП РФ, ф.45, оп 1, д. 354, л. 107, 109.

[79]Conversation with Stalin, October 15, 1944. — LC,WAHP, CF, Cont. 174.

[80]Прием посла США А.Гарримана 16 октября 1944 г. АП РФ, ф. 45, оп. 1, д. 282, л. 45, 48.

[81]For the Eyes of the President, October 17, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 175.

[82]Snow E. Strong Men Around Stalin. — Saturday Evening Post, March 24, 1945.

[83]Ibidem.

[84]Запись беседы автора с Дж. Кеннаном от 8 марта 1995 г.

[85]Архив СВР РФ. Оригинал документа см. в British Documents on Foreign Affairs. Pt.III, Ser.A, vol.6. University Publications of America. 1997, p. 305 (A.Kerr to A.Bevin, 29 August 1945).

[86]Notes on the Conversations with the President, May 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 175.

[87]Memorandum of Conversations with the President during the Trip to Washington, October 21 — November 19, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 175.

[88]Remarks by Mr. Harriman. — Mmutes, Department of State Policy Committee, October 25, 1944. — NA, RG 59, Records of H.Notter, Records relating to Miscellaneous Policy Committees, Box 138.

[89]Conversation with Stalin, December 14, 1944; Kathleen to Mary, December 9, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 175.

[90]My NKVD Guards (October 29, 1953). — LC, WAHP, Writing Files, Memoirs, H.Feis Files, Cont.872.

[91]FRUS, The Conferences at Malta and Yalta 1945. Wash., 1955, p. 378; Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны. Т.2, с. 273.

[92](Gen.Th.Handy). US Policy re Russian Participation m the War agamst Japan. 1 August 1944. — NA, RG 165, ABC 384 USSR (25 Sep 44), Sec.1A.

[93]Notes of Talk (Harriman and Walsh), August 20, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 173; см. также: Орлов А.С. «Челночные операции» ВВС США, с.190—191.

[94]Frantic Operations (Memorandum for Mr. Harriman), 17 September 1944. — LC, WAHP, CF, Cont.174.

[95]Personal for the President from Harriman (Draft), December 29, 1944; For SecState, January 8, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont. 176.

[96]См.:The Information Program m the Soviet Union (Harriman to the Secretary, October 12, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 176.

[97]Стенограмма выступления т.Щербакова перед Высшими курсами политсостава РККА 2 марта 1944 г. РГАСПИ, ф.88, оп.1, д.970, л.2.

[98]Большаков — Щербакову, 24.6.44. РГАСПИ, ф. 17, оп. 125, д. 291, лл. 90—91.

[99]Александров — Щербакову, 30.10.44. Там же, л. 81.

[100]О контроле за выходящей литературой (Г.Александров, П.Федосеев — Щербакову, 5.5.1944). РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.271, л.31—34.

[101]Г.Александров, А.Пузин. — Секретарям ЦК Андрееву А.А., Маленкову Г.М., Щербакову А.С., 15 февраля 1943. РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.198, л.30-35.

[102]Г.Александров — А.Щербакову, 29 7.1944. Там же, д.271, л. 149—150.

[103]Докладная записка об идеологических ошибках в изданиях Академии Наук (Н.Садчиков — т. Щербакову, 17.6.44). — РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.271, л.124—147, 148—150; Александров — Маленкову, 2.8.44. Там же, д.235, л.84.

[104]Секретарю ЦК и МГК т.Щербакову А.С. О некоторых фактах нездоровых явлений и вывихов в области идеологии 21.2.44. Там же, д.212, л.173—182; Р.Райт — Щербакову. Там же, д.219, л.153; ЦК ВКП(б), тов. Александрову, 31.8.45 (от Полянского). Там же, д.313, л.171—183

[105]О политических настроениях в связи с последними постановлениями Исполкома Коминтерна (информационное письмо). — тт. Александрову Г.А., Йовчуку М.Т., 26.5.1943. — РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.181, л.2—6.

[106]Поробнее см. раздел о внешнеполитическом планировании (глава II настоящей монографии).

[107]См. Варга Е. Изменения в экономике капитализма в итоге второй мировой войны. М., 1946.

[108]Геращенко, Аркадьев — Молотову, 20 сентября 1944 г. АВП РФ, ф. 06, оп. 6, п. 18, д. 178, л. 38—41.

[109]Микоян — Сталину, Молотову 13.09.1944. Там же, лл. 17—21; Микоян — Молотову 22.09.1944. Там же, л.43.

[110]Памятная записка. — Там же, л.93—95.

[111]Молотов, Микоян, Берия, Маленков, Вознесенский — Сталину, 20.11.1944. АП РФ, ф. 3, оп. 66, д. 295, л.197—200, 201—203.

[112]Микоян А.И. Так было. М., 1999, с.494.

[113]АВП РФ, ф. 06, оп. 7, п. 45, д. 703, л. 3. Полный текст записки см. в: Советско-американские отношения. 1939—1945, с.603—604.

[114]FRUS, The Conferences at Malta and Yalta, p. 313.

[115]FRUS, 1945, V, Wash., 1967, p. 966.

[116]Громыко — Вышинскому, 26 января 1945. — АВП РФ, ф.06, оп.7а, п.59, д.38, л.44.

[117]Blum J.(ed.). From Morgenthau Diaries: Years of War, 1941—1945. B-n, 1967, vol. III, p. 305.

[118]АВП РФ, ф.06, оп. 7а, п. 57, д. 3, л. 28—29.

[119]General Information Bulletin. — LC, WAHP, CF, Cont.176.

[120]АВП РФ, ф.06, оп.7а, п.57, д.3, л.35.

[121]Разговор с Гарриманом 20 января 1945 г. (из дневника Майского). Там же, л. 71—78.

[122]Запись беседы автора с К.Мортимер (Гарриман) от 11.07.1995 г.

[123]Запись беседы автора с генерал С.А.Кондрашовым от 27.5.1999 г.

[124]Советский Союз на Международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Т.4. Крымская конференция руководителей трех союзных держав — СССР, США и Великобритании (4—11 февраля 1945). М., 1979, с.274.

[125]Подробнее см.: Славинский Б.Н. Ялтинская конференция и проблема «северных территорий». М., 1996, с. 108—110; Курилы — острова в море проблем. М., 1998.

[126]Bohlen Ch. Witness to History: 1929—1969. N.Y, 1973, pp.197,196.

[127]Курилы — острова в океане проблем, с.178.

[128]US Policy Toward a Peace Settlement with Japan (September 4, 1947). — NA, RG 59, Records of the Policy Planmng Staff, 1947—1953, Minutes of the Meetings, Box 32.

[129]FRUS, Conferences at Malta and Yalta, p. 984.

[130]Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Т.4. Крымская конференция, с.254—255.

[131]АП РФ, ф. 3, оп. 63, д. 225, л. 117.

[132]Громыко — Вышинскому, 26 января 1945. — АВП РФ, ф. 06, оп. 7а, п. 59, д. 38, л. 39—40.

[133]J.Hickerson to Mathews e.a., January 8, 1945. — NA, RG 59, DF, 740.0011EW/1-845; Ch.Bohlen to J.Hickerson, January 9, 1945. — NA, RG 59, Ch.Bohlen Records, General Correspondence, Box 3.

[134]Memorandum for the Secretary of State, September 29, 1944. — NA, RG 59, Records of H.Notter, 1939—1945, Records Relating to Miscellaneous Policy Committees, Reel 15.

[135]Чуев Ф. Молотов. Полудержавный властелин, с. 94.

[136]LC, Ch. Bohlen Papers, Cont. 11 (chapter XII).

[137]Churchill W. Second World War. Vol 6, Triumph and Tragedy. B-n, 1953. pp.362-363.

[138]Громыко А.А.Памятное. Кн. Первая. Издание второе, дополненное. М., 1990, с.277.

[139]From Argonaut to War Department, 6 February, 1945; To Argonaut from Arnold, 7 February 1945; From Argonaut to War Department, 8 February, 1945. — NA, RG 165, OPD Exec, Items 18, 19.

[140]См.: Позняков В.В. Профессионалы и добровольцы: Советские разведывательные службы в Соединенных Штатах (1921—1945) // Американский Ежегодник 1998. М., 1999, с.223.

[141]СССР и германский вопрос. 1941—1949. Документы из Архива внешней политики Российской Федерации. Т. 1—3. Сост. Г.П.Кынин и Й.Лауфер. М., 1996—2003. Т.1, с.608.

НА ЗЕМЛЕ И В ВОЗДУХЕ

[1]Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны. Т.1, с.171.

[2]Советско-американские отношения. 1939 — 1945, с.220.

[3]To Gen. Deane from Gen. Marshall, 12 December 1944. — NA, RG 334, Subject File (Oct'43 — Oct'45), Box 11.

[4]Ржешевский О.А. Война и дипломатия. Документы, комментарии. 1941—1942. М., 1997, с.169—170.

[5]Советско-американские отношения. 1939—1945, с.326.

[6]To JCS from Deane, 4 November, 26 December 1944. — NA, RG 334, Box 11.

[7]For Arnold from Deane, 26 February 1944. — US Military Intelligence Reports.

[8]To Walsh from McHenry signed Deane, 4 August, 1944. — Ibid.

[9]A.Harriman to A.Vyshinsky, August 5, 1944. — NA, RG 334, Box 11..

[10]Прием советника американского посольства Кеннана 5 августа 1944 г. — АВП РФ, ф.06, оп.6, п.46, д.610, л.69.

[11]A.Vyshinski to A.Harriman, August 10, 1944. — NA, RG 334, BOX 11.

[12]American Counsul, Vladivostok to CNO, 28 October 1944. — FDRL, Map Room Files 300, Sec.5,Warfare-Russia (July-December 1944).

[13]Паперно А.Х. Ленд-лиз. Тихий океан. М., 1998, с. 121—122.

[14]To Comgen Air for A-2 and Norstad from Ritchie, 26 November 1945. — LC, WAHP, CF, Cont. 184.

[15]Советско-американские отношения. 1939—1945, с.380—385.

[16]Memorandum of Conversation, November 5, 1943. — LC, WAHP, CF, Cont. 170.

[17]Complaint filed by American personnel. — Verevsk Internment Camp, a report by Major J.Waldron, Dec. 2-30, 1943. — NA, RG 334, Box 11.

[18]Hays O, Jr. Home from Siberia. The Secret Odysseys of Interned American Airmen m World War II. College Station (Texas), 1990, p.179.

[19]Ibid., p.6—7.

[20]From Strong to Deane, January 15, 1944; For General Strong from Deane, 17 January, 1944. — US Military Intelligence Reports.

[21]General Arnold from Deane, 31 Dec. 1943. — Ibid.

[22]A.Harriman to the President, January 2, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 171.

[23]Deane J. The Strange Alliance. N.Y., 1946, p.60.

[24]Берия — Сталину, Молотову, 17.04.44. — ГАРФ, ф. 9401, оп. 2, д. 65, л. 221.

[25]For General Marshall's eyes only from Deane. December 4, 1943. — US Military Intelligence Reports.

[26]For General Connoily eyes only from Deane, February 4, 1944. — Ibid.

[27]Deane J. The Strange Alliance, pp. 60-61.

[28]Report of Escape of American Internees by Lt. Cal. R. McCabe. — NA, RG 334, Box 11.

[29]Hays, O.,Jr. Home from Siberia, p.95.

[30]Deane J. Op.cit., p. 61.

[31]W.Leahy to President, February 26 1944. — NA, RG 218, W.Leahy Records, Memoes to and from President, folder 126.

[32]АП РФ, ф. 45, оп.1, д.377, л.34, 37-38.

[33]From Deane to War Department, 25 April 1944. — US Military Intelligence Reports.

[34]Conversation, October 4, 1944. — NA, RG 334, Box 11.

[35]For Joint Chiefs of Staff from Deane, 12 October 1944.— US Military Intelligence Reports..

[36]From US Military Mission, Moscow. 14 October 1944, Medical Report of Tashkent Trip by Lt. Col. C.Kingsbury, 17 October 1944. — Ibid.

[37]The Washington Post, 30 November 1944.

[38]St.Louis Post-Dispatch, December 2, 1944.

[39]Советско-американские отношения. 1939—1945, с.45.

[40]For General Marshall Eyes Only from Deane, 4 December 1944. — NA, RG 334, Box 11.

[41]Conversation, 17 October 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 175.

[42]For JCS for their Eyes Only from Deane, 25 December 1944. — NA, RG 334, Box 11.

[43]АВП РФ, ф.06, оп.6, п.6, д.59, лл. 35—36.

[44]For The President, December 25, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont. 176.

[45]Conversation with Molotov, January 2, 1945. — Ibid.

[46]Deane J. Op.cit., p.63.

[47]Conversation with Molotov, January 2, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont. 176.

[48]Escape of Internees, May 1945, by Major P.Hall. — NA, RG 334, Box 11.

[49]To General Marshall from Deane, 2 August 1945; From Marshall to Deane, 12 August 1945. — NA, RG 334, Box 11.

[50]Memorandum for Director of Public Information, 23 August, 1945; From Dickey to Acheson, September 14, 1945. — NA, RG 59, DF, 711.61/ 9 — 345.

[51]Acheson to Secretary of the Navy, September 17, 1945. — Ibid.

[52]Deane J. Op.cit., p.63.

[53]Главе Военной миссии США в СССР генерал-майору Дж.Дину, 9 ноября 1944. — NA, RG 334, Box 15 (Liaison with the Soviets).

[54]Gen.McNarney to Gen.Marshall, 13 November 1944.— NA, RG 218, W.Leahy Records, Box 20; Gen.McNarney to Adjuntant General, 17 November 1944. — NA, RG 218, Geographic File, 1942—1945, CCS 381 USSR (2-27-44), Sec.3.

[55]Gen. Eaker to Gen. Arnold, 10 November 1944. — NA, RG 218, W.Leahy Records, Box 20.

[56]Allied Force HQ Caserta to War Department, 13 November 1944. — FDRL, Map Room Files 300, Sec.5, Warfare — Russia, (July—December 1944).

[57]Так, в сентябре 1944 г в районе Военга был сбит американский самолет, забрасывавший разведчиков на территорию Норвегии, который не подавал опознавательных знаков. Этот «трагический случай», сообщал дипагент НКИД из Архангельска, оставил «тяжелое впечатление» у советских летчиков. «Выразить сожаление» — гласила резолюция Сталина на этом донесении (АП РФ, ф.45, оп.1, д.218, л.18).

[58]Conversation with Stalin, December 14, 1944. — LC, WAHP, CF, Cont.175.

[59]From US Military Mission to War Department, 26 November 1944. — US Military Intelligence Reports.

[60]Уилсон Т.А. и др. Коалиция: структура, стратегия, руководство // Союзники в войне, с.130—131.

[61]US Military Mission to War Department, 20 March 1945. — FDRL, Map Room Files 300, Sec.6, Warfare — Russia (January-April 1945).

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСЛЕВОЕННОГО МИРА

В ВАШИНГТОНЕ

[5]Post-War Foreign Policy Preparations 1939—1945. Wash., 1949, p. 93.

[2]Post-War Planning in the United Sates. An Organization Directory.N.Y., 1944.

[3]T-Minutes, September 18, 1942. — NA, RG 59, Records of Harley A. Notter, 1939—1945, Records of the Advisory Committee on Post-War Foreign Policy, 1942—1945 (далее — Records of ACPWFP), Box 59; Post-War Foreign Policy Preparations, p.121.

[4]Memorandum, July 12, 1943. — T-Minutes Special, Ibidem.

[5]См., например,: Minutes T-4, April 2, 1942. — Ibidem.

[6]См.: Mark E.American Policy toward Eastern Europe and the Origins of the Cold War, 1941—1946: An Alternative Interpretation/Journal of American History, vol.68, N 2 (September 1981). Обстоятельный разбор внешнеполитических взглядов некоторых членов этого комитета содержится в работе В.Т.Юнгблюда.Внешнеполитическая мысль США 1939—1945 годов. Киров, 1998, с.49—83.

[7]T-Minutes, November 6, 1942. — Records of ACPWFP, Box 59; The Political Reorganization of Germany, September 23, 1943 // Post-War Foreign Policy Preparations, p.558-560.

[8]T-Minutes, November 27, 1942. — Records of ACPWFP, Box 85.

[9]T-Minutes. March 7, 1942. — Ibid., Box 59.

[10]T-Minutes, March 28, 1942. — Ibidem.

[11]T-Minutes, October 2, 1942. — Ibid., Box 85.

[12]T-Minutes 23, October 9. 1942. — Ibid., Box 59.

[13]T-Minutes 29, November 27, 1942. — Ibidem.

[14]Ibidem.

[15]Minutes T-4, April 4, 1942. — Ibidem.

[16]T-Minutes 35, January 15, 1943. — Ibidem.
[17]T-Minutes 9, June 6, 1942. — Ibidem.
[18]T-Minutes, October 9, 1942. — Ibidem.
[19]Ibidem.
[20]The Big Three and Reconstruction (R 49, E 153). — bid., Box 84.
[21]T-Minutes 29, November 27, 1942. — Ibid., Box 59.
[22]Poland: Soviet Union: Territorial Problems, Polish-Soviet Frontier, May 19, 1943 // Post-War Foreign Policy Preparations, p.510—512.
[23]T-Minutes 52, July 16, 1943. — Records of ACPWFP, Box 59.
[24]Disposition of Japan's Possessions. — Ibidem.
[25]Ibidem.
[26]T-Minutes 29, November 27, 1942. — Ibidem.
[27]Ibidem.
[28]T-Minutes 3, August 7, 1942. — Ibid., Box 85.
[29]T-Minutes 23, October 9, 1942. — Ibid., Box 59.
[30]Ibidem.
[31]The Possibility of Revolutions in Eastern Europe. — .bidem.
[32]T-Minutes 19, May 9, 1942. — Ibidem.
[33]The South Slav Peoples (T 405, R 72), November 9, 1943. — Ibid., Box 84.
[34]Очерки истории Министерства Иностранных Дел России. Т.2, с.296.
[35]Ржешевский О.А. Сталин и Черчилль, с.480.
[36]Russia and An East European Federation (The Territorial Group, Council on Foreign Relations, October 26, 1942). — Records of ACPWFP, Box 84.
[37]Russia and An East European Federation.
[38]R Mmutes, March 31, 1944. — Records of ACPWFP, Box 84.
[39]Soviet Attitudes on Regional Organizations in Eastern Europe, September 23, 1944. — Ibid., Box 119.
[40]R-Minutes, February 4, 1944. — Ibid., Box 84.
[41]R-Mmutes 13, February 18, 1944. — Ibidem.
[42]Minutes of the Policy Committee, March 8, 1944. — Ibid., Box 138.
[43]См.: Mark E. American Policy toward Eastern Europe, p.318.
[44]R-Minutes 13, February 18, 1944. — Records of ACPWFP, Box 84.
[45]R-Minutes 85, February 16, 1944. — Ibid., Box 85.
[46]United States: Dominant Considerations in Judging A Soviet Regional Policy in Eastern Europe (R 88, March 1, 1944). — Ibidem.

[47]Mark E. American Policy toward Eastern Europe, pp. 320-321.

[48]R — Minutes 14, March 3, 1944. — Records of ACPWFP, Box 84.

[49]Ibidem.

[50]Minutes of the Policy Committee, October 13, 1944. — Ibid., Box 138.

[51]FRUS: The Conference at Maita and Yalta, 1945, p. 97-100.

[52]Aldrich R. The Hidden Hand. Britain, America and Cold War Secret Intelligence. L-n, 2001, p.54, 56.

[53]R-Minutes 6, October 29, 1943. — Records of ACPWFP, Box 84.

[54]European "Unification" under German Rule: Plans and Accomplishments. June 24, 1943. — Ibidem.

[55]R-Minutes 6, October 29, 1943. — Ibidem.

[56]How Would Political Unification of Europe Affect the Interests of the United States? November 12, 1943. — Ibidem.

[57]R-Minutes 9, December 10, November 12, 1943 — Ibidem.

[58]R-Minutes 10, January 7, 1944. — Ibidem.

[59]R-Mmutes 6, October 29, 1943.— Ibidem.

[60]Post-War Economic Unification of Europe. November 19, 1942. — Ibidem.

[61]European "Unification" Under German Rule.

[62]Ibidem.

[63]How Would Political Unification of Europe Affect the Interests of the United States?

[64]A Contmental European Orgamzation. June 17, 1943. — Records of ACPWFP, Box 84.

[65]How Would Political Unification of Europe Affect the Interests of the United States?

[66]R-Minutes 6, October 29, 1943. — Ibldem.

[67]Ibidem.

[68]R-Minutes 9, December 10, 1943. — Ibid.

[69]How Would Political Unification of Europe Affect the Interests of the United States?

[70]Ibidem.

[71](Ch.Bohlen). Memorandum, March 25, 1944. — NA, RG 59, Records of Ch.Bohlen, General Correspondence, Box 3.

[72]Minutes, Policy Committee, October 13, 1944. — Records of ACPWFP, Box 138.

[73]Правда, 23 февраля 1942.

[74]Лозовский — Сталину, Молотову, 26.XII.1941. — АП РФ, ф.3, оп.63, д.237, л.1-3. (Полный текст этого документа см.: Источник, 1995, № 4).

[75]Там же, л.4-6.

[76]См.: Филитов А.М. В Комиссиях Наркоминдела // Вторая мировая война: актуальные проблемы. М., 1995, с.54—71.

[77]О взаимоотношениях с США. 10 января 1945. — АВП РФ, ф.06, оп.7, п17, д.173, л.47.

[78]К вопросу о советско-американских отношениях. 14 июля 1944. — АВП РФ, ф.06, оп.6, п.45, д.603, л.32—33.

[79]Майский — Молотову, 11 января 1944. — АВП РФ, ф.06, оп.6, п.14, д.147, л.21—22 (далее — Записка Майского). Опубликованный вариант этого документа см. в: Источник, 1995, № 4.

[80]Протокол № 4 частного совещания Комиссии по подготовке мирных договоров и послевоенного устройства. 14 марта 1944 года. — АВП РФ, ф.06, оп.6, п.14, д.142, л.118.

[81]К вопросу о советско-американских отношениях, л.29.

[82]Там же, л.15.

[83]Записка Майского, л.37.

[84]К вопросу о советско-американских отношениях, л.23.

[85]Записка Майского, л.8, 3.

[86]К вопросу о советско-американских отношениях, лл.22,23.

[87]Записка Майского, л.23—24.

[88]О взаимоотношениях с США, л.48.

[89]Записка Майского, л.13.

[90]Протокол № 4, л.116—117.

[91]Записка Майского, л.14.

[92]Там же, л.19.

[93]Там же, л.27.

[94]О взаимоотношениях с США, л.47.

[95]См.: Phillips H. Between the Revolution and the West. A Political Biography of Maxim Litvinov. Boulder (Colorado), 1992, p.171.

[96]Палестинский вопрос. 27 июля 1945 г. — АВП РФ, ф.06, оп.7, п.17, д.175, л.145.

[97]К вопросу о получении подопечных территорий. 22 июня 1945 г. — АВП РФ, ф.06, оп.07, п. 17, д.174, лл.59, 60.

[98]Там же, л.61.

[99]К вопросу о балтийских проливах и Кильском канале. 18 декабря 1945 г. — Там же, д.175, л.162—163.

[100]Там же, л.164.

[101]О перспективах и возможной базе советско-британского сотрудничества. 15 ноября 1944 г. — АВП РФ, ф.06, оп.6, п.14, д.143, л.154.

[102]АВП РФ, ф.06, оп.7, п.17, д.173, л.60.

[103]См.: Филитов А.М. В комиссиях Наркоминдела, с.60.

[104]Записка Майского, лл.33, 34, 38, 39—40.

[105]О взаимоотношениях с США, л.50.

[106]Там же, л.8.

[107]Об отношении к Италии (Протокол заседания от 4.9.1944). — АВП РФ, ф.06, оп.2, п.8, д.4, л.110—111.

[108]О перспективах и возможной базе советско-британского сотрудничества, л.54.

[109]Там же, л.83—84.

[110]Записка Майского, л.38.

[111]Там же, л.36.

[112]Дополнительные соображения по вопросу о подопечных территориях. 28 июня 1945 г. — АВП РФ, ф.06, оп.7, п.17, д.174, л.63, 64.

[113]Записка Майского, л.39.

[114]О перспективах и возможной базе советско-британского сотрудничества, л.84.

[115]В открытом варианте этой схемы Литвинов называл их «зонами безопасности» («Война и рабочий класс», 15 декабря 1944 г., с.12).

[116]Печатнов В.О.Уолтер Липпман и пути Америки. М., 1994, с. 185—187.

[117]Формула по репарациям с Германии. 17 января 1945. — АВП РФ, ф.06, оп.7, п.17, д.173, л.69.

[118]E.Snow to Ms Tully, December 28, 1944. — FDRL, PSF, Diplomatic Correspondence, Box 49 (Russia 1945). Запись этой конфиденциальной беседы Сноу передал президенту Рузвельту.

РАЗВЕДКА США НА СОВЕТСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

[6]См.: Katz B. Foreign Intelligence. Research and Analysis in the Office of Strategic Services 1942—1945. Cambridge, 1989, p. 141—142.

[2](Gen. W.Donovan). Memorandum for General Marshall, 5 August 1944. — NA, RG 165, Office of the

Chief of Staff, General Correspondence, 1942—1947, 091 Russia — Yugoslavia.

[3](Gen. J.McNarney). Memorandum for General Donovan. Estimate of Soviet Capabilities and Intentions, 11 August, 1944. — Ibidem.

[4] Цит. по: Stoler m. The Soviet Union m U.S. World War II Strategic Planning. International Simposium on Allied Relations during world war II. Middleleurg. The Netherlands, June 12—14, 1994, p.2.

[5]Military Potential of the Soviet Union, November 3, 1942. Research and Analysis (далее-R&A) Report N 584. — NA, RG 226, Box 6, M 1221.

[6]Russian Combat Estimate, April 1, 1942. — NA, RG 218, Geographic File 1942—1945, CCS 350.05 USSR (4-1-42).

[7]Ibidem.

[8]Political Orientation and Morale of the USSR. February 23, 1943. R&A Report N 523. — NA, RG 226, M 1221.

[9]Domestic Factors Influencmg the Stability of the Soviet Regime (JCS 80/13), 15 November 1945 — NA, RG 218, Geographic File, 1942—45, CCS 092 USSR (3-27-45), Sec.1.

[10]Ibidem.

[11]Political Orientation and Morale of the USSR.

[12]Report of Gen. D.Connaily on visit to USSR during the Period 17 December 1943 to 2 February 1944. — NA, RG 165, OPD 336, Russia.

[13]Political Orientation and Morale of the USSR.

[14]The Nature of Soviet National Feeling, 15 June 1944. R&A Report N 2185.— NA, RG 226, M 1221.

[15]Memorandum for the President, 20 March 1944. — FDRL, SAFE Files, OSS.

[16]Intelligence Report by Assistant Naval Attache, Vladivostok, 28 October 1943. — FDRL, Map Room Files 300, Sec.3, Warfare -Russia.

[17]NA, RG 59, DF, 861.00/12-055. Характерно, что подобные оценки нового гимна в американской печати вызывали искреннее возмущение идеологических охранителей со Старой площади: так, работники ЦК обращали внимание руководства на «возмутительную вылазку» журнала «Тайм», который писал о замене «волнующего зажигательного «Интернационала» на «неуклюжий панегирик в честь Сталина и новой России». «Новый гимн Советского Союза, — цитировалась далее статья

в «Тайм», — предназначен только для русских; он не содержит призыва к угнетенным и не вызовет холодной дрожи на Уолл-стрит». (Д.Поликарпов — А.Щербакову, 29.4.1944 — РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.235, л.61).

[18]Подробнее об этом пересмотре см.: Mark E. October or Thermidor? Interpretations of Stalimsm and the Perception of Soviet Foreign Policy m the United States, 1927-1947/ The American Historical Review, vol.94, N 4 (October 1989), p.945—951.

[19]Survey of Domestic Political Developments m 1943. — NA, RG 226, R&A Reports, M 1250.

[20]Report on prewar, war, and postwar status of the mmmg industries of the Soviet Union (August 1944). Foreign Minerals Survey, Bureau of Mines, Department of Interior. — NA, RG 59, DF, 861.60/8-044.

[21]АВП РФ, ф.06, оп.07, п.17, д.173, л.71.

[22]Soviet Economic Review, March 1946 Issue. — Dispatch N 2500, March 12, 1946, from the American Embassy, Moscow, USSR; см.также:Kennan to Sec State, February 13, 1946. — NA, RG 59, DF, 861.00/2-1346.

[23]Greatness of Soviet Economic Accomplishments m War. — Soviet Economic Review, March 1946..

[24]Майский — Молотову, 4.2.1945. — АВП РФ, ф.06, оп.7а, п.59, д.38, л.80.

[25]Current Aspects of Domestic Economy. Statement by J.Byrnes. Minutes of Meetmg held by JCS and Heads of Civilian War Agencies, 21 March, 1944. — NA, RG 218, Geographic File, 1942-1945, CCS 334 (11-I5-43).

[26]Soviet Economic Review, January 1946. — NA, RG 59, DF, 861.50/1-946.

[27]Ibidem.

[28]Capabilities and Intentions of the USSR m the Postwar Period, January 5, 1945. R&A Report N 2669. — NA, RG 226, M 1221.

[29]Katz B. Foreign Intelligence., p.157.

[30]Economic Developments and Conditions m the USSR m the first half of 1945 (Enclosure N 1 to dispatch N 1954, AmEmbassy, Moscow, August 15, 1945).

[31]Soviet Economic Review, January 1946. — NA, RG 59, DF, 861. 50/1 — 946.

[32]Soviet Economic Review, March 1946.

[33]Ibidem.

[34]Soviet Economic Review, January 1946.

[35]The Relative Position of the Communist Party and the Red Army under the Soviet Regime. October 30, 1944, R&A Report N 2521. — NA, RG 226, M 1221.

[36]The Relative Position of the Communist Party and the Red Army under the Soviet Regime.

[37]Russia Booklet. — NA, RG 334, Box 26.

[38]Capabilities and Intentions of the USSR m the Postwar Period. January 5, 1945; Estimate of Soviet Postwar Capabilities and Intentions (JCS 250 Series). 18 January 1945. — NA, RG 165, ABC 384 U.N. (17 July 44), Sec. 1-A.

[39]Capabilities and Intentions of the USSR, p.28.

[40]Ibid., pp.25, 35.

[41]Russia's International Position at the Close of the War with Germany. — FRUS, 1945, V, Wash., 1967, pp.853-854.

[42]См.: «СССР может пойти на любые меры за исключением военных...». Документы из ЦРУ/Источник, 1999, № 2, с.89; JIS 80/9, 26 October 1945. — NA, RG 218, W.Leahy Records, Box 18.

[43]Чуев Ф. Молотов — полудержавный властелин, с.18—19.

[44]Russian Capabilities (JCS 80/7). 23 October 1945. — NA, RG 218, Geographic File, 1942-1945, CCS 092 USSR (3-27-45), Sec.2.

[45]Russia's International Position..., p.859—860.

[46]Estimate of Soviet Postwar Capabilities and Intentions, p.D-2.

[47]Ibid., pp.D-3, D-5; Capabilities and Intentions of the USSR in the Postwar Period, p.28.

[48]Estimate of Soviet Postwar Capabilities and Intentions, pp. D-7, D-8.

[49]Ibid., pp.16-17.

[50]Ibid., p.D-18.

[51]Russian Aims in Germany and the Problem of Three Power Cooperation. May 11, 1944. R&A Report N 2073, pp.8, 19. — NA, RG 226, M 1221.

[52]Russian Economic Policies in Germany in the Period of Military Occupation. 28 October 1944. R&A Report N 2337. — NA, RG 218, Geographic File, 1942—1945, CCS 000.1 USSR (10-2-44), Sec.1.

[53]Estimate of the Soviet Postwar Capabilities and Intentions, p.D-14...

[54]Ibid., p.D-14.

[55]From Michela, February 23, 1943. — FDRL, HLHP, Military Intelligence, USSR — EE Branch.

[56]Estimate of the Soviet Postwar Capabilities and Intentions, p.D-12.

[57]Problems and Objectives of United States Policy. 2 April 1945. (enclosed in: J.Magruder to J.Deane, 16 May 1945. — NA, RG 334, Subject Files (OSS). Полный перевод этого документа см. Печатнов В.О. США: скрытые дебаты по «русскому вопросу» весной 1945 г./Новая и новейшая история, 1997, № 1.

[58]The OSS-NKVD Relationship, 1943—1945. (With introduction by J.Hartgrove). N.Y. — L-n, 1989, Doc.N 31.

[59]The OSS-NKVD Relationship, Doc.N 13.

[60]J.Haskell to J.Deane, 11 April 1944. — Ibid., Doc.32.

[61]Report of Current OSS Activities with the US Military Mission to the USSR, 18 April 1944. — Ibid., Doc N 36.

[62]Donovan to Fitin, 23 August 1944. — Ibid., Doc. N 57.

[63]См.: Weinstein A., Vasiliev A.The Haunted Wood. Soviet Espionage in America — the Stalin Era. N.Y., 1999, p.249—263.

[64]См., например, :Справочник «Группы национальных меньшинств в Соединенных Штатах». — РГАСПИ, ф.17, оп.128, д.639, л.3—278, д.640.

[65]J.Dunn. Memorandum for Mr.Secretary, December 18, 1944. — The OSS-NKVD Relationship, Doc. N 98.

[66](E.Stettinius). Memorandum for the President, December 27, 1944. — FDRL, PSF, Russia.

[67]E.Buxton to J.Deane, 5 January 1945. — NA, RG 334, Box 18 (OSS).

[68]Smith B. Shadow Warriors: OSS and the Origins of CIA. N.Y., 1983, p. 353—355.

[69]См.: Гелен Р. Война разведок. Тайные операции спецслужб Германии 1942—1971. М., 1999, сс. 145, 152—153.

[70]NA, RG 334, Box 18 (OSS).

[71]M.Pettigrew to P.Fitin, 23 July 1945; J.Deane to P.Fitin, 31 July 1945. — The OSS-NKVD, Doc. 120, 122.

[72]M.Pettigrew to Dailes, Donovan, 26 July 1945. — NA, RG 334, Box 18 (OSS).

[73]OSS Intelligence Activities with the Russians, 11 August 1945. — The OSS-NKVD, Doc.130.

[74]Brown A. The Last Hero. Wild Bill Donovan. N.Y., 1984, p.753—754.

[75]C.Hull to W.Donovan, May 23 1944. — The OSS-NKVD, Doc. N 50.

[76]Subversive Efforts m the Balkans (Notes on JCS 113th Meeting, 7 September 1943). — NA, RG 165, ABC 091.411 Balkans (21 Aug 43).

[77]Mark E. The OSS m Romania, 1944-1945: An Intelligence Operation of the Early Cold War/ Intelligence and National Security, Vol.9, N 2 (April 1994), p.321—322; Мальков В.Л. Разведка союзников в годы войны // Вторая мировая война: актуальные проблемы, с.205—206.

[78]Mark E. The OSS in Romania, p.327—329.

[79]The OSS-NKVD, Doc. N 84.

[80]Цит. по: Brown A. The Last Hero, p.622—623.

[81]Review of Relations between OSS, Sofia and the Russian High Command, Sofia. 2 October 1944. — The OSS-NKVD, Doc. N 72.

[82]Donovan to Harriman for Deane, October 18, 1944. — Ibid., Doc. N 80.

[83]Гарриман — Молотову, 18 января 1945. — АВП РФ, Ф.06, ОП.7, П.45, Д.719, Л.7.

[84]А.Василевский — А.Вышинскому, 7 февраля 1945. Там же, л.44.

[85]А.Вышинский — С.Царапкину. 8 февраля 1945. Там же.

[86]Кеннан — Вышинскому, 12 мая 1945 г. Там же, л.37.

[87]To Marshall from Maples, 12 October 1945. — NA, RG 334, Box 18 (OSS).

[88]Brown A., Op.cit., p.419.

[89]Donovan to Hopkins, May 11, 1942. — FDRL, HLHP, Special Assistant to the President, Box 218 (Russia).

[90]Brown A., Op. cit., p.421.

[91]L.Morris to W.Murray, November 22, 1944. — NA, RG 59, DF, 861.24/11-2244.

[92]Memorandum for the Director of Strategic Services, 12 April 1945. — NA, RG 165, ABC 385 Pacific Theater (18 June 43).

[93]См.: D.Nelson to G.Robinson, November 2, 1943. — NA, RG 226, Entry 145, Box 7 (R&A Chief Files).

[94]Trip to Nakhodka, October 24, 1945. — NA, RG 59, DF, 861. 1561/10 — 2445.

[95]Clubb to SecState, December 8, 1945. — Ibid., 861.20/12 — 845.

[96]From Vladivostok, 13 December 1945. — NA, RG 218, Records of W.Leahy, Box 16.

[97]См.: Позняков В.В.Профессионалы и добровольцы; советские разведывательные службы в Соединенных Штатах, с.216—218.

ЧАСТЬ III

КАК ПРОГОРКЛИ ПЛОДЫ СОЮЗА

ОТ ЯЛТЫ ДО ПОТСДАМА

[1]Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс. Т.2, с. 589.

[2]Запись беседы автора с К.Мортимер (Гарриман) от 11.7.1995.

[3]Roosevelt & Churchill, vol. III, p. 562.

[4]АВП РФ, ф. 06, оп. 7, п 39, д 588, лл 2,1.

[5]Churchill & Roosevelt, vol. III, p. 593. Это впоследствии приватно признавал и госсекретарь Дж Бирнс (Leffler M. Adherence to Agreements: Yalta and the Experiences of the Early Cold War/International Security. Summer 1986, p.98).

[6]The Fifth Session of Polish Commission, March 23, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont. 178.

[7]A.Harriman to Secretary of State, April 7, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont. 178.

[8]Прием вице-министра П Бермана, 24 октября 1945 АВП РФ, ф 06, оп 7, п 39, д 585, л 15; Вышинский — Молотову, 20 февраля 1945. Там же, д 584, л.8.

[9]В.М Молотову от Лебедева (без даты). — АВП РФ, ф. 06. оп. 7, л. 39, д. 588, лл. 6-11; Eden to Kerr, February 24, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont. 177.

[10]Лебедев — Молотову 3 марта 1945 — АВП РФ, ф. 06, оп. 7, п 39, д. 588, лл. 15—16; Leading Polish Personalities likely to cooperate with the Russians (received from C.Kerr). — LC, WAHP, CF, Cont. 177.

[11]Cohen W. America in the Age of Soviet Power, 1945-1991. Cambridge, 1993, p 16.

[12]Deane to War Department, 13 March 1945. — NA, RG 218, W Leahy Records, 1942—1948, Box 1 (Folder 4 — Berne Incident).

[13]Memorandum by the US Chiefs of Staffs to CCS, 13 March, 1945. — FRUS, 1945, III, p. 727—728.

[14]Churchill & Roosevelt, III, p. 586.

[15]W.Donovan. Memorandum for the Secretary of State, 10 March 1945. — NA, RG 59, DF, 740.0011EW/3-1045.

[16]Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны. Т.2, с. 332—333.

[17]FRUS, 1945, III, p. 733.

[18]Ibidem.

[19]Меркулов — Молотову 11 апреля 1945 АВП РФ, ф. 06, оп. 7, п. 14, д. 138, л. 25.

[20]A Harriman for the Secretary, April 2, 1945 — LC, WAHP, CF, Cont.178.

[21]Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны, т. 2, с 87.

[22]Переписка.. Т.2, с 221. Подробнее см.: Печатнов В.О. Как Сталин писал Рузвельту (по новым документам)/Источник, 1999, № 6, с.87.

[23]Постановления Политбюро от 13 и 22 марта 1945 — РГАСПИ, ф. 17, оп 3, д 1052, лл 10, 13.

[24]К конференции в Сан-Франциско 10 марта 1945 г. АВП РФ, ф.06, оп.7, п.17, д.174, л.33

[25]Soviet Attitude toward the Evacuation of American Prisoners of War (Report on a Visit to Lublin, February 27 — March 28 1945). — NA, RG 218, OPD 336 Russia (Section I A); Memorandum for Assistant Chief of Staff, G-1, 19 April 1945 — Ibid.

[26]Александров — Маленкову, 6.III.1945. — РГАСПИ, ф. 17, оп 125, д 314, лл. 26—27.

[27]Переписка... Т 1, с.193—195.

[28]Major P.Hall to US Military Mission, March 5, 1945; To Agwar for Gen.Marshall from Deane, March 3, 1945 — NA, RG 334, Box 25.

[29]Costigliola F. "Like Animals or Worse": Narratives of Culture and Emotion by U.S. POWs and Airmen behind Soviet Lines, 1944—1945/Diplomatic History, November 2004, p.760.

[30]См. о торжественные отчеты американских разведчиков об этой ракетной пробе: Preliminary Report of the Anglo-American Mission to the German Experimental Rocket Station in Poland, 22 September 1944. — NA, RG334, Box 11; Notes on Rocket Bomb Party, 26 September 1944. — Ibidem.

[31]АВП РФ, ф.0129, оп 10, п 33, д 431, л.35.

[32]Deane to JCS, 24 February 1945 — NA, RG 334, Box 11.

[33]To Marshall from Deane, 2 April 1945. — LC, WAHP, CF, Cont. 178.

[34](York) Memorandum for the Department of State, 26 February, 1945. — FDRL, President's Soviet Protocol Committee, Box 16

[35]A.Harriman for Secretary, March 28, 1945 — NA, RG 59, 123 Harriman A., Box 745.

[36]Разговор с Гарриманом (из дневника Майского), 5 апреля 1945 г. — АВП РФ, ф. 0129, оп. 29, п 166, д. 4, л. 15—16.

[37]FRUS, 1945, V, p. 817

[38]Daily Summary of Developments, April 5, 1945. — NA, RG 59, General Records of the Office of the Executive Secretariat, Box 1.

[39]В документе даже не сказывалось предположение о том, что берлинские контакты были инициированы немцами с целью спровоцировать разногласия между союзниками. (Arrangements with the Soviets. April 5, 1945. JCS 1301/2. — NA, RG 218, CCS-092 (7-27-44).

[40]Переписка... Т. 2, с. 228-229.

[41]Ambassador Harriman for the President, April 12, 1945; For Ambassador Harriman from the President, April 12, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont. 178; см. также: Мальков В.Л. Франклин Рузвельт. Проблемы внутренней политики и дипломатии. М., 1988, с.319-320.

[42]LC, WAHP, Writing Files, Memoirs, E.Abel Files, Cont. 860.

[43]Special Envoy, p.444.

[44]Roosevelt to Churchill, April 11, 1945. — FDRL, Presidential Trips (Warm Springs Trip, March 29 — April 12, 1945), Box 23.

[45]Feis H. Churchill, Roosevelt, Stalin The War They Fought and the Peace They Sought N.Y., 1966, p. 275—276

[46]АВП РФ, ф.06, оп. 7, п. 44, д. 693, л. 1—2.

[47]FRUS, 1945, V, p. 828.

[48]Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны. Т.2, с. 358.

[49]Secretary of State to Ambassador Harriman April 14, 1945. — NA, RG 59, General Records of the Office of Executive Secretariat, Box 1.

[50]Молотов — Гарриману, 14 апреля 1945 г. — АВП РФ, ф. 06, оп.7, п.44, д 695, л.5.

[51]Гарри Трумэн. Президент США. 13 апреля 1945 г. — АВП РФ, ф.07, оп 10, п 34, д. 455, лл. 9, 11.

[52]Bishop J. FDR's Last Year: April 1944 — April 1945. N.Y., 1974, p. 892.

[53]АВП РФ, ф.06, оп.7, п 44, д 693, л.5-6.

[54]E.Roosevelt to Prime Minister I.V Stalin, April 19, 1945. — АВП РФ, ф.06, оп.7, п 43, д.669, л.45.

[55]Известия, 13 апреля 1945.

[56]Правда, 15 апреля 1945.

[57]АВП РФ, ф.06, оп.7, п 44, д.693, л.38. Подробнее см.: Печатнов В.О. Сталин и Рузвельт//Война и общество, 1941—1945. Отв. ред. Г.Н. Севостьянов. Кн. 1, М., 2004, с. 417—420.

[58]АВП РФ, ф.06, оп 7, п 44, д.693, л.34,35.

[59]Truman takes over. Diary, May 1945. — LC. J.Davies Papers, Cont.19.

[60]JCS 1313/2 (Revision of Policy with Relation to Russia), 23 April 1945. — NA, RG 218, Geographical File 1942-45, CCS 092 USSR (30-27-45) Sec.1. Подробнее см.: Clemens D Averell Harriman, John Deane, the Joint Chiefs of Staff, and the "Reversal of Cooperation" with the Soviet Union in April 1945/The International History Review. May 1992, p 292—295.

[61]Department of State to American Legation, Bern, April 18, 1945. -- NA, RG 59, DF, 740.0011EW/4-1845.

[62]Problems and Objectives of the United States Policy. 2 April 1945 — NA, RG 334, Subject File (OSS folder).

[63]Stoler M. Allies and Adversaries, p 227—229.

[64]FRUS, 1945, V p. 231—233.

[65]Truman H. Memoirs. Year of Decisions. N.Y., 1955, p. 72.

[66]FRUS, 1945, V, p. 839—846.

[67]АП РФ, ф 45, оп 1, д. 770, л 2.

[68]Там же, л.1.

[69]Беседа с американским послом Гарриманом 16 апреля 1945 г. — АВП РФ, ф 0129, оп 29, т. 166, д 4, л 21—22.

[70]FRUS, 1945, V, p. 233

[71]Op. cit., pp. 252-255

[72]См., например: Запись беседы Молотова с президентом США Трумэном 23 апреля 1945 г. -- АВП РФ, ф. 06, оп 7, п 43, д. 677, л. 50—51(полный текст документа -- Советско-американские отношения. 1939—1945, с. 650—351).

[73]Special Envoy, p. 453- -454.

[74]Relations with the Russians. Memorandum by the Representatives of the British Chiefs of Staff. 6 June 1945. -- NA, RG 218, Geographical File 1942—1945, CCS 092 USSR (3-27-45), Sec 1.

[75]American Embassy London to SecState, March 15, 1945. -- NA, RG 59, DF, 861.00/ 3 — 1545. См. также: Aldrich R The Hidden Hand. Britain, America and Cold War Secret Intelligence. L-n, 2001, p 36—37.

[76]W Hillman to T.Beck, April 29, 1945. — FDRL, HLHP, Sherwood Collection, Book 11, Box 338.

[77]Schlesinger S. Act of Creation The Founding of the United Nations. N.Y., 2003, p 138

[78]АП РФ, ф. 45, оп ..., д 770, л. 3

[79]Печатнов В.О. Уолтер Липпман и пути Америки. М., 1994, с. 200.

[80]H.Willis to President H.Truman, May 7, 1945; McLeish to Grew, May 26, 1945. — NA, RG 59, DF, 711.61/ 5—745, 5—2645.

[81]Memo of Conversation, May 9, 1945. — NA, RG 59, Records of Ch.Bohien, Memoranda of Conversations in San Francisco, April — May 1945.

[82]Memorandum for the Chief of Staff, 11 May 1945. — NA, RG 165, ABC 400.3295 Russia (19 April 1942), Sec 1.

[83]FRUS, 1945, V, p. 998.

[84]Memorandum for Mr. Secretary, April 19, 1945. — NA, RG 59, Records of Ch.Bohien , Memoranda of Conversations in San Francisco, April-May 1945.

[85]FRUS, 1945, V, p. 999—1000.

[86]J.Hutchins to B.Larsen, May 12, 1945. — FDRL, President's Soviet Protocol Committee, Box 4.

[87]Memorandum for General Hull, 13 May 1945. — Ibid.

[88]Memorandum for the Record, 14 May 1945. — NA, RG 165, ABC 381 United Nations (23 Jan 42) Sec 3-C.

[89]Gen. York, Memorandum for members of the President's Soviet Protocol Committee, 15 May 1945; J.Hutchins to Gen York, May 14, 1945. — FDRL, President's Soviet Protocol Committee, Box 4.

[90]Phone Conversation between Gen. Hull and Gen. York, 12 May 1945. — Ibid.

[91]Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны, т. 2, с. 389.

[92]Так, предупреждение М.М.Литвинова о возможных попытках США «использовать ленд-лиз для получения неприемлемых для нас экономических и политических компенсаций» было жирно подчеркнуто Сталиным при чтении этого документа («Об отношениях с США», 10 января 1945 г. АП РФ, ф.3, оп.63, д.245, л.41).

[93]АВП РФ, ф.06, оп.7, п.45, д.702, л.2.

[94]АП РФ, ф. 3, оп. 66, д. 296, л. 13.

[95]Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс. Т.2, с.622, 625.

[96]Запись беседы автора с генерал С.А.Кондрашовым от 25 апреля 1999 г.

[97]Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1969, с.713.

[98]Telephone Conversation, 11 June 1945, Gen. York and Gen. Lincoln. — FDRL, President's Soviet Protocol Committee, Box 4.

[99]Herring G, Jr. Aid to Russia. Strategy, Diplomacy, The Origms of The Cold War. N.Y., 1973, p.206.

[100]Memorandum for the Secretary of War, May 12, 1945. — NA, RG 165, ABC, Russia (22 Aug 43), Sec.3.

[101]Secretary of War to the Acting Secretary of State, May 14, 1945. — Ibidem.

[102]Подробнее см. Печатнов В.О. США: скрытые дебаты по «русскому вопросу» ..., с.114—118.

[103]Ch.Bohlen to J.Grew, August 12, 1947. — NA, RG 59, Records of Ch.Bohien, General Correspondence, Box 1.

[104]Grew to Burgess, May 26, 1945. — NA, RG 59, DF, 711.61/ 5 — 2645.

[105]R.Murphy to F.Matthews, April 24, 1945. — NA, RG 59, DF, 740.011/4 — 2445.

[106]Ibidem; Caffery to SecState, May 1, 1945. — NA, RG 59, DF, 740.0011 EW/ 5 — 145.

[107]Helsinki to SecState, May 2, 1945. — Ibid, 740.0011EW/5 — 245.

[108]JCS Mmutes of Meetmg held at White House 18 June 1945. — NA, RG 165, ABC CCS 334 JCS (2-2-45), Meetmgs 186—194.

[109]Memorandum for the President (Latest Opinion Trends in the United States), May 26, 1945. — HSTL, PSF, CF, Trends (Public Opmion) 1945.

[110]Memorandum of Hopkms-Stalin conversation, May 30, 1945. — FRUS, 1945, V, p.305.

[111]Краткие справки о поляках, вызываемых в качестве лиц для консультаций о будущем Временном Польском правительстве. 2 апреля 1945 г. — АВП РФ, ф.06, оп.7, п. 39, д. 588, л. 27—28.

[112]АП РФ, ф.45, оп.1, д.770, л.1.

[113]Запись беседы с послом Польской Республики Модзелевским 7 июня 1945 (из дневника А.Н.Абрамова). АВП РФ, ф.07, оп.10, п. 21. д.304, л.57.

[114]S.Sharp and R.Burks to W.Langer, March 22, 1945. — NA, RG 226, Research and Analysis, Roll 103.

[115]E.Shirk to A.Harriman, August 15, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont.181.

[116]Лебедев — Молотову, 23 мая 1945. АВП РФ, ф.06, оп.7, п.39, д.581, л.11.

[117]Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс. Т.2, с.620-621.

[118]From Ambassador Harriman to the President, June 9, 1945. — HSTL, Map Room Messages of President Truman (Correspondence with Ambassador Harriman).

[119]Kathleen to Mary, June 4, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont. 179.

[120]Ibidem.

[121]Переписка... Т.2, с.255—256.

[122]For President from Harriman, June 7, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont. 179.

[123]Советско-американские отношения. 1939—1945, с.704—705, 706—707.

[124]Grew (Acting) to American Embassy, Moscow, May 9, 1945. — NA, RG 59, DF, 761.61/5 — 945.

[125]Memo for Admiral Leahy, n.d. — NA, RG 218, W.Leahy Records, Box 15.

[126]Hopkins to the President, 8 June 1945. — Ibid.

[127]Фалин Ф. Антигитлеровская коалиция: конфликт интересов. М.,2000, с.565—566.

[128]E.Pauley to the President, July 29, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont.181.

[129]Запись беседы с Паули и Любиным 12.6.45 (из дневника И.М.Майского). — АВП РФ, ф.06, оп.29, п. 166, д.4, л. 36—39.

[130]См., например, Conversation between A.Harriman and T.V.Soong, July 12, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont.179.

[131]Об этой стадии переговоров Сталина и Молотова с Сун Цзывэнем см.: Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. т.IV: Советско-китайские отношения 1937—1945. Кн.2: 1945 г. (Отв. ред С.Л.Тихвинский). М., 2000, док.№№ 655, 657, 660, 669, 671, 674, 678.

[132]Литвинов — Молотову, 3 июля 1945 г. — АВП РФ, ф.06, оп.7, д.175 (т.3), л.2.

[133]См. Очерки Истории Министерства Иностранных Дел России. 1917—2002 гг. М., 2002, с.331—332.

[134]Майский — Молотову, 4.2.45. АВП РФ, ф.06, оп.7а, п.59, д.38, л.80.

[135]Dimitrov G. Diaries. Sofia, 1997, p.464.

[136]Примечательно то глубокое удовлетворение, которое испытывал Сталин, заполучив от союзников ялтинские уступки по Дальнему Востоку (см.: Громыко А.А. Памятное. Кн. 1. М., 1988, с.189).

[137]Протокол заседания комиссии Литвинова от 28.4.44. — АВП РФ, ф.07, оп.2, п.8, д.4, л.51.

[138]Memorandum for the President from Donald Nelson, November 6, 1943. — FDRL, PSF, Diplomatic Correspondence, Russia, Box 49. Советскую запись этой

беседы см. в Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны. Т.1, с.380—384.

[139]The New York Times, May 28, 1945.

[140]Чуев Ф. Указ.соч., с.115, 102.

[141]Embassy (Paris) to SecState, May 22, 1945. — NA, RG 59, DF, 761.00/ 5 — 2245; L.Houck to W.Donovan, 29 December, 1944. — NA, RG 226, Donovan microfilm, Reel 87.

[142]The Economist, 19 May 1945, p. 650.

[143]Memorandum for General Handy, 4 July 1945; US Policy Concerning Dardanelles and Kiel Canal (JCS 1481/1). — NA, RG 165, Exec 17, Item 21A.

[144]Embick to McCloy, 8 June 1945. — Ibid., ABC 686 (6 Nov 43), Sec. 18.

[145]Memorandum for Gen. Hull, 16 June 1945. — Ibidem.

[146]Memorandum for General Lincoln, 16 July 1945. — NA, RG 165, ABC 093 Kiel Sec 1-A (6 July 45).

[147]US Policy Concernmg Dardaneiles and Kiel Canal (Report by Vice-Admiral R.Wilson), 16 July 1945 . –NA, RG 165, Exec.17, Item 21A; Comments on JCS 1481/1 (Memorandum for General Lincoln), 16 July 1945. — NA, RG 165, ABC 093 Kiel Sec 1-A (6 July 45); Report by Joint Staff Planners (22 July 45). — NA, RG 165, ABC 386 (Spitsbergen) (14 July 45); Stimson to Secretary of State (n.d.). — NA, RG 165, ABC 093 Kiel, Sec 1-A (6 July 1945).

[148]JCS 1443/1 (17July 1945), JCS 1443/2 (July 22, 1945). — NA, RG 165, ABC 386 Spitsbergen (14 July 45).

[149]JCS 1015 (US Post-War Military Base Requirements in Iceland), 23 August 1944. — NA, RG 165, ABC 686 (6 Nov 43), Sec.18.

[150]The Importance of the Spitsbergen Archipelago and Bear Island. G-2 Intelligence Brief, 16 July 1945. — NA, ABC 386, Spitsbergen (14 July 45); Soviet Intentions (6 July 1945). — NA, RG 165, ABC 092.

[151]U.S.Position with Regard to General Soviet Intentions for Expansion (6 July 1945). — NA, RG 165, Exec. File 5, Item 21a.

[152]Aldrich R. The Hidden Hand, p. 58; подробнее об «Операции «Немыслимое» см.: Ржешевский О.А. Секретные военные планы У.Черчилля против СССР в мае 1945 г./Новая и новейшая история, 1999, № 3; Дилкс Д. Черчилль и Операция «Немыслимое»//Новая и новейшая история, 2002, № 3, с. 137—138.

[153]American Aims and Interests m the Far East. 5 July 1945. — NA, RG 226, R & A Reports, Reel 103.

[154]J.Grew. Memorandum for the Secretary of State, July 13, 1945. — FRUS, The Conference of Berlin, II, p.870.

[155]Yalta Agreements affectmg China. July 18, 1945. — Op. cit., pp.1239-1240.

[156]Dismemberment of Germany (JSSC). — NA, RG 165, ABC 387 Germany (18 Dec 43), Sec 4-b.

[157]A.Harrıman to K.Halle, May 31, 1949. — LC, WAHP, Special Files, Truman Administration, Marshall Plan, General Correspondence, Cont.267.

[158]Diary-Journal July 16, 14, 1945. — LC, J.Davies Papers, CF, Cont. 18.

[159]Annual Report on the Soviet Union, 1945 (Mr. Roberts to Mr. Bevm, 1 October, 1946). — British Documents on Foreign Affairs, Pt IV, Ser. A, Vol. 2, p.83.

[160]Memorandum of the Meeting of President Truman with Generalissimus Stalin, July 17, 1945. — FRUS, The Conference of Berlin, II, p.1586—1587.

[161]Коллекция документов АП РФ; Dimitrov G. Diaries, p.492.

[162]Feis Notes on first plenary session, July 17, 1945. — LC,WAHP, H.Feis Papers, Cont.57.

[163]Mark E. "Today Has Been A Historical One": Harry S.Truman's Diary of the Potsdam Conference/ Diplomatic History, Summer 1980, p.322.

[164]Mr.Roberts to Mr.Bevm, 28 April 1946. — (Records of Leading Personalities m the Soviet Union) // British Documents on Foreign Affairs, Pt.IV, Ser.A, Vol.1, p.120.

[165]Diary July 28, 29, 1945. — LC, J.Davies Papers, CF, Cont.19.

[166]Churchill W. Triumph an Tragedy, p.639, 640.

[167]Mark E. "Today Has Been A Historical One", p.322.

[168]Leffler M. Adherence to Agreements, p.108.

[169]LC, WAHP, H.Feis Papers, Cont. 66 (A-bomb).

[170]Memorandum for historical files re Potsdam, April 15, 1968. — Ibidem.

[171]Мальков В.Л. Путь к имперству, с.538.

[172]Коллекция документов АП РФ.

[173]Крымская конференция..., с. 94.

[174]Mark E. "Today Has Been A Historical One", p.325.

[175]Diary, July 20, 22, 1945. — LC, J.Davies Papers, CF, Cont. 18.

[176]Коллекция документов АП РФ.

[1]Memorandum of Conversation with Generalissimus Stalin, August 8, 1945. — FRUS, 1945, VII, p.960—965.

[2]АП РФ, ф.45, оп. 1, д.378, л.7.

[3]Там же, л.8.

[4]From Harriman for the President and Secretary of State, August 8, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont. 179.

[5]См. Ледовский А.М. СССР и Сталин в судьбах Китая. Документы и свидетельства участника событий. 1937—1952. М., 1999, с.42.

[6]Harriman to the President and the Secretary of State, August 10, 1945. — FRUS, 1945, VII, p.967.

[7]Memorandum for Admiral King and General Marshall, August 11, 1945. — NA, RG 218, W.Leahy Records, Box 9.

[8]Morrison S. Victory m the Pacific, 1945. B-n, 1961, pp.354 -355; Soviet Occupation of Dairen, August 1945—October 1947. Office of Intelligence and Research, April 11, 1947. — OSS/State Department. Intelligence and Research Reports. The Soviet Umon, Reel 7.

[9]Подробнее о завершающей стадии этих переговоров см.:Мировицкая Р.А. Китайская государственность и советская политика в Китае в годы тихоокеанской войны 1941—1945 гг. М., 1999, с.227—234.

[10]План сообщения о советско-китайских переговорах. — АВП РФ, ф.06, оп.7, п.7, д.79, л.11—12.

[11]The New York Times, August 9, 1945; Progressive Magazme, August 9, 1945.

[12]LC, WAHP, R.Mieklejohn Diary of World War II, vol.2, Cont. 211.

[13](Gen. Bissell). Memorandum for the Chief of Staff, 12 August 1945. — NA, RG 218, W.Leahy Records, Box 9.

[14]Blum J. (ed.). The Price of Vision: The Diary of Henry A.Wallace, 1942—1946. B-n, 1973, p.474.

[15]Прием посла Великобритании Керра и посла США Гарримана 11 августа 1945 г. — АВП РФ, ф.06, оп. 43, д. 678, лл. 41—42. (См. также: Советско-американские отношения. 1939—1945, с.735). Советский отчет об этой беседе полностью подтверждает версию, выдвинутую ранее В.П. Сафроновым на основе ее записи Гарриманом (см.: Сафронов В.П. СССР-США-Япония в контексте холодной войны (1945—1980) // Советская внешняя политика в годы холодной войны: новое прочтение. (Отв. ред. Л.Н. Нежинский). М., 1995, с.157).

[16]A.Harriman to Secretary of State, August 11, 1945. — FRUS, 1945, VI, Wash., 1969, p. 630.

[17]Подцероб — Кеннану, 11 августа 1945. — АВП РФ, ф. 06, оп. 7, п. 47, д. 743, л. 17-18.

[18]Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны. Т.2, с. 482—483.

[19]Deane J. The Strange Alliance, p. 277.

[20]Правда, 18 августа 1945. Черновик Молотова см. в : АВП РФ, ф. 06, оп. 7, п. 47, д. 743, л. 53—55.

[21]Special Envoy, p. 502.

[22]Advantages Accruing to USSR in Far East from Yalta Agreement. — The Soviet Union. Intelligence Division, WDGS, War Department. — HSTL, PSF, SF, Russia, 1945 — 1948 (Far East, Yalta).

[23]См.: Russia in the Kuriles — The New York Times, September 9, 1945; Advantages Accruing to USSR in Far East from Yalta Agreement.

[24]Air Base Rights in Kurile Islands (Memorandum for the Assistant Secretary of War), 24 August 1945. — NA, RG 165, ABC 336 Russia (22 Aug 43), Sec.3.

[25]Memorandum for the President, 16 July, 1945. — FRUS, The Conference of Berlin, II, p.1323.

[26]US Position with Regard to General Soviet Intentions for Expansion. — NA, RG 165, OPD Exec File 5, Item 21a.

[27]For JCS information. 9August, 1945. — NA, RG 165, ABC 381 United Nations (23 Jan 42), Sec.3-D.

[28]Зимонин В.П. Десант на Хоккайдо // Вторая мировая война: Актуальные проблемы, с. 289.

[29]Переписка... Т.2, с. 288—289.

[30]Air Base Rights in Kurile Islands. Memorandum for the Assistant Secretary of War, 24 August 1945; Telephone Conversation, General Hull and Admiral Cooke, 23 August, 1945. — NA, RG 165, ABC 336 Russia (22 Aug 43) Sec 3.

[31]Suggested Message from President Truman to Generalissimus Stalin, August 25, 1945. — NA, RG 218, W.Leahy Records, Box 20.

[32]To the President from Harriman, 28 August, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont.182.

[33]АП РФ, ф. 45, оп. 1, д. 378, л. 17—18.

[34]АВП РФ, оп. 0129, оп. 30, п. 1, д. 178, л. 21.

[35]Цит. по: Hays O, Jr. Home from Siberia. The Secret Odysseys of Interned American Airmen in World War II. College Station, Texas, 1990, p.208.

[36]Gen. York to H.Hopkins, 11 July, 1945. — FDRL, H.Hopkins Papers, Book 11 (Potsdam correspondence).

[37]Herring G., Jr. Aid to Russia, p. 232—233.

[38]The New York Times, August 23, 1945.

[39]См.: Mark E. OSS in Rumania, 1944—1945: An Intelligence Operation of the Early Cold War/ Intelligence and National Security, April 1994.

[40]См.Печатнов В.О. Стрельба холостыми: советская пропаганда на Запад в начале холодной войны (1945—1947)/Сталин и холодная война, с.173—174; Dimitrov G. Diaries, p.494—495.

[41]См., например, потсдамский дневник Трумэна (Mark E. "Today Has Been A Historical One", p.324—325).

[42]FRUS, 1945, V, p. 922—924.

[43]Mr.Roberts to Mr. Bevin, 14 March, 1946. — British Documents on Foreign Affairs. Pt. IV, Series A, Vol. 1, p.91.

[44]Memorandum Requested by the President, September 25, 1945. — HSTL, PSF, SF, Atomic Bomb — Cabinet.

[45]FRUS, 1945, V, p. 924.

[46]Громыко А.А. Памятное. Кн. 1, с. 277.

[47]См.: Приказ по Наркомату Иностранных Дел СССР от 10 августа 1945 г., План подготовки материалов к Совещанию Совета Министров, Инструкции и директивы ЦК ВКП(б) от 6 сентября 1945 г. — АВП РФ, ф.0431, оп.1, п.1, д., л.1—4, 6, 8—16, 26—29; д.2, л.20—27, 39—48.

[48]Цит. по: Ward P. The Threat of Peace. James F. Byrnes and the Council of Foreign Ministers, 1945—1946. The Kent State University Press, 1979, p.22.

[49]«Союзники нажимают на тебя для того, чтобы сломить у тебя волю...» Переписка Сталина с Молотовым и другими члерами Политбюро по внешнеполитическим вопросам в сентябре-декабре 1945 г.(далее — Переписка Сталина с Молотовым...)/Источник, 1999, № 2, с.72.

[50]Bullock A. Ernst Bevin. Foreign Secretary. N.Y., 1985, p. 132.

[51]Переписка Сталина с Молотовым..., с.76.

[52]Переписка Сталина с Молотовым..., с.74—75.

[53]Там же, с.76.

[54]Цит. по: Beyond the Cold War: New Dimensions in International Relations. Ed. by G.Lundestad and O.Westad. Oslo, 1993, p. 32.

[55]См.:Byrnes J. Speaking Frankly. N.Y., 1947, p.105.

[56]Military Position of the United States m the light of Russian Policy (Report by the JSSC, 9 October, 1945).— NA, RG 165, ABC 384 United Nations (14 Jul 44), Sec 1-C; Gen.F.Anderson to A.Harrıman, October 12, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont. 182.

[57]Meetings of JSSC, JWPC, JPS, JPWC. 3 August, 1945. — NA, RG 165, ABC 381 United Nations (23 Jan 42), Sec 3-D.

[58]Подробнее об этой эволюции военно-стратегического мышления США см.: Leffler M. A Preponderance of Power. National Security, Truman Administratıon, and the Cold War. Stanford, 1992, p.111—114.

[59]Memorandum for General Hull, 8 October 1945. — NA, RG 165, ABC 040 (2 Nov 43), Sec. 5-A.

[60]Strategic Concept and Plan for the Employment of the United States Armed Forces. 27 August 1945. — NA, RG 165, ABC 092 (18 July 1945), Sec 1-A.

[61]JCS 1518/3 (13 October 1945); Memorandum for the Chief of Staff by R.Lovett, 12 October 1945. — Ibid.

[61]Bombing Targets m Russia, (JCS 80/5)22 October 1945. — NA, RG 165, ABC 384 UN (17 July 44), Sec.1-A.

[63]Memorandum for Gen. Lincoln, 18 December 1945. — NA, RG 165, ABC 381 United Nations (23 Jan 42), Sec 3-D.

[64]Military Position of the United States ın the Light of Russian Policy. 8 January 1946. — Ibid., Sec 1-C.

[65]United States Military Policy (JCS 1496/3) 20 September 1945. — NA, RG 165, ABC 092 (18 July 45), Sec.I-A.

[66]См.: Stoler M. Allies and Adversaries, p. 262—263.

[67]Memorandum for the Assistant Chief of Staff, G — 1, 19 April, 1945. — NA, RG 59, DF, 740.0011 EW/ 3 — 945.

[68]См., например, сообщения о грабежах и насилиях американских военных в Бельгии и Германии (Ch.Sawer to SecState, March 8, 1945. — NA, RG 59, DF, 740.0011. EW/ 3 — 845; US Embassy (Paris) to M. Freeman, September 6, 1944. — NA, RG 59, Records of M.Freeman, Alphabetical Correspondence, 1942 — 1947).

[69]Директивы для американской пропаганды военных лет, как правило, предписывали «рассеивать распространяемые немцами страхи перед «красным террором» угрожающим охватить Европу в случае поражения нацизма» (Political Orientatıon and Morale of the USSR, Febr. 23, 1943. OSS R&A Report № 523. — NA, RG 226, M 1221).

[70]Diary, July 29, 1945. — LC, J.Davies Papers, CF, Cont.19.

[71]О кампании союзников по дискредитации Красной Армии (Лозовский — Молотову и Маленкову, 5 октября 1945 г.) — РГАСПИ, ф.17, оп.125, д. 136, л.82.

[72]FRUS, 1945, VI, Wash., 1969, p. 678.

[73]См.: E. Hoover to H. Vaughan, November 15, 1945. — HSTL, President's Office File, Subject File, FBI.

[74]Embassy London repeated to Moscow, September 5, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont.182.

[75]T.Whitney to Ambassador, September 11, 1945. — Ibidem.

[76]Memorandum requested by the President, September 25, 1945. — HSTL, President's Secretary File, Subject File, Atomic Bomb — Cabinet.

[77]Political Problems in Relation to the Soviet Union, October 15, 1945. — NA, RG 59, Records of Ch. Bohlen, Box 5.

[78]Memorandum for the President, Seprember 29, 1945. — HSTL, POF, Correspondence File, Davies Joseph E. (1945—1951).

[79]Truman to Davies, October 6, 1945. — Idid.

[80]C. Huston. Suggested Extension of American Policy in Eastern Europe, October 24, 1945. — NA, RG 59, DF 711.61/10 — 2445. Подробнее см.: Messer R. Paths Not Taken: The US Department of State and Alternatives to Containment, 1945—1946/Diplomatic History, Fall 1977, p.301—303.

[81]Ch.Bohlen. Memorandum for Mr. Secretary, October 12, 1945. — NA, RG 59, Ch.Bohlen Records, General Correspondence, Box 3.

[82]Memorandum for the Secretary, October 18, 1945. — Op.cit., Box 4.

[83]Подробнее см.:Mark E. Charles E. Bohlen and the Acceptable Limits of Soviet Hegemony in Eastern Europe: A Memorandum of 18 October 1945/Diplomatic History, Spring 1979.

[84]Department of State Buiietin, November 4, 1945, p.711.

[85]FRUS, 1946, I, p.1126—1127.

[86]См.: Messer R. Op.cit., pp.304-319; Мальков В.Л. «Манхэттенский проект»: разведка и дипломатия. М., 1995, с. 166—168.

[87]The Capabilities and Intentions of the Soviet Union as Affected by American Policy. — NA, RG 59, DF 711.61/12 — 1045, p.1, 2, 14—17, 18.

[88]Последние соображения авторов в его развитие циркулировали в госдепартаменте до начала февраля 1946 г. (M. Hamilton to Mr. Mathews, February 14, 1946. — NA, RG 59, DF, 711.61/2 — 1446).

[89]The Economist, December 8, 1945 , enclosed in: Embassy (London) to the Secretary of State, December 11, 1945. — NA, RG 59, DF, 711.61/ 2 — 1145.

[90]См.:Переписка Сталина с Молотовым..., с.79-84; A. Harriman to SecState, November 15, 1945 (Discontent in the Soviet Union). — FRUS, 1945, V, pp. 916 — 917 (и неопубликованное приложение к этой депеше — NA, RG 59, DF, 861. 00 /11 — 1545). Большой фактический материал о беспорядках в армии и преступности в стране содержится в «Особых папках» Сталина и Молотова (ГАРФ, ф.9401, оп.2).

[91]Стенограмма совещания у т.Лозовского от 22 мая 1945 г. — ГАРФ, ф.8581, д.149, л.31.

[92]G.Kennan to SecState, September 15, 1945. — NA, RG 59, DF, 761.61/9 — 1545.

[93]Гарриман — Молотову, 2 августа 1945. — АВП РФ, ф. 06, оп. 7, п. 43, д. 669, л. 56.

[94]Переписка Сталина с Молотовым..., с. 71.

[95]АВП РФ, ф. 06, оп. 7, п. 43, л. 59. Подробнее о несостоявшейся поездке Жукова см.: Мальков В.Л. Почему маршал Жуков не поехал в Америку? // Американский Ежегодник 1993. М., 1994, с.166—169.

[96]Ambassador's Staff Conference, October 10, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont.183.

[97]Сталин — Молотову, Берия, Микояну, Маленкову, 10 ноября 1945. — АП РФ, ф.45, оп.1, д.770, л.5.

[98]Подробнее см.: Chubariyan A.and Pechatnov V. Molotov "the Liberal": Stalin's 1945 Criticism of his Deputy/Cold War History, August 2000, p. 129—140. Позднее эта переписка была частично опубликована в : Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 1945—1953/Составители О.В.Хлевнюк и др. М., 2002, документы №№171—177.

[99]РГАСПИ, ф.558, оп.11, д.98, л.81; АП РФ, ф.45, оп.1, д.98, л.144.

[100]К вопросу о Балтийских проливах и Кильском канале (18 декабря 1945). — АВП РФ, ф. 06, оп. 7, п. 17, д. 175 (т.3), л. 164.

[101]Soviet Occupation of Bornholm. 22 May 1945. — NA, RG 165, ABC 386.2 Bornholm (22 May 45).

[102]См.: Mastny V. Stalin as Cold War-Lord. — Paper for the conference «Stalin and the Cold War», Yale University, 23—26 September, 1999, p.6.

[103]Memorandum for the President, October 29, 1945. — HSTL, PSF, SF, Russia 1945—1948.

[104]АП РФ, ф.45, оп.1, д.98, л.50.

[105]АП РФ, ф. 45, оп. 1, д. 97, л. 66.

[106]Молотов — Сталину, 16 октября 1945 г. — АВП РФ, ф. 06, оп. 7, п. 44, д. 681, л. 5.

[107]АП РФ, ф. 45, оп. 1, д. 97, л. 71. Полный текст записей этих бесед см. в: Советско-американские отношения. 1945—1948. Под ред. Г.Н.Севостьянова. М., 2004, с.68—85. Подробнее об этой поездке Гарримана см.: Печатнов В.О. Московское посольство Аверелла Гарримана/Новая и новейшая история, 2002, № 4, с.139—142.

[108]АП РФ, ф.45, оп.1, д.97, л.72—74.

[109]Запись беседы И.В.Сталина с послом США Гарриманом 24 октября 1945 г.. — АВП РФ, ф. 07, оп. 10-в, п. 46, д. 1, л. 14.

[110]Там же, л. 23.

[111]Special Envoy, p. 517.

[112]Запись беседы И.В.Сталина... — АВП РФ, ф. 07, оп. 10-в, п. 46. д. 1, л. 18.

[113]АП РФ. Ф. 45, оп. 1, д. 378, л. 48.

[114]FRUS, 1945, VI, p. 796.

[115]Там же, p. 805, 809.

[116]Запись беседы И.В.Сталина..., — АВП РФ, ф. 07, оп. 10-в, п. 46, д. 1, л. 5.

[117]АП РФ, ф. 45, оп. 1, д. 770, лл. 92—93.

[118]АП РФ, ф. 45, оп. 1, д. 770, л. 108.

[119]FRUS, 1945, VI, p. 831—832.

[120]Op. cit., p. 834—836.

[121]АП РФ, ф. 45, оп. 1, д. 770. л. 141.

[122]G.Kennan to A.Harriman, December 11, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont. 184.

[123]FRUS, 1945, V, pp. 921-922.

[124]Разговор с Гарриманом 12 декабря 1945 г. (из дневника Майского). — АВП РФ, ф.06, оп.7, п.5, д.51, л.69—70.

[125]Там же; АП РФ, ф.3, оп.63, д.234, л.45.

[126]Подробнее см.: Переписка Сталина с Молотовым..., с.84—85.

[127]FRUS, 1946, II, Wash., 1970, p. 559; G.Kennan to Berlin and Vienna, October 6, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont. 183.

[128]АП РФ, ф.3, оп.63, д.233, л. 224—229.

[129]Восточная Европа в документах российских архивов 1944—1953. М., 1997. Т. 1, с.359.

[130]АП РФ, ф.3, оп.63, д.233, л.229.

[131]Переписка... Т.2, с.300—301.

[132]М.М.Литвинов, в частности, теперь предлагал Соединенные Штаты, а не Великобританию, в качестве главного партнера по «полюбовной сделке» о разделе сфер влияния. «Стратегические аппетиты США, охватывающие весь Атлантический и почти весь Тихий океаны, Западную Африку и страны Ближнего Востока, позволяют обратиться в подходящий момент именно к американскому правительству с предложением о «раскрытии карт». (США и политика вмешательства. Литвинов — Молотову, 7 декабря 1945. — АВП РФ, ф.06, оп.7, п. 17, д. 175, л.160); Memorandum of conversation between Molotov, Vyshinsky, Bevin and Kerr, December 18, 1945. — LC, WAHP, CF, Cont.185.

[133]Certain Factors Underlying Our Relations with the Soviet Union. December 20, 1945. — Ibid.

[134]FRUS, 1945, II, p.775—776.

[135]Memorandum of Conversation between Bevin, Byrnes and Cadogan, December 17. 1945. — LC, WAHP, CF, Cont. 185.

[136]АП РФ. ф. 45, оп. 1, д. 374, л. 122.

[137]Memorandum of Conversation, January 5, 1946. — LC, WAHP, CF, Cont. 18

[138]Три визита А.Я.Вышинского в Бухарест (1944—1946). Документы российских архивов. М., 1998, с.191.

[139]Notes on Talk by Ambassador to Officers and Attaches of Embassy Moscow, January 22, 1946. — LC, WAHP, CF, Cont. 186.

[140]Прием посла США Гарримана 20 января 1946 г. — АВП РФ, ф. 07, оп. 31, п. 031, д. 3. Л. 190.

[141]Прием американского посла Гарримана 22 января 1946 г. (из дневника Литвинова). Там же, л. 11—12.

[142]Economic Reconstruction in Europe. Special Committee on Post-War Economic Policy and Planning, US, Congress, House, 79th Cong., 1st sess. (1945), p.10—11, 31—33.

[143]Memorandum for Chief, Strategy and Policy Group, OPD, 15 October, 1945; Memorandum for the Assistant Secretary of War, November 15, 1945. — NA, RG 165, ABC 384 UN (14 July 44), Sec.1-C.

[144]Запись беседы И.В.Сталина с послом США Гарриманом 25 января 1946 г. — АП РФ, ф. 45, оп. 1, д. 378, л. 88—97.

[145]Там же, л. 99—104.

[146]Special Envoy, p. 535—536.

[147]Об антисоветской ориентации Гарримана (Геминдер — Панюшкину, 18.9.1945). — РГАСПИ, Ф. 17, оп. 128, д. 755, л. 24—25; О высказываниях посла Гарримана (докладная записка Отдела ЦК о пребывании в СССР делегации КПП, 23.10.1045). Там же, д. 736, л. 194, 211.

[148]Трояновский О.А. Через годы и расстояния. История одной семьи. М., 1997, с. 161.

[149]Memorandum for Ambassador Harriman, 11 March 1946. — NA, RG 59, 123 Harriman W. Averell, 1946—1947.

[150]FRUS, 1958-1960, X, Pt.1, Wash., 1993, pp. 274, 277.

[151]Запись беседы автора с А.Ф.Добрыниным от 24 июля 1997 г.

[152]Михайлов — Вышинскому, 27 февраля 1946 г. — АВП РФ, ф. 06, оп. 8, п. 47, д. 782, л. 2.

РАСКОЛ СТАНОВИТСЯ ФАКТОМ

[1740]H. Truman to J. Byrnes, January 5, 1946. — HSTL, PSF, SF, Longhand Personal Memos, 1946; W.Leahy Diary, 26-28 December, 1945. — LC, W.Leahy Papers. Тонкий анализ этого эпизода см. в: Messer R. The End of an Alliance, p. 161—165.

[2](E.Durbrow). Comment on Stalin's "Election" Speech, February 11, 1946. — NA, RG 59, DF, 761.00/ 2-1146.

[3]См.:DeSantis H. The Diplomacy of Silence. The American Foreign Service, The Soviet Union, and the Cold War, 1933—1947. Chicago-L-n, 1980, p.172—173; Quarterly Policy and Information Statement on the USSR (20 February 1946). — OSS/State Department Intelligence and Research Reports. The Soviet Union, Reel 6.

[4]Kennan to Byrnes, February 22, 1946. — FRUS, 1946, VI, Wash., 1969, p. 696—709.

[5]R.Murphy to H.Matthews, April 3, 1946. — NA, RG 59, DF, 861.00/4-346.

[6]Цит. по: DeSantis H. Op.cit., p.178.

[7]W.Leahy Diary, February 21, 1946. — LC, W.Leahy Papers, Reel 4.

[8]Переговоры о предоставлении Соединенными Штатами кредита Советскому Союзу (справка). 21 июня 1947 г. — АВП РФ, ф.0129, оп.31, п.195, д.49, л.42.

[9]Цит. по:British Intelligence Strategy and the Cold War, 1945-1951. Ed. By R.Aldrich. N.Y. — L-n, 1992, p.179—180.

[10]Gilbert M. Never Despair: Winston Churchill 1945-1965. L-n, 1988, p.195—196.

[11]Clifford C. Counsel to the President. A Memoir. N.Y., 1991, p.101.

[12]Gilbert M. Never Despair, p.197.

[13]Harbutt F. The Iron Curtain. Churchill, America and the Origins of the Cold War. N.Y.— Oxford, 1986, p.162.

[14]Ibidem.

[15]Bernstein B. Containment // Encyclopedia of American Foreign Policy. Ed.by A.DeConde, vol.I, N.Y., 1978, p.193.

[16]Clifford C. Counsel to the President, p.102.

[17]Gilbert M. Op.cit., p.205.

[18]Правда, 11 марта 1946.

[19]АП РФ, ф.45, оп.1, д.382, л. 45. Телеграмма Смита с изложением этой беседы попала в руки обозревателя Д.Пирсона и была им использована в радиопередаче еще до прочтения ее Трумэном, что повлекло за собой специальное расследование ФБР по распоряжению президента (Hoover J. to C.Clifford, April 19, 1946. — HSTL, POF, SF, FBI).

[20]The New York Times, March 14, 1946.

[21]Harbutt F. Op.cit., p.204.

[22]АВП РФ, ф.06, оп.8, д.31, л.13; Ф.Чуев. Молотов. Полудержавный властелин, с.149-150.

[23]L.Henderson to the Secretary ("Basic Aims of Soviet Policy"), January 3, 1946. — NA, RG 59, DF, 761.00/1-346.

[24]W.Leahy to J.Byrnes, 13 March 1946. — NA, RG 218, W.Leahy Records, Box 18.

[25]Documentary History of the Truman Presidency. Vol.14, Wash., 1996, Doc.1, p.1—2.

[26]Political Estimate of Soviet Policy for Use in Connection with Military Studies, March 22, 1946. — WAHP, CF, Cont. 186; Memorandum for the Chief of Staff, 12 March, 1946. — NA, RG 165, ABC 336 Russia (22 Aug 43), Sec.1-C.

[27]JCS Report on "Foreign Policy of the United States" (JCS 1592/2). 10 February 1946. — Ibid., ABC 092 (18 July 1945), Sec.I-B.

[28]Memorandum for Gen. Lincoln, 9 April, 1946; JCS 1630/1. Strategic Guidance to Facilitate Planning within

the Jomt Agencies, 26 April, 1946. — NA, RG 165, ABC 092 (18 July 1945), Sec.1-B.

[29]АП РФ, ф.45, оп.1, д.386, л.37, 41.

[30]Memorandum of Conversation with Trygve Lie, August 1, 1946. — LC, WAHP, CF, Cont.186.

[31]Подробнее об эволюции советской позиции по этому вопросу см.: Мазов С.В. СССР и судьба бывших итальянских колоний (1945—1950) // Россия и Италия. Вып.3.XX век. М., 1998, с.211—240.

[32]Цит. по: Наринский М.М. Европа: проблемы границ и сфер влияния (1939—1947)/Свободная мысль, 1998, № 3, с.92.

[33]Memorandum for the Record, General Lincoln, 16 April 1946. — NA, RG 165, ABC 334.8 Iran (30 Oct 43); Memorandum for General Hull, 19 April 1946. — Ibid.; US Security Interests in Disposition of Tripolitania (m: Memorandum for the Chief of Staff. Subject: Conference with Mr. Byrnes this Afternoon, 17 April 1946. — NA, RG 165, ABC 686 (6 Nov 43), Sec 18).

[34]«На этом вопросе мы сломаем их антисоветское упорство...» (из переписки Сталина с Молотовым по внешнеполитическим делам в 1946 году)/Источник, 1999, № 3, с. 93.

[35]Там же, с. 96; СССР и германский вопрос. Т.2, М., 2000, сс. 576, 578.

[36]LC, J.Davies Papers, Diary, September 30, 1946.

[37]US Security Interests in Disposition of Tripolitania...

[38]«На этом вопросе мы сломаем их антисоветское упорство...», с. 95.

[39]Там же, с. 97.

[40]Central Intelligence Group Directive N 9, 9 May 1946. — NA, RG 218, W.Leahy Records, Box 21; Gen Lincoln. Memorandum for Gen. Hull (Intelligence on Russia), 22 March, 1946. — NA, RG 165, ABC 336 Russia (22 Aug 43), Sec 1-C.

[41]B.Smith to SecState, May 31, 1946. — NA, RG 59, DF 761.00/ 5-3146.

[42]См.: Безбородов А.Б. Власть и ВПК в СССР середины 40-х — середины 70-х годов // Советское общество: будни холодной войны (под ред. В.С.Лельчука и Г.Ш.Сагателяна). М. — Арзамас, 2000, с.103.

[43]Paterson T. Soviet-American Confrontation, p. 55—56.

[44]См.: Батюк В., Евстафьев Д. Первые заморозки: Советско-американские отношения в 1945—1950 гг., с.101-103.

[45]Коллекция документов АП РФ.

[46]См.: Советско-американские отношения. 1945—1948, с.431.

[47]О внешней политике США. — АВП РФ, ф. 06, оп.8, п. 45, д. 759, л. 21—39; подробный анализ этого документа см. в Origms of the Cold War: The Novikov, Kennan and Roberts "Long Telegrams" of 1946. Ed.by K.Jensen. Wash., 1991.

[48]Подробнее см. главу «Пропагандистская война».

[49]РГАСПИ, ф. 629, оп. 1, д. 113, л. 52.

[50]АП РФ, ф. 3, оп. 63, д. 257, л.108.

[51]«На этом мы сломаем их антисоветское упорство...», с.98.

[52]Bevin to Byrnes (Personal and Private Top Secret), 23 August 1946. — NA, RG 59, DF 761.00/8 — 2346.

[53]Scott to Leffas, June 21, 1946. — NA, RG 59, DF, 861.00/ 6 — 2446.

[54]FRUS, 1946, VI, pp. 763 — 765; Memorandum for the Secretary of State, 24 June 1946. — NA, RG 59, DF 761.61/6 — 2146.

[55]Washington Post, January 22, 1952; J.Hickerson to Mr. Acheson, June 24, 1946. — NA, RG 59, DF, 711.61/ 6 — 2446.

[56]Washington Post, January 25, 1952.

[57]Ф.Чуев. Молотов — полудержавный властелин, с. 131.

[58]РГАСПИ, ф.82.

[59]Durbrow to SecState, August 25, 1946. — NA, RG 59, DF, 861.00/ 8 — 2546.

[60]Documentary History of the Truman Admimstration, vol.14, doc.1, p.1.

[61]Col.R.Tate to Gen.Lincoln, March 22, 1946. — NA, RG 165, ABC 686 (6 Nov 43), Sec.1B.

[62]September 19, 1946. — HSTL, PSF, SF, (Longhand Memoes — 1946).

[63]Правда, 25 сентября 1946 г.

[64]АВП РФ, ф. 0132, оп.29а, п. 286, д.1, лл. 16-17.

[65]Mark E. The War Scare of 1946 and Its Consequences/Diplomatic History, Summer 1997, pp. 405-406.

[66]Ф. Чуев. Молотов — полудержавный властелин, с. 149.

[67]Там же, с. 115.

[68]СССР и германский вопрос. Т.2, с.696-698.

[69]Containment: Documents on American Policy and Strategy 1945 — 1950. Ed. By T.Etzold and J.Gaddis. N.Y., 1978, pp.64 — 71.

[70]«На этом вопросе мы сломаем их антисоветское упорство...», с.102.

[71]Там же.

[72]Гибианский Л.Я. Формирование советской блоковой политики // Холодная война. 1945—1963 гг. Историческая ретроспектива. Сб.ст.Отв.ред. Н.И.Егорова Н.И., Чубарьян А.О. М., 2003, с.146.

[73]Восточная Европа в документах российских архивов. Т.1, с.457-459.

[74]JIC 250/8, 8 February 1946. — NA, RG 165, ABC 384 UN (17 July 44), Sec.1-A.

[75]Советско-американские отношения. 1945—1948, с.414—416.

[76]Там же, с.412.

[77]РГАСПИ, ф. 629, оп.1, д.95, ч.1, л.180.

[78]АВП РФ, ф.06, оп.9, п.19, д.234а, л. 6—7.

[79]АП РФ, ф. 3, оп. 63, д. 270, л. 43—44.

[80]Подробнее о советской реакции на план Маршалла см.: Наринский М.М. СССР и план Маршалла. По материалам Архива Президента РФ/Новая и новейшая история, 1993, № 2, с.11—19.

[81]Чуев Ф. Указ. соч., с. 118-119.

[82]Советско-американские отношения. 1945—1948, с.457.

[83]РГАСПИ, ф.17, оп.3, д. 1066, л.57.

[84]АВП РФ, ф.0129, оп.31а, п.241, д.41, л.3—5, 30.

[85]Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участника. М., 2001, с. 60—61.

[86]Гибианский Л.Я. Указ. соч., с.163—164; Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф., Покивайлова Т.А. Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советского типа, 1949—1953. Очерки истории. М., 2002, с.

[87]Top Secret Summary for the Secretary, July 28, 1947.

[88]Gaddis J. Surprise, Security, and the American Experience, p.60.

[89]Mark E. Revolution By Degrees: Stalin's National Front Strategy for Europe, 1941—1947, Working Paper No 31, Cold War International History Project (Washington, February 2001), p.43—44.

[90]РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.371, л.161; там же, ф.77, оп.1, д.975, л.124, 128.

[91]Gaddis J. The Long Peace: Inquiries into the History of the Cold War. N.Y., 1987, pp.

[92]G.Kennan to Mr. Lovett, October 6, 1947. — NA, RG 59, DF, 861.00/ 10—647.

[93]Russian Policy m Relation to US Foreign Economic Policy (Transcript of Proceedings), June 15, 1948. — NA, RG 59, Records of Charles Bohlen, Box 6 (Conferences, Reports).

[94]Meeting at the War Department, August 30, 1947. — NA, RG 59, Records of Ch. Bohlen, Box 5.

[95]E. Durbrow to A.Harriman, August 23, 1947. — LC, WAHP, Special Files, Truman Admimstration, Secretary of Commerce Files, Cont. 258.

ЧАСТЬ IV

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА В РАЗГАРЕ

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ВОЙНА

[1]РГАСПИ, ф. 77, оп. 1, д. 975, л. 80.

[2]Из февральской (1946 г.) речи В.М.Молотова и служебного доклада Б.Н.Пономарева в ноябре 1945 г. (Правда, 1946, 7 февраля. РГАСПИ, ф. 17, оп. 128, д. 749, л. 169).

[3]Там же, д. 870, л. 97—98.

[4]Из речи В.М. Молотова на предвыборном собрании в Москве в феврале 1946 г. (Правда, 7 февраля 1946 г.).

[5]Кеменов — Молотову, Маленкову, 25 июня 1945. — РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.371, л.127.

[6]Отчет Совинформбюро за 1945 г. РГАСПИ, ф. 17, оп. 128, д. 870. л. 77; выступление С.А.Лозовского на совещании в Совинформбюро 22 мая 1945 г. — ГАРФ, ф. 8581, д. 149, л. 29.

[7]Стенограмма совещания в Отделе 4, 5, 7 и 8 апреля 1947 г. о работе ВОКС. — РГАСПИ, ф.17, оп.128, д.1060—1061, л.103—104.

[8]Г.Беспалов — А.Панюшкину, 25 октября 1946 г.— там же, д. 1006, л. 138.

[9]Там же, л. 189—190.

[10]Как писал осенью 1945 года из Нюренберга своему шефу — редактору «Правды» П.Поспелову популярный писатель К.Симонов, «страшно плохо одеты советские солдаты и шоферы. Худшего вида компрометации нашей Красной Армии трудно придумать. Они грязны, оборваны, одеты все по разному. На фоне англичан и американцев выглядят оборванцами». (К.Симонов —

П.Поспелову, 15 ноября 1945 г. — РГАСПИ, ф. 629, оп. 1, д. 113, л. 12).

[11]Там же, ф. 17, оп. 128, д. 1006, л. 195.

[12]Там же, оп. 125, д. 136, л. 82.

[13]Там же, оп. 128, д. 870, л. 1.

[14]Там же, д. 54, лл. 1—10, 35—38, 45—51.

[15]АВП РФ, ф.06, оп.7, п.35, д. 581, л. 56, 89—90, 100—102.

[16]РГАСПИ, ф. 17, оп. 125, д. 316, л. 123—132.

[17]Там же, л. 131.

[18]РГАСПИ, ф. 17, оп. 128, д. 870, л. 77.

[19]Там же, оп. 125, д. 383, л. 65—85.Часть IV.

[20]См., например: Coercion or Persuasion. Propaganda in Britain after 1945. L-n, 1989: Henderson J. The United States Information Agency. N.Y., 1969, p. 36—39.

[21]ГАРФ, ф. 8581, д. 149. л. 30—31.

[22]РГАСПИ, ф. 629, оп. 1, д. 93, л. 324.

[23]Правда, 28 декабря 1945.

[24]См., например, выступления Молотова и Жданова (ноябрь 1945 — февраль 1946 гг./Правда, 7 ноября 1945, РГАСПИ, ф. 77, оп. 1. д. 975, л. 241.

[25]См.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 125, д. 449. л. 201—206; д. 376, л.16—17;

[26]См.: АВП РФ, ф.07, оп.7, д.88, л.32; Тов. Панюшкину А.С. (от Б.Вронского), 27.3.1945. — РГАСПИ, ф 17, оп. 128, д. 754, л. 114.

[27]Подробнее об этих дискуссиях см. Hough J. Debates about the Postwar World // The Impact of World War II on the Soviet Union. Ed. by S.Linz. Totona (New Jersey), 1985. Дискуссию У.Липпмана и А.Григорьева о послевоенной системе безопасности см. в «Правде» (16 марта и 20 апреля 1945 г.).

[28]РГАСПИ, ф. 17, оп. 116, д. 234, л. 10.

[29]РГАСПИ, ф. 17, оп. 128. д. 371, л. 149; запись беседы с А.В. Карагановым от 22 декабря 1996 г.

[30]См. подробнее: Фултонская речь Черчилля /Источник 1998, № 1.

[31]Запись бесед с А.В.Карагановым от 22 декабря 1996 г. и Б.Р.Изаковым от 20 мая 1985 г.

[32]РГАСПИ, ф. 77, оп. 1, д. 976, лл. 1, 35, 43.

[33]ГАРФ, ф. 8581, оп. 1, д. 146, л. 88—89.

[34]РГАСПИ, ф. 77. оп. 1, д. 976, л. 42.

[35]Там же, оп. 125, д. 383, лл. 55, 56, 59, 64.

[36]Там же, оп. 128, д. 1006, лл. 201, 204—205.

[37]Там же, ф. 621, оп. 1, д. 254, л. 22.

[38]Там же, ф.17, оп. 125, д. 383, лл. 119—121, 263.

[39]Костырченко Г. В плену у Красного фараона. Политические преследования евреев в последнее сталинское десятилетие. Документальное исследование. М., 1994, с. 60—61.

[40]РГАСПИ, ф. 17, оп. 125, д. 385, лл. 19, 20.

[41]Там же, л. 23.

[42]Там же, д. 383, л. 6.

[43]Так, например, передача одной страницы текста по телеграфу в США обходилась в 27 копеек золотом (там же, л.45).

[44]Там же, л. 7—8.

[45]Там же, д. 509, л. 233.

[46]Там же, оп. 128, д. 870, л. 134.

[47]Там же, ф. 17, оп. 125, д. 385, лл. 50, 341.

[48]Там же, оп. 128, д. 870. л. 131—134.

[49]Там же, оп. 125, д. 383, л. 150.

[50]Там же, оп. 128, д. 870, л. 131.

[51]Костырченко Г. Указ. соч., с. 61—62.

[52]РГАСПИ, ф. 17, оп. 128, д. 870, л. 138.

[53]Там же, ф.17, оп. 125, д. 385, л. 157.

[54]Там же, ф. 17, оп. 125, д. 384, л. 56—62.

[55]Там же, лл. 264, 273—274.

[56]Там же, д. 387, л. 7—11.

[57]Там же, ф. 17, оп. 128, д. 870. л.123, 138—139.

[58]Там же, ф. 17, оп. 125, д. 387, л. 7.

[59]Там же, д. 385, л. 33.

[60]Там же, д. 387, л. 6.

[61]Там же, д. 385, л. 343.

[62]Там же, ф. 17., оп. 128, д. 870, л.106.

[63]Там же, ф. 17, оп.125, д. 385, л. 31.

[64]Там же, л. 93.

[65]Там же, л. 76.

[66]Там же, оп. 128, д. 870, л.105, 106.

[67]Там же, оп. 125, д. 385, л. 77.

[68]Там же, д. 387, л. 20.

[69]Там же, л.15.

[70]Там же, д.385, л.400; ф. 629, оп. 1. д. 93, л. 315: сходная критика высказывалась и в Постановлении ОБ ЦК о газете "Правда" от 2.VIII.1946 г. (ф. 17, оп. 3, д. 1059, л. 90).

[71]См.: там же, ф. 17, оп. 125, д. 385, л. 547.

[72]Там же.

[73]Там же, л. 481, 482.

[74]Там же, оп. 128, д. 1060, л. 168.

[75]Там же, оп. 128, д. 870, л. 100.
[76]Там же, оп. 125, д. 509, л. 239.
[77]Там же, ф. 629, оп. 1, д. 93, л. 352—353.
[78]Там же, ф. 17, оп. 125, д. 509, л. 309.
[79]Там же, оп. 125, д. 594, л. 48.
[80]ГАРФ, ф. 8581, д. 223, л. 178.
[81]РГАСПИ, ф. 17, оп. 3, д. 1059, л. 83.
[82]Там же, оп. 3, д. 1063, л. 35—37.
[83]Там же, оп. 166, д. 268, л. 152; ф. 17, оп. 125, д. 376, лл. 58—71, 91—92.
[84]АП РФ, ф.45, оп.1, д.732, л.1, 18—19.
[85]Интервью Сталина А.Верту (Правда, 25 ноября 1946); речь Жданова от 6 ноября 1946 г. (Правда, 7 ноября 1946).
[86]См. его поправки к ноябрьскому (1946 г.) докладу Жданова — АП РФ, ф. 45, оп. 1, д. 732, л. 74—84.
[87]РГАСПИ, ф. 17, оп. 128, д. 884, л. 99 об.
[88]Там же, д. 874, л. 224.
[89]Докладная записка о работе ВОКС (Кеменов — Молотову, Маленкову, 15 августа 1945 г.). — РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.371, л.138 об.; отчет о работе ВОКС в США в 1946 г. Там же, оп.128, д.61, л.100—101.
[90]Там же, д.1061. Т.2, л.65.
[91]Суслов — Жданову, 31 июля 1946 г.; Александров — Жданову, 10 сентября 1946 г. Там же, ф.17, оп.125, д.449, л.178—181.
[92]А.Панюшкин — в секретариат т.Жданова, 13 декабря 1946. Там же, оп.128, д.83, л.280; С.Вавилов, Х.Каштоянц — А.Жданову, 9 августа 1946 г. Там же, д.66, л.59—60; В секретариат т.Маленкова, 28 февраля 1946. — ф.17, оп.125, д.362, л.92; Г.Александров, М.Суслов — А.Жданову, 26 июля 1946. — там же, оп.128, д.854 (т.2), л.22.
[93]CIG Directive N 15, 1 October 1946. — NA, RG 218, W.Leahy Records, Box 21.
[94]РГАСПИ, ф.17, оп. 3, д. 1063, л. 8—10.
[95]Там же, оп. 125, д. 442, л. 119.
[96]Там же, д. 436, лл. 27-29.
[97]Там же, л. 33.
[98]Там же, л. 40—42. Подробнее об этой кампании см.: Pechatnov V. The Rise and Fall of "Britansky Soyuznik": A Case Study in Soviet Response to British Propaganda of The Mid-1940s/The Historical Journal (Cambridge), 1998, N 1, p.297—300.
[99]АП РФ, ф.3, оп.63, д.260, л.42.

[100]См. отчет об этом обсуждении, направленный А.Жданову (а им — Сталину и другим членам Политбюро): К.Островитянов — А.Жданову, 3 июня 1947. — РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.551, л.90—97.

[101]См.: Большевик, 30 июня и 30 июля 1947 г.

[102]РГАСПИ, ф. 17, оп. 128, д. 1062—63, л. 2—32.

[103]Там же, л. 28.

[104]Запись беседы с А.В.Карагановым от 25 декабря 1996 г.

[105]Там же, ф. 17, оп. 128, д. 1060-1061, л. 111; запись беседы с А.В.Карага-новым от 25.12.1996; РГАСПИ, ф. 17, оп. 128, д. 870, л. 104.

[106]Там же, л. 39.

[107]Там же, л. 225—256.

[108]Там же, д. 1060—61, л. 244.

[109]Там же, л. 257.

[110]Там же, лл. 242, 232.

[111]Запись беседы с А.В. Карагановым от 22 декабря 1996 г.

[112]РГАСПИ, ф. 17, оп. 116, д. 307, л. 2.

[113]Там же, оп. 125, д. 509, лл. 232, 238, 240—241, 252—254.

[114]Там же, л. 263.

[115]Там же, л. 264—268, 271.

[116]Там же, д. 1065, л. 47—48.

[117]Правда, 4 октября, 24 ноября 1947 г.

[118]РГАСПИ, ф.17, оп.128, д.229, л.13.

[119]Там же, д. 1128. л. 273—275.

[120]Там же, оп. 125, д. 493, л. 39, 40.

[121]Доклад об укомплектовании заграничной сети ТАСС. 26 июня 1948 г. — ГАРФ, ф.4459, оп.11, д.1288, л.61; см., также: д. 1300, л. 58—59, 75.

[122]Подробнее об антиамериканской пропаганде в начале холодной войны см.: Наджафов Д.Г. Антиамериканские пристрастия сталинского руководства (об антиамериканской пропаганде в СССР // Сталинское десятилетие холодной войны, с.134—148.

[123]Правда, 7 ноября 1947.

[124] АП РФ, ф. 45, оп. 1, д. 1127, л. 16.

[125]Зубкова Е.Ю. Сталин и общественное мнение в СССР. 1945—1953 // Сталинское десятилетие холодной войны, с.195; Лельчук В.С., Пивовар Е.И. Менталитет советского общества и холодная война (к постановке проблемы)//Отечественная история, 1993, № 6.

[126]Подробнее о социально-психологическом воздействии этого фактора на советское общество см.: Мальков В.Л. Игра без мяча: Социально-психологический контекст советской «атомной дипломатии» (1945—1949 гг.) // Холодная война. 1945—1963. Историческая ретроспектива, с.302—303.

[127]Зубкова Е.Ю. Сталин и общественное мнение в СССР. с.168.

[128]См., например, письма Ю.Жукова П.Поспелову из Парижа о работе Молотова с журналистами (Ю.Жуков — П.Поспелову, 19 июля, 3 сентября 1946. — РГАСПИ, ф.629, оп 1, д.113, л.31, 50—51).

[129]АП РФ, ф.45, оп.1, д. 109, л. 58.

[130]РГАСПИ, ф.629, оп.1, д.95, л.12.

[131]О мероприятиях по улучшению газеты «Правда». 2 августа 1946 г. — РГАСПИ, ф.17, оп.3, д.1059, л.90, 93.

[132]Запись беседы с Б.Р.Изаковым 20 мая 1985 г.

[133]Domestic Factors Influencing the Stability of the Soviet Regime (JCS 8/13), 5 November 1945 — NA, RG 218, Geographic File, 1941-1945, CCS 092 USSR (3-27-45) Sec.1; Embassy to the Department, November 12, 1946. — NA, RG 59, DF, 861.00/11-1246.

[134] Hixson W. Parting the Curtam. Propaganda, Culture, and the Cold War, 1945—1961. N.Y., 1997, p.5.

[135]FRUS, 1946, VI, p.677—678.

[136]Hixson W. Partmg the Curtain, p.32.

[137]FRUS, 1947, IV, Wash., 1972, p. 534, 541.

[138]Secretary of War to SecState, 24 December 1945. — Sec.13.

[139]L.Henderson to Mr. Secretary, January 3, 1946. — NA, RG 59, DF, 761.00/1— 346.

[140]Some Summary Observations. — Ibidem.

[141]June 13, 1945. — HSTL, PSF, SF, Long-handed Personal Memoes, 1945.

[142]См. главу «Раскол становится фактом» данной книги.

[143]Political Estimate of Soviet Policy for Use m Connection with Military Studies, March 22, 1946. — LC, WAHP, CF, Cont.186; (J.Hickerson) Memorandum for the Secretary, SWNCC, July 8, 1946. — NA, RG 59, DF, 711.61/6 — 1946; Ph.Mosely to Mr. Thompson, July 15, 1946. — Ibid., 711.61/7 — 1546.

[144]New York Herald Tribune, May 19, 1946.

[145]New York Herald Tribune, May 20, 1946.

[146]New York Times, August 6, 1946.

[147]To Mr. Bohlen from Mr.Nabokoff, August 16, 1946. — NA, RG 59, DF, 711.61/8 — 1646.

[148]Прием американского журналиста Иоганес Стил, 8 апреля 1947 г. (из дневника Лозовского). РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.509, л.104—105.

[149]См.: Печатнов В.О. Уолтер Липпман и пути Америки, с. 204—205.

[150]См.: Lucas S. Freedom's War. The American Crusade agamst the Soviet Union. N.Y., 1999, p.19.

[151]Memorandum for the Naval Aide, 10 July 1946. — NA, RG 218, W.Leahy Records, Box 21.

[152]Saturday Evening Post, February 22, 1947, p.23, 130.

[153](Ch.Bohlen). Memorandum for Mr.Secretary, February 20, 1947. — NA, RG 59, DF, 711.61/2-1447.

[154]L.Szllard to G.Marshall, October 25, 1947. — Ibid., 711.61/10-2547.

[155]G.Clark to G.Marshall, March 4, 1948. — Ibid., 711.61/3-448.

[156]C.Pickett to D.Acheson, July 15, 1949. — Ibid., 711.61/7-1549.

[157]Ch.Bohlen for the Secretary, March 30, 1948. — NA, RG 59, Records of Ch.Bohlen, General Correspondence, Box 1A.

[158]См., например, : G.Marshall to G.Clark, March 11, 1948. — NA, RG 59, DF, 711.61/3-1148; F Remhardt to D.Rusk, August 22, 1949. — Ibid., 711.61/8-2249; 711.61/3-448.

[159]О служебной переписке вокруг этого письма см.: H.Stassen to D.Acheson, October 2, 1950; Sargeant to S/S, October 5, 1950 — Ibid., 711.61/ 10 — 250, 711.61/10 — 550.

[160]Szilard L. Letter to Stalin/Bulletin of Atomic Scientists, December 1947, p.349.

[161]Acheson to AmEmbassy, Buenos Aires, August 30, 1946. — NA, RG 59, DF, 711.61/8-3046; Messersmith to SecState, September 1, 1946. — Ibid., 711.61/9-146.

[162]Messersmith to Braden, September 3, 1946. — Ibid., 711.61/9-346.

[163]Царапкин — Деканозову, 30 августа 1946 г. — АВП РФ, ф.0129, оп.30, п.187, д.81, л.132.

[164]Правда, 4 сентября 1946 г.

[165]AmEmbassy, Moscow to Department of State, March 11, 1948. — NA, RG 59, DF, 711.61/3-1148.

[166]Newsweek, March 3, 1946.

[167]NA, RG 59, DF, 711.61/6-948

[168]Ch.Bohlen to S.Reber, June 25, 1948. — Ibid., 711.61/6-948.

[169]G.Marshall. Memorandum for Secretary Forrestal, March 23, 1948. — Ibid., 711.61/3-2348.

[170]Запись беседы тов. И.В.Сталина с Э.Рузвельтом и его женой 21 декабря 1946 года. — АВП РФ, ф.06, оп.8, п.47, д.786, л.8. Сходные мысли о невозможности новой большой войны Сталин высказывал и в беседе с польскими коммунистами в мае 1946 г. (Восточная Европа в документах российских архивов. Т.1, с.456—457).

[171]U.S.Public Opinion on Russia, October 31, 1946. — NA, RG 59, DF, 711.61/ 10-3146.

[172]Об этом, в частности, говорил ген.У.Б.Смит на совещании в госдепартаменте (September 28, 1948 Meetmg of Policy Planning Staff. — NA, RG 59, Records of Policy Planning Staff, 1947—1953, Meetmgs).

[173]Цит. по: Sanders F. Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War. L-n, 1999, p.16.

[174]Правда, 7 ноября 1946.

[175]АП РФ, ф. 45, оп. 1, д. 732, л. 74—84; РГАСПИ, ф. 17, оп. 128, д. 884, л. 99 об.

[176]Acheson D. Present at the Creation. My Years at the State Department. N.Y., 1969, p.219; Vandenberg A. (ed.). The Private Papers of Senator Vandenberg. B-n, 1952, p. 319—319.

[177]Jones J. The Fifteen Weeks. N.Y., 1955, p.43.

[178]Forrestal to Marshall, Harriman, Lovett, November 10, 1947. — LC, WAHP, Secretary of Commerce, Cont.240.

[179]Wala M. Selling the Marshall Plan at Home: The Committee for the Marshall Plan to Aid European Recovery/Diplomatic History, Summer 1986, p.248.

[180]См.: Lucas S. Op.cit., p.40.

[181]Ibidem.

[182]Цит. по: Lucas S. Op.cit., p.47.

[183]Ibidem.

[184]Бонцевич Н.Н. Общественное мнение США и Гарри Трумэн: поворот к антисоветизму (1946—1950) // Американский Ежегодник 2002. М., 2004, с.144, 149—150.

[185] Современное политическое сознание в США. Ответ. ред. Ю.А.Замошкин и Э.А.Баталов. М., 1980, с.382—283.

[186]NSC 10/2, June 18, 1948 // Containment: Documents on American Policy and Strategy. T.Edzold and J.Gaddis (eds.). N.Y., 1978, p.127.

[1]Правку Сталина см.: АП РФ, ф.45, оп.1, д.243, л.1—116.
[2]Вышинский — Сталину, 3.02.1948; Поскребышев — Молотову, Берия, Маленкову, Микояну, 15.02.1948. Там же, л.1, 60.
[3]Исраэлян В. На фронтах холодной войны. Записки советского посла. М., 2003, с.34.
[4]Пономарев — Жданову, 2 апреля 1948; Ильичев, Харламов — Суслову, 14 мая 1948. — РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.594, л.62, 64.
[5]См.: Kennan G. Memoirs, vol 1, 1925-1950, B-n, 1967, p. 364.
[6]Memorandum of Background Press Conference, May 11, 1948. — NA, RG 59, Ch.Bohlen Records, Subject File, Box 8.
[7]FRUS, 1948, IV, Wash., 1974., p. 834 n.
[8]Op. cit., p. 835.
[9]Op. cit., p. 836—838.
[10]Op. cit., p. 840—841.
[11]NA, RG 59, DF, 711.61/4 — 2649.
[12]Gaddis J.. Strategies of Containment. A Critical Appraisal of Postwar American National Security Policy. N.Y., 1982, p.72—75.
[13]Smith W. My Three Years in Moscow. N.Y., 1950, p. 146—155.
[14]FRUS, 1948, IV, p. 850. Русский перевод заявления Смита см. в: Советско-американские отношения. 1945—1948, с.555—557.
[15]Запись беседы автора с О.А.Трояновским, 10 марта 2002 г.
[16]FRUS, 1948, IV, p. 850 n.
[17]NA, RG 59, DF, 711.61/ 5 — 1048.
[18]Ibid., 711.61/ 5 — 648.
[19]FRUS, 1948, IV, p. 851.
[20]Советско-американские отношения. 1945—1948, с.564.
[21]FRUS, 1948, IV, p. 854.
[22]Правда, 11 мая 1948 г.
[23]Kennan G. Memoirs, vol.1, p. 364.
[24]FRUS, 1948, IV, p. 859.
[25]АП РФ, ф. 45, оп. 1, д. 387, л. 26.
[26]FRUS, 1948, IV, p. 863—864.
[27]Op. cit., p. 863.
[28]NA, RG 59, DF, 711.61/ 5 — 1148.
[29]FRUS, 1948, IV, p. 822n; NA, RG 59, DF, 711.61/5—1248.

[30]FRUS, 1948, IV, p. 860.
[31]NA, RG 59, DF, 711.61/ 5 — 1148.
[32]Political Science Quarterly, Fall 1948, p. 559.
[33]NA, RG 59, DF, 711.61/ 5 — 848.
[34]Department of State Bulletin, May 23, 1948, p. 679—683; Memorandum of Background Press Conference, May 11, 1948. — NA, RG 59, Ch.Bohlen Records, Subject Flles, Box 8.
[35]Department of State Bulletin, May 23, 1948, p. 683—686.
[36]American Opmion on US-Russian Relations smce Stalin's May 17 Statement. May 24, 1948. — NA, RG 59, Records of the Policy Planning Staff, 1947—1952.
[37]NA, RG 59, DF, 711.61/ 5 — 1748; 711.61/ 5 — 1248.
[38]Ibid., 711.61/ 5 — 1448.
[39]FRUS, 1948, IV, p. 869.
[40]Kennan G. Memoirs, vol. 1, p. 365.
[41]Известия, 15 мая 1948.
[42]Труд, 14 мая 1948.
[43]FRUS, 1948, IV, p. 865.
[44]Ibidem.
[45]J.Morrison to G.Kennan, May 19, 1948. — NA, RG 59, Records of Policy Planning Staff, 1947—1952, Country and Area Files (USSR 1946 — 1950), Box 23.
[46]J.Morrison to G.Kennan, June 7, 1948. — Ibidem.
[47]Calver J, Hyde J. American Dreamer. A Life of Henry A.Wallace. N.Y. — L-n, 2000, p.474—475.
[48]АП РФ, ф.45, оп.1, д. 387, л.10.
[49]Там же, л. 6, 16, 13.
[50]Данилов А.А., Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы. СССР в первые послевоенные годы. М., 2001, с.84—85.
[51]Walker S. "No More Cold War": American Foreign Policy and the 1948 Soviet Peace Offensive/Diplomatic History, Winter 1981, p. 88.
[52]Правда, 16 мая 1948 г.
[53]Правда, 14 мая 1948 г.
[54]АП РФ, ф.3, оп.66, д.387, л. 48—50.
[55]Там же, л. 56—59.
[56]Правда, 18 мая 1948.
[57]Walker S. Henry A. Wallace and American Foreign Policy. Westport, 1976, p.193.
[58]АВП РФ, ф. 0129, оп.33, п. 218, д.12, л. 59.
[59]Washington Sunday Star, May 30, 1948.
[60]Цит. по: Walker S. "No More Cold War", p. 87.
[61]FRUS, 1948, IV, p. 870—871.

[62]Memorandum, May 18, 1948. — NA, RG 59, Records of Ch.Bohlen, Box 4.

[63]Department of State Bulletin, May 30, 1948, pp. 705—706.

[64]The Forrestal Diaries . Ed. by W.Mllis. N.Y., 1951, pp. 442—443.

[65]Memorandum of the summary of discussion at a Conference called by President at May 21, 1948. — HSTL, PSF, SF, Cabinet — Meetings.

[66]См.: Правда, 20 мая 1948 г.

[67]FRUS, 1948, IV, p. 873.

[68]АП РФ, ф.3, оп. 66, д. 387, л.67; Правда, 23 мая 1948.

[69]Правда, 30 мая 1948.

[70]NA, RG 59, DF, 711.61/ 5 — 2148; 711.61/ 5 — 1948.

[71]Ibid., 711.65/ 5 — 2548.

[72]American Opmion on US-Russian Relations since Stalin's May 17 Statement. May 24, 1948. — NA, RG 59, Records of the Policy Planning Staff, 1947-1952.

[73]Culver J., Hyde J. American Dreamer, p.476.

[74]См.:Печатнов В.О. Демократическая партия США: избиратели и политика. М., 1980, с.38.

[75]Walker S. Henry A. Wallace and American Foreign Policy, p. 197.

[76]Attitudes toward United States — Russian Relations: October 1948. — NA, RG 59, DF, 711.61/ 10-148.

[77]Walker S. Op. cit., p. 198.

[78]Справочник о руководящих деятелях Соединенных Штатов Америки (апрель 1947 г.) — РГАСПИ, ф.17, оп.128, д.229, л.49.

[79]См.: Плешаков К.В. Сталин и Америка/США: экономика, политика, идеология, 1989, № 12, с.52—61

[80]См., например, АВП РФ, ф. 0129, оп. 31а, п.241, д. 041, лл. 39—45; оп. 33, п. 218, д. 041, л.56—61.

[81]Washington Post, March 14, 1948.

[82]Политбюро ЦК ВКП (б) и Совет Министров СССР. 1945—1953. (Сост. О.В.Хлевнюк и др.) М., 2002, с.120—121.

[83]Правда, 7 ноября 1948.

[84]FRUS, 1948, IV, pp. 932 — 933.

[85]Коллекция документов АП РФ.

[86]Там же.

[87]Там же.

[88]Данилов А.А., Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы, с. 144—145.

[89]NA, RG 59, DF, 711.61/ 1 — 1249.

[90]АП РФ, ф.45, оп.1, д.387, л.108.

[91]Коллекция документов АП РФ.

[92]Там же.

[93]Громыко А.А. Памятное. Книга первая (издание второе, дополненное). М., 1990, с. 117—118.

[94]Ulam A.The Rivals: America and Russia since World War II. N.Y., 1971, p.145—147; Shulman M. Stalm's Foreign Policy Reappraised. Cambrodge (Mass.), 1963, p.30—31; Divine R. Foreign Policy and U.S.Presidential Elections, 1940—1948. N.Y., 1974, p.200—205.

[95]Kolko J. and G. The Limits of Power: The World and the United States Foreign Pohcy, 1945-1954. N.Y., 1972, pp.483-484; Walton R. Henry Wallace, Harry Truman and the Cold War. N.Y., 1976, p.216—220.

[96]Yergin D. Shattered Peace: The Origins of the Cold War and the National Security State. B-n, 1977, p.371—372.

[97]Walker S. "No More Cold War", p 88, 91.

КОНЕЦ АТОМНОЙ МОНОПОЛИИ США

[1]Diary, August 8, 1945. — Library of Congress, W.Leahy Papers.

[2]The Effects of The Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki. The United States Strategic Bombing Survey. 1946. — HSTL, PSF, SF, Atomic Bomb — Hiroshima and Nagasaki, 1945—1946.

[3]P.Peabody. Chief Military Intelligence Service. Brief Notes Concerning Russian Prospects of Developing an Atomic Bomb.

[4]Journal, September 18, 1945. — LC, J.Davies Papers, Chronological File, Cont. 22.

[5]Soviet Capabilities (JIC 80/15, 9 Nov 45). — NA, RG 165, ABC 384 United Nations (14 July 44), Sec 1-A.

[6]Scientific Interchange on Atomic Energy (Memorandum to The President), September 25, 1945. — HSTL, PSF, SF, Atomic Bomb — Cabinet.

[7]The Capabilities and Intentions of the Soviet Union as Affected by American Policy. — NA, RG 59, DF, 711.61/ 12 — 1045.

[8]Buhite R. and Hamel W. War for Peace: The Question of an American Preventive War against the Soviet Union, 1945-1955/Diplomatic History, Summer 1990, p.373374.

[9]The New York Times, February 14, 1946.

[10]Norris R., Arkin W. "Nuclear Notebook": Estimated U.S. and Soviet/Russian Nuclear Stockpiles, 1945—

1994/Bulletin of Atomic Scientists, November-December 1994, p.58—59

[11]Containment: Documents on American Policy and Strategy. Ed. By T.Etzold and J.Gaddis. N.Y., 1978, p.362—363.

[12]Documentary History of the Truman Administration. Vol.14, Wash., 1996, doc.1, p.3.

[13]Diary, November 12, 1947. — LC, W.Leahy Papers

[14]Burnham J. The Coming Defeat of Communism N.Y., 1950, p. 148.

[15]New York Times, August 26, 1950.

[16]Truman H. Memoirs, vol.1, p 385.

[17]МальковВ.Л. «Манхэттенский проект». Разведка и дипломатия М., 1995, с.177—178

[18]Soviet Economic Review, January 1946. — NA, RG 59, DF, 861.50/1 — 946.

[19]Memorandum for the President: Estimate of the Status of the Russian Atomic Energy Project, 6 July 1948. — NA, RG 218, W.Leahy Records, Box 19.

[20]Warner M. (ed.). CIA Cold War Records: The CIA under Harry Truman. Wash., 1994, p.319.

[21]NA, RG 59, Records of Policy Planning Staff, Minutes of Meetings September 28, 1948.

[22]Aldrich R The Hidden Hand. Britain, America and Cold War Secret Intelligence. L-n, 2001, p. 218—219.

[23]C.Offie to J Beam, May 19, 1948. — NA, RG 59, DF, 761.00/5 — 1948.

[24]Main Conclusions as to American Popular Opinion on U.S. — Russian Relations. In: F.Russell to Mr.Humelsine, January 31, 1949. — NA, RG 59, DF, 711.61/1 — 3149.

[25]A Report to the National Security Council by the Department of State on Factors Affecting the Nature of the US Defense Arrangements in the Light of Soviet Policies, August 25, 1948. — Documents of National Security Council, 1947—1977. Ed. By Kesaris P. Wash., 1980, Reel 1.

[26]Правда, 18 сентября 1946 г.

[27]Тонкий анализ психологии сталинской «атомной дипломатии» см. в: Мальков В.Л. Игра без мяча: социально-психологический контекст советской «атомной дипломатии»// Холодная война. Историческая ретроспектива, с.293—298.

[28]Bernstein B. Roosevelt, Truman and the Atomic Bomb: A Reinterpretation/Political Science Quarterly, Spring 1975, p. 64—65.

[29]Helsinki to Sec State, October 25, 1945; Stockholm to Sec State. November 1, 1945 — NA, RG 59, DF, 861. 20.200/10-2545.

[30]Правда, 8 ноября 1945.

[31]NA, RG 59, DF, 861.20.200/11-1145

[32]Moscow to SecState, September 13, 1946 — NA, RG 59, DF, 861 2423/9-1346.

[33]Правда, 25 сентября 1946.

[34]Чуев Ф. Указ. соч., с. 112.

[35]Правда, 7 ноября 1947.

[36]Бюллетень Бюро информации ЦК ВКП(б). Вопросы внешней политики, 15 ноября 1947. — РГАСПИ, ф.17, оп 128 Т 1, л.265.

[37]Paris to Sec State, November 11, 1947. — Ibid., 861.2423/ 11-1147.

[38]См.: Атомный проект СССР: документы и материаль в 3 т (под общей ред Л.Д.Рябьева). Саров, 1999.

[39]Атомный проект СССР, т II. Атомная бомба 1945—1954. Книга 1 (отв сост Г.А Гончаров), Саров, 1999, с.639—640.

[40]Deterrence and Survival (Geither Report) // FRUS, 1955-1957, vol. XIX, Wash., 1990, p 641.

[41]Public Papers of the Presidents of the United States Harry S.Truman, 1949, Wash., 1963, p 485.

[42]Containmer t, p. 364—365

[43]АП РФ, ф.45, оп. , д 113, л.31.

[44]Sudoplatov P and A. Special Tasks. The Memoirs of an Unwanted Witness — A Soviet Spymaster. B-n, 1995, p. 211.

[45]Правда, 25 сентября 1949.

[46]Холловэй Д. Сталин и бомба. Советский Союз и атомная энергия, 1939-1956. Перевод с английского Новосибирск, 1997, с.349-350

[47]Правда, 1 октября 1949.

[48]АП РФ, ф.45, оп 1, д.13, л. 81—83.

[49]Правда, 29 сентября 1949.

[50]New York for Acheson, September 24, 1949. — NA, RG 59. DF, 861. 2423/9-2449.

[51]Rose L. The Cold War Comes to Main Street. America in 1950. Laurence (Kansas), 1999, p 66—68.

[52]Newsweek, October 3, 1949 p 1—8.

[53]Rose L. The Cold War Comes to Main Street, p 72

[54]The City of Washington and an Atomic Bomb Attack. Memorandum for the National Security Council,

November 7, 1949. — HSTL, PSF, SF, Atomic Bomb Attack.

[55]To Certain Diplomatic and Consular Officers: September 23, 1949. — NA, RG 59, DF, 861. 2423/9-2349.

[56]Circular to All American Diplomatic and Consular Officers, September 23, 1949. — NA, RG 59, DF, 861.2423/9-2349.

[57]Containment, p.365.

[58]Paris to Sec State, October 6, 1949. — NA, RG 59, DF, 861. 2423/10-3149.

[59]Ch.Bohlen to G.Kennan, October 6, 1949. — NA, RG 59, Ch.Bohlen Records, General Correspondence, Box 1.

[60]From Paris, October 6, 1949, Article by R.Aron. — NA, RG 59, DF, 861. 2423/10-649.

[61]Ibidem.

[62]From Paris, November 29, 1949 (Optimistic Article on Atomic Warfare). — Ibid., 861.2423/11-2949.

[63]Luncheon with Churchill, November 17, 1949. — LC, WAHP, Special Files, Marshall Plan, Cont. 266.

[64]Morgenthau H. History's Lesson/The Nation, December 16, 1950, p.587.

[65]FRUS, I950, I, Wash., 1977, p. 146—147.

[66]Containment, p.344.

[67]FRUS, 1950, IV, Wash., 1980, p.1151—1153.

[68]Leffler M. A Preponderance of Power. National Security, the Truman Administration, and the Cold War. Stanford, 1992, p. 332—333.

[69]FRUS, 1950, I, p.227.

[70]FRUS, 1949, I, Wash., 1976, p.562.

[71]См.: Сахаров А.Д Воспоминания. В двух томах. т.1, М., 1996, с.148.

[72]FRUS, 1949, I, p.605—609.

[73]Nitze P. From Hiroshima to Glasnost: At the Center of Decision — A Memoir. N.Y., 1989, p. 87—92.

[74]FRUS, 1949, I, p. 571—572.

[75]FRUS, 1950, I, p. 40.

[76]Ibid, p.402—403.

[77]Ibidem.

[78]Containment, p. 371.

[79]Rose L. Op.cit., p.112.

[80]NA, RG 59, Records of the Policy Planning Staff 1947-1953, Minutes of Meetings, December 15, 1949.

[81]FRUS, 1950, IV, p. 1085—1086.

[82]Ibid., p.I099.

[83]FRUS, 1950, I, p. 253, 268.

[1]См.: Schweizer P. Victory: The Reagan Administration's Secret Strategy That Hastened the Collapse of the Soviet Union. N.Y., 1994. Garthoff R. The Great Transition: American-Soviet Relations and the End of the Cold War. Wash., 1994; Lebow N., Stein J. We All Lost the Cold War. Princeton, 1994.

[2]См.: Зубок В.М., Печатнов В.О. Отечественная историография холодной войны: некоторые итоги десятилетия/Отечественная история, 2003, № 5, с.144—145.

[3]G.Kennan to D.Acheson, July 8, 1949. — NA, RG 59, Records of the Policy Planning Staff, 1947—1953, Country and Area Files, USSR 1946—1950, Box 23. Глубокий анализ эволюции взглядов Кеннана на советскую систему см.в: Мальков В.Л. Неизвестный Кеннан. Заметки о морфорлогии мышления дипломата/Россия XXI, 2003, № 4, с.140—145.

[4]X. The Sources of Soviet Conduct // Foreign Affairs, July 1947, p.575; Русский перевод см. в: Кеннан Дж. Истоки советского поведения/США: экономика, политика, идеология, 1989, № 12.

[5]FRUS, 1946, VI, p.706.

[6]Foundations of Soviet Foreign Policy (1951). — NA, RG 59, Records of the Policy Planning Staff, 1947—1953, PPS Members — Chronological Files, George F.Kennan (Notes for Essays).

[7]См.: Дж.Ф.Кеннан (справка). — АВП РФ, ф.0129, оп.36, п.256, д.141. л.10—12.

[8]Kennan G. Is War with Russia Inevitable?/ Department of State Bulletin, February 20, 1950, p.268. О подготовке тиражирования этой статьи для массового читателя см.: H.Sargeant to Mr.Webb, December 13, 1949. — NA, RG 59, DF, 711.61/ 12-1349.

[9]Цит. по: Gaddis J. Strategies of Containment, p.49.

[10]Kennan G. Is War with Russia Inevitable? p.271.

[11]Containing the Soviet Union: A Critique of U.S. Policy. Ed. By T.Diebel and J.Gaddis. Wash., 1987, p.10.

[12]Foundations of Soviet Foreign Policy.

[13]The Sources of Soviet Conduct, p.576.

[14]Ibid., p.579—580.

[15]Дж. Ф. Кеннан. Америка и русское будущее (публикация акад. Н.Н.Болховитинова)//Новая и новейшая история, 2001, № 3, с.91—92.

[16]Foundations of Soviet Foreign Policy,

[17]The Sources of Soviet Conduct, p.580—581.

[18]Ibid., p.582.

[19]Lippmann W. The Cold War. A Study in U.S.Foreign Policy. N.Y., 1947, p.13.

[20]Union of Soviet Socialist Republics. Strategic Intelligence Digest, vol.1, CIA, 1 March 1948. — NA, RG 59, Office of Intelligence and Research, Box 17.

[21]Цит. по: Hixson W. George F. Kennan. Cold War Iconoclast, N.Y., 1989, p.36.

[22]Gaddis J. Strategies of Containment, p.43.

[23]The Sources of Soviet Conduct, p.580.

[24]Цит. по: Mark E. The Question of Containment: A Reply to John Lewis Gaddis/Foreign Affairs, January 1978, p.439.

[25]Burnham J. Containment or Liberation? An Inquiry into the Aims of United States Foreign Policy. N.Y., 1953, p.43.

[26]The Sources of Soviet Conduct, p.581.

[27]Цит. по: Gaddis J. The Strategies of Contamment, p.39.

[28]U.S. Objectives with Respect to Russia (NSC 20/1), September 1948 // Containment, p.173—203.

[29]Grose P. Operation Rollback. America's Secret War Behind the Iron Curtain. B-n — N.Y., 2000; Mitrovich G. Undermining the Kremlin: America's Strategy to Subvert the Soviet Bloc, 1947—1956. Ithaca, 2000.

[30]A.Berle, Jr. to A.Harriman, July 27, 1950. — LC, WAHP, Special Files, Truman Admimstration, Special Assistant, General Correspondence, Cont.281.

[31]An Estimate of the International Situation. I1/8/48 Meeting of Jomt Orientation Conference, Secretary's Forrestal's office. — NA, RG 59, Records of Policy Planning Staff, 1947—1953, Box 2.

[32]US Objectives with Respect to Russia, p.183.

[33]Russia's National Objectives, April 10, 1947. — S.Mudd Library, Princeton University, G.Kennan Papers.

[34]Mastny V. The Cold War and Soviet Insecurity. The Stalin Years. N.Y.— Oxford, 1996, p.195.

[35]FRUS, 1947, I, Wash., 1973, p.774.

[36]United States Policy Toward the Soviet Satellite States in Eastern Europe. September 14, 1949 // Containment, p.222.

[37]An Estimate of the International Situation, 11/8/48.

[38]FRUS, 1948, II, Wash., 1975, p.1287—1297.

[39]Hixson W. George F. Kennan, p.77.

[40]Morgenthau H. On Negotiating with the Russians/ Bulletin of Atomic Scientists, May 1950.

[41]G.Kennan to the Secretary, June 21, 1950. — NA, RG 59, Records of Policy Planning Staff, Country and Area Files, USSR 1946—1950, Box 23.

[42]U.S. Objectives with Respect to Russia, p.199—200.

[43]Ibid., p.201.

'Распад Советского Союза, о котором Кеннан задумался глубже и раньше других, тем не менее удивил его своей стремительностью и радикализмом — «до основания...» В его словах из письма автору этой книги, написанных по следам Беловежской пущи, — «России будет лучше теперь, когда она сама по себе», ощущалась не столько уверенность, сколько надежда и самоутешение (Дж.Кеннан — автору, 20 января 1992 г., в архиве автора).

[44]Цит. по:Gaddis J. The Strategies of Containment, p.49.

[45]U.S. Objectives with Respect to Russia, p.181.

[46]См.подробнее: ПечатновВ.О. Уолтер Липпман и пути Америки, с.251—252.

[47]См.: Коэн С. Можно ли было реформировать советскую систему?//Свободная мысль, 2005, № 1, с.158—159.

[48]См., например, R.Kagan and W.Kristol. The Present Dangers/The National Interest, 2000, p. 64—65.

[49]Кеннан Дж. Америка и русское будущее, с.92.

[50]G.Kennan to the Secretary, June 21, 1950. — NA, RG 59, Records of the Policy Planning Staff, 1947—1953, USSR 1946—1950, Box 23.

[51]U.S. Objectives with Respect to Russia, p.192—193, 203.

[52]Ibid., p.198.

[53]«Удивительно, — говорил Кеннан в интервью 1999 г., — что (в России) не так сильны требования вернуться к коммунизму, поскольку во многом их нынешнее положение хуже того, что было в последние годы коммунистического правления». Кеннан обьяснял это в основном извечным долготерпением русского народа (The US and the World: An Interview with George Kennan/The New York Review of Books, August 12, 1999, p.4.).

[54]Дж. Кеннан. Америка и русское будущее, с. 82, 84, 85.

[55]Там же, с.90—91.

[56]Containing the Soviet Union, p.228; Burnham J. The Coming Defeat of Communisin. N.Y., 1950, p.144.

[57]Meeting of November 20, 1950 (Transcript of Proceedings). — NA, RG 59, Records of Policy Planning Staff, PPS Meetmgs, Box 32; G.Kennan to the Secretary, June 21, 1950. — NA, RG 59, Records of Policy Planning Staff, Country and Area Files, USSR 1946—1950, Box 23.

[58]Meeting of November 20, 1950.

[59]Ibidem.

[60]Ibidem.

[61]The Sources of Soviet Conduct, p.582.

[62]Kennan G. United States and the Soviet Union/ Foreign Affairs, July 1976, p.682.

[63]NSC-68, "United States Objectives and Programs for National Security", April 14, 1950 //Containment, pp.389, 391, 402.

[64]Acheson D. Present at the Creation, p.375.

[65]Kennan G. Memoirs, vol.2, 1950—1963, p.91—92.

[66]Memorandum, August 22, 1951. — NA, RG 59, Records of Ch.Bohlen, General Correspondence, Box 5.

[67]FRUS, 1950, I, p.298—301.

[68]Memorandum, September 20, 1951. — NA, RG 59, Records of Ch.Bohlen, General Correspondence, Box 5; см.также: Memorandum for the Secretary, October 9, 1951. — Ibid.

[69](R.Hooker, Jr.) Soviet Objectives and the Danger of War, October 8, 1951. — NA, RG 59, Records of Policy Planning Staff, Terms of Settlement.

[70]R.Joyce to P.Nitze, February 2, 1951.— Ibid., USSR 1946-1950.

[71]Acheson D. Present at the Creation, p.752—753.

[72]Department of State Bulletin, March 27, 1950, p.473—478.

[73]Negotiations with the USSR, 10/23/50; Terms of Settlement (draft), 10/2/50. — NA, RG 59, Records of Policy Planning Staff, Terms of Settlement.

[74]Basic Negotiations with the Soviet Union, February 15, 1950 // FRUS, 1950, I, p.156.

[75]The New York Times, February 14, 1994.

[76]Gaddis J. The Evolution of the US Policy Toward the USSR in the Post-War Era // Gorbachev's Russia and American Foreign Policy. Ed. by S.Bialer and M.Mandelbaum. Boulder (Colorado), 1988, p.316—317.

[77]J.Ferguson to Mr.Webb, November 26, 1951. — NA, RG 59, Records of Policy Planning Staff, 1947—1953, Country and Area Files, USSR 1950—1953, Box 23.

[78]G.Kennan. Assessment of Foreign Policy, June 23, 1950.— Ibid., PPS Members — Chronological File, G.Kennan, Lectures.

[1]Political Problems in Relations with the Soviet Union, October 12, 1945. — NA, RG 59, Records of Ch.Bohlen, 1942—1952, Box 5.

[2]Diary, October 24, 1944. — LC, J.Davies Papers.

[3]Цит. по: «Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс. Т.2, с.588.

[4]Mark E. «Today Has Been A Historical One», p.322.

[5]Запись этой беседы Пеппером см. в: Пейдж — Базыкину, 20 сентября 1945. — АВП РФ, ф.06, оп.7, п.43, л.14—21.

[6]Zubok V., Pleshakov C. Inside the Kremlin's Cold War. Cambridge, 1996, p.39.

[7]Acheson D. Present at the Creation, p.755n.

[8]Ch.Bohlen to A.Harriman, February 15, 1950. — NA, RG 59, Records of Ch.Bohlen, General Correspondence 1946—1951, Box 2.

[9]The New York Times, January 4, 1949.

[10]Gardner L., Schlesinger, Jr. A., Morgenthau H.The Origins of the Cold War. Waltham (Mass.) — Toronto, 1970, p.73.

[11]Gaddis J. We Know Now: Rethinking Cold War History. Oxford, 1997, p.292.

[12]См.: Торкунов А.В. Загадочная война: Корейский конфликт 1950—1953 годов. М., 2000; Холловэй Д. Сталин и бомба. Советский Союз и атомная энергия, 1939-1956. Перевод с английского. Новосибирск, 1997; Mastny V. The Cold War and Soviet Insecurity: The Stalin Years. N.Y., 1996; Naimark N. The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945—1949. Cambridge, 1995; Goncharov S., Lewis J., Litai Xue. Uncertain Partners: Stalin, Mao and the Korean War. Stanford, 1993.

[13]FRUS, 1955—1957, vol.XXIV, Wash., 1989, p.119—120.

[14]Правда, 15 октября 1952.

[15]См.: Gaddis J. We Now Know; Leffler M. The Cold War: What Do We Know?/American Historical Review, vol.104, N 2 (April 1999). Обстоятельный анализ этих дебатов дал А.О.Чубарьян (Чубарьян А.О.Новая история холодной войны//Новая и новейшая история, 1997, № 6).

[16]См. подробнее: Зубок В.М., Печатнов В.О. Отечественная историография холодной войны/Отечественная история, 2003, № 4, с.147—148.

[17]Kennan to Byrnes, March 20, 1946. — FRUS, 1946, VI, p. 721—723.

[18]Ievering R., Pechatnov V., Botzenhard-Viehe V., Edmondson E. Debating the Origins of the Cold War: American and Russian Perspectives. Latham — Boulder — N.Y.— Oxford, 2002, p.150.

[19]Logevall F. A Critique of Containment/Diplomatic History, September 2004, p 485—486.

[20]Ibid., p.488—490.

[21]Малькова В.Л. Путь к империству, с.567.

[22]Attitudes Toward United States — Russian Relations: October 1948. — NA, RG 59, DF, 711.61/10-148.

[23]См., например, Mead W. The Jacksonian Tradition and American Foreign Policy/The National Interest, Winter 1999-2000; Gaddis J. Surprise, Security, and the American Experience. Cambridge 2004, p 16—30.

[24]Эта трансформация глубоко прослежена в указанной выше книге В.Л.Малькова; см. также: The American Century: A Round Table Discussion, Parts 1-2/Diplomatic History, Spring, Summer1999.

[25]Запись беседы Л.И Брежнева с Р.Никсоном, 22 мая 1972 г. — Коллекция документов АП РФ

[26]Memorandum for The President, April 18, 1972 — NA, National Security Council Files, H A Kissinger Files, HAK's Secret Moscow Trip, April 1972.

[27]Подробнее см.: Печатнов В.О. Советско-американское сотрудничество 1941—1945 гг. как исторический прецедент разрядки в отношениях между СССР и США // Холодная война и политика разрядки: дискуссионные проблемы/Отв. ред Н И.Егорова, А.О.Чубарьян. Часть I, М., 2003, с.49--53.

[28]Подробнее об этих дебатах см.: Баталов Э Я. Страсти по империи//Свободная мысль, 2004 № 1; Шаклеина Т.А. В чем «призвание» Америки?//Международные процессы, май--август 2004.

[29] АВП РФ, ф. 06. оп. 7, п. 5, д. 51, л 69—70

[30] Meeting of November 30, 1950.— NA, RG59. Records of Policy Planning Staff, PPS Meetings, Box 52.

Абакумов В С 488
Абрамов Н.А. 10
Абрамсон Р 32
Айнкелес А 258
Александров Г.Ф 458, 463, 486
Альтшуль Ф. 522
Ан церс В. 155,355
Андерсон Ф 153
Антонов А.И 157, 160, 205, 206
Армстрон Г 208, 211, 213, 220
Арнольд Г 41, 67, 104, 184, 197
Арон Р 585
Аткинсон Б 509, 510
Ачесон Д. 204, 206, 369, 379

Бальфур Г. 29
Баран П 258
Барнс Дж 70, 85, 89, 92
Ба рух Б. 414
Варыкин В. 471, 473
Бевин Э. 304, 401, 402, 415, 418
Бенеш Э. 143,389
Бергсон А 258
Бережков В.М. 144 197
Берия Л.П 44 79, 175, 369, 389
Берл А 128, 206, 211, 212, 213
Бернстейн Б 417
Бёрнхэм Дж. 564, 604, 624
Берут Б 156, 300, 302, 442
Бёрнс Дж. 40, 42, 49, 57, 109
Вивербрук У. 27, 29, 30, 31, 32
Бирнс Дж 268, 352, 365, 370
Блэк С 624
Богомолов А Е 492, 572, 573
Болдуин Г 341, 342
Болен Ч. 9, 57, 94, 118, 153, 180
Болховитинов Н Н 10
Большаков И Г 172
Боннэ А. 534
Борисов А.Ю. 10, 151
Боуман И. 208, 211, 212, 213, 214
Браун А.. 289
Браун К. 545
Брежнев Л.И 655, 656
Броуди Б 579
Брук А 56
Буллит У. 104
Буш В. 379, 560 587
Буш Дж.-мл 617

Вайнант Дж 27
Василевский А М. 83, 292, 360, 362
Ван денберг А. 520
Барга Е.С 240, 489 501
Ведемейер А. 36, 46, 67, 104, 110
Верт А. 570, 571
Вессэн Ч 327
Визнер Ф 290, 291
Викторов 500, 548
Витос В. 333
Вознесенский Н А 175
Волков В К 10
Вольферс А. 624
Вольф К 303
Ворошилов К Е. 241, 244
Вронский Б 462 497
Вышинский А.Я 8, 29, 74, 75

Галифакс Э. 87, 94
Гармон Г. 563
Гарриман У.А. 9, 24, 28, 29, 30
Гарриман К. 9, 113, 119, 125, 126
Гаррис А. 27, 28
Гелен Р. 288, 289
Гендерсон Л. 424
Герринг Дж. 330
Гёттл В. 288, 289
Гибианский Л.Я. 442
Гитлер А. 15, 18, 22, 27, 56
Головко А.Г. 137, 140
Гомулка В. 442
Гопкинс Г. 9, 19, 22, 23, 24
Горбатов Б.Л. 496
Грауэр А. 128
Гроза П. 299, 370, 403
Громыко А.А. 11,12,13,174,182
Гувер Э. 128
Гуськова Т. 193
Грю Дж. 320,326,327,328,330
Гэддис Дж. 10,108,597,636,646
Гэлбрейт Дж. 559

Даллес А. 289, 522, 607
Данн Дж. 134, 229, 287
Деканозов В.Г. 8, 137, 240, 339
Джонсон Л. 588, 590
Джонстон Э 98,
Дивайн Р. 557
Димитров Г. 339, 350
Дилл Дж. 41
Дин Дж. 112, 141, 151, 165, 166
Добрынин А.Ф. 410
Донован У. 127, 258, 283, 285
Дубинский Д. 522
Дэвис Джозеф
9, 319, 331, 349, 355
Дэвис Джон 54, 624
Дэн Сяопин 650
Дэнлоп 30, 31
Дюрброу Э. 328, 451, 532, 533

Евстигнеев В.Н. 194
Егорова Н.И. 10
Ерджин Д. 557

Жданов А.А.
8, 306, 449, 453, 460, 468
Жемчужина П.С. 310
Жуков Г.К.
321, 329, 337, 362, 363
Жуков Ю.Г. 434, 466, 467

Заремба З. 302
Зарубин Г.Н. 28, 480, 492
Заславский Д.И. 96
Зубкова Е.Ю. 500
Зубок В.М. 10

Игнатьев А. 86
Иден Э. 89, 116, 163, 164, 181
Изаков Б.Р. 9, 501
Икес Г. 17, 418, 560
Икер И. 131, 149, 196, 206
Инбер В.М. 471
Итон И. 71

Йорк Дж. 20, 142, 310, 367
Йост Ч. 635, 636

Калатозов М.К. 172
Калинин М.И. 114
Караганов А.В. 9, 401, 493
Кассиди Г. 95, 199
Кастилль-Нейера Ф. 68
Каштоянц Х. 486
Кеменов В.С. 454, 491
Кеннан Дж. 9,112,124,153,154
Керенский А.Ф. 22
Керр А. 89,119,156,160,167,534
Кимбелл У. 293
Кимбэлл У. 23, 105
Кинг Э. 104, 181
Киссинджер Г. 655, 656
Клабб Э. 296
Кларк Г. 331, 512, 513
Клей Л. 413
Клейтон У. 327, 515
Клиффорд К. 415, 417, 440
Козырев С.П. 31
Кокс О. 90, 331, 367
Колко Г. 557

Колко Дж. 557
Кондакова И.А. 10
Кондрашов С.А. 9
Коннэлли Д. 195, 263
Коннэлли Т. 208
Коулс Г. 70, 86, 92, 93, 94, 95
Коэн Б. 426, 427
Коэн У. 303
Краминов Д. 458
Кроули Л. 327, 367
Курчатов И.В. 573
Кузаков К. 480, 484
Кузнецов А.А. 46, 474, 475, 476, 477
Кусевицкий С.А. 486
Куусинен О.В. 501
Кэрри Дж. 522
Кэффри Дж. 536, 572

Лан В.И. 173, 489
Лебедев В.А. 10
Левин А. 258
Леги У. 21, 112, 128, 142, 181
Лелюшенко Д.Д. 83
Леман Г. 307
Лемин М. 173, 489
Леонтьев Б.Л. 500, 515, 542
Лефлер М. 10, 651
Лилиенталь Д. 588
Линкольн Дж. 148, 327, 330, 374
Липпман У. 9, 255, 325, 462
Литвинов М.М. 8, 29, 30, 31, 35
Ловетт Р. 40, 521, 547
Логеваль Ф. 652, 653, 654
Лозовский С.А. 8, 18, 19, 25, 26
Лоуренс Дж. 521
Лоуренс Э. 588
Лундестад Г. 10
Лэнд Э. 42
Любин И. 142, 338, 349

Майский И.М. 8, 25, 89, 95, 110
Макартур Д. 360, 361, 362, 391
Маккейб Р. 196, 201
Маккиндер Г. 103
Маккормик А. 208, 211, 215, 219, 220
Маклиш А. 46
Маленков Г.М. 175,389,456,458
Малик Я.А. 540
Малышев В.А. 33, 41
Мальков В.Л. 10, 353, 653
Мануильский Д. 3, 247
Маринин М. 496, 577
Маршалл Дж. 40, 48, 57, 60, 104
Маршалл Ч. 626, 627, 628
Мейкледжон Р. 34, 35, 124, 125, 158
Меркулов В.Н. 304
Мессерсмит Дж. 514, 515
Микела Дж. 51, 83, 84, 89, 111
Миколайчик С. 144, 145, 155, 156, 157
Микоян А.И. 44,128,129,130,140
Миллер А. 519
Миттлпейдж Дж. 294
Михельсон С.В. 472
Михоэлс С.М. 133
Модзелевский З. 334
Молотов В.М. 8,12,16,19,20,23
Молочков Ф.Ф. 76, 80
Моргентау Ганс 580,586,611
Моргентау Генри 52, 177, 307
Моррис Л. 295
Моррисон Дж. 258
Мур Б. 258
Мэрроу Э. 361
Мэрфи Р. 413
Мэтьюз Ф. 564

Набоков Н.Д. 507, 508
Наринский М.М. 10
Нельсон Д. 296, 341
Нибур Р. 624, 625, 626, 627, 628
Никсон Р. 655, 656
Нитце П. 559, 587, 589, 591, 630
Новиков Н.В. 327, 328, 425, 433, 447
Нокс Ф. 18, 105
Ноттер Г. 206

Овакимян Г.Б. 285
Огородник В. 192
О'Коннор О. 294

Олдрич У. 522
Олсен К. 135, 137, 138
Оппенгеймер Р. 589, 624
Орехов Ф. 492
Осубка-Моравский Э. 154, 300

Павлов В.Н. 35, 90, 157, 158, 361
Панюшкин А.С. 491, 553, 954
Папанин И.Д. 137, 139
Папен Ф. фон 332
Патоличев Н.С. 473, 474, 478
Паттерсон Р. 41, 504, 522
Паттон Дж. 288
Паули Э 338
Пеппер К. 644
Перминов А.Р. 150, 151
Пирсон Д. 102, 199, 202
Подгорец Н 624
Полевой Б. 471
Пономарев Б.Н. 480, 482, 526
Попов Г.М. 319
Посвольский Л. 208,211,213,215
Поскребышев А.Н.
Поспелов П.Н. 434,444,461,479
Потрубач М.М. 76,80,85,314

Рабинович Ю. 579
Райт Р. 136
Рейдель С.В. 190
Рестон Дж. 509
Ржешевский О.А. 55
Рид Ф. 522
Робертс Ф. 369
Робинсон Дж.
258, 280, 382, 383, 384
Рокфеллер Н. 324
Роль-Жимерский М. 300
Ростовский (Э.Генри)
456, 467, 479
Ростоу Ю. 89
Рубинин Е.В. 473, 474
Ругеран К. 585
Рузвельт Ф 7, 13, 15, 16, 17
Рузвельт Элеонора
316, 317, 512
Рузвельт Эллиот 518
Руллард Дж. 297

Сапега А. 302
Сато Н. 191, 200
Севостьянов Г.Н. 6, 10
Свинг Р. 325
Сидорова И.А. 10
Сикорский В. 92
Симонов К.М 85, 86, 471, 508
Смит У. 421, 423, 431, 436, 496
Сноу Э. 256, 510, 511, 512
Соболев А.А. 240
Солодовинова Н. 193
Сосновский К. 145
Спаатс К. 151
Спеллман Ф. 108
Сполдинг С. 140, 367
Сталин И.В. 7, 8, 18, 20, 22, 24
Станчик Я. 333
Стассен Г. 513
Стеттиниус Э.
48, 134, 181, 287, 320
Стил И. 509
Стимсон Г. 40, 41, 43, 121, 122
Стронг Дж.
Стэндли У. 32, 48, 75, 76, 78, 80
Судоплатов П.А. 179, 575
Сульцбергер С. 488, 489
Сун Цзывэнь 388, 352, 356, 358
Суслов М.А. 485, 486, 491
Суриц Я.З. 240, 248
Сцилард Л.
379, 512, 513, 560, 579

Тайер Ч. 13, 19, 20, 30, 35, 503
Такер Р. 9, 258
Тарле Е.В. 248, 252, 419, 422
Таубман У. 10, 98
Теллер Э. 588
Тимощенко А. 136, 137, 138, 139
Тихомирова И. 77
Толли К. 138
Толстая А.Л. 500
Толстой А.Н. 125
Тольятти П. 426, 429
Томпсон Л. 30
Торез М. 121, 122
Тромпчинский 335
Трумэн Г. 7, 37, 203, 314, 315

Троцкий Л.Д. 99, 134
Трояновский А.А. 15
Трояновский О.А. 9,530
Трюгве Ли 426
Тэйлор Г. 535, 542

Уилки У. 69, 70, 71, 72, 73
Уитэкер А. 228
Улам А. 557
Уманский К.А. 12, 16, 22, 25
Уолдрэн Дж. 191, 192, 194
Уолкер С. 542, 557, 558
Уоллес Г. 78, 106, 331, 418, 438
Уолтон Р. 557
Уэллес С. 16, 18, 68, 69, 208
Уэйвелл А. 63

Фейс Г. 208, 313, 351
Фейфер И. 133
Ферми Э. 560
Филдинг К. 139
Филитов А.М. 10
Фитин П.М. 127, 142, 285, 286
Форрестол Дж. 132, 204, 323, 516
Фукс К. 353, 437, 590
Фурсенко А.А. 10
Феймонвилл Ф. 43, 47, 48, 49, 90

Ханнеган Р. 416
Харламов М.А. 497
Хаскелл Дж. 138
Хвостов В.М. 526
Хилленкоттер Р. 566
Хисс А. 590
Хмарский В. 455
Холл П. 308
Холловэй Д. 577
Хоттелет Р. 436, 437
Хрущев Н.С. 409, 649
Хукер Р. 627, 633
Хэквуд Г. 208
Хэлл К. 13, 16, 31, 93, 94
Хэлл Дж. 365
Хэрбэт Ф. 416
Хьюстон К. 380

Царапкин С.К. 189, 514

Чан Кайши 338, 352, 405
Чаплин Ч. 486
Черчилль К. 152
Черчилль У. 18, 42, 54, 59, 62, 63, 71
Чичерин Г.В. 100
Чуковский К.И. 482
Чубарьян А.О. 7, 10

Шапиро Г. 198, 199, 210
Шахурин А.И. 33
Шлезингер А., мл. 107, 646
Шмидт Б. 258
Шостакович Д.Д. 75, 85, 86, 90, 125
Шотуэлл Дж. 209
Штейн Б.Е. 248
Штейнгардт Л. 13, 14, 16, 19, 20, 21
Штраус Л. 588
Шульман М. 557, 625

Щербаков А.С. 133, 172

Эйзенхауэр Д. 40, 52, 61, 67, 123
Эйнштейн А. 512
Эмбик С. 109, 343, 344, 376
Эрл Дж. 104
Эренбург И.Г. 85, 471, 496
Эттли К. 87, 354, 415, 416, 418

Юзефович-Шпинак И.С. 472, 479

Яковлев Н.Н. 23
Яковлев Н.Д. 41

ИСТОЧНИКИ

АРХИВЫ

РОССИЯ

Архив внешней политики Российской Федерации.
Фонды 05, 06, 07, 0129, 0431, 0132

Архив Президента Российской Федерации
Фонды 3, 45, коллекция документов

Государственный архив Российской Федерации
Фонды 4459, 8581, 9401

Российский государственный архив социально-политической истории
Фонды 17, 77, 88, 558, 629

Архив Службы внешней разведки
Коллекция документов

США

National Archives of the United States, College Park, Maryland

U.S. Department of State Files. Record Group 59:

— Decimal Files,

— Records of the Policy Planning Staff, 1947—1953,
— General Records of the Office of Executive Secretariat,
— Records of the Office of European Affairs,
— OSS/ State Department Intelligence and Research Reports (The Soviet Union),
— Records of Charles E.Bohien, 1942—1952,
— Records of H Notter, 1939—1945,
— Records of Mathew Freeman,
— Records of W.Averell Harriman

U.S. Army Chief of Staff. Record Group 165:
— ABC Files,
— OPD Files,
— Executive Files,
— Top Secret General Correspondence, General Correspondence, 1942-1947
U.S. Joint Chiefs of Staff Files. Record Group 218:
— Central Decimal Files,
— Geographic File, 1942—1945,
— William Leahy Records, 1942—1948

General Records of Office of Strategic Services. Record Group 226

General Records of US Military Mission in the USSR.Record Group 334

United States Military Intelligence Reports. Vol.2. The Soviet Union, 1941—1944.

Documents of National Security Council, 1947—1977.

National Security Council Files, Henry A.Kissinger Files.

The Library of Congress, Manuscript Division, Washington, D.C.

Arnold, Henry H Papers

Davies, Joseph E. Papers

Feis, Herbert Papers

Harriman, William A. Papers

Leahy William Papers

Spaatz, Carl Papers

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, New York

Franklin D. Roosevelt Papers

— President's Secretary File

— Map Room File

— Presidential Trips

— SAFE Files

President's Soviet Protocol Committee

Hopkins, Harry L. Papers

Cox, Oscar Papers

Harry S. Truman Library, Independence, Missouri

Harry S.Truman Papers

President's Secretary File

President's Office File

White House Central File

ОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Атомный проект СССР: Документы и материалы: В 3 т./ Под общей редакцией Л.Д.Рябьева. М., 1998—2002.

Восточная Европа в документах российских архивов 1944—1953. Т.1—2., М. — Новосибирск, 1997—1998.

Документы внешней политики. Т XXIII, XXIV. М., 1998—2000.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. В 2 т. М., 1976.

Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 1945—1953/Сост. О.В.Хлевнюк и др. М., 2002.

Ржешевский О.А. Война и дипломатия. Документы, комментарии (1941—1942). М., 1997;

Ржешевский О.А. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии: Документы, комментарии, 1941—1945. М., 2004.

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., Т.1—5. М., 1979.

Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Документы и материалы. В 2 т. М., 1984.

Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Документы и материалы. В 2 т. М., 1983.

Советско-американские отношения. 1939—1945/Под ред. Г.Н.Севостьянова; сост. Б.И.Жиляев, В.И.Савченко – М., 2004.

Советско-американские отношения. 1945—1948/Под ред. Г.Н.Севостьянова; сост. В.В.Алдошин, Ю.В.Иванов, В.М.Семенов. — М., 2004.

СССР и германский вопрос. 1941— 1949. Документы из Архива внешней политики Российской Федерации. Т. 1—3. Сост. Г.П.Кынин и Й.Лауфер. М., 1996—2003.

British Documents on Foreign Affairs. Pt.III, Ser.A, vol.6. University Publications of America. 1997.

Churchill & Roosevelt: The Complete Correspondence. vol. I— III. Ed. by W.Kimball. Princeton, 1984.

Containment: Documents on American Policy and Strategy 1945—1950. ed. By T.Etzold and J.Gaddis. N.Y., 1978

Documentary History of the Truman Presidency Vol.14, Wash., 1996.

Documents of National Security Council, 1947—1977. Ed. by P.Kesaris. Wash., 1989.

Post-War Foreign Policy Preparations 1939-1945. Wash, 1949.

U.S. Department of State. Foreign Relations of the United States:

— 1941, I (Wash., 1958).
— 1942, III (Wash., 1961).
— 1943, II (Wash., 1964).
— 1944, III (Wash., 1965).
— 1944, IV (Wash., 1966).
— 1944,VI (Wash., 1967).
— 1945, II (Wash., 1967).
— 1945, III (Wash., 1967).
— 1945, V (Wash., 1967).
— 1945, VI (Wash., 1969).
— 1945, VII (Wash., 1969).
— 1946, I, (Wash., 1969).
— 1946, II (Wash., 1970).
— 1946, VI (Wash., 1969).
— 1947, I (Wash., 1973).
— 1947, IV (Wash., 1972).
— 1948, II (Wash., 1975).
— 1948, IV (Wash., 1974).
— 1949, I (Wash., 1976).
— 1950, I (Wash., 1977).
— 1950, IV (Wash., 1980).
— 1955—1957, XIX (Wash., 1990)
— 1955—1957, XXIV (Wash., 1989).
— 1958—1960, X (Wash., 1993).
The Conferences at Cairo and Teheran, 1943 (Wash., 1961).
The Conferences at Malta and Yalta, 1945 (Wash., 1955).
The Conference of Berlin, 1945 (Wash., 1960).

United States Military Intelligence Reports. Vol.2. The Soviet Union, 1941—1944. Ed. by P.Kesaris, Bethesda, 1984—1986.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ... 5

Часть I. КАК СОЗДАВАЛСЯ СОЮЗ

Трудное начало ... 11
«Если Россия падет...» ... 51
Миссия У.Уилки ... 69

Часть II. В РЕЖИМЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

«Я приехал как друг...» Московское посольство Аверелла Гарримана ... 99
Первые холода ... 140
На земле и в воздухе ... 185
Планирование послевоенного мира ... 207
Разведка США на советском направлении ... 257

Часть III. КАК ПРОГОРКЛИ ПЛОДЫ СОЮЗА

От Ялты до Потсдама ... 299
Курсом «выдержки и стойкости» ... 356
Раскол становится фактом ... 411

Часть IV. ХОЛОДНАЯ ВОЙНА В РАЗГАРЕ

Пропагандистская война ... 453
«Мирное наступление» СССР в 1948 году ... 524
Конец атомной монополии США ... 558
Крах или размягчение? О целях США в «холодной войне» ... 592
Заключение ... 638

Примечания ... 659
Именной указатель ... 741
Источники ... 746

Владимир Олегович Печатнов

СТАЛИН, РУЗВЕЛЬТ, ТРУМЭН.
СССР И США В 1940-Х ГГ.

Редактор *А. Хрулева*
Художественный редактор *И. Марев*
Технический редактор *Л. Платонова*
Корректор *И. Яковенко*
Компьютерная верстка *И. Яскульская*

Изд. № 0206116.
Подписано в печать 31.03.06 г. Формат 84×108 1/32
Бумага офсетная. Гарнитура «Журнальная».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 40,74.
Уч.-изд. л. 37,36. Заказ № 0604310.

ТЕРРА—Книжный клуб.
127206, Москва, Чуксин тупик, 9.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

«Очевидно, что имея дело с такими партнерами, как США и Англия, мы не можем добиться чего-либо серьезного, если начнем поддаваться запугиваниям, если проявим колебания. Чтобы добиться чего-либо от таких партнеров, нужно вооружиться политикой стойкости и выдержки».

Сталин – Молотову, Маленкову, Берии, Микояну (9 декабря 1945 г.)

«Заключение Гитлером пакта о ненападении со Сталиным и поворот его штыков против французов и англичан означали колоссальное предательство западной цивилизации... Сближение западных держав с Советским Союзом было результатом политики нацистов, за что те должны нести самую серьезную ответственность перед историей».

Дж. Кеннан, американский дипломат (18 декабря 1952 г.)

ISBN 5-275-01337-X

ДВУЛИКАЯ КЛИО: ВЕРСИИ И ФАКТЫ